Иностранная литература

7

1970

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Иностранная литература

7

Издательство «Известия»
Москва

1970

ИЮЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ШАНДОР ШОМОДИ ТОТ — Как дела, молодой человек? *(Повесть)* 3

ТУДОР АРГЕЗИ — Из последних стихов *(К 90-летию со дня рождения)* 70

ДЖОН ЧИВЕР — Буллет-Парк *(Роман)* 74

Из греческой поэзии. ВАСИЛИС ВАСИЛИКОС 138

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС — Сто лет одиночества *(Роман. Продолжение)* 140

Критика

Т. МОТЫЛЕВА — Ленинская мысль в творчестве Бехера 200

А. ОВЧАРЕНКО — Еще о социалистической литературе, о теоретических основах социалистического реализма (Ответ профессору Эрнесту Дж. Симмонсу) 213

Публицистика

С. КОНДРАШОВ — Яростная Калифорния (Из американских впечатлений) *Окончание* 221

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Две стороны одной проблемы: Н. Ванникова — В поисках собственного лица. В. Козьяков — Эфир и национальная культура 250

Наши гости

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Алехо Карпентьер: романист и его мир 256

Среди книг

Издано в СССР

М. Гордышевская — Свет человечности ◇ Л. Степанов — Поэты мавританской Испании 261

Издано за рубежом

Т. Проскурникова — Несостоявшееся бегство ◇ Г. Анджапаридзе — Во грехе ◇ Е. Книпович — Взглянуть в лицо 266

Из месяца в месяц (Хроника) 272

Авторы этого номера 288

■

На обложке: картина индийского художника СУЛТАНА АЛИ «Девушка из Кашмира».

ШАНДОР ШОМОДИ ТОТ

Как дела, молодой человек?

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского ЕВГ. ТЕРНОВСКОЙ

Так трудно теперь говорить, но молчать тоже трудно. Раньше все было проще: что увидишь, почувствуешь, то и выложишь. А сейчас? Мама меньше меня. Во мне росту сто шестьдесят восемь, а на нее вдруг накатит — приставать с телячьими нежностями... о-о-о, меня воротит от них и мутит, и весь я становлюсь сам не свой. Когда она со мной говорит, я горблюсь, горблюсь со страшной силой, чтоб не смотреть на нее сверху вниз.

Наши ребята не стесняются и, конечно, говорят обо всем. Я-то в общем молчу, но однажды чуть не сгорел догола; правда, ржал вместе со всеми, но настроение было премерзкое. Был урок политехнизации. Жолдош возился с комплексным щитом и вдруг пошел загибать, что девственность похожа на нейлон. Я просто взбесился: что за кретинство — добираться до тайны, до которой все равно никогда не доберешься. Потом, конечно, все превратили в шутку, и я тоже смеялся, чтоб скрыть свой стыд.

Взрослые вечно глядят на часы — они вечно спешат: на работу, на совещания. И нас погоняют, как лошадей. Меня, кстати, ласкают словечком «жеребец». Я, оказывается, «великовозрастный жеребец» и должен знать и понимать все на свете, а я всего-навсего неотесанный хам. Хотелось бы знать, с чего это жеребцу быть таким умным? Кати, младшая сестра, конечно, не лошадиной породы — она *большая девочка*. Когда о ней говорят, рожи у всех зверски сияют. Эту особу считают хорошенькой и всякий фортель прощают, потому что она милый подросток. Милый подросток!.. А я никудышный... Я делаю сальто и хожу на руках, но это не в счет. В прошлом году на районных соревнованиях по спортивной гимнастике я занял первое место. Когда, выполнив сальто, я как вкопанный стал на ковре и раскинул руки, словно бы на распятии, ребята так хлопали, что едва не отбили ладони. Потом подкинули меня вверх и вынесли на руках из зала. А родитель поздравил рассеянно и тут же принялся наставлять, чтоб я, увлекаясь тренировками, не запускал учение. Ну, а мама моментально припомнила, что когда-то я растянул себе связки, для нее ведь гимнастика — только травмы, опасности, сплошные страхи...

Заняв первое место, я не смел даже открыто гордиться, как будто совершил что-то постыдное.

Полгода назад меня приняли в секцию плавания. Я люблю плавать. И родителю плаванье нравится, во всяком случае больше гимнастики —

в юности он был речным пловцом, бронзовым медалистом по плаванию... Медаль я обнаружил случайно... А он о ней почему-то помалкивает — подобная скромность, по-моему, сделала бы честь рекордсмену мира.

■

Конец октября, небо какое-то оловянное. Я еле продрал глаза, потому что вечером поздно заснул. Над Вермезэ стлался плотный туман, из окна несло собачьим холодом. Приемник гремел на всю катушку.

— Доброе утро! — энергично поздоровался я, войдя в проходную комнату.

Родитель вышел из ванной, просверлил мою личность уничтожающим взглядом и дал знать, что от меня слишком много шума.

— Прикрути приемник! — приказал он и исчез в своей комнате.

Мама, уже одетая, но еще с косынкой на голове, тоже скомандовала:

— Андриш! За молоком! У Кати сегодня кружок!

— Еще бы!.. Кружок не кружок, а идти все равно мне! — огрызнулся я просто потому, что опротивела мне популярность Кати. Вообще-то я с удовольствием хожу в гастроном.

Я открыл дверь ванной. Там в ослепительном свете огней, в чем мать родила, с комбинацией в руках, стояла Кати. Она таращила глаза на меня, я на нее, поражаясь, что у нее там всякие штуки, как у настоящей женщины, хотя ей нет еще и тринадцати.

Позади затрещали шаги родителя, но я и не думал уходить — еще чего! — и лишь неплотно притворил дверь.

— Андриш! Убирайся! — схватившись за полотенце, как кошка, замяукала Кати. Мяукает она, конечно, в угоду родителю: ему нравится, что дочь у него скромница.

— А ты поживей поворачивайся! — крикнул я в щель.

Родитель был за спиной, и, скосив глаза, я видел, что он надевает пиджак и находится в настроении дрессировщика.

— Постучать ты, конечно, не можешь? — суровейшим тоном вопросил он.— Неужели у тебя нет ни капельки такта?

Я крутил полотенце. Его подозрительность меня раздражала — ведь я ни капельки не интересуюсь телосложением Кати.

— Мне некогда! — сказал я нетерпеливо.— А она там по часу охорашивается.

— А куда ты спешишь? Ведь сегодня тебе во вторую смену...

Я не ответил, хотя знал, что, по правилам отца, молчание — величайшее хамство.

Но мне повезло. Мама выудила счет за газ и попросила денег. Папа пришел в ярость. Деньги на газ он уже давал, а сейчас его возмущает другое — как только хватает совести опять просить деньги! Но мама в таких делах бывает удивительно стойкой, а его это страшно задевает, и началась баталия. Спорили о каких-то туфлях — покупать или не покупать. Единственное папино желание, решительно заявила мама, чтобы она сломала ноги. Обвинение чисто уголовное — как на него возразишь,— и папа выложил деньги. Он собрался уже уходить, но тут из ванной выскочила Кати и повисла у него на шее. Я видел, как он стал потихоньку оттаивать.

— Папочка! Какой ты колючий! — потершись о его щеку, заверещала Кати.— Побрейся, пожалуйста, тогда ты не будешь такой худой!

— Вот тебе раз! Ну прощай, моя радость! Ты не выключила газ!

— Я ведь тоже имею привычку умываться! — огрызнулся я. Родитель пронзил меня взглядом, безнадежно махнул рукой и ушел.

Мама открыла дверь в ванную, чтобы со мной попрощаться. Я склонился пониже над раковиной, но она подошла вплотную.

— Часов в двенадцать я тебе позвоню,— предупредила она. Не стоит об этом говорить, но я знаю, в чем дело: она боится, что меня украдут.

— Я иду в бассейн,— процедил я сквозь зубную щетку.

— Тогда в одиннадцать,— сказала она и начинила меня десятком наставлений: не выходить с мокрыми волосами, не драться в школе, счет за газ на столе и...

Кати тоже собиралась уйти, но совесть у нее, наверное, была нечиста: то ли стыдно, что так противно визжала, то ли просто подлизывалась к маме.

— Я вернусь часов в десять, помогу стирать пыль,— предложила она, остановившись в дверях ванной.

— Обойдусь без тебя! Будешь потом ныть.

Ну и штучка моя сестрица! Спокойнейшим образом при мне одевается, раздевается, словом, показывает себя без зазрения совести, а при папе корчит скромницу. И не боится, что я ему расскажу! Я не рассказываю, молчу. А почему — сам не пойму...

Кати, видите ли, взрослая девица и спит теперь в отдельной комнате; я в своей клетке остался один. Тем лучше. По крайней мере, никто в мои дела не суется. «Как дела, молодой человек?» — излюбленный папин вопрос. Молодой человек! Это я-то?

Сегодня урок классного руководителя. Не мешало бы что-нибудь написать. Задан автопортрет — превеселая шутка: выворачивать себя наизнанку при посторонних! Ладно бы один Фараон прочитал...

Посмотрел на себя в зеркало — дохленький тип, а ведь после Жолдоша я самый сильный в классе. Только Петеру Чабаи немножко завидую: повезло человеку с физиономией. Совершенно актерская и с горящими черными глазами; подожмет чуть презрительно губы — и прямо вылитый Жан Габен. Я же до тошноты зауряден: бледный, голубоглазый, неприметный. Что делать — ничем ведь не поможешь...

Я стал с остервенением грызть карандаш, но глаз не сводил с галереи напротив: приковыляла откуда-то такса, задрала со скучающим видом лапу, полила пеларгонию и засеменила прочь. Прошел почтальон... Потом какая-то уродина с овечьей башкой, в декольтированном платье. Тетушка Чех притащила стул, уселась, запрокинула лицо — пожелтелый бумажный комок,— зябко поежилась и уползла восвояси.

...Ага, вот и Агнеш — помчалась в бассейн. Если поторопиться, можно бы, пожалуй, догнать... Груди у нее задорно плясали, а глаза, будто живчики, так и бегали, выискивая, кто на нее глазеет.

Ладно, хватит с меня всякой дряни. Отправляюсь в бассейн.

Но... Фараон полезет в бутылку. Надо хоть что-нибудь написать.

Нацарапав несколько фраз, я испытал необычайное облегчение: вот ведь, тружусь как порядочный... Но в тетради лежал листок — бумага для рисования. Находка, конечно, обязывала рисовать. Сперва обозначилась талия, изящно очерченный пупок, потом ноги — правда, несколько мощные — и наконец, легкий набросок груди. Похоже! Кажется, я сегодня не в форме, уроки совсем не клеятся.

■

Тренер меня похвалил и побранил — одновременно. *Они* это любят — чтобы плюс и минус уравнивались.

— Время неплохое, но на повороте ты «тонешь»,— сказал он.— После отдыха отработаешь поворот.

Чабаи тренировку закончил, присел на тумбу, а Жолдош приподнял всклокоченную голову — он ходит в бассейн не тренироваться, а забавляться. Чабаи принялся его подзуживать: стоит тебе в воду войти, и начнется прилив.

— А у тебя башка лопнет,— равнодушно обронил Жолдош.

Но тут мне стало совсем не до них — в стеклянных дверях показалась Агнеш. Я внезапно озяб и влез в купальный халат. Она зашла в душ, потом бегом понеслась в бассейн, и груди ее отплясывали дикарский танец. Я смотрел, совершенно обалдев, будто хлопнули меня пыльным мешком по голове, и очнулся только от голоса Чабаи.

— Фото готово? — спросил он.

— Какое фото? — что-то заподозрив, встрепенулся Жолдош.

— Какое? Твой автопортрет! Бычья шея, слоновье брюхо!

Повертев башкой, Жолдош приступил к допросу.

— Хомлок! Ты сделал?

— И не подумал. Просто нацарапал несколько фраз.

Но они уже забыли про автопортрет — в нескольких шагах от нас появилась волнующая фигура Агнеш; купальный костюм из двух деталей ничего не скрывал, скорее, наоборот, выставлял напоказ все ее тело — глазейте все, сколько влезет. Она шла, осторожно ступая и похлопывая себя по сильным, мускулистым ляжкам.

У ребят перехватило дыхание, но они быстро пришли в себя.

— Ну и одежка, как транзитный билетик! — прогнусавил Жолдош.

Чабаи нервно хохотнул.

— И дырка пробита?

Агнеш метнула взгляд в нашу сторону и сразу же отвернулась; меня она, к счастью, не заметила.

Ярость сжала мне горло.

— Эй, заткнитесь! Неужто нет у вас ни капельки такта? Эту девчонку я знаю,— с трудом выдавил я.

— Мы все ее знаем! — заорал Чабаи.— Еще по детскому саду.

— Заткнись! Мы в самом деле вместе ходили...

— Отличная баба. Только чуть вперекос,— коварно заметил Чабаи.

— Вперекос? — тупо вытаращил глаза Жолдош.

— Да не здесь, а здесь,— оттопырив большие пальцы, Чабаи очертил пышные груди Агнеш. Жолдош восхищенно загоготал.

— Перестань, идиот! — крикнул я в бешенстве. Я боялся, что и другие обратят внимание. На нее и так все глазеют кому не лень... еще бы: такие мощные формы.

Но Чабаи веселился от души.

— Вот еще! Что здесь такого? — И он изобразил, как колышутся груди Агнеш.

Я больше не мог, подскочил и заломил ему назад руки. Мы стали бороться, и он, защищаясь, пялил на меня изумленные глаза. Потом, вывернувшись неловко, с заломленными руками, только тихо охнул.

— Вот теперь показывай!

— Псих, ты мне руки переломаешь!

В тот же миг мы отпрянули друг от дружки — перед нами вырос наш тренер, дядя Геза.

Он был возмущен, ругался на чем свет стоит, а я потихоньку скользнул в воду.

— Вот полоумный. С чего это он? — растирая руки, с удивлением спросил Чабаи.

Мне стало стыдно, я поглядел на него и засмеялся. Лучше б не связывался.

Почти на середине бассейна я столкнулся с Агнеш.

— Привет, Аги! — поздоровался я. Вынырнув, она сразу меня узнала. Глаза у нее были светло-зеленые, как только что распустившийся весенний листок.

— Тебе еще много? — спросила она.

— Пятнадцать раз.

— А я уже кончила!
— Что ты делаешь завтра утром?
— Пойду на гору. А ты пойдешь?
— Конечно. У меня там как раз дела...
Она засмеялась и, выбрасывая из воды руки, поплыла к выходу.
Я стал отрабатывать поворот.

■

Класс шевелился в тягостном ожидании, ребята вертели головами, как собака, когда ей долго смотрят в глаза. Многие уже прочитали свой автопортрет — все было плоско, как пустыня Гоби. Я слабо надеялся, что до меня очередь не дойдет. Все с напряжением слушали, как новая жертва, заикаясь от смущения, бормочет сочиненную ею галиматью. Фараон психовал, размышляя над провалом своей затеи. Чабаи стал шептать, что автопортрет — чистое свинство, потому что нельзя расхваливать самого себя, а писать о себе одни гадости несправедливо. В мертвой тишине голос его звучал как шипение пара, и я мог бы поклясться, что Фараон все слышал, от слова до слова. До конца урока оставалось больше десяти минут. Фараон вызвал Левенте Лацо, и я вздохнул с облегчением. Лацо читал самоуверенно и громко, а ребята слушали и перемигивались. В общем-то Лацо хороший парень, но совершенно по-идиотски выхваливается и не понимает, что Фараон давно его раскусил.

«...Я всегда старательно готовлю уроки, только письменные выполняю не очень аккуратно. Дома я помогаю по хозяйству, выколачиваю ковры и т. д. и т. п. Родителям и учителям я всегда говорю чистую правду. Общественной работой тоже занимаюсь, не пропускаю собраний и активно участвую в спортивных состязаниях. За художественное оформление пионерской комнаты меня даже хвалили. Надеюсь дальше расти и развиваться...»

— Я тоже надеюсь,— буркнул Фараон, но потом, как бы спохватившись, добавил: — Что ж, хорошо. Почти хорошо,— поправился он не очень уверенно, потер рукой подбородок и при этом глядел так невесело, словно потерял всю месячную зарплату.

Ребята нетерпеливо покашливали. Я покосился на руку Чабаи: до звонка было семь с половиной минут.

Фараон нерешительно оглядел класс, и я почувствовал, что взгляд его на миг остановился на мне.

— Замаскировались, разбойники! Никого не узнать! А ну-ка, поглядим еще одного,— сказал он, подбадривая самого себя,— Андраш Хомлок!

Я нехотя поднялся.

— Извините, господин учитель, я не закончил.

Фараон лишь махнул рукой.

— Не имеет значения. Читай что есть.

Честно говоря, я до последней минуты не верил, что придется когда-нибудь вслух прочитать те несколько жалких фраз, которые я наспех выжал из себя. Ладони у меня вспотели, я начал читать запинаясь и до конца запинался, как малограмотный.

«Однажды мы о себе уже писали. Это было в прошлом году. Я тоже писал, чтоб понять самому, что же я собой представляю. Тогда... о, тогда все было просто. Сейчас не то, сейчас гораздо труднее говорить о самом себе. Хотя прошел всего год, вернее, даже почти два. Взрослые требуют от нас откровенности. Но быть откровенным так трудно. Ведь взрослые сами неоткровенны. Столько напустят вокруг тумана, что их вовсе нельзя разглядеть...»

Я умолк и вытер ладони о штаны.

— Это все? — спросил Фараон.

— Все.

Фараон не спеша подошел ко мне, положил на мое плечо руку, и я с изумлением увидел, что он улыбается.

— Разумеется, это всего лишь фрагмент... но мне твой фрагмент нравится! — сказал он благодушно и взял с парты тетрадь.— Андраш написал правду... Откровенным быть очень трудно. Ты согласен, Перцел?

Живодер ухмыльнулся.

— Еще как, господин учитель! Будь я всегда откровенным, мой предок сделал бы из меня котлету...

Класс грохнул.

— А если бы ты со всей откровенностью сказал: папа, я получил пятерку по химии? — спросил Фараон.

— Тогда старик был бы откровенно рад...— паясничая, заявил Живодер, а Фараон продолжал задумчиво говорить и плел какую-то чертовщину о том, что, когда поступаешь хорошо, тогда откровенным быть легко, а если дурно или предполагаешь, что твой поступок сочтут дурным... Но я больше не слушал, я не мог отвести глаз от его руки, которая машинально листала тетрадь. Внезапно рука замерла — на листке, где вчера я кое-что набросал. Меня кинуло в жар, потом в холод, даже пальцы на ногах помертвели. Я лихорадочно пытался припомнить: девичья головка, сзади волосы перехвачены лентой... и груди, высокие, остроконечные... округлый живот с пуговичкой пупка; все, что ниже, едва намечено...

Я чуть не задохся от ужаса и бешенства и упрямо сверлил Фараона взглядом: извольте вернуть тетрадь! В конце концов, это никого не касается... во всяком случае, посторонних!

Рука Фараона медленно опускалась и наконец мягко положила тетрадь на парту. Листок высунулся, как книжная закладка. Фараон на меня не смотрел. Я взглянул: рисунок был точно такой, каким я его помнил. Его Величество оказался великодушным... А что особенного?.. Ведь ниже талии лишь эскизный набросок...

Наконец-то звонок. Фараон, не взглянув на меня, вышел из класса. Значит, я дешево отделался. А если разобраться — рисунок-то откровенный. Правда?

■

Едва Фараон исчез, класс взорвался.

Живодер вскочил на парту, скроил благочестивую рожу, закатил к потолку глаза, воздел руки и завопил:

— Братья пижоны! Мы прошли через святую исповедь! Я отпускаю вам все грехи!

Он осенил нас широченным крестом и пригладил торчащие ежиком волосы.

Класс выл, стонал от хохота.

Шомфаи, наш главный пижон, в кирпично-красной американской рубашке, сбросил пиджак и повернулся к классу с лицом, перекошенным от крика, а позади него орала и толкалась вся «капелла».

— Внимание, гаврики, внимание! Сейчас вы услышите звуковой плакат. Сегодня в нашей программе: источник материнского молока!

Это была новинка.

Выставив у двери дозорного, класс обратился в слух.

Шомфаи взмахнул рукой, мощный хор грянул. Запищали дискантты, зарокотали басы — под эту дикую какофонию шла выразительная декламация.

Молоко, молоко!
Можно пить без дураков.
Чтоб стаканчик пропустить,
Надо денежки платить.
Лейте в глотку молоко,
Станет в голове легко,
И легко будет в кармане,
А когда не хватит «мани»,
Уносите ноги прочь,
Прямиком в глухую ночь.

Под хохот и гром аплодисментов «капелла» повторила программу несколько раз, но многие из ребят уже обступили Живодера. Началось нечто невообразимое: Живодер, словно карточную колоду, тасовал пачку открыток, потом, как фокусник, выхватил одну и поднял ее над головой. Там блистала голая красотка в небрежно наброшенном на плечи манто.

Скорчив безобразнейшую гримасу, Живодер выдал такое, что все просто взбесились.

— Иллюстрации к плакату! Источник материнского молока!

Стены класса дрогнули от рева. Толпа гогочущих лоботрясов плотным кольцом обступила Живодера, и открылся фотобазар. Звуковой плакат распался, но члены «капеллы» с ослиным упрямством продолжали вопить:

— Молоко, молоко! Можно пить без дураков, — и остальное...

Жолдош кричал, чтобы и я купил открытку, но мне не хотелось лезть в свалку.

— Потом,— сказал я.

— Ты что, обалдел? Фараон накроет!

— Ему хочется, чтоб мы вывернули перед ним все свои внутренности: легкие, печенки и селезенки...— с возмущением сказал Петер, щурясь на открытки, которые по одной показывал Живодер.

Лацо в ужасе оторвался от книги.

Бочор — год назад у него изменился голос, и с тех пор он гудит, как из бункера,— услыхав мятежную речь Чабаи, вмешался.

— Меня мутит от этого разбавленного духовного пойла! — заявил он.

Шомфаи держал перед Жолдошем открытку с изображением моющейся женщины, у которой сквозь мыльную пену просвечивали разные разности.

— Вот это бомба! — совершенно спокойно, но с глубоким удовлетворением объявил Жолдош.

Лацо, зажав уши, зубрил историю.

— Да заткнитесь же, наконец! Я совсем не знаю империализма,— жалобно простонал он, услыхав вой Жолдоша, и с отчаянием уткнулся в учебник.

Никто не обратил на него внимания.

В конце перемены, раскидав тех, кто послабее, я протолкался к Живодеру.

— Дай мне одну! — заорал я; голос у меня, однако же, дрогнул, и лицо залилось краской.

Живодер ухмыльнулся и без звука разложил передо мной коллекцию.

— Вот эту! — Я выбрал женщину с распущенными волосами, стоящую на коленях в зарослях камыша,— она была молода и не скрывала своего лица.

Я быстро сунул добычу в карман.

В программе звукового плаката был еще один номер. Под музыку транзистора Живодер и Шомфаи выдали рок, дергаясь и извиваясь, как в пляске святого Витта.

— Фараон на колесах! — раздался сдавленный крик дозорного, и мы молниеносно разбежались.

Транзистор умолк, мы сидели с неподвижными, как у изваяний, лицами. Фараон остановился в дверях и жестом подозвал меня к себе. Я сделал вид, что не понимаю, но притворяться долго смысла не имело, и вообще было ясно, что сегодняшний день добром для меня не кончится. Сейчас начнется допрос: для чего я нарисовал женский бюст... Как любят эти взрослые задавать вопросы, на которые могут прекрасно ответить сами...

Фараон был настроен миролюбиво и, вызвав меня в коридор, попросил зайти к нему домой.

— В понедельник. Хорошо?

Я, само собой, согласился. Но как я ненавижу эти визиты, дьявольски ненавижу! Сегодня еще только пятница. Так что до понедельника у меня есть время поразмыслить.

■

Суббота просто прелесть! Хорошо бы куда-нибудь смыться, да не вышло. По субботам уроков я не учу и развлекаюсь господином Геринцем. Крохотный металлический человечек раздраженно кланяется магниту, потом с торжествующим видом выпрямляется и укоризненно качает головой.

Забава, конечно, пошлая. Но вот я всматриваюсь в блестящую, как зеркало, поверхность стола, где отражается неподвижный господин Геринц, и мне кажется, что нервное напряжение, царящее у нас в доме, заставляет металлического человечка вздрагивать даже без магнита.

Дверь у меня распахнута настежь, но я не решаюсь ее закрыть. Самое время притвориться, как букашка, мертвым.

В проходной комнате взад и вперед возбужденно расхаживает мама. Куда-то она собралась: на ней ее любимое голубое платье, волосы собраны в пучок, глаза пылают, на щеках горят пятна; постукивая кулачками один о другой, она поминутно глядит на часы. В новеньких туфлях на шпильках она ходит, слегка наклонясь вперед, но меня это нисколько не удивляет. Вечно балансировать на таких ходулях — просто фантастика!

Я поднял магнит.

— Кати! — раздался в этот момент голос мамы.— Позвони в управление!

Господин Геринц испуганно отвешивает поклоны.

— Да, мама,— по-военному откликнулась Кати каким-то отсутствующим голосом. Потом просунула голову в мою комнату.— Андриш! Ты не видел косынки в горошек?

Я показал ей на телефон — иначе будет скандал,— но Кати выдвигала и задвигала ящики стола, пока снова не раздался раздраженный мамин голос:

— Зачем тебе косынка? Делай, что я велела!

— А мне нужно для репетиции. Скоро придут девочки,— пояснила Кати.

Наконец она сняла трубку, но, по-моему, весьма неохотно. Мы все трое прекрасно знали, что папы в управлении уже нет. Мама просто лезла в бутылку и телефонным звонком взвинчивала себя еще больше.

— Что спросить?

— Что, что! Спроси, там ли еще отец! Ведь уже пять часов.

Кати набрала номер.

— Целую руку, тетя Гизи,— сказала она.— Говорит Кати Хомлок. Скажите, пожалуйста, папа уже ушел? Давно? А он не сказал, куда?

— Кати! — в ужасе крикнула мама.— Ты с ума сошла? Положи трубку!

— Да, да. Спасибо, тетя Гизи,— заикаясь, проговорила сестрица, и послышался щелчок аппарата.

— Разве я велела допытываться, куда он ушел? Я велела спросить, там ли еще отец! На тебя даже в этом нельзя положиться.

— Он поехал в Уйпешт! — пожимая плечами, сообщила Кати.

— В Уйпешт! В субботу после обеда! Мы собирались в гости, а он поехал в Уйпешт!

Мама опять начала расхаживать — и я прикрыл дверь.

Но тут снова ворвалась Кати и снова дверь не закрыла. А, плевать! Закрывай не закрывай — все равно слышно. Ой-ой-ой! Ну и матч предстоит сегодня!

— Ты не видел косынки в горошек? — Кати, глядя на меня, сконфуженно мигала.

— Видел. Собственными глазами.

— Где?

— На площади Сена. Два мильтона тащили ее в отделение.

— Перестань паясничать! Мне нужна косынка. Сейчас придут Жужа Гал и Мацо Шипош.

— Как нельзя более кстати. Дамы будут иметь удовольствие присутствовать при чудесном спектакле.

Кати тяжело вздохнула и повалилась на тахту.

■

К шести часам, когда явился родитель, мама дошла уже до второй стадии истерики.

Папа сразу почувствовал, что пахнет порохом, и самым задушевным голосом спросил, какие новости и что делаем мы, его отпрыски.

Мама, как водится, не ответила.

На все папины вопросы она предпочитала выкрикивать, что уже седьмой час.

Наконец папа сообразил. Он до последней минуты работал, и Зойоми у него просто вылетели из головы; ничего страшного, сейчас он им позвонит, извинится и скажет, что сегодня они с мамой не придут. Он устал, как собака, и вообще лучше к ним не ходить.

— Почему? — спросила мама.

Мы с Кати прислушивались к маминому голосу. У Кати даже округлились глаза. Но я лишь махнул рукой: спокойно! Матч еще не окончен.

Папа ответил что-то вроде того, будто у директора рыльце в пушку и скоро выяснится, кто его друзья.

Такое странное заявление мама оставила без ответа, лишь заметила, что как раз из-за этого она целый день волновалась.

Потом прошла в свою комнату и захлопнула дверь.

Папа позвонил Зойоми, сказал, что они не придут, и пошел к маме.

Там начался следующий раунд — папа рассказывал, как ему удалось найти сверхурочную работу.

— В Уйпеште? — спросила мама.

Тут папа обиделся. У мамы только и дела, что «шпионить» за ним и ставить его в неловкое положение. И опять, неизвестно откуда, на свет вылезли новые туфли.

— Я ни на что не имею права. Я отнесу их назад, раз тебе так хочется! — крикнула мама, и что-то грохнуло об пол два раза.

— Ты всегда передергиваешь! Дело не в туфлях... хотя сейчас конец месяца... Могла бы и подождать... Я хочу одного: немного покоя!

— Вот как! А мне, по-твоему, не нужен покой? Скажи, Шандор, неужели я все должна терпеть? Ведь от тебя разит на весь дом...

— Что ты сказала? Чем разит?

— Чужими духами... Ты весь пропитался ими! — крикнула мама.

— Нет, с меня хватит! Противно возвращаться домой! Если б не дети...

— Пожалуйста! Можешь уйти!

Дважды хлопнули двери, возвестив, что мама вихрем пронеслась по квартире и вылетела в кухню плакать.

На Кати я не смотрел: она страшно боится, чтобы кто-нибудь из них действительно не ушел.

Когда я наконец решился заговорить, голос у меня был совершенно хриплый:

— Не волнуйся! Он не посмеет уйти.

Кати с сомнением всматривалась в мое лицо, и я чувствовал себя довольно мерзко.

— Говорят тебе, что он не уйдет,— значит, не уйдет. Не посмеет уйти. Да и мама этого вовсе не хочет.

По правде сказать, опасаться особенно было нечего. Сегодня они поругались, завтра он принесет ей цветы, а нам кучу подарков. И мама вовсе не хочет, чтоб он уходил, но вот заведется и твердит: «Уходи!» — будто бес в нее вселился. Но тон у нее такой, словно она угрожает: вот уйдешь — и все мы погибнем. И папа это прекрасно знает. Пусть он резкий, несдержанный, но он и не думает нас бросать.

Пока они ссорятся, мы с Кати беспокойно считаем часы. Кати мнет носовой платок, и у нее дрожат губы. Она боится еще больше, чем я, что какая-нибудь их перепалка кончится разрывом и мы ничего не сможем предотвратить. Сколько раз мы старались их примирить — не получалось. Мне очень жалко маму: утром она уходит чуть не в слезах, потому что до вечера мы остаемся одни. О времени она вовсе не думает, папу провожает до угла, долго-долго прощается, оправляет отвороты пиджака, быстро, украдкой целует. Он нетерпеливо поглядывает то на уличные часы, то на трамвай, а она топчется вокруг него и все не отпускает — как будто отдает взаймы...

Кати не на шутку расстроилась, и мне от этого тоже было не по себе. Она сидела на тахте, подавшись вперед, и из глаз ее ручьем катились слезы.

Мне захотелось погладить ее по голове, но она вдруг вскочила и, ревя белугой, выпалила:

— Это я надушила папин пиджак!

— Идиотка! — сказал я со злостью, хотя вовсе не был на нее зол. Вот из-за какой смехотворной ерунды у нас начинаются скандалы.

Кати с покаянным видом вытирала слезы.

Тут послышались торопливые шаги, и вошел папа. Он был в пиджаке — значит, собрался уходить — и смущенно покашливал.

— Здравствуйте! — сказал он, стараясь на нас не смотреть.— Пойду пройдусь по свежему воздуху. У мамочки болит голова...

Популярное объяснение, лучше не придумаешь. Я посмотрел на Кати, а она, неверно поняв мой взгляд, быстро подошла к папе.

— Папа! Это я надушила твой пиджак!

Он, ошеломленный, уставился на любимую доченьку, понюхал отвороты пиджака, засмеялся и совсем тихо сказал:

— Глупышка ты, доченька! Невообразимая глупышка! Ну, ничего не поделаешь. Через час я вернусь. А у мамы болит голова,— упрямо повторил он и вышел.

Некоторое время мы с Кати зевали по сторонам, она окончательно утешилась и вновь принялась искать косынку в горошек.

Потом послышалась серия хлопаний дверями, три оглушительных удара последовали один за другим.

— Мама тоже ушла,— с тревогой сказала Кати.

— А ты знаешь, из-за чего они ссорятся? — спросил я.

— Сегодня из-за меня и из-за новых туфель.

— Как бы не так. Туфли — не главное.

— А что же главное?

— Всегда найдутся какие-нибудь туфли.

— Туфли?

— Где тебе понять, гусыня! Новые туфли бывают один раз, а ссорятся они постоянно...

— Как ты смеешь осуждать родителей! — гнусаво протянула Кати.— Лучше бы постарался отвыкнуть от хамства.

— Ты права,— сказал я, сердито вздохнув.— И я не безгрешен. Но что поделаешь, когда наш семейный коллектив не на уровне.

— Что такое? Ох, какой умник-разумник выискался! Все на свете ты знаешь!

— Ладно, молчи! — сказал я.

— Что? Вот увидишь...

— Заткнись, тебе говорят!

Больше она не посмела перечить и вышла, сильно хлопнув дверью. Эта дура думает, что так и надо.

Я снова принялся за господина Геринца. Забава удивительно нудная. Но тут резко задребезжал звонок, с ржаньем и топаньем ввалились девчонки и подняли шум, как табун лошадей.

— О-о-о, ты одна? — хриплым голосом эстрадной певицы, ломаясь, спросила Жужа Гал. Эта девчонка, длиннющая, как лестница, усвоила манеру хлопать на меня свысока своими глазищами.

Мацо Шипош, черная вертлявая кошечка, прямо от двери замяукала про ужасное нахальство какого-то типа; я так и не понял, в чем состояло его нахальство, потому что Жужа, перебивая Мацо, затарахтела о чьих-то классных усах. Но Мацо не сдалась и продолжала мяукать — слушать собственный голос для нее величайшее удовольствие.

— Я ему говорю: вы похожи на свою прическу...

Тут Жужа запела на мотив прошлогоднего шлягера: «Бедный, бедный, бедный идиотик, бедненький дегенерат...».

Все остальное потонуло в визге и хохоте. Сестрица взвизгивала громче всех.

Надо прорваться во что бы то ни стало, не то с ними просто сойдешь с ума. Я взял берет и вышел в проходную комнату. Мацо корчилась от смеха, Жужа распевала во все горло и, как коза, скакала вокруг стола. Под носом у нее торчали кривые усы. Меня она не замечала.

— Привет! Что здесь такое? Цирк?

— Ах, ах, Кати! Ты сказала, что никого нет! Ах! — И Жужа сорвала усы.

— Без паники! — сказал я.— Продолжайте свой концерт. Я сматываюсь.

Мацо смотрела на меня, как удав на кролика, потом изогнулась и запустила руки в волосы.

— Не уходи! Останься с нами! Мы репетируем! О, Андриш, Андриш! — Она шла на меня, стреляя глазами, и зрачки у нее блестели, будто их только что смазали маслом.

— Не выйдет! Визжите без меня на здоровье! — сказал я, отступая к двери.

— Да ну тебя! — сказала Кати.— У нас в самом деле репетиция. Хочешь посмотреть?

— Не хочу! У меня дела.

— У него дела! Подумайте только, у него дела! Ах!

Все трое снова захихикали, завизжали, а я пулей вылетел за дверь.

■

Стемнело. Завернув на улицу Аттилы, я долго высвистывал на все лады, но Чабаи не подавал признаков жизни. Наконец в окне показалась голова его бабки.

— Петера нет! — крикнула голова.

— Нет? — переспросил я тупо.

— Ушел на собрание! — умиротворенно сообщила голова.

Я отвернулся, чуть не лопнув от смеха. Ну и шутник же этот Чабаи!

У наших ворот топталась тетушка Чех; держа в руках хлеб и бутылку минеральной воды, она беспомощно смотрела на щеколду. Меня она, конечно, видела, но просить об услуге не решалась. Наверное, вбила себе в голову, что все подростки — хулиганы.

Открывая ворота, я ей шепотом сообщил:

— Запомните хорошенько: в следующую субботу у нас собрание! Начало в девятнадцать ноль-ноль, конец — в двадцать четыре! Точно, как в аптеке!

— Что ты такое говоришь, мальчик? — спросила тетушка Чех, подставляя ухо.

— Я говорю: сейчас вечер!

— Ну да,— махнула она рукой,— конечно, вечер.

Я вышел на Вермезэ и долго прохаживался один. Мои родители тоже где-нибудь носятся, каждый, конечно, сам по себе. Надо идти домой, но как не хочется! Они ведь тоже придут, и опять атмосфера накалится, чиркнешь спичкой и — взрыв.

■

Понедельник. Кругом тишина. Кати отправилась к Жуже Гал.

Я сидел один, смотрел на открытку, и зубы мои отбивали барабанную дробь. Она стоит на коленях, поднимает руки: под мышками тень, груди вздымаются, как два крутых холма, и смотрит на меня сквозь решетку из камышей — полный интим.

Одно меня мучило — в четыре надо идти к Фараону. А он, конечно, начнет донимать, зачем я рисую голых баб. Спросит, факт! А вы как думаете, господин учитель? Какая все-таки пошлость: всю жизнь тебя спрашивают о том, на что могут прекрасно ответить сами. В конце концов наплевать. Наберу в рот воды, и ничего он из меня не выжмет. Это намного тяжелее, чем в классе: там ты подмигнешь, тебе подмигнут — все-таки утешение... А вот один на один попробуй-ка вывернись, помолчи как рыба... Ну, ладно... Может быть, повезет и Зизи окажется дома. При ней Фараон вряд ли станет заострять вопрос. Я у него уже бывал, и даже не раз. Не могу забыть последний визит, когда относил тетради. У Зизи была прическа с хвостом, и рядом с Фараоном она выглядела дьявольски юной. Я увидел ее и погиб.

— Зизи, будь добра,— робко, почти умоляюще сказал Фараон,— возьми у мальчика тетради.

Она подошла близко-близко, и на меня пахнуло благоуханной волной. Запах был свеж, как запах ветра, несущего дождь. На ней были узкие черные брюки и белый пуловер, плотно облегавший фигуру. Я моментально отвел глаза и уставился на ковер, но и на ковре маячило стройное тело и шелестящие русые волосы Зизи.

Мне казалось до дикости странным, что Фараон мрачно пялился на жену; рядом с ним, таким старым и лысым, ее можно было принять за дочь, нет, за фею, такую забавную фею, которую он заполучил с помощью волшебства.

Сколько раз с тех пор я мечтал о Зизи! Она улыбалась так же, как эта обнаженная женщина на открытке. В воображении я приникал к ней всем своим существом, ощущая податливое тепло ее полной груди. Сердце у меня вздрагивало, как забарахливший мотор, и тогда весь кузов дрожал от напряжения.

■

Я позвонил. Вспыхнул свет. Дверь открыла Зизи, еще непричесанная, с поблескивающими от воды волосами. Она смотрела на меня приветливо и так пристально, что я не выдержал и, отворачиваясь, замотал во все стороны головой. На ней был белоснежный купальный халат, стянутый в талии поясом; она его поминутно запахивала снизу, а он упорно распахивался сверху, и одна грудь, пухлая, как белый воздушный шар, почти совсем обнажилась. Шар был с отметиной — как будто на него уселся черный жучок.

Зизи спросила о маме, но ответ ее нисколько не интересовал — она таращилась на меня с таким видом, будто увидела черт знает что. Следующим был вопрос о Кати.

— Вы уже совсем юноша. А Кати? Все такая же хорошенькая?

— Такая, как всегда,— сказал я, и Зизи звонко и нервно засмеялась.

Наконец она дала мне пройти.

— Денеш! К тебе ученик! — крикнула она.

— Пусть он присядет! — донесся откуда-то негромкий, как обычно, голос Фараона.

Ласково кивнув, Зизи предложила мне войти, распахнула дверь, указала на кресло, но сама не вошла. Я отвесил поклон, в общем довольно неловкий, и Зизи, улыбнувшись, закрыла дверь.

Я сразу же увидел наши контрольные. Некоторые были раскрыты и лежали отдельно, у Живодера в тетради красовался кол, но это было обычно, а потому неинтересно.

Стол Фараона был завален журналами и книгами, беспорядочно сдвинутыми в стороны и оставлявшими в середине свободное место. Точно как у меня! С той лишь разницей, что книг у меня значительно меньше.

Книжная полка прогнулась, ковер основательно вытерт, медная пепельница — дубовый листок — набита окурками до отказа.

На стене картина, написанная в современной манере: букет диких маков с черной каймой.

И на столе фотография — 6 на 9,— очень знакомая: Фараон с нашим классом.

Я как раз рассматривал фотографию, когда дверь тихонько отворилась; досадуя на себя, я быстро поставил ее на место.

Фараон был в старой домашней куртке.

— Почему ты не сядешь? Нашел что-нибудь интересное?

Я сказал «спасибо» и показал на снимок.

Фараон уселся, кивнул, а я, провалившись в кресло, смотрел, как он закуривает.

— Это в Земляной крепости,— сказал я, имея в виду фотографию.— Мы учились тогда в пятом.

— С тех пор вы достаточно выросли, на мою беду,— он, как всегда, моментально свернул на любезную его сердцу тему, хотя и заговорил не о том, чего я ожидал.

— То, что ты написал, интересно,— сказал Фараон, щурясь от дыма и сверля меня глазами.

Я деликатно молчал. Под ногами у меня шуршал толстый ковер,

кресло было зверски мягким, вся комната затыкана салфеточками, даже на подставке для зеркала развевалась белая салфеточья борода. На тахте лежали огромные вышитые подушки, воздух был пропитан смесью табака и одеколона — сладкий мед акации,— и мне вдруг сделалось до коликов любопытно, как живут эти двое, когда меня здесь нет.

— Жаль, что не закончил.

— Перед целым классом, господин учитель...

— Разумеется, это нелегко. Ты в самом деле не закончил?

— Сперва кое-что написал, а потом порвал. Это уже второй вариант.

— О чем же ты там писал? Что взрослые напускают туман?

— Вы сказали, что мы скрытничаем.

— А ты считаешь, что взрослые делают то же самое?

— Да.

— Прекрасно. Тогда скажи, где ты видишь, где ощущаешь... этот туман?

Я внезапно разволновался, вспомнил нашу домашнюю обстановку, это вечное ожидание взрыва и против собственного желания выпалил:

— Допустим... папа и мама ссорятся... ссорятся просто страшно. Кати и я все слышим. Что делать — не затыкать же уши! А папа глазом не моргнув заявляет, что у мамы болит голова...— Я смотрел на него вопросительно и видел, что он и половины не понял из того, что я сейчас говорил, хотя кивал головой и двигал на столе пепельницу.

— Но ведь это неправда! И папа знает, что я это знаю. Вот видите, сплошной туман...

— А с папой ты об этом беседовал?

— С ним об этом нельзя.

Фараон, конечно, предложил поговорить с отцом, но я отказался наотрез.

— Отец, наверное, считает тебя ребенком.

— Может быть,— сказал я.

— А что ты скажешь о своем художестве? — спросил он неожиданно, хотя я предполагал, что к этому он и клонил.

— Только одно... Спасибо...— Ох, каких мук стоило мне выдавить из себя эти слова! — Любой учитель на вашем месте показал бы всему классу и потащил меня в учительскую; надо мной бы все гог... смеялись.

Несколько минут Фараон внимательно изучал мою физиономию, а меня прошиб пот. Он долго молчал.

— Твой рисунок — просто пошлость,— выстрелил наконец он прямой наводкой.

Еще бы! Я хотел улыбнуться, но, сообразив, что это выйдет не слишком натурально, счел за лучшее согласиться: пусть травит дальше. Между тем я старательно мял скатерть. Мои упражнения не ускользнули от внимания Фараона, однако замечания он мне не сделал. Какое великодушие, я был сыт им по горло.

— Не в моих правилах высмеивать людей. Но здесь нечто другое...

В это время вошла Зизи, и Фараон прикусил язык.

Она поставила на стол вазу с букетом свежих гвоздик. Фараон задумчиво смотрел перед собой.

— Зизи! — обратился он к ней, стараясь быть благодушным.— Не угостишь ли ты юношу чем-нибудь?

— Юношу? Конечно! Сейчас угощу.

Фараон вдруг застыл: должно быть, заметил, что Зизи переоделась; на ней был облегающий фигуру костюм, шею обвивал нарядный прозрачный шарфик.

Через полминуты она вернулась с тарелкой печенья. А мне вдруг

стало не по себе: я видел, что Фараону уже не до меня, глаза его потемнели, превратившись в два огромных черных зрачка.

— Ты уходишь? — спросил он.

Зизи нетерпеливо, но довольно мило ответила, как обычно отвечают на дурацкие вопросы:

— Я иду к портнихе... Мое пальто готово. До свиданья! — и мимоходом клюнула Фараона в лоб.

— Если ты чуть-чуть подождешь, я тоже...

— Новости! — с неожиданной грубостью перебила Зизи.— Тебе там нечего делать. До свиданья, юноша! Привет маме.

— Благодарю! — Я вскочил и уставился ей вслед. Стуча каблуками, она быстро вышла.

Лица Фараона не было видно, передо мной сияла его лысая макушка; он сидел, странно ссутулясь и подавшись вперед. А я не знал, уйти или остаться.

Было мучительно тихо, и я ни о чем не мог думать.

Но вот Фараон поднял голову и сразу сообразил, что я кое-что заметил; тут-то, единственный раз в жизни, он повел себя, как все обыкновенные люди... еще и сейчас, хотя и задним числом, я не могу себе простить, что на какой-то миг растерялся. А когда пришел в себя, на меня уже было направлено смертоносное оружие.

— Садись! — сказал Фараон с угрозой. Потом пошарил в кармане, вытащил записку, поправил очки и с раздражением стал читать. Закончил он почти криком: — Итак, «сегодня в нашей программе: источник материнского молока!.. Иллюстрации к плакату!» — Он смотрел на меня в упор совершенно черными глазами.— Припоминаешь? Может, приобщить к делу открытку?

Я слышал лишь собственное дыхание, весь мир окунулся во тьму, струящуюся из глаз Фараона; тщетно пытался я сосредоточить мысль на том, откуда он мог узнать... Глаза его не давали опомниться, и он сразу, как опытный следователь, оглушил меня следующим вопросом:

— Ты видел эти открытки?

— Видел,— услышал я свой запинающийся голос.

— Вульгарная дешевка!

— Да,— сказал я, больше всего мучаясь оттого, что на миг растерялся. А Фараон завелся и кричал, как помешанный, и на его желтовато-белом лице резче проступили морщины.

— Я эту мерзость покажу директору! Перцел немедленно вылетит из школы!

— Пожалуйста, не надо! У нас ведь последний год!.. Мы все исправим!

— Исправите? Как?

— Больше это не повторится...

— Где же вы раньше были?

— Виноваты все! — сказал я, опуская голову, и удивился, что сказал чистую правду и этой правдой, в сущности, отразил атаку. Пусть тогда выгоняют весь класс!

Фараон долго молчал.

Наконец он встал.

— Ну, что ж, все в порядке. Я на вас полагаюсь.

— Мы не подведем... вот увидите... мы будем благодарны...— бормотал я, запинаясь и наперед зная: чего-чего, а благодарности он от нас не дождется.

— Ну вот, Андраш! — сказал Фараон.— Туман напускать вы тоже мастера... А?

Я молчал.

— Передай привет своим родителям. До свиданья! — Он стоял,

выпрямившись и засунув руки в карманы. А я, едва волоча ноги, поплелся прочь.

Уши и лицо у меня горели. На лестнице я остановился. И стал думать о том, как странно ушла Зизи... Однажды Фараон сказал, что красивое тело и красивое лицо всего лишь внешняя оболочка. Но нельзя же представить Зизи или Агнеш без их обольстительной внешней оболочки. А вот у Фараона оболочка мятая, дряблая — словом, старик. Ему, наверно, лет сорок.

И вся сегодняшняя история совсем не его оболочка. Он лез в бутылку, придирался и только в конце стал самим собой. А все, что он плел до этого, был просто треп и бессмысленный визг — как на магнитофоне, когда слишком быстро запустишь пленку.

■

В галерее на повороте я столкнулся с Аги. Я устал, а от нее за версту несло весельем, из нейлоновой сумки выглядывали ноты. Неохота мне ей подпевать, подумал я, не пойду. Но она потащила меня с собой, и я злился, потому что шел против собственной воли.

Нас быстро догонял дядя Мики, жилец со второго этажа — он собственник мопеда «берва», и потому мы с ним в приятельских отношениях...

— Ц-ц-целую руку! — сказал я небрежно.

— Привет! — сквозь зубы процедил он, не удостаивая меня взглядом.

Зато, как кот, обошел вокруг Агнеш и надвинулся на нее, прямотаки пуская слюни.

— Целую ручки! — просюсюкал он.— Как поживаете, девушка?

— Благодарю вас,— девушка взмахнула свисавшим с макушки хвостом и ослепила галерею всеми своими зубами.— А вы?

— Когда вижу вас, просто великолепно,— с неподражаемым остроумием проблеял старец.— Сколько же можно хорошеть? Скажите, сколько же можно хорошеть?

— Прикажете перестать? — пискнула Аги и завихляла всеми округлостями.

— Ладно, пошли,— буркнул я. Дядя Мики испепелил меня взглядом, потом осклабился в сторону Аги, сорвал с лысого черепа шляпу и стильно простился.

— Мое почтение!

— Пока! — чирикнула Аги и сбежала по лестнице.

Сила! У собственного подъезда строит из себя *взрослую женщину,* вертит бедрами перед всяким хмырем и стыдится того, что я рядом. Ко мне она, конечно, не прикоснется даже под страхом смерти, а ведь в детский сад мы ходили, взявшись за руки. Делает вид, будто я мелкота, этакий друг детства или еще черт знает кто — только бы не подумали, что поклонник. Меня так и подмывало дать ей пинка и бросить одну — да где мне, я ж деликатный. Правда, когда она не выламывается, с ней можно поговорить даже о серьезных вещах...

Едва мы ступили на склон горы, Аги мигом забыла, что она *взрослая женщина,* которой мужчины целуют руку. Просто здорово. Уже в автобусе она стала драть меня за волосы. Конечно, ее заедало, что я до нее не дотрагиваюсь. Где уж нам!

Мы вышли из автобуса и перескочили через кювет; Аги вдруг повернулась, толкнула меня и с визгом понеслась вперед. Я — за ней, совершенно не представляя, что буду делать, когда догоню. Хотел дать ей подножку, но побоялся, что ушибется. В общем, я жал вовсю, пока Аги не выдохлась. Тогда она бросилась навзничь, оперлась о землю локтями и стала брыкаться, как будто я собирался на нее напасть. А я стоял, пялился и тяжело дышал, потому что юбка у нее бессовестно задралась.

Тут она спохватилась, что я любуюсь ее прелестями, поджала ноги и натянула юбку до щиколоток.

Я приволок плоский камень и уселся рядом. Мы смотрели на раскинувшийся внизу огромный игрушечный город с беззвучно бегущими трамвайчиками, крохотными мостами и жуками — пароходиками, плывущими по Дунаю.

Сердце у меня выколачивало неизвестно что,— конечно же, не от бега.

Агнеш вынула ноты и запела:

О чем грустишь ты, темный лес,
Что ты сточишь, мрачнее ночи?
Одной я думой озабочен:
Как в рост пойдет моя листва.

— Подходит?— спросила она, давая мне тон.

— Высоко,— буркнул я, хотя знал, что ничего не поможет: придется петь, потому что мы друзья. Раньше у нас получалось довольно сносно. Но Аги, видите ли, желает петь в любое время дня и ночи, к тому же еще и фокусничает, а у меня голос ломается, и в самый ответственный момент я могу просто дать петуха. Дискантом петь мне уже трудно.

Я едва дотянул до конца, поглядывая то в ноты, то на грудь Аги, а в горле от напряжения кололо, как при ангине.

Но Аги, кажется, осталась довольна.

— Тебе не нравится уже петь, Андриш?— спросила она под конец.

— Нет.

— Раньше ты этого не говорил.

— Приходится сильно напрягаться. Слишком высоко для меня.

Она жевала травинку, должно быть что-то обдумывая, потом заговорила:

— Скажи, Андриш, почему ты всем говоришь «целую руку»? Ты ведь уже не маленький.

— Не маленький, не маленький,— передразнил я оскалившись.— И ты тоже взялась за нотации. Стоит кому-нибудь на меня посмотреть, как сразу же начинается дрессировка.

— Тебя дрессируют?— спросила она, сдерживая смех, чтоб меня не обидеть.

Злость моя мгновенно пропала, но продолжал я так же запальчиво:

— Как хищника! Вот послушай, что делает мой родитель! Если все нормально, он с высоты своего величия вопрошает: «Как дела, молодой человек?» А все остальное время дрессирует и поучает. Всегда. Сам бы сперва поучился!

Моя пылкая речь рассмешила Аги.

— Сам бы сперва поучился!— с удовольствием повторила она смеясь, оправила юбку и встала.

— Ничего смешного,— сказал я, желая растолковать свою мысль.— Вечером, например, перед сном, я с ним прощаюсь: «Спокойной ночи, папа». А он взглянет волком, сверкнет исподлобья белками и отвернется к окну.

— А ты не прощайся!— подстрекательски пискнула Аги.

— Я, видите ли, сын и обязан отдавать дань уважения родителю. А уважаемый родитель нос в сторону воротит.

— Однажды я видела такое в кино...

— Да?

— Женщина на что-то обиделась, отвернулась к окну, мнет гардину и смотрит вдаль. Друг окликает ее несколько раз, она— ноль внимания.

— Гм,— промычал я подозрительно, догадываясь, что сейчас нач-

нется очередное кривлянье: слишком резко отклонилась подруга моего детства от первоначального курса.

Аги подошла к краю обрыва и начертила в воздухе окно.

— Вот окно. Я — упрямая женщина. А ты хочешь со мной помириться.

Стоя у воображаемого окна, она передернула плечами, потом повернулась и сурово взглянула на меня. Взгляд ее ожег, как удар плетью.

Органически не переваривaю никаких кривляний. А она собирается то ли в певицы, то ли в актрисы и пробует на мне свои силы. Здорово.

Мы начали игру. Задрав голову, она корчила какие-то рожи, делала вид, будто мнет гардину, нетерпеливо притопывала ногой и ждала.

Наконец, она обернулась, а я стоял, впившись глазами в ее плечи... в голове у меня помутилось, дыхание перехватило, и я не смог войти сразу в образ.

— Простите, сударыня!— сказал я наконец, склонившись, и сам удивился, как звучит мой голос — гораздо нежней, чем обычно.

Плечи у Аги дрогнули, она снова запрокинула голову и надменно уставилась вдаль.

Чтобы привлечь ее внимание, я повысил голос и произнес с раздражением:

— Я сказал ведь: простите!— Но все равно суровей не получилось.

Агнеш не обернулась.

— Сколько раз повторять!— сказал я и, не зная, что делать дальше, схватил ее за волосы и насильно повернул к себе.

Она посмотрела так странно, с каким-то неожиданным интересом, и сбросила с головы мою руку, словно камень.

Потом прильнула ко мне, положила руки на плечи и долго глядела на меня, не отрывая глаз.

— Вот так прощение,— сказала она едва слышно.

Я смотрел на ее влажные зубы, блестевшие из-за раскрытых губ, на густые тенистые ресницы, и все завертелось у меня перед глазами: игрушечный город, гора, деревья со скудной листвой, плечи и губы Аги...

На извилистой горной дороге зарокотал мотор автомашины. Улыбка внезапно сошла с лица Аги, и мы молча продолжали смотреть друг на друга. Рокот мотора приближался. Губы Аги были раскрыты, она ждала, а я в общем-то оплошал. Машина, наконец, пронеслась — большой черный «мерседес». Когда я заговорил, голос у меня был совсем хриплый.

—«Мерседес», шестицилиндровый.

Агнеш отвернулась.

— Барахло,— обронила она ледяным тоном.— Вылитый жук-олень.

— Мотор для тебя ничто. Главное, чтоб кузов был белый.

— Да,— надувшись, отозвалась она и пошла вниз.— Или красный, как вишня на дереве.

Она что-то вполголоса запела, а я молча поплелся за ней.

На углу Майора Аги смерила меня критическим взглядом.

— Вырос ты из своего пиджака. В рукавах руки не умещаются.

Я погасил настольную лампу в половине второго ночи.

■

Дома настроение убийственное, время ползет как улитка. Звонят. Надо открыть. А-а, Петер Чабаи! Войдя, он нахмурился и стал пытливо оглядываться по сторонам. Я махнул ему, зазывая к себе, но в проходной комнате мы наскочили на Кати. Ах, как стильно они здороваются! Он таращится на нее, как баран, а она потрясающе строит глазки. Черт побери, просто не выношу, когда вьются вокруг моей сестрицы. Раньше меня это не трогало, но раньше, правда, не очень и увивались.

Петер, как видно, приклеился к полу. На повестке дня какой-то велопоход, и Кати так вкручивала, будто я тоже в курсе дела. А я не в курсе — первый раз слышу. Петер мой друг, мы с ним ездим на велосипедах, но устраивать им рандеву — увольте. Кати еще не в *том* возрасте, как говорит мама.

— Пошли! — бросил я Петеру, но он сделал вид, что на одно ухо оглох, кивал башкой и плел какую-то чушь насчет того, что раздобыть дамский велосипед — ему раз плюнуть.

А Кати ловила каждое его слово; у этой идиотки, должно быть, совсем из головы вон, что родители дома и в любую минуту может вспыхнуть скандал.

Я прямо-таки взмок, пока отдирал Петера от пола; наконец, притворив тщательно дверь, я оглушил его шепотом:

— Послушай! Я был у Фараона!

Петер разинул рот.

— Ты тоже?

Теперь уже я был оглушен и страшно рассвирепел: поразительная осведомленность, попробуй угонись за таким.

— Все понятно. Чего ты гогочешь? Признался?

— Конечно. А ты?

— Нельзя было иначе.

— Тухлое дело.

— Почему?

— Класс решит, что мы доносчики.

— Трясешься?

— Идиот.

— Скажем правду, а кто не поверит, тот схлопочет.

Мы до мелочей разработали план контратаки, когда в соседней комнате загрохотали шаги и хлопнула дверь, так что с потолка посыпалась штукатурка.

— Во всяком случае, ужинать я дома не буду! — прокричал голос родителя.

Чабаи, отведя глаза, занялся господином Геринцем.

— Заварушка? — спросил он наконец, так как я все еще не нашел, что сказать.

— Небольшой... пограничный инцидент,— я пытался говорить легко и непринужденно.

— Ага. Ну, я пошел. До завтра,— сказал он и сморщил лоб.

— До завтра,— машинально повторил я.

Я должен был выйти первым, чтоб Петер не столкнулся с родителем.

— Вот так казус,— входя, бросил я Кати.

Она спросила, что это такое, я посоветовал поискать в словаре.

■

Мы начали наступление с трех сторон, когда Живодер ногами-лопатами безжалостно вытаптывал траву на Вермезэ. Нас он долго не замечал и вдруг остановился, будто увидел отражение в зеркале. Сперва он хотел рвануть, потом ухмыльнулся и стал, широко расставив свои лопаты.

Мы окружили его молча.

— Что новенького, гаврики?

— Слушай, Живодер! — сказал я.— Фараон желает приобрести у тебя несколько открыток, ну, конечно, по сходной цене.

— Опоздали, гаврики! — заржал Живодер и замахал от восторга своими граблями.

Обозленные, мы растерянно переглядывались и бессмысленно разевали рты, пока не заговорил Чабаи.

— Чего это тебя так разбирает, чучело?

— От агитации. Не видать вам теперь ни звукового плаката, ни девочек,— сказал Живодер.

— Заливаешь? — окрысился Жолдош и собрался ему врезать.

Мы с Петером оттащили Жолдоша.

— Я завязал, милорды,— с удовлетворением пояснил Живодер.— Фараон проветрил мозги моему папе...

— А папа тебе?

— Вентиляция — первый сорт! Сперва проветрили серое вещество, потом череп и наконец то и другое вместе.

Живодер снова залился каким-то дребезжащим смехом.

— Хорошо, что вентиляция помогла,— сказал я, но у меня уже пропала охота продолжать это дело.

— Кто мог настучать Фараону? — спросил задумчиво Чабаи.

— Подонок всегда найдется. Бросьте, гаврики! — махнул Живодер граблей.— Как вы думаете? Сделают из меня космонавта?

— Можешь не беспокоиться, ракета готова,— сказал Чабаи.

— Да нет же! — пробормотал Жолдош.— Фараон на скандал не пойдет.

— Пока ты останешься,— добавил я, скорее всего затем, чтоб утешить себя и других.

— Браво, брависсимо! — заорал Живодер.— Об этом я откровенно сообщу старику. Я остаюсь, сударь, удаляться пока не желаю. Я чертовски рад, господа. Гуд бай, гуд бай...— попятившись, он вразвалочку зашагал по траве, а мы остались и с огорчением смотрели друг на друга. Жолдош рухнул на скамью и сочно сплюнул.

— Не хватает только церемониального марша! Блеск!

— Здорово вляпались! — сказал Чабаи с отвращением.

Мне тоже в голову ударила кровь.

— «Я на вас полагаюсь». Видали? Черта с два он на нас положился!

— На нас положился, а сам втравил отца Живодера. Они друг друга стоят... Пошли гонять в футбол.

— Пошли! — сказал Чабаи.

Мы до вечера на Майоре играли в футбол.

■

Они стояли у ворот полукругом. Я еще издали разглядел Агнеш. Она была в самом центре и вилась вьюном, выставляя себя на обозрение в новых узеньких брючках и обтягивающем пуловере с огромным вырезом, а они теснили ее к стене.

Я убавил шаг и хотел проскочить не задерживаясь.

— Привет! — бросил я на ходу.

Ответа не последовало, но вся компания уставилась на меня недобрыми глазами. Тогда я остановился. Ну что ж, кто кого, давайте!

Неожиданно из круга вынырнула Агнеш.

— Андраш! Подожди!

— Ты идешь?

Она шагнула мимо меня и взлетела по лестнице. Я оглянулся на разинувшую рты компанию, захлопнул ворота и потрусил за Аги.

— У тебя умопомрачительная популярность! — сказал я.

— Да ну, малышня! — сморщила губы Аги.

В желтом свете одинокой лампочки я мог спокойно ее разглядывать, а у нее блестели глаза, и она смотрела на меня тепло и как-то странно.

— Ты спешишь?

— Нет.

— Мне нравится так встречаться...
— Как?
— Случайно.
— Хороша случайность — ведь мы живем в одном доме.
— Все равно случайно. Это интересно. Правда?
— Правда. У тебя красивый... пуловер,— сказал я помолчав. В полумраке лестницы можно было дать волю глазам, и я был доволен.
— Тебе нравится?
— Да.
— Ты проводишь меня?
— Конечно.

Мы снова пошли. Я поглядывал на наши окна, но сквозь шторы видно было лишь, как мелькают тени.

На площадке третьего этажа мы остановились.
— Пойдешь на концерт? — спросила она.
— Когда?
— Завтра в шесть.
— Пойду. У меня там как раз дела.

Как-то мило заворковав, она засмеялась.
— Ты всегда говоришь одно и то же...
— Я не шучу.
— У тебя всегда дела именно там...
— Всегда.
— ...где я?
— Да.

Вдруг она погладила меня по лицу. Я чуть-чуть подался к ее руке, и тогда она закружилась и помчалась по галерее, добежала до конца, обернулась и, перегнувшись через перила, махнула рукой.

Дрожа мелкой противной дрожью и глядя на среднее окно нашей квартиры, я нехотя поплелся вниз.

■

Стрелки тикавших в кухне часов показывали семь. Дверь в проходную комнату была приотворена, там сиял свет, на столе лежали свертки, и шла грандиозная примерка. Мама перед зеркалом выравнивала на платье складки, а Кати влезала в банлоновый пуловер. Я стоял у двери и с интересом наблюдал за происходящим.

Кати была в упоении, вертелась, поднималась на цыпочки, из-за маминой спины заглядывала в зеркало и поглаживала пуловер, то есть свою грудь, если выражаться точнее.
— Ох, красота! Папа! Мне идет?
— Еще бы! Все у тебя там наилучшим образом разместилось,— сказал папа. Ха-ха-ха! Ну и сострил — вот потеха!

Кати обернулась, обняла его за шею, поцеловала в щеку, проскакала через всю комнату и скрылась за дверью моей клетки.

Мама с головой ушла в изучение платья.
— Как ты все-таки угадал, Шандор,— пропела она, с восхищением обозревая себя в зеркале.
— Мне казалось, что трикотаж хорошо охватит...— Папа очертил руками фигуру мамы, достаточно близко и не очень-то деликатно. А маму все равно распирало от удовольствия. Сила!
— Где ты его купил?
— На улице Ваци.
— И не боялся?
— Чего?
— Что не подойдет. Вдруг окажется тесным или широким?

— Но я же тебя немножко знаю.— Он сказал это так умильно, что я не мог больше ждать и громко кашлянул.

— А... цена гебя не испугала?

— Нисколько. Надо же было реализовать эту проклятую премию.

— Посмотри, Шандор... оно меня не полнит?

— Нет, нет, нисколько. Что ты!

Я толкнул дверь.

— Целую руку!

Папа просверлил меня взглядом, мамино отражение в зеркале отрешенно кивнуло. Затем папа поднес к глазам часы, а я привалился плечом к шкафу и ждал, что последует дальше.

— Ну-с, молодой человек! — снисходительно заговорил родитель.— Тебе нравится?

— Картинкя-а! — протянул я.

— Картинкя? Ты кому подражаешь?

— В Гёчейе так говорят: картинкя, игрушкя.

Сперва папа оторопел, потом собрался как следует рявкнуть, но тут вмешалась мама.

— Знаешь, Шандор, эта пуговица, по-моему, грубовата.

— Почему? — спросил родитель с уже испорченным настроением.

— Не знаю. Может быть, цвет...

Ну, подумал я, мама может порадоваться, сейчас он снова займется ею.

Но он опять повернулся ко мне.

— Подойди, Андраш!

Я пошел. Но так, будто у меня отнимались ноги. Одну руку из кармана я все-таки вынул. Но он, как видно, считал, что расстояние между нами еще велико, и молча гипнотизировал глубоко засунутую в карман другую руку. Ну, ладно — ее я тоже вынул.

— Я и тебе кое-что принес! — возвестил он каким-то ненатуральным, таинственным тоном.

Я молчал. Тогда он закатил речь:

— Ты, конечно, не заслужил, но в надежде на исправление...

Вытянув руку за километр, он вручил мне подарок — перочинный ножик со штопором, ключом для консервов и прочими штуками. Неплохой инструмент. Но поскольку преподнесли мне его «в надежде», меня так и подмывало сказать, что «в надежде» я не нуждаюсь,— да нельзя обижать родителя.

Он наблюдал за мной с величавой суровостью, но я-то знал, чего он ждет: бурного извержения; он надеялся, что я начну клокотать от счастья. А я взял нож не глядя, такой же деревянной рукой, какой он мне его преподнес, и со страшной натугой выдавил:

— Да. Благодарью.

— Что?

— Я слышал это в одном кинофильме. Так всегда иностранцы говорят: благодарью. У них не получается «рю».— И я судорожно затрясся от смеха.

— Иностранцы... Шут гороховый! — Родитель смотрел на меня с таким возмущением, будто на совести у меня было по меньшей мере убийство.

Мамино отражение в зеркале, правда без особой твердости, вклинилось в наш интересный диспут:

— Что за поведение! Как свинопас!

Тогда я поскорее убрался к себе, а мама продолжила разговор на захватывающую тему:

— Все-таки эту ракушку я сменю.

— Напрасно, она весьма экзотична,— сказал родитель.

Согласие, очевидно, было достигнуто, потому что дебаты о пуговице прекратились.

■

Кати стояла перед зеркальным шкафом, делала пышный начес и, под предлогом нового пуловера, оценивала свои женские штуки. Я схватил клюшку и, вертя ее, как полагается, над головой, пустился в пляс. Я отплясывал танец свинопасов и напевал сквозь зубы:

Всяк узнает свинопаса
по его походке,
по лаптям его плетеным
и ременной сумке.

Надоест мне дом и люди,
день в заботах жить,
тоже стану свинопасом —
жить и не тужить.

Кати покосилась на меня через плечо, потом подошла ближе.

— Ты спятил? Что ты делаешь?

— Готовлюсь к жизненному поприщу... «Всяк узнает свинопаса»...

— Ты хочешь стать актером?

— Нет. Свинопасом. Или шутом гороховым. Что ты пялишься? А ну, мотай отсюда, не то получишь!

— За что?

— Во-он!

— Гадина! — прошипела она.

— Пустой треп. Я свинопас! А ты иди вон!

Она пошла, потом передумала и со строптивым видом уселась на тахту.

Тогда я сунул руку в карман, со щелчком открыл подаренный ножик и пошел на нее пригнувшись, словно собирался вспороть живот. В глазах ее мелькнул ужас.

— А-а, испугалась? — загоготал я.

— Идиотские шутки,— вырвалось у нее с облегчением.

Я прицелился, как метатель ножей. Нож глубоко вошел в паркет и, вибрируя, замер.

Я не успокоился и метнул его в чертежную доску.

Кати вертела в руках нейлоновую косынку и всем своим видом показывала, что ей не терпится посплетничать.

— Андриш! Они помирились.

Я продолжал метать нож.

— А как же, ха-ха... ведь прошло три дня.

— Какие три дня?

— Три дня наш папа приводит в порядок нервы, на четвертый приносит подарки. Следующие два дня в семье тишина и покой. Потом снова отчаянная грызня... Грызня — подарки, грызня — подарки.

Я приноравливался так, чтоб посылать нож в доску с началом каждой фразы.

— Опять ты ворчишь? Лучше посмотри, какой чудный пуловер.

Я помолчал — по поводу пуловера возражений не имелось. А вообще-то мне было что сказать.

— Могу изложить дальнейшую программу.

Кати просто распирало от любопытства, а я снова взялся за нож.

— Следующий номер программы — воспитание драгоценных отпрысков. Он входит, обворожительно улыбается... и вопрошает: «Как дела, молодой человек?»

Кати засмеялась.

— Сегодня на тряпки и прочую дребедень,— продолжал я,— ухлопали примерно тысячу форинтов. Через неделю грозный допрос: где деньги? Куда делись деньги? Ты истратила деньги! И пошло-поехало с самого начала...

Кати опять засмеялась, но теперь уже не от всей души.

■

Скоро десять, я увлекся книгой о путешествии, как вдруг что-то с силой грохнуло об пол, потом зажурчал разговор, но слов нельзя было разобрать. Я захлопнул книгу и внезапно почувствовал, как от нервного напряжения закосили глаза. Готов побиться об заклад: предки грызутся! Я чуть-чуть подождал — снова какое-то неразборчивое бормотанье. Оставив дверь приоткрытой, я, крадучись, вышел в проходную комнату и прислушался. Тишина.

Вдруг Кати села на своем диване.

— Что ты бродишь, как привидение?

— Ш-ш-ш! — Я обернулся и взглянул на нее исподлобья.— Послушай! Они опять ссорятся?

— Ошибаешься! Они в прекраснейших отношениях,— цинично хихикнула сестрица. Ну, что с этой идиоткой делать, ведь каждый вечер подслушивает, а поумнеть ни на йоту не поумнела.

— Тогда почему ты не спишь? — спросил я и натянул ей на нос одеяло. Но она была начеку, молниеносно схватила тапку и, только я повернулся, чтобы уйти, огрела меня ею по голове. Я схватил вторую тапку, и мы — я на полу, Кати на тахте — встали наизготовку. Защелкали удары, но я старался бить по рукам, а если б взялся по-настоящему, она бы вмиг стала сине-зеленой — на ней ведь каждый синяк виден. На меня удары сыпались сверху, и оба мы так увлеклись новым видом спорта, что позабыли обо всем на свете.

Но мы, должно быть, подняли страшный шум, потому что дверь отворилась и вошла мама. Вид у нее был растерзанный, как будто она тоже выскочила из жаркой схватки: халат распахнут, ленты шелковой ночной сорочки развязаны.

— Что вы делаете?

— Он мне спать не дает! — промяукала Кати.

— А она нахалка!

— Иди, иди, мальчик. Вечером все ложатся спать.

— Меня здесь и не было.

А я-то, бедный, не знал, что вечером все ложатся спать. Спасибо мамочке — просветила.

В дверях я обернулся — она запахивала халат.

■

Агнеш прислала пригласительный билет. Гайдн «Времена года». Генеральная репетиция. Публика — родственники и знакомые — чопорно сидела на местах. Я пристроился с краю последнего ряда. Музыка и пенье, если слушать их одному, были прекрасны.

Тенистые ресницы Агнеш опускались и поднимались, а черные зрачки то и дело уплывали вправо, на миг замирали, потом, прыгнув, возвращались к дирижеру.

Проследив за взглядом Агнеш, я обнаружил у баритонов черноволосого парня с матово-бледным лицом. Во время пауз они так таращились друг на друга, словно увидели сказочные сокровища.

Звучно гремели слившиеся воедино хор и оркестр. Репетиция кончилась. Черноволосый в клетчатом пальто появился в фойе и принялся дрейфовать вокруг Агнеш. Потом их заслонила толпа.

Я бросился прямиком к двери и, работая локтями, вылетел на улицу.

— Андриш! Ты тоже сбежал? — услыхал я за спиной голос Агнеш и вздрогнул от неожиданности.

Она, не глядя, схватила меня за руку и посмотрела назад.

— Вон мои родичи. Давай удерем!

Мы пошли по бульвару. Я засунул руки в карманы, почувствовал, как углы губ у меня опустились, и скосил глаза на Агнеш. Остановившись у витрины, она поправляла прическу и разглядывала, конечно, себя, а не выставленные там туфли.

— Почему ты меня не поздравишь? — спросила она, протягивая руку.

— Поздравляю! — сказал я брезгливо.

— Правда, прекрасно?

— Картинкя!

— Что?

— Так в Гёчейе говорят.

— Ты спятил? — спросила она изумленно.

— Может быть.

Она быстро взглянула на меня, кажется, даже с опаской.

— Я просто счастлива...

— Гм,— хмыкнул я, не дав ей договорить.

— ...что выступаю здесь... в консерватории. А ты только фыркаешь... да отпускаешь свои деревенские словечки.

В трамвае мы ехали молча — оба были страшно заняты. По моим наблюдениям, в этот вечер в вагон садились одни мужчины. Они двигались по проходу, хитро и жадно переползали от скобы к скобе и раскачивались, как обезьяны на ветках. Лишь только они приближались к Аги, глаза у них становились маслеными. У тех, кто потрусливей, глаза беспокойно метались и украдкой ласкали ее вызывающе оттопыренный бюст. Другие неуклюже вздрагивали, таращились, словно зачарованные, толкались и топтались на месте, игнорируя призывы кондуктора. Они вертелись, и я знал, что им надо: полюбоваться ее ногами.

Агнеш тошнотворно упивалась успехом. Глаза ее вообще не бывают холодными, неприветливыми — типичные глаза всех красивых женщин. Даже самым трухлявым хмырям она посылает веселые и благодарные взгляды, как будто они ее партнеры в игре. Все подонки, конечно, лопаются от радости, словно выиграли такое, на что никогда не рассчитывали.

Мы вышли у моста Маргит. Агнеш навалилась на парапет и уставилась на реку: в воде отсвечивали, двоились вечерние огни. Я тоже прислонился к парапету, понурил голову и закусил губу, мучаясь от желания задать давно терзавший меня вопрос.

Под нами проплыл пароход.

Агнеш, конечно, опять что-то надумала.

— Кажется, будто мы плывем. Странно. Правда? — сказала она и посмотрела на меня.

— Кто этот... в клеточку? — спросил я гораздо взволнованней, чем следовало.

— Кто?

— Ты же прекрасно знаешь.

— В клеточку? А-а! Пишти Козак...— Она вся просияла.

— Пишти-и? — произнес я с отвращением.

— Чудесный мальчик.

— Еще бы. По фасаду видно.

— Он тебе не нравится? — вызывающе, хотя с виду кротко, спросила она.

— Да что ты! Товар без брака. Гладенький, как нейлоновый носок.

— Какой ты гадкий! Как ты смеешь так разговаривать!

— Как принято с предателями.

В душе моей поднялась странная горечь, я чуть не заревел и, не поднимая головы, поплелся прочь.

Сзади я слышал ее шаги.

— Кто же предатель? — с удивлением спросила она.

Внезапно остановившись, я вцепился руками в парапет и крикнул Дунаю, визгливо и резко:

— Кто? Ты! Одна ты!

Подбородок у меня плясал, и я не смел поднять на нее глаза. Она подошла и, терпеливо уговаривая, сказала:

— Что ты придумал... Ведь я водила тебя в детский сад, когда мы были еще малышами. Господи! Ну кто виноват, что ты поздно родился?

— Но я родился раньше, чем ты!

— На три дня. Этого мало.

— Почему? Есть множество случаев, когда жена старше мужа и живут прекрасно.

Я упрямо смотрел в отсвечивающую огнями воду. Она долго молчала, потом заговорила, в общем-то сдержанно:

— Не валяй дурака. Мы друзья — и ничего больше. А я не предатель. Возьми свои слова назад. Берешь?

Я молчал.

А она меня понукала все более нетерпеливо:

— Берешь или нет?

— Ладно. Беру. Что дальше? — Голос у меня дрожал, и она, к сожалению, поняла, что я жду от нее каких-то обещаний.

— Пошли! Вот автобус.

Как раз подошел двенадцатый. Она вошла, а я вскочил в последнюю секунду.

...Словом, я опоздал с рожденьем. А ты, что же ты так спешила?

На повороте галереи Агнеш, прощаясь, протянула руку, а я в тот момент и не подозревал, что дома уже шипит, загоревшись, бикфордов шнур и что в ближайшие дни один за другим последуют взрывы, которые выбьют на время из моей памяти все, что было до этого для меня таким важным, даже Агнеш.

■

Застекленное оконце в двери открылось.

— Не звони! У нас гость,— взволнованно прошептала Кати.

— Ну и что? Он спит?

— Не придуривайся! Входи поскорей.

Она взяла меня за руку, и через ванную мы пробрались в мою клетку. Из проходной комнаты совершенно отчетливо слышался неторопливый разговор. Я тихонько присел на тахту, а Кати вертелась поближе к двери.

— В этом случае уплывет тысяч двести! — сказал чужой спокойный голос.

— Да, примерно. Но надо доказать каждый филлер,— это сказал папа, и в голосе его было такое же раздражение, с каким он обычно разговаривает со мной.

— Я понимаю. Кроме того, я абсолютно уверен, что ваши рассуждения справедливы. Но скажите, товарищ Хомлок... почему вы откладываете?.. Ведь документация все подтвердит.

Папа не отвечал. Мы с Кати переглянулись. Она возбужденно посмеивалась, и глаза ее выражали примерно следующее: «Ух, интересно! Правда?» Поглядишь на нее и диву даешься: хоть бы раз поняла, что творится вокруг,— нет, ничего понимать не хочет.

Наконец папа заговорил, тяжело, глухо:

— Надо подождать. Тем временем что-нибудь подвернется.

— Корка от апельсина...— сказал гость и засмеялся.

— Вы напрасно иронизируете. Ведь так уже было.

— Я не иронизирую. Все, что вы говорите, вполне вероятно. Они так зарвались, что наверняка поскользнутся. Но... мне не хочется ждать.

— Мне тоже. Но сейчас надо. Впрочем, дело не в этом.

Снова молчание.

Потом скрип открываемой двери, дребезжанье посуды и голос мамы:

— Не угодно ли кофе? Отчего вы не снимете пальто?

— Премного благодарен. Действительно жарковато,— с живостью и очень любезно ответил гость.

— Я должен был раньше предложить,— сконфуженно сказал папа.

— Мы увлеклись,— добродушно заметил гость.

— Вы любите сладкий? — Это уже ломала комедию мама.

— Две ложечки, пожалуйста. Не беспокойтесь, прошу вас.

— О, пустяки.

Снова скрип — мама тактично удалилась. Кати на цыпочках подкралась к двери, прижалась к замочной скважине и сделала знак, что видимость вполне приличная.

Я встал.

Разговор между тем продолжался.

— Как-то вы сказали, что в нашей организации был бы истинный рай, если б не столько воров! — сказал гость по-прежнему глуховато, но с какою-то странной настороженностью.

— Это слегка преувеличено.

— Действительно, рай! Но для кого? Для воров!

— Ну и что? Разве его создали я или вы?

— Ни я, ни вы. Но мы создаем благоприятную почву.

Воцарилась мертвая тишина.

Я тоже подошел к двери.

— Мотай отсюда!

Кати без звука подвинулась. Я опустился на колено. Гость, молодой человек в очках, положил по-домашнему локти на стол и улыбался.

Папа, схватившись за голову, смотрел в сторону.

— Вы же знаете, товарищ Кёрнеи, я и не думаю отгораживаться,— сказал он наконец, нервно ероша волосы и сморщив лицо.

— Знаю. Раньше вы намекали, что вас тревожит другое. А тут коррупция....

— С коррупцией не все еще ясно,— папа откинулся на спинку стула и сжал челюсти.

— Ну что ж, дело за вами. Вы все и выясните. Срочно подсчитаете...

— А что, если Зойоми заручится поддержкой... сверху... Вы понимаете? — Папа вцепился руками в стол, так что пальцы побелели.

— Боитесь? — глядя поверх очков и раздувая ноздри, Кёрнеи подался вперед.

— Боюсь. Страх не такая уж редкая птица, товарищ Кёрнеи! — На лбу у папы заблестели капельки пота, руки по-прежнему судорожно стискивали угол стола.

Снова тишина. Оба смотрели перед собой.

— Тогда, по делу Лакса, вы были правы! — с живостью сказал Кёрнеи.

— А мне за это намылили шею!

— Но сейчас мы будем вместе. Или мне вы тоже не доверяете?

— Отчего же...— Папино лицо чуть-чуть просветлело.

— Тогда за дело!

Папа не ответил, рассеянно закурил — руки у него противно дрожали — и уставился в одну точку, как будто был один.

Осторожно отодвинув стул, Кёрнеи встал, папа тоже. Он смотрел на гостя все тем же отсутствующим, стеклянным взглядом, так что я испугался, не забыл ли он, что перед ним человек. Наконец он нехотя заговорил.

— Грязное дело!— сказал он кисло.

— В этом-то вся беда. Они, кстати, менее брезгливы.

Я посмотрел на Кати: лицо у нее вздрагивало.

— Ты что-нибудь понимаешь?— запинаясь, спросила она.

— Черт их там разберет! Ладно, помолчи.

Хлопнула входная дверь.

— Ушли,— сказала Кати, вздохнула и потерла лоб.

А меня слегка замутило, где-то в желудке зашевелилась злость.

— Видела?— сказал я сестре.— Он дрожал, как осиновый лист.

— Ни капельки не дрожал. Просто думал...

— Нет, дрожал! Трясся!.. А ты не хочешь ничего замечать.

Я рванул дверь: мама убирала со стола и на нас взглянула так, будто видела впервые.

— Андриш! Открой окно! А ты вынеси чашки!

Задумавшись, она продолжала убирать посуду, а я открыл форточку и взялся за книгу. Вошла Кати и тоже уселась с книгой. Но мы только смотрели на буквы.

Вскоре вернулся папа, и мама сразу же на него налетела:

— Зачем он приходил?

— Ты же слышала,— устало, с раздражением ответил он.

— А зачем ты его провожал?

— Вежливость всегда обязательна,— сказал папа, махнув рукой.

— Кто же эти пройдохи?

Он что-то шепнул ей на ухо.

— Господи! Настоящая панама! — воскликнула мама и содрогнулась.— Что ты ему обещал?— подозрительно спросила она, помолчав.

— Ничего.

— И внизу ничего не обещал?

— Ты не веришь?

— Господи! Опять ты хочешь впутаться в...

— По-твоему, все дела одинаковы... Дай мне подумать!

— Я припоминаю...

— Знаю, знаю...

— После истории с Лаксом ты получаешь самую маленькую премию!

— Тогда ведь было совсем другое. Там была политика.

— Да. Политика. А ты защищал того идиота...

— Лакс идиотом не был. И я сказал правду.

— Ты сказал ее не вовремя!

— Допустим! А что ты хочешь сейчас?

— Чтобы ты не писал никаких заявлений. Если ему хочется, пусть пишет сам!

— Это ничего не изменит. Потом мы поменяемся местами.

— Ну что же, лезь, старайся! Ты напишешь заявление, а другие останутся в стороне.

— Да, да!.. Дай мне подумать.

— Тебя все возненавидят. Потому что все *так* делают.

— Ты абсолютно права. С завтрашнего дня и я начну *так* делать. Ты довольна?

— Ты с ума сошел?

— Тебя это удивляет?— сдавленным голосом спросил папа, и взгляд у него стал смятенным.

Потом они ушли в его комнату. Кати, конечно, мало что поняла и смотрела на меня с ужасом. Да и мне сперва пришлось построгать мозги. Что же это? Папа прямо сказал: «Боюсь». При этом лоб у него пожелтел и взмок. Конечно, правду тогда он сказал не вовремя. Выходит, правду не всегда следует говорить? А жаль. Правду говорить одно удовольствие. А мама дрожит от страха, потому что боится заявления. Но ведь Кёрнеи можно верить. Кто же он, этот Кёрнеи? И что теперь будет? Правда, что теперь будет?

■

Кати пообедала и смоталась, а я, заявившись домой, стал жарить яичницу на сале. Она, разумеется, подгорела: щурясь от едкого дыма, я, стоя, сжевал яйцо с черными крапинками, потом поискал сигарету и закурил. Но скоро пришлось ее бросить, потому что раздался стук в дверь.

Кровь ударила мне в голову, я просто замер от удивления и не мог языком шевельнуть, чтобы поздороваться: в дверях стояла Агнеш в плотно облегающем желтом пуловере.

— Привет! Кати дома?

— Нет... А я не гожусь?

— Почему же,— сказала она, улыбаясь влажными губами.— Но мне нужна физика для седьмого класса.

— Я поищу,— сказал я и судорожно проглотил слюну. У нее был пышный начес, а уши крохотные, как у грудного младенца.

— Ты одна?— спросила она, опустила длинные черные ресницы и тут же завертела ногами.

— Да,— сказал я. И вспомнил, что в комнатах у нас все вверх дном и полно дыма от подгоревшей яичницы.— Сейчас принесу.

— Хорошо,— сказала она, но когда я уже шагнул из прихожей, вдруг передумала: — Подожди, я тоже зайду.

Я распахнул дверь, и она, не очень-то глядя по сторонам, направилась прямо к зеркалу и стала себя разглядывать, поднимая руки, как будто была совершенно одна.

— А где ваша маленькая качалка?— спросила она, оглядывая комнату.

— Вынесли. Ты в ней уже не уместишься,— сказал я.

— Я очень пополнела?— И, повернувшись ко мне, она вновь принялась себя демонстрировать.

— Пойду поищу физику,— сказал я. Больше я не мог, все плыло у меня перед глазами; я без толку тыкался по своей комнате, перекладывал книги с места на место, совершенно не соображая, что делаю.

— Андриш, скажи! Правда, что... я красивая?— Заткнув за пояс два пальца, она снова завертелась перед зеркалом. Я выглянул из двери, почувствовал, что краснею, а она спокойно ждала, что я отвечу.

— Ты сама это знаешь,— сказал я едва слышно. А ведь хотел сказать совсем не то и не так.

Она вошла в мою комнату и, пока я, как ослепший, рылся в книгах, ни на шаг от меня не отходила, и я ощущал ее аромат — то был запах летнего ливня. Она взяла алюминиевую коробку, которую я смастерил на уроке политехнизации, повертела в руках — работа, честно говоря, была корявая.

— Она еще не готова,— сказал я и хотел взять у нее коробку, но Аги потянула ее к себе и медленно отпустила. А мне в этот миг сдавило горло — мы были одни, во всей квартире ни души. Она это чувствовала прекрасно, но совсем не так, как я: она следила за моим лицом, как обыч-

но делают дети, когда, отрывая у жука лапки, полны любопытства, шевелится ли он и как поведет себя без конечностей.

Мне казалось, что, если я попытаюсь выдержать ее взгляд, то глаза у меня просто выжжет.

— Поищу в другой комнате,— пробормотал я, хотя знал, что физика может быть только здесь.

Выдвинув наугад средний ящик комода, я вытащил трусики своей сестрицы, быстро затолкал их назад и глубоко перевел дух. Сейчас мне хотелось лишь одного: чтоб она поскорее ушла. И так неприятностей навалилось невпроворот, но, наверное, самая крупная — досада на самого себя: теперь-то мне было ясно, что Агнеш любит напористых, а я даже не осмеливался к ней прикоснуться. Но, может, она вовсе этого и не хочет... Откуда мне знать!

Ох, опять она у меня за спиной; скосив глаза, я увидел в руках у нее книгу о жизни австралийских аборигенов с полуобнаженной девушкой на обложке.

— Так вот ты какие книжки почитываешь...— сказала Агнеш.

— А что? Это же путешествие,— сказал я с досадой.

— Путешествие,— хихикнула она, сунув под нос мне меднокожую девушку. Затем, усевшись на диван, закинула ногу на ногу и принялась разыгрывать из себя гостью, занятую легкой светской беседой.— Знаешь, у меня из головы совершенно вылетела механика. Папа страшно сердится. Тебя тоже проверяют дома?

— Да что ты! Мои родители слишком заняты,— сказал я и пошел в свою комнату, так как вспомнил, что физика лежит в нижнем ящике письменного стола. Агнеш потащилась за мной как тень. Я дал ей книгу, она взяла, и я решил, что теперь-то, получив желаемое, она наконец уйдет.

Но Аги прислонилась к косяку двери и завела тот совершенно дурацкий разговор, который, к сожалению, не кончился добром.

Перед тем как начать, она как-то странно повела глазами.

— Почему у вас всегда такой шум?

— Шум?— Я подумал сперва о приемнике, но потом от лица у меня отхлынула кровь.

— Говорят, твой папа страшно ревнивый...

— Ничего подобного! Скорее наоборот...

— Да что ты? Ну и как? До того интересно, закачаешься! Никогда бы не поверила!

— Чему?

— Твоя мама такая хорошенькая! А та, другая, кто она?— спросила Аги, строго покачав головой.

— Что ты несешь! — Я просто захлебнулся от ярости.— Никакой другой нет!

— А разве не ты сейчас сказал, что папа твой не ревнует, а мама ревнует, потому что у папы другая?

— Ты лжешь! Ничего подобного я не говорил.

— Еще как говорил! Значит, я вру? Ах, так?

— Убирайся ко всем чертям! — грубо заорал я, ненавидя ее в эту минуту самой лютой ненавистью.

Она, не веря своим ушам, выкатила на меня глаза.

— Что ты сказал? Да я на тебя и не взгляну больше!— Она выскочила из комнаты и унесла мою книгу. Входная дверь резко хлопнула.

Я остался один.

Несколько минут я подпирал косяк; казалось, в черепной коробке у меня какая-то вязкая каша — мозги отказывались варить. А тут еще этот невыносимый чад.

■

Я отправился в Майор в глупой надежде, что встречу Аги. Смотрел на всех девушек, многих принимал за нее, потом выяснялось, что ошибся.

В Майоре дыбились голые деревья и подпирали мрачное, темное небо. На гравиевой дорожке сухо шуршала под ногами листва; позади я тоже услышал какое-то торопливое шуршание, но шел не оглядываясь.

— Привет, Хомлок!— окликнул меня тоненький детский голос.

Я обернулся. Какой-то щенок. Не старше третьего класса. Щенок фамильярно ухмылялся.

— Что надо, старик? Где прохудилось?

— Сам ты решето худое,— нахально ответил щенок.— Я тебя знаю.

— Пока что не знаешь. А вот схлопочешь разок, тогда узнаешь.

Щенок смешно закатил глаза и пискнул:

— Сам дед — сто лет, а еще рычит!

Я чуть не расхохотался, хотя мне было совсем не до смеха.

Наконец я узнал этого наглеца. Хорошую дрессировочку получил он от старшего братца. Что значит «дед — сто лет»? Почему мне сто лет?

Я пошел дальше. Думал, он отстанет. Но он шел за мной, как собачонка, потом, набравшись храбрости, загородил дорогу.

— Ты не знаешь меня?

— Прекрасно знаю. Ты Живодер-младший.

— На клички не отзываюсь. Меня зовут Иван Перцел.

— Ладно, Иван. А брат твой порядочный бездельник!

— Я не бездельник!

— Что же ты гоняешь без дела?

— Я шел за тобой,— признался он, внезапно смутился и стал засучивать, как на рубашке, рукав пальто. Я отогнул его, мне стало жалко мальчишку.

— Ну, выкладывай, где прохудилось? Смелей!

— Я был в спортзале, когда ты стал чемпионом по вольным упражнениям.

— Ну и что?

— Я хочу научиться делать сальто!

— Не мешало бы сперва подрасти!

— А я наполовину умею.

— Как же, умеешь. Подпрыгнешь и зароешься носом — как раз половина.

— Пойдем к нам. Тут совсем близко...

Все равно делать нечего, подумал я. Оглянувшись на бульвар и увидев вдалеке девичью фигуру, подождал, пока она подойдет,— нет, не Агнеш. Тогда я пошел с Иваном. Они жили в темном подвальном помещении с низким потолком и окнами почти на уровне тротуара. Стены комнаты были покрыты пятнами сырости. Допотопная мебель, облезлые покрывала, в углу веник, у окна совсем голый ящик и на нем телевизор.

Внезапно я пожалел, что пришел. Какого черта я тут не видел? Но Иван уже расстелил на полу одеяло и выпрямился.

— Смотри!— крикнул он и прыгнул.

Не успей я его подхватить, он бы хлопнулся макушкой, а то и затылком.

— Загремел?— сказал я сердито.— Сперва надо узнать, чего не знаешь. Понял?

Я стал ему объяснять: первый элемент — стойка на руках, второй — мостик; когда в отдельности отработаешь первое и второе, научись делать их с разбега. А потом, когда все пойдет гладко, можно взяться за сальто.

Иван, впившись в меня понятливыми глазами, быстро кивал головой.

Тут в дверях появился Живодер.

— Хо-хо! Мистер! — заорал он по старой привычке.— Гуд бай! Что здесь такое? Спортклуб?

Иван мигом привел его в чувство.

— Не ори! Сгоняй-ка за молоком! Ох, и задаст тебе мама, если не принесешь!

Небрежно отмахнувшись, Живодер обратился ко мне:

— У этого щенка пренахальная рожа, зато котелок что надо. Верь не верь, а он еще ни разу не сидел в классе два года!

— Значит, не в тебя! — сказал я с неприязнью и собрался уйти.

— А я в очкарики и не лезу! Есть у меня одна штуковина, с которой я зашибу куда больше, чем все очкарики, вместе взятые.

Сняв со шкафа огромный аккордеон, он стал наяривать шлягер с разухабистым ритмом и дергался в такт, как эпилептик.

Я выскользнул за дверь, Иван вышел меня проводить.

— Неплохо у тебя получается,— сказал я ему на прощанье.— Так и быть, потренирую тебя в спортзале.

— А я уже знаю,— сказал Иван загадочным тоном.

— Что?

— Чего я не знаю!

Я ожидал чего-то другого. Что может знать такой малыш? Кажется, я постепенно схожу с ума.

■

Я долго слонялся по Майору и вдруг столкнулся с Левенте Лацо.

— Ты куда? — спросил я.

— Сюда,— смутившись, показал он на церковь.

— Неплохо развлекаешься,— сказал я.

— А ты?

— Да так, шатаюсь без дела.

Он простился со мной, но не двинулся с места. Тогда я спросил, может, в церкви чего-нибудь такое дают?

— Не придуривайся,— сказал он и, обиженно отвернувшись, поплелся прочь.

— Погоди,— сказал я и вместе с ним вошел в церковь.

Глаза у него блеснули. Напрасно он радуется, подумал я,— я ведь шел не молиться, а поглазеть и послушать орган. Было время, когда мама учила меня молиться, но папа потом запретил — нечего забивать ребенку голову, сказал он. Ни молитв, ни церквей он не допустит. Не хватало еще, чтоб учителя решили, будто он воспитывает сына верующим. Женская половина нашей семьи изредка посещает храм божий, и Кати перед сном бормочет молитву, а я в это время корчусь от смеха и свищу рок-н-ролл. Мама не молится, лишь время от времени вздохнет: господи, господи!

Старый священник наставлял паству, звукоусилители из всех углов церкви возвращали его голос грохочущим эхом.

— Ищите бога,— вещал старик,— и он спасет ваши души.— Ничему, мол, не надо, удивляться, ибо всякое творение — чудо и бог везде: в струе водопада, в небесах, в атоме и в скромной полевой маргаритке. Ищите и обрящете. Аминь.

Здорово он закруглился, пропев «аминь».

В церкви сидели почти одни старухи. После проповеди загудел орган, и над алтарем вспыхнул электрический венец. Лацо перекрестился и шлепнулся на колени. Потом мы уселись на скамью. Священник долго возился с золотой чашей, словно не знал, куда ее деть, наконец, под-

нялся по лесенке и водрузил на алтарь. Он что-то сказал на латыни, и кантор ответил ему тягучим напевом.

Затем началась молитва. Склонив голову, священник перечислял спасителя, святую троицу, святого духа, а старухи жалостливо ныли: господи, помилуй!

Они, наверно, страшно боятся бога, оттого и ноют. Потом славили богородицу: распрекрасная мати наша, и мудрейшая, и брака священный ковчег, и всевластная, и срама не имущая! Какого еще срама?

Лацо тоже скулил, как будто исполнял сольный номер под названием «Молитва выпускника». Старухи бормотали с понурым видом, а он лицедействовал и старался мне показать, как отлично разбирается во всех этих штуках.

Высоко, под сводом, был нарисован гигантский глаз — величиной с мою голову. В каком месте ни станешь, глаз настигает тебя всюду.

Наконец мне надоело нытье старух, и я вышел на улицу. Там уже зажглись фонари.

Я остановился под фонарем. Рядом в траве белели маргаритки. Я сорвал одну и стал вертеть. И чего-то ждал: может быть, того, что она заговорит или вдруг преобразится — мне часто приходят в голову совершенно нелепые мысли.

Но тут я услышал шаги и бросил цветок. Подошел Лацо.

— Боишься бога, да? — спросил я.

— Не боюсь,— ответил он неуверенно.

— А зачем же скулишь? Господи, помилуй, господи, помилуй!..

— Святыми вещами не шутят.

— Вы-то скулите, а бог вам ни звука. Что за глаз там наверху?

— Это знак божий.

— Понимаю, что знак. Но ничего ж не случается.

— А что должно случиться?

Мне-то откуда знать? Я промолчал.

— Когда мы умрем, тогда и случится,— сказал он тихо и отвел глаза.

— Откуда ты знаешь?

— Знать это нельзя. Надо верить.

— Ага.

— Отец запретил,— сказал он, кусая губы,— спорить об этих вещах.

— А кто спорит? Всему этому грош цена.

— Чему?

— Всем этим фокусам.

Ему, видно, хотелось поспорить, но он не решался нарушить запрет отца.

— Ну, я пошел,— сказал Лацо.— Ты математику сделал?

— Нет. Примеры трудные?

— Да вот общее кратное...

Он стал объяснять, но я не мог слушать. Я думал о том, что будет дома.

■

Я хотел проскочить через проходную комнату, но там стоял папа — один рукав рубашки у него был закатан, другой расстегнут и болтался. Он говорил по телефону, перекладывал трубку из руки в руку, страшно гримасничал, вертел карандаш и сердито инструктировал Кёрнеи, который, должно быть, никак не мог взять в толк, что какие-то строительные документы *пропали,* а наряды *свистнули.* Настоящие гангстеры, кричал папа, дело адски запутанное — на такую подлость способен лишь тот, кому сам черт не брат.

А кому же он брат?.. Опять туман, сплошной туман. И спросить нельзя. Папа смотрит на меня, как сквозь стекло, налитыми кровью глазами, ерошит волосы и едва держится на ногах.

Я прошел к себе в комнату — «занятий с детьми» сегодня, конечно, не будет. Хотел сразу же разделаться с математикой, но мысли уплывали совсем в другом направлении. Старик трусит... Это слепому видно.

На столе был географический атлас, я открыл его, и из него выскользнула открытка с обнаженной женщиной. Сейчас ее порву. Как только взгляну на нее, вспоминается Фараон. Он ведь знает, что она у меня, так что можно и сохранить, но не стоит.

Я собрался было ее разорвать, но в этот миг — то ли ресницы у меня шевельнулись, то ли открытка качнулась — левая грудь стоявшей на коленях девушки дрогнула, будто она вздохнула, потом она подняла полуприкрытое копной волос лицо и засмеялась.

Что за чушь! Я даже обозлился: зарябило в глазах, вот и мерещится всякое, чего нет и быть не может.

В этот момент дверь внезапно открылась и вошел папа, совершенно взъерошенный. Я вмиг затолкал открытку в атлас, правда, чуть поспешней, чем следовало, но он, к счастью, ничего не заметил.

— Как дела, молодой человек? — спросил папа рассеянно.

— Как сажа бела,— сказал я со смешком, а он, тяжело опустившись на стул, облокотился на письменный стол.

— Где мама?

— Не знаю,— сказал я, кривя рот.

Папа вытащил смятую сигарету и тоже скривил рот, но он, ей-богу, даже не подозревал, что гримасничает. Просто мы оба вдруг сделались нервными.

— А ты где был?

— На летенье.

— Где?

— На литании. Это на диалекте — летенье,— я смотрел на него снизу вверх: ну, что, опять дрессировка? — Кати тоже нет дома!

— Кати спросила, можно ли ей уйти. А вот ты пропадаешь неизвестно где.

Он помолчал, возясь со своей завалящей сигаретой.

— Ты был на литании? Что ты там делал? — спросил он наконец с удивлением.

— Слушал орган и давился от смеха.

— Ты ходишь на литанию давиться от смеха?

— Да нет. Просто Лацо там причитал, как баба... Господи, поми-илу-уй.— И я захохотал, правда, не очень искренне, но папа не стал смеяться. Тогда и я заткнулся.

Тут он снова скривил губы и спросил ободряющим тоном:

— Раз ты туда пошел, значит, тебя что-то интересовало, не правда ли? Ты так редко о чем-либо спрашиваешь.

— Видали мы таких циркачей.

— Что?

— Меня не интересует церковь.

Он недовольно тряхнул головой, потом с непередаваемым отвращением окинул взглядом мой стол.

— Что ж, займемся математикой?

— Геометрией,— уточнил я и открыл тетрадь. Но он встал, подошел к окну, потом вернулся. Ему было сейчас не до геометрии. Попробуем тогда другое, подумал я, а там будь что будет.— Папа, почему ты сказал, что *тем* сам черт не брат?

Он остановился как вкопанный и так пристально посмотрел на меня, будто видел впервые.

— Это такое выражение. Оно означает...

— Я знаю, что оно означает.

— Если тебе интересно... как-нибудь расскажу... Хотя для тебя это несколько сложно. Но так и быть расскажу. Договорились?

Я поднял плечи — ладно, и это неплохо.

Мы склонились над тетрадью, и он сразу увидел обведенный кружком пример. Мне страшно не хотелось решать, но я сейчас же взялся за дело и постарался сосредоточиться. А он отошел от стола и прислонился головой к окну.

— Готово! — сказал я.

Папа, не отходя от окна, устремил на меня вопрошающий взгляд.

— Объем шара 1533,5 кубических метра.

— Неверно,— сказал он.— 1650,5.

— Откуда ты знаешь? — удивился я.

— Откуда, откуда... Вычислил,— сказал он небрежно.

Я пересчитал — он был прав. Считает он просто удивительно. В юности он занял первое место на всевенгерской математической олимпиаде, но никогда об этом не рассказывает, будто стесняется. Он говорит, что война уничтожила все его честолюбие. По-моему, это ужасно. Зачем он поддался? Ведь он остался в живых! — неожиданно мелькнула у меня мысль.

— Верно, 1650,5,— сказал я.— Ты в уме сосчитал?

— Да, в уме. Хочешь знать как? Есть такой способ,— сказал он, оживившись, и рассеянно взял со стола атлас. Кровь у меня застыла. Вот сейчас, сию минуту начнется скандал! Он держит атлас в руках... Может, пронесет, может, не раскроет... Все кончено. Он не раскрыл, но держал так некрепко, что коленки женщины высунулись. Открытка в руках у родителя... Караул! Сбегу! Не признаюсь ни за что! Он молчал, сердитый, растерянный, но мускулы на его лице странно дрогнули, как будто он сдерживал смех — так, во всяком случае, мне показалось.

— Что это?

Я инстинктивно встал; сейчас съездит по физиономии, пронеслось у меня в голове. Черт возьми, а мне-то как себя вести? Я ведь давно не получал затрещин.

— Что это?! — спросил он громче. Ну, знаете, мне это надоело. Будто он сам не видит. Все-таки я ответил, а то ведь опять скажет, что я дикарь.

— Ню.

— Вот как, ню. Просто ню. И все?

Я поднял одно плечо.

— Где ты взял это? — спросил он неожиданно спокойно.

— Купил.

— У кого?

— У одного парня.

— Ну и как... нравится?

Вопросик — лучше не надо.

— В основном,— идиотски ухмыльнувшись, ответил я.

— Что ж тебе здесь больше всего нравится? — спросил он небрежно.

Ну, я показал, что мне больше всего нравится.

— Юродствуешь? — спросил он мрачнея.

— Классный руководитель сказал, что женское тело лепили и рисовали тысячи раз. Потому что оно прекрасно.

— А классный руководитель случайно не советовал...

— Нет, что ты!.. Их было несколько. Я разорвал. Такая же халтура. Ничего общего с искусством.— Неожиданно взяв у него открытку, я разорвал ее в клочья, швырнул в печку и отряхнул ладони.

Он снова опустился на стул, закурил, уставился на паркет, и на лбу у него заблестели капельки пота. Я тоже сел и стал чертить в тетради поля.

— Надо бы уделять тебе больше внимания...— сказал он с оттенком горечи.— Но времени на это не остается.

— Не беда,— сказал я.

Он задумался и как будто забыл обо мне, но вдруг снова направил на меня дуло орудия.

— Я иногда замечаю, что у меня недостает сигарет.

Нашел чем удивить. Я, разумеется, корректно молчал.

— Тебе нравится?

— «Кошут»... по-моему, крепковаты,— сказал я.

— Нравится или нет?

— Не очень.

— Зачем же ты куришь?

Ну что тут ответишь? Что, когда куришь, вроде бы интереснее жить, к тому же сами взрослые только и делают, что пускают мне в рожу тучи дыма? Я старательно вычерчивал поля, а он, качая головой, снова задумался, пока не придумал следующий вопрос:

— А как у тебя с девочками? Нравится тебе кто-нибудь?

— Вот еще! — поспешно бросил я.

— В этом нет ничего постыдного, Андриш...

— А я и не стыжусь! — сказал я.

Тут он пошел трепаться насчет того, что это интерес естественный и что я не должен чувствовать себя виноватым. Виноватым? Что за чушь!.. Интересно, как это он с разговора о сигаретах перешел вдруг на тему о девочках.

Рассеянность его исчезла, и он начал прохаживаться по комнате с видом человека, попавшего в неведомые края и внимательно ко всему приглядывающегося. Я отложил тетрадь и стал за ним наблюдать. А так как он ни разу на меня не взглянул, наблюдать было очень удобно. Он открыл шкатулку из алюминия, которую я смастерил на уроке политехнизации — там лежали кой-какие наброски. Один был довольно удачный: голова старого рыбака с изрезанным морщинами лицом. Даже Чабаи его похвалил. Только усы, сказал Чабаи, уменьшают сходство с американцем; Хемингуэй бы наверняка обсмеялся, если б это увидел. А я возразил, что бояться мне особенно нечего, поскольку с Хемингуэем я встречаюсь не так уж часто. Затем родитель изучил роман, который я сейчас читал, потом стал по очереди брать с полки книги из серии «Путешествия вокруг света»; с особой подозрительностью он разглядывал книгу об Австралии, где на обложке красовалась меднокожая девушка. А на меня смотрел, как на памятник, который только что открыли. Я чуть было не растянул рот до ушей — да что он прилип к этой бедной девушке! Наконец он с нею расстался, но положил отдельно; перелистал для вида автопроспекты, передвинул проспекты с образцами ракет и все поглядывал, демонстративно, на полуголую австралийку.

— Ты никогда ни о чем не спрашиваешь!

— Зачем спрашивать о том, что я и так знаю! — сказал я в общем довольно грубо, потому что никак не мог понять, почему он с таким упорством вертится вокруг этой темы. Да разве мы можем говорить с ним... об этом...

— Что ж, прекрасно, раз ты все знаешь!..— сказал он обиженно и нервно.— Во всяком случае, тебе еще рано... Порнографические открытки... — Лоб у него опять заблестел.

Я с озлоблением фыркнул: привет, опять открытка. Нашелся новый дрессировочный хлыст.

— Что? — спросил он с угрозой.

— Я ничего не сказал.

— Ты фыркаешь, как лошадь. Что бы там ни было, ты должен работать. Занимайся систематически спортом, и тогда...

— Чермея II вышибли из «Вашаша» за сексуальные излишества,— я сказал это только со злости: пусть знает, что я достаточно образован.

— Ну и что?

— Ничего.

— Черт знает, с кем ты дружишь. Чермей II, Левенте Лацо. Дома тебя никогда не бывает... Правда, и меня тоже...

Он хотел сказать что-то еще, у него уже губы шевельнулись, но не успел — стремительно процокали каблуки, и к нам влетела мама. Подбородок у папы дрогнул. Мама бросила жакет и сумку, и во всех ее движениях было столько заряда, что воздух вмиг превратился во взрывчатую смесь.

Эх, сидела бы Кати дома, чудный был бы громоотвод.

— Добрый вечер! Что вы делаете? — Мама так и впилась в нас обоих.

— Ждем ужина,— уже на взводе ответил папа.

Ну, начинается!

Мама велела мне накрыть на стол, принести тарелки и чашки. Вскоре она тоже явилась в кухню.

— Он очень издерган! — шепнул я ей, показывая глазами на дверь.

— Для меня это не новость, мальчик,— сказала она высокомерно. С папой же держалась неестественно дружелюбно. А он прислонился плечом к шкафу, как обычно делаю я.

— Где Кати?

Папа насмешливо сообщил, что Кати на репетиции и что мама это прекрасно знает.

— Я совсем забыла,— сказала мама, стараясь не сорваться.

— Позвонить ты тоже забыла?

Она еще сдерживалась, но на ее лице уже проступили красные пятна. Она звонила, но телефон был занят.

— Всего две минуты,— заметил папа; разговорчивость его внезапно исчезла, и он не сказал, с кем разговаривал эти две минуты. А маму именно это больше всего терзало.

Ели молча. Я залпом выпил свое молоко, встал из-за стола, растянулся на диване и включил приемник. Я едва дождался, пока кончит гудеть. Наконец зазвучал джаз-орган, но папа нетерпеливо поднял голову, и я приглушил.

Мама сжимала руками виски, папа не желал ничего замечать и, отойдя от стола, разминал измятую сигарету.

— Скажи наконец... где ты была? — спросил он.

Мама захлопотала вокруг стола и принялась рассказывать о какой-то Жуже, с которой она полгода не виделась. В «Мечеке» столько дыма, хоть топор вешай — и теперь у нее трещит голова. Тут она смахнула на пол стакан, и он, хлопнув, как воздушный шарик, разбился вдребезги. Папа с демонстративным спокойствием стал собирать осколки.

— Что рассказывала Жужа? — спросил он.

— Ничего...

Он что-то буркнул.

— Там была ее подруга,— стремительно продолжала мама.— Самое интересное...

— Самое интересное, если б ты наконец все выложила...

Тут мама взвилась, и пятна на ее щеках сделались значительно ярче.

— Что ты от меня хочешь? Тебе, разумеется, все и так известно.

— Я устал! — сказал папа резко и как бы отмахиваясь; потом, довольно точно прицелясь, добавил: — Слишком многие терроризируют меня в последние дни.

Лицо у него было усталым, землистым, он ходил взад-вперед, а она провожала его встревоженным взглядом, вот-вот собираясь что-то сказать, но в последний момент закусывала губу и не произносила ни слова.

Папа вдруг повернул к двери.

— Схожу за сигаретами,— пробормотал он.

Это, ясно, была отговорка, потому что сигареты всегда приносил я.

Мама что-то сказала, он принужденно обернулся, а она, ломая руки, торопливо заговорила — видно было, что завод ее на пределе и сейчас последует взрыв.

— Скажи, Шандор! Неужели ты веришь, что Зойоми замешаны в это грязное дело?

Папа так стремительно сделал два огромнейших шага, словно кого-то хотел растоптать, потом судорожно вцепился в спинку стула.

— Почему ты об этом спрашиваешь? Ты встречалась с Зойоми?

— С его женой. А что? Это преступление? В конце концов...

— Замолчи! — грубо крикнул отец.— Как ты до этого додумалась! Как ты посмела!.. Зойоми получит лет десять, не меньше!

— Господи! Да ничего подобного! Она сказала, что ничего незаконного не было... во всяком случае, не больше того, что делается в других местах... Вот увидишь, Шандор, их оправдают...

— А что ты о них так волнуешься? Ну, конечно, какое же это преступление, самая обыкновенная оборотливость! И тебе не стыдно?

— Почему? Я говорила с его женой... Теперь ты обвиняешь меня?

Какое-то время он смотрел на нее, как на чужое, незнакомое существо; махнув рукой, совершенно разбитый, он сел.

— Тебя я не обвиняю! Оставим это! — сказал он.

Несколько минут царила тишина, пока мама набиралась сил для новой атаки.

Папа сидел с опущенной головой, и только мне было видно его лицо. Мама его совершенно не понимала. Это просто травля, доказывала она, потому что ко всему мы примешиваем политику. Папу передернуло, но он промолчал. Тогда мама спросила, представляет ли он, какие у Зойоми связи. Тут в голове у меня пронеслось: ему сам черт не брат. У папы на лбу вздулись жилы, он вскочил, схватил стул и с размаху хлопнул им об пол. Стул грохнул как выстрел.

— Замолчи или я...— голос его сорвался.

Я тоже вскочил и выпрямился рядом с ним; я видел его морщины: они избороздили его лицо и доходили до самого рта, и мне стало за все так стыдно, что я не знал, куда себя девать. Мама смотрела на меня обалделым взглядом, и тут до меня дошло: они ведь считают, что их дела меня не касаются, что я ничего не понимаю, а я не мог им сказать, что все, решительно все понимаю, и что папа совершенно прав. Я опустил глаза, проскользнул между ними и бросился к себе в комнату. Прислонившись к косяку двери, я слышал каждое слово.

— Ты так со мной обращаешься,— жалобно сказала мама,— что даже ребенок заметил.

— Ребенок! Знаешь ли ты этого ребенка? Так же, как и меня! — Папа говорил тихим, сдавленным от стыда голосом.— Нелепые споры. Нелепые сцены. Нет мне дома покоя.

— Разве это из-за меня? Опять я во всем виновата! Почему ты не скажешь прямо! Я тебе не нужна — так и скажи!

— Прекрати комедию! — вскрикнул он резко. Затем упавшим голосом продолжал: — Я должен работать. А у меня нет ни времени, ни на-

строения.— Потом послышались быстрые шаги, словно бы гнавшиеся друг за дружкой, и голос мамы:

— Шандор! Куда ты идешь?

В прихожей хлопнула дверь. Я хотел выскочить, но почему-то остался на месте, прижавшись лбом к косяку двери.

Засунули меня в эту клетку, смотри и слушай из нее, сколько влезет, а сделать ничего нельзя. Я смотрю на облака, лавиной наползающие на Вермезэ, но мне их не разогнать. Разгонит их только ветер.

■

В комнате духота, и тиканье часов назойливо лезет в уши. Я тихонько отворил дверь; через щель в шторе мама смотрела на освещенный двор и на скрип повернула голову. Лицо ее было в пятнах, выбившаяся из прически русая коса дрожала.

Я прислонился плечом к шкафу.

— Он ушел? — спросил я как только мог ласковей.

— Ушел. Разве ты не видишь?

Она отошла от окна и стала рассеянно собирать со стола посуду. Чашки, тарелки ставила как попало, и, когда водрузила последнюю, вся груда чуть не свалилась.

Вид этого бесформенного сооружения почему-то меня взбесил — куда она смотрит, ведь сейчас вся гора загремит на пол.

— Я говорил тебе, что он издерган,— тон у меня был, наверное, не слишком любезный.

— Знаю я, почему он издерган... Мне все совершенно ясно,— сказала она с раздражением и угрозой.

Все это было до скуки знакомо, как много раз виденный театральный спектакль, когда заранее знаешь, что будет дальше. Но папы уже не было, и она вела себя как ребенок, разбивший фарфор и пытающийся приладить осколок, сожалея об утраченном.

— Надо было смолчать... — рискнул я сказать вполголоса.

Она взвилась как ракета.

— Ты с ума сошел? Разве я мало молчу?

— Мало! — вырвалось у меня совершенно непроизвольно. Я тут же хотел все исправить, хотя и сказал то, что думал, но она не дала мне опомниться.

— Что?! Нет, это слишком. Я не намерена с тобой обсуждать! Чурбан бесчувственный! Убирайся! Не хочу тебя видеть. Вынеси посуду!

Я уже двинулся в свою комнату, и мне страшно не хотелось браться за липкую посуду. Целая гора ее высилась на краю стола и держалась только чудом.

— Ее нельзя вынести,— сказал я.

Она чуть не разревелась от злости.

— Нельзя? И этот совсем рехнулся! Господи, кругом одни безумцы, маньяки! — Она опять повернулась к окну и заломила руки.

Я разобрал шатающуюся посудную башню, потом составил устойчиво, симметрично: на глубокие тарелки поставил мелкие, сверху десертные, потом чашки — и понес в кухню. В это время в дверях заскрежетал ключ, я прислушался — ага, явилась взмыленная актриса.

Поздоровавшись, она сразу принялась трещать, убеждая, что только-только пробило восемь и потому она не опоздала. Ну, и штучка — так словчит, так соврет, что ни в чем ее и не заподозришь. А у меня ни малейшего желания постоянно выводить ее на чистую воду. Значит, только-только пробило восемь, а точнее, сейчас пробьет девять. Сила!

— Ну, хватит! Неси! Надоело за тебя отдуваться! — И я всучил ей поднос.

— Сам целыми днями шатается... а потом командует,— огрызнулась сестрица так, чтоб слышала мама.— Где папа?

— Где? Вот, в кармане. А-а, вытаращилась? Он ушел. Скоро придет.

Я вытолкал ее в кухню и решил, что мне, собственно, пора выходить из игры. Но тут мама, задумчиво расправлявшая на столе скатерть, спросила:

— Андриш! Как ты думаешь? Куда он пошел?

— Наверное, недалеко, просто пройтись...— сказал я мягко, вернее, изо всех сил старался говорить помягче.— Дома он больше не может.

Кати была уже в комнате и, как водится, закудахтала:

— Кто? Папа?

— Нет, епископ из Печа.

— Ох, объяснил! Предводитель бродяг! У папы дела!

— Заткнись, идиотка!

— Андриш! Как вы друг с другом разговариваете?

Ну, конечно, ведь я один разговариваю «друг с другом», поэтому сестрице замечаний не полагается.

— А ты вредина! Ты даже Аги выгнал! — сказала Кати.

Ну, погоди, и это тебе припомнится! Значит, Аги жаловалась... Интересно! А мне повезло — на мои дела маме сейчас наплевать.

— Заткнись! — сказал я с угрозой.

Тут мама заныла, что у нас друг для друга нет уже ни одного доброго слова, и вдруг упала на стул и разрыдалась.

Всхлипывала она довольно долго, и Кати сразу же бросилась к ней, обняла за плечи и, лаская ее, объявила, что я зверь и что лучше всего не обращать на меня внимания. Я стоял, не смея ни пошевелиться, ни прислониться к шкафу, ни выйти, потому что у мамы из глаз ручьем лились слезы, и она их не вытирала — так же, как Кати: плачут они совершенно одинаково.

Обожаю подобные ситуации...

Но сейчас я был не особенно потрясен, потому что знал: все из-за папы.

— Сейчас же помиритесь! Протяните друг другу руки! — заговорила наконец мама, но смотрела почему-то на меня одного, причем довольно колюче. Я моментально протянул руку и даже скроил дружелюбную рожу, а Кати, подав руку, отвернулась и гнусно скривила губы. Я что есть сил сдавил ей пальцы, но она стерпела, не пикнула, только уши у нее покраснели.

Мама опять занялась скатертью и оправляла ее с таким видом, будто на свете ничего важнее не было, и вдруг повернулась ко мне с распухшими, красными глазами.

— Ты ведь болтаешь просто так,— сказала она недоверчиво,— а сам даже не понимаешь, о чем речь.

— Ошибаешься, я все понимаю! — решительно заявил я.

— Гений! — ввернула Кати.

Тогда я сказал, что так разговаривать нельзя, и было бы лучше, если б мама выставила ее из комнаты. Но мама не выставила и лишь для проформы сказала:

— Замолчи, Кати!

— Хорошо,— надувшись, сказала Кати.

Тут мама принялась беседовать сама с собой. Правда, то и дело поглядывая на нас, но довольно отрешенным взглядом.

— Он не счел даже нужным ответить... До меня ему нет никакого дела; все, что меня терзает, для него всего лишь комедия. Он думает только о других... Маньяк. Вечно чего-то ищет... «Справедливости»,— она даже всплеснула руками.

— А разве не надо ее искать? — спросил я и увидел, что Кати поперхнулась от страха.

— Надо, конечно! — сказала мама и махнула рукой.— Но найти ее трудно. И дело, Андриш, совсем не в этом! А я нехороша потому, что хочу его уберечь.

— Только не сейчас... Сейчас его надо оставить в покое,— сказал я.

— Почему? — спросила она уже с любопытством.

— Потому что для него это очень важно...

Тут мама опять понесла невесть что, но вдруг замолчала и уставилась в пустоту.

У Кати, конечно, язык чесался.

— Важно... важно. Что важно? Ты вечно плетешь одно и то же,— сказала она возбужденно и уставилась на меня требовательным взглядом.

— Не суйся, если мозги не варят, — небрежно бросил я.

Кати побледнела и, уже не помня себя, закричала, что я хам и грубиян и что я выгнал Аги.

— Ты ее выгнал? — машинально спросила мама.

— Ерунда. Просто она обиделась.

Погруженная в собственные мысли, мама сняла со стола скатерть, стала ее складывать, потом опять постелила на стол, нерешительно двинулась к прихожей, взглянула на часы.

— Десятый час. Куда он мог пойти?

— Он где-нибудь здесь, поблизости...— моментально ответил я, так как она посмотрела в мою сторону.— Ему надо все обдумать.

Мама медленно вышла из комнаты.

Кати была в смятении и злилась. Я веду себя так, сказала она, будто бы все на свете знаю.

— Светлая голова! — заключила сестрица, закатив глаза.

Я смерил ее уничтожающим взглядом и захлопнул дверь своей комнаты.

В прихожей долго звонил телефон. Я не пошевелился — меня-то некому вызывать. Потом не выдержал, открыл дверь. Из папиной комнаты высунула голову Кати — разведать обстановку.

— Ты что, оглохла? — сказал я.— Подойди к телефону.

Но тут вышла мама и взяла трубку. Голова Кати исчезла.

По смущенному голосу мамы я понял, что звонит папа.

— Нет, я не обиделась. Не в этом дело! — кричала она. И тут вся ее обида хлынула неудержимо наружу, и опять задрожала коса в прическе. Она утверждала, что кого-то нет дома и что папа напрасно туда пойдет. Я помертвел — дело ясное, он не хочет возвращаться домой. Мама объяснялась довольно долго. Ей, в конце концов, безразлично. Раз папе так лучше, то все в порядке. А в утешении она не нуждается — и все в том же духе... одним словом... сплошное вранье.

Наконец она бросила трубку, пятна на щеках у нее стали пунцовыми, но глаза были сухие. Уже взявшись за ручку двери, она вдруг повернулась ко мне.

— Он поехал к дяде Пиште. Будто бы там он будет работать!

— Он вернется,— сказал я невпопад.

— Ах, ты тоже меня утешаешь? Сопляк! По мне, пусть он там остается хоть на всю жизнь! — Она снова закипела от обиды и, хлопнув дверью, ушла.

Папа поехал в Зугло. Ему нужен покой, я понимаю... А как же мы? Разве мама сможет быть одна?

■

Невыспавшийся, полный мрачных предчувствий, я поплелся сегодня в школу. На физике меня страшно раздражало, как отвечают ребя-

та — нудно, с запинками, а им за такие ответы ставят четверки и даже пятерки. Тут я услышал свою фамилию и встал; но мне казалось, что встаю не я, а кто-то другой. Осточертела мне эта комедия, и я с удивлением слушал собственный звонкий голос.

— Я не выучил! — Это надо было сказать задиристо и с ухмылкой — класс тогда просто будет выть от восторга.

Позор для всего класса, объявила физичка, когда лучшие ученики не готовят уроков.

На математике старик Лойзи был потрясен — у него я не отказывался ни разу в жизни.

Сперва он слегка нахмурился, а потом даже и похвалил:

— Молодчина Хомлок! Зачем плавать и отнимать драгоценное время? Не выучил — и точка! Получай заслуженную двойку, мальчик.

— Благодарю,— сказал я.

— Не за что! — И старик, озадаченный, улыбнулся.

Класс хохотал.

А Чабаи обалдело уставился на меня.

— С какой элегантностью ты хватаешь двойки! — прошептал он.— Можно подумать, что всю жизнь только этим и занимался.

— Всему научиться можно,— сказал я, небрежно хохотнув, а у самого комок подступил к горлу. Две «пары» сразу! К этому я не привык. Я ухмылялся, а глаза между тем пощипывало.

Потом так и посыпались глупость за глупостью.

Голова гудела, и в коридоре я высунулся в окно. Повернувшись, я вдруг увидел, как Живодер кулаками прижимает к стене Левенте Лацо.

— Правой — сбоку! Левой — прямой! Получай, тюфяк!

Рыхлый Лацо даже не пытался дать сдачи и, закрыв руками лицо, лишь время от времени взвизгивал.

Когда он взвизгнул в третий или в четвертый раз, я подскочил к Живодеру, схватил за плечо, дернул к себе и с силой толкнул. Споткнувшись о мои ноги, он шлепнулся на все четыре конечности.

— Что ты ищешь, Живодер? — ехидно осведомился Чабаи.

Толпа вокруг хохотала.

— Один ноль в твою пользу, Хомлок,— пробормотал Живодер.— Записано!

И тут на нас налетела дежурная учительница.

— В чем дело? Кто затеял драку?

Мне не хотелось давать объяснений.

— Сборище трусов! Марш на урок!

Я собрался было выйти вперед, но Чабаи втолкнул меня в класс.

Фараон вошел осунувшийся, задумчивый, неподвижно и долго смотрел в одну точку, потом вяло спросил:

— Кто начал драку?

Я смотрел на Живодера, весь класс повернулся к нему. Чабаи беззвучно смеялся, глядя, как Живодер глубокомысленно изучает потолок.

— Я,— неторопливо поднявшись, сказал я.

Класс зашевелился, но Живодер даже бровью не повел. Что поделаешь — и без того за ним числилось немало. Еще одно дельце — и он вылетит из школы как миленький.

Фараон сверкнул на меня глазами.

— Дай-ка сюда дневник,— приказал он.

Я шел, не поднимая головы,— боялся, что какой-нибудь педантичный олух вдруг сболтнет лишнее, а мне придется тогда пускаться в объяснения. Но пока Фараон писал, в классе стояла мертвая тишина. «Андраш Хомлок учинил в школе драку. Классный руководитель Денеш Кирай».

— Ты что, рехнулся? — прошептал Чабаи, когда я вернулся на

место. Он сидел как на иголках — все ждали, что он встанет, расскажет, как было, и рассеет гнетущую обстановку. Весь класс считал меня идиотом — это уж точно. Набить Живодеру рожу — понятно. Но взять на себя вину другого — это такое идиотство, что и слов не подберешь. Он дрался, пусть свое и получит...

Пока Бочор читал, Чабаи спросил, не желаю ли я учредить рыцарский орден; после урока он возведет меня в рыцари, так как я только этого и добиваюсь.

Я сказал, чтоб он не придуривался, потому что Фараон смотрит в нашу сторону.

— Фараон вообще не смотрит, он даже не знает, на каком он свете, так же, как ты,— сказал Чабаи.

Фараон, и правда, уставился пустым взглядом в пространство, а класс занимался своими делами: Бочор читал урок и паясничал, ребята хохотали. Кто жевал, кто рисовал. Кое-где с оглядкой играли в блошки.

А Чабаи с меня глаз не сводил — вот еще детектив нашелся,— ну, ладно, сейчас я ему мозги задурю.

— Послушай, Петер! Что такое коррупция?

— Коррупция? Зачем тебе? — Он был озадачен и старался придумать ответ.

— Да вот встретилось слово в книге.

— Коррупция — это когда на кого-нибудь очень пристально смотрят и он засыпает,— неуверенно сказал он.

— Глупости. Это суггестия.

— Тогда какая-нибудь религия,— упорствовал Чабаи.

— Дубина! Перестань тужиться...—рявкнул я грубо, и он обиделся.

— Подумаешь... Посмотри в энциклопедии!

— Я-то посмотрю. А чего ты выдумываешь? Это же не тотализатор. Здесь либо знаешь, либо нет.

Я, конечно, припер его, но он все равно догадался, что у меня неприятности, и с сомнением покачал головой. Но все-таки промолчал и перестал вынюхивать.

На какой-то миг передо мной возник Фараон: веки опущены, вид изнуренный до неузнаваемости.

...Итак, две «пары» и одно замечание. Урожайный денек — просто блестяще. Но кто мне все это подпишет?

■

Орава горластых гавриков дулась на углу в расшибалку. Я машинально остановился и стал смотреть. Мне тоже хотелось сыграть. Живодер, конечно, был тут. Глаза его, как всегда, шныряли по сторонам, он вскоре меня заметил, поднял с земли монетку и растолкал приятелей. Сперва я решил, что он хочет сравнять счет — удачно же выбрал время.

Но Живодер растянул рот до ушей.

— Ты вытащил меня из беды, Хомлок.

— Ты трус и подонок. Замарал весь класс, а сам как ни в чем не бывало.

— Класс! Класс классом останется, а меня бы в три шеи вытолкали. У меня же как раз сейчас неодолимое желание исправиться. Что, не веришь? Все распродал подчистую. Только одну оставил. Возьми.— Он доверительно подался ко мне и вытащил из внутреннего кармана открытку.— Нужна? — спросил он.

— Нет.

— Да ты взгляни, какая красотка! Груди торчком...

Не взглянуть я не мог. На этот раз Живодер сказал чистую правду. Заметив произведенный эффект, он сунул мне открытку и, паясничая, отвесил поклон.

— Теперь мы квиты.

Я в тот же миг разорвал открытку и швырнул клочки в его ухмыляющуюся рожу. Повернулся и пошел домой.

— Два ноль в твою пользу, Хомлок! — крикнул мне вслед Живодер.— И это запишем!

На кой черт я приплелся в Майор?

■

Часа через полтора ноги снова принесли меня в Майор. Вернее, я пришел туда, чтобы собраться с духом, но успеха, кажется, не достиг. Дома я долго пережидал, пока кончится дождь, и поклялся: как только небо очистится, немедленно отправляюсь в проектное бюро. Чего мне бояться? Может быть, папа наконец заметит, что у меня тоже есть нервы и что я тоже живой человек. А дождь лил и лил, и серая водяная завеса плотно затянула Вермезэ. Ветра не было, листья на деревьях, едва заметно дрожа, колыхались под тяжестью дождевых капель. Наверное, только из малодушия я назначил себе такой странный срок. А вдруг дождь будет лить весь день и всю ночь? И весь завтрашний день? Ведь уже октябрь. Я с панической суетливостью влез в старенький плащ, поднял воротник, натянул берет и... а в общем сам не знаю, когда я начал втирать очки самому себе. Черт подери, как все запуталось, и клятву, что я дал самому себе, я припомнил, только когда перескакивал через лужу. Едва я понял, что пришел сюда не по доброй воле, настроение сразу испортилось. Тогда я двинул напрямик и, не заботясь больше о лужах, шлепал по воде, утопая по самые щиколотки.

Какой-то вдребезги пьяный тип брел, качаясь, по Майору и горланил; вдруг он затих, ткнулся в дерево и сделал свои дела. Он был без пальто, и тонкий костюмчик облепил его жалкое тело. Не понимаю, почему меня так обеспокоил какой-то нализавшийся субъект.

Я повернул назад. И тогда случилось то, от чего у меня совсем опустились руки. Пришлось сделать над собой сумасшедшее усилие, чтобы пойти к папе, и ясно было, что я не смогу уже вести себя так, как нужно.

Едва я вошел под аркаду церкви, в уши мне ударил знакомый смех. На ступеньке в блестящем плаще стояла Агнеш — не одна. Тот самый хмырь «в клетку» обнимал ее за плечи, и оба смотрели на дождь. У меня появилось ощущение, что они просто радуются дождю и так, прижавшись, стоят уже не один час. Я отошел в сторонку, чтоб не быть замеченным, потом увидел, что они вошли в церковь; неуверенно, крадучись, я пошел за ними. Они уселись на последней скамье, прильнув друг к другу. «В клетку» что-то шепнул, и она, касаясь его лица, тоже ответила шепотом — в церкви ведь разговаривать громко не полагается.

Меня от всего этого чуть не стошнило, и я вышел. Дождь все еще лил. Я бросился к автобусной остановке, но ноги стали какие-то ватные, как на старте во время соревнований, когда нет уверенности в себе.

■

Я подошел к большому квадратному зданию, и ощущение тягучей неуверенности усилилось. По лестнице я взлетел одним махом, но у двери с табличкой «Главный бухгалтер» замешкался. Я ничего не придумал и от этого страшно волновался. Иной раз, и вовсе не прибегая к вранью, я легко мог объяснить свой поступок, но сейчас в голове была невообразимая муть, и я заранее знал, что потерплю неудачу. Послышались чьи-то быстрые, уверенные шаги, они приближались... Кёрнеи! У нас он не казался таким высоким, а в нем наверняка метр восемьдесят пять; держится очень прямо — значит, когда-то занимался атлетикой, это уж точно! Очки его поблескивали, и нельзя было определить, видит он меня или нет. С какой стати я здесь торчу, подумал я и толкнул дверь.

Комната секретарши была пуста. Наверное, я поспешил, можно было и подождать, пока пройдет Кёрнеи...

Постучав, я вошел.

Папа, склонившись над письменным столом, просматривал какие-то бумаги.

— Да, да. Сейчас иду! — сказал он, не поднимая глаз.

— Это я, папа.

Он вскочил, швырнул папку и уставился на меня с обалделым видом.

— Что тебе надо?

В этот момент вошла тетя Гизи и заслонила меня дверью.

— Начинают!

— Хорошо,— сказал папа и, подождав, пока закроется дверь, спросил: — Тебя мама послала?

— Нет,— это я выдавил с таким трудом, будто у меня отнимался язык.

— Ты весь промок,— сказал он, глядя на лужу у моих ног.

— Дождь идет.

— Где ты был?

— Шаландал.

— Что?

— То есть шатался.

Как и можно было предположить, папа моментально взвился — он совершенно не выносит таких словечек.

— Андриш! — взглянув на часы, начал он.— У меня нет ни сил, ни времени заниматься твоими идиотскими выходками. По крайней мере сейчас!

— Только сейчас? — спросил я тихо. И тогда ему припомнился наш недавний разговор. Это было вчера...

— Для твоих дурацких выходок у меня вообще времени нет! — сказал он на полтона ниже.— Пойдем.

В дверях я пропустил его вперед. Он был в замешательстве — должно быть, нужна неукротимая фантазия, чтоб догадаться, зачем я пришел.

Мы совершали марш по длинному коридору, и он смущенно молчал.

— Я не буду тебе мешать. Подожду, пока ты кончишь...— сказал я.

— Об этом не может быть и речи!

— А что? Времени у меня хоть отбавляй.

Мы как раз проходили мимо буфета.

— Ты голоден? — спросил он, завернув в буфет.

— Нет.

Он все же купил стакан какао и сунул мне.

— Я не голоден. Иди, папа. Я подожду...

— Выпей!

Ну ладно, еще из-за этого спорить. Я стал пить без всякой охоты, а он поглядывал на часы.

— Я спешу. Выпей и спокойно иди домой...

Я поставил стакан, застегнул плащ.

— Мне не хочется домой,— заявил я.

Он пытался что-то сказать, но слова застряли у него в горле. А я не стал ждать, пока он очухается.

На лестнице я оглянулся: он все еще стоял в дверях буфета и не слышал, как Гизи зовет его.

■

Дома я свалился, словно после нокаута, и лежа стянул с себя мокрую одежду. Зубы стучали, я укрылся и сразу заснул. Проснулся я от

звука хлопнувшей двери. Посреди комнаты с портфелем под мышкой стояла Кати.

— Какая жуткая тишина,— сказала она испуганным шепотом, испытующе заглядывая мне в лицо. Неплохо! Грохает дверью, как полоумная, а потом жалуется на тишину.— Папа не приходил? — спросила она.

— Нет.

— Что теперь будет?

— Спросила бы что-нибудь полегче.

— Но ты же сказал, что все понимаешь...

— А что тут понимать? Он не хочет возвращаться домой...

— Он больше никогда... не вернется?

— Да чего ты ко мне привязалась? Гадалка я, что ли?

Кати села, положила портфель, открыла его и уныло уставилась перед собой.

— Андриш! — запинаясь, сказала она наконец.— Я получила... двойку по математике...

— Ага,— сказал я кротко, потому что у самого было рыльце в пушку.— Самое подходящее время.

Но для нее это прозвучало упреком, и она начала горячо защищаться:

— Подходящее не подходящее, а я не могу... я на уроках не слушаю... Думаю о другом!

Я промолчал, тяжело вздохнул, встал и натянул тренировочный костюм.

— Как же теперь подписать? — спросила она убитым голосом.

— А никак.

— Но ведь надо. Ты же знаешь!

— Ну, давай.

Она сразу же поняла, чего я хочу.

— Нет, нет. Только не это! — сказала она и прижала к себе дневник.

— Ну... если у тебя хватает нахальства... Сейчас... Тогда проваливай! А мне наплевать! — бросил я.

Кати прикусила палец, неуверенно засеменила к двери и остановилась.

— Они же... сличат... подписи...

— Пусть сличают! — сказал я.— Ну-ка, взгляни.

Подождав, пока она подойдет, я набросал на листке: Шандор Хомлок. Получилось роскошно — мы с Чабаи часто соревновались в подделке родительских подписей. Подпись мамы я подделываю еще лучше — я и это продемонстрировал. Кати одобрительно посмеивалась, но, все еще не решаясь, прижимала дневник к себе.

Тогда я вырвал его; она с трепетом следила за моей рукой, но в общем-то не мешала.

— Готово! — сказал я и небрежно швырнул ей дневник.

Поймав его на лету, она несколько минут разглядывала подпись, потом снова заволновалась.

— А если... еще пара?

— Я опять подпишу! Времени у меня предостаточно!

Вдруг у нее задрожали губы.

— Андриш! Это так странно...

— Привыкнешь.

— Я не о том.— От потрясения, вызванного подделкой в дневнике, она уже оправилась.— Неужели папа больше никогда не придет домой... вечером?..

Что я мог ей сказать? Как она мучается, глупая маленькая птичка.

— Ты тоже не знаешь? — допытывалась она, и тогда я тоже вконец расстроился.

Закрыл руками лицо и не мог вымолвить ни слова.

Кати отошла к окну, плечи ее затряслись.

■

За всю неделю я всего лишь раз появился на тренировке. Только беда не в этом. А в том, что нет у меня уверенности в себе. И настроить себя не могу — в общем, не в форме. Перед стартом в раздевалку зашел дядя Геза, тренер. Он спросил меня об успехах и заметил, что давно не засекал мое время. А я стоял и пожимал плечами; он был недоволен, но ругать не стал — он никогда не бранится перед соревнованиями.

Я сделал небольшую разминку, пытаясь стряхнуть странную свинцовую скованность, охватившую мышцы,— кажется, удалось.

Чабаи, сбросив халат, уже стоял у бассейна.

— Давай быстрее, давно вызывали на старт,— сказал он.

Подойдя к стартовой тумбочке, я удивился, что мне досталась шестерка. И еще удивился, что это меня ни капельки не волнует. Чабаи ждал у восьмерки — в этом заплыве нашу школу представляли мы двое.

Но вот в громкоговорителе прозвучала моя фамилия, и меня почему-то стал бить озноб.

Зрителей на трибунах было немного, лишь одна компания шумела на весь стадион. В ней был и Жолдош — восемьдесят пять килограммов веса; сложив руки рупором, он орал изо всех сил:

— Давай, Хомлок! Жми!

А я подумал: нельзя выходить на старт, когда ноги от страха подкашиваются.

Тут опять появился тренер. Если б он в меня верил... и то бы не помогло. А он и не верил.

— Все эти ребята аутсайдеры,— сказал дядя Геза.— Если нажмешь, придешь первым.— Он смотрел на меня, и оба мы знали, что все это, так сказать, педагогика, а если всерьез, то делать мне здесь совершенно нечего; мало быть фаворитом, для победы нужно еще кое-что.

Я поставил ногу на тумбочку — она здорово дрожала; тогда я вскочил на обе ноги, а Чабаи, не спуская глаз, следил за каждым моим движением. Он был не на шутку расстроен, видя, что я совсем расклеился.

До команды оставались считанные секунды, а меня бил озноб, и я зябко кутался в халат.

Наконец прозвучала команда, и теперь — это точно — за мной никто не следил.

— Внимание, приготовиться...— И хлопнул выстрел.

Бросок — я стремительно рванулся вперед, но скоро заметил, что ритм отвратительный: не плаванье, а беспомощное барахтанье. Я вел заплыв совсем недолго; был, правда, один отличный момент, когда другие пловцы меня догоняли,— я едва сдержал рвавшийся из груди ликующий крик и несколько метров скользил очень легко, надеясь, что ритм вот-вот выровняется; но внезапно почувствовал, как сводит мышцы, руки и ноги словно немеют, и тогда мне стало все безразлично. Я даже не очень старался...

К финишу я пришел после Чабаи, пятым. Моментально выбрался из воды и хотел потихоньку убраться, но дядя Геза, как осатанелый, ринулся вслед за мной.

— Что случилось? Говори!

— Не пошло, дядя Геза! — сказал я. В другое время я бы просто сгорел со стыда, но сейчас мне было не до тренера.

— Вот как! Не пошло! На тренировки не ходишь, все растерял: и

форму, и волю. Знаешь, как это называется? Плаванье ради галочки! Не нужен мне такой пловец!

— В следующий раз... будет лучше,— промямлил я, не в силах выносить его истошные вопли.

— Болтовня! — заорал он фальцетом, чуть не захлебнувшись от злости.— Думаешь, я ничего не вижу? Ты же весь зеленый, как жаба, круги под глазами, рожа измочаленная. Рано начинаешь...

— Что? — спросил я с недоумением.

— Сам знаешь!

Он въедливо всматривался в мое лицо. Я молчал.

Тут подошел Чабаи и, виновато тараща глаза, стал рядом со мной.

— Чего стали? — рявкнул старик.— Убирайтесь к чертям! — И он умчался, не переставая ругаться.— Попробуй сделать из таких пловцов. Черта с два сделаешь! С этих лет развратничать! Дохляки истасканные!

— Погорели, и с треском! — сказал Чабаи, теребя мой халат.

— Хоть ты-то не лезь! Не дергай, а то схлопочешь!

Он сразу притих и поплелся за мной в раздевалку. Я оделся в одну секунду.

— Ты что, нездоров? Зачем ты поплыл? У тебя даже ноги трясутся.

— Бабка твоя трясется...

— Уж мне-то не заливай... Нахватал двоек, на уроках сидишь как потерянный, дрожишь, словно лист осиновый.

— Отстань! — сказал я, а сам готов был сквозь землю провалиться, потому что зубы у меня опять застучали.

— Разве это дружба?.. Ты что, онемел? — Голос его на миг прервался, потом он выпалил: — Говори, дружба? Я скажу тебе, что это такое. Дерьмо это, а не дружба! — И он выскочил из раздевалки, с шумом хлопнув дверью.

Я натягивал тренировочный костюм и думал: ладно, с Петером я после улажу, пока мне не до объяснений. И не до состязаний: проиграл — что поделаешь? Потом... когда жизнь войдет в нормальную колею, займу и первое место. А сейчас я спешу. Уже шестой час.

■

Мост Маргит я все же прошел пешком. Кто подсчитает, сколько километров я отмерил ногами? Надо было собраться с мыслями, а для этого нужно время. Может случиться, что я не застану папы дома, то есть у дяди Пишты. Как это странно... Но я не боюсь. Что поделаешь, если слова наших отцов далеко не всегда непреложны. Ты веришь, веришь до исступления, вдруг все летит кувырком, и тогда выясняется: то, что было, уже не действительно. Объяснений не требуй, а потребуешь, тебя же обвинят в нахальстве, развязности и еще черт знает в чем. Ну ладно, увидим.

До Вышеградской улицы я тоже хотел пройтись пешком. У кинотеатра «Совет» околачивалась орава стиляг, пестрых, как попугаи: крикливо-яркие шарфы, торчащие ежиком волосы. Время от времени кто-нибудь один, нарушая позицию круговой обороны, вдруг отваливал в сторону и отпускал шуточки вслед проходящим девчонкам. Зубоскалили самым пренебрежительным тоном, но где-то проскальзывало затаенное волнение. Мне это знакомо. Трусливые подонки, со злостью подумал я и вдруг с удивлением понял, что просто завидую.

Живодер, разумеется, ошивался тут же; я хотел пройти мимо, но он заметил меня еще раньше и, должно быть, следил исподтишка. Оставив своих дружков, он направился ко мне, а я, и так уже выбитый из седла, подпустил его и даже не сбросил руки, когда он по-свойски положил ее мне на плечо.

— Чао, Хомлок! Пойдем, долбанем в «чижики»!

— У меня дела!

Я хотел поскорей от него отвязаться и у Театра Комедии свернул в переулок, но он упорно шагал рядом.

— А у меня новость — ахнешь! — сказал Живодер.— От Фараона бабенка сбежала!

— Какая бабенка?

— Жена. Не понимаешь, что ли?

— Врешь! — сказал я, но ноги у меня задрожали, как перед началом соревнований.

— Да я своими глазами видел! — загремел он мне в самое ухо.— Погрузилась в машину и отчалила!

— Врешь! Ты ведь ее и не знаешь!

— Я? Такую роскошную женщину? Ты бы видел, старик, какой у нее зад!

— Ты ее с кем-нибудь спутал,— сказал я беспомощно, чувствуя, что бледнею от бешенства.

— Да ты все проворонил. Фараон с тех пор как больной паук ползает. Погоди, сам убедишься. На ногах не стоит, шатается, будто вдрызг нализался.

Я молчал, стиснув губы, чтоб они не дрожали.

А Живодер трещал как заведенный.

— Она, знаешь, тонкая штучка. Завела себе субчика на улице Кекгойо. К нему и рванула.

— Заткнись! — совершенно убитый прошептал я, глядя прямо перед собой.

Живодер с любопытством уставился на меня и, как видно, хотел сказать что-то такое, чтоб нельзя было подкопаться.

— Умная баба. Чего ей мучиться с этим лысым хмырем! Скажи — нет?

Я видел только его подбородок с пакостно пробивающейся щетиной. Развернулся и врезал. Привалившись к стене, он зажал рот рукой, и между пальцами у него просочилась кровь. Потом свистнул — кровь и слюна брызнули изо рта фонтаном. Дружки его, должно быть, были поблизости, потому что сразу откуда-то выскочили четверо. И на меня. Мне бы надо удрать, да ведь... все равно далеко не уйдешь. Я защищался отчаянно. Молотил руками, ногами и какое-то время держал их на расстоянии. Отпрыгнув к стене, я невольно оказался рядом с Живодером. Одного, черномазого, я лягнул, и он сразу скрючился. Трое оставшихся дрались, как бешеные, а я больше не мог прикрывать лицо. Пиджак на мне был разорван по шву, чей-то кулак раскроил скулу. Я отбивался уже инстинктивно, когда передо мной внезапно выросла могучая фигура, и человек в синем фартуке раскидал моих врагов. Слов его я не слышал — после чьего-то прицельного удара в скулу меня окружила глухая тишина. Пошатнувшись, я привалился к стене; из рассеченной щеки струилась кровь. Тот, в синем фартуке, немного проводил меня в сторону Западного вокзала. Глухота наконец прошла, я зажал рану носовым платком и пробормотал слова благодарности. Он же старался меня ободрить: пусть те парни скажут ему спасибо, он сам видел, как я отделал двоих из пяти. Махнув на прощанье рукой, он сел в грузовик рядом с шофером. Я тоже помахал рукой и попытался улыбнуться — он, конечно, заслужил намного больше. Не приди он на помощь, я бы наверняка оказался в больнице.

Но даже во время драки я ни на минуту не забывал, что у меня дела в Зугло.

■

Прежде чем позвонить в квартиру дяди Пишты, я постоял на лестнице, пытаясь прикинуть: поможет или повредит мне эта неприглядная

декорация. Ну ладно, решил я, пока дребезжал звонок, сейчас все станет ясно и, в конце концов, суть не в этом.

Ключ в двери повернулся, и папа уставился на меня с таким видом, будто еще не опомнился после сна. Сперва глаза его округлились, потом он схватил меня за плечо.

— Андраш... Что за дьявольщина? Ты попал под машину?

— Да нет, небольшая драчка,— сказал я.

Никакого замешательства, как тогда в управлении, он даже улыбнулся слову «драчка».

— Здорово тебя отделали,— сказал он сочувственно.

— Матч был сыгран вничью.

— Что? А, понятно. Досталось и тем и другим. Ну, пойдем... где-то я видел йод.

Он обнял меня за плечи и повел в ванную...

— Прекрасно помню, что где-то был йод,— сказал он, как будто сейчас было очень важно говорить о чем бы то ни было.

Он взял вату, промыл рану, отрезал пластырь, ощупал разбитую скулу — она уже слегка посинела — и перевязал. И без умолку говорил:

— Все чисто... Ты умылся?.. Это не простой удар... Кулаком такой раны не нанесешь... Теперь пощиплет немного... Голова кружится? — И он отпустил меня, как куклу, когда проверяют, устоит ли она на ногах.

— Пустяки, папа. Хватит. Я ведь пришел не за этим.

— Я знаю. Хорошо-хорошо.

Он повернул мою голову к себе, как бы разглядывая повязку. Я вынужден был смотреть ему прямо в лицо: его пересекали морщины, доходившие до углов рта, такие глубокие, что казались новыми; но я знал, что они старые. Воротничок у рубашки был неприлично грязный, в такой несвежей рубашке даже я постеснялся бы ходить.

— Так что же случилось? С кем ты подрался?

— Это неважно,— сказал я совсем тихо.

Приведя меня в комнату, он прошел в нишу и захлопотал возле кухонной плиты. На тахте валялись стеганое одеяло и измятая подушка — как утром он встал, так все и осталось. На письменном столе лежали знакомые бумаги.

Он принес на тарелочке несколько бутербродов — неужели сам намазал масло на хлеб? — сифон, бутылку вина, два стакана и лимон.

Я набросился на еду, не дожидаясь приглашения, и с наслаждением выпил лимонад. Он снова стал спрашивать, с кем я подрался. А я снова ответил, что это неважно и что пришел я сюда не затем, чтоб говорить о драке.

Он расхаживал взад и вперед, потом присел, налил вина, выпил и опять зашагал.

— В последние дни я много думал о тебе,— сказал он и остановился.

— Обо мне?

— Да, конечно. Ведь ты мой первенец. Не правда ли?

Я ухмыльнулся, и рана засаднила от натянувшейся кожи. Папе, должно быть, алкоголь вреден. Первенец! Еще одна дичь!

— Я много думал. В памяти всплывало то одно, то другое. Помнишь, я как-то спросил: где ты был? На летенье, сказал ты. Знаешь ли, что это значит? Это значит, что до церковной службы тебе нет никакого дела! Что б ты ни говорил, церковь для тебя пустой звук! Вот что значит твое *летенье*. И сейчас я спрашиваю: с кем ты подрался? А ты отвечаешь: это неважно. Что из этого следует? Что у тебя есть тайна! У меня тоже есть тайна — значит, мы квиты.

Я молчал, упрямо уставившись в скатерть. Интересно, во что это выльется? Возможно, в новую проповедь на тему о моей скрытности!

Но папа лишь загадочно улыбнулся, опять налил в стакан вина, поднес его к лампочке, разглядывая темно-красный «Бикавер», и залпом выпил.

— Как мама? — спросил он с любопытством.— Что она делает?

— Лопается от радости,— с раздражением сказал я. Нашел, о чем спрашивать!

— Она знает, что ты здесь?

— Нет!

— Наверное, сидит в моей комнате. Плачет... обедов не варит. Жизнь остановилась. А вы едите хлеб с жиром. Да? — Глаза у него заблестели, и лицо становилось все веселее.

Несколько минут он ходил вокруг стола, не ожидая от меня ответа.

— Я ни разу не говорил с тобой по-человечески,— внезапно вырвалось у него.— Как же теперь начать?

Тут я вконец раскис и от волнения лягнул ножку стола.

Папа уселся на ручку кресла.

— Мне хотелось бы знать,— начал он, медленно выговаривая слова,— что ты в сущности... об этой истории ты слышал достаточно... какого ты мнения?

Хитро же он поставил вопрос. И я знал: если заставить его объяснять, он, скорей всего, выключит меня из игры. Поэтому я сразу спросил:

— Насчет коррупции?

— Ну, конечно,— нетерпеливо сказал он.

— По-моему, многовато... трепа.

— Ага. Как прикажешь это понять?

— Напиши заявление, и конец.

Он помолчал. Выпил. И снова приступил к допросу.

— Дело это довольно трудное... Рискованное. Ты понимаешь?

— Да, да. Знаю. Сам черт им не брат..

— И, несмотря на это, ты все же считаешь...

— Считаю.

— Ты очень решителен. Может случиться, что меня переведут. В провинцию. Ты поедешь со мной?

— Что за вопрос! Конечно! Это совершенно неважно.

— Вот именно,— сказал он и повел себя очень странно. Ходил по комнате и разговаривал сам с собой, будто меня и не было. Поминал каких-то сообщников, статистов и каждый раз повторял: отлично. Прямо как в школе. Отлично. Потом вдруг повернулся и окинул меня веселым взглядом.— Умный ты, сын,— сказал он.— Жизнь — всегда риск. Да? А главное — совесть. Правда?

— Правда,— сказал я удивившись.

— Скажи это своей маме! — вдруг закричал он.

— Я ей уже сказал.

— Так и сказал? Слово в слово?

— Нет, не так. Ей по-другому надо.

— Вот это верно! Это ты тоже понял. С ней надо другим языком. Мама сама поднимает бурю, а потом спрашивает: откуда буря?

Остальное я припоминаю с трудом. Он говорил, что дома даже помолчать не может и что это смешно; помянул заодно красные пятна на мамином лице, а под конец заявил, что дома работать вообще невозможно.

Говорил он сердито, дрожащей рукой наполнил стакан, снова выпил.

Мне захотелось переменить разговор, и тогда я сказал, что Кати схватила по математике двойку. Тут он просверлил меня подозрительным взглядом: все ясно, меня подослала мама, и теперь ему проще простого разгадать наш несложный маневр. Раз Кати получила двойку, его прямая обязанность мчаться домой и заняться с ней алгеброй.

Он наклонился к моему лицу и, дыша на меня винными парами, сказал:

— А я не пойду, слышишь, сын! Доведу до конца то, что начал!

Запах вина вызвал во мне непонятное раздражение, и я не стал уже обдумывать своих слов.

— Ну, а в будущем, если что случится, ты опять уйдешь из дома?

Я думал, схлопочу пощечину, но папа, покусав губы, тихо, раздельно сказал:

— Мне хотелось бы жить иначе, чем я жил до сих пор.

— Вы разведетесь? — вырвалось у меня, и комната закружилась перед глазами.

— Ты меня не так понял.

Он продолжал говорить, а до меня долго почти ничего не доходило — горло сдавила злость на то, что я оказался законченным идиотом и не смог понять что к чему; в то же время я почувствовал облегчение и от этого чуть не разревелся.

Пока он говорил, я поспешно глотнул из стакана не допитое им вино.

Немного погодя я мог уже слушать и, как иногда на уроке, даже прокрутился чуть-чуть назад. Он сказал, что я отлично соображаю и что есть вещи, в которые надо верить, иначе не стоит жить. Бывает, что он стоит по одну сторону черты, а мама — по другую и ни один не хочет перешагнуть через эту черту. Тут он, ужаснувшись, объявил, что мама попросту отрицает действительность; она утверждает, что всю историю с коррупцией выдумал Кёрнеи... все это химера, говорит она. И ей совсем безразлично, сохранены или растрачены государственные средства. «Боже мой! Все это делают...» И ей все равно!

— А мне не все равно! — кричал отец.— Ты можешь это понять?

Я кивнул в знак того, что прекрасно понимаю, и тут же ввернул, что Кати тоже отрицает действительность. Он, кажется, остался доволен, потому что вроде бы слабо улыбнулся.

...Папа проводил меня до остановки. Мы молча смотрели на приближающиеся огни трамвая, и больше нельзя было откладывать вопрос, вертевшийся у меня на языке с самого начала.

— Когда ты вернешься домой... примерно?

— Не знаю... Это не от меня зависит... Поверь!

Я отвернулся. Трамвай уже подходил.

Он рад, сказал папа, что я его понимаю и что я стал совсем взрослым.

Трамвай быстро тронулся; с площадки я оглянулся: он стоял не шевелясь, и ветер трепал его волосы и шарф, но выражения лица разглядеть я не мог.

Все в один голос твердят, что я взрослый. А меня вдруг сковала смертельная усталость, разбитая скула болела, и я думал, как хорошо быть ребенком, лучше всего грудным, и совсем ничего не понимать.

Глаза у меня горели сухим огнем, ветер, врывавшийся на площадку, едва-едва освежал. Хлопнула дверью кондукторша, я стал шарить в карманах и выудил всего двадцать филлеров — больше ни гроша не было. Я смущенно смотрел на девушку; она не торопила меня и дожидалась с благожелательным видом, а потом сказала, что все обойдется и, так как я ранен, она довезет меня до бульвара бесплатно. Девушка была толстовата, с облупившейся на ногтях яркой краской.

Доехав до бульвара, я выскочил из трамвая, натянул на голову мокрый берет и выбросил зажатые в руке двадцать филлеров — на них все равно ничего не купишь.

Лил дождь, и вода текла по лицу; я шел сутулясь, чтоб прикрыться от ветра. Другие шли точно так же: торопясь и сутулясь.

Часы у моста Маргит показывали без четверти восемь. Ветер пронизывал меня до костей, лицо совсем онемело, и я прибавил шагу. Пройдя мост, я пустился бегом, и странное дело: холод и физическое напряжение постепенно вытеснили тяжелое, как гиря, внутреннее отупение. Через площадь Бема, минуя людный проспект Мучеников, я побежал по извилистым улочкам у подножия Крепости.

На Вермезэ я замедлил шаг, отжал берет и нехотя поплелся домой.

Освещенные окна в квартире Фараона были не занавешены и распахнуты. Я перешел на другую сторону улицы, чтобы разглядеть, что там делается. Я часто видел в окне Зизи и сейчас готов уже был обрадоваться, что Живодер солгал: в очертаниях стоявшей у окна фигуры мне померещилась Зизи. Но, присмотревшись, я узнал Фараона. Он стоял, прислонясь к подоконнику, неподвижный, как статуя, и видна была лишь его круглая, с жидкими волосами макушка. Неожиданно беспокойным движением он прикоснулся к голове, потом зябко скрестил на груди руки и сделал круг по комнате; на миг он исчез, мелькнул в раме второго окна и возвратился на прежнее место.

Я не мог оторвать глаз от этой сгорбившейся печальной фигуры, и вдруг в тишине, пронизанной дождем и глухим воем осеннего ветра, мне послышался голос Живодера: «Умная баба! Чего ей мучиться с этим лысым хмырем!»

Невольно я оглянулся и зажал уши, а потом, обозлившись на собственную дурь, засунул руки в карманы; этого еще не хватало. Ведь Живодер с разбитыми губами давно валяется дома.

Крадучись, я пошел прочь от окон, и меня не покидало ощущение, что Фараон меня видит. Но оборачиваться не хотелось.

Я побежал домой.

■

Испуганный возглас и аханье — все это я стоически выдержал. А мама поверила, будто во время плаванья я наткнулся на канат и содрал на щеке кожу.

Потом я спросил, не приходил или хотя бы не звонил папа.

Притворяться больным мне не надо было. Я молча вошел в свою комнату, кое-как разбросал одежду и забился в постель. Мама что-то говорила о чае и умыванье, потом подоткнула одеяло, хотя все время думала о другом; а на меня разом надвинулись забытье и волнение. Едва мама вышла, из глаз хлынули слезы, и я, глядя на разрисованный рыбами абажур, думал о том, что больше уже никогда не засну спокойным и крепким сном усталого человека... В голове жгло не переставая...

Проснулся я оттого, что по комнате ходила мама и складывала мои вещи. Я лежал с открытыми глазами, но она этого не замечала. Веки у нее были красные, а лицо совсем белое, словно покрытое толстым слоем пудры. Мама любит поплакать, но сейчас это были не неистовые, растапливающие гнев слезы; эти слезы были иные, исполненные истинного страданья, от которых лицо ее день ото дня становилось все бледней и прозрачней. А у папы глаза в красных прожилках, он пьет, чтоб взбодриться и говорить, потому что больше всего ему хочется молчать — так он устал... Все во мне перевернулось, и надо было что-то сказать моей маме, стоявшей у стола и невидящими глазами смотревшей на зашторенное окно. Голова у меня так горела, будто внутри черепа все было выжжено.

Я предупреждающе шевельнулся.

— Я не сплю,— сказал я.

— У тебя болит голова? Давай измерим температуру,— встрепенувшись, сказала она.

Подошла к постели и села. Тяжело было видеть ее глаза, омраченные мамины глаза.

— Нет, не болит,— сказал я поспешно и протестующе. Она поняла и не шевельнулась.— Не болит, только жжет... внутри.

Тогда она стала гладить мой лоб — рука у нее была прохладная, и прохлада словно бы проникала сквозь череп.

— Где ты был? — спросила она.

Я промолчал.

— Не отпирайся, ты разговаривал с папой. Я же вижу! — непривычно тихо, просительно сказала мама.— Ты хочешь вернуть его домой? — продолжала она, убрав со лба руку.

— Голова горит...— быстро сказал я.

Она снова положила мне руку на лоб.

— Теперь-то ты видишь, какой он тяжелый человек!

— Он работает,— пролепетал я.

— Работает! Заладили оба одно и то же и твердите как заклинание. Я тоже работаю. Все работают,— она опять сняла руку.

Тут я вспомнил о Кати — она же наверняка подслушивает.

— Кати не спит? — спросил я.

— Кати давно спит. Что с тобой?

— Голова горит.

— Давай положим мокрое полотенце.

— Внутри горит,— сказал я нетерпеливо.

Она едва заметно улыбнулась, снова положила руку на лоб и, пока мы разговаривали, снимала ее лишь на секунду.

— Попытайся заснуть, родной!

Внезапно в моем воображении всплыло папино лицо, его оживленные глаза с красными прожилками, неприлично грязная рубашка — я видел это так явственно, что должен был сейчас же сказать:

— У папы грязная рубашка.

— Что ты говоришь?

— Рубашка такая грязная, будто он вывалял ее в земле!

Она сидела поникшая и молчала.

— Этим он тоже позорит меня.

— Да нет же! Просто ему там плохо.

— Он этого хотел. Он нас бросил.

— Он скоро вернется.

— Он так сказал? — Глаза ее блеснули, как внезапно вспыхнувшие фонарики.

Я молчал и знал: сейчас я сделаю то, что до этого лишь на миг мелькнуло в моем сознании. Им самим не под силу, а мне легче.

— Он сказал, что ему очень не хватает тебя...

— Меня? — спросила она, и фонарики вспыхнули снова.

— Да.

— Ты лжешь, мальчик! Зачем?

— Я не лгу. Он повторил это дважды! — Я смотрел на нее не моргая, хотя глаза мне жгло нестерпимо.

— Ты бы лучше поспал,— сказала мама.

— Он просил передать,— продолжал я твердо,— чтоб ты простила его. Ему страшно хочется, чтоб ты его поняла.

— Ты сочиняешь, мальчик! Твой отец никогда бы этого не сказал...

— А теперь сказал! — настаивал я решительно и капризно.

Мама заплакала, на мгновенье прижалась ко мне головой, потом с искаженным от рыданий лицом, запинаясь, сказала, что я весь горю и что было бы хорошо, если б папа умел так прекрасно лгать.

Я немного обиделся — она ведь попросту называет меня лжецом. Но за сегодняшний день я так измотался, что с меня было довольно. Я чув-

ствовал, если наша беседа продлится еще минуту, я уже не заплачу, я буду кричать, выть.

— Голова больше не горит,— пробормотал я и снял со лба ее руку.

— Спи, родной,— сказала мама, простилась и вышла, но вскоре вернулась и заставила меня проглотить таблетку. Я знал, что это снотворное. Смежив веки, я увидел какой-то радужный свет, и так странно мне было сознавать, что вот и я засыпаю с помощью снотворного.

■

В щель между шторами проникал дневной, резкий свет. Я все, конечно, проспал. И все-таки не вскочил — в голове засела неотвязная мысль: папы нет дома, и я принял снотворное, так что ничего удивительного. Из-за двери я слышал шаги и возню Кати. Может, позвать?

— Кати!

Она вошла сразу, уже в школьном фартуке.

— Кати! Который час?

— Без четверти два. Не расстраивайся... Мама не велела тебя будить. Что с тобой случилось?

Информируя ее, мама, должно быть, в подробности не вдавалась.

— Ничего,— сказал я и отвернулся.

— Здорово тебе всыпали! — В голосе ее слышались ехидство и сочувствие. Она раздвинула шторы, и в комнату хлынул яркий солнечный свет. Грустно... Ни разу в жизни я не спал до двух часов дня. Что же будет?

— Есть хочешь? — спросила Кати.— Не хлеб с жиром... Вечером мама сварила мясной суп. Встань, поешь.

— Потом.

— Где тебя избили?

— Меня не били.

— Я же вижу,— сморщившись, протянула Кати.— Вечно ты со всеми ссоришься.

— Семейная черта,— отрезал я. Имел-то я в виду одну Кати, но вдруг сообразил, что это применимо ко всем нам.

— Тебе бы лучше молчать... Ты ведь ссоришься больше всех...

Я задумался. С ней-то явно не стоит.

— У нас каждый считает, что виноваты другие, все, кроме него...

Кати сразу взвилась.

— Я сейчас же позвоню папе и скажу...— начала она шумно и вдруг осеклась.

Я облокотился о подушку.

— Что именно?

— Чтоб он шел домой!

— Кретинизм! — сказал я и лег опять.

— А что мне ему сказать? — спросила она непривычно кротко, присела на край постели и зашелестела страницами книги.

— Не надо его звать домой! Просто поговори с ним повеселее... скажи, что у нас все отлично, погода прекрасная, солнце...

— Не придуривайся!

— ...Одно только плохо, что мама не спит по ночам. Глотает снотворное!

— Ага! — пробормотала Кати, желая казаться смышленой и в то же время не смея переступить черту, обозначенную для детей.

— Скажи ему вот что: мама жаловалась, что ей страшно не хватает папы,— внушал я настойчиво, но безуспешно.

— Этого я не скажу,— заупрямилась Кати и отодвинулась.

— Вот дурья башка! Это же самое главное!

— Он ни за что не поверит!

— Не валяй дурака! Делай, что тебе велят! — заорал я, трясясь от злости.

Кати испуганно вскочила, захлопала глазами и чуть не разревелась.

— Хорошо, я скажу, только не кричи на меня! — согласилась она наконец.

— И еще скажи, чтоб с мамой он был поласковей. Поприветливей, понимаешь? — сказал я не слишком приветливо.

— Понимаю, не такая уж я дура.

Я вскочил с постели и потребовал чистую рубашку. Она, как водится, заартачилась: дескать, взял себе манеру приказывать.

Я пошел в ванную.

— Мама звонила твоему классному руководителю,— сообщила она мне в спину.— Все улажено... Он сказал, чтоб ты зашел, когда поправишься...

— Зашел? Это еще зачем? — Я пытливо вглядывался в физиономию сестрицы, но она смотрела на меня совершенно невинно, ничего не подозревая.

— Сам знаешь зачем. Может, подрался или еще что-нибудь.

— Ага! — сказал я, будто бы догадавшись. В общем, чистейшая муть. Фараон о драке не знает. А если б и знал, что тогда? Ему ведь вовек не догадаться, из-за чего была эта драка.

■

Когда на площадке третьего этажа я увидел Агнеш, в голове у меня мелькнуло, что произнести первое слово дьявольски трудно. Какой-нибудь слюнтяй никогда б не решился. Что ж, попытаюсь, подумал я кисло. Нельзя быть слюнтяем.

Агнеш, конечно, заметила меня сразу и еще у дома нарочно замедлила шаг. Она шла и оглядывалась, будто бы совсем равнодушно, но походка ее выдавала: она меня форменным образом подманивала. Агнеш не выбирает. Попадись ей хоть пень березовый и обрати на нее внимание, она б и его не пропустила.

У Майора на перекрестке она остановилась. И сгорала от любопытства, куда я поверну. А я, не дойдя до нее нескольких шагов, молча остановился и довольно стойко выдержал ее взгляд.

Помахивая сумкой, она заговорила первая:

— Ты шел за мной?

— У меня тут как раз дела.

— Да? А какие?

— Я хотел попросить прощения у одного человека,— сказал я с удивительной легкостью, зато Агнеш смутилась.

— Ну, пожалуйста! — сказала она и шевельнула плечом, подзывая к себе.

— Вот только не знаю, будет ли тот человек один.

Агнеш засмеялась.

— Не валяй дурака, Андриш... Я уже не сержусь.

— Словом... ты ждешь кого-нибудь или нет?

— Противный мальчишка! Никого я не жду.

— Тогда дело другое. Прости меня.

— Ха-ха, просто взять и простить?

Я промолчал, зная, что сейчас начнется самое безрадостное кривлянье — она потребует, и мне придется ломать комедию, хочу я того или нет.

— Я смотрела телеспектакль,— хихикнув, начала она,— и там, представь себе, он упал перед ней на колени.

— Этого ты не дождешься!

— Нет, погоди! Она с надменным видом протянула руку, и он поцеловал.

— Ну, это еще куда ни шло! — сказал я, считая, что это мне по зубам.

— Давай! — моментально согласилась Агнеш и протянула руку. Я взял ее обеими руками, наклонился и вдруг почувствовал, что игра давно кончена, она кончилась еще там, на горе, и невыносимая дрожь пронизала все мое тело. Она заметила, отняла руку и посмотрела на меня таким взглядом, какого я никогда еще у нее не видел.

— Я иду в гастроном. Ты меня проводишь? — Прежней игры не осталось и в помине.

Я ее проводил. У входа в магазин она сделала рукой прощальный жест, куда более ласковый, чем когда бы то ни было, и я очень хорошо знал, что это значит.

■

Я пустился бегом, это меня успокаивало. Мне предстоял еще один разговор, на который я решился с величайшим усилием и отступать не хотел.

Быстро оправив воротничок рубашки, я постучал. Тишина. Тогда я нажал на ручку двери, она легко подалась, и я вошел. Дверь комнаты, куда в последний раз так приветливо пригласила меня Зизи, была распахнута настежь. В плотной дымовой завесе взад и вперед расхаживал Фараон. В полумраке комнаты нельзя было разглядеть его лица, но фигура казалась совсем чужой — никогда, даже летом, я не видел Фараона с расстегнутым воротом.

Увидев меня, он махнул рукой, и я поклонился.

— Приветствую, Андриш! — неестественно громко, с каким-то надрывом произнес Фараон.— Заходи... садись... Сегодня ничем угостить не могу.

Он возвестил это так театрально, словно цитировал «Трагедию человека»: «Борись, человек, и верь», но глаза у него были такие же тревожные и с красными прожилками, как у папы в Зугло. Он, без сомнения, пил, и я невольно покосился на столик: там стояла бутылка ликера и одна-единственная рюмка. Фараон заметил мой взгляд.

— Это не для тебя, напиток слишком крепкий,— сказал он недовольно и с явным намерением осадить, словно я напрашивался на выпивку.

— Мама сказала...— начал я, но он не дал мне договорить.

— Да. Я долго разговаривал с твоей матерью,— сказал он торжественно, но я видел, что ему трудновато собраться с мыслями.— *У вас,*— подчеркнул он хрипло,— в скором времени все наладится. Ты тоже так полагаешь?

— Не знаю,— сказал я неуверенно. А в действительности просто не знал, стоит ли принимать его сейчас всерьез — ведь он пьян.

Он неподвижно смотрел перед собой, потом пристально взглянул мне в лицо и быстро вышел из комнаты. Минуты через две он вернулся — с лица его исчез маслянистый блеск, редкие волосинки были тщательно приглажены, глаза стали строгими, как обычно.

— Твоя мать спрашивала мое мнение. И просила совета. Вмешиваться в такие дела неудобно. Я не знаю, каковы отношения между ними,— он смотрел на меня вопросительно, и моя недоверчивость вдруг испарилась, мне даже в голову не пришло, что я должен хранить тайну. Какое-то чувство подсказывало, что так даже будет лучше.

— Сейчас им плохо обоим,— сказал я.— Одинаково.

— Одинаково?

— Да.

— Это и есть главное! — сказал он категорично. Сперва я подумал, что в нем говорят пары алкоголя, но потом понял.— А в чем, по-твоему, дело? — спросил он более дружелюбно.

Я долго молчал, не желая отвечать, но потом смекнул, что мама, наверное, много чего наговорила... Фараон терпеливо ждал.

— Им трудно,— сказал я наконец.— Они не находят нужных слов.

Глаза у Фараона сверкнули.

— Мать тревожится о тебе. Она утверждает, что ты говоришь вещи, которые... тебе просто приснились... Одним словом...

— Ничего мне не приснилось. Все правда. Но сами они не умеют этого высказывать!

Я говорил очень решительно. И знал — за спиной у меня дребезжал телефон и велись оживленные переговоры. Дело ясное: Кати звонила папе. Старики дико растроганы и считают меня арбитражной комиссией.

Фараон таращил на меня глаза, как на победителя Олимпийских игр.

— Странный ты парень. Зачем ты взял на себя вину Перцела?

И это уже известно. Что за мания трепа? Начиная с Чабаи и кончая Живодером, никто не способен держать язык за зубами.

— Весь класс обозвали сборищем трусов,— сказал я, пожимая плечами.

— Понимаю,— сказал Фараон, и глаза его влажно заблестели.— Я преподаю уже двадцать лет, и не раз мне казалось, что ребята механически затверживают то, чему я их учу: коллектив, справедливость, самопознание... Но порой я бываю счастлив...

Он не договорил, чем счастлив: женщина, убиравшая в квартире, просунула голову в дверь и объявила, что господин учитель помрет от дыма.

— Не беда,— очень логично заметил Фараон и закурил.— Разумеется,— сказал он, как бы продолжая прерванную мысль,— у твоей матери причин для беспокойства достаточно. Вот хотя бы из-за коррупции...

Я чуть не взвился. Из горла у меня уже рвался крик, но я лишь рот разевал, как рыба. Узнай об этом папа, он бы не только стулом грохнул об пол!

— Мама вечно боится! — вырвалось наконец у меня в сердцах.— Есть ли коррупция, нет ли ее, она все равно боится. Только зря она так. Папа напишет заявление, несмотря ни на что. Там ведь форменное разложение, вор на воре, и каждый норовит урвать у государства! Не беспокойтесь, он подаст заявление! — с жаром уверил я.

Я встал, готовый кинуться со всех ног.

— Вполне естественно,— сухо сказал Фараон, глядя на меня странно-холодным взглядом. А я вдруг на себя обозлился. Какого черта я тут распинаюсь! Тайна у Фараона все равно что в могиле, но он уже раскусил, что я тоже боюсь.

Тут Фараон подтвердил, что ему все известно.

— Отец еще не вернулся из Зугло?

— Нет.

— Мне хотелось бы тебя успокоить, Андраш,— сказал он серьезно, подошел и погладил меня по голове.— Мне кажется, они найдут общий язык...— Взволнованный, он умолк и развел руками.

Я наклонил уже голову для прощального поклона, но напоследок все же выдавил из себя:

— Вы... нездоровы, господин учитель?

— Нездоров? Кто тебе сказал?

— Никто. Просто...

— Я плохо выгляжу, правда? — Он немного подумал, потом, отведя взгляд в сторону, с напускным оживлением спросил: — Значит, ты уже слышал о том, что у нас произошло?

Я не ответил и проглотил подкативший к горлу комок. До последней минуты я пытался не верить болтовне Живодера, но сейчас уже не оставалось сомнений, что каждое его слово правда.

— Ты ничего не слыхал? — тихо, с легкой запинкой, спросил Фараон, глядя на меня с мучительным волнением.

— Нет,— солгал я. Раз надо, приходится лгать.

— Ну, все равно. Еще услышишь. Итак... в скором времени... я разведусь со своей женой. Тебе скажут об этом, не беспокойся. Здесь я преподаю уже десять лет. Добрых несколько тысяч людей знают меня в этом районе... Я попал в глупейшее положение... Ребята, конечно, будут потешаться...— Он намеренно себя растравлял, и голос его прерывался. А я просто рассвирепел: неужто Фараон всерьез думает, что до этого над ним не потешались?

— Ребята не... ребята будут молчать... все до единого,— пробормотал я.

— Какое-то время в школе меня не будет,— сказал он несколько суше.— Не подводите меня пока... Ну что ж... до свиданья, Андраш. Заходи,— и он протянул руку.

Не помню, как я оказался на лестнице. А там уж как следует выругался. Кормят всякой тухлятиной. А ты переваривай, если сможешь!

■

Вечера длинные, время тянется, как резина. Пойти пошататься и то нельзя — обидятся дома. Женщины! Часы тикают так, что гремит в ушах, с минуты на минуту ждешь истерики — того и гляди, вскинутся, как вспугнутые птицы.

Пытался позаниматься, но в голову ничего не лезет. От класса я как-то отстал, а на математике так дергался, что даже пример до конца не списал. Хорошо бы как-нибудь улизнуть, но поздно. Все же я сунул под мышку тетрадь и вышел в проходную комнату. Мама, лежа на диване, читала. С тех пор как папы нет дома, у нее масса свободного времени.

Кати в папином кабинете занималась «вокалом», с раздражающим однообразием повторяя одни и те же два такта.

Неожиданно с адским грохотом она распахнула дверь, окинула нас мрачным взглядом и снова пошла вытягивать свои такты — угрюмо, сердито, чтоб аудитория знала, какое важное, трудное и совершенно дурацкое задание она получила.

— До, ми, соль, ля, соль, ми, до,— неслось по дому дрожащее тремоло. Мама тоже дошла до белого каления, и тогда я решил прервать представление:

— Перестань визжать!

— Я не визжу, а упражняюсь!

— Упражняйся в кухне или... где хочешь. Только не здесь! — С мамой не имело смысла спорить, наш жаворонок тут же вылетел в кухню и притих.

Стояла мертвая тишина. Мама потянулась и, вставая, захлопнула книгу.

— Который час?

— Семь,— сказал я.— Пойду к Чабаи.

— Так поздно?

— Я не понимаю примера.

— А почему не слушаешь на уроках? Что еще за новости! В семь часов вечера...

— Если ты объяснишь, я не пойду! Чему равно $5x^2—3x$? Давай!

— Ах, бессовестный! Никуда ты не пойдешь! — слезливо крикнула мама.

Я пожал плечами. Мне-то ведь безразлично. Я вернулся в свою комнату, поставил локти на стол и склонился над тетрадкой. Ну и не решу примеры. Велика важность!

Не успел я еще успокоиться, как дверь неожиданно отворилась, с пятнами на лице появилась мама и остановилась на пороге, как гостья, теребя в руках платочек. Я приготовился к самому худшему... Это было совсем необычно.

— Андриш... Андриш...— сказала она,— можешь идти к Чабаи! — Это звучало так, будто перекрестным допросом подсудимого приперли к стенке и он вынужден во всем признаться. Хотел бы я знать, к чему столько треска?

Она готова была разрыдаться; я встал, чтобы как-то ее успокоить, но она тут же повернулась к двери, словно пересказала вызубренный текст и ждать от нее больше нечего.

Теперь она закроется в папиной комнате, ляжет на папину тахту и будет плакать... Уж это точно!

Несколько минут я смотрел на дверь, за которой скрылась мама, потом тихонько выскользнул из дома. Шел дождь. Задрав голову, я подставил лицо под его холодные струи.

Надо бы предупредить Кати, чтоб не беспокоилась...

■

Фараона заменяла учительница Бодор. Класс с глубочайшим интересом следил, как она спускается с кафедры, подходит к столам, с какой поразительной легкостью несет свое колышущееся рыхлое тело. Сказав несколько затасканных фраз о том, что она, дескать, ждет от нас того-то и того-то,— а ребята только и ждали, чтоб она шевельнулась, потому что тогда она похожа на огромную, сотрясаемую ветром грушу,— Бодор принялась проверять дневники. Многие, как водится, были не подписаны — вот тут-то она свою желчь и выпустила: в классе, мол, царит совершеннейшая распущенность. Это она шпильку в Фараона всадила.

В моем дневнике она сразу же обнаружила, что замечание не подписано. «Андраш Хомлок учинил в школе драку»,— прочитала она и воззрилась на меня с немым укором, а я, сжав губы, ждал, что последует дальше.

И вот выстрел грянул.

— Уж если у тебя хватило мужества драться, его должно было хватить и для признания.

Блеск! Звучало просто великолепно! Моя задунайская бабушка в таких случаях говаривала: «Этот тоже нашел вымя между рогами».

Класс загалдел, а Шомфаи, к которому она стояла спиной, изобразил, какой у нее потрясающий зад.

Она не поняла, отчего зашумели массы, и продолжала дознание:

— Почему у тебя не подписан дневник?

— Как вам угодно было отметить, я боялся получить взбучку. Только поэтому!

Класс дружно грохнул.

Она приказала всем замолчать, прекратила расследование, но пригрозила, что через несколько дней снова устроит налет и тогда уж не сдобровать тому, кто и тэдэ и тэпэ.

Без Фараона в школе стало куда скучнее.

■

Утром мы с Кати торопились в школу, а под вечер, когда я вернулся домой, мама со страшной силой наводила на себя красоту. Кати, как

водится, была «вне дома» — она шатается гораздо больше, чем я... Изворотливость ее поразительна: наплетет черт знает что и целый день носится за милую душу. А поймаешь ее с поличным, наврет с три короба, что гуляла с Мацо или провожала Жужу на тренировку.

Мама уложила волосы. Заколола пучок и сделала легкий начес — любимая папина прическа. Я подошел к двери ванной. Мама старательно поливалась духами; я сказал, что бретелька на комбинации отрывается — пришлось тащить иголку и нитку, и она быстро ее пришила.

— Пожалуйста, сумку, скорее! — Она махнула рукой, давая знать, что уже опаздывает, и ... вынула маникюрные ножницы; подпиливая ногти, она бросала на меня короткие таинственные взгляды. Ага, пора, значит, проявлять любопытство. Ну, за этим дело не станет.

— Куда ты собираешься, мама? — спросил я сверхбодрым тоном.

— Никуда!

Все в порядке, все ясно.

— Ты кого-нибудь ждешь? — задал я следующий вопрос.

— Да, жду. Кое-кто должен сегодня прийти,— сказала она таким загадочным тоном, словно начала сказку из «Тысячи и одной ночи». Только сказка эта была донельзя знакома.

Ей хотелось продолжить игру в вопросы-ответы, но я сказал, что уже четверть шестого и лучше мне встретить гостя у дома.

— Ступай, милый,— с чувством сказала она и, когда я уже закрывал входную дверь, крикнула вслед: — Ты рад?

Я сделал вид, что оглох. Если б стал отвечать, то наверняка скартавил бы и сказал: «Я гад». А она бы решила, что я спятил, или завелась бы насчет того, как бессердечна современная молодежь.

■

Выйдя за ворота, я стал в сторонке и издали смотрел на прохожих: на старуху с таксой, на дядю Мики, на элегантных пижонов — из тех, что обычно токуют вокруг Агнеш... Если подойти близко, придется здороваться, а ведь надо хорошенько обдумать, с кем как... Лучше всего, по возможности, избегать приветствий. Не прошло и пяти минут, как на углу показался папа. Неторопливо, широким шагом я двинул ему навстречу. Он не отрывал от меня глаз и, когда мы сошлись, прижал к себе.

— Как живешь? Хорошо? — спросил он.

— Хорошо,— сказал я и почувствовал, что краснею. Он, единственный человек на свете, заметил, что я *живу*. У меня стали дергаться мышцы под глазами. А у него задергалось все лицо.

— Ты цветов не купил?

— Вот видишь, забыл. Может, купишь?

Я кивнул без особой радости. Мне хотелось присутствовать при их встрече. Хотя понимаю, что третий лишний...

Спускаясь по лестнице, я прыгал через пять ступенек, поднимался же гораздо медленнее. И мое беспокойство было небеспричинным. Уже в прихожей я услышал легкую перепалку.

— ...я просто счастлива, что вся эта грязная история кончилась! — капризно и нервно говорила мама. Ей всегда кажется, что все обстоит именно так, как она желает.

— Нет, дорогая, ничего не кончилось. Я бы сказал, все еще только начинается!..— Папа говорил своим прежним, назидательным тоном, от которого мама заводится мгновенно.

Она, по всей вероятности, отвернулась, потому что до меня долетело всего несколько слов.

— ...ваши вечные сражения!

Я толкнул дверь. Они оба казались испуганными, у папы даже кровь отлила от щек, и он сделался пепельно-серым, зато из меня вся горечь вмиг испарилась. Я вертел в руках цветы, будто обдумывал, что с ними делать.

Мама, конечно, просияла.

— Это мне? — спросила она, указывая на цветы.

— От папы,— сказал я.

Папа глубоко вздохнул.

А мама разыграла соответствующую роль. Цветы — прелесть, а мы оба так милы и тэдэ и тэпэ.

Потом она окинула папу критическим взглядом.

— Прими ванну, Шандор! — распорядилась она.

Надо признать, рубашка на нем была до невозможности грязная.

А я про себя подумал: что же, мне всегда теперь толкать дверь, когда у них начнется баталия?

■

Утром я проснулся последним. За дверью тихо бормотал приемник; я прислушался, надеясь, что ничего не произошло. Вышел из комнаты— тишина.

Я постучал в дверь ванной.

— Успеешь! — крикнула сестрица.

— А ты пошевеливайся!

Но она уже вышла. С таким веселым и нахальным видом, что мне стало завидно. Вот бы мне быть таким идиотом!

Я хлестнул ее полотенцем по мягкому месту — треск пошел по всему дому. Но она не зевала, молниеносно схватила тапку и, прежде чем я вскочил в ванную, огрела по спине.

Дверь я притворил неплотно и непрерывно прислушивался.

Кати преспокойно одевалась и даже, когда папа и мама прощались, не почувствовала приближения бури. Я уже натянул пуловер.

— Когда ты придешь... приблизительно? — спросила мама так громко, что я вздрогнул.

— Поздно,— ответил отец решительно, но с оттенком досады. Он ждал сцены. Я тоже.

Мама некоторое время молчала.

— Передай привет Кёрнеи,— сказала она вдруг удивительно мягко, но с особым значением.

— Откуда ты знаешь?..

— Ты с таким видом смотрел в пространство...

— Словом, передать или нет?

— Разумеется, передать!

Папа с облегчением засмеялся и сказал, что мамочка *ангел*. Сила!

— Такой уж я родилась,— сказала мама.— Но ты все же поторопись!

Разговор был исчерпан, они вышли, и папа забыл проститься с нами.

А я, подражая гортанному голосу Модуньо, стал орать, чтобы как-то разрядить свое долгое напряжение:

— Воляре, о-о, кантаре, о-о-о-о...

— Что ты воешь, как собака? — спросила Кати.

Я не ответил и продолжал орать. Она слушала весьма подозрительно, и тогда я кивнул на приемник.

— Ты что, не слышишь? — Диктор как раз говорил о погоде: ветер южный, слабый, температура днем плюс 25°.— Погодка как по заказу!

— Ну и что? — протянула Кати разочарованно.— Потому ты и бесишься? Я думала, что-то случилось.

Я махнул рукой. Ну и девчонка! Настоящий лапоть-болельщик: мчится на матч, а сам в футболе ни черта не смыслит.

■

На уроке математики дядя Лойзи вызвал меня к доске. Шел я уверенно, да и он подбодрил:

— Что ж, исправим неэначительную аварию!

Но «исправить» не удалось. Он дал мне тот злосчастный пример, в котором я однажды увяз и который хотел обсудить с Чабаи, когда неожиданная мамина «самокритика» отбила у меня охоту заняться им.

— Я не знаю,— сказал я,— чему равно $5x^2—3x$.

— Не знаешь? Не может быть! Ведь это повторение пройденного!

Я стоял, опустив руки, с самым несчастным видом.

— Что с тобой, Хомлок?.

Тут Франк, наш ответственный за успеваемость, заглянул в свою тетрадь и поднял руку.

— Хомлок уже целую неделю не отвечает, господин учитель!

Класс зашумел. Я тоже рассвирепел. Вот подонок! Ему-то какое дело!

— Придержи язык,— с угрозой прошипел ему Чабаи.

Но Франк лишь презрительно оглянулся.

— А почему? Не готовится? — спросил дядя Лойзи.

— Да,— отчеканил Франк, взглянув на Чабаи.— Не готовится!

— Может, ты болен, мальчик? — озадаченно спросил учитель.

— Нет.

— Ты, без сомнения, болен! — И он разрешил мне сесть.

Потом вызвал еще раз: пусть отец сводит меня к врачу — глаза, дескать, мутные и лицо землистое.

Старик был расстроен и всячески старался не поставить новой двойки. И не поставил.

Это меня доконало. Обожаю такое великодушие! Я сидел совершенно сникший и чувствовал, как лоб покрывается испариной.

Чабаи объявил, что я похож на труп трехдневной давности.

Да, на этот раз вышло не слишком элегантно.

■

Время послеполуденное. Сигнал к началу «второго раунда»—письмо.

Мама подшивала юбку, когда на галерее раздались шаги; она думала, что это Кати. Я даже вскочить не успел, как папа вышел и вернулся с конвертом.

На щеках у мамы зарделись пятна, она встала, судорожно смяла юбку и впилась глазами в письмо.

— Что это?

Папа постукивал письмом о ладонь.

— Это...— сказал он, глядя на маму с опаской,— одним словом, повестка. В понедельник будет слушаться дело... дисциплинарное. В сущности, это формальность...— И он умолк.

Мама мяла, рвала свою юбку. Глаза ее останавливались то на письме, то на мне. Мы все знали, что дисциплинарное дело далеко не формальность, но спорить никто не стал. Сейчас нас с папой заботило одно: чтобы мама успокоилась и не устроила скандала.

Но этого маме мало. Ей надо словами излить волнение по какому бы то ни было поводу.

— Что вы оба так странно смотрите? Я действительно испугалась. Разве нельзя?

— Нельзя! — сказал я твердо, и лицо у папы чуть-чуть просветлело.

Но мама все-таки нашла зацепку и, ухватившись за нее, могла теперь кружить вокруг главной темы, так что придраться было не к чему.

— Герои! Герои! — повторяла она, а потом сказала, что я факир и еще больший безумец, чем мой отец. Другие дерутся, а я за них отдуваюсь и хватаю замечания. Затем она сказала, что мы вдвоем, я и папа, непременно спасем от всяких напастей мир.

Мы словно окаменели, глядя и слушая, а у мамы в голосе зазвенели слезы, и она стала жаловаться, что вышла замуж за безумца, но одного сумасшедшего оказалось мало, и тогда она родила второго.

Она плакала в три ручья, потом начала смеяться. Я глупо ухмылялся, а у папы плясали брови, и единственное, чего ему хотелось, чтоб все уже было позади.

Мама еще поломала комедию: у нее, дескать, припухли глаза, как с такими глазами идти в магазин?

Папа уже был на пределе и чуть не сорвался, но я поспешно вмешался и дал маме совет во время раунда всегда улыбаться, тогда глаза не будут ни красными, ни припухшими.

Родители снова переглянулись, страшно таинственно, и мама наконец ушла.

А папа глубоко перевел дыхание и исчез в своей комнате.

По-моему, в самые трудные минуты жизни он всегда остается один.

И еще мне кажется, что теперь мои дорогие родители будут ссориться втихомолку, предостерегая друг друга взглядом: «Думай, о чем говоришь! Ребенок слушает!»

■

Несколько позже, когда папа вошел в мою комнату, я сразу почему-то решил, что «занятий с детьми» не будет. Как бы не так! Перед трудным матчем, назначенным на понедельник, папа хотел успокоить нервы. Поначалу мне было как-то не по себе, но потом... зря я так, ведь мой старик — замечательный парень!

Сперва он внимательно проверил дневник, отвинтил авторучку и все подписал, без звука. Потом откинулся на спинку стула и уставился на меня задумчивым взглядом, а я еле-еле терпел, даже губы стали подергиваться.

— Совсем просто, взял... да и подписал? — спросил я наконец вызывающе.

— Да, совсем просто...— сказал он, продолжая изучать мою пленительную физиономию.

— Нагорной проповеди не будет? — Тут мне вздумалось улыбнуться, чтобы смягчить резкость, но ухмылка вышла кривая.

— Ты язвишь, Андраш,— сказал он спокойно и закурил,— а потом будешь мучиться от стыда. У тебя вон руки дрожат.

Это правда: я, как мог, прижимал их к столу, а они все равно тряслись, и тогда я их поскорее убрал.

— Я не ответил сегодня по математике,— сказал я только затем, чтобы что-нибудь сказать.

— Не беда, старина! Покажи пример.

Я показал.

— Да ведь это же совсем просто! Надо вынести за скобки.

— Для того, кто знает, конечно, просто,— сказал я.

Через пять минут мне все стало ясно, и пример был решен.

В это время за дверью взревел приемник. Я вскочил.

— Выключи приемник, идиотка! — заорал я на Кати.— Ты что, ослепла? Ведь мы занимаемся!

Кати сделала гримасу и чуть-чуть приглушила.

Дверь я оставил открытой.

Но папа был недоволен.

— Этот тон мы изменим, ладно? Ступай поговори с сестрой по-человечески.

Я вышел. Еще бы. К этому я привык.

Кати слышала слова папы и злорадно дожидалась, пока я прочищу горло.

— Ну-ну! Давай! — подгоняла она.

— Не торопи,— сказал я свысока.— Значит, так. Мадемуазель! Если нетрудно, соблаговолите прикрутить приемник, чтоб он потише орал. Молю, как о великой милости.

— Как изволите! Вот! Хорошо? — И она выключила его совсем.

— Грацие, синьорина,— сказал я. Сестрица высунула язык, а я захлопнул дверь.

Папа продиктовал следующий пример. Некоторое время я занимался в тишине, но вдруг, словно бы кто-то меня толкнул, поглядел в окно. По галерее шла Агнеш, вихляя юбкой и всем другим, чем только можно.

— Послушай, это не Агнеш Дер прошла? — живо спросил родитель.

— Она.

— Я ее не узнал. Как она похорошела! Совсем взрослая женщина!

— Да. К сожалению.

— Почему к сожалению?

— Потому что я... еще не взрослый мужчина,— сказал я после некоторого раздумья.

— Вот как, старина? Ты что же, втюрился? — спросил папа, и видно было, что ему очень нравится такой оборот дела.

Я чертил на столе какие-то линии и не ответил.

— Вы уже не гуляете вместе? — спросил он тихо, волнуясь, по-моему, еще больше, чем я.

Я поднял на него глаза. *Сейчас* я мог ответить ему со всей откровенностью: в его глазах я прочел интерес без тени высокомерия и потому говорил почти спокойно.

— Очень редко. Теперь она гуляет с другими. Говорит, что я поздно родился.

— По-моему, ты родился как раз вовремя,— сказал он.

— Для нее... поздно.

— А вообще... она стоящая девушка?

— До мотора ей дела нет, главное для нее — кузов.

— Вот как,— сказал он с облегчением, но, встретив мой строгий взгляд, замялся и все же спросил, слегка принуждая меня отрицать то, о чем он спросит.— Ну, а... ты?

Зря он это спросил. Правда, тон был сочувственный, однако такой, будто я совершаю что-то необъяснимое, странное. Тогда я с досадой буркнул: наверное, со мной одним такое случается. Взрослые, конечно, все делают с толком...

А на галерее вновь началось оживление — появился тот хмырь, «в клетку». Он позвонил. Агнеш выпорхнула в новой юбке и белой нейлоновой блузке, мамаша ее ошивалась тут же; потом юная пара отчалила, и «клетчатый» галантно пропустил даму вперед.

Папа совсем онемел, закурил, и руки у него дрожали.

— Этот пример я решил! — сказал я.

— Может быть, математику отложим? — спросил он хрипло.

— Нет! Давай дальше! Продиктуй-ка пример потруднее!

Склонившись над задачником, он стал диктовать, запинаясь, через силу. Потом обругал сигарету: вонючая мерзость и тэдэ.

Только не в сигарете дело.

Я взглянул на часы. Половина пятого. Вчера этот «клетчатый» явился почти в то же время. И я знал, что время выбрано не случайно. Как раз начинает смеркаться, горный склон постепенно пустеет. Не очень поздно и не слишком рано. Если в семь заявиться домой, никаких подозрений — в семь кончается литания. Юноша провожает девушку, потом под присмотром мамаши они потанцуют, и никто не скажет ни слова. Все разыграно как по нотам — благопристойнейшая программа. Она вся у меня перед глазами, все знакомо... впрочем, я знаю и больше.

Я шел недавно за ними по извилистой дороге Кишшвабской горы.

Тащился, злясь на себя, потому что, если б они оглянулись, то непременно заметили бы меня. «Клетчатый» очень бесцеремонно положил руку ей на плечо, а она чуть прижалась к нему, потом отстранилась. Я-то, осел безмозглый, думал, что они просто дурачатся.

Но они, не сговариваясь, повернули к знакомому выступу на вершине — его могла показать только Аги,— будто всю жизнь любовались оттуда панорамой Меня замутило, я стал противен самому себе, но просмотрел все до конца или — кто знает? — почти все.

Он взял в ладони ее лицо, стал целовать, а она вяло отбивалась. У меня лязгали зубы, но я еще тупо надеялся. Потом он ее обнял. Она стояла с безвольно повисшими руками. И вдруг склонилась к его плечу, обвила его шею и поднялась на цыпочки. Они поискали губы друг друга — недолго искали, честное слово!

С меня было довольно, но вдруг что-то там забелело, я вгляделся— это белело плечо Аги, которое парень с полным знанием дела высвободил из платья. Потом обнажилась ее левая грудь, и он взял ее в руки, как крохотного котенка, гладил, ласкал и вдруг наклонился... Агнеш смотрела на него, как мать на лежащего на руках малютку.

Что было потом, не знаю. Думаю, что просмотрел эпопею до конца — больше ведь быть не могло... Я помчался с горы, как помешанный, не оглядываясь.

Я поздно родился — ничего не поделаешь!

■

Прошли те несколько дней, которых мы ждали с таким волнением,— и ничего. Мама много раз принималась за папу, все пыталась его «уберечь» — только зря старалась. Папа стал совсем бледным, лицо его заострилось, но я ни минуты не сомневался, что ему и в голову не пришло отступить.

При мне о делах он помалкивает, и я тоже любопытства не проявляю. Надо думать, держался он твердо, но об этом так же скромно молчит, как о бронзовой медали, которую заработал, переплыв реку.

Дома мертвая тишина.

Кати опять стала маленькой девочкой, а мне почему-то больше не говорят, когда хвалят или ругают, что я «взрослый парень».

Если бы я заговорил, они бы прислушались. Я даже заметил, что мама приглядывается ко мне порой с каким-то страхом. Чтоб ее успокоить, я начинаю смеяться, хотя мне совсем не до смеха.

Я решил рассказать все Чабаи. Но только открою рот, охота сразу же пропадает. Может, потом.

Вот и сегодня хотелось поговорить... и снова не вышло.

Мы условились съездить на велосипедах в Зуглигет.

Было, наверное, полпятого, погода мягкая, теплая — так иногда бывает в конце октября. Тяжело дыша, мы молча взбирались на кручу. Вдруг во мне закипело непонятное раздражение: зачем я жму на эти несчастные педали, когда ноги отваливаются от усталости и вообще все на свете постыло. Накатывает на меня такое дурацкое настроение, но

обычно я не очень-то поддаюсь. А сейчас чувствовал, что разревусь непременно, если проеду еще хоть метр. Не проронив ни звука, я спрыгнул с велосипеда, столкнул его в ложбину и растянулся на краю лужайки.

Чабаи не очень удивился.

— Ты что? Устал? Наверх не полезем?

— Да ну, нет смысла.

Он скорчил гримасу и уселся рядом. И не донимал меня расспросами. А я был благодарен и тут же решил: как только отдышимся, расскажу ему все как есть.

— Ну и отлично, надо передохнуть,— сказал Чабаи и принялся массировать мышцы.

Повыше играли детишки, пятеро-шестеро малышей. Там, как водится, шло сражение, но это не была игра в войну по всем правилам, просто один малыш отставил руки назад и гудел, изображая реактивный самолет. А другой штурмовал и, пугливо озираясь, косил автоматом по склону горы, плечи его ритмично тряслись, воспроизводя вибрацию оружия.

Я невольно следил за их действиями, а Чабаи втягивал меня в разговор и страшно мешал.

— Ты знаешь, почему Фараон не приходит в школу?

— Знаю,— лаконично ответил я.

— Что ж ты помалкиваешь?

— Старик остался один.

— Я давно это знал.

— Что?

— Что мадам навострит лыжи. Или он сам ее вытурит.

— Конечно,— вяло заметил я.— Она ему в дочери годится.

Тут Чабаи запустил пластинку Живодера — скучища. Малыши над нами изображали смерть: один рухнул, и на шее у него вздулись жилы— наверное, видел это в кино или по телевидению.

А Чабаи все трещал: их дворник рассказывал, что Зизи каждую неделю меняла любовников.

Тут я заклокотал — меня обдало жаром, как в тот раз с Живодером, когда он сообщил о бегстве Зизи.

— Я сам ее видел с разными типами. Спроси у Жолдоша. Правда, он восхищается, дескать, баба роскошная, а по-моему, просто перворазрядная шлюха.

Интерес во мне внезапно угас, я молчал. Может, и правда, Зизи просто шлюха!

Я встал. Круглоголовый паренек, там, наверху, поднял свой автомат. Что он делает?

— Та-та-та-та,— сказал я,— у них это означает стрельбу.

Чабаи взглянул на меня, как на полоумного, и пожал плечами.

— Они же играют.

— Нет, ты погляди! — сказал я со злостью.— Сперва он был убитым, а теперь идет в атаку! Сила!

— Они же играют,— повторил Чабаи.— Что тебе до них?

— Ничего! Ну их к чертям!

Я вскочил на велосипед и погнал во весь дух, так что ветер свистел в ушах, потом отпустил руль и зажмурил глаза. Я мчался стрелой, и вдруг меня кольнул ужас: вот захочу открыть глаза и не смогу или... окажется поздно. Я снова схватился за руль. На шоссе было тихо.

Чабаи ехал за мной, вяло крутя педали.

Завтра я ему все расскажу.

ТУДОР АРГЕЗИ

К 90-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Из последних стихов

■

Перевод с румынского Н. СТЕФАНОВИЧА

Псалом

Ты сотворил меня и жить велел мне дале,—
И я с тех пор живу. Так люди мне сказали.

Я гибну каждый миг, а ты учил когда-то,
Что в этом только смерть от века виновата,
Что жизнь исполнена не смертью, а любовью...
И нас ты научил такому суесловью.

Ни слова о слезах нигде не произнес,
Но одарил меня ты океаном слез.
Меня на пир призвав, ты умолчал, однако,
Что тлеть я обречен в загробной бездне мрака.

Нет, ты не из любви, как место для могил,
Как склеп, как кладбище — вселенную творил.

Томительная ночь

Густого мрака тяжелый хаос.
Стучится кто-то, иль показалось,
Иль шорох листьев смутил меня?
Кто там, без свечки, луны, огня
Прорваться хочет сквозь полог мглы
И натыкается на стволы?
Кто там блуждает, листвой шурша,
Как неприкаянная душа?
Зачем забрел ты в пустынный край?
Зачем скитаешься? Отвечай.
Быть может, мама, вернулась ты
Из тьмы загробной и духоты?
В могиле холодно невтерпеж...
Но здесь минувшего не найдешь.
Все за тобою из жизни прочь
Ушли навеки в слепую ночь.
Все оборвалось и унеслось.

Нет и Гривея, погиб и пес...
Деревья тутовые, чабрец —
Погибли тоже. Всему конец.
Нигде ни ласточки, ни стрижа.
Наш тополь стройный покрыла ржа.
Нет в ульях пчел,
И сад отцвел,
Истлел и погреб, и двор, и дом...
— Эй, кто блуждает в саду пустом?
Как призрак в сказке, прозрачен, нем,
Чего ты ищешь, пришел зачем?
Уже, наверное, двадцать лет,
Как здесь безлюдье и жизни нет.
Кругом булыжник, песок, трава.
И умер колокол, дверь мертва,
Ворота умерли, стены, вход,
И номер мертвый у тех ворот...

А тот, что бродит теперь впотьмах —
Едва ли в этих бывал краях.
Теперь, быть может, сквозь ночь и тьму
Мои раздумья видны ему.

— Эй, кто ты, странник в одежде темной,
Такой потерянный и бездомный?
Зачем, тревожа ночную тишь,
Ты в дверь и в стену опять стучишь?
Твой стук мне раны разбередил...
— Томлюсь от жажды. Лишаюсь сил.
Язык как пепел, сухой, шершавый.
Вот кровь, источник нетленной славы,
Вот манна, ставшая благодатью...
Сбежал с креста я, сбежал с распятья,
Но в мире стужа и мрак сырой.
Я так измучен — впусти, укрой...

Чего же ждать?

Чего же ждать? Что будут обильны и щедры
Моей воскресшей жизни нежданные дары?
Чего же ждать? Что ночью шаги заслышу вдруг —
О, кто он, безымянный, всегда далекий друг?
Чего же ждать? Чтоб в лунном серебряном затишье
Вновь ласточек увидеть под той же старой крышей?
Иль чтобы к той калитке, затерянной в ночи,
Тоскующая память подобрала ключи?
Чтоб вспыхнул в мертвом пепле огонь неугасимый?
Но нет ко мне дороги, но все проходят мимо,—
Одна тропинка вьется, как тень, как струйка дыма...
Ни двери, ни ступенек, ни окон, ни крыльца.
Лишь звезды шепчут ночи о чем-то без конца...
Зачем же ждать чего-то от завтрашнего дня?
Вся жизнь сейчас, все годы, все рухнет на меня...

Мятеж

Я был тобою избран,— отчего же
Теперь ты пожалел об этом, боже?
Меня своей любовью одаря,
Ты доказал, что сделал это зря.
Как часто, пред тобой склонив колени,
Я тосковал от страха и сомнений.
Твоей не понимая немоты,
Я умолял: — Откройся, кто же ты? —
За этот грех, терзая и казня,
Ты осудил и мучаешь меня.
А жизнь моя, как и у всех, такая ж...
Я ждал, что ты поймешь меня, узнаешь.
Ужель за тот единственный вопрос
Мне столько мук изведать привелось?
Твой приговор не слишком ли тяжел?
Я жизни путь уже почти прошел.
Лицом к лицу стоим когда-то, где-то...
И твой закон считает жизнью это.
Быть Каином, Адамом — смертный грех...
Ты, как врагов, возненавидел всех.

Не забудь ничего...

Навеки уходя, не позабудь
Из радостей своих чего-нибудь.
Возьми с собой и томики поэта,
Которые читаешь до рассвета,
Не оставляй и грусти той,
Что стелется над каждою строкой.
Котенка и щенка, края покинув эти,
Ты тоже не забудь. Ведь холодно на свете...
Для всех как мама маленькая ты —
Так не оставь сиротами цветы.

Возвращения

Познать, преодолеть осталось так немного.
Пути сближаются, ты только приглядись,—
Тропинки, просеки и темная дорога,
Как спицы в колесе кружащемся, слились.

Такой же аромат вдыхали мы когда-то.
Цветы минувшего, сияя, расцвели.
Уже редеет мгла, и чуть зеленоватый,
Прозрачный неба край виднеется вдали.

Но что же впереди? Ужель покой пустыни,
И это наша цель, к которой мы придем?
Путь долгий позади. Над нами купол синий
И ширь зеленая раскинулась кругом.

Вот постоялый двор — он манит и тревожит,
Там пенье и вино, там полог и кровать...
В волнах волос твоих потонем мы, быть может,
И будем на огне томительном сгорать.

Нет, время растоптав, скорей промчимся мимо,
Нет, только в вечности наш завершится путь.
Храни свой поцелуй, чтоб в миг неотвратимый
Его волшебный яд земле сполна вернуть.

Как будто...

Ты книгу отложи,— твои смешались строки,
Не различишь, что в их душистом соке
Вверх поднялось, что опустилось вниз.
Теперь попробуй разберись —
С тремя струнами скрипка иль с семью?
И в книгу ночь сошла твою,
Как в сад и в дом. Все в забытьи.
И чувство мечется, не находя пути,
Как залетевший мотылек,—
Из книг иных, иных ночей и строк...

Resurrexit[1]

Галилео Галилею

Погребенный, как мертвец,
Все ж воскрес я наконец.
Весь истерзан вражьей злобой,
Я, без савана и гроба,
Был зарыт живым в могиле,—
Но распять меня забыли.

Все б узнали, кто в ответе,
Кем забиты гвозди эти,
Ночью, тайно, в темноте,—
Будь я распят на кресте.

На краю глухом погоста
Я в земле лежал бы просто,
Но приют последний свой
Я украсил бирюзой
И веселым аметистом,
Ярким, солнечным, лучистым.

И зарыт я на вершине,
Там, где свод простерся синий.
Небывалый, странный жребий —
В землю лечь и быть на небе,
Стать соседом звезд и туч.
Склеп мой заперли на ключ.

Но всевластна слова сила,—
Я воскрес. Пуста могила...

[1] Воскрес (*лат.*).

ДЖОН ЧИВЕР

Буллет-Парк

РОМАН

Перевод с английского
Т. ЛИТВИНОВОЙ

Часть первая

I

Пусть художник нарисует железнодорожный полустанок, готовый вот-вот погрузиться в вечерние сумерки. По ту сторону платформы, отражая тусклый свет угасающей зари, мерцает река Уэконсет. Унылое и вместе с тем слишком для здешних зим легкомысленное станционное здание не столько походит на вокзал, сколько на беседку, павильон или летнюю дачу. Вдоль платформы горят фонари — кажется, что они жалуются на жизнь. Как знать — быть может, все дело в обстановке? Когда нам нужно куда-нибудь добраться, мы обычно садимся в самолет. И тем не менее истинной хранительницей духа нашей страны все еще остается железная дорога. Вы просыпаетесь в три часа ночи в городе, название которого вы так никогда и не узнаете. В окно спального купе вы видите на платформе мужчину с мальчиком на плечах, оба машут кому-то рукой. Да, но отчего этот мальчик не спит в такой поздний час и отчего по щекам отца текут слезы? На запасном пути — освещенный вагон-ресторан, в нем маячит одинокая фигура официанта, склонившегося над счетами. Позади вагона высится водонапорная башня, а еще дальше — яркий свет фонарей освещает пустынную улицу. Вас охватывает радостное чувство родины, неповторимой, таинственной, необъятной. Подобное чувство не дано испытать ни в самолете, ни на аэродроме, ни в поезде, что мчит вас по железным путям на чужбине.

Итак, поезд останавливается, и на платформу выходит пассажир. Его встречает Хэзард, агент по недвижимому имуществу, ибо кому, как не ему, знать точный возраст, достоинства, недостатки и цену каждого дома в поселке? «Добро пожаловать в Буллет-Парк! Надеюсь, что вам у нас понравится и вы захотите здесь поселиться». Сам мистер Хэзард, впрочем, живет не здесь. Таблички с его именем прибиты к деревьям на свободных участках Буллет-Парка, в то время как собственный его дом находится в соседнем поселке. Вновь прибывший оставил жену в Нью-Йорке у телевизора в номере гостиницы «Плаза». Он ощущает себя немного пещерным человеком, отправившимся на поиски жилья. Нынче все дорого, да и все равно того, что тебе по душе, не найти. Облупившаяся краска на стенах, мебель, брошенная прежними жильцами,— от всего этого веет тем щемящим духом прожитой жизни, что так хватает за сердце, когда разбираешь тряпье и бумаги недавно умерших. Он, ко-

нечно, ищет тот самый дом, который — по крайней мере дважды — привиделся ему во сне. Впоследствии, когда он уже устроится на новом месте, когда разобьет клумбы в саду и расставит мебель в комнатах, все муки переезда будут позади; но в этот вечер в его крови еще бушует память странствий и переселений рода. Жителям Буллет-Парка хотелось бы убедить себя и других в том, что они старожилы, что они здесь и родились и выросли. Но это, конечно, не так. Хаос и беспорядок новоселья, мебельные фургоны, банковые займы под большие проценты, слезы и отчаяние — вот почти непременные спутники всех их переездов.

— Здесь у нас торговый центр,— говорит Хэзард.— Мы планируем со временем его усовершенствовать. А вон там,— и мистер Хэзард кивает в сторону освещенного холма,— Пороховая гора; на ней как раз и находится домик, который я для вас присмотрел. За него просят пятьдесят семь тысяч. Пять спален, три ванных...

Вдоль склона Пороховой горы поблескивают фонари, из труб поднимается в небо дымок, а на веревке развевается розовый плюшевый чехол для стульчака. Если бы исполненный праведного гнева подросток ухитрился издали, со своего гольфового поля, разглядеть эту розовую тряпку, он не преминул бы назвать ее символом Пороховой горы, ее почетной грамотой, знаменем, за которым в своих остроносых английских туфлях выступает легион духовных банкротов, отбивающих друг у друга жен, травящих евреев и ведущих ежечасную и бесплодную борьбу с собственным алкоголизмом. К черту, бормочет подросток, к черту их всех! К черту яркие лампы, при которых никто не читает книг, нескончаемую музыку, которую никто не слушает, рояли, на которых никто не умеет играть! К черту их белые домики, что заложены и перезаложены от подвала до чердака! К черту этих хищников, что скармливают всю океанскую рыбу норке затем лишь, чтобы нацепить ее мех своим женам на шею! К черту их пустующие полки для книг, на которых покоится один лишь телефонный справочник, переплетенный в розовую парчу! К черту их лицемерие, ханжество, безукоризненное белье, похоть и кредитные карточки! Да будут они прокляты за то, что сбросили со счетов безбрежность человеческого духа, выщелочили все краски, запахи, все неистовство жизни! К черту, к черту, к черту!

Наш подросток, как все подростки, был бы, разумеется, неправ. Взять, к примеру, Виквайров, мимо белого домика которых (65 тысяч долларов) только что проехал Хэзард со своим клиентом. Подростку, который захотел бы взять на прицел нравы и обычаи Пороховой горы, не найти лучшей мишени, чем эта пара. Обаятельные, остроумные, блестящие, они являются душою общества, и все их дни расписаны — со Дня труда в начале сентября и по День независимости четвертого июля. Настоящие общественные деятели, мученики светского ритуала, они отдают все свое обаяние, весь блеск вечеринкам, коктейлям и званым обедам. Они понимают, что для процветания общества коктейли и банкеты, юбилеи и даты столь же необходимы, как заседания поселковой элиты, школьные комитеты, четкая работа водопровода, канализации, освещения и прочих муниципальных служб. Беззаветные жрецы светских обрядов в обществе, насчитывающем так мало алтарей (в Буллет-Парке четыре церкви),— причем ни один из них не почитается жертвенным,— они воздвигли торжественный алтарь, на который постоянно возлагают (и отнюдь не в переносном смысле этого слова) частицу своей живой плоти, алтарь, который орошают собственной кровью. Они вечно падают с лестниц, постоянно спотыкаются о мебель и без конца загоняют свою машину в кювет. Вот они появились на званом вечере: оба безукоризненно одеты, но только у нее рука на перевязи, а он в темных очках и опирается на палку с золотым набалдашником. Оказывается, миссис Виквайр растянула руку, а ее муж еще зимой сломал ногу; темные очки тоже неспроста — они прикрывают здоровенный фонарь, переливающий алыми и

лиловыми оттенками месяца, что в марте выглядывает из-за облака, словно нарочно, чтобы поддразнить влюбленного юнца. Увечья эти, впрочем, ничуть не умаляют их блеска. Забинтованная нога, рука в лубках, нашлепка на виске или под глазом являются непременным дополнением к наряду Виквайров.

К своим светским обязанностям они относятся торжественно, исполняя их с блеском и темпераментом. Достаточно взглянуть на них в какой-нибудь понедельник утром, после того как они весь уик-энд добросовестно обедали и ужинали в гостях, чтобы оценить всю самоотверженность их служения. Они еще спят; но вот зазвонил будильник; спросонья мистер Виквайр хватается за телефонную трубку: дети ведь учатся в другом городе — вдруг кто-нибудь заболел или попал в беду! Но нет, это всего-навсего будильник. Мистер Виквайр спускает ноги на пол. Стонет. Чертыхается. Встал. Внутри у него пусто, словно его выпотрошили; вместе с тем он еще не забыл ощущений человека, у которого все внутренности на месте. А вот проснулась и миссис Виквайр. С тихим хныканьем она зарывается головой в подушку. Мистер Виквайр несет свое пустое ноющее тело по коридору. Увидев в зеркале над раковиной собственное лицо, он вскрикивает от ужаса и отвращения: морщинистые щеки, воспаленные глаза, пегие, словно выкрашенные рукой неискусного парикмахера, слипшиеся волосы. Мистеру Виквайру на мгновение дано увидеть себя глазами постороннего. Затем, смочив щеки, он начинает бриться. Эта процедура окончательно истощает его энергию. «Поеду следующим поездом»,— бормочет он, шлепает назад по коридору и, чтобы не видеть утреннего света, забирается под одеяло с головой. Миссис Виквайр тихо хнычет и, всхлипывая, поднимается с постели; задравшаяся сзади ночная сорочка обнажает роскошное тело. Она плетется по коридору и, поравнявшись с зеркалом, зажмуривается. Возвращается и вновь ложится в постель, уткнувшись лицом в подушку. Некоторое время мистер и миссис Виквайр лежат рядом и тихо стенают. Затем он переваливается на ее половину, и ровно двадцать минут они предаются каторжному труду любви, после чего у обоих наступает сокрушительный приступ мигрени. Он уже опоздал и на 8.11 и на 8.30. «Кофе»,— лепечет он и, еще раз встав с постели, спускается на кухню. В дверях он внезапно вскрикивает: на полке возле раковины, суровые и величавые, как боги в некоем пантеоне Раскаяния, выстроились в ряд пустые бутылки.

Мистер Виквайр с трудом подавляет в себе желание пасть на колени и, воздев руки, обратиться к ним с молитвой. «Бутылки, о бутылки, пустые бутылки! — воззвал бы он к ним.— Всемилостивейшие бутылки, сжальтесь, о, сжальтесь надо мной во имя ваших создателей Сигрэма и Джека Дэниэлса!» Нерушимая их пустота придает им вид монументальный и строгий. Ярлычки — «Виски», «Джин», «Бурбон» — подчеркивают свирепость этих китайских божков. Нет, никакими молитвами и коленопреклонениями их не разжалобить. Быстро, одну за другой, Виквайр бросает их в корзину, но это не приносит ему облегчения: он по-прежнему чувствует себя в их власти. Он ставит чайник и ощупью, держась за стенку, как слепой, возвращается в спальню, откуда доносятся громкие стоны жены.

— Я не хочу жить! — кричит она.— Я не хочу больше жить!

— Ну, что ты,— хриплым голосом пытается он ее успокоить.— Ну, перестань.

Он снимает с вешалки костюм, полученный из чистки, выкладывает свежую рубашку, носки и туфли, ложится в постель и снова укрывается с головой. Часовая стрелка между тем подобралась к девяти, на дворе совсем уже светло. Вот и школьный автобус подает из-за угла сигналы для соседского мальчика, сына мистера и миссис Марсден. Засвистел чайник, и, открывая собой величавое шествие дней, понедельник вступает в свои права.

Мистер Виквайр встает с постели в третий раз, идет на кухню, наливает кофе и несет две чашки в спальню. Миссис Виквайр встает, моет лицо, не глядя в зеркало, и возвращается в постель. Мистер Виквайр натягивает нижнее белье и тоже ложится. На протяжении последующего часа они встают и ложатся, выходят из спальни и вновь в нее возвращаются, никак не решаясь окунуться в жизненный поток. Но вот мистер Виквайр, наконец, одет и с тяжелой головой, преодолевая тоску и приступы тошноты, снедаемый запоздалым вожделением, поднимается на Голгофу, имя которой — утренний поезд после уик-энда.

Нет, что бы ни говорил разгневанный подросток, первый день недели у Виквайров начинался без всякого лицемерия!

Приезжего, должно быть, поражает царящая в поселке тишина, ему, наверное, кажется, что он вступил в заповедник, куда не доносится ни один из тех звуков, скрипов и шорохов, коими изобилует вольная жизнь,— крики чаек, паровозные гудки, стук молотков, ружейные выстрелы, стоны любви или боли. В этой акустически стерильной стороне, думает приезжий, даже не услышишь, наверное, как детские пальцы разучивают гаммы на рояле. Вот они проехали мимо Хаустонов (7 спален, 5 ванных — 65 000 долларов) и Уэлчеров (3 спальни, 1½ ванных — 31 000 долларов). В лучах фар танцуют на ветру желтые листья вяза, покоробившиеся кружки хрустящего картофеля, чья-то кредитная карточка, счета, чеки и пепел. «Есть ли у этого поселка свои песни?»— быть может, приходит в голову приезжему. Они есть: колыбельные песни для детей и песни, что дети поют сами; песни, что поются за мытьем посуды на кухне, и песни, которые люди напевают, когда раздеваются в спальне; церковные вирши («Мы повергаем свой венец к твоим стопам, благой Творец») и мадригалы; народные песенки и песни-экспромты, что рождаются, когда поднимаешься вверх по лестнице. Так, например, мистер Элмсфорд (6 спален, 3 ванных — 53 000 долларов), смахнув пыль со своей подержанной (но так и неосвоенной) лиры, поет:

Колледж Хотчкисса, Йельский университет,
Неудачный брак, трое детей.
Двадцать три года службы во «Всемирной корпорации Туфф»!
Ах, отчего я такой невезучий, такой неудачник?
Отчего счастье обходит меня стороной?

Он не успевает пропеть первый куплет, как посетители бара бросаются к выходу. Мистер Элмсфорд тем не менее продолжает свою песню:

Отчего мне во всем чудится горький привкус золы? —

вопрошает он.

Отчего мне ни в чем нет удачи, ни проблеска, ни надежды?

Официанты вытряхивают пепельницы, буфетчик опускает железную шторку над полкой с бутылками и запирает ее на замок. Всюду гасится свет, а мистер Элмсфорд все поет да поет.

Как ни старался я, как я ни бился,—

тянет он,—

а ничего-то я не добился.

— Бар закрывается,— объявляет официант.— И по вашей милости, мистер.

Есть, впрочем, и другие песни — песни оптимизма и радости:

Буллет-Парк растет, растет; Буллет-Парк вперед идет.
Буллет-Парк все зреет, зреет. С каждым часом хорошеет...

Статистические данные? Ничего примечательного: количество разводов ничтожно; число самоубийств не подлежит огласке; автомобильные катастрофы — в среднем по двадцать две в год, ибо, когда глядишь на извилину шоссе, пролегающего через Буллет-Парк, кажется, что это бестрепетная рука ребенка нанесла ее на карту жирным карандашом. Климат — слишком суров для питрусовых и слишком мягок для северной березы.

Хэзард затормозил подле белого дома с освещенными окнами.

— Вот местечко, которое я для вас присмотрел,— сказал он.— Надеюсь, что хозяйки нет дома. Она не очень-то умеет показать товар лицом. Сегодня она, кажется, собиралась уйти из дому.

Мистер Хэзард нажал кнопку звонка. Дверь открыла небольшая плотная женщина в купальном халате и атласных туфельках на босу ногу. Пряди золотистых волос перемежались серебряными прядями, на одной туфельке красовалась матерчатая роза, на другой она была оторвана. Это была сама миссис Хизкап. Да, да, она собиралась уходить, но, как видите, замешкалась.

— Ну, что ж, смотрите, мне не жалко,— сказала она хрипловатым и неожиданно зычным голосом.— Надеюсь, что дом вам понравится и вы его наконец купите. А то мне уж надоело, знаете: только грязь развезут по комнатам, а сами покупают какую-нибудь дрянь. Лучшего дома вам не найти, здесь все в исправности, уж поверьте мне на слово! А если б вы знали, сколько здесь любителей всучить развалюгу — проводка неисправна, канализация засорена, водопроводные трубы ржавые, крыша протекает! Зато со мной вы можете быть спокойны. Муж успел перед смертью привести все в порядок. Я и сама не стала бы продавать этот дом, да только мне здесь без мужа нечего делать. Да, да, представьте! Одинокой женщине в этом поселке нет места. У нас самый настоящий первобытный родовой строй, если хотите знать, и заправляют здесь старейшины рода. Вдовы, разведенцы, холостяки — всем от ворот поворот. Пятьдесят семь — вот моя цена. Настоящая, окончательная. Мы сюда ухнули двадцать тысяч, и при этом муж каждый год — до самой своей смерти — заново красил все комнаты. В январе — по субботам и воскресеньям, да еще по ночам — он красил кухню. Затем коридор, гостиную, столовую и спальню. На следующий год он снова принимался за кухню. Как раз была очередь столовой, когда он умер. Я была в то время у себя наверху. Я говорю «умер». Вы, пожалуй, подумаете, что он просто лег и не проснулся. А было совсем не так. Он красил столовую и бормотал себе что-то под нос. Я прислушалась. «Нет, я больше не могу...» — говорил он. Я и сейчас, хоть убей, не понимаю, о чем это он. А потом вдруг вышел в сад и застрелился. Вот когда я оценила наших соседей! Обыщите весь свет, не найдете таких добрых и внимательных соседей, как в Буллет-Парке. Едва услышав о моем несчастье, они пришли ко мне и принялись меня утешать. Человек десять-двенадцать, не меньше. Мы все немного выпили, и они так меня утешили, что я чуть не забыла, что же случилось. То есть мне начало казаться, что ровно ничего и не случилось... Здесь гостиная. Восемнадцать на тридцать. К нам на коктейль иной раз приходило человек пятьдесят — и никакой толкотни. Могу вам уступить ковер за полцены. Чистая шерсть. О шторах тоже договоримся, если они приглянутся вашей жене. У вас есть дочь? Холл очень удобен для венчания — когда невеста бросает букет наземь, представляете? А вот столовая...

На украшенном подсвечниками и восковыми цветами столе стояло двенадцать приборов, с суповыми тарелками и бокалами для вина.

— У меня стол всегда накрыт,— сказала миссис Хизкап.— Вот уже с полгода, как я не зову гостей, но все равно... Мистер Хизкап терпеть не мог пустого стола, и я всегда накрываю, как бы в его память. Вид не-

накрытого стола вызывал у него тоску. Раза два в неделю я меняю приборы... В Буллет-Парке четыре церкви. О нашем клубе «Горный ручей» вы, конечно, слышали. У них хорошее поле для гольфа на восемнадцать лунок, выложенное по проекту Пита Элисона, четыре спортивные площадки и плавательный бассейн. Вы, надеюсь, не еврей? А то здесь насчет этого строго. У самой у меня бассейна нет, и, сказать по правде, это довольно существенный недостаток: кругом все говорят о хлорировании воды и тому подобном, а ты только ушами хлопаешь. Я просила составить мне смету — за восемь тысяч можно устроить бассейн в углу сада. Он будет стоить вам долларов двадцать пять в неделю; да еще по сотне всякий раз, когда понадобится спустить воду. Соседи, повторяю, люди превосходные, но только надо иметь к ним ключ. Взять хотя бы Гарри Плутарха — он живет через дорогу,— если ничего о нем не знать, он, пожалуй, покажется чудаком. Его жена сбежала к Хови Джонсу. Вызвала в одно прекрасное утро грузовую машину, погрузила в нее мебель — и была такова. Гарри вернулся со службы в пустой дом. Она ему оставила стул, односпальную кровать да попугая в клетке. Так он и живет до сих пор — с одним стулом, кроватью и попугаем. Хотите вечернюю газету? Чтоб получить представление о нашей жизни...

Клиент Хэзарда следовал за миссис Хизкап из комнаты в комнату, и по мере того как она открывала и закрывала двери, щелкала выключателями и спускала воду в уборных, чувствовал, как угасает его интерес к дому; к концу осмотра его апатия приняла отчетливые очертания тоски. Впрочем, это дом как дом, уговаривал он себя,— светлый, просторный и удобный,— почему бы в нем и не поселиться? Правда, над ним нависла тень мистера Хизкапа, ну да разве есть дома, в которых бы не витала чья-то тень?

— Пожалуй, этот дом нам подойдет,— сказал он.— Завтра привезу миссис Хэммер, пусть решает.

Хэзард подбросил мистера Хэммера на станцию. Нынче некому поддерживать порядок на железнодорожных полустанках. Вот и здесь всюду царил разгром, и ветер врывался в разбитые стекла окон. Циферблат станционных часов был покалечен, стрелки отсутствовали. Проектируя станцию — когда это было! — архитектор задумал здание, которое соответствовало бы романтическому настроению человека, пускающегося в странствие. Но от творческих находок художника не осталось и следа, все было побито, изуродовано и напоминало послевоенные развалины. Хэммер развернул газеты. «В прошлый четверг,— прочитал он,— в ресторане «Харвей» состоялся ежегодный банкет клуба «Лизгоу». Торжество открылось «парадом любимых» — жен членов клуба; после парада миссис Леонард А. Аткинсон исполнила танец «хула»; супруг миссис Аткинсон аккомпанировал ей на гавайской гитаре...»

«Клуб «Горный ручей» устроил бал в честь семнадцати девушек, впервые вступавших в свет. Все дебютантки были одеты в...»

«Вчера вечером погиб от ожогов мистер Люис Харвич. Пожар произошел вследствие взрыва банки с горючей жидкостью во время пикника у костра, устроенного в саду мистера Харвича на Рэдберн-серкл, 23. Пламя охватило его одежду...»

«В скором времени ожидается повышение школьных налогов».

Мистер Хэммер уехал поездом 7.14.

II

Воскресенье. Ранняя обедня. Через две недели великий пост. Нейлз шепчет слова молитвы, прислушиваясь к стрекоту сверчка за алтарем и к барабанной дроби дождя по крыше. Церковный календарь для него связан не столько с заповедями и откровениями Священного писания, сколько с погодой. Так, на святого Павла бывает метель, на избрание

двенадцатого апостола — оттепель. К исцелению прокаженного и браку в Кане Галилейской все еще топится котел, но фрамуги витражей приоткрыты, и в церковь врывается резкий весенний воздух. (Удаляйся от плотских похотей. Содержи сосуд свой в чести.) Иисус покидает пределы Тирские и Сидонские к концу лыжного сезона. А к распятию санки заброшены и валяются где-нибудь в саду подле клумбы; веревка от них запуталась среди нежных стеблей ранних фиалок. К воскресению Христову можно уже удить форель в реке. Багряница Пятидесятницы и чудо обретения инаких языков открывает плавательный сезон. День святого великомученика Иакова и откровения Иоанна возвещают первое летнее тепло, когда в воздухе разливается аромат роз и одинокая заблудившаяся пчелка с жужжанием залетает в божий храм, и с таким же жужжанием из него вылетает. Троица вводит нас в самую гущу летней жары и засухи, а притчей о добром самаритянине нас утешают при переломе погоды, когда вместо нежного шороха летней ночи в саду раздаются резкие металлические звуки ранних холодов. Апостол Павел взывает к «несмысленным галатам» под запах горящих листьев в саду, и тогда же мертвые восстают из гроба. А тут уж святой Андрей, рождественский пост и снегопад.

Нейлз всегда бывал несколько рассеян во время службы. Началось это еще в детстве, когда его тоскующий взгляд путешествовал по высоким спинкам дубовых скамей передних рядов. При соответствующем освещении из полированной поверхности дуба проступали стройные и связные картины. Так, на третьей скамье справа, рядом с купелью, можно было ясно различить скачущих во весь опор всадников Чингисхана. А еще дальше, впереди, разлилось широкое озеро — или даже небольшое море, в которое вдавался полуостров, увенчанный высоким маяком. По ту сторону прохода на одной скамье славные воины бились в смертельной схватке, а на другой мирно паслось стадо овец. Это неумение сосредоточиться не смущало Нейлза. От него ведь не требовалось, чтобы, входя в церковь, он оставлял себя за дверьми, отрешался от собственной памяти. И мысли его во время богослужения бывали заняты по большей части чем-нибудь посторонним, житейским. Так, в это зимнее утро он отметил про себя, что благочестие миссис Трэнчем не утратило своей воинственности. Миссис Трэнчем недавно перешла из унитарной веры в епископальную, гордилась точным знанием всех обрядов службы и как истая прозелитка несла не мир, но меч. Не успевал раздаться голос священника из ризницы, как она уже вскакивала на ноги и, опережая остальных прихожан, строгим и зычным голосом выпаливала «аминь» и «господи, помилуй». Можно было подумать, что для нее обедня — нечто вроде церковных состязаний. Она преклоняла колена с прилежной грацией, свое «верую» и молитву покаяния произносила без единой запинки, а в слова «агнец божий» вкладывала всю душу. Стоило же миссис Трэнчем почуять соперницу — а таковые нет-нет да маячили на ее горизонте,— как она несколько раз осеняла себя крестным знамением в доказательство превосходства своего религиозного рвения. Миссис Трэнчем была создана для побед.

На алтаре, украшенном пурпурным покрывалом, стояли хризантемы и, символизируя собой плоть и дух, горели две свечи. В церковь вошел Чарли Стюарт и сел на одну из передних скамей. Что-то в его облике смутило Нейлза. Пиджак висел на нем, как на вешалке. Он, должно быть, сильно похудел — интересно, на сколько? Фунтов на сорок, не меньше. А то и на все пятьдесят. Как уныло выглядит его спина под этим просторным пиджаком, как он похудел, как изможден... Рак?.. Впрочем, если бы это, Нейлз, наверное бы, уже знал, ведь его жена дружит с женой Чарли. К тому же слухи о раке, все равно — ложные или достоверные, обычно разносятся с быстротою ветра. Вид заболевшего приятеля навел

Нейлза на тягостные раздумья о таинственных силах разрушения и смерти. Мысли о смерти, в свою очередь, напомнили ему о том, что отец Чарли полгода назад погиб где-то в Южной Америке в авиационной катастрофе. И тут Нейлза вдруг осенила утешительная мысль: ну, конечно же, как он не подумал об этом раньше — Чарли просто надел костюм покойного отца! Нейлз так и просиял от победы житейского практицизма над смертью.

В эту минуту в церковь вошла незнакомая пара.

Горстка мужчин и женщин, имевших обыкновение приходить к ранней обедне, была немногочисленна, и Нейлз всех их знал наперечет. Новички являлись редкостью, и любопытство Нейлза было совершенно оправданным. Вновь пришедшим, и ему и ей, было, вероятно, немногим больше сорока: в его каштановых волосах не было еще и намека на седину. Эта чета могла служить рекламой здорового моногамного брака. Женщина преклонила колена перед распятием — собственно, это было не столько коленопреклонение, сколько глубокий реверанс. Мужчина ограничился коротким кивком головы. При упоминании приснодевы Марии она еще раз присела, он же продолжал стоять неподвижно. В молодости она была, должно быть, очень хороша, и чувствовалось, что ей до конца жизни удастся сохранить ту власть, которую ей даровала природа, наделив ее красивой наружностью. У мужчины был вид добропорядочный, холеный и — если бы не живые глаза — довольно ординарный. Оба звонко и отчетливо произносили «аминь».

«Как она хороша, как грациозна,— подумал Нейлз,— супружество для нее, верно, окружено немеркнущим ореолом, и она так и купается в его лучах». Нейлз не обнаружил в ее лице и намека на разочарование или запоздалые сожаления. Страстная жена, тактичная хозяйка, мудрая мать, любящая подруга — во всех этих ролях она, должно быть, совершенна, решил Нейлз. Самый институт брака, казалось, специально придуман для таких, как она.

Быть может, им, таким, как она, институт этот и обязан своим существованием. Что до нового прихожанина, то наблюдатель менее благодушный, чем Нейлз, увидел бы в нем определенный тип человека, который, достигнув верхних ступеней на общественной лестнице, может вдруг оказаться мошенником, присвоившим вверенные ему два миллиона для утоления своих чудовищных сексуальных потребностей и связанных с ними расходов на вымогателей, грозивших выдать его тайну. В жене его все тот же скептик увидел бы смертельно скучающую злючку, тайком потягивающую шерри и грезящую каждую ночь о мужском гареме. Однако Нейлзу в это дождливое утро новая пара казалась воплощением всех добродетелей. Все в этой паре было подлинное, непритворное — высокое чувство чести, жар души и зрелая ясность ума. И пусть жизненный путь их не усеян розами, они умеют принимать все, что им выпадет — будь то успех или неудача,— с неистребимым здравым смыслом.

Отпустив паству «с миром божиим, который превыше всякого ума», священник покинул алтарь и последнюю молитву пробормотал уже из ризницы. В этих приглушенных звуках было что-то извечное, они ласкали слух, как шуршание морской волны. Церковный служка погасил светочи духа и плоти, Нейлз дошептал свою молитву до конца и вслед за незнакомой четой двинулся к выходу.

— Мы — Хэммеры,— объявил мужчина, подойдя к священнику.

Нейлз живо представил себе все нескончаемые и, на его взгляд, несмешные, остроты, которые вызовет в Буллет-Парке это случайное сочетание их фамилий. Хэммер и Нейлз — молоток и гвозди — так теперь они и будут жить бок о бок, год за годом. А сколько коктейлей им предстоит выпить вместе! Нейлз не считал себя суеверным, однако в мисти-

ческую власть имен он верил непреложно. Так, например, он был убежден, что если мужа зовут Джоном, а жену — Мэри, то их брак нерасторжим: на горе, на радость, они навеки связаны сочетанием этих простых имен. Как бы ни ненавидели они подчас друг друга, как бы ни презирали, как бы ни ссорились, ни рыдали, ни безумствовали,— брак их нерасторжим. Какой-нибудь Том, Дик или Гарри волен по первому капризу ехать в Рено разводиться, но никакие силы, кроме смерти, не в состоянии разлучить Джона и Мэри. Насколько же крепче и нерасторжимее должны быть узы, связывающие людей с такими фамилиями, как Хэммер и Нейлз!

— Добро пожаловать в церковь Иисуса Христа! — приветливо сказал священник.— Добро пожаловать в Буллет-Парк. Отец Фризби мне о вас писал.

Вряд ли отец Фризби вдавался в финансовое положение новых прихожан, но отец Рэнсом с первого взгляда определил, что церковь может рассчитывать на пятьсот долларов в год с этой четы. Впрочем, ему не раз доводилось обманываться в своих расчетах. Так, например, Фолэнзби держит верховых лошадей и каждое лето выезжает с семьей в Европу, а между тем они, наведываясь в церковь лишь от случая к случаю, бросали на блюдо доллар и, уж наверное, сберегали от обложения налогом кругленькую сумму в тысячу долларов, записав ее в статью расходов на благотворительность.

— Мистер и миссис Хэммер,— сказал он вслух.— Позвольте представить вам вашего соседа мистера Нейлза.

И засмеялся.

Во взгляде, которым обменялись Хэммер и Нейлз, промелькнуло затаенное любопытство, а быть может, и прямая неприязнь. Новый прихожанин, по-видимому, тоже предвидел ту нежелательную и неизбежную связь между ними, какую диктовало сочетание их имен. Нейлз ни во что не ставил геральдику, фамильные гербы и архивные раскопки, предпринимаемые иными в надежде открыть былое величие своего рода. Тем не менее он сказал:

— Моя фамилия когда-то писалась де Ноай.

— Признаться, я не интересовался происхождением моего имени,— сухо ответил Хэммер и, взяв жену под руку, вышел из церкви.

— Вы мне лучше вот что скажите,— обратился священник к Нейлзу,— что ваш Тони думает о конфирмации и думает ли он об этом вообще?

— Тони в баскетбольной команде,— громко ответил Нейлз (Хэммеры еще могли его услышать).— Из всего класса его одного взяли в сборную команду университета, и у меня не хватает духу просить его отказаться от баскетбола.

— Ну ничего,— сказал отец Рэнсом.— Епископ наведается к нам еще раз весною, боюсь только, как бы к этому времени Тони не увлекся бейсболом.

— Увы, это вполне возможно,— сказал Нейлз и уступил место миссис Трэнчем, которая, склонившись над рукой священника, была готова, казалось, поцеловать его перстень, если бы таковой украшал его пальцы.

Дождь перестал, но Нейлз тем не менее включил щетки. Дело в том, что люди (в описываемую мною эпоху) жили жизнью кочевой и автоматизированной и во избежание полного разобщения установили целую систему сигналов, систему, в которую входили и щетки ветрового стекла, и фары, и подфарники, и стоп-сигналы. Вечерняя газета снабжала кочующее население перечнем этих символов, объясняя значение каждого. Повесить детоубийцу (фары). Сократить подоходный налог (подфарники). Распустить тайную полицию (стоп-сигнал). В знак веры в воскрешение мертвых и будущую жизнь епископ епархии предложил прихожанам

включать щетки ветрового стекла. По обе стороны улицы, которой проезжал Нейлз, выстроились одинаковые белые домики, каждый на своем участке, в один или половину гектара. Дом Нейлза с участком в три гектара был расположен на западной окраине Буллет-Парка. В конце участка красовался столбик с табличкой: «Мусор не бросать. Штраф 50 долл. Нарушители будут привлекаться к уголовной ответственности». А под самой табличкой высилась огромная свалка: каркас автомобиля, три поломанных телевизора и старый замызганный тюфяк. Ночное население Буллет-Парка малочисленно, и самыми загадочными и таинственными представителями его являлись люди, выбрасывающие мусор и скарб. По крайней мере пять раз в году Нейлз обнаруживал на своем участке целую коллекцию пришедших в негодность холодильников, разбитых телевизоров и полностью потерявших свой образ автомобилей. А главное — тюфяков. Засаленные, разодранные, непристойные, до тошноты отдающие человеческим бытом,— от тюфяков этих не было никакого спасения. Оказывается, как объяснил однажды Нейлзу представитель муниципалитета, возня, связанная в официальном порядке с вывозом мусора, обходится дороже, чем самый хлам, от которого его обладатели жаждут избавиться. Выехать за город и свалить барахло в Буллет-Парке было и дешевле и проще, чем вызывать сотрудников треста, перерабатывающего утиль. Тем более что никому еще никогда не удавалось изловить хоть одного нарушителя и привлечь его к суду. Впрочем, если откинуть эмоциональную сторону, все это не составляло особой проблемы. Стоило Нэлли позвонить в муниципалитет, как наутро за всем этим мусором приезжала грузовая машина. Но Нейлза душила ярость оттого, что какие-то негодяи оскверняют землю, которая принадлежит ему; к тому же самый вид этого интимного скарба вызывал в нем глубокую тоску.

Дом Нейлза (белый) представлял собой правильный четырехугольник с колоннами в стиле голландских колониальных построек. Внутренняя планировка домов этого типа настолько стандартна, что, войдя в холл, из которого на второй этаж ведет витая лестница, можно с точностью угадать расположение комнат и расстановку мебели, начиная с двуспальной кровати в комнате хозяина, окна которой выходят на северо-восток, и кончая баром в буфетной и стиральной машиной в подвале. В передней Нейлза встретила собака — старый рыжий сеттер Тесси,— вот уже двенадцать лет сопровождавшая его на охоту. Тесси начала приметно глохнуть: когда хлопала входная дверь, она думала, что это ружейный выстрел, и всякий раз выскакивала на газон, готовая ринуться за подбитой дичью. Морда, шерсть под хвостом и передние лапы были у нее уже совершенно седые, и она с трудом поднималась по лестнице. Вечером, отправляясь наверх спать, Нейлз легонько ее подталкивал. Иногда она слегка повизгивала от боли. Это было жалкое старческое хныканье, какого в доме Нейлзов с самого дня его покупки никто, кроме Тесси (пока еще), не издавал. Нейлз частенько беседовал с ней, как с очень близким человеком, что, разумеется, было несколько смешно. Встав с постели, он желал Тесси доброго утра и осведомлялся, хорошо ли она спала. А когда постукивал по барометру и смотрел в окошко на небо, справлялся с ее мнением о погоде. За утренним кофе он непременно предлагал ей сухарик и обсуждал с ней передовую в «Нью-Йорк таймс», а усаживаясь в машину, чтобы ехать на станцию, советовал ей, как добрый наставник, с толком провести день. Приехав с работы и готовя коктейли, он потчевал ее крекерами или китайскими орешками; он и камин разжигал главным образом для ее удовольствия. Нейлз давно про себя решил, что когда Тесси придет время умирать, он выведет ее за розовый куст позади дома и собственноручно пристрелит. Как все старики, она была подвержена различным страхам. Она боялась высо-

ты, а гроза приводила ее в панику. С первыми же раскатами грома она бежала в комнату, где в это время находился Нейлз, и не покидала его, покуда не уверится, что гроза прошла стороной. Осенью Нейлз все еще брал ее с собой на охоту.

Нэлли стояла у плиты и жарила бекон. Нейлз подошел к ней и нежно обнял ее за талию. Нейлз любил Нэлли. Быть может, любить Нэлли и было его призванием в жизни. Мысль о том, что Нэлли суждено рано или поздно умереть, никогда не приходила ему в голову. Она была бессмертна. Но если бы она умерла прежде его, вполне возможно, что он сложил бы на ее могиле жертвенный костер и бросился в огонь. Нейлз был однолюб и непоколебимо верил в святость брачных уз. Многие его знакомые усматривали в этом нечто ненормальное, чуть ли не извращение. На протяжении его жизни Нейлзу представлялось немало случаев совершить небольшой экскурс в сторону. Но всякий раз, когда кто-нибудь — разведенная ли жена, пылкая вдова или замужняя искательница приключений — покушался на его целомудрие, его орган любви проявлял позорное равнодушие, словно указывая своему обладателю дорогу домой. Нет, для Нейлза не было на свете женщин, кроме Нэлли. И будь он поэтом, он бы написал оду ее ногам, ее груди, бедрам, спине. Ему и в самом деле приходила в голову мысль запечатлеть в стихах свою земную и небесную любовь к Нэлли. Пейзажи, что открывались его духовному взору всякий раз, как он к ней прикасался, туманили ему голову. Как она хороша, как неповторимо прекрасна! Способность восхищаться красками и формами природы, всеми ее зримыми проявлениями имела своим источником его неувядаемый восторг перед красотою Нэлли.

Они завтракали в столовой. Нейлз вышел в холл и, задрав голову, стал звать сына:

— Тони, завтрак на столе!

— Но ведь его нет дома, милый,— сказала Нэлли.— Он у Пендлтонов. Ты сам его забросил к ним по дороге в церковь, неужели ты забыл?

— Ах да,— смущенно сказал Нейлз.

Он никак не мог до конца осознать, что его мальчик свободно выходит за пределы дома, двигается вне орбиты, начертанной отцовской любовью. Сколько раз Нейлз принимался искать Тони по всему дому и участку, хоть и знал прекрасно, что его там нет и быть не может, потому что он сам же подвез его к аэродрому и усадил в самолет.

В представлении Нейлза прозрачный янтарный раствор его любви окружал, обволакивал, защищал от чуждых посягательств его жену и единственного сына.

Нейлз и Нэлли уселись за стол друг против друга и принялись завтракать. Но отчего они кажутся не живыми людьми, существующими в трех измерениях, а какими-то плоскими персонажами журнальной карикатуры? Ведь у каждого из них были свои мысли, свои переживания, воспоминания, мечты, приступы тоски и экзальтации. Нейлз вздохнул. Он думал о матери. Четыре месяца назад с ней случился удар, и она с тех пор не приходила в сознание. Ее поместили в больницу. Каждую неделю он ездил ее проведать и сейчас мучительно вспоминал свое последнее посещение.

Столь милая сердцу владельцев похоронных бюро больница помещалась в одном из больших особняков, вышедших из моды в связи с тем, что институт прислуги нынче практически упразднен. С потолка вестибюля свешивалась хрустальная люстра, пол был выложен мраморными плитами, но обстановку — соломенные кресла и чугунные столики с восковыми цветами в вазах — свезли сюда, видимо, с чьей-то старой дачи. Возглавлял больницу швед, и, судя по тому, что он брал за содержание по сто пятьдесят долларов в неделю и выше, довольно зажиточный. Как бы то ни было, деньги он тратил не на одежду. Брюки на нем

лоснились, на плечах болталась бесформенная рыжая куртка. По-английски он говорил правильно, без акцента, но с приятной напевностью скандинава.

«Вчера у нас консультировал доктор Пауэрз,— пел швед.— Ничего нового в состоянии больной он не нашел. Давление сто семьдесят. Сердечная мышца несколько ослабла, тоны хорошие. Шесть раз в сутки ей делают уколы и, кроме того, дают обычные антикоагулянты».

Директор больницы специального медицинского образования не получил, но, подобно тому как новобранец пересыпает свою речь армейскими словечками, любил при случае козырнуть недавно усвоенной им научной терминологией.

«В среду был парикмахер, но я не позволил подкрасить ей волосы, поскольку вы просили этого не делать».

«Да, моя мать никогда не красила волосы».

«Я знаю,— сказал директор.— Но клиенты обычно любят видеть своих родителей в полной форме. Я их называю «мои куколки»,— продолжал он голосом, в котором сквозила неподдельная нежность.— Они ведь куклы и есть — похожи на настоящих людей, а между тем все-таки не совсем настоящие».

Нейлз мрачно решил, что директор, по всей видимости, принадлежит к породе мужчин, в детстве игравших в куклы,— с чего иначе пришло бы ему в голову такое сравнение?

«Мы их одеваем,— безмятежно продолжал швед,— и раздеваем. Мы их причесываем, разговариваем с ними. Отвечать они, разумеется, не могут. Я всегда думаю о них как о моих куколках».

«Можно мне ее повидать?» — спросил Нейлз.

«Разумеется».

Директор повел его вверх по мраморным ступеням и открыл дверь в палату. Это была крошечная комнатка с одним окном; когда особняк занимала одна семья, здесь, вероятно, помещалась детская спальня.

«А в прошлый четверг она вдруг заговорила,— сказал директор.— Сиделка пришла ее кормить, и она сказала: «Меня запихнули в какую-то нору». Только, конечно, не так внятно. Ну, вот мы и пришли».

Дверь за директором закрылась.

«Мама, мама...» — позвал Нейлз.

Он смотрел на розовую кожу, просвечивающую сквозь седину, и на зубы, лежавшие в стакане на тумбочке. Грудь ее чуть-чуть вздымалась, левая рука скользила по одеялу. Нейлз умолял врача не мешать ей (как он выразился) умереть, но врач ему резонно ответил, что в его обязанности входит спасать людей от смерти. Инертное, изможденное, безучастное ко всему тело, распластанное перед Нейлзом, все еще хранило свою власть над ним. Превосходная, добрая, порядочная и заботливая жена и мать,— за что ей выпало такое жестокое и унизительное умирание? Несправедливость эта поколебала веру Нейлза в разумность сущего. Казалось бы, в награду за свою прекрасную жизнь его мать заслуживала легкой смерти, и ее уход из этой жизни должен быть исполнен достоинства и грации. Апостольское речение о том, что смерть есть возмездие за грехи, он толковал буквально: злым — болезни, праведным — здоровье. Инертная масса, лежавшая перед ним, опровергала эти наивные представления. Мать шевельнула рукой, и Нейлз заметил, как на пальцах ее сверкнули бриллианты. Видно, сиделка, играя в куклы, надела ей все ее кольца.

«Мама,— повторил Нейлз.— Мама, чем я могу тебе помочь? Хочешь видеть Тони? Или Нэлли?»

Увы, это был разговор с самим собой.

Нейлз погрузился в воспоминания об отце. Это был отличный охотник, удачливый рыбак, выпивоха и душа общества. Однажды, когда

Нейлз еще учился на первом курсе, он приехал домой на каникулы вместе со своим товарищем. Нейлз преклонялся перед своим другом и гордо представил его отцу, встречавшему их на станции. Старик, однако, кинул на его приятеля быстрый и презрительный взгляд и только покачал головой, словно дивясь дурному вкусу сына. Нейлз думал, что они поедут домой, где их ждет обед, но вместо этого отец повез их в ресторан при гостинице. На эстраде играл духовой оркестр, между столиками танцевали пары. Когда отец начал заказывать обед, Нейлз вдруг понял, что он в дымину пьян. Он заигрывал с официанткой и, пытаясь ее ущипнуть, опрокинул стакан с водой. Когда же оркестр принялся играть «Мыльные пузыри», он вышел из-за стола, пробрался между танцующими, вскочил на эстраду и, выхватив у дирижера палочку, принялся ею размахивать. Всем это казалось очень забавным. Всем, кроме Нейлза, который, будь у него под рукой револьвер, всадил бы пулю в кривлявшуюся фигуру отца.

Старик встряхивал своими седыми космами, изгибался, подпрыгивал, то требуя от оркестра фортиссимо, то вымаливая у него пианиссимо,— словом, показал блестящую пародию на дирижера. Это был его коронный номер в клубе. Оркестранты смеялись, дирижер смеялся, официантки, опустив подносы на стол, смотрели на представление, а бедный Нейлз с каждой минутой погружался все глубже в трясину своего позора. Разумеется, он мог бы сесть с товарищем в такси и поехать домой, но это осложнило бы его и без того довольно шаткие отношения с отцом. Извинившись перед товарищем, Нейлз пошел в туалет и склонился над раковиной. Только так он и мог выразить свое горе. Когда он вернулся, спектакль уже кончился, и отец допивал третью или четвертую порцию виски. Наконец они кое-как пообедали и поехали домой. Отец заснул в такси. Нейлз помог ему подняться на крыльцо, радуясь, что хоть в этом ведет себя, как подобает хорошему сыну. Он всей душой хотел бы любить старика, но как ему было еще доказать свое сыновнее чувство? Отец поднялся к себе, а мать встретила Нейлза своей кроткой, скорбной, мудрой и такой милой улыбкой.

В палате было два стула, на одном сидел Нейлз, на другом лежала подушка. Шагнуть к стулу, взять подушку, накрыть ею лицо матери, подержать так несколько минут — и конец ее мукам. Нейлз встал, сделал шаг к стулу, снял с него подушку и снова сел, держа ее на коленях. Да, но если она будет сопротивляться? Если, несмотря на страдания и зияющие провалы памяти, она всей силой инстинкта еще держится за остатки уходящей жизни? Вдруг она придет на минуту в сознание и в эту минуту постигнет, что убийца — родной ее сын?

Вот о чем думал Нейлз в это утро, сидя напротив Нэлли.

Нэлли была не из тех женщин, что, не дав гостю опомниться и повесить шляпу на вешалку, кидаются ему на шею и ошеломляют его страстным поцелуем. Нет, Нэлли прелесть. Миниатюрная, с рыжеватыми волосами, она сидела за столом в кружевном пеньюаре, распространяя вокруг себя легкий аромат гвоздики. Она состояла членом всевозможных комитетов, ее моральный кодекс был непоколебим, вкус, с каким она подбирала букеты к столу, безупречен,— словом, она вполне могла служить прототипом героини какого-нибудь скетча, что ставят в ночных клубах. Нэлли не была чужда и искусству. Картины, украшавшие стены столовой, вышли из-под ее кисти — все три. Она покупала полотно, натянутое на подрамник и испещренное ломаными синими линиями, как геодезическая карта. Пространства, заключенные между этими линиями, были пронумерованы. Цифра 1 означала желтый цвет, 2 — зеленый и так далее. Прилежно следуя инструкции, Нэлли придавала безжизненному холсту глубину и яркость осеннего заката в Вермонте или (на той картине, что висела над сервантом) наносила на него

портрет дочерей майора Гиллеспи работы Гейнсборо. Получалось немного вульгарно, конечно, да она и сама это подозревала, зато самый процесс сотворчества доставлял ей глубокое удовлетворение. А недавно, движимая искренней любознательностью и желанием быть в курсе основных веяний, она вступила в кружок по изучению современного театра. Ей поручили сделать доклад о новой пьесе, которая шла на подмостках одного из театров в Гринвич-Вилледж. Приятельница, с которой Нэлли собиралась в театр, заболела, и ей пришлось ехать одной.

Спектакль давали в мансарде, рассчитанной на небольшое количество зрителей. И в зале, и на сцене было душно. К концу первого действия один из актеров скинул туфли, рубашку, брюки, а затем, повернувшись спиной к зрителям, и трусы. Нэлли не верила своим глазам. Если бы она встала и покинула театр в знак протеста, как несомненно поступила бы на месте Нэлли ее мать, она тем самым как бы расписалась в неприятии современности. А Нэлли стремилась быть современной женщиной и считала себя обязанной принимать современный мир таким, каков он есть. Актер меж тем медленно повернулся к публике и принялся непринужденно зевать и потягиваться. Все это было точным воспроизведением жизни, как она есть, но в душе у Нэлли поднялась буря противоречивых чувств, а ее ладони сделались липкими от пота. Воспитанная в уважении к приличиям, она была оскорблена, темпераментная по натуре — взбудоражена. Огни рампы померкли. Доигрывали пьесу одетые актеры, но в душе у Нэлли что-то надломилось. Она вышла из театра в напоенный дождем воздух. Чтобы попасть на автобусную остановку, Нэлли надо было перейти Вашингтон-сквер. Группа студентов маршировала вокруг фонтана, держа в руках транспаранты, на которых были написаны совершенно непотребные слова. Может, она сошла с ума? Нэлли проводила демонстрацию взглядом, покуда та не скрылась за углом. Последний лозунг, который попался ей на глаза, гласил: «Дерьмо». Нэлли чувствовала, что у нее подгибаются колени.

Она села в автобус и осмотрела пассажиров, мечтая встретить среди них кого-нибудь, кто принадлежал бы к людям ее круга; с тоской вглядывалась она в лица — только бы увидеть обыкновенную порядочную женщину: жену, мать семейства, из тех, что с законной гордостью показывают гостям свой дом, сад, изящные букеты на столах и радушно демонстрируют перед ними свое кулинарное искусство. На передней скамейке сидели в обнимку два парня и смеялись. Один из них поцеловал другого в ухо. Нэлли с удовольствием ударила бы их зонтиком. На следующей остановке в автобус вошла именно такая женщина, о какой мечтала Нэлли. Она села рядом с ней. Нэлли ей улыбнулась, та ответила такой же приветливой улыбкой и устало произнесла: «Во всем городе нет, оказывается, английского ситца. Я обошла все магазины Нью-Йорка и не могла найти английский ситец. Мне нужен хороший английский ситец. У меня вся мебель английская, и весь мой дом в английском стиле, так что рубчатый репс совсем не подходит к моему интерьеру. А мне всюду суют этот репс, рубчатый репс... Не знаю, быть может, в Нью-Йорке и существуют магазины, в которых продается английский ситец,— мне, во всяком случае, не посчастливилось на него набрести. Дома у меня вся мебель обита ситцем, он очень хороший, только, к сожалению, немного пообтерся... Представляете — ирисы, пионы, васильки, а фон голубой? Да вот у меня с собой и образчик есть». И, открыв сумку, дама извлекла кусочек штампованного ситца.

Не об этом ли только что мечтала Нэлли? И, однако, слушая болтовню своей соседки о тряпках, Нэлли не могла забыть слов, которые прочитала на лозунгах. Они, казалось, огненными литерами врезались ей в память. Она была не в состоянии забыть и актера, представшего перед публикой в чем мать родила. Почва, на которой она так твердо

стояла до этого дня, казалось, ускользала у нее из-под ног. Соседка меж тем перешла к описанию своей мебели, вызывая у Нэлли не просто скуку, но и раздражение. Как ничтожна эта жизнь, ограниченная коврами и креслами, как убого захламленное имуществом сознание, для которого воплощением добра является штампованный ситец, а зла — рубчатый репс! Все это казалось Нэлли ничуть не более пристойным, чем влюбленные педерасты, нежничающие без стеснения на людях, или нелепые студенты с их непечатными лозунгами. Представшая вдруг глазам Нэлли картина сексуальной революции смутила ее покой, сбила с толку и обескуражила; вместе с тем она чувствовала, что путь назад, в мирок уютных интерьеров и изящных букетов на столах, бесповоротно заказан. От автобусной остановки к вокзалу она шла пешком, и по дороге ей то и дело попадались газетные киоски, как нарочно, казалось, специализировавшиеся на фотографиях голых мужчин. Но вот Нэлли наконец села в поезд. Она едет домой, и через какой-нибудь час за этим дождливым днем, доставившим ей столько огорчений, захлопнется дверь. Она вновь будет собою, Нэлли Нейлз, женой Элиота Нейлза, добропорядочной, благоразумной, целомудренной и так далее и так далее, миссис Элиот Нейлз. Но если ее душевное равновесие зависит от закрытых дверей, то многого ли оно стоит, это душевное равновесие? Так или иначе, но по мере того как поезд приближал ее к этим закрытым дверям, Нэлли чувствовала, что к ней понемногу возвращается покой. А шагая от платформы к стоянке, где она оставила машину, Нэлли уже полностью обрела себя. Вот она въезжает на пригорок. Открывает дверь своего дома. Из кухни доносится аромат тушеных грибов.

— Как вы провели день? — спрашивает кухарка.— Хорошо было?

— Да, спасибо, очень хорошо. Конечно, досадно, что все время шел дождь, зато водоемы наполнятся, а это ведь очень кстати, правда?

Нэлли с отвращением чувствовала всю фальшь произносимых ею слов,— но что делать? Сказать кухарке, что день прошел дерьмово, описать то, что она сегодня видела в театре? Нэлли прошла к себе, в свою нарядную миленькую комнатку, затем села в свою беленькую, миленькую ванну, но как она ни наслаждалась своей комнатой и ванной, она не могла отделаться от убеждения, что лишь закрытые двери, обособление, фальшь и слепота способны ее спасти, способны помочь ей сохранить стройное представление о мире. С Нейлзом своими впечатлениями она не поделилась.

После завтрака он поднялся в комнату сына. Накануне вечером, вернувшись из гостей и обнаружив, что Тони еще не лег, а читает, он просидел с ним довольно долго.

— Ну, как было? — спросил Тони.— Хорошо?

— Да ничего.

— Хочешь чего-нибудь выпить на ночь?

— Разумеется. А ты выпьешь пива?

— Пожалуй. Я сейчас все принесу.

— Сиди. Я сам принесу,— сказал Нейлз не то чтобы строго, но достаточно категорично.

Он не одобрял родителей, которые позволяли мальчикам в возрасте Тони возиться в баре. Среди его знакомых многие поручали детям приготовлять коктейли и разносить их гостям, но Нейлзу казалось, что это непорядок. Во-первых, рассуждал он, у детей еще не выработан глазомер, необходимый для соблюдения точных пропорций в коктейле, а во-вторых, подобное занятие несовместимо с невинностью, этим непременным украшением юности. Нейлз принес снизу пиво и виски и снова уселся в кресло. Он, видимо, был всецело занят своими мыслями и, глядя куда-то поверх ковра, сосредоточенно хмурился. Оба, отец и сын,

молчали, и в этой паузе, предварявшей разговор, ощущалась та особая, заповедная тишина, которая составляет самую сущность любви.

Нейлз принялся рассказывать о вечере. Почти всех, кто там был, Тони знал. Слушая отца, он одновременно думал, успеет ли его мать уснуть к тому времени, как кончится их беседа. Хоть бы успела, думал он, и тогда до него не будут доноситься из родительской спальни нежные междометия, вздохи и стоны торжествующей любви. Атмосфера мужской дружбы, избранности была приятна обоим, и вместе с тем обоим было немного неловко, словно они разыгрывали специально для них написанную сцену «Отец и сын». Впрочем, чувство, которое Нейлз сейчас испытывал к Тони, нельзя было определить никаким иным словом, кроме как «любовь». Будь он человеком более экспансивным, живи они в другой стране, он бы подошел к сыну и, прижав его к груди, попросту сказал, что любит его. Вместо этого Нейлз взял сигарету, затянулся и тотчас судорожно закашлялся. Это был жестокий приступ, с мокротой, лицо Нейлза побагровело. Ничто так не подчеркивало разницу в их возрасте, как этот кашель. «Почему он не бросит курить,— думал Тони.— Если бы он не курил, быть может, он перестал бы кашлять». Беспощадный кашель, приводивший отца в такое жалкое состояние, напоминал о том, что на свете существуют недуги, старость и смерть. Но Тони тут же спохватился — ведь его отцу никогда не дашь сорока двух лет, да и вообще он ничуть не похож на старика. Он выглядит много моложе отца Дона Уолтэма, Генри Пастора или Герберта Мэтсона. И хоть ни в одном из видов спорта особенно не блистал, он все же мог подчас благополучно вытащить мяч из хоккейной свалки, забить гол в футболе и съехать на лыжах с не очень крутой горы. Сорок два года... Возраст этот представлялся Тони таинственным, невероятным и древним. Мысль о том, что человек прожил на свете столь долгий срок, волновала его, как волнует археолога какая-нибудь реликвия шумерской или скифской культуры. Впрочем, седина еще не тронула его волос, и они были по-прежнему густы, лицо его, несмотря на морщины, ничуть не обрюзгло, он совсем не сутулился, и у него не было и намека на брюшко. Отец, вне сомнения, человек незаурядный, подумал Тони и тут же, не без самодовольства, решил, что незаурядность эта передастся по наследству и ему, Тони: незаурядному сыну незаурядного отца не грозят такие пошлости, как седина, лысина, тучность и старческая суетливость.

Нейлз выбрал пластинку и запустил проигрыватель. Тони знал, что ему предстоит еще раз услышать «Мальчиков и девочек». Нейлз не был театралом, да и к музыке был равнодушен, но почему-то — это было так давно, что никто уже не помнил, как это случилось,— у него вдруг оказались два билета на премьеру «Мальчиков и девочек». Кто-то из его приятелей то ли заболел, то ли должен был уехать и отдал свои билеты Нейлзу. Нейлз собирался уступить их кому-то еще, потому что терпеть не мог опереток, а имена Лессера и Раньона ему ничего не говорили. Но у Нэлли в ту пору появилось новое платье, и ей хотелось его надеть. Словом, случилось так, что они пошли на премьеру. Усевшись в кресло, Нейлз мрачно приготовился слушать увертюру, но первая же фуга привела его в неописуемый восторг, и с каждой арией его восторг возрастал. Когда же дело дошло до финального хора, Нейлз, вскочив на ноги, принялся, не щадя ладоней, хлопать и реветь: «Бис, бис!» В зале уже загорелись огни, а он все еще бесновался. Нейлз покинул театр одним из последних.

Он был уверен, что в тот вечер ему довелось быть свидетелем исторического перелома в театральном искусстве. Нейлз даже сочинил сентиментальную теорию об обреченности гения. Образ Франка Лессера сплелся в его сознании с образом Орфея, и когда он прочитал в газете,

что Лессер развелся с женой, он каким-то образом связывал эту катастрофу с совершенством «Мальчиков и девочек». Он решительно отказывался идти на другие спектакли Лессера, ибо был убежден, что в них обнаружится трагический спад его дарования. История не знает художника, который был бы в состоянии повторить свой шедевр. В глубине души Нейлз даже считал, что с Лессером следовало бы поступить, как поступили со строителем храма Василия Блаженного, и выколоть ему глаза. Премьера «Мальчиков и девочек» осталась в его памяти навсегда как долгий летний день, непревзойденное очарование которого таит в себе намек на неизбежность зимы и смерти.

Нейлз начал подпевать проигрывателю. Он купил эту пластинку давно, тотчас после премьеры, и она уже была сильно заиграна. Нейлза это ничуть не смущало. Слов он не знал и вместо них вставлял бессмысленные слоги (ти-ра-ри-ти-ра-ра), но во время арии «Счастье, будь сегодня джентльменом» вскочил на ноги и, стуча кулаком одной руки по ладони другой, пропел целиком запомнившиеся ему куплеты. Во время финального хора он выкинул обе руки вверх, как бы в попытке достать с неба звезду, а когда отзвучала последняя нота, глубоко вздохнул.

— Вот это был спектакль, я тебе скажу. Всем спектаклям спектакль. Жаль, что тебе не довелось его видеть. Ну, ладно, пора спать.

■

А наутро Нейлз затосковал по сыну. В комнате у Тони стоял холод. Он имел обыкновение выключать батареи и спать с открытыми окнами. Из-за холода казалось, что обитатель комнаты покинул ее давно, задолго до этого утра. «Как странно! — удивился Нейлз.— Можно подумать, что он уже год в отлучке». Он с нежностью оглядел разбросанный по комнате хлам повседневной жизни своего сына: побитые бутсы с загнутыми носами и ребристыми подошвами, футболку, кучку книг, в которой соседствовали Стивен Крейн, Сомерсет Моэм, Сэмюэль Батлер и Хемингуэй. Однажды Нейлзу понадобился словарь, он снял его с полки у Тони, раскрыл, и оттуда каскадом посыпались фотографии голых женщин — штук пятьдесят, если не больше. Нейлз был несколько ошарашен. Он просмотрел все фотографии, одну за другой, дополняя эту галерею распутных незнакомок своим более чем скудным опытом. Отпечатанные на дешевой газетной бумаге, фотографии эти, по всей видимости, были вырезаны из каких-то специфических журналов, решил Нейлз,— типа тех, что видишь на столах парикмахерских или у чистильщика обуви. То обстоятельство, что его возлюбленный сын предпочел коллекционировать подобные картинки вместо марок, наконечников индейских стрел, минералов или редких монет, не слишком тревожило Нейлза. Он спокойно принялся разыскивать нужное ему слово, а картинки выбросил. Некоторое время спустя, быть может через месяц, Тони его спросил:

«Ты брал мой словарь?»

«Брал,— ответил Нейлз.— Я выбросил те картинки».

«А-а»,— сказал Тони.

На этом дело и кончилось.

На столике подле окна стоял магнитофон — подарок Нейлза ко дню рождения. Включить магнитофон было бы так же немыслимо для Нейлза, как вскрыть письмо, адресованное Тони. Но если бы он включил его, то услышал бы следующий монолог: «Грязный старый павиан,— произносил голос его сына, только звучавший на пол-октавы ниже, чем в жизни.— Грязный старый павиан. Каждую ночь ты мне мешаешь уснуть. Только я лягу, как ты начинаешь сквернословить у себя в спальне. Ты

самый большой сквернослов на свете, грязный, гнусный, похотливый старый павиан».

Впрочем, Нейлз не включил магнитофона.

Вместо этого он пошел к себе, снял костюм, в котором ходил в церковь, надел домашний. Он как-то внес предложение церковному старосте, чтобы прихожанам разрешалось являться к ранней обедне в спортивной или рабочей одежде, в которой обитатели Буллет-Парка обычно ходят по воскресеньям. Но отец Рэнсом его не поддержал. «Этак,— сказал он,— мы дойдем до того, что священник будет служить обедню в теннисных шортах». Нейлз спустился в подвал и заправил механическую пилу. В небольшом овражке в южном углу участка медленно умирала от жучка группа старых вязов — штук десять, не больше. По субботам и воскресеньям Нейлз распиливал сушняк на дрова для камина. Обезображенные и обрубленные, деревья эти не сохранили ничего от былой своей скорбной красоты. Верхние ветви обломились, кора облезла, и в тусклом свете зимнего утра обнажившаяся древесина походила на обглоданную кость. Все вместе напоминало ночной кошмар или поле битвы на другой день после сражения. Нейлз выбрал дерево и наметил, как его пилить. Он до смешного гордился виртуозностью, с какою управлял этой адской машиной и ее убийственными зубьями. Низина была защищена от ветра, и в это не по-зимнему теплое утро от деревьев даже исходил какой-то аромат, чуть пряный, напоминающий запах, разлитый в холодных храмах Рима. Начало весны. Слышны птичьи крики — то ли совы, то ли горлицы. Воздух мягкий, но не настраивающий на идиллический лад. В нем ощущалось напряжение, настороженность, предшествующие всякой перемене. Через две недели — великий пост. Что же сегодня читал отец Рэнсом? Кажется, из соборных посланий? И вдруг Нейлз вспомнил. «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе».

До ушей Нэлли донесся визг пилы.

III

В одно прекрасное утро Тони отказался встать с постели.

— Да нет же, я не болен,— сказал он матери, когда та захотела измерить ему температуру.— Просто мне ужасно грустно. Неохота вставать, и все.

Родители позволили ему не идти в школу в тот день.

Прошло пять дней, а Тони так и не встал.

Три врача, которых, одного за другим, Нэлли приглашала лечить Тони, представлялись ей впоследствии чем-то вроде трех женихов из старинной легенды, трех сказочных путников, которым предлагалось из трех сундуков выбрать тот, где хранится ключ от клада. Кому достанется ключ, получит половину королевства и королевскую дочь в придачу. Должно быть, присущий медицине элемент гадательности заставил Нэлли вспомнить сказочных женихов. Один за другим, все три лекаря подходили к постели Тони, пытаясь разгадать силу, что держала его в своей власти: Золото? Серебро? Свинец?

Первым пришел терапевт. Доктор Маллин весьма неохотно согла-

сился приехать, ибо нынче врачи не посещают больных на дому. В критических случаях жертву увозят на санитарной машине в больницу, где врачи и практиканты вершат над нею последний обряд. Доктор Маллин уговаривал Нэлли привести Тони к нему на прием, и ей стоило немалого труда втолковать ему, что Тони не может встать с постели. Только тогда доктор Маллин обещал к ним приехать.

Он появился в полдень, в немытом «фольксвагене» с помятым крылом. Это был молодой человек — моложе Нэлли, исполненный жизнерадостности и неувядаемого оптимизма. Человеческие недуги и немощи, необратимость смерти — все то, о чем он в силу своей профессии не мог не знать, казалось, не возымели ни малейшего действия на его солнечную натуру. Эта непобедимая жизнерадостность даже несколько вредила его профессиональной репутации, ибо лекарь, столь не искушенный в горе, не очень-то импонирует человеку, перед духовным взором которого разверзается могила. Доктор Маллин не был глуп и не позволял себе шумных проявлений жизнелюбия у постели больного, однако в самом его оптимизме было нечто буйное, беспокойное, как порыв ветра, что хлопает дверьми и разбрасывает бумаги по комнате. Проводив его к больному, Нэлли спустилась в гостиную. Сверху до нее доносился бодрый зычный голос Маллина и тихие ответы Тони.

— Он совершенно здоров,— объявил доктор, спустившись к Нэлли.— Я взял у него мочу и кровь для лабораторного исследования. Завтра, если он встанет, сделаем кардиограмму. Впрочем, я уверен, что у него все в порядке. По правде сказать, мне давно не попадался такой здоровый субъект. Он еще молод, это верно, но нынче редко встретишь человека, организм которого столь блистательно соответствовал бы его возрасту. У него всего лишь временная депрессия. На случай, если он завтра не встанет сам, я пропишу вам пилюли — они его вмиг поднимут.

Доктор выписал рецепт и с улыбкой протянул его Нэлли. В наших отношениях с теми, кто нас врачует, есть нечто стремительное, интимное, подчас даже нежное. На какую-то минуту Нэлли почувствовала, что она чуть ли не влюблена в доктора. Уходя, он просил ее позвонить ему на другой день утром.

— Он опять отказался встать,— сказала Нэлли, набрав номер телефона доктора Маллина.— Вот уже шестой день, как он не встает с постели. В десять часов я дала ему одну из ваших пилюль со стаканом апельсинного сока. Через несколько минут он встал и пошел в душ. Потом спустился на кухню. Он был одет, но я сразу заметила что-то неладное. Его шатало, как пьяного, он все время смеялся, а зрачки у него были немногим больше булавочной головки. Он попросил меня приготовить яичницу из шести яиц, съел ее всю и, кроме того, еще шесть кусков поджаренного хлеба и все это запил литром молока. «Никогда еще я не был так голоден»,— сказал он. Он был очень возбужден, хохотал, слонялся по кухне, а раз даже споткнулся о ножку стола. После завтрака он сказал: «Я чувствую себя сильным, как никогда. Мне нужно выбраться отсюда поскорее,— сказал он,— а не то я, пожалуй, дом сверну». Прямо так и сказал! Затем вышел из дому и со всех ног побежал по дорожке, что ведет к Кортленду,— это старая просека для верховой езды, миль шесть длиною. Когда-то, когда он состоял в секции легкой атлетики, он на ней тренировался в беге. Догнать его я, разумеется, не могла, поэтому я села в машину и поехала ему наперерез, туда, где дорога упирается в Шестьдесят четвертое шоссе, и прождала его там чуть ли не час. Наконец он прибежал, весь в испарине. Лекарство, должно быть, вышло у него вместе с потом. Во всяком случае, он больше не походил на пьяного, только ничего не помнил — ни как он завтракал, ничего. Он не мог понять, как это он вдруг очутился на

Шестьдесят четвертом. Я отвезла его домой. В машине он задремал, а когда мы приехали, принял еще раз душ и снова лег.

— Ну что ж, пожалуй, оставим пилюли,— сказал доктор Маллин.— Я слышал о побочном действии этого лекарства, но решил рискнуть. По правде говоря, миссис Нейлз, я не знаю, что вам посоветовать. Не хотите ли проконсультироваться у психотерапевта? Я работаю с доктором Бронсоном и могу вам дать его телефон.

Уговорить психиатра приехать на дом оказалось еще труднее, чем терапевта. Но когда Нэлли обстоятельно описала ему положение дела, он, наконец, пообещал приехать к трем часам. Нэлли стояла у окна и видела, как подъехала ярко-голубая машина спортивного типа, с откидным верхом; вытянутый капот придавал ей хищное выражение, подчеркивая, что это очень дорогая машина. Ее фешенебельный вид немного обескуражил Нэлли — это как-то не вязалось с ее представлением о человеке, который призван излечивать людей от грусти и меланхолии. Впрочем, облик самого доктора, как только он вышел из своего спортивного автомобиля, оказался скромнее, чем можно было ожидать. Он производил впечатление человека не от мира сего, подавленного и неуверенного в себе. Он захлопнул дверцу и, ломая пальцы, насупившись, с глубокой тоской и тревогой, стал придирчиво осматривать машину. Затем поднялся по ступенькам крыльца и позвонил.

Никакого чемоданчика при нем, разумеется, не было, как и вообще не было каких-либо примет его профессии. Своими повадками он напоминал усталого добродушного дантиста. Пока Нэлли описывала ему симптомы болезни Тони, он, ломая пальцы, кружил по комнате, словно посреди ковра стояло зубоврачебное кресло. Его сутулая фигура наводила на мысль, что он привык всю жизнь иметь дело с лежачими больными, а тихий, скорбный голос его, казалось, сулил исцеление. Нэлли провела его к Тони и закрыла за ним дверь. Ровно через пятьдесят минут он спустился к ней в гостиную.

— Боюсь, миссис Нейлз, что ваш сын серьезно болен. Самое же скверное то, что он не идет навстречу врачу. Быть может, вам лучше положить его в больницу.

— В какую больницу?

— Ну, хотя бы в санаторий, например, в Стоунхендж — это в соседнем поселке, и я часто туда направляю своих больных. Быть может, он даст хорошую реакцию на электрошок.

— Ах нет!— вскричала Нэлли. И заплакала.

— Электрошок не представляет никакой опасности, миссис Нейлз. После первого сеанса больной уже не знает, что с ним происходит. Это лечение не вызывает никаких побочных явлений.

— Ах нет,— повторила Нэлли,— только не это.

— Видите ли, миссис Нейлз, у него настоящий психический сдвиг. Чтобы понять как следует причину его заболевания, пришлось бы подвергнуть его курсу активной психотерапии, рассчитанному на несколько месяцев, да и то при условии, что он пойдет навстречу врачу. Люди его поколения и среды часто ставят перед нами задачи, которые не поддаются психоанализу. Вы, верно, даете вашему сыну все, что он хочет?

— В пределах разумного,— ответила Нэлли.— Машины, например, у него нет.

— Я видел у него и магнитофон, и проигрыватель и целый гардероб самой модной и дорогой одежды.

— Ну и что же?

— А то, что в социальной прослойке, к которой принадлежите вы, наблюдается тенденция подменять нравственные и духовные ценности материальными.

— Но Элиот ходит в церковь почти каждое воскресенье,— возразила Нэлли.

Какими и неубедительными и легковесными показались ей самой эти слова, едва она их произнесла. Она знала всю меру вялости и равнодушия, с какими молится ее муж, знала, что причащаться он ходит по привычке, из суеверия и отчасти из сентиментальности.

— Мы никогда не лжем,— продолжала она вслух.— Я уверена, что Тони никогда не лжет.

Доктор слушал ее с оскорбительной усмешкой.

— Мы не читаем чужих писем. Мы всегда поступаем честно. Мы не сплетничаем. Мы оплачиваем счета своевременно. Элиот меня любит. Мы пьем только перед обедом. Я довольно много курю...

И это все? Довольно скудный послужной список, но чего еще можно было требовать от Элиота и Нэлли Нейлз? Религиозного рвения бородатых пророков, огненных коней Апокалипсиса, громов и молний, священных заповедей, высеченных в камне на древнем языке?

— Мы честные и порядочные люди,— сердито заключила она.— И я отказываюсь чувствовать себя в чем-либо виноватой.

— Я и не хочу, чтобы вы чувствовали себя виноватой, миссис Нейлз. Ни в честности, ни в порядочности я большой беды не вижу, но факт остается фактом — сын ваш болен, и притом серьезно.

Позвонил телефон. Нэлли сняла трубку, и чей-то голос попросил доктора.

— Нет, меньше пятидесяти тысяч я за этот дом не возьму,— сказал доктор.— Если хотите что-нибудь подешевле, я могу предложить вам хороший современный домик с участком на Каштановой улице. Да, да, я знаю, что он был оценен в тридцать тысяч, но то было восемь лет назад. Пятьдесят тысяч — последняя моя цена. Простите, пожалуйста,— сказал доктор, обращаясь к Нэлли.

— Что вы, что вы,— вежливо сказала Нэлли, хоть ее и возмутил этот разговор. «Интересно,— подумала она,— какая профессия у этого человека основная, а какая — побочная? То ли он торгует недвижимостью в свободное от врачевания время, то ли излечение сумасшедших его вторая профессия, его хобби?»

— Вы приедете проведать его еще раз? — спросила она.

— Только если он захочет меня видеть сам,— сказал доктор.— А так это бессмысленная трата ваших денег и моего времени.

Когда доктор уехал, Нэлли поднялась к Тони и спросила его, как он себя чувствует.

— Да все так же,— сказал Тони.— Мне ужасно грустно. Мне все кажется, будто мы живем в карточном домике. Когда я был маленький и болел, ты мне строила карточные домики, я на них дул, и они рассыпались. У нас хороший дом, и я его люблю, но только мне кажется, что это карточный домик.

Третьим был призван специалист по нарушениям сна. Он приехал из Нью-Йорка поездом, а от станции — на такси. Нэлли он показался похожим на слесаря-водопроводчика. В одной руке у него был баул, в другой небольшой чемоданчик с инструментом. Когда Нэлли спросила, не причинит ли он Тони боль, специалист уверил ее, что он всего лишь приложит к нему несколько электродов, которые записывают температуру разных участков тела больного. Нэлли показала ему гостевую комнату и хотела было провести его к Тони, но он ее остановил.

— Я, пожалуй, сперва сосну,— сказал он.— Ведь мне придется бодрствовать почти всю ночь.

— Вам ничего не нужно? — спросила Нэлли.

— Нет, спасибо. Я просто подремлю.

И доктор закрыл дверь.

В пять часов вечера он спустился вниз, и Нэлли предложила ему коктейль.

— Спасибо,— сказал он,— не потребляю. Я состою в обществе трезвенников. Вот уже полтора года не принимаю. Видели бы вы меня раньше! Я весил двести пятьдесят фунтов, и большая часть этого веса приходилась на джин. Первая группа трезвенников, в которую я вступил, была в Гринвич-Вилледже. Там мне не понравилось. Дело в том, что там все чокнутые. Я перешел в другую группу, на Шестидесятых улицах в Восточной части Нью-Йорка. Вот это была группа, я вам скажу! Все как на подбор — крупные бизнесмены, адвокаты, доктора и, верьте, нет ли, миссис Нейлз,— никого из шпаны. Мы развлекаемся тем, что описываем друг другу свои ощущения, связанные с воздержанием. Жуткое дело, я вам скажу! Это все равно что описывать путешествие в преисподнюю. Мы делимся впечатлениями, как туристы, которые побывали в одних и тех же краях. Превосходная компания! Перед тем как разойтись, мы все вместе молимся. Монахи и священники, наверное, все время думают о боге. Как проснутся утром, у них первая мысль о боге, и, наверное, все, что они видят в течение дня, напоминает им о боге, ну и, разумеется, они молятся богу перед сном. Вот и со мной было точно так, только думал я не о боге, а о бутылке. Я думал о ней с утра, я думал о ней весь день, и, засыпая, я был полон мыслей о ней. Бутылка была для меня все равно что бог, то есть я хочу сказать, что она была вездесуща, как бог. Облака на небе напоминали мне бутылку, дождь напоминал о бутылке, звезды напоминали о бутылке. Раньше, когда я еще не был пьяницей, мне снились девушки, а потом я только и видел во сне что бутылки. Вот, говорят, сны исходят из глубин нашего подсознания, как, например, все, что связано с сексом, ну, а мне только и снились что бутылки. Мне снилось, что у меня в одной руке стакан, а в другой — бутылка. Затем, что я наливаю в стакан два-три глотка виски — самую малость! Затем я их выпиваю, и мне снится, что мне хорошо, как бывало когда-то. Ну совсем, понимаете, будто я начинаю новую жизнь. Снились же мне всегда либо виски, либо джин, либо водка. Ром мне никогда не снился. Я его не уважал. Просто я видел, будто сижу себе, смотрю комиксы по телевизору и потягиваю виски, и так-то мне легко, будто я съезжаю вниз, вниз, по гладкому шесту. А утром просыпаюсь весь в испарине, жить не хочется, и начинаю опять думать о том, как бы выпить.

За ужином специалист по нарушениям сна пытался объяснить, в чем заключается его профессия, но он пересыпал свою речь медицинскими терминами, и ни Нэлли, ни Элиот не смогли составить себе ясного представления о ней. В восемь часов, сказав: «А теперь — за работу!» — он прихватил свой чемоданчик с инструментом, пошел наверх к Тони и закрыл за собой дверь. К завтраку он спустился с красными глазами: по всей видимости, он не спал всю ночь. Нейлз отвез его на станцию и в субботу получил от него подробный отчет по почте:

«Больной перешел в гипнотическое состояние в 9.12, с соответственным понижением температуры тела. Спал в позе Фэнчона, то есть на животе, подогнув правую ногу. В 10.00 у него было сновидение, которое длилось две минуты и сопровождалось повышением температуры, а также расслаблением кардиоваскулярного напряжения. В 10.03 переменил положение на нимбовидное, согнув левую ногу в колене. Следующее сновидение наступило в 1.15 и длилось три минуты. Оно вызвало возбуждение, от которого он проснулся, но вскоре принял пренатальное положение и вновь заснул. Температура без изменений. В 3.10 он вернулся в фэнчоновскую позу и начал храпеть. Храп носил как назальный, так и оральный характер и длился восемь минут тридцать три секунды...».

Вся реляция занимала пять машинописных страниц, и к ней был приложен счет на пятьсот долларов.

IV

Страдания и боль представлялись раньше Нейлзу некой таинственной страной, простирающейся где-то за пределами Западной Европы. Это было государство, по всей видимости, феодальное, раскинувшееся среди гористого ландшафта, по которому Нейлзу никогда не доведется путешествовать, ибо оно не входит в маршруты, предусмотренные его агентом по туризму. Время от времени до Нейлза доходили открытки из этой отдаленной страны с изображением памятника Эскулапу на фоне снежных гор. На оборотной стороне бывал примерно такой текст: «Эдну держат на понтапоне, по расчетам врачей, ей осталось жить еще недели три, но она была бы рада получить от вас весточку». В ответ Нейлз посылал забавные письма для развлечения умирающих и отправлял их в далекий старомодный городок, где из часов городской ратуши выходили хромые, скособоченные человечки, где вместо статуй городские парки украшали исторгнутые болью из воображения художника безобразные химеры, где дворец переделан в больницу, а в окружающем его рву под арками мостов пенятся кровавые ручьи. Жизненный путь Нейлза не пролегал через эту страну, и можно вообразить его изумление и ужас, когда он однажды ночью очнулся от сна, в котором ему привиделось, будто он едет поездом и смотрит из окна вагона на страшную горную цепь со снежными вершинами, что пересекает тот далекий край.

К двенадцатому дню болезни Тони у Нейлза кончилась пора святого неведения. Не то чтобы он прежде считал, будто дары фортуны раздаются, как орешки на детских праздниках, но где-то в душе у него ютилось смутное представление о том, что всякому положено получить свою долю животных радостей, тяжкого труда, денег и любви. Точно так же, как в глубине души он считал, что чудовищная несправедливость, которую он не мог не видеть вокруг, является загадкой, к нему самому не имеющей никакого касательства. Счастливец! И вот вдруг его сын чуть ли не при смерти, и это не просто еще один новый факт в жизни Нейлза,— отныне это сделалось единственным содержанием его жизни. Ему предстояло познать одержимость человека, породнившегося с горем. Первой мыслью его по пробуждении было — вдруг он услышит шаги Тони на лестнице! И чем бы ни был занят Нейлз — пил ли виски с друзьями, играл ли в карты, работал ли в конторе, тревожился ли о доходах,— это было лишь временным отвлечением от всепоглощающего образа гибнущего сына, судорожно сжимавшего руками подушку. Познав одержимость человека, которого постигло горе, он вскоре познакомился и с другим явлением — грубой завистью, снедающей того, кого покинула удача. За что, изо всех юношей Буллет-Парка, за что именно на долю его мальчика выпала такая участь — сделаться жертвой рокового недуга? Нет, сам он не стал бы задавать такой вопрос,— это окружающие с утра до ночи, на всем протяжении дня, беспощадно вынуждали его задавать себе такой вопрос. Веселый, беспечный смех на железнодорожной платформе заставлял Нейлза горько вопрошать, отчего сыновья его друзей ходят, бегают на воле, между тем как его сын прикован к постели. Во время ленча с друзьями, которые неизбежно заводили разговор об успехах своих сыновей, он испытывал такую глубокую грусть и тоску, что чувствовал почти физическое отчуждение от них. Когда он видел человека, бегущего по улице, ему хотелось крикнуть тому вслед: «Стой, стой, стой, стой! Мой Тони тоже был таким же сильным и быстрым, как ты!» Некогда патриот своего образа жизни, он теперь чувствовал себя мятежным подданным, затаившим месть и измену, готовым на диверсию и шпионаж.

— Ты знаешь человека по имени Хэммер? — спросила его Нэлли вечером.

Нейлз сказал, что познакомился с Хэммерами в церкви.

— Ну вот, она сегодня позвонила,— сказала Нэлли,— и приглашает нас на ужин. Я не одобряю эту манеру — звать людей, с которыми ты незнаком, но, быть может, там, откуда они прибыли, это принято.

— Да, в самом деле немного странно,— сказал Нейлз.— Мы ведь только поздоровались, выходя из церкви. Быть может, они чувствуют себя одиноко...

Впрочем, он думал не столько о предположительном одиночестве Хэммеров, сколько о своем собственном. Образ Тони, прикованного к постели, заставил его позабыть ригоризм светских приличий. Тони болен, Нейлз грустит, в жизни, оказывается, больше страдания и горя, чем он себе представлял, почему бы не проявить великодушие и не простить миссис Хэммер ее невежество по части протокола.

— Что ж,— сказал он,— поскольку у нас этот вечер не занят, можно бы, по-моему, и пойти. Это было бы по-добрососедски, и потом всегда ведь можно уйти пораньше.

И вот, несколько дней спустя, они подъехали к Пороховой горе. Ночь была звездная, Венера сияла, как электрическая лампочка, и по дороге от ворот к дверям Хэммеров Нейлз наклонился и поцеловал жену. Хэммер сам открыл дверь и представил их своей жене и гостям. Мариетта Хэммер казалась немного рассеянной и вялой, а может, она была попросту пьяна. Умение разбираться в людях не было сильной стороной Нейлза. Он заранее считал всех честными, положительными, чистыми и счастливыми, поэтому на его долю часто выпадало разочарование. Он тотчас понял, что его оптимистическая оценка Хэммеров в церкви требует пересмотра. На обеде было еще три пары — Тейлоры, Филлипсы и Хэзарды. Прислугу Хэммеры, по-видимому, не держали. Хэммер готовил коктейли в буфетной, а Мариетта, извинившись перед гостями, пошла на кухню.

— Вы давно знакомы с Хэммерами? — спросил Элиот.

— Да я, собственно, совсем с ними незнаком,— сказал мистер Тейлор.— Я ведаю филиалом Форда в Буллет-Парке, он покупал у меня машину и заодно пригласил к себе. Я полагаю, что они будут держать две машины, как все в нашем поселке, так что я здесь, можно сказать, по делу.

— А я продал им холодильник,— сказал мистер Филлипс.

— А я дом,— сказал Хэзард.

— Прекрасный дом, не правда ли? — сказала миссис Хэзард.— Здесь жили Хизкапы, пока мистер Хизкап не умер.

— Он был такой славный малый,— сказал мистер Хэзард.— Никак не пойму, отчего он застрелился.

— Итак,— произнес Хэммер, выходя из буфетной.— Вам американское виски, а вам — шотландское с содовой...

— Скажите, мистер Хэммер, вы из какой, собственно, фирмы? — спросил Хэзард.

— Я президент «Пол Хэммер и К°»,— сказал Хэммер.— Нет таких дел, за какие бы не бралась наша фирма.

Мариетта Хэммер засмеялась. Это был музыкальный смех — по нисходящей гамме. Такой смех, подумал Элиот, услышишь лишь в женском клубе, за бриджем, или в каком-нибудь дорогом ресторане, знаменитом своими пирожными. В нем не было ничего задорно-кокетливого, а была враждебность мужу, издевка над ним. Блондинка с длинными волосами, в длинном платье и с длинными сережками в ушах, Мариетта была безусловно красива, но красота ее была того типа, какой можно встретить на обложке старого журнала в приемной данти-

ста,— слегка потрепанного, позапрошлогоднего журнала. Она прошла в буфетную и опрокинула еще один стаканчик виски. Тейлор не пытался скрыть чисто деловой характер своего визита и за коктейлем говорил Хэммеру о большой скидке, которую он ему предоставит, когда тот надумает покупать вторую машину. Угощение было много ниже уровня, принятого в Буллет-Парке. Глядя на нескрываемое отвращение, с каким Мариетта ковыряла вилкой жаркое, представляющее собой нечто среднее между рагу и гуляшом, Элиот подумал, уж не сам ли Хэммер приготовил это блюдо.

— Вы, наверное, еще не обжились в Буллет-Парке и не составили о нем мнения, но все мы надеемся, что вам у нас понравится,— сказал он.— По-моему, здесь очень симпатично.

— Мы здесь всего две недели,— ответил Хэммер.

— Если хотите знать мое мнение,— сказала Мариетта,— то я вам с удовольствием его скажу. По-моему, это дерьмовый городок, какой-то сплошной маскарад: покупай костюмы у Брукса, поспевай на утренний поезд, показывайся раз в неделю в церкви, и никто тебя не спросит, кто ты такой.

— Ну, пожалуйста,— взмолился Хэммер.— Воздержись хоть сегодня!

— Господи, да что с тобой творится? — воскликнула Мариетта.— Чего ты все время злишься? Всю неделю только и делаешь, что злишься. Не можешь простить мне, что я купила себе это платье? Из-за этого, да? Или я должна, по-твоему, покупать дешевые платья у «Мейси» и «Александера»? Господи, да ты, наверное, хотел бы, чтобы я себе шила все сама! Ну, ладно, я выбросила четыреста долларов. Допустим. Но ведь оно хорошо на мне сидит, и потом — надо же мне что-то носить! У меня не так уж много нарядов. Ну, да, я сказала, что у меня не так уж много нарядов. Ну, хорошо, у меня очень много нарядов, и я сказала глупость, и ты будешь теперь надо мной издеваться. Святой Иисусе, посмотрел бы ты на свое лицо! Я сейчас расхохочусь, ей-богу!

— У «Орбаха» шьют на заказ,— сказала миссис Тейлор.

— Умоляю тебя, любовь моя! — еще раз воззвал Хэммер.

— Ты тряпка, о которую вытирают ноги, вот ты кто! — продолжала Мариетта.— Настоящая тряпка, подкаблучник, и нечего валить все на меня. Ты просто ничтожество. И ты, разумеется, мечтаешь, что в один прекрасный день в тебя влюбится стройная, красивая, богатая, страстная и умная блондинка с прекрасными манерами. Господи, я прямо вижу, как ты об этом мечтаешь! Фу, какая мерзость! Да, да, да, у нее длинные волосы, длинные ноги, ей лет двадцать восемь, она разведена с мужем и бездетна. Держу пари, что она актриса или певичка в ночном баре. Вот потолок твоей фантазии. Ну, и что ты будешь с нею делать, дурак, что ты будешь с ней делать — только жрать? А что может делать эта подстилка, этот подкаблучник? В театр водить, да? Покупать ей бриллианты? Или вы поедете путешествовать? Держу пари, что поедете. Это в твоем стиле. Десять дней на «Рафаэлло», три раза в день жрать — утром, днем и вечером, плюс бар первого класса в семь часов. Ты, конечно, в своем шикарном смокинге. Вы только посмотрите, какая интересная пара! Тоже мне голубки! А впрочем, ты, конечно, предпочтешь «Франс», чтобы похвастать своим омерзительным французским произношением. Поедете в Париж, естественно,— как же не показать ей все твои любимые ресторанчики и кафе. А бедняжка и топай по всему городу на своих высоких каблучках. Мне ее жаль, ей-богу! Но пойми ты, дурацкая твоя голова, пойми, наконец: если бы и подвернулась такая блондинка, у тебя не хватило бы пороху лечь с ней в постель. Ты бы возился с нею, целовался бы украдкой в дверях и в конце концов решил бы мне не изменять. Это, я говорю, если бы такая блондинка подвернулась. Но такой

блондинки не будет. Ты так и проживешь всю жизнь в одиночестве. Да, да, ты одинокий мужчина, а одинокий мужчина — это скучный мужчина, чурбан, камень, подстилка, пустая бутылка из-под джина...

— Пора, пожалуй, расходиться,— сказала миссис Тейлор.

— Да, да,— согласились Филлипсы, и все двинулись к дверям.

— Покойной ночи.

— Покойной ночи.

Засыпая в ту ночь, Нейлз думал: Хэммер и Нейлз, молоток и гвозди, макароны и котлеты, соль и перец, уксус и масло, Ромео и Джульетта, винт и гайки, гром и молния, яичница с грудинкой, говядина с капустой, ветчина с сыром, мундштук и уздечка, носки и башмаки, удилище и поплавок, ложь и правда, коварство и любовь, диез и бемоль, сапоги и шпоры, ласты и маска, рыба с картошкой, белый галстук и фрак, жених и невеста, кошка и собака, сахар и сливки, стол и стул, перо и чернила, луна и звезды, ведро и колодец, смех и слезы, мама и папа, война и мир, ад и рай, добро и зло, жизнь и смерть, смерть и налоги... На этом он заснул.

Снилось же ему, что они находятся в небольшой сельской церквушке, которую иногда посещали летом. Церковь построена в виде креста, пол покрыт потрепанным зеленым ковром. В воздухе унылый и резкий запах церковной политуры. Они пришли на похороны, перед алтарем стоит гроб, но Нейлз никак не может припомнить, за упокой чьей души им следует молиться. Он оглядывается, смотрит — кого же не хватает среди прихожан? Чарли Эстабрука? Да нет, вон он, слева, с женой. Бейли Барнса? Но Бейли стоит со всем своим семейством слева. Алекса Ниленда? Эдди Клэппа? Джима Рэндолфа? Сэма Фэррара? Дейва Пура? Рика Роудса? Джимми Стесса? Или Роджера Кромвела? Когда Нейлз убедился, что все на местах, он понял, что попал на собственные похороны.

V

С тех пор как Тони слег, прошло уже больше двух недель. Наступили тихие, погожие дни. Однажды Нейлз проснулся в шесть утра в великолепном настроении. Солнце еще не встало, но по всему небу было разлито предрассветное сияние. Нейлз побрился, принял ванну и снова юркнул в постель, к Нэлли. Обнимая ее, он вдруг осознал, что она совсем молодая, гораздо моложе, чем он думал. Лаская друг друга, друг другом обласканные, они словно освободились от нагромождения прожитых лет, от своей заземленности, как будто некто суровый и строгий покинул их на какой-то час и теперь, пользуясь его отсутствием, они могут предаться безмятежной игре и веселью. Нейлз выглянул в окно и увидел рай. Он знал, что это не так, знал, что под травой проходят канализационные трубы и что трубы эти опять засорились, знал, что порхающие стайкой среди еловых ветвей кардиналы поражены пухоедом, знал, что яркость их оперения и звонкость их песен никакого отношения не имеют ни к благоденствию на земле, ни к любви, ни к его текущему счету в банке. Но он не мог совладать со своим восторгом и широко раскинул руки, словно ему хотелось обнять всю природу — и газон, и деревья, и птиц.

— Как хорошо, ах, как хорошо! — воскликнул он.— Должно быть, пока я спал, на свете случилось что-то очень хорошее. Я себя чувствую так, словно я получил откуда-то подарок, которому нет цены. Мне кажется, что теперь у нас все снова наладится и мы заживем так же хорошо, как и прежде. Не сегодня завтра встанет Тони и снова пойдет в школу. Я уверен, я знаю, что отныне все будет хорошо!

Нейлз с аппетитом позавтракал и поднялся к Тони. Резкий специфический запах, стоявший в комнате у больного, неприятно поразил

Нейлза. У них еще никто не болел затяжной болезнью. Тони спал в трусах, и плечи его были обнажены. Кожа его отливала нездоровой желтизной. Волосы спутались — он уже месяц не стригся. Его руки с каким-то судорожным отчаянием, как показалось Нейлзу, сжимали подушку.

— Тони, проснись! — сказал Нейлз.— Проснись. Посмотри, какое прекрасное утро! Встань и взгляни в окно.

Он поднял шторы, и комнату больного залил яркий свет.

— Ты только посмотри, Тони, посмотри, как весело кругом! В такой день невозможно валяться в постели. Пойми, мой мальчик, у тебя все впереди. Ты пойдешь в колледж, устроишься на интересную работу, женишься, будешь отцом. У тебя все впереди! Взгляни же в окно!

Он взял сына за руку, вытащил его из постели, подтянул к окну и, обняв его за плечи, стал рядом с ним.

— Видишь, как светло кругом. Неужели тебе не лучше, Тони?

Тони упал на колени.

— Завтра, папа,— простонал он.— Может быть, завтра.

Нейлз чувствовал себя, как ребенок, который, вскарабкавшись на пригорок, смотрит изумленно вниз и во всем — и в деревьях, и в крышах домов, и в уличках, и в мостах, перекинутых через речку,— ему видится какой-то особый порядок, какой-то скрытый смысл. Ну конечно же, не может быть, чтобы в любви Нейлза к Нэлли и в этом сверкающем утре нет сокровенной цели, глубокого замысла! Да, но что же в таком случае означает болезнь, поразившая его бедного мальчика, какой из нее следует извлечь урок? Ведь горе, беды, невзгоды — все это для других, а не для него, Нейлза. Произошла какая-то огромная, непоправимая ошибка. Тони меж тем, скрючившись на полу, сотрясался от рыданий.

— Верни мне горы,— проговорил он наконец, громко всхлипывая.

— Что такое, сынок, что ты сказал?

— Верни мне горы.

— Какие горы, сынок? — спросил Нейлз.— Ах, ты, верно, вспомнил те горы, что мы с тобой излазили, да? Помнишь, как мы поднимались из Франконии к Кроуфорду? Здорово было, правда? Ты об этом вспомнил?

— Я не знаю,— сказал Тони и снова вполз к себе в постель.

■

На все расспросы о здоровье сына Нейлз отвечал, что у того мононуклеоз. Он стоял на платформе между Гарри Шинглхаусом и Хэммером. Нейлз с Хэммером читали «Нью-Йорк таймс», Шинглхаус — «Уолл-стрит джорнел». После того памятного обеда Нейлз и Хэммер здоровались при встрече, но в разговоры особенно не пускались. По утрам им доводилось ехать одним и тем же поездом, вечером Нейлз только однажды возвращался вместе с Хэммером, да и то Хэммер всю дорогу спал — то ли он был пьян, то ли просто утомился, а может, и то и другое. Он сидел, скрючившись над своим черным портфелем, всей своей позой, казалось, выражая отчаяние и отрешенность. Отчего это люди, уснувшие в поездах и самолетах, вызывают такое щемящее чувство? Отчего они кажутся такими заброшенными, потерянными, отчего у них такой вид, словно их оглушили обухом по голове, как несчастную скотину на бойне? Они храпят, извиваются, выкрикивают чьи-то имена во сне — их можно принять за жертвы некоего вселенского катаклизма, меж тем как на самом деле они всего лишь едут к себе домой, где будут ужинать да подстригать газон перед своими окнами. Поезд уже подходил к Буллет-Парку, а Хэммер все не просыпался. Нейлз тронул его за плечо.

— Приехали,— сказал он.

— А? Что? Спасибо,— пробормотал Хэммер.

Этими словами и ограничилось их общение после злополучного обеда у Хэммеров.

Вот и в это утро, кивнув друг другу, они погрузились каждый в свою газету. Мимо платформы пронесся чикагский экспресс — он опаздывал на два часа. Нейлз схватился за шляпу, свернул газету трубочкой и зажмурился. Ему казалось, что он попал в сердцевину пыльного смерча. Когда экспресс пронесся мимо, Нейлз открыл глаза и увидел, как тот на адской скорости мчится вдаль, задрав вьющийся, точно у поросенка, хвостик пара. Нейлз развернул газету и начал было снова читать, как вдруг заметил, что Гарри Шинглхаус исчез. Нейлз оглянулся и посмотрел кругом — быть может, Гарри куда-нибудь отошел? Но на платформе его не было. Повернувшись вновь лицом к железнодорожному полотну, Нейлз увидел на шпалах ярко начищенный желтый башмак.

— О господи! — произнес он.— Этот... Как его?.. Его затянуло под поезд...

— Хм? — отозвался Хэммер, опуская газету.

— Шинглхаус. Его нет!

— Черт возьми, и правда,— сказал Хэммер.

— Шинглхаус! — закричал Нейлз.— Он погиб. Попал под поезд!

— Что будем делать? — спросил Хэммер.

— Я вызову полицию,— сказал Нейлз.— Надо вызвать полицию.

Нейлз побежал по платформе к телефонной будке.

— Послушайте,— сказал Нейлз,— говорит Элиот Нейлз. Только что прошел чикагский экспресс и задавил Шинглхауса.

— Ничего не понимаю,— сказал дежурный.

Нейлзу пришлось трижды повторить свое сообщение. Затем подошел 7.56, и когда он отбыл, на платформе не осталось никого, кроме Хэммера и Нейлза. Несколько минут спустя они услышали сирену и увидели огни полицейской машины. На платформу вбежали два полицейских.

— Он стоял вот на этом месте,— сказал Нейлз.— Это его башмак.

— Где же тело?

— Не знаю,— сказал Нейлз.— Мы ведь ничего не знаем.

Один из полицейских подобрал башмак и пошел с ним в машину. Хэммер вдруг заплакал.

— Ну, ну, ну,— сказал Нейлз.— Ну, успокойтесь. Все будет в порядке. Он был вашим другом?

— Нет,— проговорил Хэммер, всхлипывая.— Я совсем не знал беднягу.

— Ну, вот видите,— сказал Нейлз, обнимая Хэммера за плечи. До сих пор они были просто знакомыми, но катастрофа, происшедшая у них на глазах, сразу их сблизила. Пассажиры, ехавшие поездом 8.11, увидели, как к ним подсаживается эта странная пара, Нейлз и Хэммер. Так, не разлучаясь, потрясенные тайной жизни и смерти, они доехали до самого города. Вечерняя газета опубликовала отчет о происшедшем. Погибший оказался безработным, после него оставалась семья — жена и трое детей. Некогда он служил в рекламном бюро, а однажды даже баллотировался в муниципальный совет от республиканской партии. Нейлз хотел было навестить вдову, но так и не придумал, что ей сказать.

Следующий день выдался пасмурный, накрапывал дождь. Нейлз проспал поезд, что идет до Нью-Йорка без остановок, и ему пришлось ехать местным, который делает двадцать две остановки между Буллет-Парком и Центральным вокзалом. Грязные окна вагона и затянутое тучами небо легли словно тень ему на душу. Одинокий башмак, валявшийся на шпалах, не шел у него из головы. Он чувствовал, что с ним творится что-то неладное. Он развернул газету. За исключением спортивной страницы, события, описываемые в «Таймсе», казалось, происхо-

дили на другой планете. В далласском парке какой-то маньяк, вооруженный карабином, убил семнадцать человек, в том числе архиепископа, прогуливавшего свою собаку. Кругом продолжали свирепствовать войны. Профсоюзы музыкантов, летчиков, пожарных, цирковых актеров и матросов грозили объявить забастовку. Секретарь Белого дома опроверг слухи о кулачной драке, якобы имевшей место между президентом, министром иностранных дел и министром обороны. В Охайо видели летающие тарелки. Парикмахер в Линдене, штат Нью-Джерси, застрелил жену, четырех детей, пуделя и самого себя. Метеорологи сулили засуху, которая неминуемо скажется на урожае пшеницы. Нейлза охватило уныние; чтобы подбодрить себя, он прибегнул к наивному средству и принялся перечислять свои удачи. Подлежит ли он суду за ограбление со взломом? Нет. Напал ли на него убийца в парке? Нет. Очутился ли он во время пожара в доме, где все выходы были перекрыты? Заблудился ли среди снега в горах? Укусила ли его бешеная собака? Нет, нет и нет! Отчего же он, в таком случае, не радуется жизни?

Поезд делал остановку в Тремонт-Пойнтсе, Гринэйкрзе, Ласкаллсе, Медовейле и Клир-Хейвене. Дорога почему-то казалась Нейлзу невыносимой. Но ведь он тысячу раз ездил по ней. Отчего же это соединительное звено между домом и службой вызывало в нем теперь такое мучительное отвращение? У него вдруг появилась одышка, ладони сделались влажными, заныло под ложечкой, а темные стрелы дождя поражали его, казалось, прямо в сердце. Когда поезд поравнялся с Лонгбруком, Нейлз схватил плащ и, продравшись сквозь толпу входящих, соскочил на платформу. Поезд поехал дальше, а Нейлз очутился один на пустой пригородной платформе в половине десятого утра. Он укрылся от дождя в зале ожидания. Каждый день Нейлзу приходилось переходить из одной атмосферы в другую, переключаться с одного ритма на другой. Такая жизнь могла длиться лишь при наличии мостов между компонентами, ее составляющими. И вот один из главных его мостов — тот, что связывал белый домик, в котором он жил, с конторой,— вдруг обрушился. Конечно, Нейлзу недоставало мужества. Да, но как его обрести, откуда взять? Усилием воли его не вызовешь, это ясно. В лотерею не выиграешь, не вытребуешь по почте наложенным платежом. И оно сойдет на тебя как небесная благодать? На платформе начал собираться народ — через пятнадцать минут прибывал следующий, тоже местный, поезд. Навязав себе некий суррогат бодрости, он сел в вагон. Ему пришлось сойти через две остановки. Так, пересаживаясь почти на каждой станции, он, наконец, совершил свое мучительное паломничество в город.

Вечером после ужина Нейлз налил себе виски, почти не разбавляя, и со стаканом в руке поднялся к Тони. Он сел у изголовья сына, как когда-то, когда Тони был маленьким и он читал ему «Остров сокровищ».

— Как ты себя чувствуешь, сынок?

— Да все так же.

— Ужинал?

— Да.

— В воскресной газете развели какую-то тягомотину, будто ваше поколение считает, что цивилизация зашла в тупик. Ты тоже думаешь, что цивилизация зашла в тупик?

— Нет, я этого не думаю.

— И ты не думаешь, что твоя болезнь связана с этим?

— Да нет же, я люблю жизнь, общество. У меня просто тоска, вот и все.

— Да, конечно, причин для тоски, как поглядишь, достаточно, но меня злит, что все только и делают, что нападают на обитателей пригорода. Никак не пойму, чем мы это заслужили. Взять театр —там вечно

издеваются над пригородными жителями, а что, собственно, порочного в том, что человек играет в гольф или разводит цветы? Жизнь здесь дешевле, к тому же я бы, например, совсем пропал без воздуха и без движения. Почему-то считается, что между респектабельностью и нравственной чистотой должна существовать какая-то связь. Но ведь это чушь. Взять, к примеру, меня. Разве, надевая свежую рубашку, я этим самым провозглашаю свою душевную чистоту? Одно с другим ничуть не связано. Безобразия творятся повсюду, и если человек, который разводит цветы, попадает в скандальную историю, неужели из этого следует, что разводить цветы порочно и безнравственно? Возьми хотя бы этого самого Чарли Стрингера — в прошлом году его судили за то, что он рассылал порнографические открытки по почте. Он называет себя издателем и, судя по всему, занимается изданием грязных картинок. У него на Хансен-серкле особнячок в стиле «Тюдор», где он живет со своей хорошенькой женой, тремя детьми и двумя пуделями. На участке цветник, газон, деревья. Все, конечно, кричат: «Смотрите, смотрите, каким он прикрывается пышным фасадом, чтобы торговать своей похабщиной!» Но при чем тут все это, я спрашиваю. Или человеку, который торгует всякой нечистью, непременно и жить в помойной яме? Он подонок, не спорю, но почему бы подонку не поливать газон и не играть со своими ребятишками в мяч?

Мы ужасно любим говорить о свободе и независимости. Если бы ты захотел определить нашу национальную задачу, ты вряд ли обошелся бы без этих слов. Президент постоянно говорит о свободе и независимости, армия и флот только и делают, что защищают свободу и независимость, а по воскресеньям отец Рэнсом благодарит бога за нашу свободу и независимость. Но мы-то с тобой знаем, что черные — те, что живут в своих спичечных коробках вдоль Уэконсета,— не пользуются ни свободой, ни независимостью и не могут выбрать себе по душе ни профессию, ни жилье. Чарли Симпсон — отличный малый, но ведь и он, и Фелпс Марсдел, и с полдюжины других известных богачей Буллет-Парка наживаются благодаря сделкам с Салазаром, с Франко, с бельгийскими захватчиками в Катанге и прочими военными хунтами. Они больше всех болтают о свободе и независимости, а сами поставляют деньги, оружие и экспертов для того, чтобы подавлять свободу и независимость. Я ненавижу ложь и лицемерие — в самом деле, глядя на наше общество, которое терпит всех этих обманщиков, не мудрено затосковать. А ты думаешь, я располагаю свободой и независимостью в той мере, в какой бы хотел? Да нет. Еда, одежда, личная жизнь и сами мои мысли в значительной степени регламентируются кем-то сверху. Впрочем, подчас я даже радуюсь, когда мне говорят, как я должен поступать. Я не всегда способен решить, что правильно, а что нет.

Заглянешь в газету — и не знаешь, что думать. Там тебе показывают умирающего в болотах и джунглях солдата, а рядом — на той же странице — реклама изумрудного перстня в сорок тысяч долларов или, скажем, накидки из соболей. Конечно, наивно говорить, что солдат отдал жизнь за соболя и изумруды, но когда день за днем тебе показывают этого солдата и рядом — изумруд и соболя... Или взять гомосексуализм. Нынче всюду об этом читаешь, и я не знаю, как к этому относиться. Мне хотелось бы, чтобы этого просто не было. Когда я еще не состоял членом Клуба химиков, мне приходилось пользоваться туалетом на Центральном вокзале, и всякий раз ко мне липла эта дрянь. Однажды, когда я поднимался по лестнице, ко мне подошел один тип и взял меня под руку. На мне была сорочка от Брукса, шляпа, купленная у Локка, и туфли из магазина Пила. Я одеваюсь как можно респектабельнее, чтобы сразу было видно, что я не тот, за кого меня принимают. Я выдернул руку и ушел. Я не дал ему пощечины. Да я и не видел его лица. У них

вообще никогда лица не увидишь. И вступил-то я в Клуб химиков только для того, чтобы в городе было где оправиться, не боясь последствий. Разумеется, никакой я не химик, и внедрять зубной эликсир не такое уж вдохновляющее занятие, но как подумаешь обо всех нуждах человечества, понимаешь, что кому-то этим заниматься надо. Всякие там лезвия, мыло, яичница с грудинкой, бензин, железнодорожные билеты, вакса для обуви... Нужно же, чтобы кто-то это производил. Ведь правда, Тони, а? Тони!

Тони спал.

Нейлз прикончил виски и окинул спящего сына влюбленным взглядом. Тони родился в Риме, где Нейлз работал в лаборатории НПСО [1]. В тот вечер Нейлз перевез Нэлли через реку и доставил ее в международную больницу. Толстяк доктор выверил по часам интервалы между схватками и велел Нейлзу приехать в половине одиннадцатого. Когда Нейлз вернулся, у него взяли кровь, чтобы определить группу. Для чего — ему не сказали. Затем появился его приятель с бутылкой шотландского виски и пачкой американских сигарет — в те годы и то и другое было дефицитом. Больничные сестры не чинили никаких препятствий и даже, напротив, принесли им стаканы и лед. В полночь приятель Нейлза уехал домой. Около трех утра в приемной показался доктор. С него лил пот, и лицо его выражало тревогу.

— Она в опасности? —спросил Нейлз.

— Да,— резко ответил доктор.— Она в опасности. Жизнь — опасная штука. Почему это американцы так жаждут бессмертия?

— Доктор, скажите мне все. Пожалуйста! — попросил Нейлз.

— Я вам вот что скажу: если она выберется из этой истории, я советовал бы ей больше не рожать.

В парке через дорогу прохаживались павлины. На рассвете они принялись кричать. Нейлз усмотрел в этом какое-то знамение. В восемь утра доктор вновь к нему спустился.

— Пойдите прогуляйтесь,— сказал он.— Отключитесь. Подышите воздухом.

Нейлз спустился к собору св. Петра и, помолившись, поднялся по лестнице на крышу, где гигантские святые и апостолы стояли к нему спиной. Нейлзу Рим нравился. Но в этот час он показался ему зловещим городом — городом Волчицы. Рим убьет его Нэлли. Ее судьба причудливым образом переплелась с кровавой историей этого города. Рим убьет, уничтожит его Нэлли.

Нейлз зашагал по улицам, надеясь, что тревога и боль выйдут вместе с испариной. На окраине ему повстречался старик, торговавший черепами и фаллическими символами. Нейлз дошел до зоопарка и выпил бокал «кампари» в кафе; в клетке напротив какие-то хищные птицы клювами разрывали сырое мясо. Выйдя из кафе, Нейлз увидел гиену, а за ней клетку с волком. Когда он вернулся в больницу, сестричка поздравила его с сыном, который весил восемь фунтов, и сообщила, что жена его уже вне опасности. Нейлз чуть не взвыл от радости и, шатаясь как пьяный, принялся ходить по приемной. В тот же вечер его впустили к Нэлли, и он впервые увидел сына — это был прекрасный мальчик, требовательный, полный жизненных сил. Много позже Нейлз и Нэлли совсем было решили усыновить еще одного ребенка, чтобы Тони не рос один, но в последнюю минуту мысль, что ему придется делить власть над их сердцем с каким-то найденышем, показалась им обоим невыносимой.

Был ли Нейлз хорошим отцом? Он бы затруднился ответить на этот вопрос. Так, например, однажды они крепко поссорились. Тони было тогда девять. Он вдруг забросил спорт, раздружился с приятелями и накрепко обосновался в кресле перед экраном телевизора. В тот вечер,

[1] Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

когда они поссорились, лил дождь. Нейлз вошел в дом черным ходом, через кухню. Нэлли возилась у плиты. Нейлз подошел к ней сзади и поцеловал ее в затылок. Нэлли не отозвалась на ласку.

— Не надо, мой милый,— сказала она.— А то у меня такое чувство, будто мы разыгрываем какой-то скетч на эстраде. Ты бы лучше заглянул в школьный дневник Тони. Вон он, на столе.

Нейлз налил себе виски с содовой и принялся листать дневник. Он весь пестрел тройками и двойками. Нейлз прошел через столовую и темный коридор в гостиную, где Тони смотрел телевизор. Мерцавший в полумраке голубой экран обратил комнату в подводное царство. Шум дождя за окном усугублял это ощущение. Казалось, они находились в пещере на дне океана.

— Вам не задавали уроков на завтра? — спросил Нейлз.

— Совсем немного.

— Ты бы лучше сперва разделался с уроками, а потом уже смотрел телевизор,— сказал Нейлз.

На экране плясали комические персонажи мультфильма.

— Я только досмотрю эту программу,— сказал Тони.— А потом сяду за уроки.

— Нет, ты лучше сделай уроки сейчас,— сказал Нейлз.

— Но мамочка ведь разрешила,— сказал Тони.

— С каких это пор, молодой человек, вы стали спрашивать разрешения смотреть телевизор? — спросил Нейлз. Он прекрасно понимал, что его саркастический тон лишь оттолкнет сына, но упрямство мешало ему отступиться, к тому же он устал после рабочего дня.— Ты никогда ни у кого не спрашиваешь разрешения,— продолжал он.— Приходишь домой в половине четвертого, пододвигаешь кресло к телевизору и торчишь перед ним до самого ужина. А после ужина опять пристраиваешься к этому проклятому ящику — и так до девяти. Но если ты не делаешь уроков, как же ты думаешь перейти в следующий класс?

— Я много узнаю из телевизора,— застенчиво сказал Тони.— О географии, о животных, о звездах...

— А сейчас о чем ты узнаешь? — спросил Нейлз.

Смешные человечки тянули веревку, каждый в свою сторону. Огромная птица подлетела и перекусила веревку клювом,— и человечки попадали вверх тормашками.

— Это — другое,— сказал Тони.— Это не образовательная программа. А бывает образовательная.

— Ах, да оставь ты мальчика, Элиот, оставь его в покое! —крикнула Нэлли из кухни своим нежным, звонким голосом.

Нейлз побрел на кухню.

— Ты не думаешь,— спросил он Нэлли,— что пять часов — с половины четвертого до девяти, с небольшим перерывом на ужин — слишком большой отрезок времени, посвященный телевизору?

— Да, конечно, это немало,— сказала Нэлли.— Но пойми: сейчас телевизор для него ужасно много значит, а потом он сам из него вырастет, вот увидишь.

— Пока что я вижу только то, что телевизор для него ужасно много значит,— сказал Нейлз.— Это заметно невооруженным глазом. Когда мы с ним ходили покупать подарки на елку, он ничем не интересовался и только думал о том, чтобы поскорее вернуться к телевизору. Ему было совершенно все равно, какой подарок мы купим тебе или его кузенам, теткам и дядюшкам. Он вел себя как одержимый. Все симптомы наркомании. Совсем как у меня, когда приближается время коктейлей. С той разницей, что мне уже тридцать четыре и я пытаюсь не превышать определенного числа коктейлей и сигарет.

— Он еще маленький и не знает меры,— возразила Нэлли.

— Он не хочет ни бегать на лыжах, ни играть в футбол, ни делать уроки, он даже гулять не выходит из боязни пропустить какую-нибудь телевизионную программу.

— Я уверена, что он вырастет из этого увлечения,— повторила Нэлли.

— Из наркомании не вырастают. Здесь нужно либо самому сделать усилие, либо чтобы кто-то это усилие сделал за тебя. Наркомания не излечивается сама собой.

Нейлз зашагал обратно, через столовую и темный коридор в подземное царство, за окном которого шуршал дождь. Некто в клоунском наряде сюсюкающим голосом убеждал своих друзей, чтобы те, в свою очередь, убедили мамочку купить им игрушечную машину с электрическим двигателем. Нейлз включил свет и увидел, что для его сына ничего сейчас не существует, кроме сюсюкающего клоуна на экране.

— Ну вот,— сказал Нейлз.— Я только что говорил с мамой, и мы решили, что пора что-то придумать с телевизором.— Клоуна сменили кукольные слон и тигр и принялись в обнимку отплясывать вальс.— Я думаю, одного часа в день довольно, а время ты можешь выбрать сам.

Угроза ограничить время, которое он проводил у телевизора, нависала над Тони и прежде, но всякий раз его выручало либо вмешательство матери, либо забывчивость отца. При мысли о томительных и пустых часах после школы без телевизора Тони расплакался.

— Слезы тебе не помогут,— сказал Нейлз.

К слону и тигру присоединились еще какие-то звери, и все танцевали вальс.

— Кончай, папа,— сказал Тони.— Это не твое дело.

— Ты мой сын,— сказал Нейлз,— и мое дело, чтобы из тебя вышел человек. Прошлым летом мы нанимали репетитора, чтобы ты перешел в другой класс, а если ты будешь приносить такие отметки, никто тебя не переведет. Или ты считаешь, что это не мое дело — перейдешь ты в следующий класс или нет? Если бы тебе дать волю, ты, пожалуй, и вообще не ходил бы в школу. Включал бы телевизор чуть свет и не выключал бы до самой ночи.

— Ах, ну кончай же, папа,— сказал Тони,— и оставь меня, пожалуйста, в покое!

Тони выключил телевизор, вышел в холл и занес ногу на ступеньку.

— А ну-ка, сынок, вернись! — закричал Нейлз.— Вернись сейчас же, а то я тебя сам верну.

— Ну что ты на него рычишь! — вмешалась Нэлли, выходя из кухни.— Я жарю куропаток, и от них так вкусно пахнет, и мне было так хорошо от того, что ты дома, а ты взял и все испортил.

— Может, мне тоже было хорошо,— сказал Нейлз.— И потом, как бы вкусно ни пахли куропатки, это не резон для того, чтобы отмахиваться от задач, которые перед нами ставит жизнь.

Нейлз подошел к лестнице и крикнул:

— Иди-ка сюда, сынок, быстро! А то не будет тебе телевизора целый месяц. Слышишь? Спускайся сейчас же, а то не будет тебе телевизора целый месяц.

Мальчик медленно спустился по ступенькам.

— Ну вот, а теперь садись, поговорим,— сказал Нейлз.— Я сказал, что ты можешь смотреть телевизор по часу в день, и от тебя требуется лишь выбрать время.

— Откуда я знаю,— сказал Тони.— Я люблю программу, которую дают в шесть и в семь...

— Ты хочешь сказать, что часа тебе мало, так, что ли?

— Не знаю,— сказал Тони.

— Налей-ка мне виски с содовой, Элиот,— попросила Нэлли.

Нейлз налил ей виски и содовой и вновь принялся за Тони.

— Ну, что ж,— сказал он.— Так как ты сам не можешь решить, придется мне решить за тебя. Во-первых, я буду следить, чтобы прежде, чем сесть за телевизор, ты сделал уроки.

— Но я возвращаюсь в полчетвертого, а когда автобус запоздает, то и того позже,— сказал Тони.— И если мне сразу делать уроки, я пропущу программу, которую дают в четыре.

— Это, конечно, большое горе,— сказал Нейлз.— Большое горе.

— Ах, оставь его,— сказала Нэлли.— Пожалуйста, оставь его в покое. На сегодня хватит.

— Мы говорим не о сегодня, а о всей неделе, включая и субботу, и воскресенье, и праздники. Поскольку никто из вас не желает принять решения, придется мне взять все на себя. Я выкину эту проклятую игрушку на помойку.

— Ой, папочка, не надо! — вскричал Тони.— Пожалуйста, не надо! Ну, пожалуйста! Я буду учиться лучше, вот увидишь! Я постараюсь!

— Я это уже который месяц от тебя слышу,— сказал Нейлз.— А толку никакого. Ты давно обещаешь взяться за ум, а сам только и делаешь, что торчишь у телевизора. Допускаю, что намерения у тебя самые лучшие, но, увы, результатов не заметно. Итак, с телевизором покончено.

— Ах, нет, Элиот, прошу тебя,— взмолилась Нэлли.— Ну, пожалуйста! Он так любит телевизор. Неужели ты не понимаешь, что он его любит?

— Я знаю, что он его любит,— сказал Нейлз.— Именно поэтому я его и выброшу на помойку. Я люблю джин, люблю сигареты, но сейчас я курю лишь четырнадцатую за день и пью четвертый коктейль. Если бы я начинал пить с половины четвертого и пил не отрываясь до девяти, это значило бы, что я болен и, следовательно, нуждаюсь в посторонней помощи.

Нейлз выдернул вилку телевизора из розетки и подхватил его на руки. Ящик оказался тяжелым, держать его было неловко. Откинувшись назад, как беременная женщина, Нейлз двинулся с ним на кухню, волоча за собой шнур.

— Папочка, папочка, не надо! — кричал Тони.— Я не буду, не буду, не буду! — И мальчик, встав на колени, протянул к отцу молитвенно сложенные руки — жестом, который он, наверное, видел в какой-нибудь телевизионной мелодраме.

— Элиот, Элиот! — взвизгнула Нэлли.— Перестань, перестань! Ты сам пожалеешь, Элиот. Ты пожалеешь!

Тони бросился к матери в объятья. Оба плакали.

— Я это делаю не оттого, что мне так хочется! — крикнул Нейлз.— Вы думаете, я сам не люблю смотреть футбол и бейсбол, когда бываю дома? В конце концов ведь я выложил денежки за этот проклятый ящик! И все-таки я его выкину — не оттого, что хочу, а оттого, что должен.

— Не смотри, не смотри, мой милый,— сказала Нэлли сыну, прижимая его к себе.

Дверь из кухни во двор была заперта, и Нейлзу пришлось опустить ящик на пол, чтобы ее отпереть. Дождь громко стучал по земле. Напрягшись всем телом, Нейлз еще раз поднял ящик, пинком растворил наружную дверь и выбросил его в темноту. Он ударился о цементную дорожку и разломился с мелодичным стеклянным стоном, какой слышишь, когда один автомобиль врезается в другой. Нэлли поднялась с Тони к себе в спальню, бросилась на постель и разрыдалась. Тони ей вторил. Нейлз закрыл дверь кухни, чтобы не слышать дождя, и налил себе еще джину.

— Пятый,— сказал он.

Все это произошло восемь лет назад.

VI

В предпоследнем классе Тони увлекся футболом, и его сделали первым запасным школьной команды. Хороший ученик из него так и не вышел, отметки его никогда не поднимались выше тройки, а уж с французским языком у него было и вовсе из рук вон плохо. Однажды после уроков, когда он собирался на тренировку, он услышал в школьный динамик, что директор вызывает его к себе. Это было досадно. Тони не боялся директора, но ему очень не хотелось опаздывать на тренировку. В приемной директора секретарша попросила его обождать.

— Но я опаздываю,— сказал Тони,— я уже опоздал на тренировку.

— Директор занят.

— Может, мне лучше зайти в другой раз? Завтра, например?

— Но ты и завтра опоздаешь на тренировку.

— А нельзя, чтобы директор вызвал меня с урока?

— Нет.

Тони оглядел приемную. Полки с учебниками, диаграммы и географические карты на стенах — все здесь говорило о том, что он находится в школе. Но Тони с отвращением смотрел на эту бутафорию: она его раздражала своей нереальностью. Единственное, на чем его глаз отдыхал, это застекленный шкаф со спортивными трофеями. Наконец, то есть через две-три минуты, его ввели к директору.

— Ты уже дважды провалил французский, Тони,— начал директор после того, как предложил Тони сесть.— Есть основания полагать, что ты провалишься и в третий раз. Твои родители надеются, что после школы ты пойдешь учиться дальше, но, как тебе, должно быть, известно, для поступления в колледж необходимо иметь зачет по иностранному языку. У тебя прекрасные способности, и ни я, ни мисс Хоу не можем понять, отчего ты все время не успеваешь.

— Я просто не могу произносить французские слова, сэр,— сказал Тони.— Не могу, и все. У моего отца та же история. Не могу произносить французские слова. Они какие-то чудные.

Директор включил микрофон и сказал в трубку:

— Мисс Хоу, вы можете сейчас принять Тони?

Голос мисс Хоу прозвучал отчетливо и громко:

— Разумеется, сэр.

— Пойди, спустись к мисс Хоу, Тони,— сказал директор.

— Можно мне зайти к ней завтра после уроков, сэр? А то я пропускаю тренировку.

— Я думаю, что у мисс Хоу найдется что сказать и о твоем футболе тоже. Она тебя ждет.

Мисс Хоу ждала Тони в ярко освещенной комнате со светлыми стенами. Но ни яркий свет, ни жизнерадостные стены не вызвали у Тони душевного подъема. На футбольной площадке скоро совсем стемнеет, а он уже пропустил и разминку и обработку мяча. Яркие флюоресцентные лампы в потолке придавали классной вид сверкающей пещеры, превращая ее в фантастическое царство света среди сгущающихся сумерек осеннего вечера. Огромный плакат с изображением замка Каркассон, висевший на стене позади мисс Хоу, напоминал о том, что эта выстланная винилитом и уставленная ярко выкрашенными пластмассовыми столами и стульями пещера была всего-навсего классной комнатой.

— Садитесь, Тони,— сказала учительница.— Вот так. Нам пора с вами объясниться.

Это была худенькая, стройная женщина с мелкими чертами лица, пожалуй, даже миловидная, если бы не желтизна, которой отливала ее кожа, да не вырисовывавшиеся в безжалостном свете классной редкие непрошеные волоски на подбородке. Она явно гордилась своей тали-

ей, и в самом деле на редкость тонкой, и всегда носила вокруг пояса широкий кушак, цепочку или ленту. Свои каштановые волосы она тоже иногда по-девичьи перехватывала ленточкой. Рот ее казался непомерно маленьким для той тяжкой работы, которую ему приходилось производить, изо дня в день выговаривая французские гласные. Духов она не употребляла, и Тони ощутил тот едва приметный несвежий запах, какой источает человеческое тело к концу дня.

Мисс Хоу была, разумеется, одинока, но мы не станем вторгаться в ее личную жизнь и перечислять клинические симптомы ее девственности, как не станем инвентаризировать мебель, сувениры и прочий хлам, которым была забита ее однокомнатная квартирка. Одинокая и беззащитная девственница, она, разумеется, была подвержена всем неврозам и страхам, присущим женщинам этого типа. На дверях ее квартиры было четыре замка, а в сумочке у нее всегда лежал флакончик нашатырного спирта, чтобы в случае нападения плеснуть обидчику в глаза. Где-то она вычитала, что навязчивые неврозы и фобии являются симптомами сексуальной неустроенности, и, будучи существом разумным, допускала, что одинокий и целомудренный образ жизни мог развить в ней чувство неполноценности и ущемленность. При всем этом она считала, что долю ответственности за ее душевное состояние несут также и вечерние газеты. В самом деле, нельзя же рост преступлений на сексуальной почве, о котором свидетельствовали газеты, объяснять подсознательным чувством вины, угнетавшим мисс Хоу? А раз так, решила мисс Хоу, в мире имеет место некий стихийный заговор половых психопатов. Ведь каждую неделю, а то и каждый день читаешь, что где-то кого-то изнасиловали, искалечили или убили, причем жертвой подобного нападения почти всегда оказывалась женщина типа мисс Хоу. Она боялась темноты, и ей часто снилось, будто какой-то хулиган насилует ее в канаве. Следовательно, заключала она, ее обоснованные страхи в какой-то степени объясняются и ее субъективным состоянием.

— Тони, когда вы родились? — спросила она.

— Двадцать седьмого мая.

— Ну, конечно же,— сказала она.— Я так и знала. Созвездие Близнецов.

— При чем тут это?

— Вы родились под третьим знаком Зодиака. Этим определяются многие черты вашего характера, а в каком-то смысле даже и судьбы. Но рожденные под созвездием Близнецов обычно бывают хорошими лингвистами. А следовательно, вы в состоянии заниматься — и даже блистать. Зачем же вы идете против собственной звезды?

Тони смотрел мимо мисс Хоу в окно, на футбольное поле. Зелень деревьев еще не померкла, и предвечерний свет мог еще соперничать со сверкающей пещерой. Но пройдет десять минут, и в окно уже не увидишь ничего, кроме собственных отражений. Тони никогда не интересовался астрологией, считая ее занятием для дураков. Быть может, она вычитала в знаках Зодиака, думал он (и был, пожалуй, прав), что ей суждено так и прожить свою жизнь — нелюбимой, незамужней, бездетной и одинокой. Мисс Хоу вздохнула. Тони поймал себя на том, что не может оторвать глаз от ее жалкой груди, которая мерно вздымалась и опускалась, издавая едва слышное сипение. В этом было что-то интимное, почти чувственное, словно они лежат друг у друга в объятиях. Он резко отодвинулся. Ножки стула заскрипели по винилитовому полу, и Тони вышел из оцепенения.

— Мы обсудили ваши дела с мистером Нортрапом, Тони, и пришли к следующему заключению: поскольку сами вы не умеете разумно распределять свое время, мы решили вам помочь. Мы будем настаивать на том, чтобы вы отказались от футбола.

Такой неслыханной несправедливости Тони не ожидал. Нет, он, конечно, не собирался плакать, однако явственно почувствовал, как у него защипало в глазах. Мисс Хоу не понимала, чего от него требует. Бедняжка имела еще меньше представления о футболе, чем он — о французских глаголах. Он обожал футбол, обожал водить мяч, падать на траву, уставать, обожал самый мяч — его форму, цвет и запах и то, как он с ходу ввинчивается в приготовленное для него гнездо между согнутым локтем и ребрами. Он обожал это время года, поездки на автобусах в соседние школы, сидение на скамейке, когда играли другие. Играть в футбол для Тони в эту пору его жизни было так же естественно, как дышать. Неужели они всерьез собираются лишить его этой жизненно необходимой функции, неужели верили, что эту зияющую рану можно заполнить французскими глаголами?

— Вы не знаете, о чем говорите, мисс Хоу.

— Увы, Тони, прекрасно знаю. Я беседовала не только с мистером Нортрапом, но и с тренером.

— С тренером?

— Ну да, с тренером. Тренер считает, что вам следовало бы уделять больше времени урокам. Это и в ваших интересах, говорит он, и в интересах школы, и быть может, даже в интересах команды.

— Тренер так сказал?

— Тренер сказал, что ваши данные несколько уступают вашему энтузиазму. Может статься, сказал он, что вы попусту тратите время.

Тони встал.

— Знаете что, мисс Хоу?

— Что, Тони? — сказала она.— Что, мой мальчик?

— А то, что я могу вас убить,— сказал он.— Я могу вас убить. Задушить.

Мисс Хоу вскочила. Стул ее ударился о стены замка Каркассон. Она пронзительно завизжала. Мистер Грэм (латынь) и мистер Кларк (математика) прибежали на визг. Мисс Хоу стояла за учительским столиком и, выбросив правую руку вперед, указывала на Тони.

— Он хотел меня убить! — кричала она.— Он грозился убить меня!

— Ну, успокойтесь, Милдред,— сказал мистер Грэм.— Успокойтесь.

Мисс Хоу не унималась.

— Вызовите полицию! — кричала она.— Сейчас же вызовите полицию!

Мистер Кларк подошел к микрофону и попросил секретаршу директора вызвать полицию. Затем поставил стул на место и усадил мисс Хоу. Она все еще дрожала и задыхалась, но вид у нее был строгий, словно она вот-вот призовет класс к порядку. Тони недоуменно разглядывал свои руки. Послышался печальный, волнующий сигнал полицейской сирены. Казалось, он доносился не из осенних сумерек за окном, а с экрана телевизора, и все присутствующие — то ли актеры в телевизионной драме, то ли участники реального конфликта, снятого телевизионной камерой. Трагическое напряжение, ощущавшееся в классной, никак не соответствовало столь безобидному происшествию, как объяснение между учительницей французского языка и нерадивым учеником, в пылу запальчивости произнесшим нелепые слова угрозы. В драме, которую показывали, Тони был пропадавший долгое время без вести брат мисс Хоу; он привез страшную новость об их любимой матери, она оказалась известной шпионкой, работавшей на коммунистов. Учитель математики был унылым неудачником, чье постоянное невезение и беспробудное пьянство довели его жену (мисс Хоу) до тяжелого нервного расстройства. И, наконец, мистер Кларк, разумеется, являлся представителем Федерального бюро расследований. Полицейская сирена заставила всех застыть на месте, каждого в своей позе, и казалось, эта сцена

вот-вот сменится рекламой болеутоляющих пилюль или стирального порошка.

Вошли полицейские.

— Что тут за происшествие? — спросили они, полагая, что их вызвали по случаю очередного дебоша, учиненного школьниками. (Что это нынче за мода пошла у ребят — ломать парты и бить стекла?) Правда, уроки уже давно кончились и это было необычное время для подобных происшествий. Ну, да, наверное, кто-нибудь из школьников снова набедокурил. Мисс Хоу подняла голову. Жалкое ее личико, мокрое от слез, было сейчас положительно некрасиво.

— Он пытался меня убить,— сказала она.— Он чуть меня не убил.

— Успокойтесь, Милдред,— сказал мистер Кларк.— Ну, пожалуйста, успокойтесь.

— Или мне уже негде искать защиты? — сердито выкрикивала она.— И вы все намерены вступаться за этого убийцу? А потом меня найдут в канаве с перерезанным горлом? Откуда вы знаете, что у него нет ножа? Почему никто его даже не обыщет? Почему его не допрашивают?

— У тебя есть нож, сынок? — спросил один из полицейских.

— Нет,— сказал Тони.

— Ты пытался убить эту даму?

— Нет, сэр,— сказал Тони.

— Ты пытался убить эту даму?

— Нет, сэр. Я рассердился на нее и сказал, что готов ее убить. Но я ее не трогал. Я бы ее и пальцем не тронул.

— Я требую принять меры,— сказала мисс Хоу.— Я имею право на защиту личности.

— Вы хотите предъявить ему иск, мисс? Вы обвиняете его в нападении с преступными целями, так?

— Да, обвиняю.

— Хорошо. Я отвезу его в участок, и там мы составим акт. Идем, сынок.

К этому времени в коридоре уже толпились школьные учителя, секретарши и сторожа: никто не знал, в чем дело, и все забрасывали друг друга вопросами. Когда Тони с полицейским дошли до конца коридора и уже поворачивали за угол, мисс Хоу крикнула им вслед:

— Лейтенант, лейтенант!

В голосе ее звучало такое непритворное отчаяние, что полицейские остановились.

— Можно мне с вами поехать? — спросила она.— Я хочу, чтобы вы меня подвезли домой, можно?

— Где вы живете?

— Варвик-гарденс.

— Это можно.

— Я сейчас.

Мисс Хоу надела пальто, погасила свет и заперла дверь классной на ключ. Затем быстро пробралась сквозь толпу к поджидавшим ее полицейским. Она села на заднее сиденье, а Тони между двумя полицейскими — впереди.

— Это очень любезно с вашей стороны,— лепетала мисс Хоу.— Я вам очень признательна, потому что я ужасно боюсь темноты. Начиная с обеденного перерыва, когда я иду в кафетерий, я уже думаю: через четыре часа стемнеет. Ах, если бы не темнело, никогда-никогда! Вы, наверное, помните эту историю с дамой, которую месяц тому назад оскорбили и задушили на Мейпл-стрит. Убийцу так и не нашли... Она была моего возраста, и ее тоже звали Милдред. У нас с ней одинаковый гороскоп.

Один из полицейских вышел из машины вместе с мисс Хоу и проводил ее до дверей дома. Затем полицейская машина поехала в центр, в участок. Там Тони объяснил, что дома сейчас только мать и что отец обычно приезжает поездом 6.32.

— Ну, что ж, судья появится у нас не раньше восьми,— сказал полицейский,— а без судьи мы все равно не можем составить акт. Ну, да ты малый не очень-то отчаянный с виду, и я сдам тебя отцу на поруки, как только он вернется домой. Дамочка, видно, несколько нервная...

Тони, разумеется, никогда не бывал в полицейском участке. Это было новое здание, совсем еще незапущенное, но тем не менее довольно унылое. Трубки флюоресцентных ламп струили бездушный, зернистый и всепроникающий свет, а из динамика доносился чей-то на редкость жесткий и неестественный голос. «Пять футов, восемь дюймов,— скандировал голос.— Глаза голубые. Зубы неровные. На правой скуле шрам. На шее, немного ниже затылка, родимое пятно. Вес сто шестьдесят фунтов. Подозревается в убийстве...» Записав фамилию и адрес Тони, дежурный предложил ему сесть. Кроме Тони, в участке находился еще один человек в штатском. У него были грязные руки, одежда замызганная, поношенная, на шее болтался некогда белый шелковый шарф. Этим шарфом, пусть и не первой свежести, обладатель его как бы настаивал на чувстве собственного достоинства.

— Долго еще мне ждать? — спросил он лейтенанта, который сидел за столом.

— Пока не придет судья.

— А что я такого сделал?

— Бродяжничество.

— Я голосовал на Двадцать седьмой, водитель меня подсадил, потом я попросил его остановить машину, мне нужно было оправиться, а он, как только я слез, поехал дальше. Ну не бессовестный ли он человек после этого?

Лейтенант закашлялся.

— Э, милый, этак вы недолго протянете,— сказал бродяга.— С таким кашлем на этом свете не задерживаются. Ха-ха! Эти самые слова мне сказал один доктор двадцать восемь лет назад. А где этот доктор сейчас? Не знаете? Шесть футов под землей, вот где. Из него ромашки растут. Умер на другой год. Хотите знать секрет вечной молодости? Читайте детские книги. Да, да, читайте книги, которые пишут для младшего возраста, и будете всегда молодым. Когда читаешь романы, философию там и всякое такое, начинаешь чувствовать себя стариком. На рыбалку ходите?

— Случается,— бросил лейтенант, стараясь вложить в это слово как можно больше пренебрежения.

Бродяга оскорблял его обоняние, зрение, а главное — чувство приличия, и не столько своей эксцентричностью, сколько тем, что лейтенанту миллион раз доводилось выслушивать подобные разглагольствования. Все они были на одно лицо, эти бродяги, они были еще однообразнее даже, чем те стереотипные в своем мышлении и благопристойности бизнесмены, что возвращаются поездом 6.32 к своим газонам и телевизорам. У всех этих бродяг свои теории, все они побывали в каких-нибудь диковинных местах, все придерживаются какой-нибудь своей, особенной, диеты, у каждого за спиной колоритная жизнь и рассчитанная на эффект манера вступать в разговор. Все они, наконец, имеют обыкновение нацеплять на себя какую-нибудь жалкую франтоватую тряпку, вроде этого шелкового шарфа.

— Надеюсь, вы не едите рыбы,— продолжал бродяга.— Наша река — настоящий сортир. Все дерьмо из Нью-Йорка всплывает здесь два-

жды в день, во время прилива и отлива. Вы ведь не станете есть рыбу, найденную в сортире, ведь не станете?

Затем бродяга повернулся к Тони и спросил:

— А ты как сюда попал, сынок?

— Не отвечайте,— сказал лейтенант.— Он не имеет права вас допрашивать.

— Уж и поговорить нельзя,— проворчал бродяга.— Откуда вы знаете, что у нас с ним нет общих интересов? А поговорили бы, оно бы и всплыло. Я, например, изучал нравы и историю племени чероки, и многие очень даже интересуются. Я как-то прожил с ними целых три месяца в оклахомской резервации. Одевался, как они, питался их пищей, соблюдал все их обряды. Они ведь едят собачину, знаете? Да, собачина самое для них лакомое блюдо. Обычно вареная, но бывает, конечно, что зажарят псинку. Они...

— Заткнись,— сказал лейтенант.

Без четверти семь позвонили Нейлзу из полиции, и он сказал, что тотчас приедет. Увидев сына в полицейском участке, он почувствовал острое желание его обнять, однако воздержался.

— Можете забирать его домой,— сказал лейтенант.— Думаю, что все обойдется без последствий. Он вам сам расскажет, что случилось. Жалоба, по-видимому, исходит от истерической особы...

По дороге Тони рассказал отцу, что случилось. Выслушав всю эту нелепую историю, Нейлз растерялся. Он не знал, что полагается в таких случаях делать отцу — журить ли сына, давать ли ему какие-то советы или, может быть, приводить какой-нибудь подходящий случай из собственной жизни? Он всей душой понимал, как горько быть исключенным из футбольной команды, и ему казалось, что он вместе с сыном готов был убить мисс Хоу. Листья всех оттенков, но большей частью желтые, танцевали в лучах фар.

— Сам не знаю отчего,— сказал Нейлз,— но мне всегда становится весело, когда я смотрю на листья. Я понимаю, что это мертвые листья, ни к чему уже не пригодные, но до чего же они хороши, когда танцуют на свету!

VII

А потом вот что произошло, в ту же осень субботним вечером.

За домом, в низине, возле рощи сухостойных вязов, было небольшое болотце, в котором каждую весну гнездились красноперые дрозды. Закон природы предписывал им улетать осенью на юг, но многочисленные кормушки, расставленные там и сям по всему Буллет-Парку, извратили их инстинкты, и, окончательно запутавшись, они здесь оставались и на осень, и на зиму. Некогда их песенка — две восходящие нотки, оканчивающиеся резкой трелью, как у цикад,— возвещала перелом лета и наступление первых долгих ночей, нынче же эту песенку можно услышать и осенью и даже зимой, когда земля покрыта снегом. Эта летняя музыка — в один из последних ясных дней года — звучала как оперная репризa, когда примадонна, ожидающая казни, вдруг слышит в своей мрачной келье (Orrido Carcere) радостную любовную тему, ту самую, что впервые прозвучала в начале второго акта. Западный ветер доносил с футбольного поля басовые звуки барабана в оркестре, игравшем перед началом матча между местными командами.

Тони, после того как его вывели из команды, разумеется, не стал тратить освободившееся время на изучение неправильных глаголов. Вместо этого он читал стихи, быть может, он невольно чувствовал, что отны-

не разделяет с поэтами их таинственный и тягостный удел — играть роль наблюдателя в жизненной драме. Это новое увлечение сына — Тони никогда прежде не читал стихов — вызывало у Нейлза смутное беспокойство. И хоть у него достало такта не пенять Тони за это, но как он ни уговаривал себя, что поэзия является одним из высочайших проявлений человеческого духа, он не мог избавиться от убеждения, что эта область предназначена для некрасивых женщин и изнеженных, болезненно-чувствительных мужчин.

Услышав барабан, Тони поднялся к себе и лег на кровать. Нейлз встревожился.

— Эй, Тони, послушай, давай что-нибудь делать! — крикнул он снизу.— Пройдемся или прокатимся куда-нибудь, а?

— Нет, спасибо, папа,— сказал он.— Я, если ты не возражаешь, съезжу в Нью-Йорк. Схожу в кино или посмотрю баскетбол.

— Отлично,— сказал Нейлз.— Я подброшу тебя на станцию.

Ночью Нейлз внезапно проснулся. Было три часа. Нейлз вылез из постели и направился по коридору к комнате Тони. Он чувствовал себя стариком — словно вместо снов о снежных вершинах и красивых женщинах, приличествующих мужчине в расцвете сил, ему подсунули сновидения старца, в которых тот всю ночь тщетно ищет свою вставную челюсть. Он чувствовал себя хилым, сморщенным старичком — бледной тенью Элиота Нейлза. Постель Тони была пуста. «Боже мой,— произнес Нейлз вслух.— Боже мой!» Его единственный обожаемый сын попал в лапы воров, развратников, проституток, убийц и наркоманов! Во всем этом Нейлза не так страшили сами страдания, что, быть может, выпали его сыну, как мысль о его, Нейлза, собственной беспомощности перед лицом этих страданий, перед ужасом, который его охватит при виде того, как рушится милый его сердцу мир, его королевство. Без сына Нейлз жить не мог, и страх его был страхом перед собственной смертью.

Он прошел обратно по коридору, прикрыл по дороге дверь спальни, чтобы не разбудить жену, спустился вниз и позвонил в Нью-Йорк, в Бюро несчастных случаев. Никто не отвечал. Тогда он позвонил в Центральное управление полиции Нью-Йорка. Там не оказалось никаких сведений о человеке с приметами Тони. Он оставил номер своего телефона и просил позвонить, если они что-нибудь узнают. Затем опрокинул полстакана виски и стал ходить взад-вперед по гостиной, причитая: «Боже мой, боже мой, боже мой». Наконец поднялся к себе, принял нембутал, лег и через несколько минут забылся тяжелым сном.

В половине восьмого Нейлз проснулся и снова поплелся в комнату Тони. Комната была пуста. Тогда он разбудил Нэлли и сказал ей, что их мальчик пропал. Снова позвонил в Бюро несчастных случаев, и снова никто не отозвался на его звонок. В полиции по-прежнему не было никаких сведений. Следующий поезд из Нью-Йорка прибывал в 8.10. За неимением ничего лучшего Нейлзу оставалось опереться на некую, им самим искусственно вызванную к жизни надежду: разумеется, Тони приедет этим поездом! Сказав себе, что, если он достаточно горячо в это уверует, Тони непременно окажется в этом поезде, Нейлз поехал на станцию. Как только поезд поравнялся с платформой, из толпы, состоящей из тех таинственных людей, что имеют обыкновение приезжать воскресным утренним поездом в пригород с непременными бумажными мешочками в руках, выступил Тони. Нейлз стиснул его в своих объятиях так крепко, что у того чуть не хрустнули кости, и спросил:

— Господи, ну почему ты не позвонил нам, почему ты не дал знать?

— Было уже очень поздно, папа. Я не хотел вас будить.

— Что же случилось?

— Да ничего. Я немного хандрил из-за футбола и решил купить себе книжечку стихов. В книжной лавке я повстречал одну симпатич-

ную женщину, миссис Хаббард, мы с ней разговорились, я ее пригласил в ресторан, а она вместо этого предложила закусить у нее, она сказала, что сама приготовит мне ужин, ну я и пошел к ней.

— И ночевал у нее?

— Да.

Нейлз понимал, что сын его уже не ребенок, и в том, что он ведет себя как мужчина, нет ничего предосудительного. Да, но что можно сказать о женщине, которая, подцепив мальчика в книжной лавке, тут же приглашает его к себе в постель?

— Она, верно, потаскушка?

— Что ты, папа, она очень хорошая. Вдова. Кончила колледж Смита. Ее муж погиб на войне.

Итак, с негодованием подумал Нейлз, оттого лишь, что какая-то женщина принесла своего мужа в жертву отечеству, он, Нейлз, обязан принести этой женщине в жертву своего единственного сына! В глубине души ему смутно представлялось, что порядочная женщина, потеряв на фронте мужа, обязана как можно скорее найти себе другого и не мозолить людям глаза своим одиночеством, назойливо напоминая им о жестокой несправедливости войны.

— Вот что,— сказал он.— Маме этого говорить нельзя. Это бы ее убило. Придется придумать какую-нибудь историю. Ты пошел смотреть баскетбол, игра затянулась, и ты ночевал у Кратчменов.

— Но я пригласил ее к нам на ленч.

— Кого?

— Миссис Хаббард.

— О господи,— произнес Нейлз.— Этого еще не хватало!

— Понимаешь, она очень одинока, и у нее, кажется, никого нет, а ты всегда мне говорил, чтобы я приглашал своих друзей домой.

— Ну ладно,— сказал Нейлз.— Тогда скажем так. Ты пошел в книжную лавку, встретил там женщину, у которой муж погиб на войне, тебе показалось, что она чувствует себя одинокой, и ты пригласил ее на ленч. Затем ты пошел куда-нибудь обедать, после этого смотрел баскетбол, задержался и пошел к Кратчменам ночевать. Идет?

— Попробую.

— Смотри же!

Нэлли нежно обняла сына. Он сказал, что пригласил некую вдову на ленч, а Нейлз добавил, что Тони ночевал у Кратчменов. Притворяться его сын еще мог, но на прямую ложь был не способен. Это Нейлз знал.

— Как поживают Кратчмены? — спросила Нэлли.— Я их так давно не видела. Хорошая у них комната для гостей? Они все время зовут нас к себе с ночевкой, но я предпочитаю спать дома. Надо бы их как-нибудь отблагодарить. Может, послать цветы? Я бы написала записочку.

— Ну, что тебе с этим возиться,— сказал Нейлз.— Я возьму это на себя.

После завтрака Нейлз предложил Тони попилить с ним дрова, но мальчик сказал, что у него не сделаны уроки. От слова «уроки» веяло чем-то трогательным, домашним, оно говорило о невинности, юности, чистоте, обо всем том, что Тони утерял в нецеломудренной постели солдатской вдовы. Нейлзу сделалось грустно. Он пошел пилить, затем принял ванну, переоделся и налил себе виски с содовой. Нэлли хлопотала на кухне, откуда доносился запах жарившейся бараньей ноги, такой незатейливый, такой домашний. Нейлз пытливо взглянул на жену и не нашел в ее лице ни малейшего признака подозрения или предчувствия. Все в ней дышало таким простодушием и неведением, что Нейлз от умиления поцеловал ее в щечку. Затем устроился подле окна гостиной и стал ждать.

Тони подрулил к крыльцу, открыл дверцу, и из машины со смехом выпорхнула миссис Хаббард — в сером пальто с бархатным воротником и без шляпы. Она мелко семенила, орудуя зонтиком, как тростью, и с каждым шагом описывала им широкую дугу; свободную руку она фамильярно продела под локоть Тони; ноги ее, казалось, еле поспевали за Тони и зонтиком. Она была небольшого роста и то и дело кокетливо заглядывала Тони в лицо; эта ее манера сразу вывела Нейлза из себя. Волосы ее отливали неопределенно-рыжеватым химическим оттенком. Нейлз дал бы ей лет тридцать. Из-за высоких каблуков бедра ее казались неестественно выпуклыми. Лицо круглое, подозрительно румяное. (Несварение желудка? Алкоголь?) Нейлз распахнул дверь и приветливо предложил войти.

— Как дивно, что вы сжалились над бедной вдовой,— сказала она.

— Мы рады вас видеть,— сказал Нейлз.

Тони помог ей снять пальто.

— Здравствуйте,— сказала Нэлли.— Заходите, пожалуйста.

Она стояла в дверях гостиной, дрова весело потрескивали в камине. Лицо ее сияло неподдельной приветливостью и радостью оттого, что она может оказать гостеприимство человеку, страдающему от одиночества.

— Какой дивный домик,— произнесла миссис Хаббард, не отрывая глаз от ковра.— Игрушка!

«Не привыкла без очков»,— подумал Нейлз.

— Позвольте предложить вам вермута,— сказал Нейлз.— По воскресеньям мы обычно пьем вермут.

— Дивно! А то у меня в горлышке совсем пересохло,— сказала миссис Хаббард.

Нейлз бросился в буфетную. Тони спросил, не может ли он быть полезен. «Еще как можешь,— подумал про себя Нейлз.— Взял бы да вышвырнул гостью за дверь».

— Надеюсь, вы не очень томились в поезде,— сказала Нэлли.

— Нисколечко, представьте! — ответила миссис Хаббард.— Мне повезло, у меня оказался чрезвычайно симпатичный спутник — молодой человек, у которого здесь есть какая-то недвижимость. Забыла его имя. Какое-то итальянское. Глаза чернющие, как уголь...

Миссис Хаббард заметила открытую книгу на столе, прищурилась и хмыкнула: «О'Хара».

— Да я только так, просматриваю,— сказала Нэлли.— Когда знаешь людей того круга, который он описывает, начинаешь понимать, какое у него извращенное видение. Наши соседи все по большей части живут счастливой семейной жизнью, без всяких осложнений. Лично я предпочитаю сочинения Камю. (Нэлли произнесла Каму-у-у-у.) Наш читательский клуб проводит большую работу! Сейчас мы изучаем сочинения Каму-у.

— Какие же именно его сочинения вы изучаете?

— Ах, я никогда не запоминаю заглавий,— сказала Нэлли.— Мы изучаем его собрание сочинений.

К чести миссис Хаббард, она не стала продолжать этот разговор. Тони пододвинул ей пепельницу. Нейлз внимательно наблюдал, как держится его возлюбленный сын с бродяжкой, которую он подцепил в книжной лавке. Тони держался совершенным джентльменом. Он ни разу к ней не прикоснулся, но когда он смотрел на нее, в его взгляде мелькало что-то властное и нежное, говорившее о близости. Весь его облик дышал довольством. Нейлз дивился тому, как у этой женщины хватило духу предстать перед родителями после того, как она соблазнила их сына. Неужели она совершенно аморальна? Быть может, она думает,

что они столь же аморальны, как она? Он смотрел на то, как уверенно держится его сын, и у него было такое чувство, будто его сместили с престола, как если бы он был королем из старинной сказки, носил корону и жил в круглой башне и вдруг узнал, что его незаконный сын узурпировал трон. Безраздельно царствуя на супружеском ложе, Нейлз привык считать себя счастливым правителем всех палат и чертогов своего дома-дворца. И вдруг его власть оспаривается! «В королевстве Эроса нет места для двух властителей»,— безгневно, с кротостью фаталиста подумал Нейлз. Ему хотелось бы тут же залучить Нэлли наверх, в спальню и со всем пылом стареющего петуха доказать самому себе, что он не утратил своего могущества и что юный принц занят добычей золотых яблок или выполнением какого-нибудь другого поручения из тех, что дают подрастающему дофину, еще не достигшему верховной власти.

— При каких обстоятельствах погиб ваш муж, миссис Хаббард? — спросила Нэлли.

— Право, не знаю,— ответила миссис Хаббард.— Они ведь не очень-то вдаются в подробности. Объявят, что погиб на посту, определят пенсию, и дело с концом. Ах, какая дивная собачка! — воскликнула она, когда в комнату вошла Тэсси.— Обожаю сеттеров. Папочка разводил их для выставки.

— Где же он их разводил? — спросил Нейлз.

— А на острове,— сказала миссис Хаббард.— На Лонг-Айленд. У нас там был недурственный домишко, пока папочка не растерял свои гроши, а растерял он их, надо вам сказать, все до единого.

— А где он показывал своих собак?

— Большей частью на острове. Одну собачку он выставлял в Нью-Йорке — шотландскую овчарку. А в общем-то он не слишком жаловал нью-йоркскую выставку.

— Пойдемте к столу,— сказала Нэлли.

— Скажите, пожалуйста, где у вас кабинет задумчивости?

— Простите?..— переспросила Нэлли.

— Сортирчик,— поправилась миссис Хаббард.

— Ах, да, да, простите,— спохватилась Нэлли.

Поначалу все шло гладко. Нейлз резал мясо, разговор за столом шел самый обычный. Но вот, где-то посреди трапезы, миссис Хаббард вздумалось похвалить кулинарное искусство Нэлли.

— Так приятно, знаете,— сказала она.— Есть баранью ногу в воскресенье. У меня крошечная квартирка, да и средства соответственные. Так что я никогда не позволяю себе такого пиршества. Бедному Тони вчера пришлось обойтись одной котлеткой.

— Где же это было? — спросила Нэлли.

— Эмма угостила меня ужином,— сказал Тони.

— Так ты не ночевал у Кратчменов?

— Нет, мама.

Нэлли прозрела. Вся сцена отчетливо возникла перед ее глазами. Что теперь будет? Может, Нэлли набросится на гостью, попрекая ее тем, что та соблазнила ее невинного сына? Сука. Потаскушка. Шлюха. Дегенератка. Один Тони в эту минуту осмелился взглянуть на Нэлли, и ему казалось, что она вот-вот разразится этими бранными словами и выскочит из-за стола. А потом? Тони, наверное, побежит за ней по лестнице, будет кричать: «Мама, мама, мама!» А Нейлз вызовет такси и попросит шофера увезти эту грязную женщину. Но Нэлли не выскочила из-за стола. Не доев свою порцию, она взяла сигарету и закурила.

— Давайте играть в «Сундук моей бабушки»,— сказала она.— Когда Тони был маленький и у нас что-нибудь не ладилось, мы всегда принимались за эту игру.

— Давайте! — сказала миссис Хаббард.

— Я начала укладывать сундук моей бабушки и положила в него рояль,— сказала Нэлли.

— Я начал укладывать сундук моей бабушки и положил в него рояль и пепельницу,— сказал Нейлз.

— Я начала укладывать сундук моей бабушки,— подхватила миссис Хаббард,— и положила в него рояль, пепельницу и томик Дилана Томаса.

— Я начал укладывать сундук моей бабушки,— сказал Тони,— и положил в него рояль, пепельницу, томик Дилана Томаса и футбольный мяч.

— Я начала укладывать сундук моей бабушки и положила в него рояль, пепельницу, томик Дилана Томаса, футбольный мяч и носовой платок,— сказала Нэлли.

— Я начал укладывать сундук моей бабушки,— сказал Нейлз,— и положил в него рояль, пепельницу, томик Дилана Томаса, футбольный мяч, носовой платок и ракетку для бейсбола...

Так, с грехом пополам, они окончили ленч, после чего миссис Хаббард попросила подбросить ее на станцию. Поблагодарив Нейлза и Нэлли, она надела свое пальтишко с бархатным воротничком и вышла на крыльцо. Но тут же вернулась.

— Привет! — сказала она.— Я чуть не забыла свой брамбахер.

И, схватив зонтик, исчезла.

Нэлли заплакала. Нейлз обнял ее, приговаривая: «Милая, милая, милая, милая». Она поднялась к себе, а когда Тони вернулся, Нейлз сказал, что мама пошла отдохнуть.

— И ради всех богов,— прибавил Нейлз,— пусть это будет в первый и последний раз!

— Хорошо, папа,— сказал Тони.

VIII

За два дня до того, как Тони слег с мононуклеозом (как Нейлз решил именовать его болезнь), его родители обедали у Ридлеев.

Священному институту брака чета Ридлей придала отчетливо коммерческую окраску, словно супружество, зачатие, выращивание и воспитание детей являлись своего рода функцией производственно-торговой корпорации, конкурирующей с другими фирмами. Это были не просто Джордж и Элен Ридлей, а некий концерн «Ридлей», который, казалось, вот-вот предложит вам приобрести акции, дающие право участвовать в их судьбе. Надежно, выгодно, удобно. Марка этой фирмы красовалась на всем, что им принадлежало. На дверце машины вы читали: «Ридлей», табличка у въезда на их участок гласила: «Ридлей». На всех спичечных коробках в доме, на салфетках и на передвижных буфетных столиках — всюду значилось: Ридлей, Ридлей, Ридлей. Даже своих красивых детей они представляли гостям с видом торговцев, демонстрирующих новые модели автомобиля. Неизбежные спутники семейной жизни — ревность, дрязги, увлечения, охлаждения и примирения, казалось, не препятствовали бесперебойной работе предприятия, кое-кому могло прийти в голову, что у них целый штат коммивояжеров и филиалы в разных городах. Однако расходам на спиртные напитки в бюджете фирмы, по-видимому, было отведено скромное место, так что, вернувшись от Ридлеев, Нейлз принялся готовить коктейли — для себя и для Нэлли.

Во всех движениях Элиота, даже в том, как поблескивали очки, которые ему пришлось надеть, чтобы не ошибиться в пропорциях виски, соды и льда, Нэлли чудилась излишняя суетливость. На его лице, чуть повыше рта, виднелся след губной помады. Невинный поцелуй, которым он, вероятно, обменялся с кем-нибудь в буфетной, ничуть не тревожил

Нэлли, но эта красная полоска на щеке придавала ему нелепый, шутовской вид. Как странно, подумала Нэлли, свою функцию продолжателя рода он уже выполнил, а между тем его, по-видимому, все еще не покидает любовный зуд! (Нейлз, как нарочно, в эту минуту почесался.) Какая расточительность со стороны природы, продолжала рассуждать про себя Нэлли, оставлять человеку, которому перевалило за сорок, чувственность и никому не нужную способность заселить своим потомством целый город. Ночью, когда Нейлз перекатился на ее половину постели, она достаточно ясно дала ему понять, что он непрошеный гость.

Нейлз никогда не мог понять мужчин, которые робеют перед женщинами. Был у него, например, товарищ детства, Гарри Пайл. Так вот этот Пайл всю жизнь боялся женщин. Разумеется, все началось с матери — крупной, большегрудой и нетерпеливой дамы, которая выкрикивала одно за другим взаимоисключающие приказания, превратила мужа в бессловесную тварь, а своего единственного сына била суковатой палкой. Лет восьми или девяти Пайл влюбился в девочку по имени Джэннет Форбс. Это была умная, отзывчивая девочка, и тем не менее было в ней нечто устрашающее: широкие плечи, голос, немного низкий для девочки, и в довершение всего она была племянницей Уилберта Форбса, открывшего на Аляске новую гору, названную его именем. В школе, а затем и в колледже он неизменно влюблялся в девушек, отличавшихся независимым и строптивым нравом. Первая его жена, красивая и предприимчивая женщина, подарила ему трех дочерей и сбежала с официантом, вследствие чего природная робость Гарри укрепилась еще больше прежнего. Вступая в брак вторично, он избрал себе жену неслыханно скромную, мечтательную и задумчивую. Можно было бы, казалось, надеяться, что на этот раз ему удастся перехитрить свой навязчивый страх. Она оказалась неизлечимой алкоголичкой, и Гарри Пайлом вновь овладел непреодолимый ужас перед женщинами. Он боялся своей секретарши, боялся машинистки, боялся всякой встречной женщины на улице. Когда же, на четвертом десятке, он стал приметно угасать и попал в больницу, там он, как и следовало ожидать, трепетал перед сестрами, санитарками и даже перед сердобольными старушками, что берут на себя безвозмездно обязанность разносить сигареты и журналы больным. В последний раз, когда Нейлз у него был, Пайл уже еле ворочал языком, однако все же выдавил из себя: «А вдруг бог — женщина?» И в ту же ночь умер.

Элиот Нейлз был не таков. Он не боялся Нэлли. Тем не менее он не стал ее беспокоить и, обескураженный, рассерженный и возмущенный, пошел спать в гостевую.

■

Если вам случится встретить Нейлза в поезде, самолете, автобусе или на пароходе и вы полюбопытствуете, чем он занимается, он назовется химиком. На ваши более подробные расспросы он скажет, что работает в «Сафрон кемикл корпорейшн». Больше же выудить вам у него ничего не удастся. Нейлз и в самом деле учился на химическом факультете, но до диплома не дошел и, разумеется, безнадежно отстал от новейших научных достижений. Пять лет он работал в фирме «Монсанто» в Делаваре, затем три года в лаборатории химических удобрений Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме. Когда он вернулся в Соединенные Штаты, он устроился в фирме «Сафрон», которая держала небольшую экспериментальную лабораторию в Уэстфилде. Главным назначением фирмы, впрочем, было производство лака для паркета под названием «Ларкет», политуры «Тюдор» и зубного эликсира «Спэнг». Нейлз являлся, по существу, агентом фирмы по распространению «Спэнга», отчего его чувство собственного достоинства

жестоко страдало. По этому поводу он вел постоянные дебаты с самим собой. Предположим, говорил он себе, мне пришлось бы заниматься производством тюфяков, депилаториев, витражей или пластмассовых стульчаков,— что же, разве это более достойное занятие, нежели рекламирование «Спэнга»? Нет, разумеется. В телевизионных рекламах «Спэнга» боксеры отказываются от участия в матче, мотивируя свой отказ тем, что у противника изо рта исходит дурной запах. Дурной запах изо рта часто бывает причиной размолвок между влюбленными, друзьями и супругами, утверждала реклама, и ведь это так и есть, уговаривал себя Нейлз. Дурной запах — такой же недуг, как тучность или неврастения. Следовательно, он, Нейлз, выполняет простую и вполне почтенную задачу — излечивает человечество от этого недуга. Сексуальная совместимость является краеугольным камнем здоровой семьи, а дурной запах изо рта может привести к разводу, к алиментам, к тяжбе за родительские права. Дурной запах изо рта лишает человека уверенности в себе, чувства собственного достоинства, развивают робость. Человек, страдающий этим недостатком, в надежде обмануть собеседника мямлит и бубнит себе под нос. Дурной запах изо рта не знает социальных различий. Нейлз прочитал однажды в газете, что дурной запах изо рта явился причиной размолвки лорда Рассела с его невестой. Дурной запах изо рта может лишить священника контакта с паствой, в этом Нейлз имел случай убедиться сам, когда его причащал отец Рэнсом. В мифологии Нейлза нимфы жаловались друг другу на дурной запах изо рта Приапа. Дети подчас покидали дом оттого, что у их родителей дурно пахло изо рта. Советы мудрого государственного деятеля оставались без внимания оттого, что у того дурно пахло изо рта. Словом, дурной запах изо рта может иной раз даже оказаться причиной войны.

Корпорация «Сафрон» существовала на патриархальных началах. Ее президент, добродушный старичок по фамилии Маршмен, держал большую часть акций в своих руках. Год назад сын его Майкл окончил колледж и стал работать в фирме. Это был энергичный, изобретательный и чрезвычайно неприятный молодой человек. Он призвал психологов оценить эффективность «Спэнга», и те решили, что у него слишком приятный привкус. Гигиена, утверждали они, ассоциируется у публики с горьким вкусом, а следовательно, если «Спэнг» будет менее приятен на вкус, его будут охотнее покупать. Лаборатории было предложено выработать новый состав, и Нейлзу на другой день после обеда у Ридлеев пришлось поехать в Уэстфилд испытывать новую формулу. День прошел для него впустую. Он только и делал, что полоскал рот и плевался. У Нейлза не было никаких дегустаторских данных, и он принимал свои решения наугад. Около четырех часов он выехал домой. Во рту у него горело, и он остановил машину подле какого-то бара, чтобы отбить вкус проклятого снадобья.

Фасад у бара был малообещающий. Однако войдя внутрь, Нейлз тотчас очутился в одном из тех полутемных баров, где клиенты чувствуют себя как в некоего рода святилище. На бармене была куртка канареечного цвета. Четыре человека сидели за стойкой и пили виски. Один из них угощал какую-то дворняжку хрустящим картофелем. «Дальше Саутворка я никогда не выезжаю,— говорил другой.— Нет, нынче я уже не езжу дальше Саутворка». Казалось, неслышный метроном регулировал ритм их беседы. Это был эмоциональный, интимный разговор, построенный на ассоциациях, возникающих стихийно, как в поэзии. Все четверо прибыли из разных мест и должны будут разъехаться кто куда, но в предсумеречном свете их фигуры возле стойки казались не менее постоянным элементом бара, чем краны на бочонках с пивом.

— Ставлю стаканчик виски тому, кто возьмется определить породу

моего песика,— говорил тот, что потчевал собаку картофелем. И, так как никто не принял вызова, сам ответил на свой вопрос.— Так вот, собачка моя наполовину ищейка, наполовину — ирландский сеттер,— объявил он.

Нейлз спросил мартини, сразу этим показав, что не принадлежит к обычному кругу здешних завсегдатаев.

— Вот была у меня одна,— начал третий участник квартета.— Только и знала, что говорить «хэлло!». Ну скажите на милость, приходилось вам когда-нибудь иметь дело с такой девчонкой?

Не получив ответа на этот риторический вопрос, он продолжал:

— Ну все время говорит «хэлло», да и только! Я обычно приезжал по четвергам после ужина. Ее муж ходил играть в шары по четвергам. Она, бывало, выйдет ко мне в купальном халатике или еще в чем, поцелует меня крепко-крепко и заводит свое «хэлло». Я раздеваюсь, она меня целует в плечо, в ухо, куда ни попало, и все приговаривает «хэлло, хэлло, хэлло». И так все время, что мы с ней милуемся. А как дойдет до дела, она снова — «хэлло, хэлло», только все громче и громче. И наконец уже кричит: «Хэлло, хэлло!» А потом даст мне сигарету, сама спичку поднесет, нальет виски — этого она никогда не забывала — и снова всего меня обцеловывает и приговаривает: «Хэлло, хэлло». Потом я оденусь, поцелую ее на прощанье, а она опять за свое: «Хэлло». Может, она и говорила что другое, ну, конечно же, говорила, но я, хоть убей, ничего не запомнил, кроме «хэлло».

— Да, чего только они не говорят — иной раз и повторить не захочешь,— вступил четвертый.— Вот хотя бы моя жена — такая скромница во всем, а как в постель ляжет, прямо нет такого слова, какого бы она не сказала. Хуже шлюхи. Я и то стал задумываться — где она могла услышать эти слова? То есть я-то знал, что не от меня. Я даже начал ревновать, потому я очень ревнивый по натуре Она у меня была очень красивая и любила этим заниматься, а надуть меня проще простого — было бы желание! Я ведь как уйду в семь утра на работу, так до половины седьмого вечера не бываю дома. И всякий раз, когда мне отказ, я соображаю, что у нее, значит, в другом месте пожива. Я ужас как мучался ревностью. Конечно, сыщика я нанимать не стал или там следить за ней и всякое такое прочее, но, сами понимаете, хотелось знать наверное. И вот я что придумал. Эта ее штуковина, понимаете? Воспользовалась она ею или нет. Если да,— значит, рассчитывает на дело. У нас в ванной аптечка такая висит, и она ее обычно там держит, так что я всегда знал, где что. Ну вот, прихожу я однажды вечером домой, иду мыться, заглядываю в аптечку — нет. Ага, думаю, попалась! Спускаюсь вниз, на кухню, спрашиваю: ну, как ты провела день? А сам злой как черт. Да ничего, говорит, ходила по магазинам. Купить, говорит, ничего не купила, просто смотрела платья разные. Платья, говорю, смотрела? А может, еще что? Она себе хлопочет у плиты как ни в чем не бывало, а я ее и спросил: где штуковина? Зачем это она ей понадобилась — платья смотреть, что ли? Стал я на нее кричать, обзывать ее по-всякому, а она в слезы и говорит, что у нас, мол, с ней утром дело было. Ну что тут скажешь? Я ведь не помнил, этим ли утром было или вчера? Что ж, пришлось извиниться, она платочком слезы смахнула, и мы сели ужинать, но она меня к себе так и не подпустила. Я снова терзаться. Подозрения, ревность там и все такое. Через неделю она надумала проведать сестру в Детройте. А сестра у нее отчаянная — совсем совесть потеряла. Я отвез ее в аэропорт, поцеловались мы на прощание, приезжаю домой и первым делом к аптечке. Все на месте. Ну вот, встречаю я ее потом, едем домой, все хорошо, стал на ночь зубы чистить, открываю аптечку, гляжу — а их две. Ага, думаю, одну, значит, оставила дома, для отвода глаз, а сама купила себе другую в Детройте. Взял и

спросил ее, зачем она в Детройте еще одну штуковину купила. Она опять в слезы и говорит, что купила вторую сегодня вечером, потому первая, мол, уже не годится. Где, спрашиваю, купила — в нашей аптеке? Ну да, говорит. Хорошо, говорю, я доберусь до правды, и давай звонить в аптеку. Спрашиваю, покупала ли она у них эту штуку сегодня вечером? Они отвечают, что на этот товар у них учета не ведется и что продавец, который торговал вечером, ушел домой. Давайте, говорю, телефон вашего продавца. Звоню ему домой; он говорит, что не помнит, покупателей было много, где ему их всех упомнить. А она, конечно, ревмя ревет, и я, понятное дело, не то чтобы очень уж шикарно себя чувствую, но все-таки хочется мне дознаться до конца. Примерно так через недельку встаю я утром, а она еще спит, одеваюсь и вдруг — пуговица на пиджаке оборвалась. Я снимаю пиджак, открываю коробку, где у нее нитки хранятся, глядь — опять эта штуковина! Несу ее в спальню, показываю жене и спрашиваю, сколько у нее их, черт возьми, штук этих? Она только натянула одеяло на голову, молчит. Так я и пошел с оторванной пуговицей. А потом выпустили в продажу эти чертовы пилюли. Так что я уже и вовсе ничего не знал.

Нейлз выпил еще один мартини и поехал домой. Разговор в баре не столько его позабавил, сколько расстроил. А что же, интересно, тот человек, который увлекался игрой в шары по четвергам? Знал ли он, задумывался ли о том, как его жена проводит эти вечера без него? Сам Нейлз был неисправимый однолюб, и мысль о супружеских изменах не укладывалась у него в голове. Он влюбился в Нэлли с первого взгляда, и брак для него был не просто одной из сторон жизни,— он был самой жизнью. Нейлз вспомнил, как в прошлую субботу под вечер Нэлли уснула у него на руках. И как он охмелел, словно от крепчайшего напитка, при мысли об их нераздельности, о том, что они составляют одно целое — на горе, на радость. Она дышала немного тяжело, с присвистом, а он чувствовал, как мир и покой разливаются по всему его телу. Она была его младенцем, его богиней, матерью его единственного сына. «Я храпела?»— спросила она, проснувшись. «Ужасно,— ответил он,— как механическая пила».— «Мне так сладко спалось»,— сказала она. «А мне так сладко было держать тебя,— сказал он,— так хорошо...»

Вернувшись домой, он налил себе и Нэлли виски с содовой и, поднявшись в ванную вымыть лицо, открыл аптечку — с тем же гнусным и непристойным намерением, что и рассказчик в баре. Затем спустился к Нэлли и спросил, как она провела день.

— Я шаталась по магазинам.— сказала она.— Ничего не купила, просто смотрела платья. Так и не выбрала ни одного — то крой не нравится, то цвет.

— Выйди ко мне в гостиную на минутку,— сказал Нейлз.— Я хочу спросить тебя кое о чем.

Она прошла за Элиотом в гостиную, и он закрыл обе двери, чтобы Тони не мог услышать их разговор.

■

Нэлли была безусловно привлекательная женщина, а так как в кругу, к которому она принадлежала, нравственные устои носят сугубо эмпирический характер, в охотниках добиться ее благосклонности не было недостатка. Так, однажды в субботний вечер миссис Фэллоуз представила ей в клубе своего хорошего знакомого, мистера Бэлларда, который у них в то время гостил. Он пригласил ее на танец. Как только его рука прикоснулась к Нэлли, ее словно током ударило. Такой яркой и мгновенной вспышки страсти Элиот не вызвал у нее ни разу. Партнер ее — Нэлли это чувствовала — был взволнован не менее ее самой. Ноги их машинально передвигались по паркету. Если бы он пригласил Нэлли

выйти и посидеть с ним в машине, она бы не отказалась — да и зачем бы ей отказываться? В жизни ей не доводилось испытывать такого могучего влечения. Оба были необычайно бледны, ни он, ни она не проронили ни слова. Впрочем, им и не нужно было слов. Мистер Бэллард подал ей руку, и они вместе вышли из зала. Но в эту же минуту кто-то крикнул: «Пожар!» Комната наполнилась дымом, все бросились вон из буфета и затолкали влюбленных. И тотчас же откуда-то появился Нейлз с огнетушителем и ринулся в наполненный дымом зал. Оркестр продолжал играть, но танцоры толпились в дверях. Задыхаясь от дыма и кашля, буфетчики принялись выносить бутылки в коридор — по две в каждой руке. Глаза у них слезились. Через несколько минут приехала пожарная команда. По алому ковру протащили шланг, но с огнем уже справились, так что не было необходимости заливать помещение водой. Когда Нейлз, с ног до головы покрытый сажей, выбрался наконец из обугленной комнаты, Нэлли так к нему и бросилась. «Милый мой, милый,— твердила она.— Как я боялась за тебя». Они поехали домой, и Нэлли больше никогда не видела Бэлларда и никогда о нем не вспоминала.

Другой случай. Среди местных ловеласов был некий человек по имени Питер Спрэт, которого все почему-то звали Джеком. Жена его безостановочно пила, и в Буллет-Парке вечно дебатировался вопрос о причинах и следствиях, то есть являлись ли любовные похождения Джека результатом алкоголизма его жены, или, напротив, жена его запила в результате его непрекращающихся измен. Часто на вечеринках Джек отводил Нэлли в сторону и жарко ей нашептывал, как прекрасно они могли бы провести время вдвоем. Нэлли этим ничуть не оскорблялась, а иной раз даже испытывала некоторое волнение, слушая его. Как-то в субботу он взял у Нейлза садовые ножницы. А в понедельник днем, часов в двенадцать, принес их обратно. Дверь открыла Нэлли. Он вошел в переднюю, положил ножницы на стул и, одарив ее влюбленным взглядом, от которого у нее закружилась голова, произнес:

— Наконец-то мы одни.

Как бы Нэлли ему ответила, мы так никогда не узнаем, потому что у Нейлза в тот день был насморк и он сидел дома.

— Кто пришел, мой друг?— крикнул он из спальни.— Кто там, любовь моя?

И появился на верхней площадке лестницы в купальном халате, накинутом поверх пижамы.

— Ах, это ты, Джек,— сказал он.— Я думал, ты сегодня работаешь.

— Я решил передохнуть денек,— сказал Джек.

— Ну что ж, давай выпьем, раз так, поднимайся ко мне, выпьем по стаканчику.

Нэлли принесла им льда, и они выпили виски с содовой. Спрэт больше не повторял своей попытки.

А в третий раз было так. Жил по соседству еще один ловелас, некий Боб Хармон. Время от времени — и всегда безуспешно — он приглашал Нэлли позавтракать с ним в ресторане. Однажды, когда Нейлз и его зубной эликсир очень уж ей надоели, она его приглашение приняла. В конце концов ей было тридцать восемь — почему бы и не пококетничать с привлекательным мужчиной за ресторанным столиком? Они встретились, как и сговорились, в одном из баров в центре Нью-Йорка, но Боб повел ее оттуда не в ресторан, а на какую-то квартиру. Вся бутафория для сцены соблазнения была налицо, вплоть до икры и шампанского. Жуя бутерброд с икрой и запивая его вином, Нэлли внимала Хармону. Он рассказывал, как пуста и никчемна была его жизнь до того, как он встретил Нэлли. Боб не успел перейти в наступление, как вдруг — то ли икра, то ли что-то съеденное ею еще утром — отозвалось в ее желудке

внезапными вулканическими толчками. Нэлли прошла в туалет, где она провела четверть часа в страшных мучениях, а потом вышла с мертвенно-бледным лицом и дрожащим голосом объявила, что ей нужно домой. Судя по всему, он и сам был рад прекращению свидания. Таким образом, пожар, насморк да две-три белужьи икринки не первой свежести способствовали сохранению чистоты брачного ложа, хотя Нэлли держалась так, словно целомудрие ее было неким драгоценным перлом — свидетельством твердого характера, внутренней дисциплины и благоразумия.

■

По окончании чрезвычайно низкопробной сцены в гостиной Нэлли поднялась в ванную и, вымыв заплаканное лицо, подала обед, чтобы Тони ничего не заподозрил. После обеда Нейлз спросил Тони:

— Ты сделал уроки?

— Сделал,— ответил Тони.— У нас сегодня было два «окна».

— Хочешь сыграть со мной партию в гольф?

— С удовольствием.

Нейлз извлек из чулана мячи и клюшки, и они поехали на гольфовое поле, что лежит справа от Шестьдесят четвертого шоссе. Это было поле для малого гольфа, и, как полагал Нейлз, его выложили еще в тридцатые годы. Оно было усеяно глубокими лунками, мостиками, была на нем даже и «мельница». Но только все пришло в страшное запустение. Вода в лунках высохла, крылья у мельницы обломались, а из-под зеленого ковра то тут, то там проступал бетон. Большая часть препятствий и лунок, впрочем, сохранилась, и летними вечерами, невзирая на таблички, гласившие, что это частная собственность, на поле играли мальчишки да и взрослые тоже. Фонари, разумеется, отсутствовали.

В этот ясный летний вечер было еще достаточно светло. С запада дул ветерок, и по ту сторону реки собиралась гроза. Вот как Нейлз пересказывал самому себе события, развернувшиеся на гольфовом поле, а к рассказу этому, надо признаться, он возвращался, по крайней мере, раз сто.

«Мне было совестно за сцену, которую я устроил Нэлли. Я приписывал ее ряду психологических причин, а также зубному эликсиру — ведь если бы я в тот день не ездил в Уэстфилд, ничего бы этого не произошло. Тони начал игру, и, помнится, мне с ним было хорошо. Я показал ему кое-какие приемы,— удар у него отличный. Сам я уже не играл года четыре, но как раз в тот день подумал было снова заняться гольфом. Будем играть с сыном, думал я. Насчет его наружности я не обольщаюсь, я знаю, что у него слишком большой нос и плохой цвет лица, но он мой сын, и я его люблю. Ну, так вот, был ветер, а где-то по ту сторону реки гремел гром. Что была гроза, это я точно помню, потому что я еще тогда подумал, как я люблю раскаты грома. Это такой естественный звук, не то что рев реактивного самолета, к тому же во время грозы мне всегда вспоминается моя молодость. Когда я был юнцом, я никогда не пропускал танцев в нашем поселковом клубе; стоит мне услышать музыку, под которую мы танцевали — «Дождик», «Малиновку» или еще что-нибудь в этом роде,— и я вспоминаю себя, беззаботного, семнадцатилетнего, идущего в клуб, на танцы...

Но лучше всякой музыки память мне освежает гром. Когда я слышу его раскаты, я не то чтобы вновь становлюсь молодым, но могу представить себе, хотя бы на время, каково это — быть молодым. Вторую лунку мы с Тони забили на равных. А в третью надо попасть так, чтобы мяч прошел через старую автомобильную покрышку. У меня это никак не получалось. Я еще возился с нею, когда вдруг Тони сказал: «Папа, знаешь что?» Нет, сказал я, не знаю. И тогда он произнес: «Я решил бросить школу».

Его сообщение застигло меня врасплох. Я просто растерялся: такое мне и в голову не могло прийти! Спокойствие, сказал я себе. Будь рассудителен, терпелив и так далее. Ему ведь всего семнадцать. Я представил себе мудрого, рассудительного отца, а затем примерил эту роль к себе. Я закутался в терпение, словно это было большое шерстяное одеяло, но оно то и дело сползало у меня с плеч. Я спросил его (голосом, исполненным терпения): «Что так, Тони?» — и он сказал, что он все равно ничему не учится. Французский, сказал он, сущий вздор, а английский того хуже, так как он знает литературу лучше учителя. Астрономия — наука для болванов, и преподает ее маразматик. Когда он выключает свет, чтобы показать фильм, все либо спят, либо кидаются катышами, а однажды, когда он увяз в придаточных предложениях и никак не мог из них выбраться, все поднялись, как один, и вышли гуськом из классной. Тони обернулся и увидел, что учитель плачет. Тони к нему подошел и сказал, что никто не хотел его обидеть, просто они боялись опоздать на следующий урок, а учитель сказал, что никто его не понимает, что он любит своих учеников, всех до единого. Как можно уважать учителя, спросил Тони, который ревет, как девчонка? Затем мы сыграли пятую лунку — там надо провести шар через ворота. Я справился с ней, у Тони же было три лишних удара. Мы продолжили разговор. Как-никак, сказал я, аттестат-то ему нужен. Я спросил Тони, что он думает делать без аттестата, и он сказал — вести работу по улучшению жизни в трущобах. Он слышал, что имеется специальная школа для детей, у которых тяжелая обстановка дома, и ему хотелось бы работать с такими детьми. Тут я почувствовал, что не могу больше справиться с шерстяным одеялом моего терпения: только я его натяну на одно плечо, как оно начинает сползать с другого. Ну что ж, сказал я, я не против такой работы, да и мать, сказал я ему, ничего на это не возразит. Но только сперва нужно получить аттестат. Эта работа, как всякая другая, вероятно, требует навыков и подготовки. После того как он получит аттестат, мы с матерью будем рады направить его в специальный колледж, где готовят людей для работы, которую он имеет в виду. На это он мне сказал: какой смысл в аттестате, если он все равно ничему не научился? Сплошной обман, сказал он, как всякая бумажка, как любой международный договор: жульничество, и больше ничего. Тогда я сказал: обман не обман, а надо придерживаться известных правил. Так, например, сказал я, быть может, брюки и не самая удобная одежда, однако правила таковы, что приходится носить брюки. Представь себе, сказал я ему, что я вдруг сажусь в поезд с голой задницей. На это он сказал, что я могу ехать в поезде с голой задницей, пожалуйста. Он ничего не имеет против того, чтобы я ездил в поездах с голой задницей. Мы уже кончили партию, и тут как раз подошли какие-то парни — то ли взрослые, то ли мальчишки, я не разобрал,— и спросили, не уступим ли мы им поле. Мы отошли в сторону и сказали: «Пожалуйста».

Дул ветер, как я уже говорил. Гром гремел все ближе, казалось, вот-вот пойдет дождь, сделалось темно, и я не мог разглядеть как следует лица новых игроков. Скорее всего, это были старшеклассники, а может, трущобная шпана, хулиганье,— словом, не знаю кто. На них были брюки в обтяжку, стильные пестрые рубахи, волосы напомажены. Голоса у них были какие-то странные, или они кривлялись,— не знаю. Пока один из них примерялся ударить по мячу, другой шлепнул его с размаху «по натяжке»,— и он так и повалился с шутовским оханьем. Дело не в том, что мне неприятна такого рода публика, но я этих людей не понимаю, они меня пугают, потому что я не знаю, откуда они берутся, куда идут, а когда перед тобой люди, в которых тебе все непонятно, становится жутко и не по себе — как ночью. Да нет, я не боюсь темноты, но есть род незнания, от которого очень уж неуютно на душе. Я заметил, что когда

меня одолевает страх этого рода, мне достаточно вглядеться в лицо незнакомца, получить о нем какое-то представление, и я начинаю чувствовать себя лучше. Но к этому времени, как я уже сказал, совсем стемнело, и физиономии новых игроков были неразличимы. Они продолжали играть, а мы с Тони — разговаривать об его аттестате и о том, что следует придерживаться каких-то правил. Чем бы он ни собирался заняться в будущем, говорил я, ему понадобится соответствующая подготовка. Даже если бы он собирался стать поэтом, ему следовало бы сперва поучиться. И потом я сказал ему слова, которых никогда прежде не говорил. Я сказал: «Я люблю тебя, Тони».

Тогда он сказал: «Ты меня любишь или думаешь, что любишь, лишь потому, что тебе приятно делать мне разные подарки». Тогда я сказал, что он неправ и что я только оттого так щедр с ним, что собственный мой отец не был со мной щедр. Оттого что отец мой был скуп, сказал я, я стараюсь быть щедрым. «Щедрый, щедрый, щедрый!» — принялся он меня передразнивать. О да, сказал он, он знает, что я щедрый. Круглый год, каждый день он только и слышит о том, какой я щедрый. И еще он сказал: «Почем знать, может, я никогда не женюсь. Бывают же люди, которые не женятся. Может, я не совсем нормальный. Может, я хочу жить с каким-нибудь милым, хорошеньким мальчиком. Может, я хочу быть развратным и спать с сотней женщин. Мало ли способов жить, помимо священных уз брака и продолжения рода? Если рожать детей такое святое дело, почему вы с мамой завели одного меня? Почему одного?» Тогда я ему рассказал, как его мать чуть не умерла от родов, и он сказал: «Прости, я ведь этого не знал». Затем он сказал: неужели я не понимаю, что ему, может, совсем не хочется возвращаться домой под вечер к хорошенькой женщине и играть вечером в мяч с ватагой стройных сыновей? Может, он хочет быть вором, или святым, или пьяницей, или мусорщиком, работать на бензоколонке, управлять движением на перекрестке или жить в пустыне отшельником. Тогда я окончательно потерял терпение, шерстяное одеяло сползло наземь, и я сказал ему, чтобы он убирался в задницу со всеми своими причудами и что пора ему готовиться к какой-нибудь полезной деятельности. «К какой, интересно?— спросил.— Может, торговать зубным эликсиром?» Тогда я замахнулся клюшкой и, если бы он не увернулся вовремя и не убежал куда-то в темноту, вероятно, раскроил бы ему череп.

И вот я остался стоять на запущенном поле для гольфа, сознавая, что чуть не убил родного сына, и в то же время желая лишь одного — броситься за ним вдогонку и постараться достать его клюшкой. Я был взбешен. Я не мог понять, как могло случиться, что мой единственный сын, которого я люблю больше всего на свете, вызвал у меня желание его убить. Я подобрал его клюшку и направился к машине. Дома я рассказал Нэлли о нашей ссоре, но она, конечно, была на его стороне, потому что ведь я перед тем успел поссориться и с нею. Ну, я налил себе виски и сел смотреть телевизор — что мне еще оставалось делать? Так я просидел перед ящиком до полуночи, покуда не вернулся Тони. Он со мной не заговаривал, я с ним тоже. Он поднялся к себе. Немного позднее поплелся к себе и я.

С того самого дня он не вставал с постели».

IX

Тони уже двадцать два дня, как не вставал с постели. На двадцать третий миссис Нейлз получила письмо от Мэри Эштон, женщины, которая некогда помогала ей по дому. Работница она была толковая и прилежная, но оказалась воровкой. Сперва она украла два бриллиантовых кольца,— Нэлли их берегла как память о матери, но никогда не наде-

вала. Она не стала корить Мэри. Нынче не так-то легко найти прислугу, рассуждала она, а Мэри — женщина бедная и работящая, пусть эти кольца послужат ей как бы премией. Однако когда через месяц с небольшим в доме обнаружилась еще одна пропажа, на этот раз — золотые запонки, Нэлли ее уволила, не упоминая, впрочем, ни о кольцах, ни о запонках. Письмо Мэри Эштон было аккуратно отпечатано на машинке (краденой?), на хорошей (краденой?) бумаге. Вот что она писала:

«Уважаемая миссис Нэйлз! Я слышала, что Ваш сын болен, и мне его очень жаль. Он самый славный мальчик, каких мне доводилось встретить. В нашем поселке живет гуру, или знахарь,— свами Рутуола. В прошлом году он вылечил мою сестру от ревматизма. По утрам он работает у Перчема, плотника, а после обеда его обычно можно застать дома. Телефона у него нет. Его адрес — Нагорная улица, он живет над похоронным бюро Пейтона».

Это сочетание воровства и черной магии несколько смущало Нэлли. В тот вечер у них были гости, и она не могла улучить минуту, чтобы показать Нейлзу письмо. Вечер прошел отлично. Когда коктейли составляют почти единственное угощение, хозяйке, казалось бы, особенно отличиться нечем, и все же Нэлли заслуживала высшей похвалы. Она заметно гордилась своим светлым, уютным гнездышком, но в этой гордости не было и тени глупого самодовольства; озаренные изящным радушием хозяйки комнаты казались еще просторнее, еще светлее. Гости — их пришло человек шестнадцать или семнадцать — были все ей милы, и со всеми она чувствовала себя легко и непринужденно. Закуска и коктейли были превосходны, разговор ни разу не сбивался на трюизмы, никем не было произнесено ни одного скучного монолога, ни одной глупости. За весь вечер ни разу не возникло адюльтерной ситуации, если не считать короткого эпизода, когда Чарли Уэнтворт подсел к Марте Такермен на диван и обоих на миг охватило бессмертное чувство любви. Заглянув в глаза друг другу, они внезапно поняли, что для них было бы раем провести остаток жизни вместе. Она бы смеялась его остротам, он — ее, они грели бы друг другу душу, поехали бы путешествовать по Японии. Кончилось же тем, что Марта встала с дивана и присоединилась к мужу возле стойки. Словом, вечер прошел исключительно удачно. Только во время разъезда гостей произошла небольшая заминка. Этой частью обычно дирижировал Тони, а он, как известно, был прикован к постели, так что его функции пришлось взять на себя Нейлзу. Последние полчаса он провозился с машинами, взывая поочередно то к одному, то к другому владельцу, чтобы тот дал дорогу и все могли, наконец, выбраться из полукруглого въезда к дому Нейлзов.

К восьми часам, впрочем, все благополучно разъехались. Нэлли поджарила себе и Нейлзу яичницу с колбасой и тут же, на кухне, показала ему письмо от Мэри Эштон.

— Господи!— воскликнул Элиот.— Это ведь, кажется, та — воровка? Может, их целая шайка. Может, этот самый гуру ее пособник. Черная магия! Этого еще не хватало! Нет, как хочешь, к такому я еще не готов.

Мучения, сопровождавшие ежедневные поездки Нейлза в город, между тем достигли такой остроты, что ему пришлось в конце концов обратиться к доктору Маллину. Тот прописал сильное успокоительное средство. Каждое утро Нейлз принимал по пилюльке и запивал ее кофе. Нэлли он сказал, что это витамин. Пилюлька давала ему чувство парения, будто он, подобно Зевсу с какого-нибудь аллегорического полотна, плывет по небу на облаке. Оно окутывало его на платформе, пока он ждал поезд 7.16, а когда поезд подходил, Нейлз перекидывал облако через руку, входил в вагон и садился у окошка. И ни хмурое небо за

окном, ни убожество поселков, мимо которых он ехал, не были в силах вторгнуться в розовый нимб, окружавший его во все время пути. Нейлз плавно подкатывал к Центральному вокзалу, лучезарной и несколько рассеянной улыбкой приветствуя нищету, недуги, роскошь, красоту незнакомых женщин, дождь и снег,— все, чем его встречал город.

Наутро звук ружейного выстрела разбудил Нэлли.

Может, это черные покинули свое гетто, подумала она, и идут брать приступом белые домики Каштановой аллеи? Последнее время кругом поговаривали, что в трущобах Буллет-Парка неспокойно. Нейлза в постели не оказалось. Она подошла к окну. В одном нижнем белье, на просторном газоне стоял ее муж и целился из ружья в огромную каймановую черепаху. Солнце еще не взошло, но уже светало, и в чистом и прозрачном воздухе казалось, что между полуодетым мужчиной и допотопной черепахой происходит какое-то первобытное нелепое сражение. Ружье выстрелило. Черепаха покачнулась, распласталась, затем медленно поднялась на лапах, как морская черепаха, и заковыляла к Нейлзу. Нэлли никогда не доводилось видеть такое огромное пресмыкающееся на воле, но в этот предрассветный час анахронизмом казалась не черепаха, а человек. Газон явно принадлежал черепахе, небо принадлежало черепахе, весь мир принадлежал черепахе, и в этом мире Нейлз был случайным гостем. Он выстрелил второй раз и промахнулся. Потом третий — и Нэлли увидела, как голова у черепахи завалилась набок. Нейлз выпустил еще один заряд, бросил ружье на траву и поднял черепаху за ее зазубренный хвост.

— Смотри, Элиот! Может, она еще живая? — крикнула Нэлли ему из окна.

— Нет,— сказал Нейлз.— Она сдохла. Пуля перебила ей шею.

— Откуда она только взялась?

— Да, наверное, из болота. Ей, должно быть, сто лет, не меньше. Я встал, чтобы пройти в уборную, и вдруг увидел, как она ползет по газону. Сперва я решил, что это мне снится. В ней, верно, не меньше трех футов в длину. Она могла бы покалечить ребенка и убить собаку. Я ее потом закопаю.

Вернувшись в спальню, все еще чувствуя звон в правом ухе, Нейлз вытряхнул себе на ладонь последнюю пилюлю, но рука его так дрожала, что пилюля упала на пол и закатилась под туалетный столик. Выждав, пока Нэлли уйдет из комнаты, Нейлз согнул металлическую вешалку крючком и лег на живот, пытаясь достать пилюлю. Стенки туалетного столика — это был, вернее, комод — почти касались пола. Нейлз выгреб из-под него две монеты и пуговицу. Затем он снял со столика лампы и решил отодвинуть его от стены. Он оказался тяжелым, выдвижные ящики его были набиты до отказа. Когда Нейлзу, наконец, удалось его сдвинуть, он не обнаружил пилюли — она, должно быть, закатилась в щель. Он стал ковырять в щели вешалкой, но извлек оттуда одну лишь свалявшуюся пыль. При мысли, что ему придется сесть в поезд без пилюли, его охватил ужас. Это было как самый настоящий приступ — одышка, сердцебиение, сухость во рту. Неужели память о перенесенном страдании может так прочно укорениться? Нейлзу всегда казалось, что боль и страдание не запоминаются. Однако сейчас все муки, все смятение и унижение, которые он испытал в тот день, когда ему пришлось сходить с поезда чуть ли не на каждой станции — в Гринэйкрзе и Ласкалсе, в Клир-Хэйвене и Турандоте, — все они нахлынули на него вновь, и память о пережитом была едва ли не острее, чем сами переживания. Нет, он не в состоянии пройти через это вновь. Мужество тут ни при чем. Пусть он даже и пересилил бы себя и поехал на станцию,— все равно сесть на 7.16 он не может. Не может — и все! Холодные ванны, самодисциплина, молитва — весь этот с детства усвоенный моральный

кодекс бойскаутов бессилен ему помочь. Он должен ехать в город ради Нэлли и Тони, твердил он себе. Если он не доберется до города, они останутся без защиты. Нейлз представил себе жену и сына сидящими в крепости, со всех сторон осажденной неприятельскими войсками — голодом, холодом и страхом Затем он увидел их беженцами, погорельцами. Он встал под душ в надежде, что холодная вода смоет его представление о поезде 7.16 как о некой передвижной камере пыток. Напрасно!

Он не знал, когда у доктора Маллина начинается прием, он знал только одно: нужно немедленно, во что бы то ни стало раздобыть рецепт на лекарство.

Кабинет доктора Маллина был расположен в новом районе, который почему-то назывался «Парковым», хоть выросшие в нем дома с двухэтажными квартирами стояли на пустыре без какого бы то ни было признака растительности. Нейлз нажал кнопку звонка, и какой-то человек в пижаме открыл ему дверь.

— Простите, я, верно, ошибся адресом,— сказал Нейлз.

— Вам нужен доктор?

— Да. И по очень важному делу. Неотложному. Это вопрос жизни и смерти.

— Адрес правильный, только он больше здесь не работает,— сказал незнакомец в пижаме.— Местное медицинское общество лишило его диплома. Он теперь работает в городской лаборатории.

— Почему?

— Пилюли. Он давал своим пациентам запрещенные законом пилюли. Я сейчас завтракаю...

Нейлз извинился перед человеком в пижаме. «Что же делать? — подумал он.— Попробовать поехать в город на машине? А вдруг не доедет? Сесть на автобус? Взять такси?» Когда Нейлз открыл дверцу своей машины, из соседней машины высунулся человек и спросил:

— Уж не доктора ли вы ищете?

— Да, черт возьми! — сказал Нейлз.— Да, да, да!

— Что он вам давал?

— Я не знаю названия лекарства. Это чтобы ехать на поезде.

— Какого цвета?

— Серого и желтого. В капсюле. Половина серая, половина желтая.

— Знаю. Хотите, я вам достану?

— Да, черт возьми! Да, да, да!

— Приходите на католическое кладбище, что на Лавровом проспекте. Где статуя солдата, знаете?

Нейлз прибыл на кладбище первым. Это было старомодное кладбище со множеством памятников, но монументальная статуя солдата высилась над всеми каменными ангелами, так что найти ее не составляло труда. Поодаль рабочие копали могилу, орудуя киркой и лопатою. Нейлз удивился. Он думал, что могилы нынче выкапывают с помощью экскаваторов. Он прошел через целый ряд пятнистых от сырости ангелов, одни из них были вышиной в человеческий рост, другие поменьше — карликовые ангелы. У одних крылья были расправлены, другие обвивали ими кресты. Солдат был изображен в армейской форме восемнадцатого года, в каске, похожей на суповую тарелку, обмотках и мешковатых штанах. В правой руке, дулом вниз, он держал американскую винтовку образца 1912 года. Белый камень, из которого была высечена статуя, ничуть не пожелтел, только немного выветрился, так что черты лица и знаки отличия стерлись, и это придавало всему облику солдата некоторую призрачность. Вскоре к Нейлзу подошел его давешний знакомый с букетом тюльпанов, украденных, должно быть, с какой-нибудь могилы. Он поставил цветы в вазу, стоявшую перед призрачным пехотинцем, и сказал:

— Двадцать пять долларов.

— Я обычно платил десять за большой флакон,— возразил было Нейлз.

— Вот что,— сказал его новый знакомец.— Я рискую заработать десять лет плюс штраф в десять тысяч долларов.

Нейлз дал ему деньги и получил пять пилюль.

— К понедельнику они у вас кончатся,— сказал спекулянт.— Приезжайте к половине восьмого на станцию. Я вас буду ждать в туалете.

Нейлз тотчас положил одну из пяти пилюль в рот и, зачерпнув ладонью дождевой воды из каменной урны, запил ее. Сидя за рулем, он с тревогой ждал, подействует ли лекарство, но к тому времени, как он поставил машину на стоянку, магическое облако уже начало его окутывать. Он был спокоен, уравновешен, немного томился скукой и по рассеянности забыл опустить двадцать пять центов в автомат на стоянке. Совершив свое безмятежное путешествие в город, он позвонил Нэлли и сказал, что, может быть, все же следует разыскать этого знахаря.

X

После ленча Нэлли налила себе виски. Надо бы показаться психиатру, подумала она, но тут же вспомнила доктора, что кружил вокруг несуществующего зубоврачебного кресла. Она его возненавидела — не за то, что он спекулирует недвижимостью, а за то, что, уходя, он унес с собой утешительную иллюзию, будто, на худой конец, всегда можно обратиться за помощью к психиатру. Затем она вспомнила, что у ее бывшей работницы, у воровки, была вставная челюсть. Вспомнила дезодорант, которым та пользовалась при уборке,— средство это, по утверждению рекламы, распространяет аромат соснового леса, но имитация запаха хвои была так груба, так утрирована, что смахивала на пародию: снежные альпы туалета.

Впрочем, Элиот просил разыскать этого гуру, и Нэлли поехала в район трущоб, расположенных в старой части поселка, возле самой реки. Нэлли туда никогда не доводилось ездить. В газетах она читала, что там среди бела дня грабят и убивают женщин, а в барах царит поножовщина. Шел проливной дождь, и, хоть вечер еще не наступил, начало темнеть. Все дожди одинаковы на вкус, однако Нэлли резко различала сорта дождей. Одни спускаются тонкой сеткой с невинных небес ее детства, другие отдают горечью и грозой, третьи, беспощадные как память, падают вам прямо в душу. В этот день у дождя был солоноватый привкус крови. Итак, Нэлли села в машину и отправилась в трущобы искать похоронное бюро Пейтона. Оно ютилось в обшарпанном деревянном домике с узкой стрельчатой дверью — остроконечный свод над нею как бы напоминал о том, что щель эта — вход в святыню, куда вносят покойников (трупы хулиганов, зарезанных хулиганами) и откуда те совершают свой последний путь на раскинувшееся где-то на краю света черное кладбище. Слева от этой щели была другая дверь, за которой, как полагала Нэлли, должна быть лестница, ведущая на второй этаж. И в самом деле, толкнув дверь, она очутилась перед лестницей.

Нэлли так привыкла жить в стенах своего дома, в своих комнатах, в своем надежном маленьком мирке, дышавшем благопристойностью и покоем, что эта родная атмосфера, казалось, пронизала все клетки ее организма вплоть до самых хромосом. Здесь же ей все было дико, все вызывало смятение. Чуждый, затхлый запах передней, этот извечный запах всех передних такого рода, как бы лишал ее нравственной опоры. Она принялась озираться по сторонам в надежде увидеть какой-нибудь предмет из ее привычного окружения — хотя бы огнетушитель! — но во

всей прихожей не было ничего, что принадлежало бы к ее миру. Если бы перед ней внезапно возник один из тех легендарных насильников, о которых она читала в вечерних газетах, она оказалась бы совершенно беззащитной перед ним. Нэлли растерялась. Она не на шутку трусила. Инстинкт побуждал ее бежать из этого дома, бежать без оглядки. Долг повелевал подняться по лестнице на второй этаж. Между этими двумя могучими силами пролегала широкая река без мостов, и на какой-то миг перед Нэлли открылась вся безбрежность разобщения этих двух сил, что управляли ее жизнью. Ей казалось, что она стоит на железнодорожной платформе, провожая ту себя, которую сейчас увезет поезд. Или нет, не на платформе, а на краю собственной могилы, среди тех, кто пришел отдать ей последний долг. Прощай, Нэлли.

Она чувствовала с болезненной остротой, что в этой трущобе на берегах Уэконсета ей не отведено никакой роли. В самом деле, кто она такая? Агент по переписи населения? Представительница общества борьбы с безработицей? Активистка из лиги по предотвращению демографического взрыва, снабжавшей население бесплатными противозачаточными пилюлями? Член совета по оказанию помощи матерям-одиночкам? Дама, распределяющая выручку от благотворительного базара? Нет, нет и нет. Она всего-навсего мать, у которой сын поражен тяжким недугом, отправившаяся (по рекомендации воровки) на поиски кудесника. «Ведь я хорошая, порядочная женщина,— принялась она себя убеждать, одновременно понимая, как это смешно и нелепо.— Я ни разу не задавила ни одной белки на шоссе, я не забываю подкармливать птиц зимой»,— твердила она, как заклинание, поднимаясь по лестнице. На верхней площадке кто-то начертал пальцем по пыльному окну: «Сид Гринберг жует табак и курит». На площадку выходили две двери. Из-за одной, той, к которой была прибита табличка: «Храм Света», доносилась музыка, приглушенное пение из радиоприемника. Нэлли постучалась и, не услышав ответа, произнесла: «Свами Рутуола, свами Рутуола...»

Из-за второй двери послышалось громкое хихиканье — то ли похотливое, то ли пьяное,— и чей-то женский голос передразнивал Нэлли: «Ах, швабра Рутагола, швабра Рутагола...» К женскому хихиканью присоединилось мужское. То был постельный смех. «Ах, моя швабра...» — еще раз произнесла женщина. Казалось, она обессилела от смеха. Нэлли постучалась еще раз, и мужской голос предложил ей войти. Шоколадный негр обивал стул коленкором. Священный запах древесной стружки. Не отсюда ли святость Христа, родившегося в семье плотника? Или, напротив, это Христос придал святость запаху древесной стружки? В углу комнаты был воздвигнут алтарь, на котором посреди букета восковых цветов горела свеча. Восковые цветы напоминали о смерти,— о смерти да еще о китайских ресторанах.

— Милости просим в Храм Света! — произнес негр.

Голос у него был высокий, акцент ярко выраженный. Да, но какой? Вероятно, ямайский, решила Нэлли. На худощавом лице его выделялся изуродованный глаз. Племенная война? Стрела? Камень, выпущенный из пращи? Глаз этот был неподвижен и воздет к небу, как бы в постоянном религиозном экстазе. Другой сверкал и был исполнен выразительности.

— Меня зовут миссис Элиот Нейлз,— сказала Нэлли.— Мэри Эштон дала мне ваш адрес. У меня болен сын.

— Вы хотите, чтобы я поехал к вам сейчас же? — спросил Рутуола чуть нараспев.

— Да, да,— сказала она,— если вам нетрудно и если вы думаете, что в состоянии ему помочь.

— Попробую,— сказал он.— Своей машины у меня нет, а поймать

такси во время дождя чрезвычайно трудно. Я сейчас, только вымою руки.

По дороге Нэлли описала ему состояние Тони и все, что предшествовало его болезни. Нет, решила она, у него не ямайский акцент. Его речь — речь человека без корней, с претензией на изыск и даже некоторую рафинированность.

Перед тем как проводить Рутуолу в комнату Тони, Нэлли предложила ему виски.

— Ах, нет, спасибо,— сказал он.— У меня в душе нечто такое, что согревает лучше алкоголя.

— Я могу вам быть чем-нибудь полезна?

— Мне необходимо одно: уверенность, что никто нам не помешает.

— За этим я прослежу.

Нэлли спустилась вниз и налила себе виски.

Негр вошел к Тони в комнату.

— Меня зовут свами Рутуола,— представился он.— Я пришел помочь вам, во всяком случае я надеюсь, что мне это удастся. Но сперва я должен вам объяснить, отчего у меня такой глаз. Когда мне было пятнадцать, я поддался роковому порыву и украл велосипед. Это был ярко-красный английский велосипед фирмы «Швинн» с тремя скоростями. Я не мог совладать с соблазном. Я спрятал велосипед в подвале. Когда отец его обнаружил, он меня избил, заставил меня возвратить его владельцу, и сам со мной пошел. Отец мальчика, у которого я украл велосипед, не хотел возбуждать против меня дело, но мои родители настояли на том, чтобы меня привлекли к суду. Они боялись, что, если меня не накажут, я вырасту вором. Это были добрые, мягкосердечные люди; теперь мне кажется, я их понимаю: они просто боялись всего на свете. Меня приговорили к шести месяцам исправительной колонии в Ливертауне. Среди заключенных, как это часто бывает, была группа гангстеров, образовавших нечто вроде государства в тюремном государстве. Они были чрезвычайно жестоки, и чтобы оградить себя, я притворился хромым. Увидев, что я хромаю, рассудил я, они, быть может, меня пощадят. Но однажды, направляясь в столовую, я забылся и пошел своей обычной походкой, а они, поняв, что я их провел, зверски меня избили. В результате я потерял левый глаз и провалялся две недели в больнице. Я мог бы всего этого вам не рассказывать, но дело в том, что люди слушают не только ушами, но и глазами и обычно наблюдают за выражением глаз собеседника. Поскольку я наполовину лишен возможности пользоваться этим средством коммуникации, людям бывает трудно найти со мной контакт. Когда мы с вами будем беседовать, я сяду где-нибудь в тени, чтобы вас не смущал мой испорченный глаз, но прежде всего мне хотелось бы немного убрать у вас в комнате. Благочестие — сестра чистоты, так, кажется, говорится? Или, может быть, наоборот.

— Кажется, наоборот,— сказал Тони.

В комнате повсюду — на спинках стульев и на ручках дверей — была развешана одежда Тони. Одна створка гардероба была открыта. Свами все собрал, разыскал в гардеробе мешок для прачечной и сунул в него белье. Пиджак он одел на вешалку, в туфли вставил распорки, затем прикрыл шкаф и смахнул пыль с кресел.

— Ну вот, кажется, стало немного лучше, правда? — сказал он.— Теперь мне хотелось бы покурить здесь благовониями, если вы не возражаете.

— Делайте все, что хотите. Но вообще-то я не люблю благовоний. Да и всякую парфюмерию. Я никогда не пользуюсь лосьоном после бритья. Мне нравится, когда от девушек пахнет духами, но только я не

люблю, чтобы ими пахло в комнате. Не люблю запах парфюмерных магазинов.

— Я вас понимаю,— сказал Рутуола.— Но мое благовоние без приторности и очень слабое. Сандаловое дерево. У него очень чистый запах.

Он вынул из кармана тонкую палочку и зажег ее.

— Ну хорошо,— сказал Тони.

— Я родился в Балтиморе,— начал Рутуола.— Родители мои были люди бедные, впрочем, я не стану томить вас перечислением всех невзгод, какие выпали на долю моей расы,— вы это знаете и так. Я кончил восемь классов и прекрасно читаю, но с арифметикой у меня слабо. Отец мой был столяром, и когда меня выпустили из колонии на поруки, я стал ему помогать. Затем, много позднее, я поехал в Нью-Йорк и устроился работать на Центральном вокзале. Работа была не из завидных. Пять дней в неделю, по восемь часов в день, я чистил уборные. Мне приходилось мыть полы и прочее, но большая часть времени уходила у меня на то, чтобы смывать надписи со стен. Стены там белые, и на них очень удобно писать, так что к субботе все стены бывали покрыты надписями. Вначале меня это очень смущало, а потом я понял, что человек пишет на стенах оттого, что не может не писать. Ему неприятно, когда его писания стирают, словно таким образом стирается какая-то часть его самого. Иные даже вырезали слова ножом на дверях. Ненормальными этих людей не назовешь — их ведь тысячи, и я понял все одиночество, всю неутоленность людского рода. Однажды ночью, вернее, под утро — дело было в четвертом часу — я протирал тряпкой пол. Ко мне вдруг подходит человек и говорит: «Спасите меня, я, кажется, умираю». На нем был дорогой костюм, а лицо у него было пепельно-серое. Я сказал, что обычно в это время полицейский делает обход, и предложил сбегать наверх и попросить его вызвать карету «скорой помощи». Но он сказал: «Ах, не оставляйте меня одного, я не хочу умирать в одиночестве!» Тогда я сказал: «Пойдемте вместе в зал ожидания, я вам помогу». Я подхватил его под руку, и мы медленно поднялись... Он все время стонал. В зале ожидания полицейского не оказалось, вообще никого не было, и он сказал, что не может больше стоять, и мы вместе сели на какую-то ступеньку. В зале было уныло, холодно и голо, но на одной стене висела большая ярко освещенная реклама фотоаппаратов. На ней были изображены мужчина, женщина и двое детей на пляже — у какого-то озера, кажется,— а позади, в отдалении — горы, покрытые снегом. Это была красивая, радостная картина, и она казалась еще красивее оттого, что кругом все было такое голое, холодное и безрадостное. Я сказал ему, чтобы он смотрел на гору — быть может, сказал я, это поможет вам отвлечься от ваших страданий. И еще я ему сказал: «Давайте помолимся»,— но он сказал, что не помнит ни одной молитвы, и я вдруг сообразил, что и сам почти никаких молитв не знаю, и тогда я сказал: «Давайте придумаем молитву», и начал говорить: «Мужество, мужество, мужество», и произносил подряд одно это слово; вскоре и он стал повторять за мной: «Мужество, мужество...» Тогда я стал произносить другие слова, и он повторял их, пока наконец не объявил, что чувствует себя лучше и возьмет такси, поедет в какую-нибудь гостиницу и попробует поспать. Мы с ним простились, и больше я никогда его не видел. Недели через две-три после этой встречи я приехал сюда и стал работать у своего двоюродного брата, мистера Перчема. Он плотник.

Дождь понемногу перестает. Нейлз возвращается с работы. В ранних сумерках дрозды и ласточки охотятся за насекомыми. Ветер дует с северо-востока. Поднимаясь по каменным ступенькам своего крыльца,

Нейлз различает голоса разных деревьев, когда в них забирается ветер: вот поет клен, а вот — береза, магнолия, дуб... Какая польза от того, что Нейлз разбирается в голосах деревьев, какая от этого польза ему или его сыну? Впрочем, нужно же, чтобы кто-нибудь наблюдал жизнь. Нетленные сумерки повисли в воздухе чистой, высокой нотой. За обедом Нэлли сообщает Нейлзу, что у Тони сидит гуру и что туда нельзя. Нейлз все время подливает себе виски, а после обеда Нэлли говорит, что устала, и поднимается к себе отдохнуть. Уходя, она берет с мужа слово, что он не будет мешать гуру. Он целует ее и, чтобы не поддаться искушению пойти к сыну, берет в руки роман.

«На севере Дании, в небольшом городке Остерфоген,— читает он,— в одно январское утро 1869 года по центральной улице шагал молодой человек. Судя по его изящным, до блеска начищенным туфлям и по покрою сюртука,— он, должно быть, прибыл из Копенгагена или Парижа. Он был без шляпы, на левой его руке красовался огромный перстень с печаткой, на которой был выгравирован герб фон Хендрейхсов. Ночью выпал снег, и крыши маленького города были белы. Служанки метлами сметали сухой снег с дорожек. Граф фон Хендрейхс — ибо так звали молодого человека — остановился перед большим особняком и сверился со своими тяжелыми золотыми карманными часами. В следующую минуту часы на церкви св. Михаила пробили одиннадцать. Под замирающий в морозном воздухе звон молодой человек легко взбежал по ступенькам дома и дернул ручку звонка. Девушка, одетая, как полагалось одеваться в ту пору прислуге,— в чепце и переднике, открыла ему дверь и с застенчивой улыбкой присела в глубоком реверансе. Это была хорошенькая молодая женщина, но, увы, широкие складки ее платья не могли скрыть того обстоятельства, что она была в положении! Молодой человек проследовал за ней по темному коридору в гостиную, где за самоваром сидела старая дама. Граф ласково поздоровался с ней по-французски и принял из ее рук чашку с чаем.

«Я могу провести с вами всего несколько минут,— сказал он.— Я еду на почтовых в Копенгаген, а оттуда вечерним пакетботом в Остэнде.

«Quel dommage»! [1] — воскликнула старая дама.

Возле нее стояли пяльцы, а под ними — позолоченная корзинка с разноцветными мотками шерсти. Наклонившись к корзинке, она вынула из нее маленький пистолетик с рукоятью из слоновой кости и выстрелила в молодого графа. Пуля попала прямо в сердце...»

Нейлз бросает книжку на стол и берет другую, под заглавием «Дождливое лето». Он читает первое предложение: «Лето выдалось дождливое, и в пепельницах вокруг бассейна стояла дождевая вода, в которой плавали окурки...» Он швыряет книжку в угол. Раздается звонок. Нейлз открывает дверь и видит соседку, миссис Харвей. «Отчего у нее мокрое лицо?» — думает Нейлз. В просвете двери за ее плечом он видит кусок звездного неба. Неужели она плачет? Отчего? Ведь это ему надо плакать.

— Заходите, пожалуйста,— говорит он.— Пожалуйста, заходите.

— Кажется, я у вас не была с тех самых пор, как собирала деньги для кассы взаимопомощи,— говорит миссис Харвей. Она в самом деле плакала.— Вот я опять пришла попрошайничать.

«Красный крест,— перебирает про себя Нейлз,— мышечная дистрофия, кардиосклероз?..»

— Что же на этот раз? — спрашивает он.

— Семейство Харвей,— говорит она, поочередно смеясь и всхлипывая.— Я прошу для папочки.

---

[1] Какая жалость *(франц.)*.

— Так заходите, пожалуйста,— говорит Нейлз.— Садитесь. Я сейчас принесу вам коктейль.

— Ах, это длинная история,— говорит миссис Харвей, усаживаясь.— Но, поскольку мне нужна ваша помощь, придется, видно, рассказать. Вы, наверное, знаете, что наш Чарли учится на предпоследнем курсе в Амхерсте. Он ездил в Бостон и принимал участие в демонстрации. Его арестовали и продержали две-три ночи в тюрьме, а потом взяли штраф и выпустили — условно. И вот, две недели назад его лишили студенческой отсрочки по призыву и перевели в класс I«А». Третьего дня он получил повестку. Я рассказала об этом невзначай женщине, сидевшей рядом со мной в косметическом кабинете, а она — я с ней, собственно, и не знакома даже — сообщила, что у нас в городке есть психиатр, который учит молодых людей, как себя держать, чтобы получить освобождение. Он берет пятьсот долларов. Я хотела было сказать папочке об этом, но потом подумала, что это все-таки нечестно. Чарли не хочет быть солдатом, но и врать тоже не хочет. Ведь это все равно что убить себя ради того, чтобы не быть убитым. Ну, словом, я ничего не сказала. Чарли было назначено явиться в четверг, а в среду папочка пошел в банк и взял оттуда три тысячи. Весь наш вклад. Пятьсот он дал Чарли наличными, остальное — чеком. Никто из нас не произнес ни слова о его дальнейших планах. После ужина Чарли пошел к себе наверх, уложил вещи и спустился с чемоданом. Папочка подвез его на станцию. Они даже не простились. Папочка мне потом сказал, что он не решился произнести: «Прощай»,— из боязни, что заплачет. Чарли, наверное, уже в Канаде или в Швеции, мы никаких вестей от него не имеем. Ну вот, а на другой день к папочке в контору пришел какой-то человек, словом, какой-то там чиновник, что ли, и объявил, что папочка взял из банка три тысячи для того, чтобы его сын мог эмигрировать. Мы-то с папочкой думали, что существует тайна вклада, а выходит, что нет. Чиновник сказал, что хочет поговорить с ним дома, и папочка уехал домой ранним поездом, а человек этот, служащий то есть, тоже приехал из своей канцелярии. Сперва он обвинил папочку в оказании помощи дезертиру, а затем, сказав, что хочет избавить его от лишней волынки, вынул из кармана сигарету, положил папочке на стол и объявил, что папочка арестован за хранение наркотиков. Сигарета, оказывается, была начинена марихуаной, а папочка даже и не знал, как они выглядят. Чиновник стал затем рассказывать, что занимается вылавливанием дезертиров оттого, что провел полтора года в немецком лагере для военнопленных, где питался мышами и крысами. И теперь он хочет, сказал он, чтобы нынешнее поколение узнало, что к чему. Тогда папочка позвонил адвокату, Гарри Марчанду, и они втроем поехали в окружной суд, и папочку там арестовали за хранение наркотиков и посадили в тюрьму. Они определили ему залог в две тысячи, а так как сейчас конец месяца, у нас просто нет таких денег, и вот я хожу по домам и пытаюсь собрать эту сумму.

— Кажется, у меня при себе есть двести долларов,— говорит Нейлз,— если это вас устроит, я сейчас сбегаю наверх.

— Разумеется, устроит.

В спальне темно, и Нэлли спрашивает, кто пришел.

— Это Грейс Харвей,— говорит Нейлз,— я тебе потом все непременно расскажу.

Он извлекает деньги из сейфа, и Нэлли спрашивает:

— Разве Рутуола кончил? Ты хочешь с ним расплатиться?

— Нет,— говорит Нейлз.— Я тебе потом расскажу, в чем дело.

— Оставить вам расписку? — спрашивает Грейс.

— Ну, что вы!

— Скоро пять лет, как я собираю взносы в фонд взаимопомощи,—

говорит она.— Вот уж не думала, что мне придется обивать пороги, чтобы собирать деньги для папочки!

■

Комната Тони благоухает сандалом.

— С того самого случая на вокзале,— говорит Рутуола,— я уверовал в силу молитвы. Поскольку я ни к одной церкви не принадлежу, вы, конечно, спросите, кому же я молюсь. На этот вопрос я ответить не сумею. Я верю в молитву как в действенную силу, а не как в разговор с богом, и когда моя молитва помогает, а это случается довольно часто, я, откровенно говоря, не знаю, кого за это благодарить. Мне удалось вылечить нескольких больных от ревматизма, но моя система не всегда действует. Я надеюсь, что она подействует в вашем случае.

Ваша матушка сказала мне, что вы увлекались спортом и играли в футбол. Я хотел бы, чтобы вы смотрели на меня как на вашего духовного болельщика. Конечно, криками одобрения гола не забьешь, но иногда они помогают. У меня разные слова для подбадривания. Слова любви и слова сочувствия, слова надежды и еще слова-картины. Так, я представлю себе какое-нибудь место, где мне хотелось бы очутиться, и повторяю про себя описание этого места. Например, говорю себе: «Я сижу в домике на берегу моря». Затем выбираю день и погоду. Скажем, я сижу в домике на берегу моря в четыре часа пополудни, во время дождя. Затем говорю себе: я сижу на стуле, на таком стуле-лесенке,— знаете, какие бывают в библиотеках? — на коленях у меня лежит открытая книга. Затем я говорю себе, что у меня есть любимая, она только что вышла по какому-то делу, но скоро вернется. Нарисую такую картину и все время повторяю про себя: «Я сижу в домике на берегу моря, идет дождь, сейчас четыре часа пополудни, я сижу на стуле-лесенке и держу на коленях книгу. Моя любимая ненадолго вышла и скоро вернется». Таких картин можно нарисовать сколько угодно. Скажем, у вас есть какой-нибудь любимый город — у меня это Балтимора,— надо только выбрать время дня, подходящую погоду и обстоятельства и повторять все это про себя. Ну, что ж, будете делать, что я вам скажу?

— Да,— говорит Тони.— Я сделаю все, что вы мне скажете.

— Повторяйте за мной все, что бы я ни сказал.

— Идет,— говорит Тони.

— Я сижу в домике на берегу моря.

— Я сижу в домике на берегу моря.

— Часы показывают четыре, и идет дождь.

— Часы показывают четыре, и идет дождь.

— Я сижу на стуле-лесенке с книгой на коленях.

— Я сижу на стуле-лесенке с книгой на коленях.

— У меня есть любимая, она ненадолго вышла и скоро вернется.

— У меня есть любимая, она ненадолго вышла и скоро вернется.

— Я сижу под яблоней, одетый во все чистое. Мне хорошо.

— Я сижу под яблоней, одетый во все чистое. Мне хорошо.

— Прекрасно,— сказал Рутуола.— Теперь попробуем слова любви. Повторите слово «любовь» сто раз. Считать не надо. Просто говорите: «любовь, любовь, любовь» пока не надоест. Давайте вместе...

— Любовь, любовь, любовь, любовь, любовь...

— Прекрасно,— говорит Рутуола.— Очень хорошо. Видно, что вы вкладывали душу в это слово. Теперь попробуйте сесть.

— Это, конечно, вздор,— говорит Тони,— я знаю, что это вздор, но почему-то я чувствую себя гораздо лучше. Дайте мне еще какую-нибудь молитву, ладно?

■

Нейлз сидит внизу. Из комнаты Тони до него доносятся странные звуки: «Надежда, надежда, надежда...» Он наливает себе еще виски. Быть может, это какой-нибудь жрец воду? Вдруг он околдует его Тони! Но если Нейлз не верит в магию, отчего он ее боится? В окно ему виден газон под звездами. На-деж-данадеж-данадеж-данадеж... Голоса их звучат, как барабанная дробь. Газон принадлежит к одному царству, волхвования наверху — к другому. Все это смущает Нейлза.

— Теперь попробуйте сесть,— говорит Рутуола.— Сядьте и спустите ноги на пол.

Тони встает. Он сильно похудел, и мышцы его ослабли; ребра выпирают; ягодицы втянулись.

— Сделайте несколько шагов,— говорит Рутуола.— Совсем немного. Два-три шага.

Тони шагает. И вдруг начинает смеяться.

— Я чувствую, что снова становлюсь собой,— говорит он.— Я чувствую, что я — прежний я. Конечно, есть еще слабость, но мне уже нисколько не грустно. Моя страшная тоска меня оставила.

— Ну, что ж, почему бы вам не одеться и не спуститься вместе со мной к родителям?

Тони одевается, и они вместе идут вниз по ступенькам лестницы.

— Я совсем поправился, папа,— говорит Тони.— Я еще немного слаб, но эта страшная тоска меня оставила. Мне ничуть не грустно больше, и дом наш мне не кажется карточным домиком. У меня такое чувство, будто я был мертв и вдруг ожил.

Нэлли спускается вниз в халатике и стоит в коридоре. Она плачет.

— Как только нам отблагодарить вас? — спрашивает Нейлз.— Не хотите ли выпить чего-нибудь?

— Ах, нет, спасибо,— говорит Рутуола своим высоким, чуть напевным голосом.— У меня в душе нечто такое, что согревает лучше алкоголя.

— Но вы позволите вам заплатить, надеюсь?

— Ах, нет, спасибо,— говорит Рутуола.— Видите ли сила, которою я обладаю, это дар, и я должен ею одаривать других. Но вы можете подвезти меня домой. А то иной раз бывает очень трудно достать такси.

Тем дело и кончилось. Через десять дней Тони вернулся в школу, и жизнь сделалась прекрасной, как прежде. Правда, каждый понедельник перед работой Нейлз отправлялся на свидание со своим спекулянтом — то в торговый центр, то в общественную уборную, то в прачечную-автомат, то на какое-нибудь из многочисленных кладбищ.

(Окончание следует)

ВАСИЛИС ВАСИЛИКОС

■

Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

Я видел, как распускаются розы.
Как невольники становятся свободными
гражданами.
Как узники надевают оковы на стражников.

И в морской глубине,
там, где не плавают рыбы,
среди водорослей,
в серебристой зыби я видел
твой образ, проступающий черной раной,
девочка, случайная прохожая,
убитая солдатом
двадцать первого апреля[1]
возле площади Мавилиса
или Кириакоса, в пятницу,
ровно в двенадцать двадцать.
И тогда все попрятались по своим углам,
плотно закрыв
двери,
оконные ставни,
сердца.

■ ■ ■

Горький огонь.
Время бежит.
За плечами выросли крылья
для странствий далеких.
Все у нас есть.
И все-таки нет ничего.
Только печаль,
она у нас поводырь.
Ссылка, чужбина, дороги.
Такова она — жизнь.

[1] Двадцать первого апреля 1967 года в Греции произошел военный переворот и власть в стране захватила фашистская хунта.

■ ■ ■

Ничто не забудется. И однажды
мы окажемся друг против друга —
те, кто действовал и бездействовал,
кто боролся и кто отсиживался.
Мы скажем: «Клятвопреступников —
на гильотину!
Насильников — к стенке!» А ты,
мой друг, заточенный в темницу,
лишенный тепла и света,
смотри не забудь той тоски,
которая сейчас тебя гложет,
тоски по всеобщему счастью.

■ ■ ■

Скорбная годовщина. Два года
вы топчете нас,
ненавистные роботы рабства,
так нагло назвавшиеся
посланцами неба,
что мы растерялись
и глазам своим долго не верили,—
ведь мы не суеверны,
мы свободны от предрассудков
и знаем, что вампиры не воскресают.

А вы, вампиры эпохи,
пугали нас мукой ада,
твердили, что в доме — нечистый
и, значит, дом опорочен.
И он теперь опорочен
вашим нечистым духом,
вашими голосами,
залпами ваших орудий,
орудий, стреляющих
в музыку.

Вы выросли рядом с нами,
и мы — увы! — не безгрешны.
Мы знаем,
мы тоже виновны
в том, что высох колодец,
что раздолье лягушкам
и они квакают, квакают.

Но есть родники, журчащие чистотой,
есть экскаваторы,
есть буры величиной с муравья,
долбящие землю в поисках скрытых вод,
мощных потоков
для нашего бедного края.

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

Сто лет одиночества

РОМАН

Перевод с испанского Н. БУТЫРИНОЙ и В. СТОЛБОВА

В мае кончилась война. За две недели до того, как правительство официально сообщило об этом в высокопарно написанном воззвании, обещавшем безжалостно покарать зачинщиков мятежа, полковник Аурелиано Буэндиа, который, переодевшись индейцем-знахарем, уже почти добрался до западной границы, был захвачен в плен. Уходя на войну, он взял с собой двадцать одного человека, четырнадцать погибли в боях, шестеро лежали раненые, и лишь один остался с ним в роковую минуту окончательного поражения — полковник Херинельдо Маркес. Весть о пленении полковника Аурелиано Буэндиа была объявлена в Макондо экстренным коммюнике. «Он жив,— сказала Урсула мужу.— Помолимся, чтобы враги проявили к нему милосердие». Три дня она оплакивала сына, а на четвертый, приготовляя на кухне сласти из сливок, совершенно отчетливо услышала где-то рядом его голос. «Это был Аурелиано,— закричала она и бросилась к каштану, чтобы сообщить новость мужу.—Не знаю, каким чудом он спасся, но он жив, и мы скоро его увидим». Урсула была уверена, что так и будет. Она распорядилась вымыть полы в доме и переставить мебель. А через неделю пророчество ее нашло печальное подтверждение в неизвестно откуда возникших слухах, на сей раз не поддержанных коммюнике. Полковник Аурелиано Буэндиа приговорен к смертной казни, и приговор будет приведен в исполнение в Макондо для устрашения жителей города. Утром в понедельник, около половины одиннадцатого, Амаранта одевала Аурелиано Хосе, когда вдруг до нее донесся далекий беспорядочный шум и звуки трубы, а через секунду Урсула ворвалась в комнату с криком: «Ведут!» Солдаты ударами прикладов расчищали себе путь в несметной толпе. Проталкиваясь через плотную массу людей, Урсула и Амаранта добрались до соседней улицы и там увидели его. Он был похож на нищего. Босой, в изодранной одежде, борода и волосы всклокочены. Он шел, не чувствуя обжигающего прикосновения раскаленной пыли, руки связаны за спиной веревкой, конец которой сжимал в ладони конный офицер. Рядом вели полковника Херинельдо Маркеса, тоже грязного и оборванного. Они не выглядели печальными. Скорее казалось, что они взволнованы поведением толпы, осыпающей солдат всевозможными оскорблениями.

Продолжение. Начало в № 6.

— Сынок! — раздался среди общего шума вопль Урсулы, она ударила солдата, пытавшегося задержать ее. Лошадь офицера поднялась на дыбы. Полковник Аурелиано Буэндиа вздрогнул, остановился и, уклонившись от рук матери, твердо посмотрел ей в глаза.

— Идите домой, мама,— сказал он.— Спросите разрешения властей и приходите ко мне в тюрьму.

Он перевел взгляд на Амаранту, в нерешительности стоявшую позади Урсулы, улыбнулся ей и спросил: «Что у тебя с рукой?» Амаранта подняла руку в черной повязке. «Ожог»,— сказала она и оттащила Урсулу в сторону, подальше от лошадей. Солдаты дали залп в воздух. Отряд кавалерии окружил пленных и на рысях направился к казарме.

Вечером Урсула пришла на свидание с полковником Аурелиано Буэндиа. Она попробовала получить предварительное разрешение с помощью дона Аполинара Москоте, но вся власть сосредоточилась теперь в руках военных, и его слово не имело никакого веса. Падре Никанор лежал с приступом печени. Родители полковника Херинельдо Маркеса — он не был приговорен к смертной казни — пытались было навестить сына, но их отогнали прикладами. Видя, что найти посредников невозможно, и убежденная, что на рассвете Аурелиано будет расстрелян, Урсула сложила в узелок вещи, которые хотела ему снести, и пошла в казарму одна.

— Я мать полковника Аурелиано Буэндиа,— заявила она.

Часовые преградили ей путь. «Я все равно войду,— сказала Урсула.— Так что, если вам приказано стрелять, стреляйте сразу». Сильным толчком она отстранила одного из них и вошла в бывшую классную комнату, где группа полураздетых солдат чистила оружие. Учтивый румяный офицер, в очках с толстыми стеклами и одетый по-походному, сделал знак бросившимся было за ней часовым, и они ушли.

— Я мать полковника Аурелиано Буэндиа,— повторила Урсула.

— Вы хотите сказать, сеньора,— поправил ее офицер, любезно улыбаясь,— что вы мать *сеньора* Аурелиано Буэндиа.

В его изысканной речи Урсула уловила тягучие интонации жителей плоскогорья — качако.

— Пусть будет *сеньор*,— согласилась она,— все равно, лишь бы мне его увидеть.

Приказом свыше всякие посещения осужденных на смерть были запрещены, но офицер под свою ответственность разрешил Урсуле пятнадцатиминутное свидание. Урсула показала ему то, что принесла в узелке: смену чистого белья, ботинки, в которых сын гулял на своей свадьбе, и сласти, которые она хранила для него с того дня, когда почувствовала, что он вернется. Она нашла полковника Аурелиано Буэндиа в комнате, где стояли колодки, он лежал, раскинув руки, потому что под мышками у него вздулись большие нарывы. Ему разрешили побриться. Густые усы с закрученными кончиками подчеркивали угловатость скул. Урсуле показалось, что он бледнее, чем был раньше, немного выше и еще более одинок. Он знал все, что произошло дома: знал о самоубийстве Пьетро Креспи, беззакониях и смерти Аркадио, чудачествах Хосе Аркадио Буэндиа под каштаном. Знал, что Амаранта посвятила свое вдовое девичество воспитанию Аурелиано Хосе, что тот проявляет незаурядный ум и научился читать и писать тогда же, когда начал разговаривать. С той самой минуты, как Урсула вошла в комнату, она почувствовала себя неловко — ее смущал повзрослевший вид сына, исходившая от него властность, сила, которую излучало все его большое тело. Она удивилась, что он так хорошо обо всем осведомлен. «Вы же знаете: ваш сын ясновидец,— пошутил он. И добавил уже серьезно: — Утром, когда меня вели, я как будто пережил все это». И в самом деле, пока толпа шумела вокруг, он был занят своими мыслями, удивляясь, как постарел город всего

за один год. Листья на миндальных деревьях были ободраны. Дома, которые то и дело перекрашивали из голубого цвета в розовый, потом снова в голубой, приобрели в конце концов неопределенный оттенок.

— А что ты думал? — вздохнула Урсула.— Время-то идет.

— Конечно,— согласился Аурелиано,— но все же.

И свидание, которого они оба так долго ждали, приготовив вопросы и даже подумав, какие на них получат ответы, вылилось в обычный, повседневный разговор. Когда часовой объявил, что пятнадцать минут истекли, Аурелиано достал из-под циновки походной кровати скатанные в трубку, пропитанные потом листки бумаги. Это были его стихи. Те, что он посвящал Ремедиос и забрал с собой, уходя из дому, и другие — написанные позже, во время коротких передышек между боями. «Обещайте мне, что никто не прочтет их,— сказал он.— Сегодня же вечером растопите ими плиту». Урсула пообещала и встала, чтобы поцеловать сына на прощание.

— Я принесла тебе револьвер,— шепнула она.

Полковник Аурелиано Буэндиа удостоверился, что часового нет поблизости, и ответил так же тихо: «На что он мне? Впрочем, давайте, а то они еще обнаружат, когда вы будете уходить». Урсула вынула револьвер из-за корсажа, и полковник Аурелиано Буэндиа положил его под циновку на койке. «А теперь не прощайтесь со мною,— сказал он подчеркнуто спокойным тоном.— Не умоляйте никого, не унижайтесь ни перед кем. Заставьте себя думать, что меня расстреляли уже давным-давно». Урсула закусила губу, сдерживая слезы.

— Приложи горячие камни к нарывам,— сказала она. Отвернулась и вышла из комнаты.

Полковник Аурелиано Буэндиа продолжал стоять, углубленный в свои мысли, до тех пор, пока дверь не закрылась. Тогда он снова лег и раскинул руки. С того времени, когда он вступил в юношеский возраст и осознал, что наделен даром ясновидения, он всегда верил — смерть сообщит ему о своем приближении каким-то определенным, безошибочным, неоспоримым знаком, и вот до расстрела остается лишь несколько часов, а такого знака все нет. Однажды в его лагерь в Тукуринка пришла очень красивая девушка и попросила часовых разрешить ей увидеться с полковником Аурелиано Буэндиа. Ее пропустили — ведь всем было известно, что некоторые матери-фанатички посылают своих дочерей в постель к прославленным полководцам, чтобы, как они сами объясняли, улучшить породу. В тот вечер полковник Аурелиано Буэндиа заканчивал стихотворение о человеке, который сбился с пути под дождем; когда вдруг в комнату вошла девушка. Желая спрятать исписанный листок в ящик стола, где он хранил под замком свои стихи, полковник повернулся к гостье спиной. И тут почувствовал это. Не оглядываясь, он схватил лежавший в ящике пистолет и сказал:

— Не стреляйте, пожалуйста.

Когда он обернулся, сжимая в руке пистолет, девушка уже опустила свой и стояла в полной растерянности. Так ему удалось избежать четырех покушений из одиннадцати. Но был и другой случай: неизвестный, которого не удалось задержать, пробрался ночью в лагерь повстанцев в Манауре и заколол кинжалом его близкого друга — полковника Магнифико Висбаля. Тот болел лихорадкой, и полковник Аурелиано Буэндиа временно уступил ему свою койку. Сам он спал тут же рядом в гамаке и ничего не слышал. Все его попытки разобраться в своих предчувствиях оказались тщетными. Предчувствия возникали внезапно, как озарение свыше, как абсолютная, мгновенная и неуловимая убежденность. Порою они выглядели совсем естественно, и полковник Аурелиано Буэндиа спохватывался, что это были предчувствия, лишь после того, как они исполнялись. А иной раз они были очень определенными, но не исполня-

лись. Нередко он путал их с самыми обычными приступами суеверия. Однако, когда ему прочли смертный приговор и спросили, каково будет его последнее желание, он сразу же понял, что это предчувствие подсказывает ему ответ.

— Я прошу, чтобы приговор был приведен в исполнение в Макондо,— заявил он.

Председатель трибунала рассердился.

— Не пытайтесь нас провести, Буэндиа,— сказал он.— Это просто военная хитрость, чтобы выиграть время.

— Не хотите, ваше дело,— ответил полковник,— но таково мое последнее желание.

С тех пор предчувствия его покинули. В тот день, когда Урсула посетила его в тюрьме, он, после долгих размышлений, пришел к выводу, что на этот раз смерть, вполне возможно, не известит его о своем приближении, поскольку она зависит не от случая, а от воли его палачей. Мучимый нарывами, он не спал всю ночь. Незадолго до рассвета в коридоре раздались шаги. «Идут»,— сказал он себе и почему-то вдруг вспомнил о Хосе Аркадио Буэндиа, который в эту самую минуту в угрюмой предрассветной полутьме тоже думал о нем, скорчившись на своей скамеечке под каштаном. В душе у полковника Аурелиано Буэндиа не было ни тоски, ни страха, он испытывал лишь глухую ярость при мысли, что из-за преждевременной смерти ему не суждено узнать, чем завершится все то, что он не успел завершить. Дверь отворилась, вошел солдат с чашкой кофе. На следующий день, в тот же час, когда полковник Аурелиано Буэндиа по-прежнему сходил с ума от боли под мышками, повторилось то же самое. В четверг он раздал часовым сласти, принесенные Урсулой, надел чистое белье, которое оказалось ему узким, и лаковые ботинки. Наступила пятница, а его все еще не расстреляли.

По правде говоря, военные власти не осмеливались исполнить приговор. Возмущение, охватившее весь город, навело их на мысль, что расстрел полковника Аурелиано Буэндиа может иметь тяжелые политические последствия не только в Макондо, но и во всей округе, поэтому они запросили совета в главном городе провинции. В ночь на субботу, когда ответ еще не был получен, капитан Роке Мясник отправился с другими офицерами в заведение Катарино. Из всех женщин только одна, насмерть запуганная его угрозами, согласилась повести его в свою комнату. «Они не хотят спать с человеком, у которого смерть за плечами,— объяснила она.— Никто не знает, как это случится, но кругом говорят, что офицер, который расстреляет полковника Аурелиано Буэндиа, и все его солдаты рано или поздно обязательно будут убиты один за другим, даже если они спрячутся на краю света». Капитан Роке Мясник обсудил такую возможность с другими офицерами, а те со своими начальниками. В воскресенье, хотя никто никому об этом прямо не сказал и военные ничем не нарушили царившее в Макондо напряженное спокойствие, всему городу уже было известно, что офицеры не хотят брать на себя ответственность и собираются под любыми предлогами уклониться от участия в казни. В понедельник почта доставила письменный приказ: приговор должен быть приведен в исполнение в течение двадцати четырех часов. Вечером офицеры бросили в фуражку шесть клочков бумаги со своими именами, и злосчастная фортуна капитана Роке Мясника наградила его выигрышным билетом. «От судьбы не уйдешь,— сказал капитан с глубокой горечью.— Как родился я сыном шлюхи, так и подохну». В пять часов утра он избрал, тоже жеребьевкой, отделение солдат, выстроил его во дворе и разбудил приговоренного к смерти традиционной фразой.

— Пошли, Буэндиа,— сказал он.— Час настал.

— А! Так вот оно что,— откликнулся полковник.— То-то мне снилось, будто у меня прорвались нарывы.

С тех пор как Ребека Буэндиа узнала, что Аурелиано должны расстрелять, она каждый день поднималась в три часа утра. Сидя на кровати, содрогавшейся от храпа Хосе Аркадио, она следила из темноты спальни в щель приоткрытого окна за кладбищенской стеной. Она ждала всю неделю с тем же тайным упорством, с каким в свое время ждала писем от Пьетро Креспи. «Здесь они его не станут расстреливать,— говорил ей Хосе Аркадио.— Его расстреляют поздней ночью, в казарме, чтобы не узнали, кто стрелял, и похоронят его там же». Ребека продолжала ждать. «Такие мерзавцы расстреляют его здесь»,— отвечала она. И была настолько уверена в этом, что даже обдумала, как ей приоткрыть дверь, чтобы помахать смертнику рукой на прощание. «Да не поведут его по улице под охраной только шести запуганных солдат,— настаивал Хосе Аркадио.— Они ведь знают, что народ готов на все». Недоступная логике мужа, Ребека продолжала сторожить у окна.

— Вот увидишь, какие они мерзавцы,— твердила она.

Во вторник в пять часов утра, когда Хосе Аркадио кончил пить кофе и спустил собак, Ребека вдруг закрыла окно и схватилась за спинку кровати, чтобы не упасть. «Ведут,— выдохнула она.— Какой он красивый». Хосе Аркадио поглядел в окно и, охваченный внезапной дрожью, увидел в бледном свете встающей зари брата, на нем были брюки, которые в юности носил Хосе Аркадио. Он уже стоял возле стены, стоял подбоченившись, горящие нарывы под мышками мешали ему опустить руки. «Столько маяться,— бормотал полковник Аурелиано Буэндиа.— Столько мучиться, и все для того, чтобы шестеро кастратов убили тебя, и ты ничего не можешь поделать». Он все повторял и повторял эти слова, а капитан Роке Мясник, приняв его ярость за усердие, решил, что он молится, и был тронут. Когда солдаты подняли винтовки, ярость полковника Аурелиано Буэндиа материализовалась в какую-то липкую и горькую субстанцию, от которой у него омертвел язык и закрылись глаза. Тогда алюминиевый блеск рассвета исчез, и он снова увидел себя ребенком в коротких штанишках и с бантом на шее, увидел, как отец вводит его давним вечером в цыганский шатер, увидел лед. Когда раздался крик, полковник Аурелиано Буэндиа решил, что это последняя команда солдатам. С лихорадочным любопытством он открыл глаза, ожидая, что взгляд его встретит нисходящие траектории пуль, но обнаружил только капитана Роке Мясника, который стоял, подняв руки вверх, и Хосе Аркадио, перебегающего улицу со страшным, готовым выстрелить охотничьим ружьем.

— Не стреляйте,— сказал капитан, обращаясь к Хосе Аркадио.— Вы посланы мне божественным провидением.

И тут началась еще одна война. Капитан Роке Мясник и шесть его солдат ушли с полковником Аурелиано Буэндиа освобождать революционного генерала Викторио Медину, приговоренного к смерти в Риоаче. Думая выиграть время, решили перевалить через горный хребет той дорогой, которой шел Хосе Аркадио Буэндиа перед основанием Макондо, но не миновало и недели, а они уже поняли, что это неосуществимая затея. В конце концов им пришлось пробираться опасными путями по горным отрогам, имея при себе только те патроны, что были выданы солдатам для казни. Вблизи городов разбивали лагерь, и кто-нибудь, переодевшись, шел и среди бела дня прогуливался по улицам, держа в руке золотую рыбку, и устанавливал связи с притаившимися либералами, которые поутру отправлялись на охоту, чтобы не вернуться обратно. Когда с перевала они наконец увидели Риоачу, генерал Викторио Медина уже был расстрелян. Тогда те, кто стоял за полковника Аурелиано Буэндиа, провозгласили его командующим революционными силами побе-

режья Карибского моря, в чине генерала. Он дал согласие занять пост, но отказался от генеральского звания и пообещал сам себе не принимать этого чина до тех пор, пока не будет свергнуто правительство консерваторов. За три месяца удалось поставить под ружье более тысячи человек, но почти все они были убиты. Те, кто уцелел, перебрались через восточную границу. Позже стало известно, что они отплыли с Антильских островов и вернулись на родину, высадившись на берег Кабо-де-ла-Вела; сразу вслед за этим во все концы страны было передано по телеграфу ликующее сообщение правительства о смерти полковника Аурелиано Буэндиа. А еще через два дня длинная телеграмма, которая почти нагнала предыдущую, принесла весть о новом восстании на равнинах юга. Так зародилась легенда о вездесущности полковника Аурелиано Буэндиа. В одно и то же время поступали самые противоречивые сообщения: полковник одержал победу в Вильянуэве, потерпел поражение в Гуакамайале, съеден индейцами племени мотилонес, умер в одном из селений долины, снова поднял восстание в Урумите. Вожди либеральной партии, которые в ту пору вели переговоры о допущении либералов в парламент, объявили его авантюристом и человеком, не представляющим партии. Правительство зачислило его в разбойники и оценило его голову в пять тысяч песо. После шестнадцати поражений полковник Аурелиано Буэндиа вышел из Гуахиры, имея под своим командованием две тысячи хорошо вооруженных индейцев, и атаковал Риоачу; захваченный врасплох гарнизон бежал из города. Полковник Аурелиано Буэндиа расположил в Риоаче свою штаб-квартиру и объявил всенародную войну против консерваторов. В первом официальном отклике, который он получил от правительства, ему угрожали расстрелять через сорок восемь часов полковника Херинельдо Маркеса, если войска повстанцев не отойдут к восточной границе. У полковника Роке Мясника, ставшего к тому времени начальником штаба, был довольно унылый вид, когда он вручал телеграмму своему командующему, но тот прочел ее с неожиданной радостью.

— Замечательно! — воскликнул он.— У нас в Макондо уже есть телеграф.

Ответ полковника Аурелиано Буэндиа был категоричен. Через три месяца он рассчитывает перенести свою штаб-квартиру в Макондо. Если он не застанет в живых полковника Херинельдо Маркеса, то расстреляет без суда и следствия в первую очередь всех генералов, а затем и всех офицеров, которые окажутся в этот момент в плену, и отдаст приказ своим подчиненным, чтобы они поступали так же до самого конца войны. Три месяца спустя, когда победоносные войска полковника Аурелиано Буэндиа вступили в Макондо, первым человеком, обнявшим его на дороге в долину, был полковник Херинельдо Маркес.

Дом Буэндиа был битком набит детьми. Урсула забрала к себе Санта Софию де ла Пьедад с ее старшей дочерью и парой мальчиков-близнецов, родившихся через пять месяцев после расстрела Аркадио. Вопреки последней воле расстрелянного, она дала девочке имя Ремедиос. «Я уверена, что Аркадио хотел сказать именно это,— заявила она в свое оправдание.— Мы не назовем ее Урсулой, с таким именем у нее будет очень тяжелая жизнь». Близнецов она окрестила Хосе Аркадио Второй и Аурелиано Второй. Амаранта взяла всех на свое попечение. Поставила деревянные стульчики в гостиной и, собрав еще соседских детей, устроила там что-то вроде приюта для малолетних. Когда под хлопанье ракет и звон колоколов полковник Аурелиано Буэндиа вступил в город, у входа в родной дом его приветствовал детский хор. Аурелиано Хосе, высокий, как его дед, и облаченный в форму офицера революционных войск, по всем правилам отдал ему честь.

Не все новости были хорошими. Через год после того как полковник

Аурелиано Буэндиа бежал от расстрела, Хосе Аркадио и Ребека перешли жить в дом, построенный Аркадио. Никто так и не узнал, что Хосе Аркадио спас жизнь полковнику. Новый дом, расположенный на лучшем месте городской площади, в тени миндального дерева, которое облюбовали под свои гнезда три птичьих семейства, имел парадный вход для гостей и четыре окна. Здесь супруги и устроили свой гостеприимный очаг. Прежние подружки Ребеки, и среди них четыре сестры Москоте — до сих пор все еще девицы,— перенесли сюда свои посвященные вышивке собрания, прерванные несколько лет тому назад в галерее с бегониями. Хосе Аркадио продолжал пользоваться захваченными землями, правительство консерваторов утвердило его во владении ими. Вечерами можно было видеть, как он возвращается домой верхом на лошади со сворой злобных собак, двустволкой и притороченной к седлу связкой кроликов. В один сентябрьский день надвигавшаяся гроза вынудила его вернуться раньше, чем обычно. Поздоровавшись в столовой с Ребекой, он привязал во дворе собак, снес кроликов на кухню, чтобы позже засолить их, и отправился в спальню переодеться. Впоследствии Ребека уверяла, что когда муж вошел в спальню, она мылась в купальне и ничего не знает. Ее версия казалась сомнительной, но никто не мог придумать другой, более правдоподобной, и объяснить, зачем понадобилось Ребеке убивать человека, сделавшего ее счастливой. Это была, пожалуй, единственная тайна в Макондо, так и оставшаяся нераскрытой. Как только Хосе Аркадио затворил за собой дверь спальни, в доме прогремел пистолетный выстрел. Из-под двери показалась струйка крови, пересекла гостиную, вытекла на улицу и двинулась вперед по неровным тротуарам, спускаясь по ступенькам, поднимаясь на приступки, пробежала вдоль всей улицы Турков, взяла направо, потом налево, свернула под прямым углом к дому Буэндиа, протиснулась под закрытой дверью, обогнула гостиную, прижимаясь к стенам, чтобы не запачкать ковры, прошла через вторую гостиную, в столовой описала большую кривую возле обеденного стола, зазмеилась по галерее с бегониями, пробежала, незамеченная, под стулом Амаранты, которая учила арифметике Аурелиано Хосе, протекла по кладовой и появилась в кухне, где Урсула, замешивавшая тесто для хлеба, готовилась разбить тридцать шестое яйцо.

— Пресвятая богородица! — вскрикнула Урсула.

И пошла по струйке крови в обратном направлении, чтобы узнать, откуда она появилась,— пересекла кладовую, прошла через галерею с бегониями, где Аурелиано Хосе признавался в том, что три плюс три будет шесть, а шесть плюс три будет девять, пересекла столовую и гостиные и отправилась по улице все прямо и прямо, потом повернула за угол направо, а затем налево и вышла на улицу Турков; так и не заметив, что идет по городу в переднике и шлепанцах, она очутилась на городской площади, вошла в дом, где никогда раньше не бывала, толкнула дверь спальни, и от запаха жженого пороха у нее сперло дыхание, и она увидела сына, лежащего ничком на полу, лицом на крагах — он уже успел их снять,— и увидела, что струйка крови, которая уже перестала течь, брала начало в его правом ухе. На теле Хосе Аркадио не обнаружили ни одной раны и не смогли установить, из какого оружия он убит. Также невозможно оказалось избавить труп от резкого порохового запаха, хотя его обмыли три раза мочалкой с мылом, потом протерли — сначала солью с уксусом, затем золой и лимонным соком, потом положили в бочку с жавелем и оставили там на шесть часов. Наконец тело начало разлагаться, и пришлось поспешить с похоронами. Покойника герметически закрыли в специальном гробу в два метра и тридцать сантиметров длиной и метр десять сантиметров шириной, укрепленном изнутри железными пластинками и завинченном стальными болтами, и, несмотря на все это, запах пороха слышался на всех улицах, по которым двигалась

похоронная процессия. Падре Никанор со вздувшейся, твердой, как барабан, печенью, не сходя с кровати, благословил усопшего. Позже могилу обложили несколькими слоями кирпичей и засыпали все промежутки золой, опилками и негашеной известью, но от кладбища еще много лет разило порохом, пока инженеры банановой компании не покрыли могильный холм железобетонным панцирем. Как только вынесли гроб, Ребека заперла двери дома и погребла себя заживо, одевшись толстой броней презрения ко всему миру, которую не удалось пробить ни одному земному соблазну. Она вышла на улицу лишь однажды, уже совсем старухой, в туфлях цвета старого серебра и шляпе, украшенной крошечными цветочками. Это случилось в то время, когда в Макондо появился Вечный Жид и навлек на город такую жару, что птицы врывались в комнаты сквозь проволочные сетки на окнах и падали мертвыми на пол. Последний раз Ребеку видели в живых в ту ночь, когда она метким выстрелом убила вора, пытавшегося взломать двери ее дома. И затем уже никто, кроме Архениды, ее служанки и наперсницы, с ней не встречался. Одно время стало известно, что Ребека пишет послания епископу, которого считает своим двоюродным братом, но не слышно было, чтобы она получала на них ответы. И город забыл о ней.

Хотя возвращение полковника Аурелиано Буэндиа было триумфальным, он не обольщался видимым благополучием. Правительственные войска покидали крепости, не сопротивляясь, и это создавало у либерально настроенного населения иллюзию победы, которой его не следовало лишать, однако повстанцы знали правду, и лучше, чем кто-либо, знал ее полковник Аурелиано Буэндиа. Под командой у него было более пяти тысяч солдат, он держал в своей власти два прибрежных штата, но понимал, что отрезан от всей остальной страны, прижат к морю и оказался в весьма неопределенном политическом положении, ведь недаром, когда он распорядился восстановить церковную колокольню, разрушенную артиллерией правительственных войск, больной падре Никанор заметил со своего ложа: «Что за нелепость — защитники христовой веры разрушают храм, а масоны приказывают его отстроить». В поисках спасительной лазейки полковник Аурелиано Буэндиа проводил целые часы на телеграфе, совещаясь с командирами других повстанческих группировок, и каждый раз покидал телеграфную контору все более убежденным в том, что война зашла в тупик. О любом успехе повстанцев народу тотчас же сообщали радостными коммюнике, но полковник Аурелиано Буэндиа измерял на картах истинный масштаб этих побед и убеждался, что его славное войско углубляется в сельву, обороняясь от малярии и москитов,— двигается в направлении, обратном тому, в котором следовало бы наступать. «Мы теряем время,— жаловался он своим офицерам.— И будем терять его, пока эти кретины политики вымаливают себе местечко в конгрессе». Во время бессонных ночей, лежа на спине в гамаке, подвешенном в той же комнате, где он недавно ждал расстрела, полковник Аурелиано Буэндиа представлял себе этих одетых в черное законников — как они выходят из президентского дворца в ледяной холод раннего утра, поднимают до ушей воротники, потирают руки, шушукаются и скрываются в мрачных ночных кафе, чтобы обсудить, что хотел в действительности сказать президент, когда сказал «да», или что он хотел сказать, когда сказал «нет», и даже погадать о том, что думал президент, когда сказал совершенно противоположное тому, что думал, а между тем он, полковник Аурелиано Буэндиа, при тридцати пяти градусах жары, отгоняет от себя москитов и чувствует, как неумолимо приближается тот страшный рассвет, с наступлением которого он должен будет дать своим войскам приказ броситься в море.

В одну такую, полную сомнений ночь, услышав голос Пилар Тернеры, распевавшей во дворе с солдатами, он попросил ее погадать. «Береги

рот,— вот все, что Пилар Тернере удалось выведать у карт после того, как она трижды разложила и снова собрала их.— Не понимаю, что это значит, но предупреждение очень ясное — береги рот». Через два дня кто-то дал одному из ординарцев чашку кофе без сахара, тот передал ее другому ординарцу, другой третьему, пока, переходя из рук в руки, она не очутилась в кабинете полковника Аурелиано Буэндиа. Полковник кофе не просил, но раз уж его принесли, взял и выпил. Кофе содержал дозу яда, достаточную, чтобы убить лошадь. Когда полковника Аурелиано Буэндиа принесли домой, его затвердевшие мышцы были сведены судорогой, язык вывалился изо рта. Урсула отвоевала сына у смерти. Очистив ему желудок рвотными, она завернула его в нагретые плюшевые одеяла и два дня кормила яичными желтками, пока измученное тело не приобрело нормальную температуру. На четвертый день полковник был вне опасности. По настоянию Урсулы и офицеров он, вопреки своему желанию, пролежал в постели еще целую неделю. Только в эти дни узнал он, что его стихи не были сожжены. «Мне не хотелось спешить,— объяснила Урсула.— Когда в тот вечер я пошла разжигать печь, я сказала себе: лучше повременить, пока не принесли его мертвым». В тумане выздоровления, окруженный запылившимися куклами Ремедиос, полковник Аурелиано Буэндиа перечитал свои рукописи и вспомнил все решающие моменты своей жизни. Он снова стал писать стихи. За долгие часы болезни, вдали от превратностей зашедшей в тупик войны, он разложил на составные части и зарифмовал опыт, накопленный им в игре со смертью. И тогда мысли его приобрели такую ясность, что он смог читать их слева направо и наоборот. Как-то вечером он спросил полковника Херинельдо Маркеса:

— Скажи мне, друг: за что ты сражаешься?

— За то, за что я и должен, дружище,— ответил полковник Херинельдо Маркес,— за великую партию либералов.

— Счастливый ты, что знаешь. А я вот только теперь разобрался, что сражаюсь из-за своей гордыни.

— Это плохо,— заметил полковник Херинельдо Маркес.

Его беспокойство позабавило полковника Аурелиано Буэндиа.

— Конечно,— сказал он.— Но все же лучше, чем не знать, за что сражаешься.— Он посмотрел товарищу в глаза, улыбнулся и прибавил: — Или сражаться, как ты, за что-то, что ничего ни для кого не значит.

Раньше гордость не позволяла ему искать союза с повстанческими отрядами во внутренних областях страны до тех пор, пока вожди либеральной партии не откажутся публично от своего заявления, что он разбойник. А ведь полковник Аурелиано Буэндиа знал: стоит ему поступиться самолюбием, и порочный круг, по которому движется война, будет разорван. Болезнь предоставила ему возможность поразмыслить. Он уговорил Урсулу отдать ему ее солидные сбережения и остатки дедовского золота из заветного сундучка, назначил полковника Херинельдо Маркеса гражданским и военным правителем Макондо и отбыл из города устанавливать связи с повстанцами внутри страны.

Полковник Херинельдо Маркес не только являлся самым доверенным лицом полковника Аурелиано Буэндиа, но был также принят в доме Урсулы как член семьи. Мягкий, застенчивый, очень воспитанный, он тем не менее больше чувствовал себя на месте в бою, чем в кабинете правителя. Советникам по политическим вопросам ничего не стоило сбить его с толку и завести в лабиринты теории. Но зато он сумел создать в Макондо ту атмосферу деревенской тишины и мира, в которой полковник Аурелиано Буэндиа мечтал умереть на старости лет, занимаясь изготовлением золотых рыбок. Несмотря на то что полковник Херинельдо Маркес жил у своих родителей, он два-три раза в неделю

обедал в доме Урсулы. Он обучил Аурелиано Хосе стрелять, занялся с ним строевой подготовкой и, с разрешения Урсулы, поселил юношу на несколько месяцев в казарме, чтобы сделать из него мужчину. За много лет до этого, будучи почти ребенком, Херинельдо Маркес признался Амаранте в любви. Но она была так увлечена своей неразделенной страстью к Пьетро Креспи, что лишь посмеялась над ним. Херинельдо Маркес решил ждать. Как-то раз, еще находясь в тюрьме, он послал Амаранте записку с просьбой вышить на дюжине батистовых платков инициалы его отца. К записке он приложил деньги. Через семь дней Амаранта принесла ему в тюрьму готовые платки вместе с деньгами, и они несколько часов вспоминали прошлое. «Когда я выйду отсюда, я женюсь на тебе»,— сказал ей Херинельдо Маркес при расставании. Амаранта засмеялась, но, обучая детей читать, думала с тех пор о нем, и ей захотелось воскресить в себе ради него ту юную страсть, которую она испытывала к Пьетро Креспи. По субботам, в день свиданий с арестованными, она заходила к родным Херинельдо Маркеса и вместе с ними шла в тюрьму. В одну из таких суббот Урсула застала дочь на кухне — Амаранта ждала, когда испекутся бисквиты, чтобы отобрать самые лучшие и завернуть в специально для этого вышитую салфетку. Урсула была очень удивлена.

— Иди за него замуж,— посоветовала она.— Вряд ли тебе еще раз встретится такой человек.

Амаранта сделала презрительную мину.

— Очень нужно мне гоняться за мужчинами,— ответила она.— Я несу Херинельдо бисквиты, потому что жалею его, ведь рано или поздно он будет расстрелян.

Она сказала о расстреле, сама в него не веря, но как раз в эту пору правительство опубликовало сообщение, что полковника Херинельдо Маркеса казнят, если мятежные войска не сдадут Риоачу. Свидания с заключенным были отменены. Амаранта скрылась в спальню и обливалась слезами, угнетенная сознанием вины, напоминающим то чувство, что мучило ее, когда умерла Ремедиос,— казалось, ее безответственные слова второй раз накликали смерть. Мать утешила ее, заверила, что полковник Аурелиано Буэндиа обязательно придумает, как помешать расстрелу, и пообещала: вот кончится война, и она сама позаботится, чтобы заманить Херинельдо в дом. Урсула выполнила свое обещание раньше назначенного срока. Когда Херинельдо Маркес снова пришел к ним, облеченный высоким званием гражданского и военного правителя, она встретила его, как родного сына, окружила тонкой лестью, стараясь удержать в доме, и возносила к небу горячие мольбы: пусть он вспомнит о своем намерении взять Амаранту в жены. Просьбы Урсулы, по-видимому, были услышаны. В те дни, когда полковник Херинельдо Маркес приходил в дом Буэндиа обедать, он оставался потом в галерее с бегониями — играть в шашки с Амарантой. Урсула приносила им кофе и бисквиты, а сама смотрела за детьми, чтобы они не мешали. Амаранта усиленно пыталась раздуть в своем сердце покрытые пеплом забвения угли сжигавшей ее в юности страсти. С беспокойством, которое что ни день становилось все более невыносимым, она ждала теперь появления полковника Херинельдо Маркеса за обеденным столом и вечерней партии в шашки. В обществе этого воина с грустным, поэтическим именем [1], пальцы которого неприметно дрожали, передвигая шашки, время летело словно на крыльях. Но в тот день, когда полковник Херинельдо Маркес снова попросил Амаранту стать его женой, она опять отказала ему.

— Я ни за кого не пойду,— сказала Амаранта,— и меньше всего за

[1] Херинельдо — герой испанского народного романса, паж, которого полюбила дочь короля.

тебя. Ты так любишь Аурелиано, что готов жениться на мне, потому что не можешь жениться на нем.

Полковник Херинельдо Маркес был человеком терпеливым. «Я подожду,— сказал он.— Рано или поздно я тебя уговорю». И он продолжал посещать дом. Запершись в своей комнате, подавляя тайный стон, Амаранта затыкала уши пальцами, чтобы не слышать голоса претендента на ее руку, рассказывающего Урсуле последние новости о войне, и умирая от желания увидеть его, она все же находила в себе силы не выйти к нему.

У полковника Аурелиано Буэндиа в ту пору было еще достаточно свободного времени, чтобы каждые две недели посылать в Макондо подробное сообщение о ходе дел. Но Урсуле он написал только один раз, примерно через восемь месяцев после отъезда. Специальный курьер доставил конверт с большой сургучной печатью, в котором лежал листок бумаги, исписанный каллиграфическим почерком полковника: *«Берегите папу — он скоро умрет»*. Урсула встревожилась: «Раз Аурелиано так говорит — значит, он знает». И она попросила помочь ей перенести Хосе Аркадио Буэндиа в спальню. Он был не только такой же тяжелый, как раньше, но за долгие годы сидения под каштаном развил в себе способность по желанию увеличивать свой вес, да так, что шесть мужчин не могли поднять его со скамейки и были вынуждены тащить до кровати волоком. Сильный запах цветущего каштана, грибов и застарелой сырости пропитал воздух спальни, когда в ней обосновался этот огромный, опаленный солнцем и вымоченный дождями старик. На следующее утро его постель оказалась пустой. Обыскав все комнаты, Урсула нашла мужа снова под каштаном. Тогда его привязали к кровати. Несмотря на то что Хосе Аркадио Буэндиа сохранил свою прежнюю силу, он не оказал сопротивления. Ему все было безразлично. Если он и возвратился под каштан, то не потому, что сознательно хотел этого, а потому, что тело его привыкло к месту. Урсула ходила за мужем, носила ему еду, сообщала новости об Аурелиано. Но, по правде говоря, Хосе Аркадио Буэндиа уже в течение долгого времени был способен общаться только с одним человеком — с Пруденсио Агиляром. Почти рассыпающийся от смертной немощи, Пруденсио Агиляр дважды в день приходил беседовать с ним. Они говорили о петухах, собирались устроить вместе питомник, где будут выращивать замечательных птиц,— не для того, чтобы радоваться их победам, они им тогда будут не нужны, а просто чтобы иметь какое-нибудь развлечение во время нескончаемого и нудного воскресного дня смерти. Это Пруденсио Агиляр умывал Хосе Аркадио Буэндиа, кормил его и рассказывал ему интересные новости о каком-то неизвестном, которого звали Аурелиано и который был полковником где-то на войне. Оставшись один, Хосе Аркадио Буэндиа находил утешение в сне о бесконечных комнатах. Ему снилось, что он встает с кровати, открывает дверь и переходит в другую, такую же точно, как эта, комнату, с такой же точно кроватью со спинкой из кованого железа, с тем же плетеным креслом, с тем же маленьким изображением Девы Исцелительницы на задней стене. Из этой комнаты он переходил в другую, точно такую же, дверь которой открывалась в другую, точно такую же, и потом в другую, точно такую же,— и так до бесконечности. Ему нравилось переходить из комнаты в комнату — было похоже, что идешь по длинной галерее меж двух рядов параллельных зеркал... Потом Пруденсио Агиляр трогал его за плечо. Тогда он начинал постепенно просыпаться, возвращаясь вспять, из комнаты в комнату, совершая долгий обратный путь, пока не встречался с Пруденсио Агиляром в той комнате, которая была настоящей. Но однажды ночью, через две недели после того, как Хосе Аркадио Буэндиа переселили на кровать, Пруденсио Агиляр тронул его за плечо, когда он находился в средней комнате, а он не пошел назад и остался

там навсегда, думая, что это и есть настоящая комната. На следующее утро, отправившись к мужу с завтраком, Урсула вдруг увидела, что по коридору навстречу ей идет какой-то мужчина. Он был маленький и коренастый, в платье из черного сукна и в огромной черной шляпе, надвинутой на печальные глаза. «Господи боже мой,— подумала Урсула.— Я могла бы поклясться, что это Мелькиадес». Но это был Катауре, брат Виситасьон, который бежал из дома, спасаясь от эпидемии бессонницы, и с тех пор пропал без вести. Виситасьон спросила, почему он вернулся, и он ответил на торжественном и звучном языке своего племени:

— Я пришел на погребение короля.

Тогда вошли в комнату Хосе Аркадио Буэндиа, стали изо всех сил трясти его, кричали ему прямо в уши, поднесли зеркало к его ноздрям, но так и не смогли разбудить его. Немного позже, когда столяр снимал с покойника мерки для гроба, увидели, что за окном идет дождь из крошечных желтых цветов. Всю ночь они низвергались на город, подобно беззвучному ливню — засыпали все крыши, завалили двери, удушили животных, спавших под открытым небом. Нападало столько цветов, что поутру весь Макондо был выстлан ими, как плотным ковром,— пришлось пустить в ход лопаты и грабли, чтобы расчистить дорогу для похоронной процессии.

■

Амаранта сидела в плетеной качалке, опустив на колени вышивание, и глядела на Аурелиано Хосе, который, густо намазав щеки и подбородок мыльной пеной, наточил бритву о ремень из сыромятной кожи и впервые в жизни приступил к бритью. Пытаясь придать светлому пушку форму усов, он содрал себе прыщи и порезал верхнюю губу и остался точно таким же, каким был, однако сложная процедура бритья оставила у Амаранты впечатление, что именно с этого момента Аурелиано Хосе начал стареть.

— Ты вылитый Аурелиано в твои годы,— сказала она.— Ты уже мужчина.

Мужчиной он стал давно, с того далекого дня, когда Амаранта, все еще считавшая его ребенком, принялась, как обычно, раздеваться в купальне у него на глазах. Она привыкла это делать с тех пор, как Пилар Тернера отдала мальчика ей на воспитание. В первый раз его заинтересовала только глубокая впадина между ее грудями. Он был еще настолько невинным, что спросил Амаранту, почему с ней такое случилось, и она ответила: «Копали, копали и выкопали»,— и показала рукой, как это делали. Много времени спустя, когда она, оправившись после смерти Пьетро Креспи, снова стала мыться вместе с Аурелиано Хосе, он уже не обратил внимания на впадину, но вид ее пышных грудей с коричневыми сосками вызвал у него неведомую доселе дрожь. Еще совсем малышом Аурелиано Хосе взял за привычку перебегать чуть свет из своего гамака в постель к Амаранте, близость которой обладала свойством отгонять страхи, порожденные темнотой. Но после того дня, когда он обратил внимание на ее нагое тело, уже не боязнь темноты побуждала мальчика забираться под сетку от москитов на кровати Амаранты, а жгучее желание ощущать тепло ее дыхания на заре. Потом они не только спали вместе, обнаженные, предаваясь изнуряющим ласкам, но прятались по углам и в любой час запирались в спальне, охваченные постоянным, неутихающим возбуждением. Один раз Урсула чуть было не застала их врасплох — она вошла в кладовую, где они только поцеловались. «Ты очень любишь свою тетю?» — простодушно спросила она Аурелиано Хосе. Он ответил утвердительно. «Хорошо делаешь»,— заметила Урсула, отмерила муки для хлеба и вернулась в кухню. Это небольшое происшествие отрезвило Амаранту. Она поняла, что зашла слишком далеко и уже не просто играет в поцелуи с ребенком, а идет по

зыбкой трясине поздней страсти, страсти опасной и не имеющей будущего,— тогда она сразу же и бесповоротно положила конец всему. Аурелиано Хосе, завершавший в то время свою строевую подготовку, был вынужден примириться со случившимся и стал ночевать в казарме. По субботам он вместе с солдатами ходил в заведение Катарино.

Вскоре после этого сообщения о ходе войны, поступавшие в Макондо, сделались противоречивыми. Хотя само правительство официально признавало, что повстанцы одерживают победу за победой, офицеры в Макондо располагали секретными сведениями о неизбежности капитуляции. В первых числах апреля к полковнику Херинельдо Маркесу прибыл нарочный. Он подтвердил, что и в самом деле руководители партии либералов вступили в переговоры с вождями повстанческих отрядов внутренних областей страны, вскоре должно быть подписано перемирие: либералы получат три министерских портфеля, будет создано либеральное меньшинство в парламенте и объявлена амнистия для повстанцев, которые сложат оружие. Нарочный доставил совершенно секретный приказ полковника Аурелиано Буэндиа, не согласного с условиями перемирия. Полковнику Херинельдо Маркесу предписывалось отобрать пять своих самых надежных людей и быть готовым вместе с ними покинуть страну. Приказ выполнили в строжайшей тайне. За неделю до официального объявления перемирия, когда в Макондо потоком хлынули самые разноречивые слухи, полковник Аурелиано Буэндиа и десять преданных ему офицеров, в их числе был Роке Мясник, скрытно, под покровом ночи, явились в город, распустили по домам гарнизон, закопали оружие и уничтожили архивы. На рассвете они ушли из Макондо вместе с полковником Херинельдо Маркесом и его пятью людьми. Операция была проведена так быстро и бесшумно, что Урсула узнала о ней лишь в самую последнюю минуту, когда кто-то постучал тихонько в окно ее спальни и прошептал: «Если хотите видеть полковника Аурелиано Буэндиа, выходите скорей». Урсула соскочила с кровати и, как была в ночной рубашке, бросилась на улицу, но уже никого не встретила, только донесся из темноты топот мчащихся во весь опор лошадей — кавалькада, окруженная облаком пыли, покидала Макондо. Лишь на следующий день Урсула обнаружила, что Аурелиано Хосе уехал вместе со своим отцом.

Спустя десять дней после того, как правительство и оппозиция огласили совместное коммюнике об окончании войны, пришли известия о первом восстании, поднятом полковником Аурелиано Буэндиа на западной границе. Немногочисленные и плохо вооруженные отряды повстанцев были рассеяны меньше чем за одну неделю. Но в течение года, пока либералы и консерваторы делали все возможное, чтобы страна поверила в их примирение, полковник Аурелиано Буэндиа организовал еще семь вооруженных выступлений. Однажды ночью он открыл с борта шхуны пушечную пальбу по Риоаче, в ответ на это военные из гарнизона Риоачи вытащили из постелей и расстреляли четырнадцать самых известных либералов города. Полковник Аурелиано Буэндиа захватил пограничный таможенный пост, удерживал его более пятнадцати дней и оттуда обратился к нации с призывом начать всеобщую войну. В другой раз он проблуждал три месяца по сельве, пытаясь осуществить нелепейший план — пройти около тысячи пятисот километров по первобытной чаще, чтобы открыть военные действия в пригородах самой столицы. Однажды он очутился меньше чем в двадцати километрах от Макондо, но передовые отряды правительственных войск потеснили его и заставили углубиться в горы — в те места, что лежали совсем близко от заколдованной поляны, на которой много лет тому назад его отец обнаружил остов испанского галиона.

Именно в ту пору умерла Виситасьон. Умерла естественной смертью,

как ей и хотелось, ведь ради этого она отказалась от трона, боясь преждевременно погибнуть от эпидемии бессонницы. Ее последняя воля состояла в том, чтобы из-под циновки на ее кровати вынули деньги, скопленные ею более чем за двадцать лет службы, и отослали полковнику Аурелиано Буэндиа на продолжение войны. Но Урсула даже не прикоснулась к этим деньгам, потому что прошел слух, будто полковник Аурелиано Буэндиа погиб при высадке на побережье около главного города провинции. Официальное сообщение о его смерти — четвертое по счету за последние два года — считалось достоверным в течение почти шести месяцев, так как ни одной вести о полковнике Аурелиано Буэндиа больше не поступало. И вот, когда Урсула и Амаранта уже объявили новый траур, хотя сроки предыдущих еще не истекли, в Макондо пришло потрясающее известие. Полковник Аурелиано Буэндиа жив, но, по всей видимости, отказался бороться с правительством своей страны и присоединился к федералистам, победоносно сражающимся в других республиках Карибского моря. Он появлялся под чужими именами и с каждым разом все дальше от родной земли. Позже выяснится, что в то время он был воодушевлен идеей объединить все федералистские силы Центральной Америки и смести правительства консерваторов на всем континенте — от Аляски до Патагонии. Первая весточка, полученная Урсулой непосредственно от сына, пришла через несколько лет после того, как он оставил Макондо: это было измятое письмо с расплывшимися буквами — его передавали из рук в руки от самого Сантьяго-де-Куба.

— Мы навсегда потеряли Аурелиано,— воскликнула Урсула, прочитав письмо.— Если так пойдет и дальше, то рождество он будет встречать где-нибудь на краю света.

Человек, к которому были обращены эти слова и которому Урсула показала письмо раньше, чем всем остальным, был генерал-консерватор Хосе Ракель Монкада, по окончании войны алькальд Макондо. «Ах, этот Аурелиано, как жаль, что он не консерватор»,— заметил генерал Монкада. Он действительно восхищался полковником Аурелиано Буэндиа. Как многие штатские люди из партии консерваторов, Хосе Ракель Монкада, защищая партийные интересы, принял участие в войне и на полях сражений получил звание генерала, хотя у него не было ни малейшей склонности к военной службе. И даже напротив — генерал Монкада, подобно многим из его сотоварищей по партии, был убежденным противником военщины. Считал военных беспринципными лодырями, интриганами и карьеристами, любителями половить рыбку в мутной воде. Интеллигентный, приятный, жизнерадостный, любящий вкусно поесть и фанатичный приверженец петушиных боев, генерал Хосе Ракель Монкада был одно время самым опасным противником Аурелиано Буэндиа. Ему удалось завоевать авторитет среди свежеиспеченных военных в обширном районе побережья. Однажды, когда стратегические соображения вынудили его сдать какую-то крепость войскам полковника Аурелиано Буэндиа, перед уходом он оставил ему два письма. В одном, более пространном, генерал предлагал организовать совместную кампанию за гуманные методы ведения войны. Другое письмо было адресовано супруге генерала, которая жила на территории, занятой повстанцами, и в приложенной записке генерал просил передать его по назначению. С тех пор даже в самые кровавые периоды войны оба командующих заключали перемирия для обмена пленными. Генерал Монкада использовал эти паузы, проникнутые каким-то праздничным духом, для того, чтобы учить полковника Аурелиано Буэндиа игре в шахматы. Они стали большими друзьями. И даже подумывали о возможности согласовать действия простых людей в обеих партиях и таким образом уничтожить влияние военщины и профессиональных политиканов и установить

гуманный строй, в котором найдет применение все лучшее из доктрины каждой партии. Когда война кончилась, полковник Аурелиано Буэндиа скрылся в извилистых ущельях нескончаемой диверсионной деятельности, а генерал Монкада был назначен коррехидором Макондо. Он переоделся в штатское платье, заменил солдат безоружными полицейскими, обязал уважать законы об амнистии и оказал помощь семьям некоторых либералов, погибших в бою. Добился объявления Макондо центром муниципального округа и, превратившись из коррехидора в алькальда, наладил в городе такую спокойную жизнь, что о войне стали вспоминать как о далеком, бессмысленном кошмаре. Вконец изнуренный приступами болезни печени падре Никанор был заменен падре Коронелем, ветераном первой федералистской войны, в Макондо его прозвали Лоботрясом. Бруно Креспи, который женился на Ампаро Москоте и чей магазин игрушек процветал по-прежнему, выстроил в городе театр, и театральные труппы Испании включили Макондо в маршруты своих гастролей. Театр представлял собою обширное помещение без крыши, в нем были деревянные скамьи и бархатный занавес с изображениями греческих масок; билеты продавались в трех, сделанных в виде львиных голов кассах — прямо через разинутые страшные пасти. Тогда же привели в порядок школьные здания. Школу возглавил присланный из одного городка долины старый учитель дон Мельчор Эскалона, ленивых учеников он заставлял ползать на коленях по мощенному булыжником двору, а болтливых — есть жгучий индийский перец, и все это — с одобрения родителей. Аурелиано Второй и Хосе Аркадио Второй, своенравные близнецы Санта Софии де ла Пьедад, одними из первых уселись в классной комнате со своими грифельными досками, мелками и алюминиевыми кружечками, помеченными их именами. Ремедиос, унаследовавшую красоту своей матери, все чаще стали называть Ремедиос Прекрасной. Несмотря на годы, наслоившиеся друг на друга трауры и многочисленные заботы, Урсула все еще не поддавалась старости. При помощи Санта Софии де ла Пьедад она сообщила новый размах производству кондитерских изделий и не только восстановила состояние, потраченное сыном на войну, но еще набила чистым золотом несколько высушенных тыкв и спрятала их в спальне. «Пока бог не лишит меня жизни,— частенько говаривала она,— в этом сумасшедшем доме денег всегда будет хватать». Так обстояли дела, когда Аурелиано Хосе дезертировал из федералистских войск в Никарагуа, законтрактовался матросом на немецкое судно и появился на кухне дома — большой и крепкий, как лошадь, смуглый и волосатый, как индеец, и с тайным решением в душе жениться на Амаранте.

Когда Амаранта увидела его, она сразу поняла, зачем он вернулся, хотя он еще ничего ей не сказал. За столом они не осмеливались смотреть друг на друга. Но через две недели после своего возвращения Аурелиано Хосе в присутствии Урсулы, глядя прямо в глаза Амаранте, сказал: «Я все время думал о тебе». Амаранта его избегала. Старалась с ним не встречаться и не разлучалась с Ремедиос Прекрасной. С тех пор как он вернулся, она стала запирать на щеколду дверь своей спальни, но потом, слыша ночь за ночью, что он спокойно храпит в соседней комнате, она забыла об этой предосторожности. Однажды, почти через два месяца после его приезда, Амаранта почувствовала, что он вошел в спальню. И тогда, вместо того чтобы убежать или крикнуть, она замерла, испытывая сладкое чувство успокоения. С этой ночи возобновились их безмолвные и безрезультатные сражения, продолжавшиеся до самого утра. На заре Аурелиано Хосе уходил, чтобы ночью прийти снова, и, видя незапертую дверь, с каждым разом возбуждался все больше. Ведь он так никогда и не переставал желать Амаранты. Он бежал из дому, пытаясь уничтожить память о ней с помощью расстояния и той

дурманящей жестокости, которую его товарищи по оружию называли бесстрашием; но чем больше марал он ее образ в дерьме войны, тем больше война напоминала ему об Амаранте. Так он и мучился в изгнании, ища смерти, чтобы таким образом избавиться от Амаранты, пока однажды не услышал старый анекдот про то, как один человек женился на собственной тетке, которая приходилась ему еще и двоюродной сестрой, и сын его оказался самому себе дедушкой.

— Разве можно жениться на родной тетке? — спросил удивленный Аурелиано Хосе.

— Не только на тетке,— ответил ему один из солдат.— Ведь ради чего воюем мы против попов? Чтобы каждый мог жениться хоть на собственной матери.

Через две недели после этого разговора Аурелиано Хосе дезертировал... «Ты животное,— говорила загнанная его преследованиями Амаранта.— Разве ты не знаешь, что жениться на тетке можно только с разрешения папы римского?» Аурелиано Хосе обещал отправиться в Рим, проползти на коленях через всю Европу и поцеловать туфлю его святейшеству, лишь бы Амаранта опустила свои подъемные мосты.

— Дело не только в разрешении,— отбивалась Амаранта.— Ведь от этого дети рождаются со свиными хвостами.

Аурелиано Хосе был глух к любым ее доводам.

— Да пусть хоть крокодилы родятся,— умолял он.

Однажды на заре, побежденный муками неудовлетворенного желания, он отправился в заведение Катарино. Там он нашел дешевую, ласковую женщину с обвисшими грудями, на время успокоившую его страдания. Теперь он пытался одолеть Амаранту напускным презрением. Проходя по галерее, где она шила на швейной машине, с которой управлялась удивительно ловко, он не удостаивал ее ни одним словом. Амаранта почувствовала, словно у нее гора с плеч свалилась, и вдруг, сама так и не поняв отчего, снова стала думать о Херинельдо Маркесе, вспоминать с тоской вечерние партии в шашки, и ей даже захотелось увидеть его в своей спальне. Аурелиано Хосе и не представлял себе, как много он потерял из-за своей ошибочной тактики. Однажды ночью, не в силах играть дальше роль безразличного, он снова пришел в комнату Амаранты. Она отвергла его с непоколебимой решительностью и навсегда задвинула щеколду на двери спальни.

Через несколько месяцев после возвращения в Макондо Аурелиано Хосе в дом пришла пышнотелая, благоухающая жасмином женщина, с ребенком лет пяти. Женщина заявила, что это сын полковника Аурелиано Буэндиа и она хочет, чтобы Урсула окрестила его. Происхождение безымянного дитяти ни у кого не вызвало сомнения: он был точно такой же, как полковник в те времена, когда его водили смотреть на лед. Женщина рассказала: мальчик родился с открытыми глазами и взирал на окружающих с видом превосходства, что ее пугает его обыкновение пристально, не мигая, смотреть на предметы. «Вылитый отец,— сказала Урсула.— Не хватает только одного: чтобы от его взгляда стулья сами собой двигались». Мальчика окрестили именем Аурелиано и дали ему фамилию матери — по закону он не мог носить фамилии отца до тех пор, пока тот его не признает. Крестным отцом был генерал Монкада. Амаранта требовала оставить ребенка ей, но мать не согласилась.

Раньше Урсула никогда не слышала про обычай посылать девушек в спальню к прославленным воинам, как пускают кур к породистым петухам, но в течение этого года твердо убедилась в его существовании: еще девять сыновей полковника Аурелиано Буэндиа были доставлены к ней в дом для крестин. Старшему из них, темноволосому, странному мальчику с зелеными глазами, который ничем не походил на отцовскую семью, было уже больше десяти лет. Приводили детей разного возраста,

разной масти, но всегда это были мальчики и вид у них был такой одинокий, что не могло быть никакого сомнения в их родстве с Буэндиа. Из всей вереницы Урсула запомнила только двоих. Один, очень крупный для своих лет мальчишка, превратил в кучу осколков ее цветочные вазы и несколько тарелок — руки его, казалось, обладали свойством бить на куски все, с чем они соприкасались. Другой был блондин с материнскими серовато-синими глазами и волосами, как у девочки — длинными и в локонах. Он вошел в дом с таким видом, будто все здесь уже знал, будто здесь он и вырос, направился прямо к ларю в спальне Урсулы и объявил: «Я хочу заводную балерину». Урсула даже испугалась. Открыла ларь, покопалась среди старых, пропыленных вещей времен Мелькиадеса и нашла завернутую в пару старых чулок балерину, ее принес как-то раз Пьетро Креспи, и все давным-давно о ней забыли. Не прошло и двенадцати лет, как уже все сыновья, которых полковник Аурелиано Буэндиа разбросал вдоль и поперек тех земель, куда его приводила война, получили имя Аурелиано и фамилии своих матерей: сыновей было семнадцать. Первое время Урсула набивала им карманы деньгами, а Амаранта порывалась оставить мальчиков при себе. Но потом Урсула и Амаранта стали ограничиваться каким-нибудь подарком и ролью крестных матерей. «Мы выполняем свой долг уже тем, что крестим их,— говорила Урсула, записывая в особую книжечку фамилию и адрес очередной матери, дату и место рождения ребенка.— Аурелиано должен иметь свою бухгалтерию в полном порядке, ведь ему же придется решать их судьбу, когда он возвратится». Как-то раз за обедом, обсуждая с генералом Монкадой эту вызывающую тревогу плодовитость, Урсула выразила желание, чтобы полковник все-таки когда-нибудь вернулся и собрал всех своих сыновей в дом.

— Не беспокойтесь, кума,— загадочно ответил генерал Монкада.— Он вернется раньше, чем вы думаете.

Тайна, которую знал генерал Монкада и не пожелал открыть во время обеда, заключалась в том, что полковник Аурелиано Буэндиа уже находился в пути на родину, чтобы возглавить самое долгое, решительное и кровавое восстание из всех поднятых им до тех пор.

Положение вновь стало таким же напряженным, как в месяцы, предшествовавшие первой войне. Петушиные бои, вдохновителем которых являлся сам алькальд, были отменены. Командующий гарнизоном капитан Акилес Рикардо фактически взял на себя и функции гражданской власти. Либералы объявили его провокатором. «Должно случиться что-то ужасное,— говорила Урсула Аурелиано Хосе.— Не выходи на улицу после шести вечера». Мольбы ее были бесполезны. Аурелиано Хосе так же, как в былые времена Аркадио, перестал принадлежать ей. Казалось, что возвращение домой, возможность существовать без трудов и забот пробудили в нем призвание к чувственным наслаждениям и лень, отличавшие его дядю — Хосе Аркадио. Страсть Аурелиано Хосе к Амаранте угасла, не оставив на его сердце никаких шрамов. Он словно плыл по воле волн: играл в бильярд, искал спасения от своего одиночества у случайных женщин, шарил по тайникам, где Урсула хранила свои накопления. И наконец стал заглядывать домой только для того, чтобы переодеться. «Все они одинаковы,— жаловалась Урсула.— Поначалу растут спокойно, слушаются, серьезные, вроде бы и мухи не обидят, но только появится пушок на подбородке, как сразу же их к греху тянет». Не в пример Аркадио, который так и не выяснил своего истинного происхождения, Аурелиано Хосе узнал, что его матерью была Пилар Тернера, она даже повесила ему у себя гамак — для послеобеденного сна. Они были не просто матерью и сыном, а товарищами по одиночеству. В душе Пилар Тернеры угасли последние искры надежды. Ее смех стал гортанным, как звучание органа, от случайных, немилых ласк опали груди, живот и ляж-

ки постигла неизбежная для публичной женщины судьба, но сердце Пилар Тернеры старилось без горечи. Растолстевшая, болтливая, тщеславная, как впавшая в немилость фаворитка, она отказалась от карточных гаданий, внушавших бесплодные надежды, и обрела тихую заводь, утешаясь чужой любовью. Дом, где Аурелиано Хосе проводил сьесту, был местом встреч соседских девушек с их случайными возлюбленными. «Пусти меня к себе, Пилар»,— без церемоний говорили они уже после того, как входили в комнату. «Сделайте милость»,— отвечала Пилар. И если при этом был еще кто-нибудь, объясняла:

— Когда я вижу, что людям хорошо в постели, мне и самой хорошо.

Она никогда не брала денег за услуги. Никогда не отказывала в просьбе, как никогда не отказывала бесчисленным мужчинам, домогавшимся ее ласк до поздних сумерек ее зрелости, не принося ей ни денег, ни любви, и лишь изредка — удовольствие. Пять дочерей Пилар Тернеры, которые унаследовали пламенную кровь матери, еще подростками разбрелись по туманным дорогам жизни. Из двух сыновей, выросших у нее в доме, один погиб, сражаясь под знаменами полковника Аурелиано Буэндиа, а другой, когда ему исполнилось четырнадцать лет, был ранен и схвачен при попытке украсть корзину с курами в одном из городков долины. Аурелиано Хосе оказался, в известном роде, тем самым высоким, смуглым мужчиной, которого в течение полувека сулил Пилар Тернере король червей, но как все те, кого обещали карты, он вошел в ее сердце слишком поздно, когда смерть уже отметила его своим знаком. Пилар Гернера прочла это в картах.

— Не уходи сегодня вечером,— сказала она ему.— Спи здесь, Кармелита Монтьель давно просит пустить ее к тебе.

Аурелиано Хосе не уловил тревожной мольбы, прозвучавшей в словах матери.

— Скажи, чтобы ждала меня в полночь,— ответил он.

И отправился в театр, где испанская труппа ставила пьесу «Кинжал Сорро», на самом деле это была трагедия Соррильи [1], но название ее изменили по приказу капитана Акилеса Рикардо, потому что «готами» либералы называли консерваторов. Уже в дверях, предъявляя билет, Аурелиано Хосе заметил, что капитан Акилес Рикардо с двумя вооруженными солдатами обыскивает всех входящих. «Полегче, капитан,— предупредил Аурелиано Хосе.— Еще не родился тот человек, который поднимет на меня руку». Капитан пытался обыскать его силой, Аурелиано Хосе, не имевший при себе оружия, бросился бежать. Солдаты не повиновались приказу и не выстрелили. «Ведь это Буэндиа»,— пояснил один из них. Тогда взбешенный капитан схватил винтовку, прорвался через толпу на середину улицы и прицелился.

— Трусы! — заорал он.— Дай бог, если бы это был сам полковник Аурелиано Буэндиа.

Кармелита Монтьель, двадцатилетняя девственница, только что обтерлась цветочной водой и посыпала лепестками розмарина кровать Пилар Тернеры, когда раздался выстрел. Судя по тому, что говорили карты, Аурелиано Хосе было предначертано познать с нею счастье, в котором ему отказала Амаранта, вырастить вместе шестерых детей и, достигнув старости, умереть в ее объятьях, но пуля, которая вошла ему в спину и пробила грудь, очевидно, плохо разбиралась в предсказаниях карт. Зато капитан Акилес Рикардо, тот, кому было предначертано умереть этой ночью, действительно умер, и на четыре часа раньше, чем Аурелиано Хосе. Как только прогремел выстрел, капитан тоже упал, пораженный сразу двумя пулями,— откуда они вылетели, установить так никогда и не удалось,— и многоголосый крик потряс ночной мрак:

[1] Одна из трагедий испанского поэта и драматурга Хосе Соррильи (1817—1893) называется «Кинжал гота».

— Да здравствует либеральная партия! Да здравствует полковник Аурелиано Буэндиа!

К двенадцати часам ночи, когда рана Аурелиано Хосе уже перестала кровоточить и карты с грядущей судьбой Кармелиты Монтьель были перетасованы, более четырехсот человек прошли перед театром и разрядили свои револьверы в валяющийся на мостовой труп капитана Акилеса Рикардо. Понадобилось несколько солдат, чтобы переложить на тачку отяжелевшее от свинца тело, которое разваливалось, как намокший хлеб.

Возмущенный наглым поведением правительственных войск, генерал Хосе Ракель Монкада, использовав все свои политические связи, снова надел военную форму и принял на себя гражданскую и военную власть в Макондо. Однако он не рассчитывал на то, что его миротворческая деятельность сможет предотвратить неизбежное. Сентябрьские сообщения были противоречивыми. Правительство заявляло, что оно контролирует всю страну, а к либералам поступали секретные сведения о вооруженных восстаниях во внутренних штатах. Власти признали состояние войны только тогда, когда обнародовали декрет, извещавший, что военный трибунал заочно приговорил полковника Аурелиано Буэндиа к смертной казни. Первый же гарнизон, которому удастся захватить полковника в плен, должен привести приговор в исполнение. «Значит, он вернулся»,— радостно сказала Урсула генералу Монкаде. Но тот пока не имел об этом никаких сведений.

На самом деле полковник Аурелиано Буэндиа возвратился в страну уже больше месяца тому назад. Появлению его сопутствовали самые разнообразные слухи, согласно которым он находился одновременно в нескольких, отстоящих на сотни километров друг от друга местах, и поэтому даже сам генерал Монкада не верил в его возвращение до тех пор, пока не было официально объявлено, что полковник Аурелиано Буэндиа захватил два прибрежных штата. «Поздравляю вас, кума,— сказал генерал Монкада Урсуле.— Очень скоро вы его увидите здесь». Лишь тогда Урсула впервые забеспокоилась.

— А вы, кум, что вы будете делать? — спросила она.

Генерал Монкада уже много раз задавал себе этот вопрос.

— То же, что и он, кума: выполнять мой долг.

Первого октября на рассвете полковник Аурелиано Буэндиа с тысячью хорошо вооруженных солдат атаковал Макондо,— гарнизон получил приказ сопротивляться до конца. В полдень, когда генерал Монкада обедал с Урсулой, залп артиллерии мятежников, прогремевший во всем городе, превратил в пыль фасад муниципального казначейства. «Они вооружены не хуже нас,— вздохнул генерал Монкада,— да к тому же сражаются с большей охотой». В два часа дня, когда уже земля дрожала от артиллерийской перестрелки, он простился с Урсулой в полной уверенности, что ведет битву, заранее обреченную на поражение.

— Молю бога, чтобы Аурелиано не оказался в этом доме уже сегодня вечером,— сказал он.— Но если так случится, обнимите его за меня, потому что, я думаю, мне его больше не видать.

Этой же ночью генерала Монкаду схватили, когда он пытался бежать из Макондо, написав предварительно большое письмо, в котором он напоминал полковнику Аурелиано Буэндиа об их общих намерениях сделать войну более гуманной и желал ему одержать решительную победу над коррупцией военных и честолюбивыми притязаниями политиканов обеих партий. На следующий день полковник Аурелиано Буэндиа обедал вместе с генералом Монкадой в доме Урсулы, где генерала содержали под арестом, пока военно-революционный трибунал не решит его судьбу. Это была мирная встреча в семейном кругу. Но в то время как противники, позабыв войну, отдавались воспоминаниям о прошлом,

Урсула не могла избавиться от мрачного впечатления, что ее сын вернулся на родину захватчиком. Оно возникло с той минуты, когда он в первый раз переступил порог дома в сопровождении многочисленной охраны, которая перевернула вверх дном все комнаты, чтобы убедиться в полном отсутствии какой-либо опасности. Полковник Аурелиано Буэндиа не только допустил это, но не терпящим возражения тоном сам отдавал приказания и не разрешил ни одному человеку, даже Урсуле, подойти к нему ближе, чем на три метра, пока вокруг дома не расставили часовых. На нем была военная форма из грубой хлопчатобумажной ткани и без всяких знаков различия и высокие сапоги со шпорами, испачканные грязью и запекшейся кровью. Кобура висевшего на поясе крупнокалиберного револьвера была расстегнута, и в пальцах полковника Аурелиано Буэндиа, все время напряженно опиравшихся на рукоятку, читались те же самые настороженность и решительность, что и в его взгляде. Голова его, теперь уже с глубокими залысинами, казалась высушенной на медленном огне. Разъеденное солью Карибского моря лицо приобрело металлическую твердость. Он был защищен от неизбежного старения жизненной силой, имевшей немало общего с внутренней холодностью. Теперь он казался выше ростом, бледнее, костистее, чем прежде, и впервые чувствовалось, что он пытается сопротивляться своей тоске по дому и близким. «Боже мой,— подумала встревоженная Урсула.— Он выглядит, как человек, способный на все». Таким он и был. Ацтекская шаль, которую он привез для Амаранты, его воспоминания за столом, его веселые анекдоты — все это лишь отдаленно напоминало о прежнем Аурелиано, как угли, покрытые золой, напоминают об огне. Еще не успели похоронить в общей могиле убитых, а он уже приказал полковнику Роке Мяснику торопиться с военным трибуналом, сам же взялся за изнурительное дело проведения радикальных реформ, которые бы не оставили камня на камне от колеблющегося здания режима консерваторов. «Мы должны опередить политиканов либеральной партии,— говорил он своим помощникам.— Когда они наконец посмотрят вокруг трезвыми глазами, все уже будет сделано». Именно в это время он решил проверить права на землю, зарегистрированные в течение последних пяти лет, и обнаружил освященный законом грабеж, которым занимался его брат Хосе Аркадио. Росчерком пера он аннулировал записи и, чтобы отдать последнюю дань вежливости, отложил на час все дела и пошел к Ребеке — сообщить о своем решении.

В полутьме гостиной одинокая вдова — былая поверенная его тайной любви, та, чье упорство спасло ему жизнь, показалась ему призрачным выходцем из прошлого. Эта женщина, укутанная в черное до самых запястий, с сердцем, давно превратившимся в золу, наверное, не знала даже о том, что идет война. Было такое впечатление, словно фосфоресцирование ее костей просвечивает через кожу и Ребека движется сквозь воздух, полный блуждающих огней; в этом застоявшемся, как болотная вода, воздухе все еще чувствовался легкий запах пороха. Полковник Аурелиано Буэндиа начал с того, что посоветовал ей сделать свой траур менее строгим, открыть в доме окна и простить людям смерть Хосе Аркадио. Но Ребеке уже не нужны были суетные мирские радости. После того как она тщетно искала их в терпком вкусе земли, в надушенных письмах Пьетро Креспи, на бурном ложе своего мужа, она наконец обрела покой в этом доме, где образы минувшего, вызываемые неумолимым воображением, облекались в плоть и бродили, словно человеческие существа, по замурованным комнатам. Откинувшись в плетеной качалке, Ребека разглядывала полковника Аурелиано Буэндиа так, будто это он походил на призрак, явившийся из прошлого, она не выказала никакого волнения, услышав, что присвоенные Хосе Аркадио земли будут возвращены их законным владельцам.

— Делай что хочешь, Аурелиано,— вздохнула она.— Ты не любишь своих родственников, я всегда так считала и теперь вижу, что не ошиблась.

Пересмотр прав на земли был закончен одновременно с военно-полевыми судами, они проходили под председательством полковника Херинельдо Маркеса и завершились расстрелом всех офицеров, взятых в плен повстанцами. Последним судили генерала Хосе Ракеля Монкаду. Урсула вступилась за него. «Это лучший из всех правителей, которые были у нас в Макондо,— сказала она полковнику Аурелиано Буэндиа.— Не стану уж говорить тебе о его доброте, его любви к нашей семье, ты это сам знаешь лучше других». Полковник Аурелиано Буэндиа устремил на нее осуждающий взгляд.

— Я не уполномочен вершить правосудие,— возразил он.— Если у вас есть что сказать, скажите это перед военным судом.

Урсула не только так и поступила, но привела с собой матерей повстанческих офицеров, уроженцев Макондо. Одна за другой эти старейшие жительницы города — кое-кто из них даже принимал участие в смелом переходе через горный хребет — восхваляли достоинства генерала Монкады. Последней в процессии была Урсула. Ее печальный, исполненный достоинства вид, уважение к ее имени, горячая убежденность, прозвучавшая в ее словах, на мгновение поколебали весы правосудия. «Вы очень серьезно отнеслись к этой страшной игре и правильно сделали — вы исполняли свой долг,— сказала она членам трибунала.— Но не забывайте: пока мы живем на свете, мы остаемся вашими матерями и, будь вы хоть сто раз революционеры, имеем право спустить с вас штаны и отлупить ремнем при первом же к нам неуважении». Когда суд удалился на совещание, в воздухе классной комнаты, превращенной в казарму, еще звучали эти слова. В полночь генерал Хосе Ракель Монкада был приговорен к смерти. Несмотря на ожесточенные упреки Урсулы, полковник Аурелиано Буэндиа отказался смягчить кару. Незадолго до рассвета он пришел к осужденному — в комнату, где стояли колодки.

— Помни, кум,— сказал он ему,— тебя расстреливаю не я. Тебя расстреливает революция.

Генерал Монкада даже не встал с койки при его появлении.

— Пошел ты к чертовой матери, кум,— ответил он.

С самого своего возвращения и вплоть до этой минуты полковник Аурелиано Буэндиа не позволял себе взглянуть на генерала Монкаду с участием. Теперь он удивился его постаревшему виду, дрожащим рукам и какой-то будничной покорности, с которой генерал ждал смерти, и почувствовал глубокое презрение к себе, но спутал его с пробуждающимся состраданием.

— Ты знаешь не хуже меня,— сказал он,— что всякий военный трибунал — это фарс, на самом деле тебе приходится расплачиваться за преступления других. На этот раз мы решили выиграть войну любой ценой. Разве ты на моем месте не поступил бы так же?

Генерал Монкада встал, чтобы протереть полой рубашки свои толстые очки в черепаховой оправе. «Вероятно,— заметил он.— Но меня огорчает не то, что ты собираешься меня расстрелять, в конце концов для людей, как мы, это естественная смерть.— Он положил очки на постель и снял с цепочки часы.— Меня огорчает,— добавил он,— что после того, как ты так долго ненавидел профессиональных вояк, так боролся с ними, так их проклинал, ты сам превратился в им подобного. И ни одна идея в мире не может служить оправданием такой низости». Он снял обручальное кольцо и образок Девы-Исцелительницы и положил их рядом с очками и часами.

— Если так пойдет и дальше,— заключил он,— ты не только станешь самым деспотичным и кровавым диктатором в истории нашей

страны, но и расстреляешь мою куму Урсулу, чтобы успокоить свою совесть.

Полковник Аурелиано Буэндиа даже бровью не повел. Тогда генерал Монкада передал ему очки, образок, часы и кольцо и сказал уже другим тоном:

— Но я позвал тебя не для того, чтобы ругать. Я хотел попросить тебя отправить это моей жене.

Полковник Аурелиано Буэндиа опустил вещи к себе в карман.

— Она все еще в Манауре?

— В Манауре,— подтвердил генерал Монкада,— в том же доме за церковью, куда ты посылал прошлое письмо.

— Я сделаю это с большим удовольствием, Хосе Ракель,— сказал полковник Аурелиано Буэндиа.

Когда он вышел на улицу — в голубоватый туман, лицо его сразу стало влажным, как во время того, другого рассвета, и лишь тут он понял, почему распорядился привести приговор в исполнение во дворе казармы, а не у кладбищенской стены. Выстроенное напротив двери отделение приветствовало его так, как полагается приветствовать главу государства.

— Можете выводить,— приказал он.

■

Полковник Херинельдо Маркес первым почувствовал пустоту войны. Как гражданский и военный правитель Макондо он дважды в неделю сносился по телеграфу с полковником Аурелиано Буэндиа. Сначала их переговоры определяли ход некой действительно идущей войны, ясно видимые очертания ее позволяли в любой момент установить, на каком этапе она находится, и предусмотреть, в каком направлении будет развиваться. Хотя полковник Аурелиано Буэндиа не допускал откровенности даже с самыми близкими друзьями, в те времена он еще сохранял с ними простой, непринужденный тон, по которому его сразу можно было узнать на другом конце линии. Нередко он без видимой нужды затягивал переговоры и позволял им вылиться в обмен домашними новостями. Но по мере того, как война охватывала все большую и большую территорию и становилась все ожесточеннее, его образ понемногу тускнел, отодвигаясь в область нереального. Точки и тире голоса становились с каждым разом все более далекими и неуверенными, сочетаясь и комбинируясь, и теперь образовывали слова, постепенно терявшие всякий смысл. Когда это происходило, полковник Херинельдо Маркес ограничивался только тем, что слушал, испытывая тягостное чувство, будто он общается по телеграфу с каким-то незнакомцем из другого мира.

— Понятно, Аурелиано,— выстукивал он в завершение телеграфным ключом.— Да здравствует партия либералов!

Кончилось тем, что полковник Херинельдо Маркес совершенно оторвался от войны. Раньше война была для него непосредственным действием, необоримой страстью его молодости, теперь она превратилась в поступающие издалека сообщения — в пустоту. Единственным его прибежищем стала рабочая комната Амаранты. Он появлялся там каждый вечер. Ему нравилось глядеть на руки Амаранты, как они закладывают в складки белоснежное голландское полотно, пока Ремедиос Прекрасная крутит колесо швейной машины. Долгие часы проходили в молчании, хозяйка и гость довольствовались присутствием друг друга; Амаранта в глубине души радовалась, что пламя его преданности не угасает, но он оставался в полном неведении тайных намеречий этого недоступного его пониманию сердца. Узнав, что полковник Херинельдо Маркес вернулся в Макондо, Амаранта чуть не умерла от волнения. Тем не менее, когда он вошел, держа руку на перевязи — всего лишь один из многих

в шумной свите полковника Аурелиано Буэндиа, и Амаранта увидела, как его потрепала суровая жизнь в изгнании, как он постарел от лет и забвения, какой он грязный, потный, пыльный, весь пропахший конюшней, некрасивый,— она готова была упасть в обморок от разочарования. «Боже мой,— подумала она,— это не тот, кого я ждала». Однако на следующий день он появился выбритый и чистый, без своей окровавленной повязки, от усов его пахло цветочной водой. Он преподнес Амаранте отделанный перламутром молитвенник.

— Странный вы народ, мужчины,— сказала она, потому что не могла придумать ничего другого.— Всю жизнь боретесь против священников, а дарите молитвенники.

С тех пор, даже в самые критические дни войны, он приходил к ней каждый вечер. И, случалось, вертел ручку швейной машины, если Ремедиос Прекрасной не было на месте. Амаранту трогали его постоянство, его верность, волновало, что перед ней склоняется облеченный такой большой властью человек, что он оставляет свою саблю и пистолет в гостиной и безоружный входит в ее рабочую комнату. Однако всякий раз, когда полковник Херинельдо Маркес в течение тех четырех лет снова и снова признавался ей в своих чувствах, Амаранта неизменно отвергала его, правда, всегда стараясь при этом не ранить, потому что, хотя ей еще не удалось полюбить полковника, обходиться без него она уже не могла. Тронутая необычайной верностью Херинельдо Маркеса, на его защиту неожиданно встала Ремедиос Прекрасная, до той минуты казавшаяся совершенно безразличной к окружающему — многие даже считали ее умственно отсталой. И тут Амаранта обнаружила, что выращенная ею девочка, юность которой только еще начала распускаться, уже превратилась в такую красавицу, какой Макондо и не видывал. Амаранта почувствовала, как в ее сердце зарождается та же злоба, что прежде она испытывала к Ребеке. Моля бога, чтобы эта злоба не довела ее до крайности и ей не пришлось бы пожелать смерти Ремедиос Прекрасной, она изгнала свою воспитанницу из рабочей комнаты. Как раз в то время полковник Херинельдо Маркес начал проникаться отвращением к войне. Готовый пожертвовать для Амаранты славой, стоившей ему лучших лет жизни, он пустил в ход последние запасы красноречия, всю свою огромную, так долго сдерживаемую нежность. Но ему не удалось уговорить Амаранту. В один августовский вечер, раздавленная невыносимой тяжестью собственного упорства, Амаранта заперлась в спальне, чтобы до самой смерти оплакивать свое одиночество, ибо она наконец дала настойчивому поклоннику окончательный ответ.

— Забудем друг друга навсегда,— сказала она,— мы уже слишком стары для всего этого.

В тот же вечер полковник Херинельдо Маркес был вызван к телеграфному аппарату полковником Аурелиано Буэндиа. Состоялся обычный разговор, который не мог внести ничего нового в топтавшуюся на месте войну. Когда все уже было сказано, полковник Херинельдо Маркес обвел взглядом пустынные улицы, увидел капли воды, повисшие на ветках миндальных деревьев, и почувствовал, что погибает от одиночества.

— Аурелиано,— грустно выстукал он телеграфным ключом,— в Макондо идет дождь.

На линии наступила долгая тишина. Потом аппарат стал выбрасывать суровые точки и тире полковника Аурелиано Буэндиа.

— Не валяй дурака, Херинельдо,— передали точки и тире.— На то и август, чтобы шел дождь.

Полковник Херинельдо Маркес был несколько встревожен необычной резкостью ответа. Но через два месяца, когда полковник Аурелиано Буэндиа возвратился в Макондо, эта тревога сменилась изумлением, гра-

ничащим с испугом. Даже Урсула была потрясена тем, как изменился ее сын. Он появился без шума, без свиты, закутанный, несмотря на жару, в плащ; его сопровождали три любовницы, которых он поселил всех вместе в одном доме, где и проводил большую часть времени, валяясь в гамаке. Он едва выбирал время для чтения телеграфных депеш, сообщавших о ходе войны. Как-то полковник Херинельдо Маркес обратился к нему за распоряжениями по поводу эвакуации одного пограничного городка, дальнейшее пребывание повстанческих войск в нем грозило международными осложнениями.

— Не тревожь меня из-за всякой мелочи,— приказал полковник Аурелиано Буэндиа.— Спроси совета у божественного провидения.

То был, пожалуй, самый критический момент войны. Либерально настроенные землевладельцы, на первых порах поддерживавшие революцию, заключили тайное соглашение с землевладельцами-консерваторами, чтобы помешать пересмотру прав на землю. Политики-либералы, наживавшие в эмиграции капитал на войне, публично осудили жесткие меры, принятые полковником Аурелиано Буэндиа, но даже это не вывело его из апатии. Он уже не перечитывал своих стихотворений, которые занимали более пяти томов и валялись теперь забытые на дне сундука. Ночью или во время сьесты он звал к себе в гамак одну из своих трех женщин, получал от нее примитивное удовлетворение и засыпал каменным сном, казалось не нарушаемым даже тенью тревоги. И только он один знал, что его безрассудное сердце осуждено на вечные муки неуверенности. Вначале, опьяненный триумфальным возвращением на родину и своими невероятными победами, он склонился над головокружительной бездной величия. Ему нравилось занимать место справа от герцога Мальборо [1], его великого учителя в области военного искусства, чей наряд из тигровых шкур вызывал восхищение взрослых и удивление детей. Именно тогда он принял решение не подпускать к себе ближе чем на три метра ни одно человеческое существо, даже Урсулу. Всюду, куда бы он ни являлся, его адъютанты очерчивали мелом на полу круг, и, стоя в центре этого круга, вступать в который дозволялось лишь ему одному, полковник Аурелиано Буэндиа короткими и не терпящими обсуждения приказами решал судьбы мира. Расстреляв генерала Монкаду, он поспешил выполнить последнюю волю своей жертвы сразу же, как только ему удалось попасть в Манауре; вдова взяла очки, кольцо, образок, но не разрешила переступить порог своего дома.

— Не входите, полковник,— сказала она.— Вы командуете на вашей войне, а в моем доме командую я.

Полковник Аурелиано Буэндиа ничем не показал, что он рассержен, но снова обрел душевное спокойствие лишь после того, как его личная охрана разграбила и спалила дом вдовы. «Береги свое сердце, Аурелиано,— предостерег его тогда полковник Херинельдо Маркес.— Ты гниешь заживо». Около этого времени полковник Аурелиано Буэндиа созвал второе совещание командующих повстанческими войсками. Явился самый пестрый народ: здесь были идеалисты, честолюбцы, авантюристы, люди, отверженные обществом, и даже обыкновенные преступники. В том числе один чиновник-консерватор, примкнувший к революции, чтобы спастись от наказания за растрату казенных денег. Многие даже не знали, за что они сражаются. Среди этой разношерстной толпы, где несогласие в убеждениях готово уже было вызвать внутренний взрыв, обращала на себя внимание одна мрачная и властная фигура — генерал Теофило Варгас. Это был дикий, безграмотный индеец, наделенный молчаливым коварством и пророческим пылом, помогавшим ему превращать людей в безумных фанатиков. Полковник Аурелиано Буэндиа рассчитывал объ-

[1] Герцог Джон Мальборо (1650—1722) — английский полководец и политический деятель.

единить на совещании силы повстанческого командования для борьбы против махинаций политиков. Но генерал Теофило Варгас расстроил его планы: за несколько часов он успел внести разлад в коалицию самых опытных командиров и захватил главное командование в свои руки. «С этой бестией надо быть настороже,— сказал полковник Аурелиано Буэндиа своим офицерам.— Для нас такой человек опаснее военного министра». Тогда один молоденький капитан, обычно отличавшийся робостью, нерешительно поднял вверх указательный палец.

— Это очень просто, полковник,— сказал он.— Надо его убить.

Полковника Аурелиано Буэндиа встревожило не бездушие предложения, на долю секунды опередившего собственную его мысль, а та форма, в которой оно было сделано.

— Не ждите, что я отдам такой приказ,— ответил он.

Приказа он действительно не отдал. Однако спустя пятнадцать дней генерал Теофило Варгас попал в засаду и был изрублен на куски ударами мачете, а полковник Аурелиано Буэндиа принял главное командование. В ту же ночь, когда власть его была признана всеми командирами повстанцев, он вдруг проснулся, охваченный внезапным ужасом, и стал кричать, чтобы ему принесли одеяло. Внутренний холод, пронизывавший его до самых костей и терзавший даже под жаркими лучами солнца, мешал ему спать в течение многих месяцев, пока наконец не сделался чем-то привычным. Опьянение властью начало перемежаться вспышками глубокого недовольства собой. Пытаясь найти средство от мук холода, он приказал расстрелять молодого офицера, посоветовавшего ему убить генерала Теофило Варгаса. Приказы его исполнялись раньше, чем он успевал их отдать, раньше даже, чем он успевал их задумать, и всегда шли дальше тех границ, до которых он сам осмелился бы их довести. Заплутавшись в пустыне одиночества своей необъятной власти, он почувствовал, что теряет почву под ногами. Его раздражали теперь радостные клики толпы в захваченных им городах, ему казалось, что точно так же эти же самые люди чествовали здесь противника. Где бы он ни был, повсюду ему встречались юноши, которые смотрели на него такими же, как у него, глазами, говорили с ним таким же, как у него, голосом, приветствовали его с тем же недоверием, с каким он приветствовал их, и называли себя его сыновьями. Он испытывал странное чувство — будто его размножили, повторили, но одиночество становилось от этого лишь более мучительным. У него появилась уверенность, что собственные офицеры обманывают его. Он охладел к герцогу Мальборо. «Лучший друг тот, кто только что умер»,— любил он повторять в те дни. Он устал от постоянной неуверенности, от порочного круга вечной войны, по которому он кружился, оставаясь в сущности на одном и том же месте, только все более старея, все более изматываясь, все менее понимая почему, как, до каких пор. За пределами того ограниченного меловой линией пространства, где он находился, всегда стоял кто-нибудь. Кто-нибудь, кому не хватало денег, у кого сын заболел коклюшем, кто мечтал заснуть навсегда, потому что был сыт по горло этой дерьмовой войной, и кто, однако, собирал остатки своих сил, вытягивался по стойке «смирно» и рапортовал: «Все спокойно, полковник». А спокойствие и было как раз самым страшным в нескончаемой войне: оно означало, что ничего не происходит. Обреченный на одиночество, покинутый своими предчувствиями, спасаясь от холода, который будет сопровождать его до могилы, полковник Аурелиано Буэндиа пытался найти в Макондо последнее убежище, погреться у костра самых старых своих воспоминаний. Его апатия была такой глубокой, что когда ему сообщили о прибытии делегации либеральной партии для обсуждения с ним важнейших политических вопросов, он только перевернулся в своем гамаке на другой бок и даже не дал себе труда открыть глаза.

— Сведите их к шлюхам,— буркнул он.

Члены делегации — шесть адвокатов при сюртуках и цилиндрах — с редким стоицизмом переносили жгучее ноябрьское солнце. Большую часть дня они тайно совещались, запершись в спальне, а вечером просили дать им охрану и ансамбль аккордеонистов и снимали для себя все заведение Катарино. «Не мешайте им,— приказал полковник Аурелиано Буэндиа.— Я прекрасно знаю, что им надо». Состоявшиеся в начале декабря долгожданные переговоры заняли меньше часа, хотя очень многие думали, что они обернутся бесконечной дискуссией.

На этот раз полковник Аурелиано Буэндиа не вошел в меловой круг, который его адъютанты начертили в душной гостиной возле укрытой саваном из белой простыни пианолы, напоминающей призрак. Он сел на стул рядом со своими политическими советниками и, закутавшись в плащ, молча слушал краткие предложения делегации. Его просили: во-первых, отказаться от пересмотра прав на землю, чтобы возвратить партии поддержку либерально настроенных землевладельцев; во-вторых, отказаться от борьбы с влиянием клерикалов, чтобы получить опору среди католиков; и, наконец, отказаться от притязаний на равенство прав для законных и незаконных детей, чтобы сохранить святость и нерушимость семейного очага.

— Значит,— улыбнулся Аурелиано Буэндиа, когда чтение было закончено,— мы боремся только за власть.

— Эти реформы продиктованы тактическими соображениями,— возразил один из делегатов.— В настоящее время самое главное — расширить нашу опору в народе. А там будет видно.

Один из политических советников полковника Аурелиано Буэндиа поспешил вмешаться.

— Это противоречит здравому смыслу,— заявил он.— Если ваши реформы хороши, стало быть, следует признать, что хорош режим консерваторов. Если с помощью ваших реформ нам удастся расширить нашу опору в народе, как вы говорите, стало быть, следует признать, что режим консерваторов имеет широкую опору в народе. И в итоге все мы должны будем признать, что двадцать лет боролись против интересов нации.

Он собирался продолжать, но полковник Аурелиано Буэндиа остановил его. «Не тратьте напрасно время, доктор,— сказал он.— Самое главное, что с этого момента мы боремся только за власть». Все еще улыбаясь, он взял бумаги, врученные ему делегацией, и приготовился подписать их.

— Раз так,— заключил он,— у нас нет возражений.

Его офицеры переглянулись, ошеломленные происходящим.

— Простите меня, полковник,— тихо сказал полковник Херинельдо Маркес,— но это измена.

Полковник Аурелиано Буэндиа задержал в воздухе уже обмакнутое в чернила перо и обрушился на дерзкого всей тяжестью своей власти.

— Сдайте мне ваше оружие,— приказал он.

Полковник Херинельдо Маркес встал и положил оружие на стол.

— Явитесь в казармы,— приказал полковник Аурелиано Буэндиа.— Вы поступаете в распоряжение революционного трибунала.

Затем он подписал декларацию и вернул ее делегатам со словами:

— Сеньоры, вот ваши бумаги. Употребите их с пользой.

Через два дня полковник Херинельдо Маркес, обвиненный в государственной измене, был приговорен к смертной казни. Снова погрузившийся в свой гамак полковник Аурелиано Буэндиа оставался глух к мольбам о помиловании. Накануне дня казни Урсула пренебрегла приказом сына не беспокоить его и вошла к нему в спальню. Одетая в черное, необыкновенно величественная, она так и не присела все те три

минуты, что длилось свидание. «Я знаю, ты расстреляешь Херинельдо,— сказала она спокойно,— и ничего не могу сделать, чтобы помешать этому. Но предупреждаю тебя об одном: как только я увижу его труп, клянусь тебе прахом моего отца и моей матери, клянусь тебе памятью Хосе Аркадио Буэндиа — клянусь перед богом — где бы ты ни был, я вытащу тебя и убью своими руками». И прежде чем покинуть комнату, не ожидая его ответа, она заключила:

— Ты делаешь то, что сделал бы, если бы родился со свиным хвостом.

Во время этой нескончаемой ночи, пока полковник Херинельдо Маркес вспоминал вечера, проведенные в рабочей комнате Амаранты, полковник Аурелиано Буэндиа час за часом долбил твердую скорлупу одиночества, пытаясь проломить ее. Единственные счастливые мгновения, которые подарила ему судьба после того далекого вечера, когда отец взял его с собой посмотреть на лед, прошли в ювелирной мастерской, где он занимался изготовлением золотых рыбок. Ему пришлось развязать тридцать две войны, нарушить все свои соглашения со смертью, вываляться, как свинье, в навозе славы, для того чтобы он смог открыть — с опозданием почти на сорок лет — преимущества простой жизни.

На рассвете, когда до казни оставался один час, он, истощенный мучительным бодрствованием, вошел в комнату, где стояли колодки. «Фарс окончен, друг,— сказал он полковнику Херинельдо Маркесу.— Идем отсюда, пока наши пьянчуги тебя не расстреляли». Полковник Херинельдо Маркес не мог подавить отвращения.

— Нет, Аурелиано,— ответил он.— Лучше мне умереть, чем видеть, что ты превратился в одного из продажных наемников.

— А ты и не увидишь,— сказал полковник Аурелиано Буэндиа.— Надевай сапоги и помоги мне кончить с этой сволочной войной.

Говоря так, он еще не знал, что гораздо легче начать войну, чем кончить ее. Ему понадобился почти год, чтобы — беспримерной жестокостью — вынудить правительство предложить выгодные для повстанцев условия мира, и еще один год, чтобы убедить своих сторонников в необходимости принять эти условия. Он дошел до невообразимых пределов бесчеловечности, подавляя восстания своих же собственных офицеров, не пожелавших торговать победой, и, чтобы бесповоротно сломить их сопротивление, не побрезгал даже помощью войск противника.

Ни разу в жизни не воевал он лучше. Уверенность в том, что наконец-то он сражается за свое собственное освобождение, а не за абстрактные идеи и лозунги, которые политики в зависимости от обстановки могут выворачивать с лица наизнанку, наполняла его пылким энтузиазмом. Полковник Херинельдо Маркес, боровшийся за поражение столь же убежденно и верно, как прежде боролся за победу, упрекал его в ненужной смелости. «Не беспокойся,— улыбался полковник Аурелиано Буэндиа.— Умереть совсем не так легко, как думают». По отношению к нему это было правдой. Он верил, что день его смерти предопределен, и вера облекала его таинственной броней, бессмертием до назначенного срока, оно делало его неуязвимым для опасностей войны и позволило ему в конце концов завоевать поражение. Это оказалось значительно труднее, чем одержать победу, и потребовало гораздо больше крови и жертв.

За те почти двадцать лет, что полковник Аурелиано Буэндиа провел на войне, он нередко заезжал домой, но всегдашняя спешка, неотлучно сопровождавшая его военная свита, ореол почти легендарной славы, к которому не оставалась равнодушной даже Урсула, сделали его в конце концов чужим человеком для близких. Во время последнего появления в Макондо, когда он снял отдельный дом для трех любовниц, он всего лишь два или три раза удосужился принять приглашение к обеду и повидаться со своей семьей. Ремедиос Прекрасная и родившиеся в разгаре

войны близнецы его почти не знали. Амаранта никак не могла соединить образ брата, который провел юность за изготовлением золотых рыбок, с образом легендарного воителя, установившего между собой и остальным человечеством расстояние в три метра. Но когда прошел слух о близости перемирия и все стали думать о том, что полковник Аурелиано Буэндиа, наверное, скоро вернется домой и опять превратится в обыкновенного человека, доступного для любви близких, родственные чувства, так долго пребывавшие в летаргическом сне, ожили, обретя необычайную силу.

— Наконец-то,— сказала Урсула.— Опять у нас будет мужчина в доме.

Амаранта первой заподозрила, что они потеряли его навсегда. За неделю до перемирия он вошел в дом: без свиты, предшествуемый только двумя босоногими ординарцами, сложившими в галерее седло и сбрую мула и сундучок со стихами — единственное, что осталось от императорской экипировки полковника Аурелиано Буэндиа; Амаранта окликнула брата, когда он проходил мимо ее рабочей комнаты. Полковник Аурелиано Буэндиа словно бы и не мог вспомнить, кто перед ним.

— Я Амаранта,— сказала она приветливо, обрадованная его возвращением, и показала ему руку с черной повязкой: — Посмотри.

Полковник Аурелиано Буэндиа улыбнулся так же, как в то далекое утро, когда он шел по Макондо, осужденный на смерть, и впервые увидел эту повязку.

— Ужасно,— сказал он.— Как время идет!

Правительственные войска были вынуждены поставить у дома охрану. Полковник Аурелиано Буэндиа возвратился осмеянный, оплеванный, обвиненный в том, что он, стараясь продаться подороже, умышленно затягивал войну. Его трясло от лихорадки и холода, под мышками снова вздулись нарывы. За шесть месяцев до этого дня, прослышав о перемирии, Урсула открыла и убрала спальню сына, окурила мирром все углы, думая, что он вернется готовый спокойно дожидаться старости среди обветшалых кукол Ремедиос. Но на самом деле за минувшие два года он свел последние счеты с жизнью и даже старость была для него уже позади. Проходя мимо ювелирной мастерской, прибранной Урсулой с особой тщательностью, он даже не обратил внимания на то, что в замке торчит ключ. До его сознания не дошли мелкие, но хватающие за душу разрушения, учиненные в доме временем, разрушения, которые после такого длительного отсутствия показались бы несчастьем любому человеку, сохранившему живыми свои воспоминания. Ничто не отозвалось болью в его сердце — ни облупившаяся штукатурка на стенах, ни лохмотья паутины по углам, ни запущенные бегонии, ни источенные термитами балки, ни поросшие мхом косяки дверей, он не попался ни в одну из всех этих коварных западней, расставленных для него тоской. Он сел в галерее, не снимая сапог, укутавшись в плащ, словно зашел в дом переждать непогоду, и целый вечер смотрел, как льется на бегонии дождь. Тогда Урсуле стало ясно, что он недолго проживет с нею. «Может, опять война,— подумала она,— а если не война, то, значит, смерть». Мысль эта была такой отчетливой и убедительной, что Урсула восприняла ее как пророчество.

Вечером, за ужином, Аурелиано Второй взял хлеб в правую руку, а ложку в левую. Его брат-близнец, Хосе Аркадио Второй, взял хлеб в левую руку, а ложку в правую. Согласованность их движений была столь велика, что они казались не двумя сидящими друг против друга братьями, а каким-то хитроумным устройством из зеркал. Этот спектакль, придуманный близнецами в тот день, когда они обнаружили свое полное сходство, давался в честь вновь прибывшего. Но полковник Аурелиано Буэндиа ничего не заметил. Он был так далек от всего окружающего, что даже не обратил внимания на Ремедиос Прекрасную, которая про-

шла в спальню мимо столовой совершенно голая. Только одна Урсула осмелилась вывести его из глубокой задумчивости.

— Если ты собираешься снова уехать,— сказала она среди ужина,— хоть постарайся запомнить, как мы выглядели в этот вечер.

Тогда полковник Аурелиано Буэндиа понял, что Урсула, единственная из всех человеческих существ, сумела разглядеть нищету его души; он не был удивлен, но впервые за много лет осмелился посмотреть ей прямо в лицо. У нее была изборожденная морщинами кожа, стершиеся зубы, сухие, бесцветные волосы и удивленный взгляд. Он сравнил ее с самым старым из своих воспоминаний о ней, с Урсулой того дня, когда он предсказал, что горшок с кипящим супом упадет на пол, и горшок действительно упал и разбился. В одно мгновение он заметил царапины, вмятины, мозоли, раны и шрамы, которые оставили на ней более полувека будничных трудов и забот, и обнаружил, что эти печальные знаки не вызывают в нем даже простого сострадания. Тогда он сделал последнее усилие, чтобы отыскать в своем сердце то место, где сгноил все свои добрые чувства, и не смог его найти. В былое время он по крайней мере испытывал что-то похожее на стыд, когда запах собственной кожи напомнит ему о запахе Урсулы, и мысли его нередко обращались к матери. Но война все уничтожила. Даже Ремедиос, его жена, была сейчас лишь тусклым образом какой-то незнакомки, годившейся ему в дочери. От бесчисленных женщин, встреченных им в пустыне любви и разбросавших его семя по всему побережью, не сохранилось в его душе никакого следа. Обычно они приходили к нему в темноте и уходили до зари, а на следующий день от них уже ничего не оставалось, кроме разве лишь ощущаемого телом легкого пресыщения. Единственной привязанностью, устоявшей против времени и войны, было чувство, которое он испытывал в детстве к своему брату — Хосе Аркадио, оно зиждилось не на любви, а на сообщничестве.

— Простите,— извинился он после требования Урсулы.— Эта война все доконала.

На другой день он занялся уничтожением всяких следов своего пребывания на свете. В ювелирной мастерской он не тронул лишь то, на чем не было отпечатка его личности, одежду свою подарил ординарцам, а оружие закопал во дворе, с тем же покаянным чувством, с каким его отец зарыл копье, убившее Пруденсио Агиляра. Оставил себе только револьвер с одним-единственным патроном. Урсула ни во что не вмешивалась. Она запротестовала всего раз — когда он собрался было снять освещаемый неугасимой лампадой дагерротип Ремедиос в гостиной. «Этот портрет давно уже не твой,— сказала Урсула.— Это семейная святыня». Накануне подписания перемирия, когда в доме не оставалось почти ни одной вещи, которая могла бы напомнить о полковнике Аурелиано Буэндиа, он принес в пекарню, где Санта София де ла Пьедад готовилась разжигать печи, сундук со своими стихами.

— Растопи этим,— сказал он, протягивая ей сверток пожелтевших бумаг.— Такое старье будет хорошо гореть.

Санта Софии де ла Пьедад, молчаливой, уступчивой, никогда не споривщей даже со своими детьми, почудилось, что ей предлагают сделать что-то запретное.

— Это важные бумаги,— сказала она.

— Нет,— ответил полковник.— Такое пишут для самого себя.

— Тогда,— предложила она,— вы их сами и сожгите, полковник.

Он не только так и сделал, но даже разрубил топором сундук и бросил в огонь щепки. За несколько часов до этого его навестила Пилар Тернера. Много лет не встречавший ее полковник Аурелиано Буэндиа удивился, что она так постарела и располнела и что смех ее утратил былую звонкость, но вместе с тем он был удивлен, какого мастерства достигла

она в гадании на картах. «Береги рот»,— остерегла его Пилар Тернера, и он подумал: «Разве эти слова не явились поразительным предвосхищением ожидавшей его судьбы, когда она сказала их в прошлый раз — во времена расцвета его славы?» Вскоре после встречи с Пилар Тернерой он, стараясь не обнаружить особой заинтересованности, попросил своего личного врача, только что удалившего ему гной из нарывов, показать, где точно находится сердце. Врач его выслушал и затем испачканной йодом ватой нарисовал у него на груди круг.

Вторник — день подписания перемирия — выдался холодным и дождливым. Полковник Аурелиано Буэндиа появился на кухне раньше своих обычных пяти часов утра и выпил всегдашнюю чашку кофе без сахара. «В такой день, как сегодня, ты родился на свет,— сказала ему Урсула.— Всех испугали твои открытые глаза». Он не обратил на нее внимания, так как прислушивался к топоту марширующих солдат, сигналам трубы и отрывистым командам, которые врывались в тишину раннего утра. Хотя после стольких лет войны полковник Аурелиано Буэндиа должен был привыкнуть к этим звукам, он ощутил слабость в коленях и озноб, как в юности, когда в первый раз увидел голую женщину. И смутно подумал, попав наконец в западню госки, что если бы в то время женился на этой женщине, он не узнал бы ни войны, ни славы и остался бы просто безымянным ремесленником — счастливым животным. Эта запоздалая и неожиданная слабость отравила ему завтрак. Когда в шесть часов утра за ним пришел полковник Херинельдо Маркес с группой повстанческих офицеров, полковник Аурелиано Буэндиа выглядел еще более молчаливым, задумчивым и одиноким, чем обычно. Урсула пыталась накинуть ему на плечи новый плащ. «Что подумает правительство,— уговаривала она.— Вообразят, что у тебя даже на плащ денег не осталось, потому ты и сдался». Уже в дверях, увидев льющиеся с неба струи воды, он согласился надеть старую фетровую шляпу Хосе Аркадио Буэндиа.

— Аурелиано,— попросила Урсула,— если тебе там придется плохо, ты вспомнишь о своей матери, обещай мне это.

Он улыбнулся ей далекой улыбкой, поднял руку с вытянутыми пальцами и, не проронив ни слова, шагнул за порог навстречу угрозам, попрекам и проклятиям, которые будут следовать за ним через весь город. Урсула задвинула засов на двери, решив больше не открывать ее до конца своих дней. «Мы сгнием тут взаперти в нашем женском монастыре,— подумала она.— Обратимся в прах, но не доставим этому подлому люду радости видеть наши слезы». Все утро она пыталась найти хоть какую-нибудь памятку о своем сыне, но так ничего и не разыскала, даже в самых потаенных уголках дома.

Церемония состоялась в двадцати километрах от Макондо под гигантской сейбой, вокруг нее позже был основан город Неерландия. Представителей правительства и партий и делегацию повстанцев, уполномоченную сложить оружие, обслуживала шумная группа послушниц в белых одеждах, напоминающая потревоженную дождем голубиную стаю. Полковник Аурелиано Буэндиа приехал на грязном, облезлом муле. Он был небрит и страдал скорее от боли, причиняемой нарывами, чем от сознания страшного крушения всех своих грез, потому что исчерпал уже всякую надежду, оставил позади славу и тоску по славе. Согласно с его желанием, не было ни музыки, ни фанфар, ни праздничного трезвона, ни криков «ура!» и никаких других проявлений радости, способных нарушить траурный характер перемирия. Бродячего фотографа, успевшего сделать с полковника Аурелиано Буэндиа один снимок, который мог бы остаться потомству, заставили разбить негатив, не позволив даже проявить его.

Процедура заключения перемирия заняла ровно столько времени,

сколько понадобилось для того, чтобы все расписались. Делегаты сидели за простым деревенским столом в центре потрепанного циркового шатра, вокруг стояли последние сохранившие верность полковнику Аурелиано Буэндиа офицеры. Прежде чем собрать подписи, личный представитель президента республики хотел огласить акт капитуляции, но полковник Аурелиано Буэндиа воспротивился этому. «Не будем тратить время на формальности»,— сказал он и приготовился подписать бумаги не читая. Тогда один из его офицеров нарушил сонную тишину шатра.

— Полковник,— сказал он,— окажите нам милость: не подписывайтесь первым.

Полковник Аурелиано Буэндиа согласился. После того как документ обошел вокруг стола, среди такой глубокой тишины, что по царапанью пера о бумагу можно было угадать буквы каждой подписи, первое место все еще оставалось пустым. Полковник Аурелиано Буэндиа приготовился заполнить его.

— Полковник,— сказал тогда другой из его офицеров,— у вас еще есть возможность спасти себя от позора.

Не изменившись в лице, полковник Аурелиано Буэндиа расписался на первом экземпляре акта. Он еще не кончил расписываться на последней копии, когда у входа в шатер появился офицер повстанческих войск, держа под уздцы нагруженного двумя сундуками мула. Несмотря на свою крайнюю молодость, вновь прибывший производил впечатление человека сухого и сдержанного. Это был казначей повстанцев округа Макондо. Чтобы поспеть вовремя, он проделал тяжелое шестидневное путешествие, таща за собой умирающего от голода мула. С бесконечной осторожностью он снял сундуки со спины мула, открыл их и выложил на стол, один за другим, семьдесят два золотых кирпича. Это было целое состояние, о существовании которого все забыли. В последний год центральное командование развалилось, революция переродилась в кровавое соперничество главарей и среди общей неразберихи уже никто ни за что не отвечал. Золото повстанцев, отлитое в блоки, покрытые затем глиной, осталось без всякого контроля. Полковник Аурелиано Буэндиа заставил включить семьдесят два золотых кирпича в акт капитуляции и подписал его, не допустив никаких обсуждений. Изможденный юноша стоял перед ним и глядел ему в глаза своими ясными, цвета золотистого сахарного сиропа глазами.

— Что еще? — спросил его полковник Аурелиано Буэндиа.

Молодой офицер стиснул зубы.

— Расписка,— сказал он.

Полковник Аурелиано Буэндиа собственноручно выдал ему расписку. Затем выпил стакан лимонаду и съел кусок бисквита, предложенные послушницами, и удалился в походную палатку, приготовленную на тот случай, если он захочет отдохнуть. Там он снял рубашку, сел на край койки и в три часа пятнадцать минут пополудни выстрелил из пистолета в круг, который его личный врач нарисовал йодом у него на груди. В этот самый час в Макондо Урсула приподняла крышку горшка с молоком, стоявшего на плите, удивляясь, что молоко так долго не закипает, и обнаружила в нем великое множество червей.

— Аурелиано убили! — воскликнула она, бросила взгляд во двор, повинуясь привычке, выработанной одиночеством, и увидела Хосе Аркадио Буэндиа, грустного, промокшего под дождем и гораздо более старого, чем он был, когда умер. «Его убили предательски,—уточнила она,— и никто не позаботился закрыть ему глаза». Ночью Урсула заметила сквозь слезы светящиеся оранжевым светом диски, которые стремительно пересекали небо, подобные падающим звездам, и решила, что это знамение смерти. Она все еще рыдала под каштаном, припав к коленям своего мужа, когда принесли полковника Аурелиано Буэндиа, обернуто-

го в задубевший от крови плащ. В его открытых глазах полыхало бешенство.

Он был вне опасности. Сквозная рана оказалась такой чистой и прямой, что врач без всякого труда засунул ему в грудь и вытащил через спину пропитанный йодом шнурок. «Это мой шедевр,— сказал с удовлетворением лекарь.— Тут единственное место, где пуля могла пройти, не задев ни одного жизненного центра». Полковник Аурелиано Буэндиа увидел себя в окружении послушниц, охваченных состраданием к нему и распевающих полные безнадежности псалмы за упокой его души, и тогда он пожалел, что не выстрелил себе в рот, как собирался сделать вначале, просто чтобы посмеяться над предсказанием Пилар Тернеры.

— Если я еще буду иметь какую-то власть,— сказал он врачу,— я расстреляю вас без суда и следствия. Не за то, что вы спасли мне жизнь, а за то, что превратили меня в посмешище.

Несостоявшаяся смерть в течение нескольких часов вернула полковнику Аурелиано Буэндиа утраченный престиж. Те же самые люди, которые выдумали легенду о том, что он продал войну за комнату со стенами из золотых кирпичей, расценили попытку самоубийства как благородный поступок и объявили полковника Аурелиано Буэндиа мучеником. Позже, когда он отказался от ордена «За заслуги», пожалованного ему президентом республики, даже самые его ожесточенные противники явились к нему с просьбой отречься от условий перемирия и начать новую войну. Дом наполнился дарами, присланными, чтобы загладить былые прегрешения. Взволнованный поддержкой, оказанной ему, хотя и с некоторым запозданием, бывшими тозарищами по оружию, полковник Аурелиано Буэндиа не отвергал возможности удовлетворения их просьбы. И одно время, казалось, так вдохновился идеей новой войны, что полковник Хернельдо Маркес даже подумал: а не ждет ли он только предлога, чтобы объявить ее. И предлог в самом деле был найден, когда президент республики отказался установить военные пенсии бывшим участникам войны — либералам и консерваторам, прежде чем дело каждого из них не будет рассмотрено специальной комиссией и конгресс не утвердит закон об ассигнованиях. Полковник Аурелиано Буэндиа метал громы и молнии: «Это произвол. Они состарятся и умрут раньше, чем получат пенсию». Он в первый раз покинул качалку, купленную ему Урсулой на время выздоровления, и, расхаживая взад-вперед по спальне, продиктовал дерзкое послание к президенту республики. В этой никогда не опубликованной телеграмме он обвинял президента в нарушении условий Неерландского перемирия и грозил объявить войну не на жизнь, а на смерть, если вопрос о пенсионных ассигнованиях не будет решен в течение ближайших пятнадцати дней. Его требования были так справедливы, что позволяли надеяться на поддержку даже тех участников войны, которые принадлежали к партии консерваторов. Но вместо ответа правительство усилило военную охрану, поставленную у дома полковника Аурелиано Буэндиа, якобы для защиты полковника, и воспретило всякие визиты к нему. Из предосторожности подобные же меры были приняты по отношению ко всем другим опасным для правительства командирам повстанцев. Операция была проведена так своевременно, энергично и успешно, что через два месяца после перемирия, когда полковник Аурелиано Буэндиа окончательно встал на ноги, все самые верные его помощники либо были уже мертвы, либо находились в изгнании, либо поступили на службу к правительству.

Полковник Аурелиано Буэндиа вышел из спальни в декабре, и ему с первого взгляда сделалось ясно, что нечего и думать о войне. С энергией, казалось, уже невозможной в ее годы, Урсула еще раз обновила весь дом. «Теперь они узнают, кто я такая,— сказала она в тот день, когда ей сообщили, что ее сын останется в живых.— Не будет ни одного дома

наряднее и гостеприимнее, чем этот сумасшедший дом». Она распорядилась вымыть его и покрасить, сменила мебель, привела в порядок сад, посеяла новые цветы и распахнула все двери и окна, чтобы ослепительное сияние лета проникало даже в спальни. Потом известила всех об окончании многочисленных, наслоившихся друг на друга трауров и даже сама сняла свое старое черное платье и нарядилась, как молодая. В доме опять раздались веселые звуки пианолы. Услышав их, Амаранта вспомнила Пьетро Креспи, гардению в вечерних сумерках, запах лаванды, и в глубине ее увядшего сердца снова вспыхнула злоба — чистая, облагороженная временем. Однажды вечером, прибирая гостиную, Урсула попросила солдат, охранявших дом, помочь ей. Командир, молодой офицер, разрешил им это сделать. День за днем Урсула давала солдатам все новые поручения. Она стала приглашать их к столу, дарила им одежду и обувь, учила их читать и писать. Позже, когда правительство сняло охрану, один из солдат остался жить в доме и служил Урсуле еще много лет. А молодой офицер, доведенный до безумия пренебрежением Ремедиос Прекрасной, на рассвете первого дня нового года был найден мертвым под ее окном.

■

Пройдет много лет, и на смертном ложе Аурелиано Второй вспомнит тот дождливый июньский день, когда он вошел в спальню посмотреть на своего первенца. Хотя сын оказался чахлым, плаксивым и ничем не напоминал Буэндиа, отец долго не раздумывал, какое имя ему дать.

— Мы назовем его Хосе Аркадио,— сказал он.

Фернанда дель Карпио, красивая женщина, на которой Аурелиано Второй женился за год до этого, согласилась с мужем. Урсула, напротив, не могла скрыть смутное чувство тревоги. Упорное повторение имен на протяжении долгой истории семьи позволяло сделать выводы, казавшиеся Урсуле вполне законченными. В то время как все Аурелиано были нелюдимыми и обладали проницательным умом, все Хосе Аркадио отличались порывистым, предприимчивым характером и были отмечены знаком трагической обреченности. Под эту классификацию не подпадали только Хосе Аркадио Второй и Аурелиано Второй. В детстве они так походили друг на друга и оба были такие непоседливые, что даже сама Санта София де ла Пьедад не различала их. В день крестин Амаранта надела им на запястья по браслету с именем каждого и нарядила в костюмчики разного цвета, на которых она вышила их инициалы, но когда близнецы стали ходить в школу, они завели манеру меняться одеждой, браслетами и даже именами. Учитель Мельчор Эскалона, привыкший узнавать Хосе Аркадио Второго по зеленой рубашке, вышел из себя, обнаружив, что у мальчика в рубашке зеленого цвета браслет с именем «Аурелиано Второй», а другой мальчик, в рубашке белого цвета, утверждает, что это он Аурелиано Второй, несмотря на то что на его браслете написано: «Хосе Аркадио Второй». С той поры уже никто не мог сказать, не рискуя ошибиться, кто из них кто. Даже когда они выросли и жизнь сделала их разными, Урсула часто спрашивала себя, а не ошиблись ли они сами в какой-нибудь из моментов своей головоломной игры с переодеваниями и не перепутались ли навсегда. Пока близнецы не вступили в юношеский возраст, это были два синхронных механизма. Просыпались они всегда одновременно, в одну и ту же минуту у обоих возникало желание идти мыться, они болели одними и теми же болезнями и даже видели одни и те же сны. Дома все считали, что мальчики просто согласовывают свои действия из желания подурачиться, и никто не подозревал истины вплоть до того дня, когда Санта София де ла Пьедад дала одному из них стакан лимонада, и только он пригубил напиток, как другой уже сказал, что

лимонад не сладкий. Санта София де ла Пьедад, которая действительно забыла положить в стакан сахару, сообщила об этом Урсуле. «Они все такие,— ответила Урсула, ничуть не удивившись.— Сумасшедшие от рождения». Время лишь внесло еще больше беспорядка. Тот, кто после фокусов с переодеванием остался при имени Аурелиано Второго, вырос огромный, как его дед — Хосе Аркадио Буэндиа, а тот, за кем закрепилось имя Хосе Аркадио Второго, вырос худым, как полковник Аурелиано Буэндиа; единственное, что сохранилось у близнецов общего, был одинокий вид, свойственный всей семье. Может, именно это несоответствие роста, имен и характеров и натолкнуло Урсулу на мысль, что близнецы перепутались в детстве.

Основное различие между ними выявилось в самое горячее время войны, когда Хосе Аркадио Второй попросил полковника Херинельдо Маркеса разрешить ему посмотреть, как расстреливают. Хотя Урсула возражала, его желание было удовлетворено. Аурелиано Второй, напротив, содрогался при одной мысли о том, чтобы пойти глядеть на казнь. Он предпочитал сидеть дома. Когда ему исполнилось двенадцать лет, он спросил Урсулу, что находится в закрытой комнате. «Бумаги,— отвечала она,— книги Мелькиадеса и те странные записки, которые он сочинял все свои последние годы». Это объяснение, вместо того чтобы удовлетворить Аурелиано Второго, только разожгло его любопытство. Он так приставал, так усердно обещал ничего не испортить, что Урсула наконец дала ему ключи. Никто не входил в комнату с тех пор, как оттуда вынесли труп Мелькиадеса и повесили на дверь замок, проржавевшие части которого, казалось, приросли друг к другу. Но когда Аурелиано Второй открыл окна, свет вошел в помещение так запросто, будто привык освещать его каждый день, нигде не было видно ни малейших следов пыли или паутины, все выглядело прибранным и чистым, даже прибраннее и чище, чем в день похорон; чернильница была полна чернил, не тронутые ржавчиной металлические поверхности блестели, в горне, где Хосе Аркадио Буэндиа жег ртуть, продолжал гореть огонь. На полках стояли книги, переплетенные в покоробившуюся от времени ткань, желтовато-коричневую, как загорелая человеческая кожа, там же — в полной сохранности — лежали манускрипты. Несмотря на то что комната была закрыта уже много лет, воздух здесь казался даже более свежим, чем в других помещениях дома. Все оставалось в таком же полном порядке и через несколько недель, и когда Урсула с ведром воды и щеткой пришла мыть пол, она увидела, что ей нечего делать. Аурелиано Второй сидел, уткнувшись носом в какую-то книгу. Мальчик не знал ее названия, потому что переплета у нее не было, но это не мешало ему упиваться рассказанными в ней историями: про женщину, которая садилась за стол и ела только рис, причем брала каждое зернышко двумя золотыми булавками; про рыбака, который занял у соседа грузило для сети и дал ему потом в благодарность рыбу, а у нее в животе лежал огромный бриллиант, и про лампу, выполнявшую любое желание, и про ковер-самолет. Потрясенный, он спросил Урсулу, правда ли все это, и она ответила, что правда, что много лет тому назад цыгане приносили в Макондо волшебные лампы и летающие циновки.

— Дело в том,— вздохнула она,— что мир понемногу идет к концу и такие вещи больше не случаются.

Дочитав книгу — многие из историй в ней не имели конца, потому что не хватало страниц,— Аурелиано Второй задался целью расшифровать манускрипты Мелькиадеса. Это оказалось делом невозможным. Буквы напоминали белье, повешенное на проволоку сушиться, и рукописи больше походили на нотную партитуру. Однажды жарким полднем, когда Аурелиано Второй старательно исследовал манускрипты, он почувствовал, что в комнате кто-то есть. Возле сияющего квадрата окна сидел,

сложив на коленях руки, Мелькиадес. Он выглядел не старше сорока. На нем был все тот же древний жилет и шляпа с полями, напоминающими крылья ворона, по бледным вискам стекал пот, словно расплавленный зноем жир,— цыган был точно таким, каким его видели Аурелиано и Хосе Аркадио, когда были детьми. Аурелиано Второй узнал его сразу, потому что это наследственное воспоминание передавалось от поколения к поколению и дошло до него через деда.

— Здравствуйте,— сказал Аурелиано Второй.

— Здравствуй, юноша,— сказал Мелькиадес.

С тех пор, в течение нескольких лет, они виделись почти каждый вечер. Мелькиадес рассказывал мальчику о мире, пытался передать ему свою устаревшую мудрость, но не захотел растолковать свои манускрипты. «Никто не должен знать, что здесь написано, пока манускриптам не исполнится сто лет»,— объяснил он. Аурелиано Второй навеки сохранил тайну этих встреч. Однажды Урсула вошла в комнату как раз в то время, когда в ней был Мелькиадес. Испуганный Аурелиано решил, что его обособленный мир сейчас рухнет. Но Урсула не увидела цыгана.

— С кем это ты толкуешь? — спросила она.

— Ни с кем,— ответил Аурелиано Второй.

— Такой же был твой прадедушка,— сказала Урсула.— Тоже все сам с собой разговаривал.

Тем временем Хосе Аркадио Второй осуществил свою мечту поглядеть, как расстреливают. До конца своей жизни будет он помнить синеватую вспышку шести одновременных выстрелов, раскатившееся по горам эхо, грустную улыбку и растерянный взгляд осужденного, и как он все еще стоит, хотя рубаха его уже залита кровью, и все еще продолжает улыбаться, хотя его уже отвязывают от столба и кладут в большой ящик, полный извести. «Он живой,— подумал тогда Хосе Аркадио Второй.— Они похоронят его живым». Это произвело на мальчика такое впечатление, что с тех пор он возненавидел все военное и войну — не за казни, а за страшный обычай хоронить расстрелянных живыми. Никто не заметил, как Хосе Аркадио Второй стал звонить в колокола на колокольне и помогать падре Антонио Исабелю, преемнику Лоботряса, служить мессу и ухаживать за бойцовыми петухами во дворе приходского дома. Когда же это обнаружилось, полковник Херинельдо Маркес крепко отругал Хосе Аркадио Второго за то, что он занимается делами, которые у всякого порядочного либерала могут вызвать только отвращение. «Видите ли,— ответил Хосе Аркадио Второй,— мне кажется, что из меня получился консерватор». И он верил, что так уж ему на роду было написано. Полковник Херинельдо Маркес поделился своим возмущением с Урсулой.

— Тем лучше,— одобрила она поведение правнука.— Ах, хоть бы он стал священником, может, тогда благодать господня осенит наконец наш дом.

Вскоре она узнала, что падре Антонио Исабель готовит своего подопечного к первому причастию. Подбривая шеи петухам, священнослужитель учил его катехизису, а пока они вместе рассаживали по гнездам наседок, объяснял ему на простых примерах, как случилось, что бог на второй день творения решил выращивать цыплят в яйцах. Уже тогда падре Антонио Исабель начал проявлять первые признаки старческого слабоумия, которое через несколько лет заставило его сказать, что, вероятно, дьявол одержал победу в своем мятеже против бога и воссел на престоле небесном, никому не открывая, кто он такой на самом деле, дабы завлекать в свои сети неосторожных. Под руководством столь отважного воспитателя Хосе Аркадио Второй за несколько месяцев стал не только знатоком в теологических хитростях, предназначенных для того, чтобы сбить с толку дьявола, но и специалистом по петушиным боям. Он

сделался петуховодом. «Неси этих птиц в другое место,— приказала ему Урсула, когда он в первый раз появился в доме со своими отборными питомцами.— Достаточно уже горя было нашему роду от петухов». Хосе Аркадио Второй не стал спорить и унес своих драчунов, но продолжал натаскивать их в доме Пилар Тернеры — она предоставила ему для этого все необходимое, лишь бы держать внука при себе. Вскоре, успешно применив на петушиных боях те хитрости, которым обучил его падре Антонио Исабель, он стал получать так много денег, что их хватало не только на пополнение его птичника, но и на удовлетворение его мужских потребностей. Сравнивая в ту пору Хосе Аркадио Второго с его братом, Урсула была не в силах понять, как из двух совершенно одинаковых близнецов могли получиться такие разные люди. Ей не долго пришлось мучиться этими размышлениями, потому что немного погодя и Аурелиано Второй тоже стал проявлять склонность к лодырничанью и распущенности. Пока он сидел затворником в комнате Мелькиадеса, это был такой же замкнутый, погруженный в свои мысли человек, как полковник Аурелиано Буэндиа в юности. Но незадолго до Неерландского соглашения одно случайное происшествие извлекло его из уединенной кельи и столкнуло лицом к лицу с жизнью. Молодая женщина, продававшая билеты лотереи, в которой разыгрывался аккордеон, вдруг поздоровалась с Аурелиано Вторым, как со своим близким знакомым. Он не был удивлен — его и раньше нередко путали с братом. Но он не открыл девушке ее ошибки ни тогда, когда она попыталась смягчить его сердце всхлипываниями, ни тогда, когда привела его в свою комнату. Она сильно привязалась к нему после этой первой встречи и начала даже подтасовывать билеты, чтобы аккордеон достался ему. Через две недели Аурелиано Второй обнаружил, что девушка спит попеременно то с ним, то с его братом, принимая их за одного человека, но не стал выяснять отношения, а напротив, изо всех сил старался скрыть правду. В комнату Мелькиадеса он больше не вернулся — целыми днями сидел теперь во дворе и на слух учился играть на аккордеоне, пропуская мимо ушей ворчание Урсулы, которая в то время запретила дома музыку из-за траура, да кроме того и вообще презирала аккордеон как инструмент бродячих музыкантов, наследников Франсиско Человека. В конце концов Аурелиано Второму удалось сделаться аккордеонистом-виртуозом, и он продолжал оставаться им даже после того, как обзавелся женой и детьми и превратился в одного из самых уважаемых людей Макондо.

В течение почти двух месяцев он делил женщину со своим братом. Следил за ним, расстраивал его планы, и когда убеждался, что Хосе Аркадио Второй не посетит этой ночью их общую любовницу, отправлялся к ней сам. В одно прекрасное утро он обнаружил, что болен. А через два дня налетел в купальне на брата, который стоял, уткнувшись лицом в стену, весь мокрый от пота, и заливался горючими слезами; тогда Аурелиано Второй все понял. Брат признался, что заразил женщину дурной болезнью — так она это называла — и его выгнали. Рассказал, как пытается лечить его Пилар Тернера. Аурелиано Второй стал втихомолку применять промывание горячей марганцовкой и разные мочегонные средства, и после трех месяцев тайных страданий оба они излечились. Хосе Аркадио Второй больше не виделся с женщиной. Аурелиано Второй вымолил у нее прощение и остался с ней до самой смерти.

Ее звали Петра Котес. Она приехала в Макондо во время войны вместе со случайным мужем, жившим на доход от лотерей, и, когда он умер, продолжала вести его дело. Это была очень чистоплотная молодая мулатка с желтыми миндалевидными глазами, придававшими ее лицу жестокое, как у пантеры, выражение, но у нее было щедрое сердце и настоящее призвание к любви. Когда до Урсулы дошел слух, что Хосе Аркадио Второй стал профессионалом петушиных боев, а Аурелиано

Второй играет на аккордеоне во время шумных пиршеств у своей любовницы, она чуть не сошла с ума от стыда. Эти двое близнецов как будто собрали в себе все семейные пороки, не приобретя ни одной семейной добродетели. Урсула решила, что никто в ее роду не получит больше имен Аурелиано и Хосе Аркадио. Однако, когда у Аурелиано Второго родился первенец, она не решилась противоречить желанию отца.

— Я согласна.— сказала Урсула,— но с одним условием: воспитывать его я буду сама.

Хотя Урсуле уже исполнилось сто лет и глаза ее почти не видели из-за катаракты, она сохранила свою энергию, цельный характер и трезвый склад ума. Она была уверена, что никто лучше нее не сможет вырастить ребенка, так, чтобы он стал добродетельным человеком, человеком, который восстановит престиж их фамилии, который ничего не будет знать о войне, бойцовых петухах, дурных женщинах и бредовых затеях — четырех бедствиях, обусловивших, по мнению Урсулы, упадок ее рода. «Этот будет священником,— торжественно пообещала она.— И если бог дарует мне жизнь, он станет папой римским». Ее слова вызвали смех не только в спальне, где они были сказаны, но и во всем доме, куда собрались в тот день шумливые дружки Аурелиано Второго. Война, давно уже заброшенная на тот чердак памяти, где хранятся дурные воспоминания, на короткое мгновение напомнила о себе, когда захлопали пробки от шампанского.

— За здоровье папы! — воскликнул Аурелиано Второй.

Гости хором повторили тост. Потом хозяин дома играл на аккордеоне, в воздух взлетали ракеты, а для народа были заказаны праздничные барабаны. С рассветом опившиеся шампанским гости закололи шесть телок и отправили туши на улицу — в распоряжение толпы. Никого из домашних это не возмутило. С тех пор как Аурелиано Второй взял на себя заботы о доме, подобные пиршества являлись обычным делом, даже когда для них не было такой уважительной причины, как рождение папы. За несколько лет, без всяких усилий со своей стороны — благодаря лишь чистейшему везению, Аурелиано Второй, скот и домашняя птица которого отличáлись сверхъестественной плодовитостью, стал обладателем одного из самых крупных состояний долины. Кобылы приносили ему тройни, куры неслись два раза в день, а свиньи так безудержно прибавляли в весе, что никто не мог объяснить это иначе как колдовством. «Откладывай деньги,— твердила Урсула своему легкомысленному правнуку,— такое счастье не может продолжаться вечно». Но Аурелиано Второй не обращал внимания на ее слова. Чем больше бутылок шампанского раскупоривал он, чтобы угощать своих друзей, тем больше он убеждался, что поразительная удача, выпавшая на его долю, зависит не от его поведения, а от влияния его наложницы Петры Котес, чья любовь имела свойство возбуждать живую природу. Он глубоко верил, что именно это было источником его богатства, и старался держать Петру Котес неподалеку от своих стад; женившись и заведя детей, Аурелиано Второй, с согласия Фернанды, продолжал встречаться с любовницей. Он вырос крепким и огромным, как его деды, но был одарен жизнелюбием и всепокоряющим обаянием, которого они не имели, и у него почти не оставалось времени, чтобы следить за своим скотом. Достаточно было ему взять с собой в питомники Петру Котес, проехаться с ней верхом по пастбищам, и каждая скотина, помеченная его тавром, становилась жертвой неодолимой эпидемии размножения.

Как и все хорошее, случившееся с Аурелиано Вторым и Петрой Котес за их долгую жизнь, это сумасшедшее богатство свалилось на них внезапно. Пока не кончились войны, Петра Котес существовала на доходы от своих лотерей, а Аурелиано Второй пробавлялся тем, что ему время от времени удавалось стянуть из копилок Урсулы. Любовники были

легкомысленной парой и знали только одну заботу — пораньше улечься в постель и резвиться там до утра, даже в те дни, когда церковь этого не разрешает. «Эта женщина тебя погубит,— кричала Урсула правнуку, видя, что он возвращается домой волоча ноги, словно сомнамбула.— Она тебе так задурила голову, что ты скоро свалишься от колик, и придется тебе к пузу холодную жабу прикладывать». Хосе Аркадио Второй, с большим опозданием узнавший о своем заместителе, не понимал страсти брата. В его памяти Петра Котес осталась обыкновенной женщиной, пожалуй, довольно ленивой в постели и совершенно лишенной необходимых для любви качеств. Но Аурелиано Второй был глух и к воплям Урсулы, и к насмешкам брата, он думал только о том, где бы найти занятие, которое дало бы ему возможность содержать дом для Петры, и в нем в одну из ночей умереть вместе с ней в ее объятиях. Когда полковник Аурелиано Буэндиа снова открыл свою мастерскую, прельстившись наконец мирными усладами старости, Аурелиано Второй решил, что изготовление золотых рыбок может оказаться прибыльным делом. Много часов провел он в душной комнатке, наблюдая, как твердые пластины металла, которые полковник обрабатывал с непостижимым терпением человека во всем разочарованного, превращались понемногу в золотые чешуйки. Работа показалась Аурелиано Второму такой тяжелой, а воспоминание о Петре Котес было таким настойчивым и властным, что через три недели он исчез из мастерской. Как раз в это время он принес своей возлюбленной кроликов, чтобы она разыграла их в лотерее. Зверьки стали плодиться и расти с необычайной быстротой, и Петра Котес едва успевала продавать билеты. Сначала Аурелиано Второй не замечал, что размножение приняло угрожающие размеры. Но когда уже никто в городе и слышать не хотел о кроличьих лотереях, он однажды ночью проснулся от громкого шума за выходившей во двор стеной. «Не бойся,— сказала Петра Котес,— это кролики». Но оба так больше и не сомкнули глаз, измученные непрекращающейся возней за стенкой. Наутро Аурелиано Второй открыл дверь и увидел, что весь двор забит кроликами — в рассеянном свете зари кроличий мех отливал серовато-голубым. Петра Котес хохотала как безумная и не удержалась от соблазна подшутить над ним.

— Это те, что родились сегодня ночью,— сказала она.

— Какой ужас! — воскликнул Аурелиано Второй.— А почему бы тебе не попробовать с коровами?

Вскоре Петра Котес, пытаясь разгрузить двор, поменяла кроликов на корову, корова спустя два месяца произвела на свет тройню. Отсюда все и началось. В мгновение ока Аурелиано Второй сделался владельцем пастбищ и стад и едва успевал расширять конюшни и битком набитые свинарники. Все это было похоже на сон и смешило Аурелиано Второго, ему ничего не оставалось, как выкидывать разные коленца, чтобы дать выход своему веселью. «Плодитесь, коровы,— жизнь коротка!» — орал он. Урсулу мучали страхи, не запутался ли ее правнук в какие-нибудь темные дела — может быть, стал вором или скотокрадом, и каждый раз, когда она видела, что он раскупоривает шампанское просто ради удовольствия полить себе пеной голову, она кричала на него, обвиняя в расточительстве. Нарекания Урсулы так допекли Аурелиано Второго, что однажды, вернувшись домой на рассвете в приподнятом настроении, он взял ящик с деньгами, банку клейстера и кисть и, распевая во весь голос старые песни Франсиско Человека, оклеил весь дом — изнутри и снаружи, сверху донизу — кредитками стоимостью в одно песо. Старинное здание, которое с тех самых пор, как привезли пианолу, неизменно красили в белый цвет, приобрело подозрительный вид какой-то мечети. Пока Урсула и другие домочадцы возмущались и кричали, а народ, запрудивший всю улицу, чтобы присутствовать при этом восславлении мотовства,

ликовал, Аурелиано Второй оклеил все — от фасада до кухни, даже купальни не забыл, и выбросил оставшиеся кредитки во двор.

— Теперь,— сказал он в заключение,— я надеюсь, что никто в этом доме не станет больше говорить мне о деньгах.

Так оно и было. По распоряжению Урсулы, кредитки вместе с приставшими к ним кусками штукатурки отодрали от стен и снова покрасили дом в белый цвет. «Господи боже,— молила Урсула,— сделай нас такими же бедными, какими мы были, когда основали этот город, чтобы не расплачиваться на том свете за расточительство». Ее молитвы были истолкованы в совершенно обратном смысле. Один из рабочих, отдиравших кредитки, толкнул по неосторожности большую гипсовую фигуру святого Иосифа, которую кто-то принес в дом перед концом войны, статуя упала и разбилась на куски. Внутри она была полая и доверху набита золотыми монетами. Долго вспоминали, как этот святой попал в дом. «Его притащили трое мужчин,— объяснила Амаранта.— И спросили разрешения оставить здесь, пока пройдет дождь, я им сказала — поставьте в угол, чтобы никто не наткнулся, они ее туда осторожно поставили, и там она с тех пор и стояла, ведь никто за ней не вернулся». В последнее время Урсула зажигала перед статуей свечи и преклоняла колени, не подозревая, что молится не святому, а почти двумстам килограммам золота. С запозданием обнаружив свое невольное язычество, она еще больше расстроилась. Потом собрала с пола внушительную груду монет, положила их в три мешка и закопала в потайном месте, рассудив, что рано или поздно три незнакомца явятся за ними. Много лет спустя, в тяжкие времена своей дряхлости, Урсула имела обыкновение вмешиваться в разговоры многочисленных приезжих, попадавших к ним в дом, и спрашивать их, не они ли оставили здесь гипсового святого Иосифа, чтобы он постоял, пока не пройдет дождь.

Изобилие, тревожившее Урсулу, было в ту пору обычным явлением. Макондо утопало в сказочном процветании. Выстроенные из глины и тростника дома старожилов уступили место кирпичным зданиям с деревянными ставнями от солнца и цементными полами, помогавшими легче переносить удушливую полуденную жару. О селении, основанном когда-то Хосе Аркадио Буэндиа, напоминали лишь запыленные миндальные деревья, которым суждено было выстоять перед самыми суровыми испытаниями, да река с прозрачной водой — камни ее, похожие на доисторические яйца, раздробили в порошок сумасшедшие молотки каменотесов, когда Хосе Аркадио Второй задумал расчистить русло и открыть по этой реке навигацию. То был бредовый замысел, сравнимый разве что с фантазиями Хосе Аркадио Буэндиа, ибо многочисленные камни и пороги исключали судоходство от Макондо до моря. Но Хосе Аркадио Второй в неожиданном для него порыве безрассудства настаивал на своем проекте. До тех пор он ни разу не проявлял излишнего воображения. Он даже не встречался с женщинами, если не считать кратковременного приключения с Петрой Котес. Урсула всегда считала этого своего правнука самым жалким из всех отпрысков рода Буэндиа за всю его историю, человеком, неспособным отличиться даже на поприще петушиных боев. Но как-то полковник Аурелиано Буэндиа рассказал Хосе Аркадио Второму про испанский галион, сидящий на мели в двенадцати километрах от моря, про галион, чей почерневший остов полковник видел в годы войны своими собственными глазами. Эта история, которую уже давным-давно все воспринимали как выдумку, для Хосе Аркадио Второго явилась откровением. Он продал с молотка своих петухов, подрядил на эти деньги рабочих, купил инструмент и занялся невиданным делом: стал дробить камни, рыть каналы, расчищать подводные мели и даже выравнивать пороги. «Я все это уже наизусть знаю,— кричала Урсула.— Похоже, что время по кругу вертится и мы опять пришли к тому, с чего

начали». Когда река, в представлении Хосе Аркадио Второго, сделалась судоходной, он подробно изложил брату свои планы, и тот дал ему деньги, необходимые для их осуществления. После этого Хосе Аркадио Второй на долгое время исчез. В Макондо уже стали поговаривать, что его проект купить судно — всего лишь уловка, придуманная с целью выманить деньги у брата и промотать их, но вдруг распространился слух о каком-то странном корабле, приближающемся к городу. Жители Макондо, давно позабывшие об умопомрачительных затеях Хосе Аркадио Буэндиа, сбежались к реке и, не веря своим глазам, смотрели, как к берегу подходит корабль — первый и последний корабль, когда-либо пришвартовывавшийся возле Макондо. Это был всего лишь плот из бальсовых бревен, его тянули за толстые канаты двадцать мужчин, которые шли берегом. На носу стоял Хосе Аркадио Второй с блестящими от счастья глазами и руководил этим сложным маневром. Он привез с собой целый букет великолепных французских гетер: они прятались от палящих лучей солнца под яркими зонтиками, на их роскошные плечи были наброшены шелковые шали, лица покрыты румянами и белилами, волосы украшены живыми цветами, на руках сверкали золотые браслеты, а во рту—вделанные в зубы бриллианты. Бальсовый плот был единственным плавучим средством, которое Хосе Аркадио Второй смог провести вверх по течению до Макондо, и то лишь единожды, тем не менее он так никогда не при знал, что замыслы его потерпели крушение, и даже напротив — провозгласил свое деяние великой победой человеческой воли над силами природы. Он до последнего гроша отчитался перед братом во всех расходах и вскоре опять ушел с головой в будничные заботы о бойцовых петухах. Единственное, что осталось от этого неудачного начинания, было дуновение новой жизни, принесенное в Макондо французскими гетерами, чье замечательное искусство изменило традиционные методы любви, а неусыпное радение об общественном благе побудило сровнять с землей устаревшее заведение Катарино и превратить глухую улочку в подобие шумной ярмарки с китайскими фонариками и грустной музыкой органчиков. Именно французские гетеры были застрельщицами кровавого карнавала, на три дня погрузившего все Макондо в состояние безумия и предоставившего Аурелиано Второму случай познакомиться с Фернандой дель Карпио.

Королевой карнавала была провозглашена Ремедиос Прекрасная. Урсула, которую волнующая красота правнучки приводила в трепет, не смогла помешать избранию. До тех пор она выпускала Ремедиос Прекрасную на улицу только вместе с Амарантой, когда надо было идти к мессе, и то при условии, что девушка закроет лицо черной мантильей. Мужчины, даже те, кто был лишен всякого благочестия и мог, переодевшись в одежду священника, служить кощунственные мессы в заведении Катарино, приходили в церковь, надеясь увидеть хоть на мгновение лицо Ремедиос Прекрасной, о чьей сказочной красоте с восторгом, переходящим в священный ужас, говорила вся долина. Прошло немало времени, прежде чем любопытным удалось взглянуть на это лицо, и лучше было бы им не дождаться такого случая, потому что большинство из них с той поры позабыло о спокойном сне. А человек, благодаря которому исполнилось их желание — один приезжий кабальеро,— сам навсегда утратил покой, увяз в трясине мерзости и нищеты, и несколько лет спустя, заснув на рельсах, был разрезан на части ночным поездом. С самой первой минуты, когда он появился в церкви в своем зеленом вельветовом костюме и вышитом жилете, все поняли, что он приехал очень издалека, возможно даже, из какой-нибудь другой страны, привлеченный волшебными чарами Ремедиос Прекрасной. Он был так красив и строен, держал себя с таким спокойным достоинством, что рядом с ним Пьетро Креспи показался бы просто недоноском, и многие женщины с завистливыми улыб-

ками шептали, что это его надо бы закрыть мантильей. Он не был знаком ни с кем в Макондо. Приезжал на рассвете в воскресенье, как принц из сказки — верхом на коне с серебряными стременами и бархатным чепраком, и после мессы покидал город.

Присутствие его в церкви было замечено с самого первого раза, как он вошел, и все решили, что между ним и Ремедиос Прекрасной завязался безмолвный и напряженный поединок, подписан секретный договор, возникло роковое соперничество, которое должно завершиться не только любовью, но и смертью. На шестое воскресенье кабальеро появился с желтой розой в руке. Он, как обычно, не преклоняя колен, прослушал мессу, а после окончания ее встал на пути Ремедиос Прекрасной и преподнес ей розу. Девушка взяла цветок простым, естественным движением, будто ожидала этого дара, затем приподняла на мгновение свою мантилью и улыбнулась незнакомцу. Вот и все, что она сделала. Но для него, и не только для него, а для всех мужчин, кто, на свое горе, оказался рядом, это мгновение стало незабываемым.

С тех пор кабальеро начал приходить под окно Ремедиос с оркестром, нередко игравшим до самого утра. Аурелиано Второй — единственный в доме человек, проникшийся к нему сердечным участием, пытался поколебать его упорство. «Не теряйте напрасно времени,— сказал он ему однажды ночью.— Женщины в этом доме упрямее ослиц». Он предложил незнакомцу свою дружбу, пригласил искупаться в шампанском, пробовал объяснить, что представительницы женской половины рода Буэндиа обладают сердцами из кремня, но так и не смог разубедить его. Выведенный из терпения нескончаемыми ночными концертами, полковник Аурелиано Буэндиа пригрозил кабальеро излечить его от печали с помощью пистолетов. Но ничто не могло заставить влюбленного отречься от своих намерений, пока он не впал в глубокое отчаяние. Тогда из красивого и элегантного молодого человека он превратился в жалкого оборванца. Ходили слухи, что он отказался от власти и богатства в своем далеком отечестве, хотя на самом деле никто никогда так и не узнал, откуда он родом. Он сделался задирой, драчуном, рассвет заставал его теперь всегда в заведении Катарино. Самым грустным в его трагедии было то, что Ремедиос Прекрасная в действительности была к нему безразлична даже в ту пору, когда он появлялся в церкви разодетый, как принц. Она приняла от него желтую розу без всякого кокетства, просто позабавленная этим необычным поступком, и приподняла мантилью, желая лучше разглядеть его лицо, а вовсе не затем, чтобы показать ему свое.

По правде говоря, Ремедиос Прекрасная была существом не от мира сего. Она дожила до двадцатилетнего возраста так и не научившись ни читать, ни писать, ни обращаться с приборами за столом, и бродила по дому нагая, поскольку ее природе были противны все виды условностей. Когда молодой офицер, начальник охраны, объяснился ей в любви, она отвергла его просто потому, что была удивлена его легкомыслием. «Ну и дурак,— сказала она Амаранте.— Говорит, что умирает из-за меня, что я — заворот кишок, что ли?» Когда же офицера действительно нашли мертвым под ее окном, Ремедиос Прекрасная подтвердила свое первое впечатление.

— Вот видите,— заметила она.— Круглый дурак.

Казалось, будто некая сверхъестественная проницательность позволяла ей видеть самую сущность вещей, отбрасывать все поверхностное, внешнее. Так по крайней мере считал полковник Аурелиано Буэндиа, для которого Ремедиос Прекрасная никоим образом не была умственно отсталой, какой ее все считали, а совсем наоборот. «Смотрчшь на нее, и как будто бы не было двадцати лет войны»,— любил говорить он. Урсула тоже благодарила бога, что он наградил их семью существом такой исключительной чистоты, но красота правнучки ее смущала, казалась ей не

достоинством, а изъяном — силками дьявола, расставленными посреди невинности. Поэтому Урсула и хотела отдалить Ремедиос Прекрасную от людей, уберечь от земных соблазнов, не зная, что Ремедиос Прекрасная уже в чреве своей матери была в полной безопасности от любой заразы. Урсула не могла допустить, что ее правнучку выберут королевой красоты для бесовского шабаша, называемого карнавалом. Но Аурелиано Второй, загоревшийся желанием одеться тигром, уговорил падре Антонио Исабеля прийти в дом и растолковать Урсуле, что карнавал не языческий праздник, как она считала, а народный обычай, освященный католической церковью. Наконец, убежденная священником, она дала, хотя и скрепя сердце, согласие на коронацию.

Известие о том, что Ремедиос Буэндиа станет королевой праздника, за несколько часов облетело всю округу, достигло самых отдаленных мест, куда еще не проникала слава о необычайной красоте девушки, и вызвало беспокойство тех, кто склонен был видеть в соединении слова «прекрасная» с ненавистным для них именем Буэндиа некий опасный символический смысл. Их тревога не имела оснований. Если кого-нибудь можно было назвать безобидным в то время, так это постаревшего и разочарованного полковника Аурелиано Буэндиа, который постепенно утрачивал всякую связь с жизнью народа. Он сидел затворником в своей мастерской, и единственным видом общения с остальным миром была для него торговля золотыми рыбками. Один из тех солдат, что охраняли его дом в первые дни мира, продавал их в городах и селениях долины, откуда возвращался, нагруженный золотыми монетами и новостями. Он рассказывал, что правительство консерваторов при поддержке либералов собирается переделать календарь так, чтобы каждый президент находился у власти сто лет; что наконец-то подписан конкордат со святым престолом и из Рима приезжал кардинал, корона у него была вся в бриллиантах, а трон — литого золота; что министры-либералы сфотографировались, стоя перед ним на коленях и целуя его кольцо; что примадонна гастролировавшей в столице испанской труппы была похищена из своей уборной неизвестными в масках и на следующее утро, в воскресенье, танцевала голая в летнем дворце президента республики. «Не говори мне о политике,— отвечал ему полковник.— Наше дело — продавать рыбок». Когда слух о том, что полковник не хочет ничего знать о положении в стране, а сидит и обогащается в своей мастерской, дошел до Урсулы, она засмеялась. Ее на редкость практический ум не мог постигнуть, какой смысл имеет торговля полковника, который меняет рыбок на золотые монеты, а потом превращает эти монеты в рыбок, и так без конца, и чем больше продает, тем больше должен работать, чтобы поддерживать этот порочный круг. По правде говоря, полковника Аурелиано Буэндиа интересовала не торговля, а работа. Ему приходилось так сосредоточиваться, вставляя в оправу чешуйки, инкрустируя крошечные рубины на месте глаз, отшлифовывая жабры и приделывая хвосты, что не оставалось ни одного свободного промежутка для воспоминаний о войне и связанных с нею разочарованиях. Точность и тонкость ювелирного искусства требовали такого безраздельного внимания, что за короткий срок полковник Аурелиано Буэндиа состарился больше, чем за все годы войны; от долгого сидения у него искривился позвоночник, от мелкой работы постоянно напряженное зрение испортилось, но зато он приобрел душевный покой. Последний раз полковник занимался вопросом, имеющим отношение к войне, когда группа ветеранов, в которой были и либералы и консерваторы, попросила помочь им добиться обещанных правительством пожизненных пенсий, дело с утверждением их все еще не сдвинулось с мертвой точки. «Забудьте об этом,— сказал полковник Аурелиано Буэндиа.— Вы видите: я отказался от пенсии, чтобы не мучиться до самой смерти, ожидая ее». Сначала его навещал по вечерам

полковник Херинельдо Маркес, они усаживались вдвоем на улице у двери дома и вызывали в своей памяти прошлое. Но Амаранта была не в силах переносить воспоминания, пробуждаемые в ней видом этого усталого человека, непреклонно увеличивавшаяся лысина которого уже сталкивала его в бездну преждевременной старости, и полковника Херинельдо Маркеса изводили несправедливым пренебрежением до тех пор, пока он не начал приходить только в исключительных случаях, а потом он и совсем исчез — его разбил паралич. Замкнутый, молчаливый, чуждый новым веяниям жизни, наполнявшим дом, полковник Аурелиано Буэндиа малопомалу понял, что секрет спокойной старости — это не что иное, как заключение честного союза с одиночеством. Он вставал в пять часов утра после неглубокого, похожего на забытье сна, выпивал свою всегдашнюю чашку черного кофе в кухне и запирался на все утро в мастерской, а в четыре часа дня проходил по галерее, волоча за собой табуретку, не обращая никакого внимания ни на пламенеющие пожаром кусты роз, ни на разлитое вокруг сияние клонящегося к закату солнца, ни на вызывающий вид Амаранты, неизбывная тоска которой издавала явственно различимый в тишине наступающего вечера шум кипящей в котле воды, и сидел на улице возле двери до тех пор, пока ему позволяли москиты. Однажды кто-то из прохожих осмелился нарушить его одиночество.

— Что поделываете, полковник?

— Да вот сижу,— отвечал он,— жду, когда понесут мимо гроб с моим телом.

В общем беспокойство, вызванное в некоторых кругах тем, что в связи с коронованием Ремедиос Прекрасной имя полковника Аурелиано Буэндиа снова появилось у всех на устах, не имело под собой реального основания. И, однако, многие придерживались другого мнения. Не ведая о нависшей над ними трагедии, жители Макондо радостными толпами затопили городскую площадь. Веселые безумства карнавала достигли уже апогея, и Аурелиано Второй, осуществивший наконец свою мечту одеться тигром, ходил среди необъятной толпы, охрипнув от беспрестанного рычания, когда вдруг на дороге из долины показалась большая группа ряженых, они несли на золоченых носилках женщину, пленительнее которой не могло представить себе ни одно воображение. Мирные жители Макондо на минуту сняли свои маски, стараясь разглядеть получше ослепительное создание в короне из изумрудов и в горностаевой мантии; оно казалось облеченным настоящей монаршей властью, а не мишурным владычеством из блесток и жатой бумаги. В толпе было немало людей, достаточно проницательных, чтобы заподозрить провокацию. Но Аурелиано Второй тотчас же положил конец возникшему замешательству: он объявил вновь прибывших почетными гостями и с соломоновой мудростью усадил Ремедиос Прекрасную и королеву-самозванку на одном пьедестале. До полуночи пришельцы, одетые бедуинами, принимали участие в общем ликовании и даже внесли в празднество свой вклад — великолепную пиротехнику и виртуозную акробатику, напомнившие всем о давнем искусстве цыган. Но скоро, в разгар веселья, хрупкое равновесие было нарушено.

— Да здравствует либеральная партия! — выкрикнул чей-то голос.— Да здравствует полковник Аурелиано Буэндиа!

Вспышки выстрелов затмили блеск фейерверочных огней, крики ужаса заглушили музыку, ликование сменилось паникой. Еще много лет спустя в народе говорили, что свита королевы-самозванки была на самом деле эскадроном регулярных войск, и под пышными бурнусами бедуинов были спрятаны карабины уставного образца. Правительство в экстренном сообщении отвергло это обвинение и пообещало провести строгое расследование кровавого события. Но истина так и не была установлена, и победила версия о том, что свита королевы, без всяких на то оснований,

по знаку своего командира развернулась в боевой порядок и безжалостно расстреляла толпу. Когда спокойствие было восстановлено, в городе не оказалось ни одного из мнимых бедуинов, а на площади остались лежать убитыми и ранеными: пять паяцев, четыре коломбины, шестнадцать карточных королей, один черт, три музыканта, два пэра Франции и три японские императрицы. Среди сумятицы и всеобщей паники Хосе Аркадио Второму удалось укрыть в безопасное место Ремедиос, а Аурелиано Второй принес домой на руках королеву-самозванку в разорванном платье и в испачканной кровью горностаевой мантии. Она звалась Фернанда дель Карпио. Ее выбрали как самую красивую из пяти тысяч прекраснейших женщин страны и привезли в Макондо, пообещав провозгласить королевой Мадагаскара. Урсула ходила за ней, словно за родной дочерью. Город, вместо того чтобы осудить девушку, проникся сочувствием к ее наивности. Через полгода после бойни на площади, когда выздоровели раненые и увяли последние цветы на братской могиле, Аурелиано Второй отправился за Фернандой дель Карпио в далекий город, где она жила со своим отцом, привез ее в Макондо и сыграл с ней шумную свадьбу, которая длилась целых двадцать дней.

■

Через два месяца их супружеству чуть было не пришел конец, потому что Аурелиано Второй, пытаясь загладить свою вину перед Петрой Котес, распорядился сфотографировать ее в наряде королевы Мадагаскара. Когда Фернанда узнала об этом, она сложила свое приданое обратно в сундуки и уехала из Макондо, ни с кем не попрощавшись. Аурелиано Второй догнал ее на дороге в долину. После долгих унизительных просьб и обещаний исправиться ему удалось вернуть жену домой, а от любовницы он снова ушел.

Петра Котес, уверенная в своих силах, не проявила никакого беспокойства. Ведь это она сделала его мужчиной. Он был еще ребенком, ничего не ведающим о настоящей жизни, с головой, набитой разными фантазиями, когда она извлекла его из комнаты Мелькиадеса и определила ему место в мире. Он родился скрытным, нелюдимым, склонным к одиноким размышлениям, а она совсем изменила его характер, сделав живым, общительным, откровенным; она вселила в него радость жизни, привила ему любовь к шумному веселью и мотовству и в конце концов превратила — внешне и внутренне — в того мужчину, о котором мечтала для себя с отроческих лет. Потом он женился — так рано или поздно делают все сыновья. Он долго не осмеливался сообщить ей, что собирается жениться. И при этом вел себя совсем по-детски: то и дело старался уязвить ее, осыпал незаслуженными попреками, придумывал какие-то обиды, надеясь, что Петра Котес порвет с ним сама. Однажды, когда Аурелиано Второй бросил своей возлюбленной очередное несправедливое обвинение, она уклонилась от ловушки и поставила все точки над «и».

— Все дело в том,— сказала Петра Котес,— что ты хочешь жениться на королеве.

Пристыженный Аурелиано Второй разыграл сцену гнева, объявил себя человеком непонятым и незаслуженно оскорбленным и перестал посещать дом любовницы. Петра Котес ни на мгновение не утратила своей замечательной выдержки, подобной выдержке сидящего в засаде зверя, она слушала доносившиеся к ней музыку, звуки фанфар, гомон бурного свадебного пира так, словно все это было лишь одной из новых проказ Аурелиано Второго. Тех, кто высказывал ей сочувствие, она успокаивала с безмятежной улыбкой. «Не тревожьтесь,— говорила она им.— Королевы передо мною навытяжку стоят». Соседке, предложив-

шей ей заговоренные свечи, чтобы зажечь их около портрета утраченного любовника, она ответила уверенно и загадочно:

— Единственная свеча, из-за которой он вернется, горит не угасая.

Как она и предполагала, Аурелиано Второй появился в ее доме, лишь только отошел медовый месяц. С ним были его всегдашние приятели и бродячий фотограф, а также платье и запачканная кровью горностаевая мантия, в которые Фернанда нарядилась, отправляясь на карнавал. Под шум веселой пирушки Аурелиано Второй заставил Петру Котес одеться королевой, провозгласил ее абсолютной и пожизненной владычицей Мадагаскара, приказал сфотографировать и раздал фотографии своим друзьям. Петра Котес не только сразу же согласилась принять участие в этой игре, но в глубине души почувствовала жалость к своему любовнику, решив, что он, видно, немало натерпелся, если придумал такой необычный способ примирения. В семь часов вечера, так и оставшись в наряде королевы, она приняла Аурелиано Второго у себя в постели. Он не был женат еще и двух месяцев, но Петра Котес сразу заметила, что дела на супружеском ложе идут неважно, и испытала сладкое удовлетворение от сознания совершившейся мести. Однако через два дня, когда Аурелиано Второй, не осмелившись явиться лично, прислал к ней посредника оговорить условия, на которых они расстанутся, Петра Котес поняла, что ей потребуется больше терпения, чем она предполагала, потому что ее любовник, похоже, собирается принести себя в жертву для сохранения внешнего приличия. Но даже и тут Петра Котес не изменила своему спокойствию. Безропотность, с которой она шла навстречу желанию Аурелиано Второго, лишь подтвердила сложившееся у всех представление о ней как о бедной, достойной сочувствия женщине; на память о любимом у нее осталась только пара лакированных ботинок — в них, по его собственным словам, он хотел бы лежать в гробу. Петра Котес обернула ботинки тряпками, уложила в сундук и приготовилась терпеливо, не поддаваясь отчаянию, ждать.

«Рано или поздно он должен прийти,— сказала она себе,— хотя бы для того, чтобы надеть эти ботинки».

Ей не пришлось дожидаться так долго, как она думала. По правде говоря, Аурелиано Второй уже в первую свадебную ночь понял, что вернется к Петре Котес значительно раньше, чем возникнет необходимость надеть лакированные ботинки: дело в том, что Фернанда оказалась женщиной не от мира сего. Она родилась и выросла за тысячу километров от моря, в мрачном городе, на каменистых улочках которого ночами еще можно было слышать пугающий стук колес призрачных карет, уносящих призраки вице-королей. Каждый вечер, в шесть часов, с тридцати двух колоколен этого города раздавался оглушительный погребальный звон. В старинный дом колониальной постройки, облицованный надгробными плитами, никогда не заглядывало солнце. От крон кипарисов на дворе, от сочащихся сыростью аркад туберозв в саду веяло мертвенным покоем. Из внешнего мира к Фернанде, вплоть до самого ее отрочества, не доносилось ничего, кроме меланхолических упражнений на пианино в соседнем доме, где кто-то год за годом, изо дня в день, добровольно лишал себя удовольствия поспать в часы сьесты. Сидя у постели своей больной матери, лицо которой от пыльного света витражей казалось зелено-желтым, она слушала методические, упорные, наводящие тоску гаммы и думала, что эта музыка звучит где-то там в далеком мире, пока она изнуряет себя здесь, сплетая надгробные венки. Мать, покрытая испариной из-за очередного приступа лихорадки, рассказывала ей о блестящем прошлом их рода. Совсем еще ребенком, в одну из лунных ночей Фернанда увидела, что по саду идет, направляясь к часовне, прекрасная женщина в белом. Больше всего

взволновало девочку во время этого мимолетного видения внезапно возникшее у нее чувство своего полного сходства с незнакомкой, словно то была она сама, но лишь двадцать лет спустя. «Это твоя прабабка, королева,— объяснила ей мать, перемежая свои слова кашлем.— Она умерла потому, что, срезая в саду туберозы, отравилась их запахом». Через много лет, когда Фернанда снова начала чувствовать свое сходство с прабабкой, она усомнилась, в самом ли деле та являлась ей в детстве, но мать побранила девушку за неверие.

— Наше богатство и могущество неизмеримы,— сказала мать.— Придет день — и ты станешь королевой.

Фернанда поверила ее словам, хотя в доме на длинный, покрытый тонкой скатертью и уставленный серебром стол ей подавали обычно только чашечку шоколада на воде и одно печенье. Она грезила о легендарном королевстве до самого дня свадьбы, несмотря на то что ее отец, дон Фернандо, вынужден был заложить дом, чтобы купить ей приданое. Эти мечты не были порождены ни наивностью, ни манией величия. Просто девушку так воспитали. С тех пор как Фернанда помнила себя, она всегда ходила на золотой горшок с фамильным гербом. Когда ей исполнилось двенадцать лет и она в первый раз покинула дом, чтобы отправиться в монастырскую школу, ее усадили в экипаж, а ехать надо было всего два квартала. Подруги ее по классу удивлялись, что новенькая сидит в стороне от них, на стуле с очень высокой спинкой, и не присоединяется к ним даже во время перемен. «Она не такая, как вы,—объясняли им монахини.— Она будет королевой». Подруги поверили в это, потому что уже тогда Фернанда была самой красивой, благородной и скромной девицей из всех, каких они видели в своей жизни. Прошло восемь лет, и, научившись писать стихи по-латыни, играть на клавикордах, беседовать о соколиной охоте с кабальеро и об апологетике[1] с архиепископами, обсуждать государственные дела с иностранными правителями, а дела божественные — с папой, она возвратилась под родительский кров, чтобы снова взяться за плетение погребальных венков. Дом она нашла опустошенным. В нем остались только самая необходимая мебель, канделябры и серебряный сервиз, все остальное пришлось постепенно распродать,— ведь надо было платить за ее обучение. Мать ее умерла от приступа лихорадки. Отец, дон Фернандо, весь в черном, в тугом крахмальном воротничке и с золотой цепочкой от часов поперек груди, выдавал ей по понедельникам серебряную монету на домашние расходы и уносил сплетенные за неделю погребальные венки. Большую часть дня он просиживал, запершись в кабинете, а в тех редких случаях, когда выходил в город, всегда возвращался до шести часов, чтобы успеть помолиться вместе с дочерью. Никогда Фернанда ни с кем не дружила. Никогда не слышала о том, что страна истекает кровью в войнах. Никогда не переставала слышать упражнения на пианино в три часа дня. Она начинала уже терять надежду стать королевой, как вдруг однажды от парадного входа донеслись два нетерпеливых удара дверного молотка. Фернанда открыла двери представительному военному с чрезвычайно учтивыми манерами, на щеке у него был шрам, а на груди золотая медаль. Он заперся с ее отцом в кабинете. Через два часа дон Фернандо пришел к ней в рабочую комнату. «Собирайся,— сказал он.— Тебе придется отправиться в далекое путешествие». Вот так Фернанду и привезли в Макондо, где жизнь одним ударом грубо и безжалостно обрушила на нее всю тяжесть той реальной действительности, которую родители так ловко скрывали от дочери в течение многих лет. Возвратившись домой, она заперлась в своей комнате и долго плакала, не внемля мольбам и объяснениям дона Фернандо, пытавшегося изле-

[1] Апологетика — часть теологии, имеющая целью доказать совершенство и истинность христианской религии.

чить рану, нанесенную ее сердцу неслыханным издевательством. Фернанда уже решила, что не покинет своей спальни до самой смерти, но тут за ней приехал Аурелиано Второй. Это была совершенно необъяснимая удача, ведь, оглушенная возмущением, в ярости от своего позора, Фернанда солгала ему, чтобы он никогда не смог узнать, кто она такая. Отправляясь на поиски незнакомки, Аурелиано Второй располагал только двумя достоверными приметами — ее характерным выговором уроженки гор и ее профессией плетельщицы погребальных венков. Он искал, не щадя своих сил. С той же безумной отвагой, с которой Хосе Аркадио Буэндиа пересек горный хребет, чтобы основать Макондо, с той же слепой гордостью, с которой полковник Аурелиано Буэндиа вел свои бесполезные войны, с тем же безрассудным упрямством, с которым Урсула боролась за жизнь своего рода, искал Аурелиано Второй Фернанду, ни на минуту не падая духом. Он спрашивал, где продаются погребальные венки, и его вели из одного дома в другой, чтобы он мог выбрать лучшие. Он спрашивал, где живет самая красивая женщина, когда-либо существовавшая на земле, и все матери приводили его к своим дочерям. Он блуждал по ущельям неясности, по заповедникам вычеркнутого из памяти, по лабиринтам разочарований. Он прошел через желтую пустыню, где эхо повторяло его мысли, а тоска рождала призрачные видения. После многих недель бесплодных поисков он прибыл в неизвестный город, где все колокола звонили, как по умершему. Он сразу же узнал, хотя никогда раньше их не видел и ничего о них не слышал, и стены, разъеденные солью северных ветров, и дряхлые балконы из трухлявого, почерневшего дерева, и прибитый у входной двери кусочек картона с почти смытой дождями надписью, печальнее которой не было на свете: *«Продаются погребальные венки»*. С этой минуты и до того ледяного утра, когда Фернанда под охраной матери-игуменьи навсегда оставила свой дом, прошло так мало времени, что монахини едва успели сшить приданое и уложить в сундуки канделябры, серебряный сервиз, золотой горшок и бесчисленные и бесполезные обломки затянувшейся на два века фамильной катастрофы. Дон Фернандо отклонил предложение сопровождать невесту. Он пообещал приехать в Макондо позже, когда расплатится по своим обязательствам, и, благословив дочь, тут же снова заперся в кабинете, откуда стал посылать ей короткие письма с траурными виньетками и родовым гербом,— эти письма впервые установили некое духовное общение между отцом и дочерью. Для Фернанды день отъезда был днем ее подлинного рождения. Для Аурелиано Второго он стал почти одновременно и началом и концом счастья.

Фернанда привезла с собой прелестный календарь, украшенный золочеными цветочками, в котором ее духовник пометил фиолетовыми чернилами даты воздержания от супружеской жизни. За вычетом страстной недели, воскресений, первой пятницы каждого месяца, дней, обязательных для посещения месс, для постов и обетов воздержания, а также тех чисел, что выпадают из-за периодических недомоганий, в нем оставалось всего сорок два пригодных дня, разбросанных там и сям среди густого леса фиолетовых крестов. Аурелиано Второй, не сомневавшийся, что время повалит на землю эту колючую изгородь, растянул свадебное празднество дальше предусмотренного срока. Устав от огромного количества пустых бутылок из-под шампанского и бренди, которые ей без конца приходилось отправлять мусорщику, чтобы они не завалили весь дом, и в то же время заинтригованная тем, что новобрачные ложатся спать в разный час и в разных комнатах, а фанфары и музыка не затихают и убой скота все продолжается, Урсула вспомнила свой собственный опыт и спросила Фернанду, нет ли случайно и у нее пояса целомудрия, ведь рано или поздно он вызовет в городе насмешки, а это может

плохо кончиться. Но Фернанда призналась, что просто ждет, пока минуют две недели после свадьбы, и тогда уже позволит себе первое общение с мужем. Когда прошел этот срок, она действительно открыла дверь своей спальни, готовясь принести себя в жертву во искупление грехов, и Аурелиано Второй увидел самую прекрасную в мире женщину с глазами испуганной лани и с длинными волосами цвета меди, рассыпавшимися по подушке. Очарованный этим зрелищем, он не сразу заметил, что Фернанда нарядилась в белую, доходящую до щиколоток рубаху с длинными рукавами и с большим, круглым, искусно обметанным отверстием на уровне живота. Аурелиано Второй не мог удержаться от смеха.

— Это самая непристойная штука из всего, что я видел в своей жизни,— вскричал он с хохотом, который был слышен во всем доме.— Я взял в жены монашенку.

Через месяц, так и не добившись от жены, чтобы она сняла белую рубаху, он отправился фотографировать Петру Котес в наряде королевы. Позже, когда ему удалось вернуть Фернанду в дом, она в пылу примирения уступила его желаниям, но не сумела дать ему то успокоение, о котором он мечтал, отправляясь искать ее в город тридцати двух колоколен. С ней он обрел лишь чувство глубокого отчаяния. Однажды ночью, незадолго до того, как родился их первый сын, Фернанда поняла, что муж тайком от нее вернулся в объятья Петры Котес.

— Да, ты права,— признался он. И объяснил ей тоном глубочайшего самоотречения: — Я должен был так поступить, чтобы скот продолжал плодиться.

Конечно, прошло некоторое время, прежде чем она поверила столь необычному объяснению, но когда Аурелиано Второй наконец добился этого, предъявив ей доказательства, выглядевшие неопровержимыми, Фернанда потребовала от него лишь одного — обещания, что он не позволит себе умереть в постели любовницы. И они продолжали жить втроем, не мешая друг другу: Аурелиано Второй был обязателен и нежен с обеими, Петра Котес наслаждалась своей победой, а Фернанда делала вид, что не знает правды.

Но хотя с мужем Фернанда и заключила союз, найти общий язык с остальными Буэндиа ей так и не удалось. Тщетно просила ее Урсула выбросить черный шерстяной капот, который Фернанда всякий раз надевала утром, если ночью ей пришлось выполнять супружеские обязанности. Этот капот уже вызывал перешептывания соседей. Также не смогла Урсула заставить Фернанду пользоваться купальней и уборной и уговорить ее продать золотой горшок полковнику Аурелиано Буэндиа на изготовление рыбок. Амаранту выводили из себя неправильное произношение Фернанды, ее привычка употреблять эвфемизмы, и она всегда разговаривала с ней на каком-то непонятном языке.

— Онафа изфи техфе ктофо вофорофотитфи носфо отфо собфоственнофогофо дерьфемафа,— изрекала вдруг Амаранта.

Однажды, раздраженная явной насмешкой, Фернанда спросила, что означает эта тарабарщина, и Амаранта ответила ей без всяких эвфемизмов:

— Я говорю, что ты из тех, кто путает задницу с великим постом.

С того дня они больше не сказали друг другу ни слова. А в случае крайней необходимости договаривались с помощью записок или через посредников. Невзирая на явную враждебность к ней семьи мужа, Фернанда не отказалась от намерения привить Буэндиа благородные традиции своих предков. Она покончила с обыкновением есть на кухне когда кому вздумается и возложила на всех обязанность являться в строго определенные часы в столовую к большому столу, накрытому белоснежной скатертью и уставленному канделябрами и серебром. Пре-

вращение акта еды, который Урсула всегда считала одним из самых немудреных дел повседневной жизни, в торжественную церемонию, создало в доме такую невыносимо чинную атмосферу, что против нее восстал даже молчаливый Хосе Аркадио Второй. Тем не менее новый порядок восторжествовал так же, как и другое нововведение — обязательно читать перед ужином молитву; оно привлекло внимание соседей, и скоро распространился слух, что Буэндиа садятся за стол не как остальные смертные и превратили трапезу в богослужение. Даже суеверия Урсулы, рожденные скорее мгновенным вдохновением, чем традициями, вступили в противоречие с навсегда определенными и жестко расписанными для каждого отдельного случая суевериями, унаследованными Фернандой от родителей. Пока Урсула хорошо владела всеми своими пятью чувствами, кое-что из старых обычаев все же оставалось в силе и жизнь семьи еще испытывала воздействие ее смелых решений, но когда Урсула перестала видеть и бремя годов вынудило ее удалиться от дел, стена строгостей, которую Фернанда начала возводить вокруг дома с момента своего появления в нем, замкнулась, и уже никто, кроме Фернанды, не был вправе решать судьбы семьи. Торговлю кондитерскими изделиями и фигурками из леденца Фернанда расценила как недостойное занятие и не замедлила положить ей конец. Двери дома, прежде распахнутые настежь с рассвета до часа отхода ко сну, стали закрываться сначала на время сьесты под тем предлогом, что солнце нагревает спальни, а потом затворились навсегда. Ветка можжевельника и хлеб, со времен основания Макондо висевшие на притолоке, были заменены нишей с Сердцем Иисусовым. Полковник Аурелиано Буэндиа заметил эти новшества и понял, куда они ведут. «Мы превращаемся в аристократов,— протестовал он.— Этак мы снова пойдем войной на консерваторов, только теперь — чтобы посадить их на место короля». Фернанда очень тактично старалась избежать столкновений с ним. В глубине души она, конечно, была недовольна его независимостью и сопротивлением, которое он оказывал вводимым ею строгим правилам. Она приходила в отчаяние от его чашки кофе в пять утра, от беспорядка в мастерской, от изношенного до дыр плаща, от обычая сидеть вечерами на улице у дверей дома. Но Фернанда была вынуждена мириться с этой разболтанной деталью фамильного механизма, потому что хорошо знала: полковник — укрощенный годами и разочарованиями дикий зверь, и в приступе старческого возмущения он может вырвать с корнем все, на чем держится дом. Когда муж выразил желание дать их первенцу имя прадеда, она еще не осмелилась протестовать, ведь к тому времени она прожила в семье всего лишь год. Но когда у них родилась первая дочка, Фернанда прямо заявила, что назовет ее Ренатой, в честь своей матери. Урсула потребовала наречь младенца Ремедиос. После ожесточенного спора, в котором Аурелиано Второй выполнял роль забавляющегося посредника, дочку окрестили Ренатой, но семья отца и весь город упорно называли ее Меме — уменьшительным именем от Ремедиос.

На первых порах Фернанда молчала о своих родителях, но потом начала создавать идеализированный образ своего отца. Она часто вспоминала его за столом, изображая человеком исключительным, отрекшимся от мирской суеты и постепенно превращающимся в святого. Аурелиано Второй, удивленный столь неумеренным возвеличением тестя, не мог удержаться от соблазна и за спиной супруги отпускал по его адресу разные шуточки. Остальные члены семьи следовали его примеру. Даже сама Урсула, так ревностно охранявшая семейный мир и втайне страдавшая от домашних разногласий, позволила себе сказать однажды, что ее маленькому внуку обеспечен папский престол, потому что он «внук святого и сын королевы и скотокрада». Несмотря на зубоскаль-

ство веселых заговорщиков, дети Аурелиано Второго привыкли думать о своем дедушке как о легендарном существе, посылающем им письма с благочестивыми стихами, а к рождеству — ящик подарков, такой большой, что каждый раз его с трудом втаскивают в двери. Дон Фернандо отправлял своим внукам последние обломки родового имения. Из них в детской соорудили алтарь со святыми в натуральную величину, стеклянные глаза придавали этим фигурам пугающе живой вид, а их искусно расшитая суконная одежда была лучше всего, что когда-либо носили в Макондо. Мало-помалу погребальное великолепие древних и мрачных господских покоев перекочевало в светлый дом Буэндиа. «К нам переслали уже все семейное кладбище,— заметил как-то Аурелиано Второй.—Не хватает только плакучих ив и надгробных плит». Хотя в ящиках деда никогда не было ничего такого, с чем можно играть, дети все равно целый год нетерпеливо ждали декабря, потому что, как ни говори, а появление старинных и всегда неожиданных предметов вносило в их жизнь разнообразие. На десятое рождество, когда маленького Хосе Аркадио уже готовили к отправлению в семинарию, прибыл, несколько раньше, чем всегда, крепко заколоченный и промазанный по швам смолой для предохранения от влаги огромный дедушкин ящик, надпись из готических букв адресовала его достопочтеннейшей сеньоре донье Фернанде дель Карпио де Буэндиа. Пока Фернанда читала в спальне письмо, дети бросились открывать ящик. Как обычно, им помогал Аурелиано Второй. Они соскоблили смолу, вытащили гвозди, сняли предохранительный слой опилок и обнаружили под ним длинный свинцовый сундук, завинченный медными винтами. Отвинтив все восемь винтов, Аурелиано Второй вскрикнул и едва успел оттолкнуть детей в сторону — под приподнятой крышкой он увидел дона Фернандо, одетого в черное и с распятием на груди.

Вскоре после рождения Ренаты правительство неожиданно распорядилось по случаю очередной годовщины Неерландского перемирия отпраздновать юбилей полковника Аурелиано Буэндиа. Подобное решение так противоречило всей официальной политике, что полковник без колебаний выступил против него и отказался от чествования. «Я в первый раз слышу слово «юбилей»,— сказал он.— Но что бы оно ни значило, это явное издевательство» Тесная мастерская ювелира наполнилась посланцами. Снова появились, на сей раз значительно более старые и гораздо более торжественные, чем прежде, адвокаты в черных костюмах, те самые, которые в былую пору, словно вороны, кружились вокруг полковника. Увидев их, он вспомнил то время, когда они приезжали к нему, чтобы завести войну в тупик, и не смог вынести цинизма их панегириков. Он приказал им оставить его в покое, заявил, что он не борец за свободу нации, как они утверждают, а простой ремесленник без прошлого, чья единственная мечта — умереть от усталости, забытым и нищим, среди своих золотых рыбок. Больше всего его возмутило сообщение, что президент республики собирается лично присутствовать на торжествах в Макондо и вручить ему орден «За заслуги». Полковник Аурелиано Буэндиа приказал передать президенту слово в слово: он будет нетерпеливо ждать этой запоздалой, но заслуженной оказии, чтобы влепить президенту пулю в лоб — не в наказание за все злоупотребления и беззакония его правительства, а за неуважение к старику, который никому не делает зла. Он произнес свою угрозу с такой горячностью, что президент республики в последнюю минуту передумал ехать и отправил ему орден с личным представителем. Полковник Херинельдо Маркес, осаждаемый с разных сторон, уступил просьбам и требованиям и покинул ложе паралитика, надеясь переубедить старого товарища по оружию. Когда тот увидел своего друга, восседающего среди больших подушек на качалке, которую несли четыре человека, он ни на

мгновение не усомнился, что полковник Херинельдо Маркес, с молодых лет деливший с ним все его победы и поражения, совершает над собой это усилие с единственной целью — выразить ему свою солидарность. Но узнав истинную причину визита, он велел вынести качалку из мастерской вместе с полковником Херинельдо Маркесом.

— Слишком поздно убеждаюсь я,— сказал он ему,— что сделал бы тебе великое благо, если бы позволил тебя расстрелять.

Таким образом, юбилей был проведен без участия кого-либо из семьи Буэндиа. С неделей карнавала он совпал совершенно случайно, но никому не удалось выбить из головы полковника Аурелиано Буэндиа упрямую мысль, что это совпадение тоже было предусмотрено правительством, желавшим усугубить надругательство. В своей уединенной мастерской он слышал военную музыку, залпы артиллерийского салюта, перезвон колоколов и отрывки фраз из речей, произнесенных перед домом по поводу присвоения улице его имени. Глаза полковника Аурелиано Буэндиа увлажнились слезами возмущения и бессильного гнева, в первый раз с момента своего поражения он пожалел о том, что уже не обладает решительностью молодости, чтобы начать кровавую войну и уничтожить всякий след власти консерваторов. Еще не умолкло эхо чествований, когда в дверь мастерской постучала Урсула.

— Не беспокойте меня,— сказал полковник Аурелиано Буэндиа.— Я занят.

— Открой,— голос Урсулы звучал спокойно, буднично.— Это не имеет никакого отношения к празднику.

Тогда он отодвинул засов и увидел в коридоре семнадцать мужчин разного обличия, типа и цвета, но с общим для всех одиноким видом, по которому их сразу можно было узнать в любом месте земного шара. То были его сыновья. Не сговариваясь заранее, даже еще не зная друг друга, они явились из самых дальних уголков побережья, привлеченные слухами о юбилее. Все они с гордостью носили имя Аурелиано и фамилии матерей. За те три дня, что вновь прибывшие, к радости Урсулы и негодованию Фернанды, провели в доме, они успели все перевернуть вверх дном, как хорошая война. Амаранта разыскала в старых бумагах книжечку, куда Урсула в свое время внесла даты их рождений и крестин и напротив каждого имени приписала адрес. С помощью этого списка можно было воскресить в памяти все двадцать лет войны. Проследить все ночные походы полковника, начиная с того утра, когда он вышел из Макондо во главе двадцати одного человека в погоне за химерой восстания, и кончая последним его возвращением домой в заскорузлом от крови плаще. Аурелиано Второй не упустил случая отпраздновать приезд кузенов шумным пиром с шампанским и аккордеоном, это празднество сочли запоздалым ответом на злосчастный карнавал, организованный к юбилею. Гости превратили в черепки половину всех ваз в доме, поломали розовые кусты, гоняясь за быком, которого собирались качать на одеяле, перестреляли всех кур, заставили Амаранту танцевать грустные вальсы Пьетро Креспи, добились, чтобы Ремедиос надела брюки и взобралась на шест с призом, и запустили в столовую вымазанную жиром свинью, которая сбила с ног Фернанду, но никто не жаловался на эти напасти, потому что землетрясение, сотрясавшее весь дом, оказалось целительным. Полковника Аурелиано Буэндиа, сначала встретившего своих сыновей с недоверием и даже усомнившегося в родословной кое-кого из них, позабавили их выходки, и перед отъездом он подарил каждому по золотой рыбке. А нелюдимый Хосе Аркадио Второй пригласил кузенов на петушиные бои, и это чуть не окончилось трагедией, потому что многие из Аурелиано были великими знатоками разных махинаций петуховодов и тотчас же обнаружили мошеннические проделки падре Антонио Исабеля. Аурелиано Второй, увидев, какие

безграничные возможности для гулянок и веселья открывает такая огромная родня, решил, что все они должны остаться работать у него. Согласился на его предложение только один Аурелиано Печальный, огромный мулат, отличавшийся энергией и исследовательскими наклонностями своего деда; он уже объездил полмира в поисках удачи, и ему было все равно, где жить. Другие, хотя они еще не обзавелись семьей, считали, что уже избрали свой жребий. Все они были умелыми ремесленниками, хозяевами в своем доме и мирными людьми. В среду, в первый день великого поста, перед тем как сыновьям полковника снова разъехаться по всему побережью, Амаранта заставила их надеть воскресное платье и пойти с ней в церковь. Скорее для забавы, чем из благочестия, они позволили подвести себя к исповедальне, где падре Антонио Исабель начертал каждому пеплом крест на лбу. Когда они вернулись домой и самый младший из них захотел вытереть лоб, то обнаружил, что знак неизгладим, так же как и знаки на лбах братьев. Пустили в ход воду и мыло, песок и мочалку и наконец пемзу и жавель, но так и не смогли уничтожить кресты. Напротив, Амаранта и все остальные, кто был в церкви, стерли свои без всякого труда. «Тем лучше,— сказала Урсула, прощаясь с братьями.— Теперь уж никто вас не спутает». Они уехали всей толпой, предшествуемые оркестром и пуская в воздух ракеты, и оставили в городе впечатление, что род Буэндиа имеет семя еще на многие века. Аурелиано Печальный выстроил на окраине города фабрику льда, о которой мечтал Хосе Аркадио Буэндиа во время приступов изобретательского безумия.

Месяц спустя после своего прибытия в Макондо, когда все уже его узнали и оценили, Аурелиано Печальный бродил по городу в поисках подходящего жилища для матери и незамужней сестры (она не была дочерью полковника) и заинтересовался большим, нескладным и ветхим зданием в углу площади,— оно казалось нежилым. Он спросил, кто хозяин дома, ему ответили, что дом ничей, раньше в нем жила одинокая вдова, питавшаяся землей да известкой со стен, в последние годы перед смертью ее только дважды видели на улице, когда она, в шляпе из крошечных искусственных цветов и туфлях цвета старого серебра, шла через площадь к почтовой конторе, чтобы отправить письма епископу. Он услышал, что единственной подругой вдовы была бессердечная служанка, которая убивала собак, кошек и любых животных, проникавших в дом, и бросала их трупы посредине улицы, чтобы извести весь город смрадом разложения. С тех пор как солнце превратило в мумию последний выброшенный ею труп, прошло так много времени, что все были уверены: хозяйка дома и служанка умерли задолго до окончания войны, и если дом еще стоит, то лишь потому, что давно уже не было ни дождливой зимы, ни урагана. Двери с изъеденными ржавчиной петлями держались, казалось, только на опутавшей их паутине; оконные рамы набухли от сырости; в трещинах, избороздивших цементный пол галереи, росли трава и полевые цветы, сновали ящерицы и разные гады — все как будто подтверждало, что здесь, по крайней мере лет пятьдесят, никто не живет. Нетерпеливому Аурелиано Печальному хватило бы и части этих доказательств, чтобы решиться войти в дом. Он толкнул плечом парадную дверь, и ее трухлявое дерево посыпалось к его ногам бесшумным обвалом из пыли и земли, которую натаскали муравьи, устроившие в досках свои гнезда. Аурелиано Печальный задержался у порога, выжидая, пока рассеется облако пыли, и когда это произошло, он увидел в центре гостиной истощенную женщину, одетую по моде прошлого века, на ее голом черепе торчало несколько желтоватых травинок, в больших, все еще прекрасных глазах угасли последние звезды надежды, лицо было сморщенное, иссушенное одиночеством.

Потрясенный этим видением из потустороннего мира, Аурелиано

Печальный с трудом осознал, что женщина целится в него из старого пистолета военного образца.

— Простите,— сказал он шепотом.

Она все стояла неподвижно посредине набитой старым хламом комнаты, внимательно изучая этого гиганта с квадратными плечами и крестом из пепла на лбу, и сквозь дымку пыли он предстал ей в дымке былых времен с двустволкой за спиной и связкой кроликов в руке.

— Нет! Ради бога! — воскликнула она хриплым голосом.— Жестоко напоминать мне об этом теперь.

— Я хотел бы снять дом,— сказал Аурелиано Печальный.

Тогда женщина снова подняла пистолет, твердой рукой направила его на крест из пепла, видневшийся на лбу Аурелиано Печального, и с непреклонной решимостью взвела курок.

— Уходите,— приказала она.

Вечером, за ужином, Аурелиано Печальный поведал о случившемся семье, и, совершенно подавленная его сообщением, Урсула прослезилась. «Боже правый,— воскликнула она, хватаясь за голову.— Она еще жива!» Время, войны, бесчисленные каждодневные несчастья заставили ее позабыть о Ребеке. Единственным человеком, который ни на минуту не переставал сознавать, что Ребека жива, была неумолимая и постаревшая Амаранта. Она думала о Ребеке по утрам, просыпаясь от ледяного холода в сердце на своей одинокой кровати, думала, когда намыливала увядшие груди и тощий живот, надевала на себя юбки и корсажи из белого полотна — материи старух и когда меняла на руке черную повязку страшного искупления. Всегда, каждый час, спала ли она или бодрствовала, в самые возвышенные и в самые низменные минуты, Амаранта думала о Ребеке; одиночество привело в порядок ее воспоминания — сожгло свалявшиеся груды разного наводящего тоску мусора, накопленного жизнью в ее сердце, очистило, возвеличило и сделало бессмертными другие, горчайшие воспоминания. От Амаранты узнала о существовании Ребеки Ремедиос Прекрасная. Каждый раз когда они проходили мимо ветхого дома, Амаранта рассказывала девушке о каком-нибудь случае неблагодарности со стороны Ребеки, о какой-нибудь постыдной истории, связанной с именем соперницы, пытаясь этим путем заставить Ремедиос разделить с ней изнуряющую ее злобу, чтобы злоба эта осталась жить и после смерти самой Амаранты, однако попытки ее окончились неудачей, потому что Ремедиос Прекрасной были чужды всякие страсти и, особенно, страсти, волновавшие других. Урсула испытала чувства, противоположные тем, что наполняли Амаранту: Ребека явилась ей как воспоминание, освобожденное от всего дурного; образ бедного маленького создания, доставленного Урсуле вместе с побрякивающими в мешке костями его родителей, взял верх над памятью о позорном проступке, который сделал Ребеку недостойной принадлежать к роду Буэндиа. Аурелиано Второй решил, что надо взять Ребеку в дом и заботиться о ней, но его доброму намерению не суждено было осуществиться из-за непоколебимого упрямства Ребеки: слишком много лет она страдала и бедствовала, чтобы завоевать преимущества одиночества, и не была расположена менять эти преимущества на беспокойную старость под сенью чужого милосердия с его фальшивыми усладами.

В феврале, когда в Макондо снова приехали шестнадцать сыновей полковника Аурелиано Буэндиа, все еще отмеченные крестами из пепла, Аурелиано Печальный, под шум гулянки, рассказал им о Ребеке, и они за несколько часов восстановили былой внешний вид ее дома, сменили двери и окна, окрасили фасад в светлые, веселые тона, укрепили стены подпорками и наново зацементировали пол галереи, но не получили разрешения перенести свою деятельность внутрь здания. Ребека даже не

подошла к дверям. Дождалась, пока братья кончили свой скоропалительный ремонт, подсчитала стоимость его и отправила им с Архенидой, все еще жившей у нее старой служанкой, пригоршню монет (эти деньги вышли из обращения со времени последней войны, но Ребека продолжала считать их годными). Только тогда все осознали, какая глубокая пропасть отделяет ее от мира, и поняли, что невозможно извлечь Ребеку из ее упорного затворничества, пока в ней теплится хотя бы намек на жизнь.

Во время второго приезда сыновей полковника Аурелиано Буэндиа еще один из них — Аурелиано Ржаной поселился в Макондо и начал работать вместе с Аурелиано Печальным. Аурелиано Ржаной был из числа первых сыновей полковника, привезенных в дом для крещения, и Урсула с Амарантой очень хорошо его запомнили, потому что он за несколько часов перебил все хрупкие предметы, какие только попались ему под руку. Время умерило его первоначальное стремление непрерывно тянуться вверх, и теперь это был человек среднего роста с лицом, отмеченным следами оспы, однако заключенная в нем удивительная сила разрушения осталась прежней. Он разбил столько тарелок, даже тех, к которым не прикасался, что Фернанда поторопилась купить ему оловянную посуду раньше, чем он уничтожит последние предметы из ее дорогих сервизов, но и на прочных металлических тарелках очень скоро появились вмятины и надломы. Это неизлечимое свойство, приводившее в отчаяние даже самого Аурелиано Ржаного, искупалось сердечностью, внушавшей к нему доверие с первого взгляда, и поразительной работоспособностью. В короткое время он так расширил производство льда, что превысил покупательные возможности местного рынка, и Аурелиано Печальному пришлось задуматься над тем, как сбывать свой товар в других населенных пунктах долины. Тогда у него и родилась та мысль, осуществление которой сыграло решающую роль не только в модернизации производства на его фабрике, но и в установлении связи Макондо с остальным миром.

— Надо провести железную дорогу,— сказал Аурелиано Печальный.

Это был первый раз, когда слова «железная дорога» прозвучали в Макондо. При виде чертежа, нарисованного Аурелиано Печальным на столе, непосредственного потомка схем, которыми Хосе Аркадио Буэндиа снабдил в свое время руководство по солнечной войне, Урсула утвердилась в своем подозрении, что время движется по кругу. Однако, в противоположность деду, Аурелиано Печальный не терял ни сна, ни аппетита и не терзал никого приступами черной меланхолии, напротив, — замышляя самые невероятные проекты, он твердо верил, что осуществит их в ближайшее время, умело составлял все расчеты, касающиеся их стоимости и сроков, и приводил задуманное в исполнение, не отвлекаясь на муки сомнений и отчаяния.

Если Аурелиано Второй и был чем-то похож на прадеда и непохож на полковника Аурелиано Буэндиа, так это прежде всего своей абсолютной невосприимчивостью к горьким урокам прошлого — он отвалил деньги на железную дорогу с той же легкостью, с какой отвалил их в свое время на бессмысленное судоходное предприятие брата. Аурелиано Печальный заглянул в календарь и в среду уехал, обещав вернуться после дождливого сезона. Больше о нем ничего не слышали. Аурелиано Ржаной, задыхаясь от фабричных излишков, стал проводить эксперименты по выпуску льда на основе фруктовых соков вместо воды и нежданно-негаданно заложил основы производства мороженого, рассчитывая этим путем внести разнообразие в продукцию фабрики, которую он уже считал своей, так как брат не подавал признаков жизни — миновали дожди и прошло все лето, а вестей от него не было. Но в начале зимы, в самое жаркое время дня, одна женщина, полоскавшая в реке белье, выскочила

на центральную улицу города в состоянии крайнего возбуждения, испуская дикие вопли.

— Там едет что-то ужасное,— наконец объяснила она,— что-то вроде кухни на колесах, и тащит за собой целый город.

В то же мгновение Макондо задрожал от чудовищно громкого свиста и каких-то пыхтящих, напоминающих одышку звуков. Несколькими неделями раньше многие видели, как артели рабочих укладывали шпалы и рельсы, но никто не обратил внимания на происходящее, потому что все приняли это за новый фокус цыган, которые опять вернулись со своими столетней давности, утратившими всякое доверие зазывными кликами свистулек и тамбуринов, восхваляя превосходные качества кто его знает какой дурацкой микстуры, изобретенной иерусалимскими гениями. Но когда замешательство, порожденное громкими свистками и пыхтением, рассеялось, все жители Макондо высыпали на улицу и увидели Аурелиано Печального, приветственно махавшего им рукой с паровоза, увидели разукрашенный цветами поезд, для первого раза прибывший с опозданием на восемь месяцев. Тот безобидного вида желтый поезд, которому суждено было привезти в Макондо столько сомнений и несомненностей, столько хорошего и дурного, столько перемен, бедствий и тоски.

Ослепленные столь великим множеством таких чудесных изобретений, жители Макондо просто не успевали удивляться. Они ночами не спали, созерцая бледные электрические лампочки, получавшие ток от машины, привезенной Аурелиано Печальным после его второго путешествия на поезде,— понадобилось немало времени и усилий, чтобы привыкнуть к ее навязчивому «тум-тум». Они возмущались двигающимися картинами, которые показывал в театре с кассами в виде львиных пастей процветающий коммерсант дон Бруно Креспи, возмущались потому, что горько оплаканный зрителями герой, умерший и похороненный в одном фильме, в другом снова был живей живого, да еще к тому же оказывался арабом. Публика, плативша два сентаво за то, чтобы делить с героями превратности их судьбы, не вынесла неслыханного издевательства и разнесла в щепы все стулья. По настоянию дона Бруно Креспи, алькальд в специальном сообщении растолковал, что кинематограф — всего лишь аппарат, создающий иллюзии, и не заслуживает подобного неистовства со стороны публики. После этого обескураживающего объяснения многие решили, что они стали жертвой новой вздорной выдумки цыган, и предпочли больше не ходить в кино, рассудив, что у них достаточно своих собственных несчастий и незачем им плакать над выдуманными злоключениями вымышленных лиц. Нечто подобное случилось и с граммофонами, которые были привезены веселыми французскими гетерами на смену устаревшим органчикам и нанесли серьезный ущерб доходам местного оркестра. На первых порах всеобщее любопытство способствовало росту клиентуры запретной улицы, и даже поговаривали о том, что иные уважаемые дамы переодевались мужчинами, желая посмотреть вблизи на загадочную новинку, но они разглядывали граммофон так долго и на таком близком расстоянии, что весьма скоро пришли к заключению: это не волшебная мельница, как все думали и как уверяли гетеры, а просто заводная игрушка, и музыка ее не может идти ни в какое сравнение с волнующей, человечной, полной жизненной правды музыкой оркестра. Разочарование было чрезвычайно глубоким, и хотя вскоре граммофоны получили большое распространение и появились в каждом доме,— держали их все-таки не для развлечения взрослых, а для детей, чтобы те могли потрошить в свое удовольствие забавные машины. Но и самые стойкие скептики дрогнули, когда кому-то из жителей города довелось удостове-

риться в суровой реальности установленного на железнодорожной станции телефона — аппарата с длинной ручкой, которую надо было крутить, почему его сначала и приняли было за примитивный вариант граммофона. Казалось, что господь бог решил проверить, до каких пределов способно дойти удивление жителей Макондо, и держал их в постоянном колебании между восторгом и разочарованием, сомнением и признанием, пока наконец не осталось никого, кто бы мог с уверенностью сказать, где же проходят границы реальности. Это было такое сумбурное смешение действительного и иллюзорного, что призрак Хосе Аркадио Буэндиа под каштаном в полном смятении начал бродить по дому прямо среди бела дня. После официального открытия железной дороги, когда каждую среду в одиннадцать часов стал регулярно прибывать поезд и была сооружена станция — скромный деревянный павильончик с письменным столом, телефоном и окошечком для продажи билетов, на улицах Макондо появились мужчины и женщины, которые выдавали себя за самых обыкновенных людей, занимающихся самыми обычными делами, но очень смахивали на цирковых артистов. В городе, где все уже неоднократно обожглись на проделках цыган, эти бродячие фокусники от торговли вразнос, с одинаковым красноречием навязывавшие вам котелок со свистком и правила воздержания для спасения души на седьмой день поста, не могли рассчитывать на успех, но все же они ухитрялись основательно наживаться за счет тех, кто, устав от их болтовни, поддавался уговорам, и за счет ротозеев, а такие везде найдутся. Вместе с этими шарлатанами в одну из сред прибыл в Макондо и явился затем к обеду в семью Буэндиа улыбающийся коротышка мистер Герберт. На нем были брюки для верховой езды, гетры, пробковый шлем и очки в стальной оправе, за которыми двумя топазами желтели глаза.

Никто за столом не обратил на него внимания до тех пор, пока он не съел первую гроздь бананов. Аурелиано Второй встретил мистера Герберта случайно, в «Отеле Хакоба», где тот на ломаном испанском языке возмущался отсутствием свободных номеров, и привел его к себе, как часто поступал с приезжими. Мистер Герберт был владельцем нескольких привязных аэростатов, он объездил с ними полсвета и всюду имел великолепные доходы, однако ему не удалось поднять в воздух никого из жителей Макондо, потому что для них привязной аэростат был шагом назад после того, как им довелось увидеть и испробовать летающую циновку цыган. И мистеру Герберту пришлось уехать с ближайшим поездом — через неделю.

Когда подали на стол полосатую, как тигр, гроздь бананов, которые обычно приносили в столовую к обеду, он оторвал первый банан без особого энтузиазма. Но потом взял еще один и еще; не переставая разговаривать, он ел банан за бананом, тщательно пережевывая их, смакуя, но не с наслаждением гурмана, а скорее с отвлеченным видом ученого. Покончив с первой гроздью, он попросил вторую. Затем вынул из ящика для инструментов, который всегда носил с собой, небольшой футляр с точными приборами. С подозрительностью скупщика бриллиантов он тщательно изучил один банан: препарировал его специальным ланцетом, взвесил на аптекарских весах, измерил с помощью калибра оружейных дел мастера. Потом, достав из своего ящика целый комплект других приборов, определил температуру и влажность воздуха и интенсивность освещения. Эта церемония была настолько занятной, что никто не мог есть спокойно: каждый ждал, когда мистер Герберт произнесет окончательное суждение и все станет ясным, но он не сказал ничего, что позволило бы угадать его намерения. Потом мистера Герберта видели в окрестностях города с сачком и корзинкой в руках — он гонялся за бабочками. А в следующую среду приехала

группа инженеров, агрономов, гидрологов, топографов и землемеров; они в течение нескольких недель исследовали те же самые места, где мистер Герберт ловил бабочек. Позже прибыл господин Джек Браун в прицепленном к хвосту желтого поезда вагоне, отделанном серебром, с диванами, обитыми епископским бархатом, и с крышей из голубых стекол. В другом вагоне прибыли и закружились вокруг господина Брауна важные законники в черном, те самые адвокаты, которые в былые времена сопровождали повсюду полковника Аурелиано Буэндиа, и это внушило народу мысль, что агрономы, гидрологи, топографы и землемеры, так же как мистер Герберт с его привязными аэростатами и разноцветными бабочками и господин Браун с его мавзолеем на колесах и злыми немецкими овчарками, имеют какое-то отношение к войне. Впрочем, времени для размышлений было немного, подозрительные жители Макондо только еще начинали задаваться вопросом, что же все-таки происходит, черт побери, как город уже превратился в лагерь из деревянных с цинковыми крышами домов, населенных чужеземцами, которые прибывали поездом, почти со всех концов света, не только в вагонах и на платформах, но даже на крышах вагонов. Немного погодя гринго привезли своих женщин, томных, в муслиновых платьях и больших шляпах из газа, и выстроили по другую сторону железнодорожной линии еще один город; в нем были обсаженные пальмами улицы, дома с проволочными сетками на окнах, белые столики на верандах, подвешенные к потолку вентиляторы с огромными лопастями и обширные зеленые лужайки, где разгуливали павлины и перепелки. Весь этот квартал обнесли высокой металлической решеткой, как гигантский электрифицированный курятник, по утрам в летние месяцы верхний край решетки был всегда черным от усевшихся на нем ласточек. Никто еще не знал толком, чего ищут чужеземцы в Макондо и действительно ли они просто филантропы, а вновь прибывшие уже все перевернули вверх дном — беспорядок, который они внесли, значительно превосходил тот, что прежде учиняли цыгане, и был далеко не таким кратковременным и понятным. С помощью сил, в минувшие времена подвластных только божественному провидению, они изменили режим дождей, сократили период созревания урожая, убрали реку с того места, где она всегда находилась, и переместили ее белые камни и ледяные струи на другой конец города, за кладбище. Именно тогда поверх выцветших кирпичей на могиле Хосе Аркадио была сооружена крепость из железобетона, чтобы воды реки не пропитались запахом пороха, исходившим от костей. Для тех из чужеземцев, кто не привез с собою своей милой, улица любвеобильных французских гетер была превращена в целый город, еще более обширный, чем город за металлической решеткой, и в одну прекрасную среду прибыл поезд, нагруженный совершенно невероятного вида шлюхами и вавилонскими блудницами, обученными всем видам обольщения, начиная с тех, что были известны в незапамятные времена, и готовыми возбудить вялых, подтолкнуть робких, насытить алчных, воспламенить скромных, проучить спесивых, перевоспитать отшельников. Улица Турков, сияющая огнями магазинов колониальных товаров, которые появились на смену старым арабским лавчонкам, в субботние ночи кишела толпами искателей приключений; они толклись у столов с азартными играми, возле стоек тиров, в переулке, где предсказывали судьбу и разгадывали сны, у столиков с фритангой [1] и напитками; утром в воскресенье столики эти возвышались, как островки, среди распростертых на мостовой тел, иной раз принадлежавших блаженным пьяницам, но в большинстве случаев незадачливым зевакам, сраженным выстрелом, ударом кулака, ножа

[1] Блюдо из жареного мяса с овощами.

или бутылки во время ночной потасовки. Нашествие в Макондо было таким многолюдным и неожиданным, что первое время невозможно было ходить по улицам: повсюду вы натыкались на мебель, сундуки, разные строительные материалы — собственность тех, кто, ни у кого не спрашивая разрешения, возводил себе дом на первом попавшемся незанятом участке; или же налетали на скандальное зрелище — какую-нибудь парочку, которая среди бела дня, на виду у всех, занималась любовью в гамаке, подвешенном между миндальными деревьями. Единственный тихий уголок был создан мирными антильскими неграми, они выстроили себе на окраине города улицу с деревянными домами на сваях и по вечерам усаживались в палисадниках и распевали на своем непонятном жаргоне печальные псалмы. Произошло столько перемен и за такое короткое время, что уже через восемь месяцев после визита мистера Герберта старые жители Макондо не узнавали своего собственного города.

— Ну и наделали мы себе мороки,— частенько повторял в то время полковник Аурелиано Буэндиа,— а всего лишь потому, что угостили какого-то гринго бананами.

Аурелиано Второй, напротив, так и раздувался от удовольствия при виде этой лавины чужеземцев. Очень скоро дом наполнился разными незнакомцами, неотразимыми гуляками, собравшимися со всей земли, и пришлось построить новые спальни во дворе, расширить столовую, заменить прежний стол другим — на шестнадцать персон, купить новую посуду и столовые приборы, и даже после всего этого обедать были вынуждены в несколько смен. Фернанде оставалось только подавить свое отвращение и по-королевски ухаживать за гостями, которые отличались самым безнравственным поведением: они натаскивали грязи в галерею, мочились прямо в саду, во время сьесты стелили свои циновки где вздумается и болтали что в голову взбредет, не обращая никакого внимания ни на смущение дам, ни на кривые улыбки мужчин. Амаранта была приведена в такое негодование этим нашествием плебса, что снова стала есть на кухне, как в старые времена. Полковник Аурелиано Буэндиа, убежденный, что большинство из тех, кто заходит в мастерскую поздороваться с ним, делают это не из симпатии или уважения к нему, а потому, что им любопытно взглянуть на историческую реликвию, на музейное ископаемое, закрыл дверь на засов, и теперь его лишь в крайне редких случаях можно было увидеть сидящим возле двери на улице. Только Урсула, даже когда она уже стала волочить ноги и ходить ощупью, держась за стены, накануне прибытия каждого поезда испытывала детскую радость. «Готовьте и мясо и рыбу,— командовала она четырем кухаркам, мечтавшим поскорей вернуться под спокойное правление Санта Софии де ла Пьедад.— Настряпайте всякой всячины, кто знает, чего захочется этим чужеземцам». Поезд прибывал в самый жаркий час дня. Во время обеда весь дом гудел, словно рынок, потные нахлебники, которые даже не знали в лицо своих щедрых хозяев, вваливались целой толпой и спешили занять лучшие места за столом, в то время как кухарки налетали друг на друга, носясь с огромными кастрюлями, полными супа, котелками с мясом, сушеными тыквами с овощами, блюдами с рисом и разливали по стаканам неиссякающими поваренными ложками целые бочки лимонаду. Беспорядок был страшный, и Фернанда приходила в отчаяние от мысли, что многие едят по два раза, и нередко, когда рассеянный нахлебник, спутав ее дом с харчевней, требовал счет, ей хотелось излить душу в словах из лексикона рыночной торговки. После визита мистера Герберта прошло больше года, но выяснилось с тех пор только одно: гринго думают сажать бананы на заколдованных землях, тех самых, через которые прошли Хосе Аркадио Буэндиа и его люди, когда искали путь

к великим изобретениям. Еще два сына полковника Аурелиано Буэндиа, с крестами из пепла на лбу, приехали в Макондо, увлеченные гигантским потоком, хлынувшим на город, как лава из вулкана, и сказали в оправдание своего решения фразу, пожалуй, объяснявшую побуждения всех прибывающих в Макондо.

— Мы приехали потому,— заявили они,— что все едут.

Ремедиос Прекрасная была единственным человеком, не заразившимся банановой лихорадкой. Девушка словно задержалась в периоде чудесной юности и становилась с каждым днем все более чуждой разным условностям, все более далекой от всяких хитростей и подозрительности, находя счастье в своем собственном мире простых реальностей. Будучи не в силах понять, зачем женщины осложняют себе жизнь корсажами и юбками, она сшила из грубого холста что-то вроде балахона, который надевала прямо через голову, и таким образом без всяких проволочек решила проблему: как быть одетой и вместе с тем ощущать себя голой; по ее разумению, обнаженное состояние было единственным, подходящим для домашней обстановки. Ей так долго надоедали, чтобы она укоротила немного свои роскошные волосы, доходившие ей уже до икр, заплела бы их в косы, украсила гребнями и цветными лентами, что в конце концов она просто остриглась наголо и сделала из волос парики для статуй святых. Самым удивительным в ее инстинктивной тяге к опрощению было то, что чем больше Ремедиос Прекрасная освобождалась от моды, ища удобства, чем решительнее преодолевала условности, повинуясь свободному влечению, тем более волнующей становилась ее невероятная красота и более непринужденным ее обращение с мужчинами. Когда сыновья полковника Аурелиано Буэндиа приехали первый раз в Макондо, Урсула вспомнила, что у них в жилах течет та же кровь, что и у ее правнучки, и содрогнулась от давно забытого страха. «Гляди в оба,— предупредила она Ремедиос Прекрасную.— От любого из них дети у тебя будут со свинячьими хвостами». Ремедиос Прекрасная придала так мало значения словам прабабки, что вскоре переоделась в мужскую одежду, вывалялась в песке, чтобы влезть на шест с призом, и чуть не стала причиной трагической ссоры между семнадцатью кузенами, которые были приведены в полное расстройство чувств этим непереносимым зрелищем. Вот потому-то Урсула никого из них и не оставляла ночевать в доме, когда они приезжали, а те четверо, что жили в Макондо, снимали по ее распоряжению комнаты на стороне. Если бы Ремедиос Прекрасной рассказали об этих предосторожностях, она бы, наверное, умерла от смеха. До самого последнего мгновения своего пребывания на земле девушка так и не узнала, что судьба определила ей быть возмутительницей мужского спокойствия, чем-то вроде повседневного стихийного бедствия. Всякий раз, когда она, нарушив запрет Урсулы, появлялась в столовой, среди чужеземцев возникало смятение, родственное отчаянию. Слишком уж бросалось в глаза, что под своим грубым балахоном Ремедиос Прекрасная совсем голая, и никто не мог понять, что эта остриженная голова, удивительно совершенная по форме, не была вызовом, так же как не были преступным обольщением бесстыдство, с которым девушка открывала свои ляжки, чтобы немного прохладиться, и наслаждение, с каким она облизывала пальцы после еды. Никто из семьи и не подозревал того, что очень скоро обнаружили чужеземцы: от Ремедиос Прекрасной исходил дух беспокойства, веяние томления, они чувствовались в воздухе еще в течение нескольких часов после ее ухода. Мужчины, искушенные в любовных муках, познавшие любовь во всех странах мира, утверждали, что им никогда не доводилось испытывать волнение, подобное тому, которое рождал в них природный запах Ремедиос Прекрасной. В галерее с бегониями, в гостиной, в любом уголке

дома они всегда могли безошибочно указать то место, где побывала Ремедиос Прекрасная, и определить, сколько времени прошло с тех пор. Она оставляла после себя в воздухе четкий след, который ни с чем нельзя было спутать, никто из домашних не замечал его, ибо он уже давно вошел в состав повседневных запахов дома, но чужеземцы определяли его немедленно. Поэтому лишь они и понимали, как мог умереть от любви молодой офицер, а кабальеро, явившийся из далеких земель, впасть в отчаяние. Не сознавая, что она окружена стихией тревоги, что ее присутствие вызывает у мужчин непереносимое ощущение внутренней катастрофы, Ремедиос Прекрасная обращалась с ними без малейшего лукавства и окончательно добивала их своей простодушной любезностью. Когда Урсула, чтобы убрать свою правнучку с глаз чужеземцев, заставила ее питаться на кухне, вместе с Амарантой, Ремедиос Прекрасная даже обрадовалась, освободившись от надзора прабабки. По правде говоря, ей было все равно, где есть и когда — в определенные часы или в зависимости от состояния своего аппетита. Иногда она вдруг вставала перекусить в три часа утра, а потом спала до самого вечера, и могла жить так, перепутав весь распорядок дня, целыми месяцами, пока наконец какая-нибудь случайность не возвращала ее к установленному в доме регламенту. Но даже и тогда она покидала кровать в одиннадцать утра, запиралась, совершенно голая, на два часа в купальне и, убивая скорпионов, мало-помалу приходила в себя после глубокого и долгого сна. Затем она начинала обливаться водой, черпая ее в бассейне сосудом из тыквы. Это был очень длительный и скрупулезный акт, сопровождавшийся многочисленными церемониями, и тот, кто плохо знал Ремедиос Прекрасную, мог бы подумать, что она занята вполне оправданным любованием своим телом. Но на самом деле этот тайный обряд был лишен всякой чувственности — для Ремедиос Прекрасной он являлся всего лишь способом убить время до тех пор, пока ей не захочется есть. Однажды, когда она только что начала мыться, какой-то чужеземец разобрал черепицу на крыше, и у него захватило дыхание при виде потрясающего зрелища наготы Ремедиос Прекрасной. Девушка заметила его исполненные отчаяния глаза между черепицами, но не застыдилась, а лишь встревожилась.

— Берегитесь,— воскликнула она.— Вы упадете.

— Я хочу только поглядеть на вас,— пролепетал чужеземец.

— Ах так,— сказала она.— Ладно, только будьте осторожней, крыша совсем прогнила.

(Окончание следует)

Критика

Т. МОТЫЛЕВА

ЛЕНИНСКАЯ МЫСЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕХЕРА

1

Тема этой статьи подсказана мне одной из последних работ Бориса Сергеевича Рюрикова. В его введении к сборнику «В. И. Ленин о литературе и искусстве» приведены строки Иоганнеса Р. Бехера: «Ленинские труды в своей глубине и богатстве дают ответ на все волнующие нас вопросы. Но они дают ответ только **тому**, кто страстно ищет его и готов сам думать над вопросами, раздумывать над ними и додумывать их до конца. Труды Ленина воспитывают в его ученнках самостоятельное, творческое мышление» [1].

Эти слова возникают у Б. Рюрикова в актуальном контексте: там, где идет речь о нынешних задачах советской литературы, о неискаженном ленинском понимании партийности искусства. В **такой** связи знакомые, много раз читанные строки Бехера приобретают новый оттенок, раскрываются в своем остросовременном значении. Они напоминают, насколько живым, недогматическим был подход Бехера к ленинскому наследию.

Бехеру принадлежат меткие слова: для художника чтение трудов Ленина — «испытание правдой». Сам поэт начал знакомиться с этими трудами на рубеже 20-х годов, в дни революционного подъема в Европе. Бехера глубоко потряс раздавшийся по радио призыв молодой Советской республики «Всем, всем, всем!». В самой интонации этого обращения было то, что могло вызвать отклик в сердце поэта. Левые экспрессионисты любили оперировать космическими масштабами, адресовать свои стихи-вскрики, стихи-сигналы, стихи-воззвания человечеству в целом — никак не меньше и никак не иначе. А здесь за призывом «Всем, всем, всем!» стояла не просто добрая воля отдельных личностей, но — целеустремленная сила могучего государства.

Знаменитое стихотворение Бехера «Привет немецкого поэта Российской Советской Федеративной Социалистической Республике» было первым его ответом на ленинский призыв. В самом заголовке — длинном, казалось бы, непоэтическом, тяжеловесном — была некая дерзость и вызов: термин, только что вошедший в политический обиход, намеренно включался в поэзию, становился фактом поэзии. Это стихотворение — не просто декларация солидарности с новым миром, возникшим на востоке Европы: здесь есть и оттенок личной исповеди, передано бурное клокотание чувств интеллигента-бунтаря, стремительно вошедшего в орбиту непривычных, волнующих, необычайно радостных представлений и идей. Во всем этом, конечно, был оттенок утопизма, наивности — то, что Ленин, по другому поводу, назвал «социализмом чувства». Достаточно вспомнить строчку «Сияет ангел с баррикады». Но не сродни ли этот ангел блоковскому Христу, шагающему впереди Двенадцати?

К трудам Ленина Бехер обращался множество раз, в разные периоды творчества, до самой смерти и читал их с поистине немецкой основательностью. Круг этих чтений был широк. Если судить **только** по прямым откликам и ссылкам в книгах Бехера разных лет, он хорошо знал, в частности, такие важные работы, как «Что делать?», «Партийная организация и партийная литература», статьи о Толстом, «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Критические заметки по национальному вопросу», «Очередные задачи Советской власти», «За-

[1] «В. И. Ленин о литературе и искусстве», изд 3-е. М., 1967, стр. 49.

метки по вопросу о задачах нашей делегации в Гааге», «Письмо к американским рабочим», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», письма к Горькому. Наверно, еще и многое, многое другое.

Бехеру ни разу не посчастливилось встретиться с Ленинным, увидеть, услышать его. Но Ленин жив, зримо рисовался воображению немецкого поэта — не только как великий революционер и мыслитель, но и как конкретная человеческая личность. Ленин был для него «exemplarische Gestalt», пример Человека.

Именно в этой связи вставала перед Бехером проблема **стиля жизни.**

Слово «стиль» в теоретических работах Бехера разных лет понимается не просто в языковом, непосредственно поэтическом плане, но — гораздо шире. В известной статье, впервые опубликованной в 1937 г., «Рост и зрелость» Бехер ссылается на слова Гете, записанные Эккерманом: «В целом стиль писателя — верный отпечаток его натуры: если кто-нибудь хочет писать ясным стилем, пусть прежде будет ясность в его душе; а если кто-нибудь хочет писать величественным стилем, он должен иметь величественный характер»... Здесь же говорится: «Ленин — образец для поэзии, образец ясности и прозрачности стиля». Ленин как образец для поэзии — это может показаться парадоксом. Но ни в коем случае не следует думать, что Бехер имел в виду «подгонять» поэзию под стиль публицистической речи. В ту пору, когда была написана эта статья, ленинская ясность стиля уже вполне отчетливо ассоциировалась у Бехера с традициями немецкой и мировой классики — гармонией, чувством мысли, завершенностью замысла — недаром в цитированной статье встает имя Гете и рядом с ним имя Пушкина.

Под ленинским стилем Бехер — здесь и в других работах — подразумевал прежде всего определенный склад мышления, даже образ действий. Очень ясно говорится об этом во «Власти поэзии»: «Простота и скромность Ленина предъявляют и к нам высокие человеческие требования. Они показывают, что Ленин понимал под подлинно человеческим поведением и достойным стилем жизни. Трезвой и деловой оценки ситуации, а также собственной работы, которая сочеталась бы со страстной энергией и способностью воодушевиться делом,— вот чего требует от нас Ленин, если мы хотим по праву называться его учениками».

Тут у Бехера — итоги многолетних размышлений, уходящих истоками еще в те годы, когда он критически пересматривал жизненный и художественный опыт своей молодости, которая прошла под знаком экспрессионизма.

Для молодого Бехера, как и для многих его поэтических сверстников, необузданность, взвинченность языка и чувства, анархически-богемные нравы, резкий разрыв со всякого рода традициями — все это было формой протеста против филистерской узости, против военно-бюрократического уклада старой, кайзеровской Германии. Тот беспорядочный стиль жизни мюнхенской богемы, о котором самокритически-беспощадно рассказано в романе «Прощание», и тот взвихренный, нарочито сумбурный стиль, какой присущ ранним стихам Бехера, образуют единство. Отсутствие грамматического и смыслового порядка в этих стихах — не каприз, не поэтическая прихоть. Ломка привычных поэтических форм казалась способом выразить, быть может даже и ускорить неизбежную ломку постылого и отжившего общественного уклада.

Накипевшая ярость, боль, пафос безоглядного, всеохватывающего отрицания — все это было предельно искренним, и все это таило в себе опасности. Много лет спустя в сонете «Партия» Бехер выразил убеждение, что именно коммунистическая партия, и только она, уберегла его, как человека и художника, от гибели, от разрушения личности («Но от бесцельной гибели храня, ты воспитала, партия, меня»). И это признание тоже было предельно искренним.

Кем стал бы он, Бехер, если бы не стал коммунистом? Этот вопрос возникал у него не раз и в стихах, и в дневниковых записях-размышлениях. В сонете «Партия» возможная альтернатива определена ясно и угрожающе: «Ein wilder Spießer» — «взбесившийся мещанин». Этот образ не придуман Бехером — он заимствован из книги Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Можно себе представить, какие живые и безотрадные ассоциации вставали у Бехера, когда он перечитывал ленинскую характеристику мелкобуржуазной революционности, строки о мещанине-бунтаре как социальном типе:

«Взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа это — социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам. Неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику, даже в «бешеное» увлечение тем или иным буржуазным «модным» течением,— все это общеизвестно».[1]

Ленинская критика детской болезни «левизны» в западном рабочем движении имела прямое отношение, конечно, и к западной художественной интеллигенции. Бехер на протяжении 20-х годов имел немало возможностей убедиться, как иные литературные провозвестники универсального отрицания переходили, по мере отлива революционной войны в Европе, к покорности и апатии, иной раз даже приближались, на время или надолго, к лагерю реакции (трагически показательным в этом смысле для Бехера был весь путь его давнего коллеги и антагониста Готфрида Бенна). Да и в пору подъема революционной волны позиция экстремизма, неосмысленного, тотального бунта оказывалась, в конечном счете, не-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 14.

Т. МОТЫЛЕВА

ЛЕНИНСКАЯ МЫСЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕХЕРА

плодотворной, порой подводила самого Бехера вплотную к черной пропасти отчаяния. Достаточно вспомнить строки, полные ярости и безотчетного ужаса, из стихотворения «Пэан против времени»[1].

Полумесяц-кинжал твоя бровь человек!
Тюремные стены твой лоб человек!?
Пальцы-когти задушат кого человек?
Зубы-челюсти стиснут кого человек?

Адский дым дыханье твое человек...
Злодей-человек. Палач-человек. Душегуб-человек.—
Злодей-человек. Палач-человек. Душегуб-человек.
Ниже, ниже скота стоишь, человек.

Ты человек: всякой твари ниже...
Горе тебе человек;
(Предатель-человек. Ленивец-человек.
Подонок-человек).

Нельзя отказать этим стихам в своеобразной зловещей силе. Необузданность лексики и образов облекается здесь — как это подчас бывало у молодого Бехера — в железно строгий ритм. А в последних строчках, где прорывается упрямая мечта о преображении, просветлении одичавшего людского рода, границы разума вовсе размываются, наплывает ритмический и словесный хаос:

Пэан человечеству единому взвейся!
Всебратание! Победы явь!
Творите вершину, высвобождайте
из упругого гранита
катящихся народов...
Кристалл-вершина. Бог-Гаурисанкар.
Любовь созвездие.

Эти стихи стоило привести хотя бы, чтобы напомнить о трудном начале пути Бехера как поэта-борца. На этом пути были всяческие подводные камни. Все его творчество 20-х годов — мучительный путь к ясности. Поиски литературного стиля, который отвечал бы революционному мировоззрению, сочетал бы в себе дерзновение борьбы и четкую целеустремленность, оказались очень нелегким делом и по-разному сказались в его произведениях разных лет. В частности, и в произведениях, непосредственно посвященных ленинской теме.

2

В дневнике Бехера за январь 1950 г. содержится такая запись-воспоминание:

«День смерти Ленина. О его смерти мы узнали в «Романском кафе» от Ф. Р. Леонгард Франк словно окаменел. Теперь все кончено. Вся жизнь будто остановилась... Тогда я жил на Клаудиусштрассе, в мастерской над крышами Берлина. Поэма «У гроба Ленина» была написана на Клопштокштрассе. Очень близко от моей мастерской, во втором этаже домика в саду, жил когда-то Ленин. В боковой комнате трактира собирались социал-демократы, товарищи из района Моабит. Ленина ввел туда Карл Либкнехт — он же помог Ленину найти жилье у вдовы Р., которая согласилась поселить его без прописки. (Надо будет и об этой вдове Р. с уважением вспомнить в большой поэме «Ленин», которую еще предстоит написать.) А Ленин был еще более велик, чем нам тогда представлялось. Лишь с течением лет мы доросли до такого уровня, что уже могли если не охватить все величие Ленина, то хоть почувствовать его»... Бехер говорит далее: «Мои стихи о Ленине все устарели,— то есть они в художественном отношении не выдержали проверки временем, и как произведения искусства все распались, за исключением одного, «Он мир от спячки пробудил», да и то требует больших сокращений».

В том же дневнике несколькими днями позже сделана запись, поясняющая, что это за место на Клопштокштрассе, где Бехер писал свою поэму «У гроба Ленина». Это было помещение низовой организации КПГ — именно там, вспоминает поэт, он получил «настоящее социалистическое воспитание». «В течение ряда лет там происходили у нас собрания ячейки, там мы сходились ночью и шли расклеивать плакаты. И в 1923 г., когда партия была под запретом, мы собирались там же под видом какого-то союза транспортников, и полиция нас не трогала».

Все эти признания Бехера интересны и важны. Отметим прежде всего, что все свои стихи на ленинскую тему он оценивал по самому строгому счету и был недоволен ими. Бехер считал себя, как поэт, в долгу перед Лениным: в приведенном отрывке из дневника встают смутные контуры новой большой поэмы, которую он обдумывал, вынашивал и так и не успел написать. Очевидно, здесь должны были быть отражены связи Ленина с Германией, с ее рабочим классом, встречи не только с пролетарскими лидерами — например, Карлом Либкнехтом,— но и с рядовыми, простыми людьми вроде безвестной фрау Р., которая, быть может, не без риска для себя дала приют русскому революционеру. Примечательно и то, что поэма Бехера «У гроба Ленина», написанная в партийном помещении на Клопштокштрассе, возникла в гуще революционной практики, под влиянием сильной душевной встряски, вызванной известием о смерти Владимира Ильича.

Однако самое раннее из произведений Бехера на ленинскую тему — не эта поэма 1924 года, а «Гимн Ленину», входящий в сборник «Машинные ритмы» (эта книга вышла в 1926 году, но создана была, по свидетельству самого поэта, в 1922). Весь этот сборник и по настроению и по манере — переходный, кризисный: поэт то поддается душевной депрессии, то мучительно трудно превозмогает ее. Многое роднит «Машинные ритмы» с ранней экспрессионистской лирикой Бехера: переусложненный словарь, ломаная фраза, ломаная строка с произвольными переносами, стремительный и в то же время нарочито перебивающийся, спотыкающийся ритм, планетарная абстрактность словесных картин. Здесь преобладают мотивы кошмара, катастрофы, распада, но они перемежаются отвлеченно-радужными видениями новой, революционной весны.

[1] Перевод сохраняет пунктуацию подлинника.— *Т. М.*

Именно так строится «Гимн Ленину»: вначале — картины ада, светопреставления, всемирного побоища, потом — взрыв надежды: «Красной звездою взмыл ты, Ленин, над купологоловым Петроградом»... Образ русской революции встает в стремительном нагромождении резких, острых линий и красок, уподобляется землетрясению, сокрушительной лавине. И среди оглушающих шумов всемирного катаклизма звучит, как призывный трубный глас, фраза-рефрен: «Völker: Triumph! Triumph: ihr Völker!»:

Народы: триумф! Триумф:
Народы! Долго ловили мы голос
Ветра, слышали звоны и лязг
Металла, внаг болтовни и молота грохот,
Гулы машин, буравящих землю,— и вот он
Взвился, гейзер, поющий в степи
Российской. Трещинами пошла кора
Планеты, песни народов,
Придавленных прахом тысячелетий,
Вмиг поднялись из пропастей —
Пастей. Народы: триумф! Триумф:
Народы! Я назову вам имя —
Факел, имя — грядущих миров
Сиянье: пламя, что полыхает
На горизонтах, вздымаясь
К новым вселенским просторам: Ленин...

В 1924 г. Бехер опубликовал этот гимн. Но несравненно более широкую известность получила его поэма «У гроба Ленина» (точнее, «У могилы Ленина» — «Am Grabe Lenins»), вышедшая в том же году отдельными изданиями и на немецком и на русском языках.

Тут возникает новый для Бехера стиль. Необузданность образов, языка, тона уступает место строгой, подчас аскетической простоте. С первых же строк — суровая сдержанность интонации, мужественный минор пролетарского реквиема:

У гроба твоего, о мертвый Ленин,
Задумчиво несем мы почетный караул...

Советский исследователь П. Биркан — автор послесловия к недавно вышедшему 7-му тому немецкого Собрания сочинений Бехера, куда включена и эта поэма,— делает верное замечание: тут сказывается влияние поэмы Маяковского «150.000.000», над переводом которой (с подстрочника) Бехер работал в 1923—1924 годах. В самом деле: именно опыт русского собрата мог подсказать Бехеру замысел революционного эпоса, включающего и героику и сатиру, построенного на контрастном чередовании картин двух борющихся социальных миров, которые представлены по преимуществу плакатно, общими планами.

Но сходство тут не простирается далеко. В выборе выразительных средств Бехер шел, конечно, своими путями. В поэме заметны следы экспрессионистской абстрактности, эпизоды, относящиеся к буржуазному Западу, гротескно заострены; однако там, где речь идет о революции, о рабочем классе, нет и намека на гиперболу или символику. Напротив, есть стремление отобразить Советскую страну в ее конкретном бытии. Ленин, вождь мировой революции, гений, озаривший эпоху, здесь вместе с тем «друг всех рабочих на свете», он лежит в гробу «в своей простой рабочей одежде». Русские крестьяне, видя проходящий траурный поезд, не становятся на колени и не крестятся — они «горюют стоя», молча, со слезами на глазах. Образ Ленина впервые у Бехера дан без вселенских метафор — на фоне скупо отмеренных, тщательно отобранных реалий советской действительности. Установка на документальную точность, верность деталей реализуется с помощью медлительного, свободного, «уитменовского» стиха, местами граничащего со слегка ритмизованной прозой:

...Сто пятьдесят миллионов людей
задержали дыхание.
Трещит лед по рекам.
Сыплются снежные хлопья.
Красные артиллеристы собрались
полукругом у готовых к стрельбе орудий.
Красные пехотинцы примкнули штыки и
зарядили винтовки.
Словно дымка стоит в студеном воздухе от
жаркого дыхания людей и животных.
На лошадиных шеях лихорадочно бьются
казачьи сердца.
Красная кавалерия склонает пики:
«Владимир Ильич! Друг! Товарищ!
Прощай! Прощай!»

(Перевод А. Ромма)

Именно с этой поэмы берет свое начало тот новый период в творчестве Бехера, который он сам потом называл «пролетарско-революционной фазой». Творческие принципы, впервые испробованные в поэме о Ленине — обращение к повседневной жизни, к классовым боям современности, поиски языка, доступного массам,— все это получило дальнейшее развитие в поэтических сборниках догитлеровских лет: «Голодный город», «Серые колонны», «Человек нашего времени». На этих путях Бехер искал и новые подступы к ленинской теме.

Стихотворение «Шаг Ленина», написанное лаконичным, коротким верлибром, датированное 1928 годом, впервые стало известно лишь через тридцать лет после написания — оно появилось в сборнике «Затерянные стихотворения», который Бехер подготовил незадолго до смерти. Видимо, оно чем-то не удовлетворяло автора, раз оно так долго оставалось «затерянным». И чем-то было ему дорого, раз оно впоследствии все-таки было включено им в книгу.

Ленин бессмертен, Ленин жив; этот тезис, убежденно прозвучавший в поэме 1924 г., возникает в этом стихотворении снова, берется в широком международном аспекте. Шаг Ленина раздается во всем мире — и в Германии, и в шахтах Уэльса, и на вершинах Гималаев. Он раздается всюду — наперекор самодовольству буржуазии, наперекор всей силе ее оружия, ее временному благополучию:

Шаг Ленина
Идет вдаль,
Идет вглубь,
И нет для него
Недоступных высот.

Т. МОТЫЛЕВА

ЛЕНИНСКАЯ МЫСЛЬ
В ТВОРЧЕСТВЕ БЕХЕРА

За ним не угнаться
Ни одному столетию,
Его не превзойти
Ничьей фантазии.

Ибо он — шаг истории,
Выход рода людского
За собственные пределы,
Неумолимо вечный
Ход законов природы.

Он — движенье мира,
И нет ему остановки.

Конкретного образа Ленина здесь, в сущности, нет — он как бы сублимируется, возводится в философский символ. Возможно, что Бехера смущал присущий этому стихотворению оттенок декларативности и потому он не включил его ни в один из сборников конца 20-х годов, где преобладали стихи совсем иного, более земного и социального характера. Однако любопытно, что в этом стихотворении как бы предвосхищаются некоторые мотивы позднего творчества поэта. Строки о выходе людского рода за собственные пределы напоминают излюбленный Бехером, не раз повторявшийся им в теоретических трудах афоризм Паскаля „L'homme dépasse infiniment l'homme".[1] Слово «шаг» в широком, обобщающем смысле, как символ вечного движения, возобновления, пути вперед, неоднократно появляется в последнем бехеровском сборнике — «Шаг середины века». Естественно предположить, что, перечитав давно забытое стихотворение, Бехер по-новому заинтересовался им (быть может, даже доработал старый набросок) — и решил сделать его достоянием читателя.

Единственное стихотворение о Ленине, которое сам автор, строгий к себе, склонен был считать удачным — «Он мир от спячки пробудил»,— появилось в том же 1928 году, сначала в газете «Роте фане», потом в сборнике «Голодный город» и впоследствии неоднократно перепечатывалось. Оно и в самом деле удалось Бехеру: выразительное по языку, оно динамично по ритму, образ вождя революции раскрывается здесь в его непреходящем интернациональном значении, в величии его дел.

Советскому читателю это стихотворение известно в переводе В. Нейштадта. В главных чертах он близок подлиннику. И все же в этом переводе, даже в заголовке-лейтмотиве, есть существенные потери. Само слово «спячка» тут вряд ли годится, в нем есть оттенок прозаизма, приземленности. (Наверно, лучше было бы «Он растревожил спящий мир».) Помимо этого, в подлиннике «Er rührte an den Schlaf der Welt» — литературная цитата, широко известная немецким читателям. Тут перефразируется строчка из драмы Геббеля «Гигес и его кольцо» — слова царя Кандавла «Nur rühre nimmer an den Schlaf der Welt!» («Не смей тревожить мира сон»)[2]. Это своего рода формула мещанской робости, осторожности, требование не нарушать общепринятого, не идти наперекор привычному ходу вещей... В таком контексте Ленин встает у Бехера как сокрушительная антитеза того немецкого филистерского духа, который был так ненавистен поэту с молодых лет. Стихотворение на тему о всемирном значении Ленина и ленинизма получает, таким образом, и еще один, дополнительный план — немецкий, полемический. Любопытно и то, что Бехер впервые здесь включил в политическое стихотворение мотив из классической литературы своей страны. Тут как бы впервые намечено то переосмысление национальных культурных традиций, которое так широко развернулось в лирике Бехера периода эмиграции.

В послевоенных изданиях своих сочинений, выходивших в ГДР, Бехер печатал это стихотворение в сокращенном виде, без последних строф; почему? Быть может, ему показалось, что призыв к борьбе звучит в финале слишком прямо, «в лоб». Однако думается, что эти последние строфы вовсе не портят стихотворения — напротив, они усиливают его революционный размах.

О непреходящем всемирном значении Ленина говорит Бехер и в стихотворении «Тысячелетний Ленин» (1930). Вождь революции сравнивается здесь с могучим деревом, корни которого, разветвляясь по всем направлениям, простираются вдаль, во все концы земли...

Много позднее, уже в эмиграции, Бехер написал стихотворение «Ленин в Мюнхене», оно вошло в сборник «Второе рождение», появившийся в Москве незадолго до начала войны. Это стихотворение тематически перекликается с автобиографическим романом «Прощание», над которым поэт работал в те же годы. Здесь Бехер — впервые в своем подходе к ленинской теме — дает простор собственному лирическому «я», включает великого русского революционера в круг воспоминаний своего детства. Ленин здесь предстает в облике неизвестного, доброго, задумчивого человека, который, быть может,— кто знает? — сидел на скамейке на набережной Изара в то время, когда юный Ганс Бехер играл там с товарищами. Это стихотворение своей подчеркнутой камерностью, задушевностью интонаций как бы возмещает недостаток лиризма, личностного начала в революционных стихах Бехера предшествовавшего десятилетия.

Желание соотнести образ Ленина с воспоминаниями о покинутой родине продиктовало Бехеру-эмигранту и стихотворение «Ленин в Швабии», написанное в фольклорно-легендарной манере, стилизованное под простодушный рассказ немецкого крестьянина.

Известно, как мучительно задумывался Бехер в годы гитлеровской диктатуры над историческим опытом немецких антифашистов, как сурово он критиковал себя и товарищей (в частности, в поэме «Деревянный дом») за ошибки и упущения. Известно и то, как серьезно сказывались эти раздумья во всей его творческой работе пе-

[1] Человек бесконечно превосходит человека (*франц.*). Этот же мотив „Der Mensch überstieg unendlich den Menschen" мы встречаем в цикле «Стихи из дневника», относящемся к 1950—1951 годам.

[2] См. комментарий А. Клейна в книге Johannes R. Becher. Gesammelte Werke. Berlin, 1966. Bd. 3. S. 827.

риода эмиграции. Бехер считал насущно важным отыскать такой тон, такой способ выражения, чтобы антифашистское слово могло дойти до сознания и сердца рядовых немцев, обманутых Гитлером.

В годы войны перед немецкими писателями, жившими в СССР, встали в этом плане задачи непосредственно практические, возникли вместе с тем и новые возможности прямого обращения к гитлеровским военнослужащим — в листовках, по радио, в маленьких книжечках, которые читались военнопленными.

Одна из попыток Бехера в этом направлении — стихотворение «Кто такой был Ленин»[1], прямо адресованное солдатам гитлеровской армии. Это произведение открыто дидактично — если Брехт некоторые свои пьесы называл «Lehrstück» (учебная пьеса), то эту вещь Бехера можно назвать «Lehrgedicht» — учебное стихотворение. Оно задумано как урок элементарной политграмоты для людей политически невежественных, оболваненных. Поэт как бы намеренно сдерживает себя, не дает хода своим эмоциям — ему важно не оттолкнуть свою аудиторию, а быть услышанным ею. Он ведет свой рассказ о Ленине терпеливо, неторопливо, с желанием быть понятым и убедить. Ключевое слово здесь — «Licht», оно раскрывается многозначно: это и свет ленинских идей, и свет электрических лампочек, зажженных советской властью в деревнях, и тот свет, который загорится над Германией, когда она избавится от власти Гитлера. Это слово — и в заключительном призыве:

Вернись домой! — вот Ленина совет.
Вернись и свет зажги — да будет свет!

Мы убеждаемся: ленинская тема сопутствовала Бехеру на всех этапах его трудного пути. Притом каждая новая вещь на эту тему обозначала — иногда предвосхищала — поворот в развитии писателя. Большая поэма, над которой он думал в 50-е годы, так и не была им написана. Однако восемь стихотворных произведений о Ленине, созданных Бехером в течение двадцати лет — произведений столь несхожих по языку, ритму, образному строю, что они, когда читаешь их подряд, кажутся работами разных авторов,— по-своему отразили ход его писательских поисков. И все они взятые вместе — свидетельство его стойкой любви к тому, кто «растревожил спящий мир».

3

Связь творчества Бехера с ленинским наследием ощутима, конечно, не только в поэтических опытах, непосредственно посвященных личности Ленина, но и во всем идейном и литературном развитии немецкого поэта начиная с 1917 года.

По словам Бехера, «для того, кто не знает трудов Ленина, загадка нашего века останется неразгаданной». Стремление вдуматься в «загадку века», постичь своеобразие переживаемой эпохи, ее движущие силы по-разному сказывается во многих произведениях Бехера. Стоит вспомнить хотя бы открывающий роман «Прощание» эпизод встречи нового, 1901 года, настойчивые размышления наивно-пытливого школьника: каким же оно будет, это двадцатое столетие, что несет оно людям? Так тема «прощания» с империалистическим германским прошлым с первых страниц романа многозначительно связывается с темой начала, ожиданием нового.

Поэтическая молодость Бехера прошла под знаком теорий, возвещавших закат Европы, крах цивилизации,—эти идеи преломлялись по-своему и в писаниях поэтических бунтарей[1]. Впоследствии Бехер — наперекор ходячим, не утратившим своего влияния на Западе до сих пор взглядам на XX век как на век хаоса, сумерек человечества, разрушения разума, торжества бездушной техники и т. д.— принял ленинскую концепцию XX века как эры великих революционных сдвигов.

Именно такова характеристика столетия в лаконичных строчках вступления к поэме «Великий план» (1931), где поэт обращается к читателю-современнику:

Время.
Когда родиться,
Не дано тебе
Выбирать.

Двадцатый век
Выбрал тебя...

Ты родился
В эпоху
Переселения народов:
Народы переселяются
Снизу вверх.

(Перевод А. Ромма)

В зрелой поэзии Бехера нередко звучит мотив гордости за эпоху — подчас даже с оттенком полемического вызова (например, в сонете «Мы граждане твои, Двадцатый век!»). Тема XX столетия, его революционных возможностей, великих научных открытий занимает немалое место в прозе и поэзии Бехера последних лет[2], включая и написанный им незадолго до смерти «Вселенский манифест».

Двадцатое столетие, богатое потрясениями, раскрыло перед человечеством небывалые перспективы. Отсюда Бехер делал вывод об особой сложности требований, предъявляемых самим ходом истории к современным писателям и деятелям искусства: «Писатель XX века иначе додумывает свое время до конца, чем писатель предшествую-

[1] Оно было впервые опубликовано в сборнике «Германия зовет», вышедшем на немецком языке в Москве в 1942 г.

[1] Апокалипсические настроения и мотивы в ранней поэзии Бехера и ход их постепенного преодоления внимательно проанализированы в статье: Manfred Müller. Weltuntergang und Jüngstes Gericht. Weimarer Beiträge, 1968. Sonderheft.

[2] О «загадке столетия», как поэтической теме Бехера, о развитии этой темы в его стихах и дневнике см. в книге Horst Haase. Dichten und Denken. Einblicke in das Tagebuch eines Poeten. Halle (Saale), 1966, S. 10—33.

Т. МОТЫЛЕВА

ЛЕНИНСКАЯ МЫСЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕХЕРА

щих времен, даже независимо от тех различий в идейной проблематике, в идейном содержании, которые отличают одного писателя от другого».

Об ответственности писателя XX века Бехер много раз напоминал в связи с задачами борьбы против войны.

Очень искренние признания содержатся в статье, написанной Бехером в 1929 году для антимилитаристского литературного сборника. Первая мировая война, вспоминал он, потрясла писателей его поколения, вошла в жизнь каждого из них как удар, разлом, поранивший душу навсегда.

«Понятно, что слово поэтов оказалось бессильным перед этой внезапно обрушившейся на мир катастрофой. Поэт, пытавшийся высказаться против войны, бесновался, вопил, кричал, он исторгал комки и обрывки фраз, обуреваемый словесной судорогой. В его призывах и стихах отражалось безумие полей сражений — и так стояли они, эти поэты, лишенные связи с сознательным пролетариатом, посреди потопа патриотического дурмана, лживых реляций, неизбывного ужаса: и снова и снова поднимали они свои измученные голоса и пели одновременно о конце света и о братании»... Эту жесткую характеристику Бехер относил и к самому себе. «Словно туманные мечты, развеялись наши монологи... Сколько ясности было в речах и статьях Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Ленина! И сколько путаницы, какое смятение чувств в литературе — даже у тех, кто тогда честно и открыто выступал против войны».

Тема войны и борьбы с нею проходит через все творчество Бехера: особое внимание к этой проблематике, взволнованный, можно сказать, драматический интерес к ней был задан поэту самой эпохой, и в то же время спецификой немецкой истории новейшего времени.

Однако уже в 20-е годы Бехер оценивал самокритически свою лирику экспрессионистского периода, проникнутую стихийно-страстным протестом против войны. Ему хотелось развивать антивоенную тему дальше и глубже — с ясных ленинских позиций. В работах разных лет Бехер ссылался на слова Владимира Ильича о тайне, в которой война рождается и которую революционеры обязаны раскрыть. Ленинская мысль влекла Бехера — писателя и теоретика литературы — на путь анализа, исследования. То есть на реалистический путь.

В докладе «Угроза войны и задачи революционных писателей» на Международной конференции революционных писателей в Харькове в 1930 году Бехер, исходя из ленинских положений, полемизировал с идеалистическими, пацифистскими концепциями, имевшими широкое хождение на Западе в литературной среде:

«Война для нас ни в коем случае не какое-то неизбежное явление природы, не является для нас каким-то роком, которому необходимо во что бы то ни стало подчиниться и который находится за пределами человеческого влияния и воздействия; причина войны, как исторического явления, коренится также не в естественном «дурном начале», заложенном в людях, и не в плохой политике правительств,— основная причина в том, что общество разбито на классы, на эксплуататоров и эксплуатируемых. Капитализм — вот причина войн новейшей истории»...

Мне довелось быть на харьковской конференции, слышать этот доклад. И теперь — почти сорок лет спустя — мне памятно, с каким вниманием и серьезностью слушала его многонациональная аудитория литераторов, собравшихся в то ноябрьское утро в большом зале Дома им. Блакитного. Авторитет Бехера в области проблем, которые ставились в его докладе, ни для кого не подлежал сомнению: ведь было известно, что он еще в 1926 году опубликовал антимилитаристский, революционный роман «Люизит, или Единственно справедливая война», многие его читали, многие помнили, что за этот роман автор подвергался преследованиям со стороны властей Веймарской республики.

Роман «Люизит», спорный, острополемический, во многом, на сегодняшний взгляд, устаревший по манере письма, был книгой по-своему значительной и новаторской. Бехер постарался проникнуть в секреты социального и государственного механизма империалистических держав; он передал напряженность социальных и человеческих конфликтов империалистического Запада — Германии, США — в годы относительной стабилизации капитализма; и вместе с тем попытался заглянуть в революционное будущее. Все это было смело и важно, все это будило мысль читателей и стимулировало поиски молодой пролетарской литературы. Бехер тут отчасти предвосхитил основные направления развития передовой немецкой прозы конца 20-х и начала 30-х годов — изображение классовых боев трудящихся (романы А. Зегерс, Г. Марквицы, К. Грюнберга, В. Бределя) и анализ опыта минувшей войны с антиимпериалистических позиций (романы А. Цвейга, Л. Ренна). В «Люизите» Бехер дал своего рода синтез пролетарско-революционного и антимилитаристского романа — его книга стала как бы творческой лабораторией, подготовившей последующие успехи передовых писателей. В вызывающем экспериментализме «Люизита», где действие часто перебрасывалось из страны в страну, где совмещались и перекрещивались разные сюжетные, временные планы, где актуальный репортаж сочетается с элементами романа-утопии, укрупненно-плакатное изображение — с пространными психологическими экскурсами, было, конечно, много издержек и излишеств, но, было вместе с тем немало такого, что в преображенных, более спокойных и отстоявшихся формах вошло в практику немецкого романа XX века [1].

[1] Ряд верных соображений о «Люизите» см. в статье Н. В. Ковригиной «Проза Бехера 20-х годов» в сб. «Труды Иркутского гос. университета», т. XXXIII, вып. 4, Иркутск, 1964, а также в статье Н. С. Лейтес «К вопросу об эволюции жанра романа в немецкой литературе 20-х годов». «Филологические науки» № 4, 1968.

Конечно, не один лишь Бехер хотел дойти до корня в анализе причин империалистической бойни, заклеймить ее подлинных виновников. Острый интерес к «тайне рождения войны» по-разному сказывался и до, и тем более после окончания первой мировой войны в творчестве западных писателей, и не только писателей-коммунистов: тут можно вспомнить статьи Ромена Роллана из сборника «Предтечи» и его же пьесу-памфлет «Лилюли», роман Генриха Манна «Голова», драмы Эрнста Толлера.

Однако в романе Бехера «Люзинт» есть, по сравненню с названными произведениями, нечто качественно новое. Главная суть здесь — не столько осмысление минувшей мировой войны, сколько предостережение по поводу новой военной опасности, и в то же время — утверждение социалистической революции как перспективы, выдвинутой перед человечеством самим ходом истории.

В этом — очевидная, органическая связь «Люзинта» Бехера с идеями и заветами Ленина, на которые автор прямо ссылался и в самом тексте романа, и в предисловии к русскому изданию 1926 года.

4

Верное понимание взглядов Ленина на литературу далось Бехеру не легко и не сразу: тут действовала инерция «детских болезней левизны», укоренившихся в пролетарском литературном движении — и не только в Германии

Статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» появилась на немецком языке в 1924 году, однако она, как замечает Н. Павлова [1], на первых порах трактовалась узко, партийность литературы отождествлялась с деятельностью писателей-коммунистов, выполняющих свои очередные задачи.

В докладе Бехера на харьковской конференции был ряд положений, в которых сказывалась широта его взгляда. Бехер со страстной убежденностью говорил о том, как насущно необходимо пролетарским писателям совершенствовать свое мастерство, овладевать полнокровным народным языком, чтобы найти доступ к сердцу читателя: в докладе шла речь и о «борьбе за попутчиков» (в немецком тексте: «Kampf um die Peripherie») и даже о вреде сектантского подхода к инакомыслящим — сочувствующим. Но в этом же докладе проскользнул и явно сектантский тезис, будто современная буржуазная литература представляет «одно целое» — к этому целому докладчик относил и произведения маститых писателей, Томаса и Генриха Маннов, Вассермана, Дёблина, и бульварную массовую продукцию.

Менее полутора лет спустя Бехер необычайно живо и, могу свидетельствовать, с удовлетворением воспринял Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», положившее конец рапповской групповщине, открывшее путь к сплочению творческой интеллигенции.

В пятом номере журнала «Литература Мировой Революции» за 1932 год это Постановление ЦК было опубликовано с редакционным примечанием: «Настоящий документ исторической важности обсуждался 17.V с. г. на собрании актива Международного объединения революционных писателей (МОРП) с участием делегации от Союза пролетарских и революционных писателей Германии. Собрание приветствовало решение ЦК ВКП(б) о ликвидации ВОАПП, РАПП и др. родственных организаций, как переводящее литературное движение на высший уровень»..

Мне хорошо памятно это многочасовое собрание, в котором участвовали немецкие, венгерские, польские, болгарские писатели, находившиеся в то время в Москве, а также русские литераторы, которые сотрудничали в «Литературе Мировой Революции» (предшественнице нашей нынешней «Иностранной литературы»). Из всех участников собрания именно Бехер с наибольшей прямотой и резкостью говорил о недостатках, явственно наметившихся в работе Международного объединения революционных писателей о сектантской ограниченности, замкнутости (мне запомнилось впервые тогда услышанное выразительное слово, «Abkapselung», что по-русски приблизительно значит «закупоренность»; он отметил, что журнал «Литература Мировой Революции» мало связан с международной литературной жизнью, слабо отражает происходящие в ней сложные процессы. Бехер подверг критике некоторые статьи, опубликованные в немецком издании, где о книгах пролетарских писателей говорилось в захваливающем тоне (в числе материалов, вызвавших его неодобрение, оказалась и моя рецензия о романе Клауса Нейкранца «Баррикады Веддинга»). Смысл слов Бехера тут сводился к следующему: у авторов подобных статей, конечно, добрые намерения, они хотят поддержать пролетарских писателей, но такие похвалы тянут нас назад — нам нужны не восторженные отзывы, а взыскательный, серьезный разбор! Попутно Бехер раскритиковал и еще одну рецензию, в которой некий забытый ныне литератор обвинялся в «ремаркизме» без достаточных доказательств.

За всеми этими, казалось бы, частными замечаниями стояли серьезные проблемы. Бехер первым среди руководителей МОРПа понял, что перестройка литературных организаций нужна и в международном масштабе. Вся речь Бехера на майском собрании «актива МОРПа» была проникнута тревогой, озабоченностью по поводу судеб революционного литературного движения. И эту тревогу Бехера теперь, с дистанции времени, можно хорошо понять. Угроза фашизма

[1] Н. С. Павлова. Поиски метода в немецкой революционной литературе 20-х — начала 30-х годов. В сборнике «Национальные традиции и генезис социалистического реализма». М., 1965, стр. 138.

Т. МОТЫЛЕВА

ЛЕНИНСКАЯ МЫСЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕХЕРА

обозначалась все яснее, было необходимо объединить в международном масштабе все живые творческие силы, способные противостоять ей. Сама логика антифашистской борьбы требовала отказа от предрассудков рапповско-пролеткультовского толка.

Над этими проблемами Бехер продолжал размышлять в новых условиях — после того, как был вынужден покинуть гитлеровскую Германию

В речи на I съезде советских писателей Бехер полным голосом говорил о заслугах Генриха Манна и Лиона Фейхтвангера в борьбе против фашизма. Еще год спустя, в выступлении на Парижском конгрессе писателей в защиту культуры Бехер — по верному свидетельству немецкой исследовательницы Эрики Хинкель — «отстаивал ленинскую точку зрения на наследие прошлого»[1].

В эти годы Бехер и в собственном поэтическом творчестве обратился к национальным художественным традициям, как бы осмысляя их заново. Для него стала очевидной истина, обоснованная Лениным в речи на III съезде комсомола: новую пролетарскую культуру нельзя строить без овладения богатствами культуры, созданной всем развитием человечества. (В дневнике Бехера воспроизведен отрывок из этой речи с пометкой: «выучить наизусть!»). И можно смело сказать, что именно этот ленинский тезис стал внутренней основой замечательных сонетов Бехера, посвященных Гете, Римеишнейдеру, Баху.

Выступая на юбилейных торжествах в честь Гете в 1949 году, Бехер напомнил о судьбе классического наследия в советском государстве: «Что сталось бы с Толстым и что сталось бы с Пушкиным, если бы их не разбудила и не подняла к новой жизни власть?» — «Пришел Ленин. Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года стала возрождением всего великого в русском прошлом, а тем самым — часом возрождения Толстого и Пушкина».

Имя Толстого в этом контексте особенно важно. Для Бехера это был один из любимых писателей на протяжении всей его жизни. Он был для него вместе с тем и поэтической темой (советскому читателю известны стихотворения «Ясная Поляна» и «Высокое небо над полем битвы»; заслуживает внимания и сонет «Толстой», написанный в 1948 году, и страницы романа «Прощание», наверно, автобиографические, где чтение Толстого становится для юного бюргерского сына фактором духовного раскрепощения). Примечательно, что первое свое произведение, посвященное Толстому, Бехер создал в период, когда был захвачен революционным брожением в Германии,— весной 1919 года. Он писал в апреле 1919 года в личном письме: «Я читаю — краснея, восторгаясь — Толстого, который оказал на меня решающее влияние. (Или который производит на меня такое впечатление теперь именно потому, что в моей жизни произошел поворот.)»[1] Стихотворение, вернее, небольшая поэма «Толстому», вошедшая в сборник «Ewig im Aufruhr», написана в экспрессионистской манере, с характерными для молодого Бехера антитезами тьмы — озарения, катастрофы — просветления; русский писатель встает как защитник всех угнетенных, пророк возрождения народов, истерзанных войной. О нем говорится почтительно-восторженно: «Неподкупно легендарный лик / Гранитно-огненная стена справедливости / Толстой / Старый добрый крестьянин / Божий друг и покрытый копотью стрелочник»... Понятно, в сопоставлении со всем этим, как должны были живо заинтересовать Бехера ленинские статьи о Толстом: в них поэт мог найти подтверждение своих давних смутных мыслей о великом писателе, который в его творческом воображении соотносился и с русским крестьянством, и с грядущим революционным обновлением человеческого рода; вместе с тем эти статьи помогли зрелому Бехеру разобраться в противоречиях «разума» и «предрассудка» Толстого и стали для него образцом анализа сложных явлений культуры прошлого.

Не менее принципиально важны для Бехера были ленинские оценки Горького, точнее даже — вся многолетняя история их общения. Бехер считал эту историю в высшей степени поучительной для немцев, усматривал в ней доказательства, что именно в условиях социализма может быть преодолена традиционная антитеза «духа» и «власти». «Взаимоотношения между Лениным и Горьким — вот яркий пример братского единения политики и поэзии. Это единение, бережно поддерживавшееся Лениным и Горьким, не только предмет зависти немецкой литературы, где в течение столетий существовал разлад между искусством и политикой, оно постоянно побуждает проверять наше собственное отношение к политике и в этой области также преодолевать немецкое убожество». В отношениях Ленина и Горького Бехер видел образец (или, как он говорил, «памятник») тех новых связей между политиком и деятелем культуры, которые образуются в практике революции. Бехер настаивал на взаимном, двустороннем характере этих связей.

Взаимодействие искусства и политики — далеко не единственная проблема, в решении которой Бехер как теоретик и критик опирается на Ленина. В статьях и речах Бехера 50-х годов, как и в его четырехтомном цикле «Опытов», положения Ленина нередко становятся исходной точкой для самостоятельной разработки конкретных культурно-политических вопросов. На некоторых конкретных вопросах я постараюсь здесь сосредоточить внимание — разумеется, не охватывая всю широчайшую проблематику бехеровской тетралогии, о которой уже столько написано и в ГДР, и у нас.

Но тут, пожалуй, уместно одно предварительное замечание. Мне думается, что,

[1] Erika Hinkel. Gegenwart und Tradition. Renaissance und Klassik im Weltbild Johannes R. Becher. Berlin. 1964. S. 165.

[1] См. комментарий А. Клейна в книге Johannes R. Becher. Gesammelte Werke. Bd. 2. S. 597.

разбирая теоретическое содержание «Опытов» Бехера, нельзя отвлекаться от той литературной формы, в которую они облечены. Бехер не написал и не имел намерения писать что-либо похожее на систематический курс эстетики, учебник или трактат. Да, суждения Бехера о культуре и искусстве, будучи взяты вместе, составляют систему, они отличаются ясностью, определенностью концепции, остротой полемики с идейными противниками. Но все же «Опыты» (как и предшествующий им, во многом связанный с ними дневник за 1950 год «На новый лад великая надежда») — это **проза поэта**, которому свойственно эмоциональное, образное восприятие мира. Немаловажно, что эти книги включают, наряду с теоретическими тезисами, и вставные стихи, зарисовки, фрагменты мемуаров, миниатюрные рассказы-притчи. Все это вносит в работы Бехера-теоретика элемент лирического самораскрытия. Все это напоминает, что он судил об искусстве, так сказать, **изнутри** — как человек искусства. В годы, когда Бехер был крупным государственным деятелем ГДР, ему, несомненно, хотелось излагать свои взгляды так, чтобы они не были похожи на поучение или директиву. Ему хотелось выступать перед читателем прежде всего в роли художника слова, который размышляет о своем кровном деле, поэзии и старается пробудить мысль в других. Отстаивая в «Опытах» коренные положения марксизма-ленинизма, относящиеся к культуре, борясь против влияний буржуазной идеологии за народность и партийность искусства, Бехер, естественно, задумывался, по-своему, творчески, над вопросами, которые требовали конкретного решения в молодом демократическом немецком государстве.

Продолжая в ГДР дело, плодотворно начатое им в эмиграции,— переосмысление духовных богатств немецкого прошлого, Бехер обращался к ленинским положениям о двух культурах в каждой национальной культуре. Как применять их к немецкой культуре? Во «Власти поэзии» Бехер приводит известные строки Ленина из «Критических заметок по национальному вопросу» и комментирует их:

«Этим словам Ленина мы долгое время не уделяли достаточного внимания. Мы должны серьезно подумать над ними и наверстать упущенное. Нельзя реставрировать Вартбургский замок и в то же время забывать о местах, связанных с Мюнцером, ибо Лютер и Томас Мюнцер — «взаимодействующие величины». Томас Мюнцер и его последователи, мы, немецкое рабочее движение, помогли Мартину Лютеру стать бессмертным тем, что противопоставили тому постыдному, рабскому, что было ему присуще, гениальность его языковых реформ и во времена раскола нашей родины указали именно на них как на мощный фактор, объединяющий всех немцев. Всем лучшим в нем, тем, что продолжает жить в веках, Лютер обязан Томасу Мюнцеру и его последователям».

Здесь как бы кристаллизовалась, отлилась в обобщающие суждения та трактовка личности Лютера, которая еще в 30-е годы была дана Бехером в одной из лучших его поэм. Из ленинских положений Бехер делал вывод, что нельзя за Лютером забывать Мюнцера — многие сложные явления культуры прошлого обретают новое измерение, впервые встают в свой настоящий рост, если их рассматривать в свете демократических и социалистических традиций. Он делал и другой вывод: крупные исторические личности порой несут в себе противоборствующие идейные тенденции, и граница двух культур проходит **внутри** их сознания. Вполне в духе принципов Ленина, выраженных например, в статьях о Толстом («Это наследство берет и над этим наследством работает российский пролетариат»[1]), Бехер приходил к убеждению, что надо работать над наследием отечественных классиков, трезво различать в них силу и слабость, выдвигать на первый план и нести в народ то лучшее, что завещано ими.

Подобную же работу по разбору культурного достояния, взыскательному отбору лучшего Бехер стремился проводить и по отношению к ближайшим предшественникам и старшим современникам — писателям и художникам XX века. В сложных идеологических условиях первого послевоенного десятилетия это было вовсе не так просто, и нельзя считать все суждения Бехера безошибочными.

Однако в целом отношение Бехера к сложным явлениям культуры XX века было вдумчивым и бережным. Он высоко ценил писателей буржуазно-гуманистического толка, выступавших против фашизма в годы гитлеровской диктатуры (могу и это подтвердить личным свидетельством: в 1948 году, вскоре после того, как появилась в «Литературной газете» моя статья, содержавшая резкие замечания по адресу Л. Фейхтвангера, мне передали, что Бехер очень недоволен этой статьей; мне ясно теперь, насколько он был прав). Ленинская традиция заботы о подлинных талантах широко сказалась в общественной деятельности Бехера как собирателя творческих сил интеллигенции сразу же после крушения гитлеризма: общеизвестна, в частности, та благотворная роль, которую он сыграл в то время, например, в судьбе Гауптмана и Фаллады.

Борясь неутомимо и со страстью против литературы западной реакции, Бехер умел ценить одаренных художников и тогда, когда они были чужды ему. Даже о своем постоянном антагонисте Готфриде Бенне он был способен судить с той объективностью, которая основывалась на сознании своего исторического превосходства. По поводу одного из стихотворений Бенна Бехер сде-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 23.

Т. МОТЫЛЕВА

ЛЕНИНСКАЯ МЫСЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕХЕРА

лал принципиально важное замечание: «Мы можем себе позволить видеть противника таким, какой он есть, и признавать то хорошее, что ему случайно удается. Мы не нуждаемся в том, чтобы шельмовать его, искажать и искусственно принижать, ведь правда — наша, за нами — будущее»...

Непримиримо относясь к декадансу, Бехер вместе с тем предостерегал: не надо спешить объявлять декадентами художников, в творчестве которых имеются декадентские черты, ибо, по словам Гете, выдающийся человек связан не только с величием своего времени, но и с его убожеством. Бескомпромиссно осуждая свое экспрессионистское прошлое, Бехер признавал, что экспрессионизм был «по-своему грандиозным восстанием, прежде всего — против скуки». Все то в какой-то мере ценное, что было сделано художниками экспрессионизма, могло быть оправдано в свое время — отнюдь не теперь. «Апокалипсические ландшафты» Мейднера, портреты Кокошки, рисунки Кубина выполнили свою «миссию», поскольку она у них была. Другие времена — другие песни, другие картины. Дайте нам возможность увидеть новую, мирную, счастливую жизнь». Искусство, способное внушить отвращение к жизни, к человеку, в современных условиях, по мысли Бехера, неуместно и даже вредно (по этому поводу можно вспомнить замечание В. И. Ленина, высказанное в разговоре с Кларой Цеткин по поводу экспрессионистских и кубистических картин: «Я не испытываю от них никакой радости» [1]).

И тут стоит вернуться к проблеме стиля жизни. Критика западного «модерна» имела у Бехера и другой аспект. Поэт, испытавший в молодости соблазны нравов богемы, в зрелую пору неутомимо воевал против пережитков таких нравов. Еще в статье «Рост и зрелость» он писал: «Такие атрибуты поэта, как безответственность, капризность, шатания, сумасбродство,— все это идет от модернистской гнили»... В «Опытах», как и на многих страницах дневника, Бехер на свой лад развивал ленинскую полемику, направленную против «литераторов-сверхчеловеков». «Бесхребетность, безалаберность никому не помогли произвести переворот в мировом искусстве». Поэт в условиях социализма — прежде всего труженик, делающий общественно полезное дело (культура писательского труда, порядок, режим в работе — все это живо занимало Бехера и приобретало для него принципиальный смысл — именно как антитеза мелкобуржуазно-анархической «безалаберности»). Именно поэт, сознающий себя тружеником, размышляет далее Бехер, может себя почувствовать, скажем, на заводе не зевакой, не праздным наблюдателем, а своим, нужным человеком...

Бехеру была близка мысль Ленина: именно после победы пролетарской революции литература сможет служить «миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность»[1].

Радость общения с этим новым читателем, гордое сознание, что теперь поэтическое слово может быть услышано, и уже услышано, сотнями тысяч, если не миллионами людей, все это широко отражено в «Опытах».

И когда Бехер вскоре после войны впервые в своей жизни обратился к песенному жанру, это был отклик на действительно насущную потребность народных масс, начавших жить по-новому. Он работал над песнями в полную свою поэтическую силу, с полным сознанием важности этой непривычной для него области творчества. Работать для народа, по мысли Бехера,— ни в коем случае не значит идти на поводу у примитивных вкусов, потакать отсталым настроениям. Перед писателями, художниками социалистического мира стоит задача эстетического воспитания масс. Бехер отдавал себе отчет, что задача эта — не такая простая. «Культурная революция,— писал он в «Защите поэзии»,— пробуждает духовный и художественный интерес миллионов людей; до сих пор культурные сокровища утаивались от них или же преподносились им в виде эрзаца и халтуры. Вполне естественно, что этот пробужденный интерес миллионов иногда порождает не только незрелые, неквалифицированные суждения по вопросам искусства, но и абсурдные, претендующие на то, чтобы стать некой доктриной. Да утешатся художники, которым в таких случаях бывает не по себе!» Дело писателей, художников — так полагал Бехер — исподволь, вдумчиво, терпеливо прививать своим читателям и зрителям здоровые художественные вкусы. Конечно, радостно, что «нет больше низкопробной, развлекательной литературы, выходившей миллионными тиражами,— миллионы читателей настраиваются на новый лад и должны быть завоеваны нашей литературой». Но Бехеру было ясно, что такое завоевание требует определенных усилий. Нельзя сразу приучить к Томасу Манну тех, кто привык читать криминальные романы. Социалистическое искусство — об этом много разговорится в «Опытах» — должно учитывать разнообразие запросов публики, которой нужна и доброкачественная беллетристика, и репортажи, и радиопьесы. Важно, чтобы писатель, художник и тогда, когда он обращается к «массовым» жанрам, отдавал народу всю силу своего таланта и мастерства.

Одним из первых, если не первым среди деятелей культуры послевоенного социалистического мира Бехер задумался над современным значением так называемых средств массовой коммуникации (о которых сейчас столько пишут социологи и публицисты в разных странах). Вслед за Лениным Бехер придавал большую важность киноискусству, а также — в современных условиях — и радио, и телевидению, открывающим писателям доступ к широчайшей народной аудитории. «Когда идет речь о но-

[1] «В. И. Ленин о литературе и искусстве», стр. 663.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 104.

вых «провинциях», которые должны освоить мы, поэты, чтобы наша поэзия стала более глубокой и всесторонней, надо особенно иметь в виду радио, которое, по-моему, еще в большей мере, чем кино, способно воздействовать и вширь, и вглубь. Какие поэтические возможности представляются нам, когда мы обращаемся с поэтическим словом к сотням тысяч, разговаривая с ними словно с глазу на глаз,— а благодаря телевизионной технике раскрываются еще и новые возможности, подобные тем, какими владеет кино». Заметим еще раз: мысль о массовом читателе, слушателе неизменно влекла за собой у Бехера новые повышенные требования художественной глубины и всесторонности — он предъявлял их к собратьям по профессии, не в последнюю очередь и к самому себе.

Богатство средств и способов выражения, какими располагает современный писатель, разнородность запросов, которые ему необходимо учитывать в обществе, где к культуре приобщаются широчайшие слои народа,— все это неизбежно стимулирует многообразие форм, стилей, жанров в литературе социалистического мира. Бехер, конечно, имел это в виду, размышляя над диалектикой формы и содержания в современном искусстве.

Очень вероятно, что эти раздумья Бехера преемственно связаны с той теоретической постановкой проблемы формы и содержания, какая была дана Лениным в «Детской болезни «левизны» в коммунизме».

Революционное содержание, говорит Ленин, «может *и должно* проявить себя в любой форме, и новой и старой, может и должно переродить, победить, подчинить себе все формы, не только новые, но и старые»... «Новое содержание пробивает себе дорогу через все и всяческие формы»...[1] Здесь, понятно, идет речь не об искусстве, а о политике. Однако подобную же мысль, уже прямо применительно к литературе, Ленин высказал в беседе с Демьяном Бедным: «Старой песне противопоставить новую песню. В привычной своей, народной форме — новое содержание»...[2]

К таким же выводам, основываясь на собственном творческом опыте, приходил и Бехер. Ему было ясно, что взаимодействие формы и содержания в художественном произведении далеко от механического тождества — это взаимодействие может складываться очень по-разному, традиционно или нетрадиционно. Иной раз новое содержание передового искусства облекается в экспериментальную форму, которая будоражит читателя или зрителя, привлекает к себе внимание, вызывает на спор. «Но бывает и так: истинно новое выражает себя в традиционных формах, формально ничем не примечательных, и тем самым становится более доступным и понятным для неискушенного в литературе читателя».

Так или иначе, утверждал Бехер, «было бы бессмысленно предписывать новому его форму»... И это — далеко не единственный повод, когда он категорически возражал против «предписывания» в области поэзии.

В «Поэтическом вероисповедании» Бехер приводит ленинские строки: «Самое верное средство дискредитировать новую политическую (и не только политическую) идею и повредить ей состоит в том, чтобы, во имя защиты ее, довести ее до абсурда»[1].

Принципиально важное, например, замечание, сделанное Бехером в дневнике, повторено впоследствии и в «Защите поэзии»: «При определении народности» мы не должны забывать, что в подлинной народности содержится не только сегодняшний, но и завтрашний день и что плоское, приспособленческое, натуралистическое народничанье (Volkstümelei) противоречит нашему методу социалистического реализма».

Подобные мысли Бехер развивает и на многих страницах «Опытов», опираясь на Ленина. «Надо снова и снова напоминать о том, как страстно Ленин выступал против литературы, которая выдает себя за литературу для рабочих, ограничиваясь созданием производственных репортажей, фабричных романов»... Далее цитируются строки из «Что делать?», направленные против попыток замкнуть рабочих-читателей в «искусственно суженные рамки *«литературы для рабочих»*, авторы которой считают себя вправе «пережевывать давно известное»[2]. Героика социалистического труда — достойнейший, очень благодарный предмет для литературы нового общества. Однако Бехер, применяя положения Ленина к практике литературной жизни ГДР, требовал, чтобы писатели и критика подходили к этой, столь необходимой для народа сфере творчества всерьез, с высокими художественными критериями: он был непримирим к упрощенчеству и узости, якобы оправдываемых важностью тематики.

Суждения Ленина о том, что в литературном деле необходимо обеспечение простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, находили благодарный отклик у Бехера: ведь он сам столько лет размышлял над проблемами специфики искусства. Он был и оставался убежден, что поэтическое творчество — это своеобразнейшая, особо тонкая и сложная отрасль интеллектуальной деятельности, и именно в силу этого своеобразия оно способно приобретать большую власть над людьми. Поэзия может воздействовать не только на сознание, но и на подсознание, проникать в те сферы душевной жизни человека, которые остаются незатронутыми «политической злобой дня». Чем шире будет обеспечен простор таланту и инициативе социалистического поэта, художника, тем лучше сможет он выполнять свое высокое общественное назначение.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 89.
[2] «В. И. Ленин о литературе и искусстве», стр. 687.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 46.
[2] Там же, т. 6, стр. 39.

Т. МОТЫЛЕВА

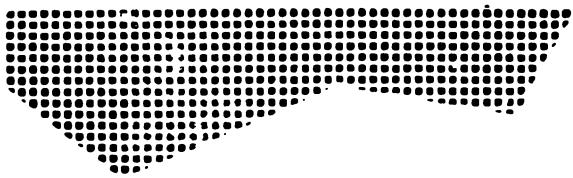
ЛЕНИНСКАЯ МЫСЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕХЕРА

В течение многих лет и до самой смерти Бехер — поэт и революционер — последовательно и страстно защищал поэзию от буржуазно-торгашеских нравов, от полицейского произвола и фашистского варварства. После разгрома гитлеризма на Востоке Германии для поэзии возникли новые условия, неизмеримо более благоприятные, чем во все предшествующие эпохи германской истории. Однако Бехер отдавал себе отчет, что строительство новой культуры в стране, избавившейся от фашизма, не может протекать без всяких трений и конфликтов. И в условиях ГДР он считал важным защищать поэзию (и — шире — искусство) не только от враждебных влияний, но и от ущерба, который могут нанести ей — иной раз даже с вполне почтенными намерениями — излишне ретивые администраторы.

В статье, опубликованной в органе ЦК СЕПГ «Нейес Дейчланд», Бехер писал: «Я обращаюсь ко всем функционерам и прошу их принять к сведению, что искусство, как говорит Гете, нечто «серьезное и трудное». Надо «с усердием стремиться» приобретать знания также и в художественной области и нельзя полагаться на суждения вкуса, мало поддающиеся контролю. Надо выслушать художника, прежде чем осуждать его, и, с другой стороны, художник должен постараться завоевать внимание всех тех, кто проявляет интерес к литературным вопросам. Безусловно правильно говорится, что художникам недостает связи с жизнью, с народом,— такой недостаток равносилен отказу от подлинно крупных художественных замыслов. Настоящая связь с жизнью не в том, что ее навещают, осматривают на ходу, извне, как панораму,— настоящая связь с жизнью заключается в том, что этой жизнью живут, принимают действенное участие в ней. Это уже Гете знал — жизнь надо добывать с бою. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что связь с жизнью — это и связь с духовным творчеством, как одним из самых благородных проявлений человеческой жизни. Значит, нужна связь и с художниками, и с произведениями, которые оказывают воздействие на народ,— без этого нет полного знания жизни»...

В этой статье, появившейся всего за год до смерти Бехера, в октябре 1957 года, снова сказалась его забота о развитии немецкой социалистической культуры.

На протяжении всей своей сознательной жизни Бехер стремился как можно более тесно и органически соединить «любовь свою, поэзию» с борьбой за освобождение людей. Ленин был для него в этом и учителем, и опорой



ЕЩЕ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

(Ответ профессору Эрнесту Дж. Симмонсу)

Уважаемый профессор!

Я получил два Ваших обстоятельных письма с критической оценкой моей книги «Социалистический реализм и современный литературный процесс» Было приятно снова убедиться, что проблемы социалистической литературы, социалистического реализма, с пренебрежением отвергаемые многими зарубежными теоретиками и историками, Вас не оставляют равнодушным.

Знакомый с Вашими печатными сочинениями, я, разумеется еще не читая первого из писем, догадывался, что оно будет острым. Таким оно и оказалось. Вместе с тем тон писем менее непримирим, чем ожидалось. И это хорошо, думаю я. Хочу видеть в этом даже некий симптом, связанный с тем, что десятилетиями костеневшая в мертвых догмах американская «советология» делает попытку самооживления. Правда, большинство «советологов» рассчитывает при этом на конвергенцию.

Вы тоже отдаете щедрую дань этой иллюзии, не скрывая далеко идущих надежд. В заключении одной из Ваших последних работ говорится: «Советская политическая структура власти будет трансформирована в западную демократию» [1]. Так утверждается в сборнике «Советский мир меняется. Шесть очерков» (1966). В ответ на это скажу вновь то, что уже говорил при наших личных встречах: напрасная надежда. Советский Союз действительно находится в движении. Но движется он вперед, а не назад, движется к коммунистической цели Это не гладкий, но твердо избранный путь.

В цитированной работе Вы выступаете как политик чистой воды. Мне даже показалось, что автору ее нет абсолютно никакого дела до литературы.

Но заново просматривая Ваши предыдущие книги, сопоставляя их содержание с содержанием писем, я ощутил нечто, идущее, хотелось бы верить, не только от искреннего желания более четко выявить характер наших позиций, но и разобраться в некоторых литературных явлениях по существу.

Стремление к выяснению истины побуждает меня ответить Вам с такой же откровенностью, с какой Вы написали мне. Ваши письма, как Вы сами подчеркиваете, не являются рецензией, однако в них так или иначе затрагиваются основные вопросы развития социалистической литературы. С удовольствием констатирую, что, не в пример другим «советологам», Вы ни одним словом не опротестовали утверждение о существовании такой литературы. Симптоматичным мне показалось и Ваше стремление отмежеваться от тех, кто пытался «освободить» литературу от человека. Именно так воспринимается Ваше ревнивое замечание: «Судя по всему, Вы убеждены, что советская литература и критика дают единственно верное раскрытие человека как человека. Между тем, как Вы знаете, этот пред-

[1] Ernest J. Simmons. The new "new Soviet man". Soviet World in flux. Six essays. Rouge mont, N. C., 1966, p. 38.

мет мы находим еще в древности у Сократа и Аристотеля; тем же с давних пор занимались на Западе и в досоветский период в России искусство и критика».

Хорошо об этом прочесть в Ваших письмах, хотя утверждение, будто кто-то приписывает советской литературе монопольное право на познание человека, не соответствует тому, что есть в моей книге. Речь идет не о монополии, а о том, что для социалистических литератур, для питающего их социалистического гуманизма характерны такая вера в человека, в его потенциальные положительные возможности, такое доверие к нему, такое желание видеть его величие, каких не знал и не знает старый мир.

Симптоматично в Вашем первом письме следующее рассуждение в связи с модернизмом и авангардизмом:

«Ваша книга, мне кажется, отражает значительную озабоченность так называемым модернистским влиянием на западноевропейскую, американскую и даже на советскую литературу. Модернизм возник в первые годы XX века и как направление сейчас очень устарел,— этот факт упускает из виду и Щербина в своем также по-своему интересном исследовании «Наш современник». Короче, модернизм и авангардизм и в том и в другом случае не разграничены. В наши дни преобладающим среди западных писателей настроением является некий демократический или анархический историзм, подчеркивающий зависимость культуры от политики в большей степени, чем политики от культуры. В сущности, западные писатели мало обращают теперь внимания на направления, за единственным исключением французского «нового романа», которому Вы, к сожалению, почти не уделили места. Впрочем, это направление имеет сторонников преимущественно среди теоретиков искусства, а не собственно художников. В большинстве западные писатели, особенно английские и американские, не примыкают к направлениям, подобным экзистенциалистскому роману, феноменологическому роману или же структуралистскому роману».

На мой взгляд, это очень важное признание. При всей спорности в отдельных звеньях, оно лишний раз подтверждает, что советские ученые правильно делают, когда, проявляя озабоченность так называемыми модернистскими влияниями, вместе с тем сосредоточивают внимание не на них, а на действительно плодотворных течениях в современной литературе.

Истинные художники непоколебимо убеждены, что так же, как и сотни лет назад, настоящее, большое искусство возможно только как человековедение и что в нашу эпоху больше, чем когда-либо раньше, центральным объектом литературы остается человек во всей широте его связей с классом, с народом, с миром, с историей, с Землей, со Вселенной. Большинство из них защищает человека от всевозможных наветов, веря в него, в его стойкость, в мощь его разума, в то, что он не даром живет на земле.

«На тысячах различных языков, в самых различных условиях существования, из века в век, начиная от древних патриархальных бесед в хижинах и возле костров и вплоть до произведений современных писателей, книги которых выходят из типографий в больших центрах мира,— говорил Иво Андрич при вручении ему Нобелевской премии,— прежде всего слышится рассказ о судьбе человека, о чем без конца и края люди рассказывают людям» [1]. И уточнял, что искусство должно учить быть человеком, не только раскрывать смысл истории и путей в ней человека, но и поддерживать его. Годом раньше Иво Андрич разъяснял, что сам он защищает «идею величия человека, идею важности и красоты его миссии на земле», веруя в неуничтожимость человека.

В другом ключе, более темпераментно, но тот же круг идей десятью годами раньше развивал У. Фолкнер. Утверждая, что человек может преодолеть любые обстоятельства, он говорил при получении Нобелевской премии: «Я отказываюсь принять конец человека... Я убежден, что человек не только выстоит, но он восторжествует» [2].

Наконец, третий лауреат Нобелевской премии, М. Шолохов, не только разделяет эти мысли, но и называет одно из своих произведений — «Судьба человека». Он связывает глубокое художественное решение этой проблемы прежде всего с реализмом, одновременно подчеркивая, что в нашу эпоху и реализм в целом, и реалистический роман опираются на художественный опыт великих мастеров прошлого, но в своем развитии приобрели существенно новые, глубоко современные черты. И уточняет: «Я говорю о реализме, несущем в себе идею обновления жизни, переделки ее на благо человеку. Я говорю, разумеется, о таком реализме, который мы называем сейчас социалистическим. Его своеобразие в том, что он выражает мировоззрение, не приемлющее ни созерцательности, ни ухода от действительности, зовущее к борьбе за прогресс человечества, дающее возможность постигнуть цели, близкие миллионам, осветить им путь борьбы» [3].

---

[1] Цит. по сб. «Критический реализм XX века и модернизм». М., «Наука», 1967, стр. 159—160.

[2] William Faulkner. Three Decades of Criticism, Michigan, 1960, p. 343.

[3] «Литературная газета», 14 декабря 1965 г.

Восторгаясь «шедевром Шолохова», Вы, профессор, в то же время подчеркиваете, что «многое не можете принять в его деятельности». Что же именно? Этого Вы не расшифровываете, однако из контекста догадаться нетрудно: Вас не устраивает гражданская позиция Шолохова, как, впрочем, позиции советских писателей вообще.

Здесь-то и начинается Ваше расхождение не только с эстетической теорией, но и с самим литературным процессом. Благоразумно отвергая некоторые предрассудки, столь характерные для других «советологов», пишущих о социалистических литературах, о социалистическом реализме, Вы тем не менее не можете освободиться от общего консерватизма и догматизма, характерных в целом для того направления в американском буржуазном литературоведении, к которому принадлежите. Например, Вы повторяете избитое утверждение, что на основе социалистического реализма до сих пор не возникла большая литература. И так «подкрепляете» его: «Те же сравнительно немногочисленные произведения, которые Вы постоянно называете выдающимися произведениями социалистического реализма, имеют мало или не имеют ничего общего с этой догмой, в особенности с ее центральным положением, которое Вы подчеркиваете,— партийностью».

Ниже я особо остановлюсь на партийности, как мы ее понимаем, а также на том фальсификате, которым она подменяется в вашей официальной пропаганде и который Вы, профессор, санкционируете своим научным авторитетом. А сейчас о том, существует или не существует большая литература социалистического реализма. Вряд ли Вам, человеку, отдавшему несколько десятков лет науке, я вправе напоминать, что ни одна большая литература в мире не сводится к сумме только самых крупных произведений. Большая литература — это множество произведений разных видов, разных жанров, разных стилей, произведений крупных и мелких, сильных и слабых (да, к сожалению, и слабых) в их сложнейших взаимопритяжениях и взаимоотталкиваниях.

Всякое искусство не существует без всепроникающих связей со всем комплексом общественного существования. Взаимные связи советских литератур, их подспудные и открытые сцепления поистине не знают примера в истории.

И, разумеется, большой литературы не может быть без напряженных творческих исканий. На каких-то этапах эти искания приводят весь литературный организм к гигантскому напряжению, разрешающемуся такими феноменами, как «Божественная комедия», «Гамлет», «Дон Кихот», «Фауст», «Евгений Онегин», «Человеческая комедия», «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон». Такие мощные художественные явления не рождаются каждый год, даже каждое десятилетие. Ведь говорил же Достоевский, что появление «Дон Кихота» достаточно для того, чтобы сказать: человечество существовало не напрасно. Мы не боимся утверждать, что одним «Тихим Доном» вполне оправдалось бы существование социалистического искусства и социалистического реализма. Но, как Вы знаете, социалистическое искусство не только «Тихим Доном» располагает. Тем удивительнее читать в Вашем письме: мало выдающихся примеров социалистического реализма. Литература никогда не была и не будет осчастливлена поточным производством шедевров. Поэтому и арифметический подход к ней недействителен.

И снова, и еще раз: шедевры не возникают на пустом месте. Им нужны мощные питательные источники. Такими источниками социалистической литературы в нашем мире являются новое общество с новыми взаимоотношениями между человеком и человеком, человеком и обществом, человеком и государством, человеком и миром, новое сознание художника, новый художественный идеал, новый гуманизм, новая мораль.

И вот я спрашиваю, профессор, в каком труде американских «советологов» тщательно проанализирована хотя бы одна из семидесяти советских литератур или литература какой-либо другой социалистической страны в их действительных образцах, прежде чем был сделан вывод, что они не являются «большими»? Раскрываются ли перед читателями Вашей страны сама художественная атмосфера, характерная для этих литератур, те новые, своеобразные отношения, в которые вступают герои наших книг друг с другом, со своим временем, с историей, народом, человечеством? А ведь в этом главное. Рекомендуя «Тихий Дон» английскому читателю, сам автор прежде всего на это обращал внимание. «Я был бы счастлив,— писал он,— если бы за описанием чуждой для европейцев жизни донских казаков читатель-англичанин рассмотрел и другое: те колоссальные сдвиги в быту, жизни и человеческой психологии, которые произошли в результате войны и революции».

«Советологи» стыдливо обходят как раз это главное. Они не замечают в социалистических литературах того обновления, о котором с такой уверенностью говорили Т. Манн, Р. Роллан и другие, менее крупные, но тоже не лишенные художественной чуткостн писатели. Еще в 1901 году в статье о «Фоме Гордееве» Джек Лондон утверждал, что реализм Горького «не так мрачен, как реализм Тол-

ского или Тургенева. Его реализм живет и дышит в таком страстном порыве, какого они редко достигают».

«Советологи» предпочитают объективному анализу пропагандистское ниспровержение. Цитирую красноречивые слова Эндрью Филда: «Критика современной русской литературы отдана у нас на откуп замаскированным специалистам по политике» [1].

Эти особенности «советологии», к сожалению, проявляются и в Ваших работах. Правда, у Вас от книги «Советская художественная литература и советская идеология» (1958) ко «Введению в русский реализм» (1965) наметился сдвиг в стремлении постичь особенности советской литературы. Если в первой из названных книг Вы старались показать, будто все выдающееся в нашей литературе, в частности произведения Федина, Леонова, Шолохова, появилось как бы вопреки коммунистической идеологии, то во «Введении» Вы судите о связи советских писателей с советской действительностью уже несколько иначе, глубже, объективнее, хотя по-прежнему делаете ряд оговорок в старом духе. На одной странице у Вас имеются выразительные, прочувствованные слова о патриотизме советских писателей. Их «преданность родине превосходит обычный патриотизм» [2], говорите Вы, подчеркивая, что этот особый патриотизм выковался у наших писателей в ходе борьбы, выпавшей на долю Советского Союза на протяжении его сравнительно краткой истории. Этих слов мы, профессор, не упустили из виду. Однако достаточно перевернуть страницу, и эти слова нейтрализуются давно нам знакомыми рассуждениями о том, что советские писатели старшего поколения всего лишь «терпимо относятся к социалистическому реализму» и т. п.

В своем первом письме Вы настаиваете, что выдающиеся примеры социалистического реализма, на которые делаются ссылки в книге «Социалистический реализм и современный литературный процесс», «имеют мало или не имеют ничего общего с этой догмой». Согласен, к догме, которая у Вас выдается за социалистический реализм, они не имеют вовсе отношения. Но имеют ли они все-таки отношение к социалистическому реализму или не имеют?

Тот факт, что Вы, авторитетный американский «советолог», не отрицаете социалистического реализма, а говорите о своей оппозиции, о своих претензиях к нему, знаменателен, как, впрочем, знаменательно и то, что Вы считаете центральным положением социалистического реализма партийность. Правда, тут уж Вы прямо заявляете о своем отрицательном отношении к этому принципу.

Что ж, поговорим о central doctrine — о партийности.

Не могу понять, почему Вы, ученый, всю жизнь занимающий совершенно определенную политическую позицию, кажется, ни разу не поддавшийся приливам и отливам поверхностного радикализма в Вашей стране, почему Вы так боитесь партийности? Может быть, потому, что по себе знаете, как она сдавливает, теснит и жмет Вас? Но это потому, что связывающая Вас партийность прямо противоположна той партийности, за которую боремся мы. Давайте уточним, о чем идет речь. Речь идет о позиции, об определенном взгляде на мир и о том, что в своей определенности этот взгляд, хотим мы того или не хотим, в наш век так или иначе связан с интересами либо одного, либо другого класса. Вы писали мне письмо, надо полагать, совершенно «свободно», не испытывая ниоткуда никаких давлений, в принципе же оно почти не отличается от того, что можно встретить на те же темы в «Нью-Йорк таймс». В свою очередь, Вы заявляете, что моя книга защищает коммунистический взгляд на развитие и перспективы современного искусства. Не хотел бы спорить с этим, хотя могу заметить, что в нашей стране книга вызвала дискуссии, не утихшие до сих пор.

Итак, как исходное в понимании партийности,— определенность взгляда на мир, на человека, на жизнь, ясная социальная ориентированность. Но определенность, не исключающая ни широты, ни глубины объективного видения мира. По нашему убеждению, такая всеобъемлющая, ничего не искажающая определенность возникает тогда, когда смотришь на мир не с «надклассовой» точки зрения (лишающей взгляды определенности), не с точки зрения буржуазии (превращающей взгляды в партикулярные и только партикулярные), а с точки зрения мировоззрения марксизма и условий жизни и борьбы революционного пролетариата, конечные исторические цели которого совпадают с подлинными целями человеческого развития. Иначе говоря, наша партийность — это социалистическая, коммунистическая идея, изнутри пронизывающая видение мира, это идея, прошедшая через ум и сердце художника и, если использовать слова Горького, превратившаяся в эмоцию, ставшая шестым чувством.

Эта «высота точки наблюдения» позволяет видеть мир в его целом и каждого человека в отдельности, позволяет дать реальный ответ на такой простой и

---

[1] Andrew Field. The not so dissonant voices in Soviet Literature "The new leader", 1962, 24 December, p. 16.

[2] Ernest J. Simmons. Introduction to Russian Realism. Bloomington, 1965, pp. 259—269.

такой бесконечно трудный вопрос: каким путем можно добиться, чтоб «каждый из людей был Человеком»?

А отсюда следует, что наша партийность предполагает и предопределяет наибольшую объективность, наибольшее бесстрашие перед жизнью, наиболее трезвое отношение к миру. Вернее, она из них исходит и, если хотите, в нашей области требует, да, требует изображения мира во всей его сложности, запутанности, противоречиях, в борьбе и разрешении этих противоречий. Высота нашей точки зрения на мир позволяет видеть главные линии, перспективы его развития, его исторического марша, и это придает искусству художников социализма то, что Горький называл «гарантированным будущим». Последнее сказывается в творчестве и тогда, когда изображаются «осколки жизни» либо ее прошлое, ибо и то и другое где-то в глубинах художественного воображения соотносится с целостным образом движущегося мира. Это влечет за собой «казенный оптимизм»? Нет, это только обеспечивает человечеству надежду, которое ведь и существует потому, что несмотря ни на что надеется и, преодолевая невероятные трудности, неся бесчисленные жертвы, испытывая невероятные страдания, все-таки идет вперед. Ведь это лишь У. Виккери поиимает оптимизм как «телячий восторг» и приписывает свое собственное понимание нам (см. его книгу «Культ оптимизма»).

«Достоин,— говорит Л. Леонов,— внимательного и почтительного изучения наш человек, взявший на себя подвиг — на своей собственной судьбе показать человечеству все фазы, случайности, опасности и возможности на пути осуществления древней мечты (о золотом веке.— А. О.) Немудрено, что в этой роли он то отважен до песенной дерзости, то легендарен по могучему броску в будущее, то несчастен до самых низин отчаяния — все это в немыслимых для Запада масштабах. При этом невольно возникают образы Прометея и Атланта, Икара и Геракла» [1].

Можете возразить, что не всегда нашим писателям удавалось и удается показывать этого человека во весь его рост, что в ряде книг он схематизируется, что были моменты в истории нашего общества, когда, под флагом отстаивания чистоты социалистического реализма, кое-кто толкал писателей к подмене живых характеров «эмблемами», «монументами». Но будете ли Вы отрицать, что мы ведем борьбу против подобных тенденций, которые нет-нет да и дадут о себе знать даже в наше время? Мы ведем эту борьбу с позиций коммунистической партийности, которая, по нашему убеждению, несовместима со стремлением к «облегченному» изображению мира и человека из соображений ли лести или каких-либо иных соображений, так же как несовместима с «очернительством», с искажением подлинных перспектив жизненного развития. Нам не нужны ни льстецы, ни устрашители. Вместе с тем наша объективность не имеет ничего общего с объективизмом, так же как реализм не имеет ничего общего с «имитацией» действительности. Напротив, мы не только стремимся познать мир и человека, но и сознательно берем курс на активное участие в формировании социалистической личности, социалистических общественных отношений, в переустройстве мира и человека.

В философско-эстетическом плане принцип коммунистической партийности формируется в процессе претворения в жизнь марксизма, который, как мы убеждены, «отличается от всех других социалистических теорий замечательным соединением полной научной трезвости в анализе объективного положения вещей и объективного хода эволюции с самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс,— а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами» [2].

Вас пугают слова «литературное дело должно стать частью общепролетарского дела»? Но ведь это и есть очень точное, совершенно конкретное решение в нашу эпоху проблемы «свободы выбора», которой Вы пытаетесь припереть меня к стене, Вы даже, для вящей убедительности, ссылаетесь на «Бунтующего человека» Альбера Камю, цитируете слова: «Писать — это значит постоянно делать выбор». Соглашаясь с этим, мы считаем! выбирать надо то, что, органически отвечая нашим чаяниям, ожиданиям, стремлениям, вкусам, без всякого насилия над нами, в то же время совпадет с чаяниями, ожиданиями, стремлениями, вкусами наиболее передовой, наиболее революционной части общества. Для нас это лучшее, передовое воплощено в определенном классе, в его авангарде. Но тем самым, говорят нам, писателя связывают. Не писателя связывают, а его субъективный произвол, «который пытается найти свободу творчества вне строгих указаний истории, вне ее основной, организующей идеи» (Горький) и ничего искусству, кроме хаоса, дать не может. Мы же не скрываем не только своего отрицательного отношения к хаосу, но и того, что стремимся овладеть им, упорядочить и направить в русло служения человечеству. Вас это возмущает? Правду, правду,

---

[1] Л. Леонов. Литература и время. М., «Молодая гвардия», 1964, стр. 310—311.
[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 23.

одну правду и правду, говоря словами Шолохова, «не мелкую, натуральную, а настоящую, большую»,— вот что означает такое «ограничение» [1].

Нам нужна правда, одна только правда, без ухудшений, искажений, лакировок, правда, правильно увиденная, преломленная сквозь магический кристалл художественного таланта и глубоко, всесторонне изображенная. Вы, профессор, будете возражать против этой формулы? Между тем в ней уже заключено и то, что Вы называете «доктриной партийности». Собственно, как эстетическое явление партийность не существует вне художественной правды. Художественной — подчеркиваю. Это не только правда, очищенная от мелочей, сгущенная, но и правильно осмысленная. «Художественная правда,— говорил Д. Фурманов,— заключается в том, чтобы без утайки рассказывать все необходимое, но рассказывать правильно, то есть под определенным углом зрения» [2]. И когда этот угол зрения совпадает с углом зрения, под которым на мир смотрят активные и бескорыстные строители социализма, с объективной исторической истиной, мы говорим о коммунистической партийности. Это отнюдь не означает, будто у нас не появляются произведения фальшивые, полуправдивые, даже угоднические, произведения, простите за специфическое слово, ублюдочные. Но их именно так и нужно рассматривать.

Вы, профессор, совершенно правы, когда, противореча тому, что говорится в начале Вашего первого письма о полной якобы независимости большинства западных писателей «от заведомого подчинения теории, доктрине или политическим внушениям», в конце его подчеркиваете: проблема выбора — одна из самых сложных, которые приходится им решать. Приходится именно решать. И в этом плане партийность, если ее брать в эстетическом преломлении, не есть нечто внешнее, чем можно «овладеть», проштудировав популярные марксистские книги, и как это изображают многие «советологи», организационно связав себя с коммунистической партией. В действительности все обстоит не так. Можно состоять в рядах партии и никогда не подняться до вершин подлинно партийного искусства. «...Понять, освоить политически еще не значит освоить художнически» [3],— справедливо утверждал А. Толстой. И, наоборот, можно формально не состоять в рядах коммунистической партии и создавать по-настоящему партийные книги, как создавал их в годы советской власти В. Маяковский. Повторяю, партийность в ее глубинном выражении — социалистическая идея, слившаяся с эмоцией и поэтому сказывающаяся и в самом видении писателем действительности, и в ее художественном воссоздании, и в ее оценке. Разумеется, как всюду в жизни, тут тоже возможны взаимные переходы, развитие, усиление или, наоборот, ослабление и даже угасание.

С неотразимой искренностью об этом говорили сами писатели на своем первом съезде в 1934 году. Характеризуя одну когорту писателей, пришедших в литературу прямо из грозных бурь революции, Вс. Иванов рассказывал, как некоторые из них, написав одну-две книжки, вдруг угодили затем в сети буржуазной литературы с ее призрачным новаторством, формализмом и так называемой беспартийностью. «Беспартийность этого особого, высокого искусства, казалось нам,— говорил Вс. Иванов,— приближает нас к жизни, а партийность отрывает нас на ту работу, которую мы только что бросили, чтобы увидеть «высокий» мир искусства. ...Многие при этом,— заключал Вс. Иванов,— за наивность своего мышления поплатились тягчайшими потрясениями» [4].

Не только Ваши «советологи», но и многие советские историки порой забывают об этом. Говоря о буйном цветении литературы в 1920-е годы, они почему-то не рассказывают о периоде обескураживающих неудач, пережитом самим Вс. Ивановым после «Партизан» и «Бронепоезда 14-69», Л. Сейфуллиной после «Перегноя» и «Виринеи», Ю. Либединским после «Недели», не объясняют, почему вообще «не состоялись» многие писатели.

По Вашему утверждению, профессор, в пределах партийности или, как Вы выражаетесь, «в пределах монолитной литературной догмы мало остается места для выбора». Мне же, например, совершенно непонятно, почему Вы, с такой легкостью обвиняя нас в посягательстве на «свободу выбора» писателя, который нравится Вам, так легко обнаруживаете свою склонность предельно ограничить и даже ликвидировать всякую «свободу выбора», коль скоро речь заходит о писателе, Вам не угодном. Невольно вспоминаются слова Плеханова: «Я решительно утверждаю, что те, которые упрекают меня в посягательстве на чью-то свободу, ...обнаруживают чересчур узкое понимание той самой свободы, во имя которой они обвиняют» [5].

Поговорив о нашей партийности, обратимся теперь к партийности вашей. В книге «Социалистический реализм и современный литературный процесс»

---

[1] М. Андриасов. Сын тихого Дона. М., 1969, стр. 126.
[2] Д. А. Фурманов. Сочинения, т. 3. М., Гослитиздат, 1961, стр. 52.
[3] А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 311.
[4] Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., ГИХЛ, 1934, стр. 230.
[5] Г. В. Плеханов. Собрание сочинений, т. XVII, стр. 4.

утверждается, что буржуазная партийность («беспартийность»), поскольку она входит в искусство, калечит и портит его. Можете ли Вы отрицать, что в прозаических и драматургических произведениях ирландца Самюэля Беккета, в которых он, по определению Нобелевского комитета, «достиг вершин в раскрытии нищеты современного человека»,— что в этих произведениях люди представлены куда более примитивными, плоскими, чем они есть в действительности? Даже если сделать самую большую скидку на элементы сознательного заострения, упрощения в целях достижения определенного художественного эффекта, то и тогда формула «нищета современного человека» остается очень уязвимой. Не так уж мало видел я людей в своей жизни, разных людей — в подавляющем большинстве своем они кажутся мне куда более яркими, думающими, воспринимающими мир более драматически, чем герои Беккета.

Или взять нашумевшего «Постороннего» Альбера Камю. Это произведение рождает много дум о жизни людей вашего мира. При всем том я лично считаю совершенно справедливым утверждение французского ученого Пьера-Аири Симона, что, стремясь доказать бессмысленность человеческого бытия, всего мира, Альбер Камю в «Постороннем» «облегчил себе задачу тем, что создал человека более бездумного, чем обычные люди, а мир искалечил значительно больше, чем искалечен наш мир в действительности» [1].

Не стоит особого труда догадаться, что в большом споре о характере и путях развития социалистических литератур Вы не случайно апеллировали к Альберу Камю, сослались на его «Бунтующего человека». Тут Вы опираетесь, как говорится, на подтекст значительно больше, чем на текст: Камю, сделав выбор, ополчился против революции. Не спорю, Камю — большой писатель. Не спорю также, что его трагическая эволюция не менее поучительна, чем его творчество. Скажу больше: тот мир, который Камю так ненавидел, но перед силой которого в конце концов не только не устоял, но и, по верному заключению Ф. Жаксона, бросая вызов, в то же время решил «остаться вечно возмущенным рабом по отношению к своему хозяину»,— этот мир, этот хозяин и в дальнейшем либо приручит, либо вынудит пойти на компромисс, либо согнет, либо, наконец, переломит еще не одного талантливого человека. Что же касается существа книги Альбера Камю, направленной против революции (в том числе и французской 1789—1793), против людей, соединяющих возмущение с определенным действием, то я, человек, воспитавшийся на таких произведениях, как «Политическая история французской революции» А. Олара, и на таких, как «Десять дней, которые потрясли мир» Дж. Рида, считаю историческую часть ее дилетантской, не опровергающей ни одного факта, ни одного аргумента, общепризнанных даже среди буржуазных ученых, а вторую часть плодом его некомпетентности в философии, как справедливо сказал Ж.-П. Сартр самому Камю. И вот еще что: люди, развенчивающие свою прошлую, свою первую любовь, чаще всего оказываются ниже ее. Печальной этой участи не избежал и Камю.

Гораздо важнее, на мой взгляд, что рядом с этим не прерывается, а, наоборот, набирает силу другой процесс — процесс движения все большего числа талантливых людей к социализму. Он, этот процесс, начался не сегодня. В 1906 году некто Вергежский, сотрудник кадетской газеты «Речь», воскликнул: «Мне страшно, когда искусство так близко подходит к социализму!» Это восклицание вызвало ответную реплику Луначарского: «Ну, еще бы! А нам — радостно!» [2].

Нам радостно оттого, что не только близко подошли к социализму, но и перешли на его позиции Горький и Маяковский, А. Толстой и М. Шолохов, Б. Брехт и И. Бехер, Л. Стоянов и Д. Димов, Л. Кручковский и Ю. Тувим, А. Барбюс и П. Элюар, Н. Хикмет, П. Неруда, Ж. Амаду...

Гаэтан Пикон, этот убежденный теоретик модернизма, не скрывает, что в своих вершинных образцах поэзия Поля Элюара противостоит модернистской поэзии с ее безличием и безразличием, с ее распылением образов. И, надо отдать должное его мужеству, признает, что стихи Элюара — не вчерашний день поэзии, а «драгоценный источник, что удовлетворит нашу жажду завтра». Критик идет еще дальше, высказывая острые сомнения в отношении модернизма и всех других течений, стремящихся любой ценой к формальной новизне. «Быть может,— говорит он,— следует поставить под сомнение ту эстетику забегания вперед, на которой построено большинство наших суждений» [3].

Не меньше мы радуемся и тому, что так близко подходили к социализму И. Франко и Л. Украинка, А. Франс и Р. Роллан, Б. Шоу и Шон О'Кейси, Т. Драйзер и Э. Хемингуэй. Я не хочу сказать, что они были социалистическими реалистами, а лишь отмечаю благотворное влияние идей социализма на их творчество.

Наконец, нас радует и то, что сегодня наблюдается в Вашей стране не только среди писателей. Мое личное общение со студентами и учащимися США по-

---

[1] Pierre-Henri Simon. Histoire de la littérature française au XX siècle, v. II, P., 1957, p. 184.
[2] «Вестник жизни» № 2, 1907, стр. 111.
[3] Gaëtan Picon. L'Usage de la lecture. P., 1960. p. 168.

зволяет мне разделить мнение Герберта Аптекера· «Никогда за последние тридцать лет не было столь серьезного, глубокого и широкого интереса к марксизму, соцнализму, который проявляется сейчас в американских колледжах, университетах, научных учреждениях и среди лиц свободных профессий» [1]. Неужели Вы думаете, господин профессор, что это впоследствии не скажется на судьбах и американской литературы?

Надеюсь, в этой заключительной части моего письма Вы найдете ответ на Ваше утверждение, будто мы навязываем кому-то социализм и социалистический реализм, проявляя «худший вид культурного империализма». «Пришло время,— утверждаете Вы,— положить конец литературному великодержавию и занять свое место в семье народов, гордясь своими творческими убеждениями, но понимая также, что другие народы имеют право на свои». Эти слова Вы должны были адресовать не нам, а, скажем, авторам созданной в годы второй мировой войны трехтомной «Литературной истории Соединенных Штатов». Они не только открыто провозглашали литературное великодержавие США, но и заявляли: «До тех пор, пока существуют США, сохраняется надежда, что народы Старого Света могут быть спасены от самих себя» [2]. Некоторые из них твердят это и до сих пор. Мы же, сохраняя непреклонную веру в свои творческие убеждения, считаем, что не великодержавне, а всесилие идей социализма приводит все больше писателей на наши пути.

В конце концов все литературы станут социалистическими. Это будут совершенно самостоятельные, глубоко национальные, но внутренне родственные литературы, гармонизируемые в единое, бесконечно разнообразное, эстетически совершенное целое идеями социализма — основой и душой подлинно общечеловеческой культуры. Позволю себе закончить наш спор словами писателя, изучению которого отдал так много сил и времени: «Для меня нет решенных вопросов, нет незыблемых истин, кроме одной: человечество есть неиссякаемый источник творчества. И когда оно, овладев всем опытом прошлого и настоящего, равномерно распределит в мире все плоды своей духовной работы, создаст условия для свободного и всестороннего развития личности,— оно испытает радости, нам неведомые, обогатит планету нашу красотой, нами немыслимой» [3].

Еще раз благодарю за обстоятельные письма.

Ваш А. Овчаренко,
профессор

---

[1] «Проблемы мира и социализма» № 10, 1966, стр. 31.
[2] Literary History of the United States, Ed. by R. E. Spiller and others. N. J. 1953, p. 215.
[3] М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М., ГИХЛ, 1941 г., стр. 434.

С. КОНДРАШОВ

ЯРОСТНАЯ КАЛИФОРНИЯ

Из американских впечатлений

«Сан-Франциско — это город, который любят все».
«Сан-Франциско любят, потому что это Сан-Франциско».
«Сан-Франциско любят, потому что в нем легко забыться».

Это шуточная похвальба из одной полурекламной брошюрки, которой снабжали приезжих журналистов, чтобы они не изобретали велосипед. У каждой нации есть свои города-любимцы, в Америке Сан-Франциско любят, потому что это Сан-Франциско, хотя он и называет себя «тихоокеанским Парижем», «Багдадом на заливе», «Воротами на Восток». Чем непреложнее стандарт, тем популярнее исключения, сильнее американская — и только ли американская? — страсть к любой экзотике: своей ли, будь то Сан-Франциско, или Кармел, или Нью-Орлеан с французским колоритом, Сан-Антонио и Санта-Фе — с мексиканским, или такой островок богемы среди манхеттенских небоскребов, как Гринвич-виллидж; к чужой ли — и отсюда нашествия американских туристов в Испанию, Францию, Италию, Грецию, в Африку и Азию, были бы доллары на летние отпуска, а они есть у все большего числа людей и их все еще охотно принимают всюду.

Первое мое знакомство с Сан-Франциско, состоявшееся в 1962 году, подтвердило его магнетическую прелесть. Чем привлекательны, думал я, эти сорок холмов на берегу океана и красивого залива? Открывшие в XVIII веке Сан-Францисский залив испанцы из экспедиции Гаспара де Портолы не гадали, конечно, о том, как впишется в девственную природу почти миллионный современный город. Но изначальная магия места не убита городской застройкой, в принципе осталась той же — она в игре холмов и массы воды. После просматриваемых на мили просек типичных американских улиц сан-францисские холмы как неожиданность, как тайна. Машины штурмуют склоны, как альпинисты. Что там, за гребнем? А взлетишь на асфальтированную вершину, и вот он — еще один панорамный вид на дома, холмы и могучую массу океанской воды. Пространственная мощь океана, стихия в самом богатырском ее проявлении входит в город, в человеческое поселение. Океан несет не душную потную влажность, как Атлантика в Нью-Йорке, а свежесть и хорошую меру прохлады.

Да, с природой Сан-Франциско повезло, если, конечно, не считать запоздалого открытия, что город лежит в районе незатухающей сейсмической активности, которая, если прислушаться к пессимистам, может поставить вопрос о самом его существовании...

В конце того, первого визита мы побывали у мэра Джорджа Кристофера. Американец из греков, он питал душевную слабость к единоверцам-православным, хотя и ставшим атеистами. Его призывы к хорошим отношениям между США и СССР часто раздавались в те годы, и в разговоре мэр сокрушался, что «нет прогресса в науке понимания человека человеком». Кристофер вручил нам именные ключи от города. Он, наверное, выдавал их десятками, если не сотнями, но дорого внимание. Ключ был из позолоченной фанеры, на ярлыке значилось: «Пожалуйста, возвращайтесь!»

Окончание. Начало см. в № 6.

Я вернулся — в июне 1964 года, прилетел из Нью-Йорка с друзьями-корреспондентами.

Первый житель, с которым мы перебросились парой слов еще в аэропорту, оказался студентом из Беркли, подрабатывающим на каникулах в автопрокатной фирме «Баджет». Вручая ключи от арендованного нами «мустанга», студент сказал: «Надеюсь, джентльмены, что вы сметете Голдуотера. Здесь все против него».

Аризонского сенатора Барри Голдуотера смели американские избиратели в ноябре 1964 года, а в июле очаровательный Сан-Франциско был ареной голдуотеровского триумфа. Там проходил съезд республиканской партии, выдвинувший демагога и невежду кандидатом в президенты США. Приглашая к себе съезд, местные власти думали не о политике — в ноябре большинство жителей Сан-Франциско голосовали против Голдуотера, подтвердив либеральную репутацию своего города,— а о бизнесе, вернее, о бизнесе на политике. Город внес 650 тысяч долларов в предвыборную кассу «партии слона» за право пригласить к себе ее делегатов, заполнить ими свои отели, рестораны, кабаре и авиалинии и заработать на гостях миллионы долларов. В буклетиках, которые корреспонденты получили в пресс-центре, эта арифметика разъяснялась со всей откровенностью.

Тогда в знаменитых «кабельных трамваях» мы каждый день взбирались на крутой Ноб-хилл. В отеле «Марк Гопкинс» с царским видом на город, залив и океан семнадцатый этаж был снят Барри Голдуотером, а шестнадцатый — Уильямом Скрентоном, соперником аризонца, пенсильванским губернатором-миллионером, представлявшим умеренное крыло республиканцев. На голдуотеровском этаже висели под потолком провода частной — с гарантией от подслушивания — телефонной сети на сто двадцать номеров и разгуливали дюжие молодцы в мышиного цвета форме — из частного сыскного агентства «Пинкертон».

Многое было тогда у Голдуотера. Например, пятьсот «девиц Голдуотера» — добровольных, крикливых агитаторов; в смысле женских прелестей они, правда, проигрывали «девицам Пепси-Кола», которые бесплатно поили делегатов и корреспондентов. Целая предвыборная индустрия доказывала непревзойденную маневренность американского бизнеса. Продавали полые стеклянные трости, в которых переливалась золотистого цвета вода (Goldwater переводится как золотая вода), канотье, брошки, бусы, значки, заколки для галстуков — с тем же магическим именем. Шустрые седовласые энтузиастки, по возрасту не годившиеся в «девиц Голдуотера», украшали себя большими круглыми значками: «Будь мне 21 год, я голосовала бы за Барри».

В те, лучшие дни своей жизни Барри Голдуотер имел даже разрешение на вертолетные путешествия от отеля «Марк Гопкинс» до Коровьего дворца в Дейли-сити.

Там-то в сан-францисском предместье, среди выжженных калифорнийских холмов, в Коровьем дворце, построенном в начале тридцатых годов по рузвельтовской программе борьбы с безработицей, в антракте между ежегодной скотоводческой выставкой и гастролями четырех лохматых битлов из Ливерпуля разыгрывался главный спектакль. К чести американских журналистов надо сказать, что они весьма иронически относятся к предвыборным съездам двух своих ведущих партий, но, даже предупрежденного, меня поразило собрание в Коровьем дворце. В июле 1964 года это был небезопасный балаган невежества и ненависти — глобальной и универсальной ненависти — к либералам, умеренным, неграм, коммунистам, программе соцобеспечения, кубинцам, панамцам, вьетнамцам, социалистическим странам, де Голлю, Джонсону, «миллионерам с Восточного побережья», к газете «Нью-Йорк таймс» и т. д. и т. п. Принципиальной ненависти ко всякой сложности мира, в котором отовсюду, как чудилось сторонникам Голдуотера, покушаются на их Америку, где всюду предатели, отступники и «мягкотелые».

Голдуотер шел к победе, как паровой каток, голоса были в кармане, на него работала машина республиканской партии, и разве могли подействовать на триумфатора упреки из письма растерянного Скрентона: «С откровенным презрением к достоинству, честности и здравому смыслу съезда ваши помощники фактически говорят, что делегаты всего лишь цыплята, которым можно скручивать головы... Вы слишком часто и необдуманно прописывали ядерную войну как рецепт для решения проблем беспокойного мира. Вы слишком часто стояли за безответственность перед лицом серьезнейшей опасности расовой катастрофы... Короче говоря, голдуотеризм свелся к сумасшедшей коллекции нелепых и опасных взглядов...»

Минуты публичного унижения испытал Нельсон Рокфеллер, нью-йоркский губернатор и самый известный из пяти братьев-миллиардеров. Он держался в сторонке, загораживаясь Скрентоном, на которого делал ставку старый «восточный капитал», но эта тактика не спасла его от неприязни и ненависти голдуотеровцев. На трибуне Коровьего дворца его освистали, ему не дали говорить. «Мы хотим Барри! Мы хотим Барри!» — скандировали делегаты. «Паршивый развратник!» — визжала некая блондинка: Рокфеллер развелся с женой и вступил во второй брак года за полтора до съезда. «Это все еще свободная страна, дамы и господа!» — усовещевал Рокфеллер толпу, но не тут-то было. Ухватившийся за края трибуны губернатор был серее обычного, мускулы лица и большого, неприятно подвижного рта с трудом удерживали тренированную, легко доходящую до ушей, рокфеллеровскую улыбку.

Человека, незнакомого с американскими тонкостями, могло озадачить это пуб-

личное осмеяние Рокфеллера. Но в тамошней политической чересполосице свои точки отсчета. Заглянув в дни съезда на Мишн-стрит в штаб-квартиру ультраправой организации «Независимые американцы за Голдуотера», я узнал, что по политическим убеждениям Нельсон Олдрич Рокфеллер является «интернациональным социалистом»...

■

И вот третий въезд в Сан-Франциско.

Кармел позади, сдут скоростями на федеральной 101-й. Смотрю на зеленые дорожные щиты. Указатель поворота к Коровьему дворцу как право на воспоминания.

Где прежние страсти? Где он, этот Наполеон образца 1964 года, наблюдавший свой Аустерлиц по телевизору из отеля «Марк Гопкинс», а на следующий день собственной персоной явившийся в Коровий дворец — через черный ход, потому что у парадного бушевали демонстранты, на свой лад склонявшие его фамилию: «1964— Золотая вода! 1965 — Горячая вода! 1966 — Хлеб и вода!»

Он не попал в Белый дом, потерял даже сенаторскую синицу, погнавшись за президентским журавлем, и уже больше трех лет скромно сидит у себя в Фениксе — галантерейный коммерсант, а также фото-, радио- и авиалюбитель. В вечной суете своей Америка забыла Голдуотера быстрее, чем заграница, которая медленнее переваривает американские феномены. В нью-йоркские газеты он попадал редко и не ближе десятой полосы, хотя в заявлениях его была законная обида жертвы плагиата — Джонсон проводил во Вьетнаме ту самую политику, которую обещал Голдуотер. И мечтал он уже не о Белом доме, а о возвращении в сенат (чему и суждено было сбыться в ноябре 1968 года, когда аризонцы снова отправили его на Капитолийский холм).

А карусель вертится, и, черт побери, как, оказывается, легко обозреть ее с высоты всего лишь четырех лет. Снова выборный год, но уже не Сан-Франциско, а курортный Майами-Бич заангажировал республиканский съезд. Демократы, наломав дров вьетнамскими эскалациями, помогли республиканцам кое-как склеить партию, деморализованную поражением Голдуотера. Джонсон отказался баллотироваться на второй срок, дав «партии слона» дополнительный шанс провести своего человека в Белый дом. Скрентон сошел с круга, не обнаружив достаточной энергии и честолюбия. У Нельсона Рокфеллера и его жены Хэппи не зажили еще раны сан-францисского унижения. Другие люди на республиканской авансцене, и среди них — Рональд Рейган, бывший киноактер, этакий неожиданный продукт растущей голливудской безработицы. Во время баталий в Коровьем дворце Рейган еще играл ковбоев в кинопавильонах, а сейчас — губернатор Калифорнии и на роли нового Голдуотера. Но главный претендент у республиканцев Ричард Никсон, тоже калифорниец. Политические страсти вернулись на калифорнийскую землю в виде пробы, хотя и важной, предстоящих 4 июня первичных выборов. Внимание на двух демократах — Роберте Кеннеди и Юджине Маккарти.

Все это мелькает в мозгу, пока мы проносимся под зеленым щитом, направляющим желающих к Коровьему дворцу.

Нам нужен не дворец, а отель, и не корова, а мистер Лэмб, хотя по странной игре случая его фамилия переводится как «овца». Отель—и немедленный телефонный контакт с мистером Лэмбом, заведующим местным бюро «Бизнес уик», который уже заготовил программу наших сегодняшних встреч и, наверное, волнуется, потому что не привык на встречи опаздывать, наверное, ворчит на чудаков русских, не заказавших отель заранее,— нелепость для американца, выжимающего максимум из телефона, по которому в их стране можно, не вешая трубки, связаться с любым городом, и из справочников, в которых указаны и цены, и расположение отелей.

Сидя за рулем, Василий Иванович рыскал по улицам, а я — по страницам путеводителя, ставя на обсуждение названия и цены отелей. Последние строчки коротеньких аннотаций отвращали нас от буржуазных соблазнов — солярией на крышах, от высотной жизни на изысканном Ноб-хилле, ибо пестрели эти строчки теми знаменитыми загогулинами, которыми наши карикатуристы любят метить бока, спины, манжеты и цилиндры американских толстосумов. Мы браковали отель за отелем, пока не дошли до «Губернатора». На слух? Звучит хорошо. Место? «В сердце Сан-Франциско». Цена номера? От девяти до двенадцати долларов на одного человека, от одиннадцати до шестнадцати — на пару: «прекраснейший из разумно расположенных отелей Сан-Франциско».

И мы выбрали «прекраснейший» — кирпичный параллелепипед на углу Турк-стрит и Джонс-стрит, поднялись в свои номера и сразу же поспешили вниз, где, должно быть, уже ждал нас мистер Ричард Лэмб.

Мистер Ричард Лэмб не стал для нас Диком, как стал Томом мистер Том Селф, его бывший ученик. Он остался мистером Лэмбом — сдержанным, суховатым, скорее бизнесмен, чем журналист. И очень аккуратным — от важной, мелко-дробной походки до шляпы, берегущей тщательный пробор на голове, до манеры говорить, пожевывая губами снова, будто дегустируя их.

— Разное есть отношение к вашей стране, разное,— от любви до ненависти,— неторопливо говорит он, проверяя каждое слово, с тем чтобы оно было не чересчур

обидным, но и не уклончивым.— Я вам скажу откровенно, что коммунизм не является моей концепцией счастья, хотя, может быть, я недостаточно знаю о коммунизме. Что же касается вопросов мира, то, конечно, я за мир. Не скрою, у меня были подозрения насчет вашей страны, и не совсем они исчезли. Однако после карибского кризиса люди моих взглядов поняли, что когда Советы говорят о мирном сосуществовании, они имеют в виду дело.

Двое взрослых детей, уже пошли внуки. Живет в университетском городке Стэнфорде. В свой сан-францисский оффис предпочитает ездить поездом, потому что машина — это пробки и нервы.

— Зачем скрывать, я живу, как немногие американцы. Существенные приобретения. Дом. Машина. Милая жена. Милые дети. Даже если я негритянскую проблему не чувствую вот здесь,— рука на сердце, пожевывание губами,— я, как бы это сказать, понимаю их — и то, что их так долго толкали с разных сторон, и то, что теперь они грозят моему положению.

Вот мистер Лэмб — из круга избранных, знающий социальных оппонентов, с гуманизмом, тождественным самосохранению.

В глазах его за стеклами очков и в аккуратно отвисших старческих щечках я прочел еще и обиду — на нас и на ситуацию, которая связала его с нами. Я понял, что он вывел нам цену еще в холле отеля «Губернатор», в тот миг, когда на коротких два дня мы возникли друг перед другом из взаимного небытия. Его взгляд пробежал по нашим помятым дорогой брюкам и по холлу отеля «Губернатор». Прекраснейший? Мистер Лэмб, старожил Сан-Франциско, не знал этого отеля и знать не хотел, что сразу же и дал нам почувствовать. Мистер Лэмб чуть заметно поморщился, и тогда-то я заметил обиду в его глазах и подрагивании отвисших щечек. Почти детскую обиду солидного человека, который не для того лелеял свою концепцию счастья, чтобы на старости лет по указанию своего шефа из Нью-Йорка и в угоду моде на международное общение стать чем-то вроде мальчишки на побегушках у каких-то чудаков в помятых брюках, приехавших из чужой и непонятной страны. Он, правда, организовал несколько встреч, снабдил нас кое-какой справочной литературой, но через день вежливо и холодно попрощался. И отбыл на уик-энд к себе в Стэнфорд...

Отель «Губернатор» отменно расположен — не лжет его реклама. Все под рукой, все «на пешеходном расстоянии»: муниципальный центр с Сити-холлом, где обитает городская власть, Маркет-стрит — центральная магистраль, рассекающая с юго-запада на северо-восток полуостров, на котором расположен Сан-Франциско, вечная толкучка Юнион-сквер с волосатыми хиппи на гранитных барьерах, кружками спорщиков и проповедниками под небрежными взглядами постояльцев фешенебельного отеля «Св. Фрэнсис» через узкую мостовую. Недалеко и небоскребы деловой Монтгомери-стрит.

Однако возле отеля были некие достопримечательности, не поименованные на «Приветственной карте» Сан-Франциско, и я понял, почему брезгливо морщился мистер Лэмб, как будто его сунули носом в нечистоты.

Улицы тоже имеют свое социальное положение. При некотором навыке его определяешь быстро. На Турк-стрит рядом с отелем — «Арабский клуб», арабы в Америке обычно селятся в местах подешевле. Чуть подальше «татуировочное ателье» с запыленными окнами. Грязный кинотеатр, где идет фильм «только для мужчин». На Джонс-стрит в холлах дешевых гостиниц-богаделен, глядя через окна на улицу, безучастно сидят в креслах молчаливые старики. По соседству приют для одиноких старушек.

В нашем отеле официанты в кафетерии — филиппинцы, привратник, он же носильщик,— из мексиканцев, коридорная — разумеется, негритянка. Среди прохожих больше, чем обычно, обтрепанных людей с заживо гниющими лицами алкоголиков и отверженных, покорных, не бузящих и не буянящих в общественных местах обитателей американского дна. Их лица, как и окрестные заведения, открывали нехитрые секреты района, в котором жизнь спрессовала бедность, старость, одиночество, потерянность, внутреннюю капитуляцию, порок.

Отель «Губернатор» каменным оазисом возвышается над этими бедными и злачными местами. Он еще удерживается на поверхности и на страницах справочника «Американской автомобильной ассоциации», удостоверяющего его принадлежность к приличной Америке, но ведь вычеркнут его с этих страниц, исключат из этой Америки, если не снесут соседние дома и заведения, не выселят отверженных в очередном порыве коммерческой активности.

— Вот те на,— ахнул я, выглянув из окна своего номера в двенадцатом часу ночи. На Джонс-стрит, между магазином на углу и баром «Клуб 219», токовали проститутки. Вальяжно прогуливалась длинноногая негритянка, подходившие мужчины справлялись о цене. Погасив свет и отодвинув штору, я отрешенно наблюдал с восьмого этажа некий научный эксперимент по платному преодолению человеческого отчуждения. Один человеческий атом притягивал и отталкивал другие. Подошли три белые проститутки, очевидно, знакомые негритянки. Расовой вражды я не заметил, но они заняли сепаратные позиции у козырька «Клуба 219» и на углу, возле магазина. Новые и новые девицы появлялись и исчезали с мужчинами, и я уяснил, что «Клуб 219» — один из местных «джойнтов», ночная сан-францисская биржа...

А с утра никакой торговли, пустой тротуар у «Клуба 219», в самом «Клубе» — обмызганная стойка, драные табуреты, нерассеявшийся смрад дешевого порока, и каким-то своим апокалипсисом веет от рекламно огромной полупорнографической картины на стене.

■

Беркли — это город с населением около 150 тысяч человек, входящий, как и другие города по берегу залива, в экономический район Большого Сан-Франциско. У внешнего мира слово «Беркли» рождает, однако, ассоциации не с городом, а с университетом, живописно расположившимся на холмах окраины. Вернее, с частью Калифорнийского университета, с одним из его кэмпусов. По этому-то кэмпусу я и хожу с картой-схемой, полученной в отделе связи с прессой. Без такой карты, пожалуй, нетрудно заплутаться среди десятков зданий-холлов.

Калифорнийский университет разбросан по всему штату и имеет девять кэмпусов — университетских городков. Это public university, то есть университет штата — публичный, а не частный. Университет гордился системой бесплатного обучения, которая была введена с момента его основания в 1868 году. Недавно от нее отказались. Студенты теперь платят шестьсот долларов в год. Власти объясняли этот шаг финансовыми затруднениями, вызванными быстро растущими расходами университета (сейчас уже около миллиарда долларов в год): за шестидесятые годы число студентов удвоилось, превысив сто тысяч, с 1958 по 1966 год число профессоров и преподавателей увеличилось с 4125 до 7429. Деньги поступают из казны штата, а также — и все больше — от федерального правительства и от разных фондов и промышленных корпораций, которые заключают с университетом контракты на многочисленные, среди них и военные, исследования. Вот разительное сравнение. В 1939 году итальянский физик Энрико Ферми, нашедший пристанище в Чикагском университете, с большим трудом добился шести тысяч долларов на графит для опытов по цепной ядерной реакции — лишь после знаменитого письма Альберта Эйнштейна, предупредившего президента Рузвельта, что нацисты, овладев урановыми месторождениями Чехословакии, могут приступить к работе над атомной бомбой. Фантастической была эта сумма для физической лаборатории любого американского университета. А четверть века спустя Вашингтон выделял в год 246 миллионов долларов на содержание трех больших ядерных реакторов в Калифорнийском университете. И это уже было нормой в стране, где ежегодные федеральные ассигнования на науку превысили полтора десятка миллиардов долларов и где уже поговаривают не просто о военно-промышленном, а о военно-научно-промышленном комплексе.

За цифрами роста студенты видели и потери, за умножающимся количеством — изъяны качества, более того — покушения на личность. По выражению его президента Кларка Керра, университет стал «мультиверситетом» — огромным комбинатом в индустрии знания, работающим на потребу капиталистического общества. Процесс обучения был бюрократизирован и обезличен, профессор физически оказался недоступен для студента, а порой — для заднескамеечников — представал лишь в виде изображения на телеэкранах — выход, продиктованный циклопическими размерами лекционных залов. Чтобы запомнить и не потерять, студента занесли на перфокарту и передоверили памяти и попечению ЭВМ. На вожделенном пороге взрослой жизни молодые люди, впитавшие со школьной скамьи азбуку буржуазной свободы и индивидуализма, видели, как их затягивает некая равнодушная чудовищная машина, обтесывая, выравнивая, штампуя,— изготавливая специалистов, как конвейерный продукт на автозаводах Детройта.

Сегодня в Беркли, крупнейшем и самом известном кэмпусе,— около тридцати тысяч студентов. Это целый мир, племя младое, не совсем знакомое взрослым и не до конца познавшее само себя, но открытое, порывистое, ищущее. Там интересно побродить и постоять присматриваясь. Юноши и девушки с книгами под мышками, а то и в рюкзаках, пешком и на велосипедах курсируют между холлами. Распахнутые рубахи, грубые свитера, выцветшие джинсы. Многие босы, вызывающе ступают по нагретому асфальту и шершавому гравию дорожек. Не терпящая снисходительности старших простая, но и сложная молодежь — как эмбрион, стесненный в чреве матери. В кого он выпрямится? Что произрастет в его крутой голове?

Схемы-путеводители тут не помогут, как и официальные брошюрки о Беркли. В них академически солидные, сдержанно хвалебные и во многом обоснованные самоаттестации.

Но есть другое — что найдешь не в брошюрках для абитуриентов и гостей, а, предположим, на страницах газеты «Беркли барб» («Колючая проволока Беркли») и что хорошо известно американцам. Не профессора, а именно студенты прославили Беркли в последние годы. Ученики стали учителями, и преподанные ими уроки, не умещаясь в рамки академических программ, подтвердили мудрое изречение ибсеновского героя: «Юность — это возмездие». Именно в Сан-Франциско с его давними боевыми профсоюзными традициями и духом критического радикализма шестидесятые годы собрали обильный урожай этого возмездия. Здесь, в Беркли, Америка вступила в полосу бурных студенческих волнений, которые через несколько лет охватили кэм-

пусы по всей стране, возвестив появление на общественно-политической арене новой, активной, быстро растущей силы. По соседству, в Окленде, в 1966 году родилось движение «черных пантер», распространившееся в другие крупные города и вызвавшее страх правящей Америки. Наконец, Сан-Франциско избрали своей столицей хиппи — эти своеобразные критики бездушного «технотронного» общества.

Хронологически эта новая полоса началась 14 сентября 1964 года, когда один неумный университетский администратор лишил студентов Беркли возможности собирать деньги для разного рода политической деятельности и заниматься агитацией и вербовкой сторонников. Ответом было Freedom Speech Movement — движение за свободу слова, настоящая веха в активизации американского студенчества. Вскоре полиция за руки-ноги выволакивала из административного Спрол-холла восемьсот участников сидячей забастовки, которыми руководил 22-летний студент-философ Марио Савио.

«Прошлым летом я отправился в Миссисипи, чтобы участвовать в движении за гражданские права. Теперь я вовлечен в другую стадию той же борьбы — на этот раз в Беркли. Некоторым эти два поля битвы кажутся совершенно разными, но это неверное представление. В обоих местах речь идет о тех же самых правах — о праве граждан принимать участие в жизни демократического общества... Более того, это борьба против одного врага. В Миссисипи правит автократическое всесильное меньшинство, подавляя посредством организованного насилия огромное, практически бессильное большинство. В Калифорнии привилегированное меньшинство манипулирует университетской бюрократией, подавляя выступления студенчества. За этой «респектабельной» бюрократией прячутся финансовые плутократы».

Это из статьи Марио Савио в декабре 1964 года. Тогда под его словами подписались бы сотни или немногие тысячи. Спустя четыре года две пятых из шести миллионов американских студентов так или иначе участвовали в проявлениях протеста. Большинство их вряд ли разделяло радикализм Марио Савио, но для многих параллель между университетскими администраторами и миссисипскими расистами уже не казалась чрезмерно смелой. И они могли бы присоединиться к другим его словам:

«Много студентов здесь в университете, многие люди в нашем обществе блуждают без цели... Это люди, которые не научились компромиссам, которые, к примеру, поступили в университет, чтобы задавать вопросы, расти, учиться... Они должны подавлять свои творческие импульсы — это предварительное условие, чтобы стать частичкой системы... Лучшие из тех, кто сюда поступает, должны четыре года бесцельно блуждать, все время спрашивая себя, зачем они вообще здесь, сомневаясь, есть ли какой-либо смысл в том, чем они заняты, видя впереди бессмысленное существование и участие в игре, где все правила давно установлены...»

Хорошо известно, что для новых поколений американских студентов первой школой гражданственности было участие в борьбе за права негров. В летних экспедициях на Юг, в помощи окрестным гетто студенты-добровольцы находили больше смысла, чем в учебных программах,— находили причастность общественно полезному делу. Потом они обрушили свой молодой протест на бюрократов от просвещения, и в Беркли избрали своей мишенью президента университета Кларка Керра, хотя по официальной оценочной шкале он считался одним из самых уважаемых, деятельных и либеральных университетских руководителей. Этого многоопытного человека президенты США не раз использовали как арбитра в спорах между профсоюзами и предпринимателями, но он не смог сладить со студентами и впоследствии был изгнан реакционером Рональдом Рейганом, севшим в 1966 году в губернаторское кресло.

Студенческий протест развивался вширь и вглубь. Грязная вьетнамская война придала ему невиданный размах и страсть, ибо от миссисипских расистов и университетских бюрократов продлила цепочку до творцов политики в Вашингтоне. Теперь маршировали не только в Беркли и не только на Спрол-холл, но уже и на Пентагон, на Белый дом. А в Беркли полиция — такой частый гость, что ей давно не нужны карты-схемы, ориентирующие новичков. Снова и снова идут оттуда сообщения о захватах холлов, о стычках с полицией на Телеграф-авеню, о молодежных маршах на военно-морскую базу в Окленде, где некогда жил Джек Лондон и где как приманки до сих пор выставлены его фотографии в витринах припортовых ресторанчиков...

Но я отвлекся от непосредственных своих впечатлений. В те дни в Беркли было затишье, и я пришел не на площадь перед Спрол-холлом, где обычно кипят страсти, а в Вурстер-холл, где размещен колледж городского планирования.

Профессор Уильям Уитон, 53-летний декан колледжа, произвел впечатление умного и крупного человека. Видный специалист в своей области, он окончил Принстонский университет, получил докторскую степень в Чикагском, десять лет руководил Институтом исследования городских проблем при Пенсильванском университете, был директором Департамента регионального планирования в Гарвардском университете, американским представителем в комиссии ООН по вопросам жилищного строительства и планирования, консультантом госдепартамента и дюжины разных ведомств, комитетов, групп, связанных с проблемами американских городов. Теперь из кабинета на втором этаже Вурстер-холла профессор Уитон руководит крупнейшим в США колледжем, задача которого — исследования «окружающей среды» и подготовка архитекторов, планировщиков, экономистов, public administrators, то есть специалистов, пы-

тающихся упорядочить человеческие клубки в городах, управляемых законами частной инициативы.

Клубки эти все больше запутываются, попытки обуздать стихию все актуальнее, и Уильям Уитон удовлетворен, как человек, избравший в юности малопонятную область приложения сил, а теперь, в годы «кризиса больших городов», убедившийся, насколько удачен был его выбор.

— У одаренных молодых людей все сильнее тяга к социальным наукам,— говорит он.— Ореол, окружавший в послевоенные годы физику, химию и другие точные науки, исчезает. Молодежь идет в социальные науки. Отсюда небывалый интерес и к нашему колледжу.

В 1967 году на четырех отделениях колледжа занималось более 1200 человек — вдвое больше, чем три года назад.

За пульсом американских городов профессор Уитон следит как профессионал.

Лос-Анджелес?

— Планировщики считают американские города хаотичными и рассеянными. Архитекторы находят их уродливыми с эстетической точки зрения. Но проницательные экономисты видят, что они продуктивны, и Лос-Анджелес — наиболее эффективный из всех. Экономическая база Лос-Анджелеса — авиационно-космическая промышленность, электроника и связанные с ними научно-промышленные исследования. Этот бизнес колеблется в зависимости от правительственных контрактов, и весь город находится в состоянии качающегося баланса. У его квалифицированной рабочей силы занятость стабильна, хотя место и даже вид работы могут меняться. Но житель говорит: я готов тратить 30—40 минут, чтобы добраться машиной до места работы, но иметь хороший дом и хорошую работу. В отличие от банковских центров типа Нью-Йорка и Сан-Франциско Лос-Анджелес не обязательно должен быть компактным.

Острые проблемы городов?

— Мы отстаем с жильем. Строим полтора миллиона единиц жилья (дома и квартиры.— С. К.) в год, а нужно строить два миллиона. Надо увеличить правительственные субсидии на жилищное строительство по меньшей мере на пять миллиардов — до 25 миллиардов долларов за двадцать лет. Неважно с общественным транспортом. И есть большие проблемы в развитии и планировании городских центров. Зажиточные жители, как вам известно, бегут из центра в пригороды, потому что в городах тесно, грязно и небезопасно, к тому же растут налоги — они нужны, к примеру, для покрытия расходов на полицию. Но в пригородах жители стонут от высоких налогов на содержание школ, а в городах тот же налоговый пресс все сильнее давит на бедняков, по мере того как уменьшается прослойка более богатых и платежеспособных людей, бегущих в пригороды. Получается, что прогрессивный подоходный налог, взимаемый федеральным правительством, существенно сводится на нет регрессивными местными налогами, которые ущемляют бедных больше, чем богатых.

Современные американские города населены по принципу концентрических расходящихся кругов, причем, вопреки традиционным концепциям, бедняки живут в самом их центре, который загнивает.

Сан-Франциско?

— В Сан-Франциско отчетливо видны эти концентрические круги, как и в районе Большого Сан-Франциско, включающего города по берегу залива. Посмотрите на карту: собственно Сан-Франциско, вдоль залива — Окленд, Беркли, Ричмонд. Во всем районе сейчас 13—14 процентов негров. В Беркли их около 25 процентов, в Окленде — почти каждый третий житель. Так вот, если как бы сдавить залив, то в центре опять окажутся самые бедные жители, селящиеся ближе всего к берегу.

— Власти начали было расчистку трущоб на Фултон-стрит, на других улицах негритянского района. Но сейчас эту операцию замедлили...— профессор прервал объяснение, подбирая точное и нейтральное слово,— из-за расовой ситуации. Куда девать жителей после расчистки? Приходится учитывать их протест. Теперь усилия сосредоточены на оздоровлении и ремонте трущоб.

— С неграми, как вы знаете, проблемы огромные. Идет, например, процесс перемещения судостроительной и обрабатывающей промышленности из собственно Сан-Франциско в Ричмонд и Окленд. Как быть с неграми, работающими на перемещаемых заводах? Другой пример: автосборочный завод «Дженерал моторс» переведен из Ричмонда в зажиточный Фэрмонт. Части рабочих-негров обещали сохранить работу и на новом месте. Но не все хотят уезжать из гетто, где кругом свои, кругом негры. С другой стороны, белых жителей Фэрмонта не устраивает соседство с неграми — из-за расовых предрассудков, из-за возможных убытков вроде падения цен на землю и дома, которое обычно происходит, когда район чисто белый становится смешанным, из-за экстраналогов на школы. Да и в гетто взгляды меняются. Часть негритянских лидеров против интеграции, в ней видят измену расе. Подниматься со дна — так всем вместе, а не в одиночку,— вот растущая в гетто идеология, уже не либеральная, а скорее типа марксистской...

Из шестидесяти специалистов по городскому планированию, которым его колледж ежегодно выдает дипломы магистров, треть — иностранцы. Из иностранцев половина, как правило, оседает в Штатах, на родину не возвращается. Профессор Уи-

тон говорит, что этот факт его не радует, а тревожит, вызывает нечто вроде угрызений совести, хотя прямой его вины и нет.

— Индийцы остаются практически все. Почему? Потому что здесь с такой квалификацией их ждет приличная работа и приличная жизнь. Он сможет найти место на десять тысяч долларов в год. А что ждет его в Индии? Две тысячи долларов в год, отсутствие машины, к которой он здесь привык, и хуже всего — чиновники, с которыми невозможно сладить. В добавление ко всему, по статистике средней продолжительности жизни,— он умрет через двадцать лет. Короче, я решил не брать аспирантов-индийцев, если вижу, что у них нет гарантированной работы на родине. Я не хочу разорять эту страну.

При последних словах он иронически усмехнулся, а я подумал о некоторых истоках американского суперменства. Конечно, не в силах Уильяма Уитона разорять или не разорять Индию, но и через его кабинет тянется каналец «утечки мозгов» в Америку из многих стран капиталистического Запада и «третьего мира». И он волен приоткрывать или закрывать этот каналец. Иностранцам без острого чувства родины, со взглядами индивидуалистов и буржуа, Америка дает много приманок — в виде высоких окладов, в виде хотя бы этой привлекательной игры молодых сил в кэмпусе Беркли, ошеломляющих автострад и сонма машин, прущего отовсюду богатства. Америка манит также полем приложения сил, передовой технической и научной мыслью, зорким вниманием к новым идеям,— ведь новые идеи несут прибыль. За это надо платить моральной изменой, отказом от патриотической ответственности перед своим народом и страной, минутами острой тоски и годами нелегкого приспособления к нормам чужой жизни. Увы, находятся люди,— и, судя по статистике «утечки мозгов», их немало — которые готовы заплатить эту цену за право индивидуально попасть в развитое индустриальное общество второй половины XX века, так как считают, что на протяжении их жизни им не попасть туда вместе со своей страной и своим народом...

Хаос Калифорнии профессор Уитон раскладывал как знакомый пасьянс. Потом я подумал, что этот стратег организует стихию преимущественно в своем мозгу. В калейдоскопической картине, которую пишет частная инициатива, городские планировщики меняют лишь штрихи. В штате Калифорния нет, например, центрального планового органа, регулирующего развитие городов. Мечты Уитона скромны — усилить общественный контроль над городской планировкой, дать местным властям хоть какие-то рычаги регулирования в масштабах «метрополий», примыкающих к большим городам. Это мечта не о прямом административном регулировании, которое Уитон отвергает в принципе, считая, что динамика прогресса лучше всего обеспечивается частной инициативой. Он имеет в виду регулирование при помощи правительственных субсидий — на жилье, на школы, на целесообразное размещение индустрии,— которые смягчили бы сегодняшнее противостояние бедности и богатства и сократили бы растущие запасы социального динамита в городах.

...Вечером я снова отодвигаю занавеску и с восьмого этажа смотрю на кургузые сверху, сплющенные человеческие фигуры, сведенные к головам, плечам и ногам, к солдатским фуражкам и бутсам, к пышным прическам и лакированным сапогам проституток. Опыт по преодолению отчуждения, по образованию непрочных молекул продолжается у «Клуба 219». И я думаю: по какой долгой цепочке должны путешествовать социальные лекарства, прежде чем от профессоров дойдут до уличной проститутки?

■

Границы гетто не демаркированы, а концентрические круги, распирающие Сан-Франциско силой внутреннего напряжения, не имеют, конечно, геометрически правильных очертаний. Дом № 1360 по Турк-стрит вполне приличен и стоит у краешка гетто, а не в клокочущем его эпицентре. В небольшом этом доме помещается доктор Карлтон Гудлетт во всех его ипостасях — врачебный кабинет свидетельствует о профессии медика, а тесные редакционные комнатки — о том, что он издатель и редактор газеты «Сан-Рипортер» — «крупнейшей негритянской газеты Северной Калифорнии». Слово «крупнейшая» не надо отрывать от слова «негритянская»: тираж «Сан-Рипортер» — десять тысяч. Кроме того, доктор Гудлетт — член Всемирного Совета Мира и председатель «Калифорнийской конференции христианского руководства» — филиала «Конференции южного христианского руководства», которая была основана покойным Мартином Лютером Кингом.

У доктора много энергии и мало времени, в чем я и убедился, подойдя к его офису и увидев человека, который уже нервничал возле своей машины и уже опаздывал, так как в нерабочую субботу имел две нагрузки — председателя симпозиума «Черный сегодня» и организатора бойкота телевизионной дискуссии между Юджином Маккарти и Робертом Кеннеди; с утра оба сенатора прилетели в Сан-Франциско со своими свитами, мелькали кометами по его улицам, агитируя избирателей, а в четыре дня должны были встретиться в местной телестудии для получасового ристалища на глазах нации.

Доктор Гудлетт, как, видимо, догадался читатель,— негр, из этой доминанты проистекали его гнев и сарказм в субботнее утро 1 июня 1968 года; оба сенатора охоти-

лись за голосами негров, и, однако, среди трех корреспондентов, которые должны были интервьюировать их на телестудии, не было ни одного с темным цветом кожи. Снова белые будут говорить и спрашивать о неграх. Карлтон Гудлетт хотел выставить негритянские пикеты у телестудии и организовать публичный скандал: пусть-ка они попробуют эти пикеты пересечь...

А пока он сунул меня в свою маленькую обжитую машину и, выпуская часть энергии и гнева через педаль акселератора, помчался в Дейли-сити, где на территории Сан-Францисского колледжа происходил симпозиум «Черный сегодня».

В Сан-Франциссском колледже негритянская прослойка среди студентов больше, чем в Беркли, и очень активна. Они требуют изучения «черной истории», отвергая как фальсификацию ту историю Соединенных Штатов, из которой «выпадают» негры.

В руках у меня программа симпозиума, на ней черные подтеки и черные кляксы, придуманные художником-оформителем, словно стряхнутые небрежной, но сильной рукой,— бесформенные и хаотичные, как хаотично ныне самосознание американского негра. Читаю в программке: «Черный сегодня не тот — не тот, что десять лет назад, шесть месяцев назад, даже не тот, что вчера. Что же значит в этот миг истории думать, как черный, чувствовать, как черный, и быть черным? Считают, что всякий может говорить от имени черных. А вот теперь здесь находятся некоторые из самых известных в стране черных мыслителей — теоретики, преподаватели, студенты, и они сами говорят о себе».

В зале больше черных, чем белых, но это не черные рабочие, а интеллигенты. Доктор Карлтон Гудлетт за председательским столом. На трибуне доктор Натан Хар — красивый молодой негр с сильным лицом, американский негр в голубом африканском одеянии, спадающем с широких плеч,— уже в одежде вызов и разрыв с другой, белой Америкой.

Вызов и в речи.

— Я вижу здесь ряд знакомых лиц,— начинает он, оглядывая зал и выдерживая паузу,— из ФБР, ЦРУ и ККК (Ку-клукс-клана)...

Сокращенные обозначения организаций сыска, шпионажа и мщения произносит с ненавистью.

Вызов в мыслях: доктор Хар делит негров на черных, то есть настоящих, праведных, своих, и на «белых» негров — соглашателей и прислужников господствующей белой Америки, изменивших своей расе.

— Думать — значит жить. Думать, как черный,— значит жить, как черный, и главное поступать, как черный... В детстве мать пугала меня: если будешь пить черный кофе, станешь еще чернее. Так разрушается черное «я»...

Слушая и читая такие слова, я всегда испытывал смешанное чувство симпатии и раздражения: они ультрарадикальны, но эффекта от них не более, чем от заклинаний, ибо словесный радикализм — это лишь очередная форма безнадежности и безвыходности, как, впрочем, и черный расизм.

Но вот другой оратор — Бенни Стюарт, лидер созданного в колледже «Черного студенческого союза».

— Если мы хотим уничтожить нынешнюю Америку, то надо думать: что будет на ее месте? Если мы хотим уничтожить капитализм, то надо думать, какую систему мы создадим...

С доктором Гудлеттом я ехал обратно, в его оффис, кругом был город под безоблачным небом, и мне, гостю Сан-Франциско, мой гид рассказывал о симпозиуме как о новой достопримечательности, пусть не столь известной, как знаменитый мост «Золотые ворота», но отнюдь не менее интересной.

По взглядам он всего лишь либерал, но...

— Видели, как выступают молодые? Они воинственнее, чем я. Но я понимаю их. Только представьте, что ждет в будущем этих молодых черных,— отсутствие работы, дискриминация, оскорбления. Они готовы к мятежам. Умереть для них — легчайший путь.

По материальному положению он обеспеченный буржуа, но...

— Свобода относительна. Я смог использовать возможности этого общества. Но какая свобода у человека, не имеющего работы, дома, средств, чтобы прокормить семью?! А ведь в известном смысле именно этот человек определяет степень и моей свободы.

Они «ограничивают» его свободу, потому что добиваются своей, потому что в общем балансе его свобода, как и свобода мистера Лэмба, достигнута за счет свободы других, а теперь зависит от поведения этих других. Месть обездоленных и порабощенных вырывается огненной лавой социальных подземелий, потрясает и рвет все концентрические круги общества.

Доктор Гудлетт — разумный, просвещенный эгоист, черный либерал, понимающий, что надо торопиться, ибо во весь рост встает вопрос, сформулированный Мартином Лютером Кингом после негритянских мятежей 1967 года: «Куда мы пойдем отсюда — к хаосу или сообществу?»

В оффисе на Турк-стрит его ждала белая секретарша Элеонора — смешливая сухопарая старушка. Доктор не терял ни минуты даром. Стремглав влетев в помеще-

ние, стал диктовать лозунги для пикетчиков. Дело было привычное, лозунги давались ему легко:

— Маккарти и Кеннеди! Пересечете ли вы линию пикетов?

— Никаких дебатов без представительства негров!

— Вам нужны голоса! Нужны ли вам негры?

Элеонора записывала в блокноте, а потом, посмеиваясь над суматошным шефом, принялась за изготовление плакатов на листах ватмана. Маленькая мастерская американской демократии заработала полным ходом.

Доктор Гудлетт засел между тем за телефон. Он звонил в мэрию, в негритянские организации, в штаб-квартиры двух кандидатов, в редакции газет, везде драматически предупреждая, что он, Карлтон Гудлетт, покажет, черт побери, американскую кузькину мать двум именитым сенаторам и сорвет их теледискуссию, которую ждет вся нация. Когда он вешал трубку, гремели ответные звонки. Из мэрии сообщили, что пикетирование разрешено. Газеты интересовались, сколько будет пикетчиков. Гудлетт и сам не знал сколько, но всегда будьте уверены в себе, и он говорил, что около сотни.

Ему явно нравилось быть в некоем центре внимания, а заодно и показать красному репортеру, как это делается в Америке. Сквозь серьезную мину пробивался веселый, почти мальчишеский азарт.

Между тем из-под быстрой руки смешливой Элеоноры один за другим выскакивали самодельные плакаты. Шеф ее все чаще поглядывал на часы: пора было ехать.

Сложив плакаты в кучу, он понес их к машине. Я шел рядом с пустыми руками, подавляя желание помочь этому спешному делу. Я всего лишь наблюдатель и выше вежливости святой принцип невмешательства во внутренние дела другой страны. Внутренние дела в данном случае состояли в пикетировании здания на Маккалистер-стрит, где помещается телестудия Кей-Джи-Оу, сан-францисский филиал телекорпорации Эй-Би-Си. А вдруг какой-нибудь местный «охотник за ведьмами» узрит меня выносящим плакаты из редакции «Сан-Рипортер»? И моему знакомому навесят такой ярлык, что он проклянет июньский день, когда судьба свела его с красным репортером.

На что уж раскован доктор Гудлетт, но и его посетила эта мысль — вот она, телепатия в международных отношениях! Он, правда, подбросил меня почти к отелю «Губернатор», который совсем недалеко от телестудии Кей-Джи-Оу, но, припарковав машину в переулке и взяв плакаты с заднего сиденья, сказал:

— А теперь нам, пожалуй, лучше расстаться. Могут не так понять...

В студию я пришел позднее. Толпа уже заполнила все пространство между полицейскими деревянными барьерами и стеной противоположного дома. Люди плотно стояли и у здания студии, и полицейские берегли лишь проход к дверям, над которым нависали плакаты: «Очистимся с Джином!» и «Бобби — в президенты!»

Я не увидел пикетчиков Гудлетта,— наверно, их было много меньше обещанной сотни.

Мы пробились в вестибюль с помощью своих нью-йоркских пресс-карточек, и там тоже была толчея разных дам и господ и, конечно, журналистов.

— Приехали ли они? — только и слышалось в этой толпе профильтрованных, допущенных людей. Я был у лифта, когда шелест пронесся по толпе, и все головы повернулись в одну сторону и продолжали поворачиваться, пока в двух шагах от меня не возникла из-за этих голов знакомая голова Роберта Кеннеди — с резкими не по годам морщинами на лбу, с опущенными краешками верхних век, под которыми холодно поблескивали светлые глаза. Готовый к быстрой реакции взгляд и, однако, застенчивость улыбки. Рассчитанные жесты человека, который привык «выдавать» себя толпе и быть кумиром многих, хотя про себя, может быть, и не избавился от удивления, что так легко стать кумиром. На нем был темно-синий костюм в белую мелкую полоску — фамильный цвет, цвет Джона Кеннеди. А знаменитый его чуб был тщательно зачесан, как приклеен ко лбу, и оттого на лице сильнее выделялся асимметричный крючковатый нос. Чуб гипнотизировал молодых избирателей, но для старших мог быть доказательством непростительной моложавости сенатора, и потому, взвесив плюсы и минусы этого чуба, его, видимо, решили убрать на период теледебатов. Рядом с сенатором была бледная от беременности и косметики жена Этель, которую в суматохе уже успели задеть плакатом восторженные поклонники.

Толпа ужималась, освобождая сенатору дорогу к лифту. Он повернулся ко мне затылком, и меня поразило, как тщательно — волосок к волоску — был причесан этот узкий затылок.

Но тут вдруг вынырнула из толпы фигурка доктора Гудлетта и заставила Бобби повернуться в профиль ко мне настойчивым обращением: «Сенатор!» Толпа теперь смотрела на обоих, прикидывая, что же может случиться, и самые разные взгляды обежали негра в коричневом костюмчике, среди них и взгляды людей, у которых оттопырены карманы и подмышки и которые в таких вот ситуациях как бы невзначай оглаживают тебя с плеч почти до колен: не надо бижаться, этими оглаживаниями ты платишь за право быть рядом с теми, о ком говорят о н и.

— Сенатор! — снова сказал доктор Гудлетт, и репортеры бесцеремонно оттеснили других людей.— Почему вы не согласились допустить негра за стол дебатов?

Доктор Гудлетт волновался, хотя выглядел небрежным и невозмутимым. Он должен был идти до конца, хотя и знал, что дело не удалось. Теперь нужно было

произнести еще какие-то слова, которые могли бы попасть в телевизионные новости и газетные отчеты. И срываясь с голоса, пуская петуха, он нервно крикнул:

— Вам нужны негритянские голоса, а не забота о неграх!

Все заняло секунды. В этой сценке сенатор должен был доказать быстроту реакции, что он и делал десятки раз на дню. Конечно, помощники уже известили его о возможности пикетов и, наверное, даже заготовили нужные на этот случай слова. И не выдав досады, он что-то ответил Гудлетту, спокойно, не повышая голоса, и еще что-то сказал, чтобы не подумали, что он излишне спешит и хочет уклониться, и только после этого двинулся к лифту, не забыв пропустить вперед свою жену.

— Что он сказал? Что он сказал? — переспрашивали друг друга корреспонденты.

«А как быть с американцами из мексиканцев?» — вот что сказал сенатор. И в его ответе была логика: если допустить негров к столу дебатов, то почему бы не допустить и американцев мексиканского происхождения, которых в Калифорнии не меньше, чем негров? А что, если участия потребуют и другие нацменьшинства?

На третьем этаже в коридоре и в комнатах тоже было людно и шумно. И больше всего нашего брата-корреспондента — не только американских, но и английских, французских, японских, западногерманских, итальянских и прочих и прочих, потому что, хоть и далеко Сан-Франциско, всюду следят за тем, что делается в Америке, особенно в выборный год, особенно с двумя людьми, один из которых — чем не шутит черт и избиратель? — может стать президентом США на следующие четыре года. Нас прикрепили к пресс-свите Юджина Маккарти, так как в комнате, отведенной прессе Роберта Кеннеди, яблоку негде было упасть,— все-таки из этих двух нью-йоркский сенатор считался более вероятным.

Вознесенный над людьми, столами и стульями, тускло отсвечивал с передней стены пустой пока экран цветного телевизора.

Маккарти приехал раньше Кеннеди, оба сенатора скрылись в телестудии, куда допустили всего лишь с пяток корреспондентов.

Экран ожил, все изготовились. На экране возник стол, а за ним, в цвете, два сенатора и три корреспондента Эй-Би-Си — ни одного негра и ни одного из Сан-Франциско — три аса из нью-йоркской штаб-квартиры телекорпорации.

— Добрый вечер,— начал Фрэнк Рейнольдс, главный из трех.

В Сан-Франциско был еще день, но Фрэнк говорил «вечер», и не ошибался. Он обращался к телезрителям на Атлантическом побережье, где был уже вечер. Им программу показывали «живьем», а для Сан-Франциско и всего Тихоокеанского побережья ее записывали на видеоленту, с тем чтобы прокрутить позднее, когда здесь наступит вечер и людей потянет к рычажкам телевизоров.

— Добрый вечер. Сегодня два претендента на пост президента от демократической партии находятся в одной и той же комнате, перед одними и теми же телевизорами и радиомикрофонами, чтобы включиться в обсуждение или, если хотите, споры по проблемам, с которыми американский народ сталкивается в этом году. В следующий вторник на первичных выборах демократы-избиратели Калифорнии отдадут свое предпочтение одному из двух. Оба сенатора баллотируются в этом штате, оба ведут свою кампанию широко и энергично. Мы будем задавать вопросы каждому из кандидатов. Мы разыграли очередность монеткой, и сенатору Маккарти выпало ответить первым. Итак, сенаторы, вы выступаете сегодня перед американским народом и избирателями Калифорнии как кандидаты на пост президента. Если бы вы были президентом, что бы вы сделали для мира во Вьетнаме из того, что не делает президент Джонсон? Сенатор Маккарти?

Сенатор Маккарти потянулся к столу.

— Если бы я был президентом в настоящее время, я бы сделал или по меньшей мере рекомендовал две-три вещи. Я бы деэскалировал войну во Вьетнаме, сократив некоторые наши передовые позиции, хотя и сохраняя силу во Вьетнаме... Я думаю, что следовало бы подчеркнуть следующие важные пункты: во-первых, деэскалация войны, во-вторых, признание того, что мы должны иметь новое правительство в Южном Вьетнаме. Меня не очень беспокоит, будет ли оно называться «коалицией», или «слиянием», или новым правительством иного рода. Но мы должны согласиться, что это правительство будет включать Национальный фронт освобождения. Я считаю это предпосылкой любых переговоров...

— Сенатор Кеннеди?

— Ну что ж, я продолжил бы переговоры в Париже. В то же время от правительства в Сайгоне я ожидал бы переговоров с Национальным фронтом освобождения. Я возражал бы против позиции сенатора Маккарти, если я ее правильно понял,— против навязывания коалиционного правительства властям в Сайгоне, против коалиции с коммунистами еще до начала переговоров... И я бы положил конец операциям «найди и уничтожь», которыми заняты американские войска, и возложил бы бремя конфликта на южновьетнамских солдат и войска. И со временем я бы добивался, чтобы южные вьетнамцы все больше брали на себя бремя конфликта. Я никак не могу согласиться с тем, что здесь, в Соединенных Штатах, мы призываем молодого человека и посылаем его в Южный Вьетнам сражаться и, может быть, умирать,

в то время как в Южном Вьетнаме молодой человек, если он достаточно богат, может откупиться от призыва...

— Ловкий парень,— громко пробормотал кто-то в нашей комнате, выставляя оценку первому раунду. Сенатор от штата Нью-Йорк, пожалуй, выиграл очко. Оба высказались за деэскалацию войны, но Кеннеди подошел к делу практичнее: войну сразу не кончишь, никакой американский политик не пойдет на «капитуляцию», и пусть помирают вьетнамцы — ведь это их война в конце концов, но важны экстренные меры, чтобы спасти американские жизни, чтобы немедля сократить американские потери. Нужна «деамериканизация» войны. Гробы в звездно-полосатой драпировке, транспортируемые самолетами и судами через Тихий океан для погребения на национальных кладбищах,— вот что больнее всего задевает американцев. Свежих могил все больше, и здесь, в Сан-Франциско, каждый день вскрывают землю на военном кладбище возле моста «Золотые ворота»...

Пятеро за столом продолжали свой разговор спокойно и даже небрежно, но для двух это было ристалищем, проверкой выдержки, зрелости, опытности — они бились за президентство в ядерно-ракетно-электронный век.

В нашей комнате разношерстная судейская коллегия корреспондентов выставляла очки, в общем-то деля их поровну. Оба сенатора физически привлекательны. Оба католики, с ирландскими предками. Свою заявку на Белый дом Кеннеди подкрепляет тремя годами деятельности в Национальном совете безопасности и на посту министра юстиции, Маккарти — двадцатью годами в конгрессе. Оба критикуют Линдона Джонсона и его вьетнамскую авантюру. Состязаются в этой критике, и Кеннеди доказывает, что он начал критиковать Джонсона раньше своего оппонента, а Маккарти, напротив, утверждает, что у Бобби рыльце в пушку, так как первые шаги во вьетнамское болото были сделаны при Джоне Кеннеди и не без участия Бобби, который, помнится, был тогда министром юстиции и ближайшим советником брата-президента. Однако оба парламентски вежливы. Оба, конечно, за гражданские права негров, но против мятежей,— за закон и порядок. Оба за продажу Израилю пятидесяти истребителей «фантом»: ведь избирателей-евреев несравненно больше, чем избирателей-арабов. Оба против того, чтобы Соединенные Штаты были «мировым полицейским» — хватит одного Вьетнама! — но, однако, за некую разумную верность Америки ее «глобальным обязательствам».

Кеннеди более цепок и расчетлив, но, в общем, оба — политические эквилибристы и сейчас на канате перед 25-миллионной аудиторией. Симпатизируют черным, но так, чтобы не отпугнуть белых, агитируют Смита, но так, чтобы Браун не разобиделся и чтобы Джонс не подумал, что его взглядами пренебрегли.

Великая загадка блещет в бесстрастных зрачках телевизионных камер: ни один из сенаторов не знает, сколько голосов он выиграл в этой дискуссии и сколько, не дай бог, проиграл. А джонсы, брауны и смиты на диванах своих гостиных, с субботними пивными банками в руках? А их жены и непослушные взрослые дети? Могут ли они, просидев час у телевизора, решить, кто лучше, сделать свой выбор, определить для себя победителя и побежденного?

Минул час, телеэкран без секунды передышки перешел к другой программе. Из прокуренной комнаты корреспонденты кинулись в коридор к телефонам, к столам, к которым подносили одну за другой страницы стенограммы. В соседней еще более прокуренной комнате, где размещалась «пресса Кеннеди», стоял в окружении коллег обозреватель «Нью-Йорк таймс» Том Уикер, один из счастливчиков, допущенных в саму студию, где проходили дебаты. Заглядывая в блокнот, он делился кое-какими деталями. Том Уикер — серьезный и умный журналист, но и мелочи идут в дело. У Маккарти, сообщил он, был легкий грим, Кеннеди обошелся без грима. Маккарти держал себя непринужденнее, но зато пил воду, когда телекамеры переключались на его соперника. Кеннеди чувствовал себя стесненнее, но до воды не дотрагивался.

— Том, как оба парня оценили результаты дебатов?

И это было в блокнотике у Тома. Кеннеди сказал, что, на его взгляд, дискуссия была прекрасной, но что трудно сказать, как она отразится на итогах выборов,— «это предстоит решить избирателю». «Я не собираюсь анализировать, как я сыграл свою роль»,— ответил Маккарти.

Я тоже слушал Уикера, но знал, что мою газету не интересует ни легкий грим на лице Маккарти, ни нетронутый стакан воды перед Кеннеди, ни вообще наделавшие шуму телевизионные дебаты. Значение событий меняется с расстоянием, при пересечении государственных границ: что велико в Сан-Франциско, бывает незаметно в Москве.

...На следующий день мои спутники расстались с Сан-Франциско, а я задержался еще на четыре дня, чтобы передать отчет об итогах калифорнийских выборов.

Читателю не догадаться о переживаниях корреспондента, который уже две недели ничего не посылал в свою газету. В киоске на углу я накупал с утра и вечером газет и журналов, загодя готовясь к двум-трем своим страничкам о первичных вы-

борах. В Сан-Франциско происходила масса событий, но два сенатора — пришельцы из других штатов,— почти круглосуточно бодрствуя в лихорадочные последние дни, теснили всех и вся на страницах калифорнийских газет, на телеэкранах, в эфире, даже на заборах и стенах домов. Они не жалели энергии и денег, чтобы встряхнуть калифорнийцев в возрасте от 21 года и выше, зарегистрированных демократами (их было 4 347 406), ибо от этих калифорнийцев зависела политическая судьба двух сенаторов. Победитель получал в свое распоряжение 174 делегата, которых штат Калифорния посылает на съезд демократической партии.

Правда, знатоки были почти единодушны в том, что эта калифорнийская суета в принципе ничего не даст ни Кеннеди, ни Маккарти и что на съезде в Чикаго демократическим кандидатом в президенты все равно изберут Губерта Хэмфри, у которого, как у преемника Джонсона, была под контролем партийная машина в большинстве штатов. Но тактика двух сенаторов, и особенно Роберта Кеннеди, заключалась в том, чтобы утвердить репутацию «собирателя голосов» и любимца избирателей и тем самым навязать свою кандидатуру партийным боссам. Кеннеди одержал верх над Маккарти на первичных выборах в штате Индиана, но последние первичные выборы — в штате Орегон — принесли победу Маккарти. Теперь, по данным опросов, Кеннеди лидировал в Калифорнии, однако, чтобы снять шок орегонского поражения, ему нужен был по-настоящему большой перевес над противником.

Он даже прибегнул к шагу отчаянному, намекнув, что вообще выйдет из игры, если Калифорния окажется неотзывчивой. Саркастичный Маккарти назвал это «угрозой ребенка не дышать, если вы его не ублажите».

Кандидаты предлагали себя, как любая корпорация предлагает свой продукт, а выражаясь точно по-американски,— п р о д а в а л и себя избирателю — свой облик, взгляды, биографию, обещания, жену и детей, религию, родословную. Но кто купит продукт без рекламы, кто вообще узнает о его существовании в стране, где так много самых разных продуктов? Разумеется, обоих знали — больше Кеннеди и меньше Маккарти, но нужна была неустанная реклама, чтобы удерживать себя в сознании занятого американца. Нужны были деньги на эту рекламу.

И деньги лились рекой, и у Кеннеди река эта была куда как полноводнее. В газетах писали, что кампания в Орегоне стоила Маккарти триста тысяч долларов, Кеннеди — четыреста тысяч. В большой Калифорнии Маккарти, вернее, его доброхоты и политические меценаты истратили не меньше миллиона долларов, а Кеннеди, как писали,— больше двух миллионов, причем многое из собственного кармана. Лучшие, вечерние, куски телевизионного времени в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе шли по цене более двух тысяч долларов в минуту, и Роберт Кеннеди вовсю закупал их. Телевизор в номере «Губернатора» на разных своих каналах не расставался с нью-йоркским сенатором — с десяток раз в день передавали его получасовой агитфильм.

К большим деньгам всегда обостренное внимание. Многие протестовали против «парового катка», которым средний брат хотел раздавить сенатора от Миннесоты, подобно тому как старший брат Джон раздавил в 1960 году другого миннесотского сенатора — Губерта Хэмфри на первичных выборах в Западной Виргинии. Критики услышали ответ от матери Роберта — Розы Кеннеди, неожиданно агрессивный в устах семидесятивосьмилетней матроны: «Эти деньги наши собственные, и мы вольны тратить их как хотим. На то он и есть, избирательный бизнес. Когда имеют деньги, их тратят, чтобы победить. И чем больше их у вас, тем больше вы тратите».

И, однако, по всем данным, сыну бостонского мультимиллионера должны были помочь голоса бедняков — негров, мексикано-американцев и других. Он был популярен среди этих пасынков Америки, энергично апеллировал к ним и сумел убедить их, что он искренне им сочувствует. Его тепло встречали в гетто, на митингах мексиканцев-издольщиков, в индейских резервациях. И он клялся искоренить бедность в Америке и покончить с несправедливостью.

Маккарти акцентировал свою независимость и принципиальность: «Человек против машины». Студенты, выдвинувшие его на предвыборную авансцену, пришедшие к нему добровольными агитаторами, скандировали: «Очистимся с Джином!» Его поддерживали многие из «среднего класса» и среди интеллигенции, люди науки и искусства. Философ Эрих Фромм поместил в газете «Сан-Франциско кроникл» платный призыв голосовать за Маккарти: «Иногда избиратель голосует, чувствуя, что у кандидата есть убеждения, то есть, что его слова идут не просто от головы, что они для него органичны, что у него есть тот стержень, который способен противостоять соблазнам оппортунизма. Я вижу этот стержень в сенаторе Маккарти». В сан-францисской штаб-квартире Маккарти, разрываясь между телефонами и студентами-добровольцами, некий мистер Холстингер горячо убеждал меня, что Маккарти — «глоток свежего воздуха», «обещание реальной перемены» и «символ того, что молодежь ищет в обществе». Мистер Холстингер торговал школьной мебелью, но война во Вьетнаме так возмутила его, что, передав заведение партнеру, он посвятил все свое время и энергию сенатору от Миннесоты.

В общем-то, разговаривая с калифорнийцами, в том числе и с политиками-профессионалами, я не видел чрезмерного ажиотажа вокруг выборов. Но в газетах гремела канонада. Известный обозреватель Джеймс Рестон, путешествуя в то время по Калифорнии, писал: «Голоса по радио, дискуссии в университетах и предвыборные

речи — все хотят исправить что-то или что-то улучшить. Ежеминутно нас побуждают перейти к машине марки «крайслер» или на сторону Кеннеди, покончить с дистрофией мускулов или «Очиститься с Джином». У каждого «новая идея», и все — от Генри Форда до Ричарда Никсона — призывают нас «увидеть свет»... Что бы ни говорили об Америке сегодня, она берется за великие вопросы человеческой жизни. Она спрашивает: в чем смысл всего этого богатства? Является ли бедность неизбежной или ее нельзя долее терпеть? Какую Америку хотим мы видеть в конце концов? И в каких отношениях с остальным миром?»

Для многих это было время самокритичных вопросов и больших надежд, но кончилось оно так, как предвидели хладнокровные, не поддающиеся экзальтации прогнозисты, а именно — выбором между Ричардом Никсоном и Губертом Хэмфри, и в ноябре он был сделан в пользу первого.

■

Этот день запомнился, и я хочу рассказать о нем подробнее.

На календаре обычном был вторник 4 июня 1968 года.

На политическом — долгожданный день выборов в штате Калифорния.

А на дворе был просто ненастный день. С утра Великий океан нагнал нелетних туч над Сан-Франциско, и нудный дождичек, подхлестываемый ветром, кропил посеревшие улицы, сочился как некие водяные часы, словно природа с тайным своим умыслом раздробила и замедлила течение времени, намекая, что дню быть долгим.

Но как долгим?

После пяти вечера показалось мне, что день пошел на убыль. В пять вечера увидел я черный тусклый блеск парабеллума, который вдруг извлек из-под бушлата дюжий паренек, чтобы прихвастнуть и г р у ш к о й перед своей милой девушкой. Этакий безусый сосунок... Снисходительное словцо, правда, пришло мне на ум с запозданием, а не тогда, когда в приглушенном свете серого дня игрушка испускала вокруг свои матово-вороненые отсветы. Ведь может заворожить тусклый блеск парабеллума в руках незнакомца, да еще и в незнакомой квартире, да к тому же в городе, который тоже не очень знаком.

Но отсветы были без вспышек.

И впечатления вроде бы пошли на убыль, а с ними и странный день. Когда же — по календарю — положено было ему кончиться, он невиданно продлился. Бурно состыковался с ночью, «упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного». Ибо в полночь другой человек не в безвестной сан-францисской квартирке, а как бы на глазах всего мира тоже повстречал молодого незнакомца с пистолетом. И случились не отсветы, а вспышки, и человек упал — как бы на глазах всего мира...

Впрочем, по порядку.

Утром я сел в автобус и по Фултон-стрит, мимо лавок негритянских старьевщиков отправился в сторону парка «Золотые ворота» на Хейт-стрит — в «мировую столицу хиппи».

И на Хейт-стрит, застроенной невысокими и неновыми домами, обитатели не признанной в ООН столицы, не смущаясь моросящего дождя, по-американски экстравагантно явили себя длинными нечесаными волосами, босыми ногами, библейскими хламидами и мексиканскими пончо на плечах, глухими сюртуками а-ля Джавахарлал Неру, декоративными мини-веригами с брошами на гладких столбах юношеских шей. Ярко выраженный — долговечный ли? — подвид. Своеобразная партия протеста.

Они были красивы, во всяком случае на первый взгляд, красивы той силой жизни, которая сопровождает молодость, но они претендовали и на значительность. Своими молодыми бородами и библейскими хламидами они замахивались на титул вероучителей и пророков, и тут-то возникал критический вопрос об их мандате и полномочиях.

Парень лет двадцати трех стоял в нише одного подъезда, грациозно касаясь стены плечом. Лицо супермена с телеэкрана — твердый красивый подбородок, прямой римский нос, красивый овал лица. Очень отстраненно стоял парень, смотря куда-то вдаль, и это мешало мне заговорить с ним. Колеблясь, я разглядывал соседнюю витрину, за стеклом которой красовались сверхдобротные тяжелые сапоги — удачная копия с оригинала прошлого, а может, и позапрошлого века, и сыромятные сандалии, тоже тяжелые и тоже удачные, потому что такими, наверное, и были они на ногах библейских пастухов у берегов Мертвого моря и в междуречье Тигра и Евфрата. И парень, величественный, как проверенный временем товар в витрине, сокращал меня в размерах до сегодняшнего суетного дня.

Два хиппи прошли мимо. Негромко, как пароль, парень бросил им какое-то словцо. Из рук в руки перекочевала сигаретка. Он долго чиркал спичкой, отвернувшись в глубину подъезда, а когда снова возник передо мной красивый профиль, я встал на ступеньку и сказал:

— Я иностранный газетчик. Хотел бы задать несколько вопросов.

И тогда он медленно повернулся ко мне, посмотрел на меня невидящим дымчато-пустым взглядом серых глаз. И не ответил.

— Я иностранный газетчик...

Но взгляд оставался таким же прелестно-дымчатым и пустым.

— Эй, приятель, я иностранный газетчик...

Парень плыл по своим, строго индивидуальным, закодированным, не поддающимся подслушиванию волнам наркотического транса.

«Turn on, tune in and drop out» — «Включись, настройся и выпадай». Включись и настройся — посредством наркотиков — и выпадай из презренной реальности. Формула хиппи, не без насмешки позаимствовавшая технический жаргон времени.

Я оставил его в странном покое и пошел дальше по Хейт-стрит. Американские мощные машины шелестели по мостовой. Американские пожарные гидранты чугунно торчали на бровках тротуаров. Американские универсальные аптеки — драг-стор перехватывали покупателей на перекрестках. Но американские парни и девушки, одетые под индийских дервишей и гуру, под африканских негров и русских мастеровых начала века, отрицали свою страну.

Небольшая лавка называлась «Дикие цвета» — кооперативная лавка художников-хиппи. Огромные, в полматраца подушки отзывались в сердце сладкими картинками детства под эгидой бабушки, от ярчайшей желто-фиолетово-красной пестроты наволочек исходила нирвана Востока. Громадные витые свечи отменяли электросвет и посягали на мебель, ибо место таким царственным свечам на полу, у царственных подушек. Переливающиеся калейдоскопы психоделических плакатов посягали одновременно на телеэкран и живопись. Гроздья цепей и бус, цветастые пледы, грубошерстные платья, сувениры, сделанные здесь же, на Хейт-стрит, а не в Японии, которая поставляет Америке сувениры об Америке, томительный аромат восточных благовоний — все это бросало дерзкий вызов конвейерной продукции.

Юный продавец был худощав и белокур, длинные волосы подобраны сзади, как у дьячка. Голосок тонкий и деликатный, интонации мучительно искренние. Черты лица еще не отвердели. Неоперившийся птенец. Четыре года назад покинул папу-маму в Нью-Йорке и не вернулся в родительское гнездышко. Впрочем, что удивительного? Приходит время покинуть гнездо, сохранив к нему любовь и уважение. Но нет любви у нашего птенчика. «Мама — писатель»,— сообщает он. О папе неохотно и стыдливо: «делает деньги». Обычная родословная хиппи. Профессию папы не уточняют, ибо существенно папино призвание — делать деньги.

Чему может научить папа, делающий деньги? Умению делать деньги. И катится колесо из поколения в поколение, как в той песенке о красивеньких домиках на склонах холмов, «маленьких боксах, где жизнь как тиканье ходиков»:

Маленькие домики все одинаковы —
Зеленые и розовые, голубые и желтые;
И во всех: тик-так-тик-так...
И люди из этих домиков поступают в университет,
Где их тоже помещают в боксы
И выпускают одинаковыми —
Докторами, адвокатами и бизнесменами.
И все они тикают: тик-так-тик-так...
Все играют в гольф
И пьют «драй мартини»,
И заводят хорошеньких детей,
И дети попадают в школы,
А потом в университет,
Где их помещают в боксы,
Чтобы выпустить совершенно одинаковыми.
Тик-так-тик-так...

Идиллия?! А чем, действительно, не идиллия? Чем не мечта? Вдруг лопается этот обруч, такой убедительно прочный на вид — мечта миллионов, щелкает катапультой, и от папы, делающего деньги, приземляется наш беглец на Хейт-стрит, среди диковинных подушек, до которых не дотянулось воображение мамы-писательницы.

Какие странные и, однако, привычные речи слышу я в лавке «Дикие цвета» из уст парнишки, рассказывающего о рецептах Марио Савио.

— Марио Савио говорил,— вторит мой хиппи словам Заратустры из Беркли,— что молодежь превращают в машины, а раз так, то надо сломать в себе механизм, чтобы он не работал. Наделайте дырочек в этих перфокартах, говорил Марио Савио, и к чертовой матери сломайте весь этот процесс. Самые решительные из нас ломают нечто в самих себе, просверливают, так сказать, дырочку в собственном организме.

Какого рода дырочку? Выбор, откровенно говоря, невелик — наркотики. Ведь если ты не на марихуане, а на героине, это всерьез, это навсегда. Путь к отступлению, назад в общество отрезан.

Так говорил паренек из лавки «Дикие цвета», заговорщически наклонясь ко мне, и в голосе его была не бравада, а отчаяние. Что же клубится в молодом мозгу и каким же ненавистно всесильным должно быть общество, если готов он на фактическое самоубийство, лишь бы нарушить тикающие ходики бессмысленной, хотя и благополучной жизни?

— А недавно так же неожиданно, как вы, пришли сюда трое черных парней,— продолжал паренек.— И приставили мне нож к груди. Странное было ощущение. Странное... Ведь я, можно сказать, пожертвовал карьерой, чтобы участвовать в движении за гражданские права. А они пришли — и нож к груди.

Он и тогда, торопясь, желая опередить этот нож у груди, прошептал им о своих симпатиях. Они выслушали и язвительно посмеялись, но не тронули нашего хиппи и не взяли ничего, кроме такой вот штучки. Отомкнув стеклянную витрину над прилавком, паренек извлек латунную брошку — значок Олдермастонского марша, популярный символ сторонников мира и ядерного разоружения.

— Почему же они взяли именно эту штучку?

— Мне кажется, это был символический жест...

Трое черных пощадили его, но, изъяв символ мира, жестоко намекнули, что не будет мира и здесь, среди обманчивой вольницы Хейт-стрит, пока рядом лежит гетто.

Теперь он думает: а не бросить ли все к черту — и эту лавочку, и эту страну? Не податься ли в Мексику, благо она недалеко и граница открыта?

Купив фотоальбомчик, в котором танцующие хиппи с гавайскими гирляндами цветов на шеях, не утратив экзотичности, выглядели коммерчески приемлемыми для среднего американца, я пожелал удачи новому знакомому и отправился туда, откуда, как грозное напоминание о другом мире, явились трое с ножом — в негритянское гетто.

И вскоре дорожными указателями возникли на стенах домов портреты Мартина Лютера Кинга — следы долгого траура по человеку, мечтавшему о братстве черных и белых в условиях равенства.

Накрапывал дождь, улицы были безлюдны и почти безмашинны...

Начиналась Филмор-стрит — центральная, прямая, как меч, улица гетто. Началась другая, так сказать, песня, другой протест — не отпрысков буржуа, а детей обездоленных. И на стенах домов у Мартина Лютера Кинга появились соперники. Портреты «апостола ненасилия» соседствовали с портретами людей, которые говорили о том, что только насилие может излечить Америку. Под портретом Стокли Кармайкла, неистового юноши с шоколадным красивым лицом, стояла вызывающе дерзкая подпись: «Премьер-министр колонизированной Америки».

Еще один черный парень глянул с портретов. Опоясанный патронташами, с винтовкой между колен, он сидел в кресле: «Хью-Ньютон — министр обороны колонизированной Америки». От его позы, кресла, похожего на трон, винтовки вместо скипетра веяло вызывающе озорным, почти потешным и отчаянно ррреволюционным.

И, наконец, во множестве пошли портреты девушки с тонким красивым лицом и по-детски насупленными бровями: «Кэтлин Кливер. Баллотируется в 18-м округе в ассамблею штата как кандидат «партии мира и свободы». Она же кандидат партии «черные пантеры». Вписывайте Кэтлин Кливер в свои бюллетени!»

К этой-то девушке я и спешил на свидание — в дом 1419 по Филмор-стрит, в штаб-квартиру «черных пантер». На деловое свидание. Красивая девушка была замужем. Элдридж Кливер, талантливый журналист и писатель, а также «министр информации» того же правительства, сидел в тюрьме, обвиненный в покушении на полицейского. А в сан-францисских магазинах продавалась его книга «Душа на льду», сборник гневных эссе, плод предыдущей тюремной отсидки.

«Чего мы хотим!

1. Мы хотим свободы. Мы хотим власти, чтобы определять судьбу черных.
2. Мы хотим полной занятости для нашего народа.
3. Мы хотим прекращения грабежа белым человеком нашего черного населения...
7. Мы хотим немедленного прекращения полицейских зверств и убийств черных...
10. Мы хотим земли, хлеба, жилья, одежды, справедливости и мира.

Во что мы верим!

1. Мы считаем, что черные не будут свободны до тех пор, пока они лишены возможности определять свою судьбу.
2. Мы считаем, что федеральное правительство обязано дать каждому человеку работу или гарантированный доход. Мы считаем, что если белые американские бизнесмены не обеспечат полной занятости, то средства производства нужно взять у бизнесменов и передать общественности с тем, чтобы каждая община могла организоваться и дать всем своим членам работу и высокий уровень жизни.
3. Мы считаем, что это расистское правительство ограбило нас, и требуем теперь выплаты давнишнего долга в сорок акров и два мула каждому. Сорок акров и два мула были обещаны сто лет назад как возмещение за рабский труд и массовое истребление черных людей. Мы примем эту плату в деньгах, которые будут распределены среди наших многих общин. Немцы выплачивали возмещение за геноцид против еврейского народа. Немцы истребили шесть миллионов евреев. Американский расист уничтожил свыше пятидесяти миллионов черных людей, и потому, с нашей точки зрения, мы предъявляем скромное требование...

6. Мы считаем, что черных людей нельзя заставлять сражаться в рядах армии ради защиты расистского правительства, которое не защищает нас...
7. Мы считаем, что со зверствами полиции в черных общинах можно покончить путем организации черных групп самообороны, в задачу которых входит защита черных общин от угнетения и произвола полиции. Вторая поправка к конституции Соединенных Штатов дает нам право носить оружие. Поэтому мы считаем, что все черные должны вооружаться в целях самообороны».

Вот коренные пункты из программы «черных пантер». Вот почему их травят в буржуазной печати, обвиняют в терроризме, преследуют и даже убивают, хотя сами «пантеры» уверяют, что никогда не нападают первыми, как и их «прототип», что лишь настаивают на праве вооруженной самообороны, защиты от зверств и преследований полиции.

...Первую «пантеру» я увидел у двери дома 1419 по Филмор-стрит. На молодом негре был кастровский берет, пятнистые штаны парашютиста и черная кожаная куртка, перепоясанная широким белым ремнем, как у военного полицейского. На ремне дубинка. Не кустарная самоделка, а фабричный продукт высокого качества, освобожденный от трещин и сучков, молодой и упругий — минимальная заявка на власть и силу за дистанцией кулака.

Я вошел и неткнулся на клинки взглядов. И я попытался отвести эти клинки, взглядом же ответив им, что намерения мои самые мирные, не более чем доброжелательное любопытство. Взгляды по-прежнему кололи меня, ведь есть и любопытство зевак в зоопарке.

Кэтлин Кливер была почти светлолицая, контур подбородка не негритянский, губы тонкие, но демонстративным стягом расы венчала лицо широкая, как папаха горца, копна жестких черных, мелко курчавых волос. Кожаная куртка с круглым значком «Освободите Хьюи». Черные высокие сапоги. Обилие черного искупало неожиданно светлое лицо и серые глаза предводительницы «черных пантер». Удивленно-веселое, почти детское выражение как бы по забывчивости часто являлось на ее лицо.

Дела, однако, не ладились у юной кандидатки «партии мира и свободы». С утра газеты сообщили, что Кэтлин Кливер — самозванка, что она не зарегистрирована в ассамблею штата от 18-го избирательного округа и что голоса, поданные за нее, пропадут, будут признаны недействительными. Кэтлин избегалась по телестудиям и редакциям, доказывая, что зарегистрировалась с соблюдением всех формальностей, внеся положенные 160 долларов. Но всюду был вакуум, как на безвоздушной Луне, где нельзя ведь услышать простой, так сказать, натуральный человеческий голос, а астронавты, даже стоя рядом, разговаривают по радио; такая особая связь была в день выборов у политиков, не посягающих на устои, а голос «черной пантеры» не доходил до избирателя без усилителей телевидения и газет.

Итак, извинившись, Кэтлин исчезла по своим делам. Я разглядывал помещение. На Филмор-стрит от общества открещивались не вещами, как на Хейт-стрит, а героями, портретами Хо Ши Мина, Че Гевары, Фиделя Кастро. Из центра сан-францисского черного гетто тянулись нити — пусть скорее эмоциональные, чем осознанно политические,— к тем районам планеты, где обломалась о базальтовые камни сопротивления американская империалистическая коса.

Вернулась Кэтлин. Со стены воспаленными глазами смотрел на свою жену бородатый Элдридж Кливер.

— Мы меряем свою силу масштабами оппозиции и степенью поддержки. И та и другая растут,— говорила она мне.— Черная община хорошо нас поддерживает, так называемая большая пресса проклинает. Главная наша задача — организация и организованность....

Разговор все время прерывали.

— Поедемте ко мне домой,— предложила тогда Кэтлин.

В ее квартире, простой и чистой, тоже висели портреты революционных героев и разговаривала по телефону миловидная, небрежно босая белая девушка — меня порадовало, что знакомства Кэтлин опровергали газетные суждения о расовой нетерпимости «черных пантер». И снова воспаленными глазами смотрел на жену Элдридж Кливер, на этот раз с обложки книги «Душа на льду». Подойдя к стеллажам, я обнаружил Достоевского — «Записки из подполья», «Преступление и наказание».

— Самый мой любимый писатель,— отрекомендовала она Достоевского и, улыбнувшись, добавила: — За исключением, конечно, Элдриджа.

Я принял похвалу великому соотечественнику.

— Он лучше всего раскрыл душу western man,— убежденно сказала Кэтлин.— Все другие не добавили ничего существенно нового.

— Но не слишком ли он безнадежен?

И тогда Кэтлин взяла Достоевского под свою защиту и сказала мне с вызовом и упреком:

— А разве есть надежда на western man?

Western man — «человек Запада», а по смыслу, который Кэтлин вкладывала в эти слова,— человек, искалеченный антигуманистической буржуазной цивилизацией. Достоевский убеждал предводительницу «черных пантер», что ее взгляд на Америку правилен.

Между тем длинноволосая белая девушка, оторвавшись от телефонной трубки, сообщила Кэтлин еще одну неприятную новость: у входа в соседний избирательный участок стоит полицейский и призывает избирателей не голосовать за «партию мира и свободы», так как это коммунисты.

Чертыхнувшись, Кэтлин направилась к двери, сказав мне взглядом: видите? Какие же могут быть надежды на western man?

Защелкал лифт, и я остался в одиночестве с девушкой, опять ушедшей в телефон. Глядя, как дождевые капли мягко касаются стекла, я подумал, что, видимо, ничто большое, истинное, подвижническое не проходит даром — ни отчаянный героизм Че Гевары, ни великая боль Федора Достоевского, что ветры, гуляющие по миру, несут семена через континенты, годы и даже поколения и дают неожиданные всходы в самых неожиданных местах.

А потом раздался звонок. Открыв дверь, я увидел дюжего белого — я вынужден отмечать цвет — парня. А он увидел незнакомца наедине с девушкой — его девушкой, как вскоре догадался я, и тень подозрения мелькнула на его добродушном лице. Я постарался стереть ее, приняв прежнюю позу ожидания. В этой квартире люди не представлялись друг другу с первых слов, как принято в Америке.

Теперь нас было трое. Девушка оставила трубку в покое. Он стоял возле телевизора, бережно обложотясь на хрупкое сооружение. Она повернулась к нему, выпрямившись на стуле, откинув на спину длинные прямые волосы, поглаживая пол босыми ступнями красивых ног. Они вели деловой скептический разговор о выборах и в присутствии третьего хотели выглядеть по-взрослому умудренными, но под верхним слоем их разговора так очевиден был другой, глубинный слой. Словами они нежно касались друг друга, как касаются пальцами влюбленные.

Она прервала разговор минимальным испытанием своей власти — поручением пареньку сходить за сигаретами. И тогда он — не в силах более терпеть — расстегнул куртку и вытащил черный новенький парабеллум. С ним-то, видимо, и спешил он к девушке, им-то и хотел похвастаться.

Вдруг нас стало четверо в комнате, и от четвертого исходили матово-вороненые блики, а трое молча смотрели на них, пытаясь расшифровать будущее — с такой штукой течение будущего может быть драматичным и прерывистым.

Не скрою, мне стало не по себе. И не только потому, что не удержишь ведь внезапно выпрыгнувшую на поверхность сознания мысль: а что будет, если поблескивающий зрачок парабеллума повернется в твою сторону? Но и потому, что не полагалось мне, иностранцу, присутствовать при такой вот тайной демонстрации оружия.

Паренек нарушил молчание.

— Ничего игрушка, а? — сказал он голосом нарочито небрежным и задыхающимся от волнения.— Хороша на полицейских, а?

И передал парабеллум недрогнувшей девушке, которая положила его возле телефона.

— Подержи-ка, пока я за сигаретами сбегаю!

Ему хотелось и похвастаться и г р у ш к о й и хоть на миг освободиться от ее страшной тяжести.

Чем могла запропавшая Кэтлин дополнить это внезапное интервью парабеллума? Когда паренек вернулся с сигаретами, я стал прощаться. Он вызвался подбросить меня до гостиницы. Прощально мигнув отблеском ствола, парабеллум исчез в недрах его куртки. Мы спустились на улицу, к грузовичку паренька.

По дороге он рассказывал о себе, о верфи, на которой работает, о «сукиных сынах» из профсоюза, которые кричат о патриотизме, оправдывая вьетнамскую войну, и о том, что есть все-таки, да, есть кое-какие боевые ребята, и число их растет.

— Они думают, что мы так и будем все время сидеть у телевизора. Черта с два!

И исчез, махнув на прощанье горячей молодой рукой и оставив в моем мозгу этакое «ну и ну».

■

Простившись с пареньком, я остался наедине с тревожными впечатлениями и с корреспондентской нагрузкой на вечер — надо было сообщить в газету об итогах калифорнийского состязания Юджина Маккарти и Роберта Кеннеди.

Парабеллум, конечно, искушал; вот о нем бы и написать?

Но свидетельства эксцентричных Хейт-стрит и Филмор-стрит опровергались Америкой большой, основательной, кондовой.

Видишь ли ты испуг хиппи или опасный порыв паренька с парабеллумом на этих улицах, где люди идут и едут по своим делам, куда, простившись с пареньком, и ты вышел, чтобы остудить разгоряченную голову? Их нет и в помине.

Все было спокойно в подвальном немецком ресторане, куда я зашел подкрепиться. Сидели за столиками мужчины, не в кожаных куртках, а в пиджаках, не длинно-

волосые и совсем не испуганные, а спокойные и уверенные в себе. И уж конечно не о потрясениях и революциях думали их спутницы. Хозяин настраивал телевизор, чтобы клиенты могли следить за шансами Бобби и Джина, не спеша расплатиться.

В злачных окрестностях отеля «Губернатор» уже вышагивали независимо по тротуарам черные и белые проститутки в мини-платьицах, а в холлах дешевых пансионатов покорные старики заняли свои места у окон, провожая июньский день, безучастно глазея через стекла на улицу, утверждая с вольными девицами принцип мирного сосуществования на основе полнейшего равнодушия друг к другу.

И дождь иссяк к вечеру.

Запасшись сигаретами и банками с кока-колой в мексиканской лавчонке на углу, я уединился в номере гостиницы, поглощенный заботой о двух-трех страничках.

И в восемь тридцать вечера на телеэкране появился мой помощник и вечный спутник в Америке — Уолтер Кронкайт, главный поставщик и координатор новостей по каналу Си-Би-Эс, без которого, как шутили позднее, во время лунной эпопеи «Аполлона-11» вдвойне пусто и одиноко даже в космосе.

Возгордясь, я назвал его своим помощником, а он как бог — вездесущий, всевидящий, всезнающий. Всем доступный и имеющий доступ ко всем, и к чему мелкие примеры, если видел я, как отчаянные репортеры Кронкайта уздой накидывали шнурочек портативного микрофона на шею самого президента США и тот на разделенном по такому случаю экране представал пред Уолтером, дирижировавшим освещением событий из своей маленькой студии на 57-й стрит Нью-Йорка. И был доволен, ибо почти половина всех американцев знает Уолтера Кронкайта — больше, чем кого-либо из супердержавы прессы и телевидения, а его вечернюю программу новостей слушают не меньше двадцати миллионов телезрителей — учтите, это при восьми работающих телеканалах. Не найдешь такого политика, которому не было бы лестно — и полезно для карьеры — показаться в программе Уолтера.

Итак, устроившись перед телеэкраном, я вызвал дух Уолтера Кронкайта, и он материализовался в облике пожилого несуетливого джентльмена с солидными усиками, которые отрастил еще до нынешней моды на усы, с морщинами у глаз — они умножились за шесть лет нашего заочного знакомства,— с энергичным, подкупающим и приятно усталым выражением лица.

На этот раз Уолтер вещал из своей нью-йоркской студии, но — разве есть для бога расстояния? — волны без помех доставили его на тихоокеанское побережье. Он был в Нью-Йорке, а выборы — в Калифорнии, на другом конце континента. Тем не менее именно от Уолтера ждали самых последних, самых оперативных сведений — не только обыкновенные телезрители, но и журналисты, политики, даже два главных действующих лица этой очередной американской одиссеи — Роберт Кеннеди и Юджин Маккарти, которые тоже наверняка сидели перед телевизорами.

Этот бог не в трех, а в десятках лиц. К его трону шли радиоволны от высокопрофессионального воинства репортеров и операторов, разместившихся в лос-анджелесских штаб-квартирах двух сенаторов, в разных калифорнийских городах и графствах, на избирательных участках, а в резерве его стояли штатные и внештатные комментаторы, профессора политических наук, директора институтов по опросу общественного мнения и т. д. и т. п. Готовые без промедления перерабатывать сырье статистики в полуфабрикаты анализа и прогнозов — аж до самих президентских выборов в ноябре.

Уолтер явился и, разведя руками по своему чистому столу, как бы смахнул все мои тревоги.

С зыбкой почвы Хейт-стрит и Филмор-стрит, от какого-то жалкого хиппи, от предводительницы «черных пантер» и паренька с парабеллумом он легко перенес меня в мир большой американской политики, где все расставлено по привычным местам, где можно даже заглядывать вперед и не наугад заглядывать, а методами научного прогнозирования.

Да, наука и прогнозирование — два идола нашего времени, и Уолтер сразу же дал понять, что и они в числе его верных слуг.

Он сообщил, что подсчитан всего один процент голосов, но — есть ли барьеры для науки?! — корпорация Си-Би-Эс на основе «профилей», сделанных в 89 «научно выбранных» избирательных участках, торжественно предсказывает победу Кеннеди (он должен получить 48 процентов голосов) над Маккарти (который получит лишь 41 процент).

Ага, значит, Си-Би-Эс всерьез раскошелилась, арендовав на день выборов электронно-счетные машины, и Уолтер Кронкайт немедля бросил на стол главный козырь, гарантируя одновременно и азарт, и электронную точность этого вечера у телевизора.

Но машины машинами, прогнозы прогнозами, а чисто человеческий элемент тоже не лишен интереса.

— Роджер Мадд, выходи! — воззвал Уолтер, приступая к поверке своего воинства.

И на экране, за его спиной, посредством какого-то технического фокуса, возник другой экран, а в нем лицо Роджера Мадда с припухшими скулами не дурака выпить и усталыми от недосыпания глазами — младшего коллеги и верного архангела Уолтера, вашингтонского корреспондента Си-Би-Эс.

Сегодня Роджер был под боком у Бобби, в лос-анджелесском отеле «Амбас-

садор», неутомимый, как всегда, готовый к многочасовому репортажу. Как лист перед травой по первому зову должен был он предстать перед Уолтером. И он предстал на экране в экране и в подкупающе фамильярной и, однако, точной манере доложил, что да, Уолтер, я, как видишь, в отеле «Амбассадор», сенатор пока в загородном имении одного из друзей, а не в своем номере-люкс на пятом этаже, у его свиты и сторонников, понятное дело, приподнятое настроение, но, Уолтер, как ты знаешь, подсчитан лишь один процент голосов, и мне нечего, увы, добавить к «профилям» наших всемогущих ЭВМ.

— О'кей, Роджер,— принял его рапорт Уолтер, и в дружеской интонации было заложено ненавязчивое, но властное напутствие: «Зри в оба, бди!» Хотя он знал, что старина Роджер не подкачает.

Потом он вызвал другого своего архангела, несущего вахту в лос-анджелесском отеле «Биверли-Хилтон», под боком у сенатора Маккарти, и тот так же четко и быстро воплотился за спиной Уолтера, на экране в экране, и отрапортовал, что да, Уолтер, в стане Маккарти, понятное дело, пока отказываются признавать поражение, но пессимизм уже гложет его приверженцев, изволь убедиться,— и телеоко, обегая другой зал другого отеля, нашло понурые лица.

Так началось большое телевизионное шоу под названием «Первичные выборы в Калифорнии», еще одна демонстрация своеобразного поп-арт — превращать в зрелище, перерабатывать в спектакль любое событие, которое может удержать американца у телеэкрана.

Демиург Уолтер Кронкайт творил текущую историю.

Мелькали его корреспонденты, на табло выскакивали новые цифирьки.

Мудрейшие машины удивляли людей, вдруг меняя свои прогнозы,— прогнав через полупроводниковые сочленения шесть процентов подсчитанных голосов, они зачеркнули свой первый прогноз, обещая Кеннеди уже 51 процент, а Маккарти — лишь 38.

Ах, ах, как занимательно! Как интересно! Ах, если бы я лишь вчера прилетел в Америку...

Через час-другой азарт мой иссяк, я поймал себя на раздражении. Оно росло, хотя по-прежнему я смотрел и слушал, ибо как бросить на половине зрелище, если к тому же оно нужно тебе по работе? Повторяю, что уважаю Уолтера Кронкайта как профессионала и неспроста все эти шесть лет доказывал ему свою лояльность — с семи до полвосьмого вечера по-ньюйоркски. И на нашем телеэкране мне хотелось бы видеть такие же максимально документированные, оперативные передачи новостей. Но...

Какой смысл спешить? — злился я, ерзая перед телевизором.

Какой смысл спешить, Уолтер? Что за баловство — за большие деньги арендовать электронные мозги, чтобы при одном проценте они делали один прогноз, а при шести — другой? Какой прок в прогнозах, если они отомрут через несколько часов— всего через несколько часов, когда все голоса будут подсчитаны? Что за детская игра в «угадай-ка» с применением новейшей техники и на глазах у десятков миллионов взрослых людей?

Но не будем пытать Уолтера неприятными вопросами. Я и сам могу кое-что разъяснить. Ищи деньги, а не женщину! — вот американская поправка к французской разгадке тайн, как ни банальна вся эта материя. Ищи деньги — и нешуточные. Нанимай умные машины и умных людей, используй популярность Уолтера Кронкайта и устраивай шоу из калифорнийских выборов, чтобы приманить к телеэкранам миллионы зрителей. А будут зрители — будут и корпорации, которые заплатят Си-Би-Эс бешеные деньги за рекламу своих товаров в эти интригующие часы.

Кто победит — Кеннеди или Маккарти? Эта затейливая карусель уже была насажена на ось коммерции, для которой не столь уж важно, кто победит,— кто бы ни победил, телезритель, следящий за драматическим подсчетом голосов по каналу Си-Би-Эс, запомнит мимоходом и кое-что другое. Что же на этот раз?

Исчезая с экрана, знаменитый Кронкайт время от времени уступал место безымянной и очень любвеобильной бабушке из рекламного фильма. Стоя у аккуратно выкрашенного беленького заборчика, бабушка сокрушалась, что внучек не идет гулять с ней, а мудрая ее соседка произносила магическое слово «листерин» — превосходное средство от дурного запаха изо рта. Другие кадры у того же аккуратного заборчика, но каковы перемены: наша бабушка ласково треплет льнущего к ней мальчика, обретя последнее, может быть, счастье в жизни. А почему? А потому, что благоухает бабушкин рот, старческое ее дыхание уже не озадачивает и не пугает внучка. ЛИСТЕРИН во весь телеэкран.

А то вдруг еще из одной рекламы, как из жизни, занесло на экран лохматого политикана с выпученными глазами — пародийный намек на всем известного сенатора-республиканца Эвереттa Дирксена — и хриплым, натруженным, дирксеновским голосом этот новый, из небытия выпрыгнувший чертик церемонно провозглашал:

— Великий штат Кентукки с гордостью представляет нашего кандидата полковника Сандерса, который клянется обеспечить каждому избирателю жареного цыпленка каждый день!

Торжественный туш, маханье плакатами, пляска воздушных шаров — все как взаправду, как на предвыборных съездах, хотя, конечно, и не так шумно, как было, помнится, в Коровьем дворце. И к восторгу толпы, верные паладины на плечах выносят благообразного старичка в белом костюме южанина, со старомодной, клинышком, седенькой бородкой и галстучком бабочкой, у которой, усохнув, повисли длинные крылышки.

Смакуя восторги, раскланиваясь, рассылая воздушные поцелуи, старичок плывет по экрану.

«Полковник Сандерс».

Любимец народа.

Мифический творец жареного цыпленка по-кентуккски.

Я впервые познакомился с ним на его родине, в штате Кентукки, весной 1965 года. Добродушный на вид полковник кидался на нас с огромных рекламных щитов. Некуда было спрятаться от его бородки клинышком, белого галстучка и от соблазна пламенных призывов отведать — всего за 1 доллар 19 центов! — жареного цыпленка по-кентуккски.

Однажды в придорожной «стекляшке» мы поддались искусителю, ткнули в меню туда, куда он повелевал, и официантка доставила на наш стол нечто заманчиво большое по массе, но невозможно скучное на вкус — обвалянное в сухарях изделие фабричных конвейеров по производству цыплят. Так я покончил с мифом о жареном цыпленке по-кентуккски.

А полковник Сандерс с успехом продолжал крестовый поход во имя своего бройлерного цыпленка и, бывало, нападал на меня с рекламных щитов за нью-йоркскими уже поворотами, а теперь вот подстерег и на телеэкране в Сан-Франциско, приспособив к своей агитации репортаж о выборах и соперничество двух сенаторов.

Так тянулся вечер у телевизора.

Встреча с полковником позабавила, но не перебила раздражения. Хватит зрелищ и прогнозов, дайте факты — и проверенные,— кто же победил, как и почему победил? Дайте сырье фактов для двух, максимум трех страничек. А в мозгу уже привычно щелкало: здесь десять вечера — значит, в Москве восемь утра. Одиннадцать вечера — значит, девять утра, оживают редакционные коридоры. Время не терпит.

Ржавели остатки кока-колы, горки пепла и окурков росли в пепельницах, а блокнот еще чист, телефон с Москвой не заказан.

И новое препятствие, с которым не мне сладить, выросло на пути к двум-трем страничкам. ЭВМ, арендованные телевизионной корпорацией Си-Би-Эс, крутились теперь вхолостую, потому что без дела были ЭВМ, арендованные муниципалитетом Лос-Анджелеса.

Гигантский город, где почти половина калифорнийских избирателей и где не хотят отставать от технически быстрого и точного века, первым из американских городов перешел на электронную систему подсчета бюллетеней, о чем успели сегодня прожужжать все уши. Но к электронно-вычислительному центру бюллетени везли с избирательных участков на обыкновенных грузовиках, а те мешкали, держа прожорливые ЭВМ на скудной диете, да и в самом центре случились какие-то неувязки. Все застопорилось, как на реке во время лесосплава.

Потерпите? В Сан-Франциско близилась полночь, а в Москве — на исходе был десятый час утра, и строчки на второй полосе «Известий» разбирают куда быстрее, чем устраняются помехи на электронно-вычислительном центре Лос-Анджелеса.

Я проклял несостоявшиеся две-три странички и пожалел впустую пропавший вечер.

Но сенатор от штата Нью-Йорк верил прогнозам.

Он решил не откладывать ритуал victory speech — победной речи. Как и фирме, производящей листерин, ему нужна была телеаудитория,— да побольше, а между тем она катастрофически редела, разбегаясь по спальням, особенно на Восточном побережье, в штате Нью-Йорк, где было уже около трех часов ночи.

Я вдруг увидел его на трибуне Большого бального зала отеля «Амбассадор». Уверенно-усталый, он жестами рук гасил ликование толпы. Но толпа продолжала ликовать, ибо в этой экзальтации был смысл ее многочасового ожидания в зале, нагретом телевизионными юпитерами.

Стремясь в объективы, вокруг тесно стояли его помощники, но, полуобернувшись, не гася улыбки, Бобби сказал несколько слов, и они расступились. Из-за мужчин показалась бледная, страдальчески улыбающаяся женщина с безукоризненной прической. Его жена Этель. Мать десятерых его детей. Она была беременна одиннадцатым, всего два месяца оставалось до родов, но разве можно уклоняться от предвыборных тяжких испытаний. Шансы кандидата всегда возрастают, если рядом с ним маячит перед избирателем верная жена, многодетная, беременная, самоотверженная.

Она встала рядом с мужем, чтобы с застенчивой улыбкой взглянуть на него и получить свою долю аплодисментов.

Он построил victory speech в традиционном духе — без официальщины, по-семейному. В меру юмор, максимум благодарностей. Он благодарил политических

союзников — Джесса Унру, лидера калифорнийских демократов, и Сесара Чавеса, вожака мексиканских издольщиков, друзей в «черной общине», помощников-студентов, 110-килограммового негра Рузвельта Грира, профессионального регбиста и добровольного телохранителя, который «позаботится о каждом, кто не голосует за меня», сенатора Маккарти — за «великие усилия» в организации оппозиции президенту Джонсону, жену Этель — за фантастическое терпение, свою собаку Фреклес: «Она уже отправилась спать, потому что с самого начала знала, что мы победим».

Он говорил сбивчиво, без текста, по коротеньким тезисам, подсунутым помощником. То, что говорил с середины марта, когда вступил в борьбу за Белый дом.

Что страна хочет перемен. Что последние три года были годами насилия, разочарования, раскола между черными и белыми, бедными и богатыми, молодыми и старыми. Что пора объединиться и начать действовать сообща.

— Страна хочет идти в другом направлении. Мы хотим решать наши собственные проблемы внутри нашей собственной страны, мы хотим мира во Вьетнаме...

— Итак, снова благодарю вас всех. Вперед в Чикаго и давайте победим там!

Так закончил он свою речь и под шумные аплодисменты покинул трибуну: до съезда демократов в Чикаго оставалось два с половиной месяца, сейчас же — надо только миновать кухню — его ждали корреспонденты, а потом с друзьями в фешенебельный ночной клуб «Фабрика» — скрыться от телекамер, отвлечься от забот, праздновать победу.

И телевизионные камеры до выхода проследили сенатора, почетно выделяя его затылок среди затылков всей его оживленной свиты. Зал выключили...

Победная речь сенатора поколебала меня, но не заставила переменить решение. Мучило лишь то, что две-три странички все равно не отменены, а лишь отложены на завтра. Я сел за стол, раскрыл тетрадь и, перебирая впечатления ушедшего, наконец, дня, думал, что же кратенько записать, чтобы не пропало, чтобы можно было потом оживить, взбодрить и подробнее расшифровать в памяти.

Телевизор был теперь справа, сбоку, ко мне своей пластиковой стенкой. Я не мог видеть изображения и не вникал в пошедшую на убыль болтовню.

Стоит нажать кнопку, и весь уместившийся в нем немалый мир покорно скатится к центру экрана, ужмется до блестящей яркой точки, которая посияет еще миг, но в которой ничего уже не разобрать.

Я не нажал кнопку.

Сидел и строчил в тетради.

И вдруг...

И вдруг справа, в телеящике словно ветер пронесся...

Словно сама стихия властно смяла и скомкала монотонное бормотание. Та стихия, которая никогда не извещает заблаговременно о своем натиске, о рывке.

И я еще не понял, в чем дело, но и меня вырвала стихия из-за стола и заставила прыжком встать напротив телевизора и впиться глазами в мерцающий экран.

Было ли что на этом экране — не помню, кажется, ничего не было.

А слышался нервный, торопливый, сбившийся с профессионального ритма голос диктора:

— Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили...

Это был не Уолтер Кронкайт, который уже попрощался со зрителем, сдавшись под атакой заупрямившихся ЭВМ. Это был диктор конкурирующего канала Эн-Би-Си, не пожелавшего тратиться на научно отобранные избирательные участки и на прогнозы дорогих электронно-вычислительных машин и с самого начала обещавшего old-fashioned suspense — старомодное напряжение, которое видит интригу не в прогнозах, а в том, чтобы не опережать ход событий.

— Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили! — кричал торопливый голос, как бы перечеркивая все, что было за долгий день, как бы стирая размашистой тряпкой все, что было так обильно написано на доске. И доска снова чистая, да только поверху, как заголовок, свежо загорались на этой доске страшно девственные, совсем другие письмена...

■

— Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили!

Диктор спешил заполнить доску, да быстрее, быстрее — быстрее, чем у конкурентов, раз они — так им и надо с их ЭВМ — все прохлопали, и, конечно, были перед ним контрольные экраны, которые удостоверяли, что соседи отстают.

Не помню точно слова, но отлично помню впечатления этих минут. Голос диктора дрожал от возбуждения, и оно было двояким — возбуждение человека, потрясенного страшной новостью, и азартное возбуждение гончей собаки, напавшей на след редкой дичи.

— Джон,— говорил он своему репортеру, дежурившему в отеле «Амбассадор», и я ручаюсь не за точность, но за смысл его слов,— Джон, как это произошло? Нам нужны, ты сам понимаешь, подробности...

И ему отвечал такой же возбужденный, соскочивший с привычных рельсов голос:

— Ты понимаешь, здесь сейчас такое замешательство... Трудно разобраться. Все в панике...

И первый голос с симпатией товарища, но с правом начальника и наставника, говорил, уже обретая спокойствие и как бы ободряя и дисциплинируя второго:

— Мы все понимаем, Джон. Понимаем, что и сам ты потрясен. Но возьми себя в руки, Джон. Постарайся. Ты же знаешь, как нам важны подробности.

Включили зал. Да, паника. Телеоко заскользило по искаженным лицам, мечущимся фигурам. Включили звук. Женские визги и вскрикивания: «Невероятно! Не может быть! Невероятно!»

На трибуне перед микрофонами, в которые полчаса назад Роберт Кеннеди крикнул: «Вперед в Чикаго!» — теперь стоял незнакомый мужчина.

— Оставайтесь на своих местах,— кричал он в зал, в панику.— Оставайтесь на местах! Нужен доктор! Есть ли здесь врач?

А Джоны с телевидения обретали выдержку и одного за другим подтаскивали к телекамерам свидетелей, отщипывая их на кухне от толпы, нараставшей возле смертельно раненного сенатора. Гончие собаки побеждали потрясенных людей, шла охота за свидетелями, да не просто за свидетелями, а за теми, что были поближе к месту покушения и видели побольше и могли бы теперь, представ по н а ш е м у каналу, вставить перо каналу конкурирующему.

Вершилось на глазах жуткое чудо мгновенного превращения трагедии в сенсацию и зрелище. И люди, дрожащие от горя, паники и испуга, сами заглянувшие в глаза смерти, подавались с пылу с жару на телеэкран и остывали, отходили, включали какие-то кнопки сознания, становились хладнокровными, умелыми в выражениях людьми, удостоенными — это перевешивало остальное — чести выступить по телевидению и показать себя публике.

Что ж, однако, браню я своих верных помощников. Ведь я-то тоже, стряхнув оцепенение первой минуты, сидел на краешке кровати напротив телевизора и в руках у меня уже был блокнот. Теперь нужны были другие две-три странички, и я работал, зная, что для этой бомбы найдут место даже на занятой уже газетной полосе и что есть теперь у меня время, так как эти две-три странички примут и в самый последний миг перед выходом газеты.

Особая взволнованно-приподнятая интонация в голосе диктора: сейчас мы — первыми! — покажем видеоленту с раненым сенатором Кеннеди. Вот оно, коронное. Кто-то работал, кто-то крутил свою камеру. Сейчас мы вам покажем! Вот они, кадры, снятые дрожащей рукой... Паническое мелькание людей... Камера как бы раздвигает их... Вот они, последние из тысяч и тысяч, из миллионов кадров, зафиксировавших политическую и личную жизнь сенатора...

Сколько раз мы видели избранные из них в получасовом рекламном фильме, который без конца крутили по всем телеканалам в предвыборные дни: с братом-президентом в часы кризисов, на митингах перед толпами, тянущими к нему сотни рук, весело играющим в футбол с детьми на лужайке вашингтонского поместья, бегающим по океанскому берегу взапуски с лохматой собакой Фреклес, и снова с братом, поближе к брату, чтобы причаститься к его посмертной популярности, и снова с толпами, жадно протягивающими руки к избраннику судьбы.

И вот они, последние, свежие, только что записанные на видеоленту и доставленные без промедления. Сенатор лежит на полу, узким затылком к зрителю, тем причесанным — волосок к волоску — затылком, который я видел три дня назад в двух шагах от себя и который поразил меня контрастом со знаменитым его непокорным чубом. Приближаем затылок. Еще крупнее. Спокойное белое лицо. Страдание чуть-чуть тронуло губы. Темный костюм. Раскинутые ноги, бессильно раскинутые ноги — ох, неспроста лежит сенатор на полу. Слева на корточках непонятный парнишка в белой курточке, в его широко раскрытых глазах недоумение, не успевшее перейти в боль. (Это был судомойщик из кухни отеля «Амбассадор». Убийца несколько раз переспрашивал его, верно ли, что Кеннеди должен пройти через кухню. Ему — последнему из тысяч и тысяч — пожал сенатор руку, и в этот миг застучали выстрелы, и бедный парнишка почувствовал, как разжалась в его руке сенаторская рука.) А справа склонился еще один человек. Как и парнишка, желая облегчить боль, он бережно приподнимает голову лежащего. Движение губ сенатора, правая его рука ватно оторвалась от пола, и — о ужас! — на тыльной стороне ладони темное поблескивающее пятно, и рука ватно валится в сторону, прочь от тела. А под головой смутно видится, скорее не видится, а неотвратимо угадывается другое большое пятно...

И чей-то широкий пиджак, закрывая путь телекамере, как занавес на сцене, обрывает зрелище. Да как он смел, этот дерзкий пиджак! Как смел он лишить нас продолжения!

(Я помню другой популярный фотоснимок тех дней, который, конечно же, фигурировал на разных фотоконкурсах года.

Ладонь...

Непомерно, уродливо большая, растопыренная ладонь, готовая накрыть холодно поблескивающий глазок фотоаппарата, а за ней растрепанная и разъяренная, маленькая, как придаток к собственной своей ладони, жена сенатора — Этель Кеннеди.

Она вся ушла в эту ладонь, и ладонь требует воздуха для мужа, лежащего на кухонном полу, ладонь заслоняет его последние полусознательные мгновения от камер лихорадочно работающих репортеров.

Женщина так называемого высшего света в благородном облике зверя, спасающего свое дитя.

— Не забывайтесь, леди,— наставительно заметил один репортер, не прерывая своих занятий.— Это нужно для истории.

И гневная ладонь не помнящей себя женщины была квалифицированно отщелкана и пущена в оборот, пригодившись для истории.

Она хотела бы быть с ним наедине, не допуская чужих к таинству агонии, но и в роковые минуты сенатор был тем, кем стремился быть всю жизнь,— публичным достоянием.)

Эту видеоленту пропускали снова и снова, по всем каналам, в том числе и по каналу Си-Би-Эс. Там уже сидел у пульта управления поднятый с постели Уолтер Кронкайт, и вид его, уверенный, хотя и в меру траурный, говорил, что сейчас-то уж кончится неразбериха и волюнтаризм, и текущая история снова будет писаться без помарок, прямо на скрижали вечности.

Видеолента стала рефреном той ночи и знаком высокого качества телевизионного сервиса. Ею обслуживали новые десятки, а может быть, сотни тысяч и миллионы людей, разбуженных телефонными звонками своих недаром засидевшихся допоздна друзей, знакомых, родственников.

— А теперь посмотрите вот эту видеоленту...

И твердела дрожащая рука оператора, нервно мелькали люди, а потом расступались и — все ближе, ближе на передний план лежащего человека в темном костюме, узкий его затылок.

Сенатор между тем уже был в операционной госпиталя «Добрый самаритянин». Фред Манкевич, его пресс-секретарь, сообщал, что через пять минут шесть нейрохирургов начнут операцию, которая, как предполагают, продлится около часа.

Возле белеющего в темноте госпитального здания виднелись фигуры полицейских и репортеров.

Пробудился уснувший было отель «Губернатор». В соседнем номере хлопнула дверь, уже гудел телевизор.

— Вы слышали, Кеннеди застрелили? — делился новостью по телефону ночной клерк отеля.

Пробуждалась Америка. Журналисты срывали с постелей спящих политиков, требуя комментариев.

— А теперь посмотрите вот эту видеоленту...

«Сенатор Роберт Кеннеди был ранен в Лос-Анджелесе сегодня ночью. Как известно, Роберт Кеннеди — брат убитого в 1963 году президента Джона Кеннеди и сам добивается избрания президентом США... Из противоречивых показаний очевидцев ясно, что покушавшийся ждал сенатора за сценой. Как сообщают, он сделал по меньшей мере шесть выстрелов с расстояния трех метров... Согласно сообщениям из Лос-Анджелеса, сенатор жив, но состояние его критическое... Трагедия сменила буффонаду, столь характерную для выборных ночей в Америке... Пока трудно сказать, как отразится покушение в Лос-Анджелесе на общей предвыборной атмосфере и на политической жизни в стране... Полиция усилила охрану сенатора Маккарти, находящегося в лос-анджелесском отеле «Биверли-Хилтон»...»

Я писал торопясь, поглядывая на часы, прислушиваясь к телевизору и мучаясь оттого, что в скупой информации, как вода сквозь сито, уходили невыраженными главные ощущения...

Пробуждался мир. Да, пробуждался, но не обязательно от лос-анджелесской новости, как думалось мне в сан-францисской ночи, а с вращением Земли и поступью Солнца — в Европе было уже утро, в Азии — день.

Тьма еще окутывала Америку, а в лондонских киосках уже лежали утренние газеты с сенсационными аншлагами, а где-то на московской улице американский корреспондент перехватил какую-то женщину, и телевизор в отеле «Губернатор» на углу Джонс-стрит и Турк-стрит уже передал ее комментарий: «Какая жалость, что вы живете в стране, где каждого могут застрелить».

— А теперь посмотрите вот эту видеоленту!..

И рука ватно приподнималась с пола... Поблескивало пятно на тыльной стороне ладони... Рука валилась прочь, как бы отделяясь от тела.

Тридцать шагов от трибуны, от позы кумира и победителя, через двойные двери на кухню — и вот ложе на полу. Он хотел направлять судьбы могущественной страны, а теперь не мог поднять даже собственную руку.

Три странички были готовы, а Москву не давали, операторша с холодной любезностью автомата отвечала, что линия не работает. Как не работает, если американские корреспонденты уже передают свои комментарии из Москвы?

Наконец, после жалобы старшей операторше, в три ночи дали Москву.

Незримый, кажущийся предательски ненадежным волосок связал номер 812 сан-францисского отеля «Губернатор» с шестым этажом дома «Известий» на московской площади Пушкина — через полтора континента, один океан и десять часовых поясов.

С телефонной трубкой я укрылся под одеялом, чтобы приглушить голос, не мешать людям в соседнем номере, спасти их от ненужного недоумения: что за сума-

сшедший человек, долго, громко и странно отчетливо говорящий на незнакомом языке? Под одеялом было жарко и неудобно, пот застилал глаза. И перед чутко внимавшей стенографисткой, моим первым слушателем и читателем, мне было неловко, потому что, крича слова через полтора континента и один океан, я убеждался: не то — не то — не то...

Я не отказываюсь от этих слов. Они были верными в том смысле, что несли в себе частичку информации о случившемся. Но в их голом каркасе не было трудновыразимой, но такой, казалось бы, очевидной взаимосвязи между тревожными впечатлениями долгого дня в Сан-Франциско, вечера у телевизора и ночной трагедии в Лос-Анджелесе.

Шестеро нейрохирургов все еще колдовали в операционной «Доброго самаритянина», а я лег в постель, соорудив из жиденьких валиков подушек изголовье повыше, чтобы удобнее смотреть на телеэкран. Операция зловеще затягивалась.

В открытое окно, шевеля шторой, проникал ветер, холодок раннего утра выветривал табачный дух. Газеты на столе и на полу, брошенное на кресло покрывало, пепел и окурки в пепельницах и мусорном ведерке,— глазами постороннего оглядывал я следы побоища, которое сам же и учинил, сражаясь с телевизором, бумагой, временем.

Каково там — сенатору в операционной?

Роджер Мадд стоял наготове у госпиталя. Мобильные силы Си-Би-Эс были перегруппированы, действовал новый укрепленный пост, и в унылых тонах раннего утра телеоко вырывало деловито озабоченную фигуру. Роджер Мадд держал в руке портативный передатчик уоки-токи, очевидно, настроенный на волну экстренной пресс-службы «Доброго самаритянина». В той же интонации, что и девять часов назад, когда начался репортаж об итогах выборов, он докладывал, что нового, Уолтер, пока ничего нет, но я, как видишь, наготове. Нового было много, но оно уже успело стать старым, а Роджер Мадд имел в виду самое новое новое.

Человеку, только что включившему телевизор, могло показаться, что телекорпорация Си-Би-Эс давным-давно занята оперативным освещением агонии несчастного сенатора Роберта Кеннеди. Аврал кончился. Конвейер нашел правильный ритм, выпускал качественный продукт скорби, горечи, публичного битья в грудь и самокритичных разговоров о sick society — больном обществе.

...Проснувшись в десять утра и первым делом включив телевизор, я узнал, что операция закончилась и сенатор жив. Еще жив, ибо некий нью-йоркский доктор Пул, успевший связаться по телефону с коллегой из «Доброго самаритянина», водил указкой по схеме человеческого мозга и сообщал, что рана намного опаснее, чем предполагали вначале, что повреждены жизненно важные центры и что, если даже сенатор выживет, жизнь его будет «ограниченно полезной» — иными словами, жизнью калеки. А по другому каналу шла коммерческая реклама на бессмертную тему о cash (наличных), savings (сбережениях), да фирма, изгонявшая дурной запах из Америки, крутила свой мини-фильм о бабушке и внуке, убеждая, что счастье так возможно: станьте на уровень века, покупайте листерин!

Клан Кеннеди слетался отовсюду в белые покои госпиталя.

Нетерпеливые комментаторы, по возможности избегая слова «смерть», уже толковали о том, как повысились шансы Хэмфри на съезде демократов в августе и шансы Никсона на выборах в ноябре. А что, кстати, будет делать Тедди — последний из братьев Кеннеди?

Из кандидата в президенты человек стал кандидатом в покойники, и в стране, где так важно опередить конкурентов и первым предложить новый товар, пользующийся спросом, уже спешили с догадками, анализом, спекуляциями.

А прекрасный Сан-Франциско жил обычной жизнью, как будто успел расправиться с ночной новостью за утренней чашкой кофе. И не было ничего необычного и скорбного в пешеходах и машинах, а улицы своим трехмерным пространством, своей подставленностью небу развеивали и разгоняли ту густую концентрацию трагедии, которая пропитала за долгую ночь мою комнату в отеле.

Лишь в киосках кричали газеты жирными шапками и фотоснимком недоуменного мальчика в белой куртке, склонившегося над мужчиной, распростертым на полу. Да на Пауэлл-стрит, у поворотного круга кабельного трамвая, прохожих гипнотизировало мерцание телеэкранов в витринах,— здесь-то еще позавчера агитаторы Роберта Кеннеди совершали последний предвыборный рывок, даром раздавая специальное издание его книги «В поисках обновленного мира».

Назавтра утром я улетал в Нью-Йорк и потому вернулся в отель рано — к сборам в дорогу, к телевизору, к не дававшим покоя мыслям о еще двух-трех страничках.

— А теперь посмотрите вот эту видеоленту...

Слова эти звучали реже — видеолентой обслужили всех. У Томаса Реддина, шефа лос-анджелесской полиции, было умное лицо и сдержанная интеллигентная манера речи. Изучив «биографию» пистолета марки «Айвор-Джонсон-Кадет», его люди установили личность покушавшегося — Сирхан Бишара Сирхан, 24 лет, иорданский араб, с 1957 года проживавший в США, но не получивший американского гражданства. «Зловещих международных аспектов» не обнаружено. Обвиняемый, скорее всего,

действовал в одиночку. Говорить пока отказывается, но из слов знавших его людей видно, что Сирхан крайне критически относился к ближневосточной политике США, к поддержке Израиля против арабов.

Я вспомнил свое первое сильное ощущение тех минут, когда трагедией оборвался балаган ночи выборов, но ничего еще не было известно о преступнике: Роберт Кеннеди энергично навязывал себя в президенты, вызывая полярные токи симпатий и антипатий,— с ним так же энергично расправились. Теперь говорили о более конкретной версии. Сенатор избирался от штата Нью-Йорк, где многочисленна и влиятельна группа избирателей-евреев. Ему нужны были голоса, и, конечно, он хотел понравиться этой группе. В ближневосточном конфликте его позиция была произраильской, хотя, впрочем, не более произраильской, чем у многих его коллег. Как вел бы он себя, если бы не евреев, а арабов было больше среди его избирателей?

В глазах Сирхана Роберт Кеннеди вырос в ненавистный символ. Безжалостным рикошетом ударила нью-йоркского сенатора атмосфера его страны, отразившаяся в сознании преступника, ударила — в этом был замысел Сирхана — в канун первой годовщины арабо-израильской «шестидневной войны». Совершенно неожиданным образом в Лос-Анджелесе откликнулось то, что аукнулось в Иерусалиме год назад.

Между тем голоса на калифорнийских выборах были окончательно подсчитаны. Кеннеди победил Маккарти незначительным большинством: 45 процентов на 42.

Линдон Джонсон выделил охрану для всех, кто хотел попасть на его место, из президентской секретной службы.

Маккарти, Никсон, Хэмфри следили за бюллетенями, готовясь объявить траурную паузу в предвыборной борьбе. В бюллетенях нарастало неотвратимое — «чрезвычайно критическое состояние». Позднее вечернее издание газеты «Сан-Франциско кроникл» заглянуло в ночь огромной шапкой: «NEAR DEATH» — «На краю смерти».

На этот раз Москву дали быстро. Слышимость была хорошей, операторша — участливой. К полуночи я разделался с обязанностью корреспондента и опять обратился к телевизору. Передавали шоу Джоя Бишопа из Голливуда. У смертного ложа сенатора энергично и озабоченно теребили старый вопрос: What's wrong with America? — Что не так с Америкой?

По контракту с одной телекорпорацией популярный актер Джой Бишоп ведет каждую среду вечером программу из Голливуда. Очаровательный человек, к тому же либерал. Сейчас на лице его сострадание и непривычная тяжесть раздумий, но что за галиматья — траурное шоу. Что заготовил Джой Бишоп впрок на сегодняшний вечер? Каких комиков, красоток, политиков, секс-профессоров, чечеточников во фраках или, может быть, отчаянно радикальных дам — ниспровергательниц бюстгальтеров, пионерш новейшей моды «гляди насквозь»?

Теперь же у него лицо философа и почти мученика. Он обсуждает вопрос: что не так с Америкой? Аудитория заранее купила билеты в голливудский зал, откуда транслируется передача, и пришла с намерением повеселиться, но иные, неожиданные «гости» у Джоя Бишопа — Чарльз Эверс, брат убитого расистами негритянского лидера Медгара Эверса, какой-то либеральный доктор, какой-то католический священник.

Седой доктор искренне страдает: американцам пора приглядеться к себе! Мы — нация лицемеров. Надо воспитывать гуманизм и изгонять насилие... Чарльз Эверс тоже говорит, что Америке пора проснуться, что у белых нет сострадания к черным, что национальный климат пропитан насилием и расизмом. Четким политическим языком священник обличает «колонизацию, эксплуатацию и деградацию человека».

Джой Бишоп, как царь Соломон, решает уравновесить истину. И доставленный радиоволнами из своей столицы в Сакраменто возникает на телеэкране калифорнийский губернатор Рональд Рейган. Экран делится на две половинки. Справа бывший голливудский актер Рональд Рейган играет роль мудрого, не поддающегося эмоциям государственного мужа. Слева актер Джой Бишоп в роли мыслителя, растерянного, но не прервавшего поиски истины.

— Губернатор,— спрашивает Бишоп,— не пора ли запретить продажу огнестрельного оружия, столь дешевого и доступного в Америке?

Сгустив мудрые морщинки возле глаз, словно компенсируя ими убогий лоб киноковбоя, губернатор отечески разъясняет Джою, что не в законе дело, что человек найдет оружие, если хочет совершить политическое убийство.

Сейчас, когда тяжело ранен молодой сенатор Кеннеди, «иностранные писатели вострят перья», чтобы еще раз очернить Америку, но это либо ее враги, либо те, кто близоруко забыл, что Америка спасает мир от «варваров».

Он так и сказал — от варваров, и в этот миг утверждения патриотической веры в зале зазвучали аплодисменты.

— Простите, губернатор, нам придется прервать вас,— вмешался Бишоп с извинительно-брезгливой гримасой, но не губернатору была адресована его брезгливость.

Опустив руку под стол, с той же несколько брезгливой миной он извлек какую-то штучку.

Была это консервированная пища для собак или менее драматический препарат

«дристан» от головной боли? Не помню. Но была, была эта штучка, и, покатав в ладони, Джой Бишоп выдвинул ее в центр, под телевизионные лучи, поставил на свой стол, произнес магическое слово product — продукт — и покорно исчез.

Как исчез губернатор Рейган.

Все исчезли. На минуту зал отключили.

Пошел рекламный фильм компании, которая в этот вечер оплачивала траурное шоу Бишопа, гневные филиппики его гостей, патриотический раж губернатора.

...К концу передачи Джой Бишоп попросил священника помолиться за раненого сенатора. Все четверо склонили головы, и речитативом священник вознес к богу совокупную просьбу спасти жизнь Роберта Кеннеди, а Америку — от зла колонизации, эксплуатации и деградации человека.

Был час тридцать ночи 6 июня 1968 года. Выключив телевизор, я улегся спать.

В час сорок четыре минуты Роберт Фрэнсис Кеннеди, 42 лет, скончался, не приходя в сознание, в лос-анджелесском госпитале «Добрый самаритянин».

Разбуженный в семь утра телефонным звонком ночного дежурного, который в американских отелях берет на себя функции будильника, я снова кинулся к телевизору. Слово «смерть» заполнило комнату.

Еще не зная о часе смерти, я понял, что с точки зрения телевидения она случилась давно, потому что страшное слово это вертели спокойно, а не как картошку, только что вытащенную из горячей золы.

Я увидел грузное лицо Пьера Сэлинджера, который был пресс-секретарем у президента Джона Кеннеди, а в последние недели прыгнул в «фургон» Роберта, собравшегося в дорогу к Белому дому. Пьер исполнял свой последний долг, излагая усталым корреспондентам программу траурных церемоний: что специальный самолет, присланный в Лос-Анджелес президентом Джонсоном, сегодня же доставит тело в Нью-Йорк, что список тех, кто будет сопровождать тело, объявят позднее, что траурная месса состоится в нью-йоркском соборе св. Патрика, а когда — сообщат позднее, что после мессы гроб с телом покойного специальным поездом доставят в Вашингтон, где Роберта Кеннеди похоронят на Арлингтонском кладбище рядом с его братом.

Скончавшийся человек продолжал обрастать массой подробностей. Последняя точка была поставлена на его жизни, и потому шли уже большие фильмы-некрологи. Они впрок монтировались и клеились, пока он, цепляясь за жизнь, еще лежал на смертном ложе.

Теперь, отдаляясь от живых, Бобби Кеннеди мемориально возникал перед толпами. Любимый жест — вниз большим пальцем правой руки. Бостонский говор, так схожий с говором старшего брата.

Перевязав ремнями чемодан, разваливавшийся от дряхлости и обильной информации двух калифорнийских недель, я бросил взгляд на телевизор. Наше прощание было коротким. Нажал кнопку, и весь не по-утреннему траурный и все-таки пестрый и динамичный мир сократился до яркой точки. Исчез. В опустевшем оконце отразились мои ботинки и брюки.

Какая рука коснется сегодня же его кнопки и рычажков? Что пробежит в другом мозгу? Какие картины непроницаемого будущего ворвутся в мерцание экрана?

Я расплатился за отель и взял такси до городского аэровокзала. Газетный киоск на углу был еще пуст. Утренние улицы серы и малолюдны. И грустны, как грустны всегда улицы города, с которым расстаешься, не зная, вернешься ли. Ведь если не вернешься — значит, крест на том кусочке жизни, который оставил ты там.

В аэровокзале я первым делом разыскал глазами газетную стойку и поспешил к ней, чтобы перепроверить неопровержимые сведения телевидения и убедиться, оперативны ли сан-францисские газеты. Лежала кипа свежих газет. «Кеннеди мертв»— кричал аншлаг на первой полосе «Сан-Франциско кроникл». Короче и громче, пожалуй, не крикнешь. В крике были и траур, и скрытое торжество прорицателя: ведь мы не обманули вас, сообщив в вечернем издании, что Кеннеди на краю смерти.

И кинув десять центов продавщице, я осторожно, за уголок подхватил номер, жирно поблескивающий заголовком.

■

«Боинг-707» компании «Транс Уорлд Эрлайнс» тяжело оторвался от сан-францисского бетона ровно по расписанию — в 10.10 утра. Слева темно и пасмурно блеснул океан, внизу серые полосы автострад, домишки предместий и — как разноцветные личинки — тысячи машин на парковках. Ушли от океана в глубь континента, перемахнули бесплодные желто-розовые горы и забрались высоко-высоко, где тускнеют краски земли, прикрытой сизоватым маревом, а солнце так мощно и ласково льет свой свет, такой делает легкой и праздничной кабину самолета, что сама собой приходит на память выведенная Маяковским формула блаженства: «Так вот и буду в Летнем саду пить мой утренний кофе...»

Небрежно-уверенный, домашний голос капитана сообщает по радио, что о'кей по всей трассе и что, судя по всему, мы безо всяких треволнений приземлимся в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. А дальше, но уже не для меня,—

Рим, ибо TWA слила свои внутренние рейсы с международными, демонстрируя святость мира.

Скользят по ковру прохода стюардессы, на этот раз в синтетично-бумажных платьицах-распашонках, которые усиливают золотистый утренний колорит,— чего только не проделывают с этими девчонками! — да и само солнце, кажется, специально вывели на небо в таком вот его наилучшем виде.

Раздают глянцевитые карточки меню, и они подтверждают, что все без обмана, что и впрямь предстоит нам полет с иностранным, французским на сей раз, акцентом: говядина по-бургундски, или цыпленок в вине, или телятина под соусом с грибами. И стюардесса-негритяночка — о, знаки прогресса и десегрегации в воздухе! — мило улыбается пухлыми губками, откидывая столик и ставя на него широкий устойчивый стакан с виски-сода. А после ленча мы, временные небожители, будем смотреть в стратокинематографе комедию «What's Bad About Feeling Good?» — «Чем плохо чувствовать себя хорошо?» «Транс Уорлд Эрлайнс» держит слово. Когда ты неделю назад заказывал билет на этот рейс, разве не пропел в телефонную трубку девичий голосок, что полет будет с иностранным акцентом, что на ленч будет выбор из трех именно этих блюд и что после ленча покажут именно эту кинокомедию?

Чем плохо?..

Даже если застыл на взлетной полосе, а может, уже оторвался от лос-анджелесского бетона точно такой же на вид, но еще более комфортабельный внутри, президентский «Боинг-707» с запечатанным гробом. Может, он уже чертит вдогонку нам безбрежное американское небо. Только южнее. Только без кинокомедии...

Как и тогда, на пути в Лос-Анджелес, я сунул наушники в карман кресла и почти не смотрел на экран, где в стандартно-комфортном мирке беззвучно разевали рты стандартно-благополучные люди, устраняя какие-то мелкие юмористические недоделки в своей стандартно-счастливой жизни. Иной, яростный реальный мир требовал, чтобы в нем разобрались. Полмесяца назад крутили в самолетном чреве, вот так же высоко над Америкой, «День злого револьвера», и актера Артура Кеннеди, всего лишь однофамильца, уволакивали за длинные ноги в пыли кинематографического городка. А потом в гетто тот безусый паренек как игрушкой хвастался парабеллумом перед своей милой девушкой. А потом пистолет взаправду выстрелил в руке Сирхана Бишары Сирхана, и сенатор Роберт Кеннеди упал — взаправду, чтобы не подняться. Впрочем, подальше от этой чертовщины. Сенатор убит, но ведь цепь замкнулась лишь в моем сознании. Хотя авиакомпания TWA и хочет придать моим пестрым заметкам некую издевательскую сюжетную законченность: «Чем плохо чувствовать себя хорошо?»

Самолет шел ровно и мощно, не болтало, и строчки хорошо ложились в тетрадь. Я заносил на память тонконогую негритянку с пухлыми губами, стратокинематограф, говядину по-бургундски, весь американский идеал комфорта и покоя, поднятый на высоту десяти километров, и пытался нащупать какую-то обвинительную связь между этим идеалом и сенатором, лежащим в крови на кухонном полу. Связь казалась такой явной и, однако, неуловимой. А может, и не связь это, а некая антисвязь. Мир не только слитен и связан, каким видел я его на телеэкране в ночь трагедии, но и необыкновенно, равнодушно огромен, как небо, которое свободно вмещает в себя два «Боинга» — с гробом и с кинокомедией.

Как организовать в мозгу сумбур двух последних дней и всей двухнедельной поездки по Калифорнии, полярные и, однако, сливающиеся впечатления динамичного, технически чрезвычайно развитого общества, где все вроде бы взвешено и измерено и загадано наперед и где вдруг страшными пульсациями пробивается темный, как хаос, непредсказуемый ход жизни? Впечатления современной империи, связанной с миром системой мстительных сообщающихся сосудов: в своей глобальной бухгалтерии она привыкла обретать дополнительный зажиток от сожженных нищенских деревень во вьетнамских джунглях и вдруг заносит в графу расходов блестящего сенатора, аплодировавшего израильскому блиц-кригу и потому сраженного рукой лос-анджелесского араба, который судорожно и слепо мстит за унижение своих единоверцев в Иерусалиме.

Казалось, что синтез, который я шесть лет искал в Америке и отчаялся найти — не сухой и рассудочный синтез, а пропущенный через сердце,— что вот он под рукой, но снова он выскальзывал, как рыба, которую ты нечаянно ухватил в родной ее стихии.

Я вспомнил Кармел, очаровательный городишко, искрививший свои улицы и тротуары, чтобы не спиливать погнутые вечным ветром приокеанские сосны. В полуденную майскую теплоту, безмятежно блаженствуя, я бродил по его маленьким картинным галереям, и в одной меня поразили полотна Лесли Эмери, художника необычного и сильного таланта. Особенно поразил портрет старика, очевидно индейца. Это полотно было вытянуто не в длину, а в ширину, чтобы глаза старика заняли самое центральное место. Ибо в глазах и была вся мысль и вся сила.

Тяжелые, набрякшие круглые веки, режая сетка морщин, выпуклые, как бы выпирающие из орбит глаза. Во взгляде — история человека как история мира — человека, долго жившего, много страдавшего, смирившегося, но не покорно, не рабски, а мудро и стоически,— понявшего, что он смертен, а жизнь вечна. И в выстра-

данном, рационально-интуитивном равновесии мудрости и опыта доживающего свой век, зная, что он уйдет, но придут другие — к таким же глазам, такому же взгляду. Нет страха, есть мудрый стоицизм, объективный и прочный, как сама природа. И часть этого взгляда, но только часть, обращена на самоуверенную, крикливую, напролом прущую, бездумную толпу. Не то чтобы это критикующий взгляд.— в нем удел мудреца, завидный и горький. Он знает, что его могут раздавить, но не боится — и это пройдет, и это он впитает, не изменив себе. Он шире и выше и потому — в этом вся штука! — бессмертен.

И другой взгляд пришел на память — молодого хиппи из подъезда на Хейт-стрит. У него было красивое лицо телевизионного супермена, и больше, чем Рональд Рейган в молодости, подошел бы он на роль ковбоя — неотразимые аксессуары силы, мужества и уверенности. Но взгляд больших серых глаз — дымчато-пустой. Физически рядом, а на самом-то деле в неведомых землях, в наркотическом трансе. Прекрасная оболочка, из которой в молодые годы ушла жизнь. Пустой сосуд.

Что надо передумать и пережить, что видеть вокруг, чтобы создать глаза старика? Наверное, то же, что видел парень с Хейт-стрит.

В Нью-Йорке было по-летнему жарко и потно. Тревожным ветерком веяло от экстра-нарядов полиции у модернистской раковины здания TWA. Мы сели в аэропорту имени Джона Кеннеди, который был еще аэропортом Айдлуайлд, когда я впервые попал на американскую землю в конце 1961 года. Автобус-экспресс, мягко пружиня на «Гранд Сэнтрал паркуэй», понесся мимо Куинса к Манхеттену. Через зеленоватые защитные стекла мелькали знакомые дорожные развязки. С жиганьем обгоняя нас, проносились легковые машины. И пыль, особая унылейшая пыль автострад серела вдоль обочин. Пыль да редкие ржавые банки из-под пива и прохладительных напитков: «Не засоряйте хайвеи! Штраф пятьсот долларов!»

С лихим шелестом автобус одолел Мидтаун-тоннель под Ист-Ривер и подкатил под крышу Ист-Сайдского аэровокзала. Я взял такси до дома на Риверсайд-драйв. Редкий случай — таксист была женщина, обалдевшая за день от жары и суматохи. Был уже восьмой час вечера, на западе в просветах стритов закатно разгоралось небо, машины схлынули, но таксистка продолжала сводить какие-то свои счеты, ругая crazy city, crazy people, crazy world — сумасшедший город, сумасшедших людей и весь сумасшедший мир. Я вполне был готов к этим истинам, но только смущало меня, что они чересчур легко слетали с ее языка.

Ну что ж, чемодан у порога, тепло жены и детей — и сразу к чудо-ящику, уже включенному, работающему, как будто североамериканский континент — это всего лишь расстояние между двумя телеэкранами. Большой мир врывался в нью-йоркскую квартиру, как и в номер отеля «Губернатор». За окном горел красивейший библейский закат, стеклянно вспыхивал грустный вечерний Гудзон, а мы глядели на телевизионные сумерки аэропорта Ла-Гардиа.

Тот самолет уже пришел, уже подтягивался с посадочной полосы, уже слышался за кадром свист его двигателей. Но вот он вошел в кадр, обдутый тысячемильными пространствами, и человек в белой робе и шлемофоне взмахивал перед ним руками, подтягивая его к себе, приказывая стать,— аэродромный рабочий, такой же случайно пойманный в кадр участник истории, как и тот недоуменный паренек — судомойщик в белой куртке, склонившийся над сенатором на кухне.

Свист оборвался, самолет замер. С дюжими полицейскими на флангах встречающие двинулись к самолету.

Теперь телекамеры обшаривали фюзеляж, гадая, какой из люков откроется первым. Дверь отошла в сторону на сложных своих шарнирах, и, вознесенная над людьми, в проеме возникла стюардесса. Почему же не подают трап? Ах, нужен ведь не трап, а подъемник для гроба. Встречают гроб, и он должен быть первым. И подъемник появился,— как крытый кузов грузовика, аккуратно сработанный, даже изящный со своими никелированными боками, прошитыми строчками заклепок. Родственники и друзья сенатора, не поспевшие к смертному ложу в госпитале «Добрый самаритянин», ступили на платформу подъемника. Она пошла вверх, к проему люка, к гробу и вдове, и в траурном свете прожекторов и юпитеров я увидел на платформе щеголеватые мужские фигуры и стройные ноги женщин в мини-юбках и мини-платьях.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

В поисках собственного лица

Выход в свет специального номера парижского журнала «Эроп», посвященного франкоязычной литературе Канады,— важный этап в изучении этой малоизвестной, но отмеченной бурным расцветом в последние десятилетия области мировой литературы.

На обложке номера название — «Литература Квебека»[1]. Поясняя его, редактор «Эроп» Пьер Абраам во вводной статье пишет:

«Первое, что пришло на ум, было «Франкоязычная литература Канады», но когда мы обратились к нашим канадским корреспондентам, они отнеслись к этому варианту сдержанно и предпочли ему «Литература Квебека».

Хотя этот заголовок, указывает Абраам, «подразумевает значение, выходящее за рамки литературы», однако он «соответствовал пожеланиям подавляющего большинства» франко-канадцев, одушевленных стремлением утвердить свои права как суверенной нации.

Материалы номера, подготовленные поэтом и основателем монреальского журнала «Либерте» Жан-Ги Пилоном и его сотрудниками,— общие статьи, конкретные исследования творчества отдельных писателей и поэтов, отрывки из их произведений,— вводят нас в сложный мир проблем франко-канадской литературы, созданный сплетением исторических обстоятельств, которые в значительной степени обусловили характерные особенности франко-канадского национального самосознания. Квебек, отстаивающий перед лицом англоязычного большинства американского континента свое право жить «по-французски»; самостоятельность франко-канадской культуры по отношению к французской культуре, несмотря на общий язык и традицию; трудности развития литературы в условиях господства патриархально-клерикальной идеологии, сковавшей общественную мысль отжившими представлениями; преломление в национальном сознании и отражающей его литературе борьбы, развернувшейся в 60-е годы в Квебеке против национального неравноправия и засилия католической иерархии,— таков круг вопросов, поднятых франко-канадскими поэтами, писателями, критиками и историками литературы на страницах «Эроп».

Что представляют собой современные франко-канадцы — потомки тех французских колонистов, которые в начале XVII века поселились в долине реки Св. Лаврентия, в середине XVIII столетия вынуждены были стать подданными британской короны, а затем на протяжении двух веков вели борьбу за свои национальные права?

«У Квебека,— пишет Жан-Ги Пилон в статье «Квебек и французский фактор»,— нелегкая судьба. Являя собой численное меньшинство по сравнению с остальной, англоязычной Канадой, испытывая давление громады Соединенных Штатов, проникающих во все сферы его жизни, Квебек пытается, худо ли, хорошо ли, сохранить свой язык, развить свою культуру, обрести свою собственную сущность».

Обстоятельства не благоприятствуют этому. С уходом в прошлое патриархального уклада исчезла прежняя замкнутость Квебека, сильнее стал — в условиях экономического и политического неравноправия франко-канадцев — натиск англоязычной культуры и американского образа жизни.

[1] Квебек — провинция Канады, в которой сосредоточено франкоязычное население страны.

«Житель Квебека,— продолжает Пилон,— постоянный объект агрессии... Он не контролирует своей экономики, которая находится в руках американцев, он располагает лишь ограниченными политическими правами, которые делают Квебек неполноценной национальной единицей».

Драматизм положения франко-канадцев на североамериканском континенте преломлен в статьях поэта Фернана Уэллета («И билингвизм?») и критика Жака Аллара («10 заметок о французском языке в Квебеке») через проблему языка. С точки зрения Уэллета, рассматривающего язык как средоточие всех социальных вопросов, выдвинутых действительностью Квебека, экономическое и политическое неравноправие франко-канадцев имеет следствием «лингвистическое отчуждение», угрожающее самому существованию франко-канадской общности. Так называемый билингвизм — это «социальное зло», сущность которого определяется «факторами, лежащими за пределами лингвистической сферы».

«У нас подросток на рынке труда... большей частью попадает на службу к тем, кто является иностранцем по отношению к его общности. Не только капитал (в Квебеке) имеет иностранное происхождение... но его непосредственные управляющие и персонал предприятия чаще всего принадлежат к другой лингвистической группе. Франко-канадец сталкивается с ситуацией полной национальной обездоленности... В такой обстановке даже человек, в достаточной степени владеющий французским языком, не сможет сопротивляться давлению англоязычной среды, осуществляемому с помощью множества сигналов, передаваемых сознанию и подсознанию посредством зрительных и слуховых представлений и ощущений.

В результате язык, изгнанный из практики повседневного общения и превращенный в инструмент, используемый исключительно для домашних нужд, деградирует, становясь свидетельством неспособности народа в данных обстоятельствах овладеть инструментом цивилизации и создать свою культуру.

Я убежден,— заключает свою статью Уэллет,— что если Квебек не станет одноязычным, он перестанет существовать. Речь идет не о том, чтобы перестать изучать второй язык, речь идет о том, чтобы вернуться к лингвистическому положению всех нормальных цивилизованных народов».

Однако Квебек и Канада — это лишь одна сторона национальной проблемы франко-канадцев, второй ее аспект — это Квебек и Франция. Отстаивая свою национальную самобытность от ассимиляции англоязычным большинством североамериканского континента, франко-канадцы в равной степени не расположены считать себя культурной провинцией Франции. И если они, подчеркивая свою самостоятельность на земле Америки, требуют, чтобы их литературу называли не франко-канадской, а квебекской, то в то же время, обращаясь к французским читателям, Ж.-Г. Пилон предостерегает:

«Не надо строить иллюзий на наш счет. Хотя в нас живы романские черты, мы не являемся европейцами. Мы — американцы... и гордимся этим».

С точки зрения Жоржа-Андре Вашона, журналиста, критика и историка литературы (статья «Трагические предшественники: Кремази, Неллиган»), разрыв Квебека с европейской традицией совершился в середине XIX века: в ту пору на смену общественному оживлению пред- и послереволюционных лет, увлечению идеями Великой французской революции пришел период католической реакции, когда, предавая анафеме «принципы 89 года, рационализм и материализм», духовенство утвердило свою роль политического и идеологического наставника народа.

«В это время,— отмечает Вашон,— церковь стала обладать исключительной монополией на высшее и среднее образование, ее контролю подчинялась вся сеть начальных школ, и не было ни одного печатного органа или библиотеки, которым бы удалось обмануть ее бдительность. Разрыв с Францией совершился — отныне все силовые линии франко-канадской культуры неизбежно пройдут через Рим».

Лишенная европейских корней, в условиях католической реакции франко-канадская культура вступила в период «застоя, простого стремления выжить, а также медленного истощения». Свидетелями этого «мертвого сезона» в духовном развитии франко-канадского народа, не сумевшего еще создать свою новую национальную сущность на земле Америки и привести в соответствие с условиями американской действительности образную структуру французского языка, Вашон считает О. Кремази и Э. Неллигана, талантливых поэтов XIX века, чей творческий путь продолжался всего несколько лет и трагически оборвался. Выделяя их на фоне остальной франко-канадской литературы, связанной с утверждением религиозно-патриархальной идеологии и в той или иной степени отмеченной плоским конформизмом, Вашон пишет:

«Будучи подлинными поэтами, свидетелями своего времени и своей земли, Кремази и Неллиган могли быть только поэтами отчуждения и отсутствия».

Стихи Кремази «неустанно изображали Канаду как место ущербного существования и смерти». Поэзия Неллигана, «все более чуждая стране и обществу, окружавшим

поэта, также с очевидностью обнажала несуществование французской Канады». Для Неллигана, продолжает Вашон,

> «подлинная жизнь целиком заключалась в книгах. Патетичность стихов Неллигана, возможно, объясняется именно тем, что мы одновременно ощущаем и то, сколь они книжны, и то, что они находятся почти на грани живой жизни. Но могла ли быть его духовная культура не заимствованной?»

Началом преодоления этого состояния «культурного отчуждения» Вашон считает 40-е годы XX века, когда в обстановке усиливающегося кризиса католической идеологии, вызванного процессами, происходившими в социально-экономической структуре франко-канадского общества, стремление поэтов Квебека освободиться от традиционных представлений и авторитетов и от связанных с ними поэтических форм и образов вылилось в увлечение сюрреализмом.

Сюрреализм, полагает Вашон, подвигнул франко-канадских поэтов на «разрыв с традиционными ценностями» и помог через разрушение привычных форм и словосочетаний адаптации французского языка к условиям американской действительности. Поэтому, если образная структура языка Кремази и Неллигана не несла примет национальной принадлежности, то у поэта поколения 40-х гг. А. Гранбуа образы отмечены печатью родной страны:

> «обширные водные пространства, протянувшиеся под суровым куполом ночного неба, усеянного звездами, озера, море, реки, перерезанные островами и отмелями, берега — все это воссоздано чрезвычайно отчетливо в словах, освобожденных от всякой повествовательной или описательной цели».

«Эра проклятых канадских поэтов» после второй мировой войны сменилась, таким образом, «временем слова» (название одного из поэтических сборников Ролана Жигера), попытками, отбросив всякую мистификацию в угоду господствующей идеологии, понять и отразить свою национальную сущность и тем способствовать становлению самосознания своего народа.

Статьи в «Эроп», посвященные современной поэзии Квебека, позволяют увидеть преломление в творчестве франко-канадских поэтов различных аспектов того, что воспринимается ими как национальная драма страны, неповторимо индивидуальное сочетание трагического сознания «отчуждения» своего народа, чувства национальной и личной униженности и обездоленности — с верой в будущее, в рождающееся завтра.

В стихах Анны Эбер обстановка затянувшейся диктатуры церкви и господства уже изжившей себя формы идеологии оборачивается ощущением невыносимости замкнутой и неподвижной атмосферы Квебека, темой власти мертвых уз и отнимаемой, отчуждаемой жизни (Р. Лакот, «Чувство обездоленности в поэзии Анны Эбер»).

В поэзии Гастона Мирона — основателя издательства «Эксагон», вокруг которого сплотились в 50-е гг. поэтические силы Квебека,— осмысление квебекской действительности и осознание ее как действительности, препятствующей развитию духовных сил народа и выработке национального и личного самосознания, рождает тему «жизни-агонии» (название цикла стихов поэта), отмечает поэт и историк литературы Жак Бро.

Тема будущего, тема открытия мира, свободного и братского, тема рождающейся страны, в которой должно все строить с самого начала и заново определять все ценности, вопреки трагизму сегодняшнего дня, становится основным лирическим переживанием поэзии Ж.-Г. Пилона, пишет критик Жак Бле.

Подъем национально-демократического движения в 60-е гг., сменивший десятилетия застоя в общественно-политической жизни Квебека бурным процессом ломки устоявшихся традиций, породил — в качестве одного из откликов — стремление к свободе и эксперименту в области поэтической формы. В статье о Рауле Дюгее Ж.-Г. Пилон, подчеркивая экспериментальный характер стихов молодого поэта, вступившего в литературу во второй половине 60-х гг., предостерегает, однако, от поверхностных суждений и внешних аналогий:

> «В поэзии Дюгея есть нечто большее, чем высокие формальные качества. Это круг тем, которые исследует поэт». Воспринятая от поэтов старшего поколения, звучит в стихах Дюгея тема страны — «стремление называть и узнавать свою землю, ощущать себя частью географического пространства». Тенденция, отмечает Пилон, «которую называли националистической, но которую я бы назвал сознательными поисками национальной сущности».

Специфика исторического развития Квебека обусловила сходные явления во франко-канадской прозе. Процесс высвобождения романа из-под власти традиционных представлений, иллюстрацией которых он служил почти с момента своего возникновения, преодоление застывшей умозрительной схемы, созданной в подтверждение господствующей идеологии, и обращение к реальной, меняющейся действительности, к реальному человеку шли параллельно с теми «поисками эстетического сознания — неуверенными, но благотворными и отмеченными рядом успехов»,— поисками, о которых пишет в статье «Роман на повороте к 40-м гг.» Р. Робиду.

Путь франко-канадского романа от канона 40-х гг. к 50-м гг. шел от создания социальных полотен, восстанавливающих истинный облик квебекского общества, к по-

пыткам психологически-углубленного отражения совершающихся общественных сдвигов во внутреннем мире франко-канадцев. В статьях Ж. Рено («Роман 1950—1960 гг.») и Ж.-Ш. Фалардо («Андре Ланжевен—романист») подчеркивается особое значение для этого периода развития франко-канадской прозы творчества Андре Ланжевена, в произведениях которого характерные мотивы одиночества, тоски, духовной обездоленности, смерти, метафизического бунта становились свидетельствами кризиса общественного мироустройства, сознания трагической безысходности положения франко-канадцев. Герой Ланжевена, пишет Фалардо,

> «живет в самой полной обездоленности, в тотальной анонимности. Как герой Кафки, он нуждается в другой жизни, как у героев Камю, его драма — это драма слепца, борющегося с отчаянием. Но и как герои Достоевского, он предчувствует пути возможного искупления; загнанный в лабиринт, он ожесточению ищет щели, в которые мог бы просочиться свет».

Сознательная установка на преодоление «отчуждения», поиски национального самовыражения, сопровождающиеся выходом за рамки обычных жанров и структур, характеризуют развитие франко-канадского романа последних лет. В посвященной ему чрезвычайно интересной статье Ж. Аллара («Роман 1960—1968 гг.») присутствует взгляд на произведение как на языковую структуру. Но поскольку, с другой стороны, язык рассматривается в Квебеке как средоточие всех социальных проблем, этот анализ эволюции жанра с точки зрения языковых особенностей отнюдь не оказывается изъятым из сферы истории.

По мнению Аллара, 1960 год — это не произвольная граница в развитии франко-канадского романа, но тот рубеж, после которого окончательно отошла в прошлое эпоха

> «молчания, терпения, простого желания выжить» и настало время, когда «вся страна... внезапно ощутила непреодолимую потребность свободного слова». В эти годы «франко-канадский роман, продолжая держаться своих социологических корней... покидает изборожденные берега истории, чтобы соответствовать современной действительности в своем невиданном тематическом и техническом расцвете».

Аллар особо выделяет в развитии канадского романа 60-х гг. опыт писателей, связанных с журналом «Парти При» (Ж. Рено, Л. Жируар, А. Мажор, К. Жасмен и др.). Отказавшись от норм литературного французского языка, не выработанного, с их точки зрения, народом Квебека, но заимствованного извне, они обратились к так называемому «joual»[1] — искалеченному, обедненному в результате лингвистического натиска английского языка, наречию городских рабочих. Используя «joual», писатели «Парти При» не только стремились обнажить обстоятельства квебекской действительности, препятствующие развитию национальной культуры, но и,

> «спустившись в Аид нашего существования, пытались вывести оттуда Эвридику франко-канадской сущности. Никогда не встречали мы в короткой истории нашей литературы подобной воли до глубины сродниться с судьбой реального квебекского человека, предоставив ему, наконец, слово, которое действительно является его словом, отягощенным трудностями и недовольством, неистовое и улыбающееся, каким оно может быть только благодаря позитивности революционной перспективы».

Являясь определенным этапом в сложном процессе поисков национального пути развития, этот утрированный лингвистический «реализм» не был длительным, однако он способствовал разрушению пиетета по отношению к «правильному», «асептическому» французскому языку и утверждению свободного творческого владения языковой стихией.

На этой основе, а также на основе свободного использования — не пренебрегая опытом «нового романа» — всех структурных компонентов романной формы возникают произведения второй половины 60-х гг. Но взрыв формальных новаций неизменно сочетается во франко-канадской прозе с интересом к общественному бытию. Опираясь на опыт Ж. Годбу («Нож на столе») и Ю. Акена («Ближайший эпизод»), Аллар возражает тем, кто захотел бы увидеть в их произведениях «вопреки откровенным намерениям авторов» новый роман «французского типа». Аллар полагает, что понять «новый квебекский роман» можно, лишь рассматривая его в контексте «новой истории литературы деколонизации».

Так — в противоположность устоявшейся во французской критике тенденции рассматривать франко-канадскую словесность на основе внешних аналогий с литературой французской — раскрывается на страницах «Эроп» подлинный облик литературы Квебека во всей ее захватывающей неповторимости — с ее печалью, гневом и бунтом, с ее отчаянными, страстными, неистовыми поисками собственного лица, нежной и горькой любовью к своей еще «не состоявшейся» стране, мечтой о будущем, в котором все стало бы иначе.

Н. ВАННИКОВА

---

[1] Искаженное французское слово cheval (лошадь).

Эфир и национальная культура

Какое место в жизни канадцев занимают национальное радио и телевидение? Какую роль они играют в развитии национальной культуры страны? Этим вопросам была посвящена обширная статья, опубликованная недавно в литературном приложении к английской газете «Таймс». Автор статьи Джо Меджук не ставит своей целью дать исчерпывающий анализ взаимоотношений культуры и средств массовой информации в современном капиталистическом обществе. Однако кое-какие наблюдения и выводы автора представляют интерес. Они знакомят читателя с некоторыми особенностями культурной жизни Канады и возникающими в связи с этим проблемами.

«Ни в одном другом просвещенном обществе,— заявляет Меджук,— средства электронной связи не играют столь важной роли в развитии национальной культуры, как в Канаде... И не исключено, что на теории Маршалла Маклюэна[1] оказал влияние, хотя бы частичное, тот факт, что этот известный оракул является канадцем».

Чем же объясняет автор статьи особое значение радио и телевидения для Канады? В первую очередь — спецификой географических условий страны: на площади, почти равной территории США, проживает в десять раз меньше людей. Если Британской радиовещательной корпорации (Би-би-си) в Лондоне достаточно одной телевизионной станции, чтобы обслужить приблизительно 4,5 млн. семей, имеющих телевизионные приемники, то Канадской радиовещательной корпорации (Си-би-си), чтобы донести свои передачи до 5,5 млн. канадских семей, требуется 273 станции.

Вторая и значительно более важная причина выходит за рамки географических и технических понятий и, по мнению автора, затрагивает важнейшие вопросы самого существования Канады как независимого и суверенного государства.

«Для большинства канадцев радио и телевидение являются главными источниками информации о том, что происходит в стране,— пишет Меджук.— Канада никогда не имела ничего похожего на общенациональное издание. И хотя некоторые журналы присваивают себе этот почетный титул, ни один из органов печати не имеет на это законного права».

Может показаться странным: такая развитая в промышленном отношении страна — и ни одного печатного органа, имеющего общенациональный характер. Но это действительно так. Больше того, в любом крупном городе или центре провинции издается своя газета, а то и несколько газет. Но если, например, будучи в Монреале, вы захотите прочесть свежий номер, скажем, из Торонто или Ванкувера, это окажется не таким простым делом. Многие канадцы остро ощущают ненормальность подобного положения, но находятся и такие, кто называет национальными органами печати американские журналы «Тайм» и «Ридерс дайджест»: они-то продаются в любом киоске.

Но и этому тоже не стоит удивляться. Чего же можно ожидать от рядовых канадцев, если само правительство лишь на том основании, что в «Тайме» имеется специальная 4-страничная вставка, посвященная Канаде, и что канадское издание печатается в Монреале, рассматривает этот журнал и по аналогичным причинам «Ридерс дайджест» как канадские органы печати. Это освобождает их из-под действия закона, ограничивающего публикацию канадской рекламы в иностранной прессе.

«Деньги, расходуемые в непропорционально больших размерах на рекламу в Канаде,— пишет Джо Меджук,— нашли путь в казну американских компаний, что, естественно, наносит финансовый ущерб национальным издательствам... тормозит развитие национальной культуры, способствует распространению американского влияния на все области общественной и культурной жизни страны.

Национальная вещательная система,— считает Меджук,— была создана главным образом с целью противодействия этому влиянию, чтобы радио и телевидение могли избежать участи печатных средств информации. Так же как создание конфедерации десяти бывших английских колоний, известных теперь как Канада, стало в свое время возможным благодаря строительству трансконтинентальной железной дороги, продолжение существования конфедерации оказалось возможным благодаря сооружению трансконтинентальной радиовещательной системы».

Эта мысль автора подтверждается и документами. Средства электронной связи с самого их зарождения рассматривались в Канаде как важные факторы утверждения национальной самостоятельности и противодействия процессу американизации страны. При создании Канадской радиовещательной корпорации (национальная радиовещательная сеть существует с 1936 года, телевизионная — с 1952 года) указывалось, что ее передачи должны быть «преимущественно канадскими по содержанию и характеру, должны служить потребностям Канады и способствовать национальному единству». По правительственному распоряжению Си-би-си, как и все другие вещательные станции, должна в первую очередь использовать свои национальные творческие силы и минимум 55% программ должны иметь «канадское содержание».

[1] Канадский социолог, называющий себя «верховным жрецом электронных джунглей», автор книг о роли средств массовой информации в современном обществе.

Судьба канадской культуры складывалась таким образом, что радио и телевидение оказались чуть ли не единственной базой для развития литературы, искусства, театра, кино.

Как отмечает Джо Меджук, Си-би-си до сих нор является местом работы большинства творческих работников страны.

«Роль Си-би-си в культурной жизни Канады,— продолжает он,— выходит далеко за пределы использования канадских актеров, драматургов, музыкантов и других деятелей искусства... В течение ряда лет Си-би-си является источником доходов для писателей, поэтов, критиков и комментаторов, которые могли бы, вероятно, писать книги, если бы в издательской промышленности страны существовала более здоровая обстановка... С созданием телевизионной сети корпорация является основной базой для развития канадской кинопромышленности». Что же касается искусствоведов, публицистов и ученых, то «они для публикации своих работ по-прежнему вынуждены обращаться в американские, английские и французские органы печати».

Однако, несмотря на довольно широкое развитие радио и телевидения, угроза американизации нависла и над ними. Естественно, эта проблема все больше и больше беспокоит общественность страны.

«Главная конкуренция, с которой приходится сталкиваться как Си-би-си, так и частным вещательным станциям,— пишет Джо Меджук,— исходит от американских телевизионных станций, расположенных недалеко от границы. Появление систем «кабловидения» (трансляция передач по кабелю) скоро приведет к тому, что американские станции будут иметь доступ к большинству канадцев, имеющих телевизионные приемники. Однако американское влияние этим не ограничивается: наиболее популярными программами на английском языке, которые можно видеть по всем канадским телевизионным каналам, включая и каналы Си-би-си, все чаще оказываются программы, подготовленные в американских телевизионных центрах».

В меньшей степени, по мнению автора, подвержено американскому влиянию вещание на французском языке. Но, к сожалению, отмечает он, из-за того, что лишь небольшое число канадцев свободно владеет обоими языками, мало кто может сравнивать качество английских телепередач, идущих на всю страну, и французских, передающихся в провинции Квебек и в северной части провинции Нью-Брансуик, где в основном проживают 6 млн. франко-канадцев. Те, кто может это делать, утверждает Джо Меджук, неизменно отдают предпочтение вещанию на французском языке. В связи с этим он делает интересное наблюдение:

«Если Си-би-си потерпела неудачу в осуществлении своей цели объединения Канады, то это в первую очередь неудача в сближении французской и английской культур».

Было бы ошибочным думать, что в Канаде существует полное единодушие относительно роли национального радио и телевидения. Если говорить об общественности страны, о рядовых гражданах, то не может быть сомнения в их стремлении укрепить подлинную независимость и суверенитет Канады, создать наилучшие условия для развития национальной культуры. Но существует и другая тенденция. Крупный капитал, тесно связанный с американскими монополиями, когда открыто, а когда завуалированно действует в направлении дальнейшей американизации Канады, всех сторон ее жизни. Эта борьба затрагивает и радио и телевидение. Она дает о себе знать и в парламенте, поскольку Си-би-си непосредственно ему подотчетна, она отражается и в позиции рекламодателей, которыми являются главным образом крупные промышленные и финансовые компании. Как отмечает Джо Меджук,

«многое из того, что делает Си-би-си, встречает неодобрение парламента, где всегда находятся деятели, считающие поддержание вещательной сети пустой тратой средств налогоплательщиков, а радио и телецентры — пристанищем радикалов, разлагающих нацию... Различные группы и отдельные лица постоянно пытаются оказывать давление на политику Си-би-си».

Можно только сожалеть, что автор статьи обходит стороной вопрос о главных направлениях этого давления. Ведь каково бы ни было значение радио и телевидения для развития национальной культуры, они в первую очередь являются мощным оружием политической пропаганды, и канадскому народу совсем не безразлично, в чьих интересах используется это оружие.

Если с этой точки зрения посмотреть на деятельность радио и телевидения в Канаде, то невольно бросается в глаза, что средства информации находятся под огромным влиянием пропагандистской машины американского империализма и действующих вкупе с ней сил крайней реакции в самой Канаде. Но, идя на поводу у пропагандистских служб Вашингтона, радио и телевидение Канады вряд ли сможет успешно выполнить свою задачу, официально определенную при создании Си-би-си,— «быть преимущественно канадскими по содержанию и характеру и служить потребностям Канады».

В. КОЗЬЯКОВ

НАШИ ГОСТИ

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР: РОМАНИСТ И ЕГО МИР

В беседе с одним из крупнейших романистов не только Кубы, его родины, не только Латинской Америки, его континента, но и современной мировой литературы — Алехо Карпентьером, посетившим нашу редакцию, вполне естественно, возник вопрос о судьбах романа в наши дни.

— Проблема романа сама по себе меня, собственно, не тревожит...— сказал писатель, романы которого «Царство земное», «Потерянные следы», «Век просвещения», переведенные на русский язык, завоевали популярность и в Советском Союзе.— К тому же у нас, в Латинской Америке, такой проблемы вообще не существует. На Западе, где много говорится о «кризисе», о «смерти» романа, уже признали — и мне, занимающему пост посланника-советника по делам культуры посольства Кубы в Париже, приходится часто читать и слышать об этом,— что латиноамериканский роман теперь обосновался в первом ряду литературы мира. Так оценили читатели и критика, так оценили издатели, выпускающие даже специальными сериями книги латиноамериканских авторов. Литературоведы на Западе дискутируют: чем объяснить успех — иногда его неправильно называют «бумом» — латиноамериканского романа. По-моему, просто возрастает число писателей Латинской Америки, сознающих свои задачи перед обществом, перед народом и создающих произведения, которые отвечают требованиям времени, интересам народа, активно борющегося за лучшее будущее... Так что, повторяю, судьба романа не вызывает тревоги, другое дело — проблема романиста...

— Проблема романиста?

— Сегодня перед романистом встают весьма сложные задачи, все более сложные и трудные. Я уже не буду говорить о вполне понятной политической и социальной стороне проблемы. Это важно, но это ясно. Хочу сказать о другом, и тоже важном. Ныне, в эпоху бурно развивающейся научно-технической революции, романист вынужден останавливаться у порога неведомого ему царства науки и техники, и на пути писателя, задавшегося целью отразить в своем произведении жизнь и судьбы уже значительного контингента современников, встречаются серьезные барьеры... Наука и техника ввели в оборот новый язык, пока еще, как правило, трудно постижимый, а то и совершенно непонятный большинству писателей — разумеется, я не говорю о тех литераторах, которые так или иначе связаны с областью научно-технических знаний, но, впрочем, даже они чаще выступают сторонними наблюдателями. Во всяком случае, например, среди героев нашего времени — космонавтов — мы еще не видели ни одного писателя, а кто же лучше космонавта-писателя или писателя-космонавта сможет в художественном произведении ввести нас, обычных читателей, в этот невообразимый, фантастический мир? Об этом мире поныне мы знаем лишь кое-что из весьма скупой газетной и журнальной информации. А что писатели могут сказать о полетах космонавтов? Кроме общих фраз и нескольких терминов — ничего. Кроме восклицаний, передающих наше искреннее восхищение,— ничего! Космонавт — такой же человек, как все, но он обладает знаниями чего-то, что находится далеко за горизонтом писателя. И беседа с космонавтом не поможет воссоздать его духовный мир, его переживания, его впечатления в полном их объеме — краски будут не те. Можно назвать и многие другие области современной жизни, где

писатель вынужден капитулировать. Можно позавидовать Шекспиру или Бальзаку — они знали все, что их окружало и о чем они писали. Не позавидуешь современному романисту, который отстает от своих читателей, живущих чем-то новым.

— Какие еще проблемы, в творческом плане, возникают, по вашему мнению, перед романистом?

— В мировой литературе ныне происходит своеобразная реформа художественного произведения. Речь идет не о чем-то абсолютно новом, о полном ниспровержении установившихся норм. Происходит закономерный процесс. Бросив ретроспективный взгляд на историю наших литератур, мы найдем, что подобные процессы наблюдались и ранее. Литература никогда не оставалась застывшей, окаменевшей. Она живет и будет жить, как живет и будет жить роман. Однако сегодня уже трудно писать роман по тем «рецептам», по каким создавался он, предположим, два или три десятка лет назад, не говоря о более раннем времени. А диалог персонажей? Если сегодня построить его так, как он строился не только двести, а те же двадцать-тридцать лет назад, то прозвучит он искусственно, даже фальшиво. В структуре диалога наших дней кроется какой-то другой механизм, отличный от прежнего. В диалог наших дней, если прислушаться, порой вплетаются те или иные подсознательные элементы, рождается иная ассоциация идей... Друг с другом мы говорим зачастую незаконченными, но вполне понятными для собеседника фразами, в бытовой речи недомолвка заменяет полную фразу. Стал динамичнее, конденсированнее язык нашего современника. Таким образом, выдвигается проблема языка, структуры фразы-предложения, художественной формы произведения. И все же, независимо от языка века новой техники, который, возможно, мы постигнем завтра, романист сегодня располагает огромными возможностями создавать художественное произведение, пользуясь современным повседневным языком. Важнее — чему он посвятит слово, свой талант. И как скажет, как выразит мысль. В экспериментах много дорог, но не каждая ведет к успеху. И, пожалуй, правильнее говорить не о «кризисе» жанра романа, а о кризисе того или иного конкретного романиста.

— Каковы наиболее характерные черты развития современной кубинской литературы?

— Главный поток — произведения, непосредственно вдохновленные революцией. Это очень жизненное, набирающее силу течение, особенно в поэзии, в драматургии. Часть писателей — преимущественно старшего поколения,— придерживаясь традиционных литературных канонов, стремится теснее связать свое творчество с революцией. Более молодые, воспевая революцию, ищут новые формы выражения — по их убеждению, литература должна обновляться в революционном темпе, поскольку прежними изобразительными средствами труднее отражать новую жизнь, новую революционную тематику. Роль писателя в нашей революции, придавшей новый смысл нашим судьбам, неизмеримо возросла, как неизмеримо возрос в массах интерес к книге. Наши писатели не ограничиваются историческими хрониками. Перед нашими писателями большая задача — показать процесс формирования нового человека. Произведения на эту тему уже есть, но, правда, пока не самые удачные. Бесспорно, революция вызвала к творческой деятельности свежие силы, и, нет сомнения, еще будут созданы эпические произведения о первой на американском континенте социалистической революции.

Карпентьеру напоминаем, что когда он был в нашей редакции — уже почти десять лет назад,— то рассказывал о своих творческих планах, в частности, о задуманном романе о кубинской революции...[1]

Писатель широко улыбается и предупреждает вопрос:

— Задуманного много. Что-то уже на бумаге. А революция выдвигает еще больше тем, одна интереснее другой. Темп революционных свершений, событий, перемен не замедляется — и в этом трудность для писателя, конечно, приятная трудность. Мы осуществляем революцию, и нам, писателям, участвующим в переустройстве жизни нашей страны, видимо, все еще не хватает времени, чтобы описать революционные свершения. Работа над таким литературным произведением, как роман, требует от автора очень многого, в том числе и времени... Я работал над романом, его я условно называл «Год 59». 1959 год — год нашей победы, кардинальный год нашей истории. Задуман этот роман как первая часть трилогии. Это было несколько месяцев спустя после вступления в Гавану Повстанческой армии под командованием Фиделя Кастро. Об этом моем замысле я и рассказывал, очевидно, в прошлый раз, хотя тогда, по-видимому, у будущего романа еще не было названия «Год 59»... Но революционный процесс настолько быстро развивается, что сегодня даже тот год кажется далекой предысторией. С тех пор столько произошло у нас событий! Даже Плайа-Хирон кажется чем-то давним... Я пришел к мысли, что в романе уже нельзя будет останавливаться на первом годе существования революционной Кубы, и отказался от первоначального замысла написать роман-хронику. Кое-какие «заготовки» для книги «Год 59» я использую в романе «Серебряные гости». По сути это будет совсем иное произведение. Название иронично, в некой степени оно перекликается с «Каменным гостем» Пушкина, с творениями старой испанской драматургии, с Тирсо де Молиной, но перед читателем предстанет не Командор... Действие романа происходит в Гаване, в последние дни диктатуры Батисты. Во дворце графини де Ревилья Камарго собрались гости — «столпы» великосвет-

[1] См. «Иностранную литературу» № 7, 1961 г.

ского общества буржуазной Кубы, враги кубинского народа... Такова завязка. Роман, в котором я отхожу от присущей моим прежним произведениям «магической реальности» — когда действительность тесно переплеталась с народными мифами,— потребовал большой работы...

— А когда можно будет его прочесть?

— Вероятно, в недалеком будущем...

Писателя, конечно, можно понять. Будучи исключительно требовательным к своему литературному труду, Алехо Карпентьер чрезвычайно тщательно, чуть ли не ювелирно отделывает все созданное им, и время в счет не идет. Как-то он вспомнил о своих рассказах, написанных уже давно, но не увидевших света,— «автор должен обладать мужеством дать пожелтеть кое-каким своим страницам, пусть они покрываются пылью, несмотря на то, что ему стоило немалых усилий их написать». Роман «Потерянные следы» полностью был переписан трижды; главу о разрыве Софьи и Виктора Юга в «Веке просвещения» автор переделывал пятнадцать раз. Суровой критике он подвергал свой первый роман «Экуэ Ямба-О», принесший автору еще в начале тридцатых годов широкую литературную известность: этот роман, говорил Карпентьер, «представляет собой, пожалуй, неудачную попытку вследствие чрезмерного обилия метафор, повторов, образов дурного футуристского вкуса и вследствие той фальшивой концепции национального, которая тогда господствовала в умах людей моего поколения. Вместе с тем не все заслуживает порицания в этом романе» (сходную мысль он высказывает и в своем сборнике эссе «Пробные аккорды и модуляции»).

Романисту дорога историческая правда, правда современной жизни. Касаясь своей работы над «Царством земным», Карпентьер предупреждал: «...книга, которую вы прочтете, основывается на достовернейшей документации — не только сохранена историческая правда о происшедшем, не только воссозданы образы исторических лиц, включая второстепенных, а также названия селений и даже улиц, но под внешней оторванностью от определенных лет таится тщательное сопоставление дат и событий». А ведь на какой-то сотне страничек, занявших у писателя пять лет труда, в «Царстве земном» воспроизводится примерно шесть десятков лет истории Гаити — от второй половины XVIII века по двадцатые годы XIX века — в рамках жизни одного человека, негра-раба, героя романтичнейшего повествования! Автор предисловия к французскому изданию того же «Века просвещения» должен был засвидетельствовать: «Поражает точность и кропотливость до мелочей в документации, несомненно впервые подобранной Алехо Карпентьером. Его книгу, очевидно, можно представить как труд историка, но ни на мгновение она не перестает быть романом». Роман «Век просвещения», как известно, более объемен и более сложен по своей композиции, чем предыдущие произведения Карпентьера, однако он отмечал, что этот роман «писать было легче», хотя писателю пришлось провести немало серьезных, трудоемких исследований, приведших к интересным открытиям, о которых идет речь в книге. Любопытно, что читатель, взявший в руки этот роман, сразу не сможет установить, когда же происходит его действие. В первых ли годах нынешнего века? Ведь герой произведения едет на конном экипаже. Или в 1915, в 1917 годах? Упоминаются европейская война и «революционные события в Европе». А кроме того — темы размышлений персонажей: и «подавляющий прогресс Соединенных Штатов», и литературные споры в Париже, и скачки в Эпсоме, поныне собирающие английскую аристократию... Еще до публикации «Века просвещения» Алехо Карпентьер сообщал в письме автору этих строк: «Вы первый человек, которому я это поверяю,— моя книга написана таким образом, что читатель не должен отдавать себе отчет о времени действия примерно до сто пятидесятой страницы (имеется в виду рукопись.— **Юр. Д.**), полагая, что он читает роман из современной жизни, тогда как здесь — французская революция на Антильских островах». Что это — эксцентрический прием романиста? Думается, нет. Скорее это вызвано следующим — писатель подчеркивает, что тема романа не замыкается в границах какого-то определенного исторического периода. Философская идея «Века просвещения», по мысли писателя, такова же, как и «Царства земного»: борьба человека за создание на земле лучшего, более справедливого мира. И фактор времени отходит на второй план, как это уже было в ранней новелле Карпентьера «Подобный ночи», в которой автор свободно, как стрелку часов, переводит внимание читателя из одной эпохи в другую; пять повествователей из разных эпох истории человечества, последовательно и каждый выступая по-своему, развенчивают милитаризм и агрессию. «Мне иногда говорят,— отвечал Карпентьер перуанскому писателю Марио Варгасу Льосе,— что «Век просвещения» — это исторический роман. Я не считаю его историческим. Скажу больше, главные персонажи этого романа живут в настоящее время в Гаване». Симптоматично, что даты рождения кубинской революции и романа «Век просвещения» совпадают, как будто писатель видел картины донесшейся до Антильских островов, до Кубы, революции XVIII века через призму назревавших на Кубе середины XX века революционных событий.

Беседы с таким художником слова, одним из творцов новой латиноамериканской литературы, как Алехо Карпентьер, позволяют в той или иной степени проникнуть в его святая святых — в творческую лабораторию. А творческая лаборатория Карпентьера поистине велика, как и энциклопедичны его знания. Нельзя не согласиться с суждением виднейшего литературоведа, ныне директора Института литературы и

лингвистики Академии наук Кубы Хосе Антонио Портуондо: «Проза Карпентьера выделяется невиданным богатством слова, расцветшим на почве высокой культуры писателя, его глубоких познаний в области музыки, архитектуры, эстетики и всего того, что составляет фундамент культуры вообще».

Творчеству Карпентьера посвящено много исследований латиноамериканских, французских, английских, итальянских и других литературоведов. Основываясь на том факте, что Карпентьер известен и как авторитетный музыковед (ему принадлежит труд «Музыка на Кубе», а также ряд композиций, партитуры к двум балетам на народные темы), один из исследователей пришел даже к такому выводу: литературные произведения Карпентьера написаны в соответствии со структурой музыкальных произведений; таким образом, «Царство земное» воспринимается как рапсодия, «Потерянные шаги» — симфония, «Век просвещения» — опера. А что думает об этом писатель?

— Я изучал музыку, как и архитектуру... Считаю, что каждому писателю должно быть близко знакомо какое-либо, так сказать, параллельное искусство, поскольку такого рода дополнительные познания неизмеримо обогащают духовный мир писателя. Конечно, музыка так или иначе присутствует во всем моем творчестве. В «Веке просвещения» Карлос не расставался с флейтой. Главный герой «Потерянных шагов» — композитор. «Погоня» построена в форме сонаты: первая часть — экспозиция, три темы, семнадцать вариаций и заключение, или кода. Внимательный читатель, знающий музыку, может легко проследить это развитие.

Кстати, о «Погоне». Карпентьер не опровергает предположение другого исследователя его творчества, что существует некое соотношение между композиционным строением Третьей, «Героической» симфонии Бетховена и развитием сюжета «Погони», хотя и не подтверждает, что именно так было им задумано. Действие этой повести — сюжет навеян событиями на Кубе в период диктатуры Мачадо — происходит в течение того времени, когда длится концертное исполнение «Героической»: главный персонаж слышит ее начало на первых страницах повести, и финальные аккорды совпадают с последними мгновениями его жизни на последних страницах повести.

Жизненная значимость темы, воплощение серьезной философской идеи, что вообще характерно для симфонии как жанра, отличают литературное творчество Карпентьера.

— Меня не привлекали отдельные, изолированные конфликты, скажем, между А и Б,— говорит писатель.— В равной степени меня не привлекало написать о любви, скажем, между А и Б или между А, Б и В — и только. Предпочитаю большие темы, широкие народные движения. Именно они придают отдельным персонажам и всему сюжету особое богатство, полнокровие и полноценность.

И в каждом его произведении — человек и мир; судьба отдельного человека неразрывно связывается с судьбой народа, с историческими событиями, с важнейшими философскими, творческими проблемами.

— Теперь я начинаю писать мемуары,— продолжает Карпентьер,— правда, это будут воспоминания без соблюдения хронологической последовательности. Расскажу о городах, пейзажах, о писателях, о композиторах, о художниках, о друзьях... Федерико Гарсиа Лорка, Робер Деснос, Поль Элюар, Диэго Ривера, Пабло Пикассо, Илья Эренбург, с которым я много раз встречался, другие... расскажу о французском сюрреализме, к которому я принадлежал, даже сотрудничал в журнале «Сюрреалистская революция», а потом отошел, убедившись, что нет смысла отдавать силы сюрреализму, и поняв, что лучше их посвятить нашим латиноамериканским делам... Некоторые главы уже написаны, но публиковать их отдельно я не буду. Нужно читать все в целом, иначе будет выглядеть фрагментарно. Не окажется места в моих мемуарах для описаний детства, юности, школьных лет — по-моему, подобные исповеди всем надоели. Моя книга не следует традиционным мемуарным канонам, тем не менее она не будет походить на «Антимемуары» Мальро, к слову сказать, цитирующего крупные куски из своего неизданного...

Алехо Карпентьеру, которому за шестьдесят пять и который насчитывает уже почти полвека литературной деятельности, бесспорно, есть о чем порассказать. «Поколение, появившееся на нашем континенте в двадцатых годах,— говорил Карпентьер в докладе на Первом конгрессе писателей и деятелей искусств Кубы,— это поколение, в высшей степени озабоченное политическими и социальными судьбами Латинской Америки. Нужно ли напоминать, что имена Рубена Мартинеса Вильены, Хулио Антонио Мельи, Хуана Маринельо, Николаса Гильена — что касается Кубы — начали звучать между 1920 и 1930 годами?» Алехо Карпентьер, вполне естественно, не назвал себя, но его имя по праву должно быть среди этих имен. Писатель, надеемся, расскажет в своих мемуарах и о том, как он еще в двадцатых годах участвовал в борьбе против кровавой диктатуры Мачадо, этого «Муссолини тропиков», по выражению Хулио Антонио Мельи... и о том, как за антидиктаторские выступления его семь раз арестовывали — даже свой первый роман «Экуэ Ямба-О» он начал писать в тюрьме!..— и о том, как, будучи условно освобожденным из заключения, вместе с Хуаном Маринельо он основал прогрессивный журнал «Ревиста де авансе»... и о том, как с помощью Робера Десноса — французского поэта, будущего участника Сопротивления во Франции и будущего узника гитлеровского концлагеря Терезин, спасенного Советской Армией друга, которому Карпентьер позднее посвятит проникновенные строки очерка «Человек-Поэт»,—

ему удалось выбраться из-под надзора полиции Мачадо и выехать во Францию, выдав себя за... Робера Десноса!.. Спору нет, внимание читателя не могут не привлечь такие эпизоды: когда в редакции выходившего много лет назад в Париже журнала «Иман» Рафаэль Альберти рекомендовал Карпентьеру обратить внимание на новое явление в литературе: «На Яве есть очень интересный поэт, которого зовут Пабло Неруда» и передал ему книгу «Местожительство — Земля» еще малоизвестного чилийского консула в Батавии, посвящавшего свою жизнь поэзии... и когда Карпентьер участвовал в работах происходившего на испанской земле Конгресса писателей в защиту культуры от фашизма и под бомбами франкистской авиации в Валенсии случайно познакомился с Матэ Залкой, легендарным генералом Лукачем, поразившим его своим бесстрашием перед опасностью... Разве не интересно узнать, как среди руин дворцов Гаити и в дебрях Венесуэлы, на Гваделупе и Барбадосе рождались замыслы его знакомых нашему читателю произведений... как писатель встал под знамя кубинской революции?..

Но не будем опережать события — подождем его мемуары. Тем более...

Тем более, что пребывание писателя в Москве натолкнуло его еще на один творческий замысел:

— Я ведь не турист, всюду езжу, но всегда со мной работа — уже начатая или та, что возникает.

Здесь, в Москве, он начал писать роман о человеке, тщетно пытавшемся в наше время отыскать на земле «тихую гавань», где можно было бы переждать эпоху бурных революционных событий. Такую «тихую гавань» персонаж будущего романа, не приняв Октябрьскую революцию в России, рассчитывал найти на Кубе, воспетой поэтами и туристскими путеводителями «жемчужине Антильских островов», но и там народ поднялся на борьбу, решительно строит новый мир...

Много творческих идей у этого неутомимого, удивительно энергичного писателя. Карпентьер, по его словам, не мыслит жизни без творческого труда, а в жизни он видит прекрасную возможность как можно больше сделать для Человека.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

СВЕТ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Современная английская новелла. Перевод с английского. Предисловие В. Скороденко. Составители В. Скороденко и Д. Шестаков. Редактор Н. Кристальная. Москва, «Прогресс», 1969. 494 стр.

«У нас такой порядок... если с кем что случилось, так мы из-за одного не задерживаемся»,— объясняет герой рассказа Сида Чаплина «Загородные ребята». Это почти девиз. И не только для гоняющих на мотоцикле озлобленных подростков. Двадцать три рассказа девятнадцати писателей включены в сборник «Современная английская новелла», и чуть ли не в каждом кто-то действует по принципу — «не задерживаться из-за чужой беды».

Сколько же их, не останавливающихся ни перед чем на пути к цели? Кто они? Мистер Спирс, убийца своего компаньона, из рассказа Джона Кольера «Ночной кошмар»; командор Макларен — убийца — в рассказе «Испанский сундук» Агаты Кристи; Джордж — убийца... (Мюриэл Спарк, «Портобелло-роуд»). Мать и гувернантка маленького Фрэнсиса Мортена, повинные в его смерти, в «Конце праздника» Грэхема Грина. Жизнерадостные влюбленные на катафалке с телом «третьего лишнего» из «Чувства юмора» В. С. Притчетта. Герой рассказа Элизабет Боуэн «В объятия Чарльза», преуспевающий банкир, не нуждающийся в убийствах, но способный на все. Таковы и «выбившиеся в люди» супруги Ранка в «Квартире на крыше» Уильяма Трэвора. Таков, в сущности, и член парламента мистер Долби, для которого мнения, взгляды, интересы других людей просто не существуют (Фрэнсис Кинг, «Клочок земли чужой»).

Нет, они совсем не похожи, эти герои и ни в какой мере не «переходят» от одного автора к другому. Но все они живут по одному общему закону — закону выживания приспособленных, закону успеха, закону хищнического эгоизма.

Ну а другие, те, кто «задерживается, если с кем что случилось»? Уцелели они в том жестоком и страшном мире, который открывает читателю современная английская новелла? Да, подобные люди есть — добрые, честные, самоотверженные. Такие, как самозабвенно отдающая жизнь ближним своим Фрэнси в «Удачном помещении капитала» Джойса Кэри; как беззаветно преданные друг другу и жертвующие собой ради старой матери Эдна и Билл из рассказа Г. Э. Бейтса «Его девушка»; как мать Чарли и старушка-попутчица в рассказе Дорис Лессинг «Англия и Англия»; как паренек, который не оставил товарища в трудную минуту, в «Загородных ребятах» Сида Чаплина. Примечательно, что, как правило, эти добрые люди — жертвы и неудачники. Но— утверждают их создатели — от них исходит свет, свет человечности. «Стройная ароматная свечка (цветок — *М. Г.*), чистая и белая как снег, освещала тьму вокруг»,— заключает свой рассказ Г. Э. Бейтс.

Не делая никаких уступок иллюзиям «наказанного порока и торжествующей добродетели», раскрывая ту горькую истину, что подлинная нравственность и жизненный успех противоположны друг другу и несовместимы в современном буржуазном мире, писатели-гуманисты в то же время подчеркивают красоту высоких нравственных начал. Существенно, что эту нравственную силу и красоту они чаще всего находят в «другой Англии», Англии трудовых людей, противостоящей Англии преуспевающих буржуа.

Такова наиболее общая линия, объединяющая тенденция английской социально-психологической новеллы, в основном представленной в сборнике.

В «Современной английской новелле» читатель встречает и знакомые и новые имена.

Одно из центральных мест в книге занимает повесть (вернее, роман) «Театр» Сомерсета Моэма. «Театр» — повесть о жизни

в искусстве, о роли искусства в жизни — последнее крупное художественное произведение этого признанного и популярного мастера английской прозы. Новые стороны творчества Грэхема Грина открывают его рассказы, помещенные в сборнике. Продолжается знакомство с авторами английского «рабочего романа» Аланом Силлитоу и Сидом Чаплином, с неоднократно переводившейся Дорис Лессинг, известной главным образом произведениями, направленными против колониализма и расизма.

Рассказы Эвелина Во дополняют ту блистательную и жестокую сатиру, с которой познакомил русского читателя журнал «Иностранная литература» [1]. Одна из вершин сборника — рассказ Джойса Кэри «Удачное помещение капитала». Роман Кэри «Из любви к ближнему», содержащий психологически-сатирический портрет английского буржуазного политического деятеля, был переведен на русский язык, но творчество этого своеобразного и сильного художника заслуживает более широкого ознакомления с ним. Роберт Грейвз, уже представленный как поэт и взрослым («Стихи о любви», «Иностранная литература» № 2, 1968) и детям («Скрипка за пенни». Стихи. М., «Детская литература», 1965), в сборнике показан как прозаик.

Составители сборника сочли нужным познакомить читателя с произведениями сложными, в которых в той или иной мере сказывается воздействие модернизма. Гуманистической позиции авторов нередко противоречит их глубоко пессимистический взгляд на жизнь. В таких рассказах, как «Крик» Роберта Грейвза, «Квартира на крыше» Уильяма Трэвора, «Портобелло-роуд» Мюриэл Спарк, противоречивость авторской концепции мира проявляется в нарочитой затрудненности и «непонятности» произведения. В то же время Г. Э. Бейтс, Дорис Лессинг, Фрэнсис Кинг пишут в подчеркнуто традиционной повествовательной манере.

[1] Повесть Эвелина Во «Незабвенная» была опубликована в «Иностранной литературе» № 2 за 1969 г.

Но при всем разнообразии писателей и произведений, входящих в сборник, социально-этическая линия остается ведущей в книге. Такая направленность современной английской новеллы в значительной мере объясняется более общими, в конечном счете историческими причинами.

Ответственность общества и ответственность человека — эта проблема после второй мировой войны встала перед литературой острее, чем когда бы то ни было. Английская литература, с ее давними и устойчивыми традициями социального анализа и еще более давним и устойчивым этическим пафосом, дала много интересного и значительного в художественном решении этой проблемы.

В современной английской новелле заметно тяготение к притче, ироническому и прямому назиданию. Даже в таком произведении, как «Портобелло-роуд» Мюриэл Спарк, где иронически размыты границы реального и фантастического, нет никакой неопределенности, никакой двусмысленности в понятиях добра и зла, причем зло в значительной мере определено социально.

Сохранение оценочного начала в самом углубленном психологическом анализе — несомненное достоинство английской новеллы. Доминанта характера — выражена ли она открыто и непосредственно, как у героев Сида Чаплина, или глубоко скрыта, как в рассказе Джойса Кэри,— в конечном счете соотносится с нормой нравственного и нормой прекрасного. Единство этического и эстетического придает особую убедительность лучшим рассказам сборника, который вводит читателя в сложный и противоречивый мир современной английской новеллы.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

ПОЭТЫ МАВРИТАНСКОЙ ИСПАНИИ

Андалусская поэзия. Перевод с арабского. Составление, подстрочный перевод, предисловие и примечания Б. Шидфар. Москва, «Художественная литература», 1969, 239 стр.

В 711 году по приказу наместника арабского халифа в Северной Африке на южном побережье нынешней Испании высадился семитысячный отряд всадников, которым командовал бербер Тарик. Отряд наголову разбил войско тогдашних властителей Испании вестготов, и вскоре Пиренейский полуостров, за исключением горной области Астурии на севере, оказался во власти арабов и их союзников берберов, став частью огромной империи — Дамасского халифата, простиравшегося от Атлантического океана до пределов Индии.

Завоеванную страну арабы называли Аль-Андалус — Андалусией, возможно, по имени вандалов, одно время там обосновавшихся. (Средневековую Андалусию, имя которой сохранилось в названии самой южной испанской провинции, именуют еще «мавританской Испанией» по той причине, что завое-

вавшие ее арабы и берберы были известны в тогдашней Европе под общим именем «мавров»).

Эпоха мавританского владычества на Пиренейском полуострове продолжалась почти восемь веков, вплоть до падения последнего оплота мусульман в Испании — Гранады (1492 год). Она наложила неизгладимый отпечаток на культуру народов полуострова — испанцев, португальцев, каталонцев. Ее немые свидетели — величественные памятники архитектуры в Кордове, Севилье, Толедо, Сарагосе и Гранаде, и в их числе жемчужина мирового зодчества — воспетый в легендах дворец Альгамбра. О мавританской эпохе напоминают десятки географических названий (например, «Гвадалквивир» по-арабски — «Большая река», «Гибралтар» — видоизмененное «Джебель-Тарик» — «Гора Тарика» и т. п.). О ней же говорят сотни арабских слов, вошедших в испанский и португальский языки.

Живой свидетель жизни мавританской Испании — ее поэзия, создателями которой были как завоевавшие страну арабы и берберы, так и выходцы из местного, коренного населения. Их поэтическому творчеству и посвящена небольшая, изящно изданная книжка «Андалусская поэзия», которая содержит произведения 57 поэтов, живших с VIII по XIV век.

Книга открывается стихами эмира Абд ар-Рахмана — первого андалусского поэта, чьи произведения дошли до нашего времени. Стихотворения Абд ар-Рахмана — типичная восточная поэзия, перенесенная на испанскую почву. Поэт еще всецело принадлежит Востоку, о разлуке с которым он скорбит и о котором ему, изганнику, напоминает такая же «пальма-изгнанница» на берегу Гвадалквивира (стихотворение «Пальма в Кордове»).

С течением времени, несмотря на грозные предостережения ревнивой христианской веры, романо-вестготское население Андалусии стало быстро усваивать более высокую культуру арабов, их язык и нравы. Часть этого населения перешла в ислам (так называемые муваллады); другая часть, хотя и подверглась сильной арабизации, сохранила христианскую религию (мосарабы). Как те, так и другие приняли участие в создании поэтических и научных произведений на арабском языке вместе с потомками коренных арабов и берберов.

В тесном взаимодействии с арабской культурой развивалась и культура многочисленных андалусских евреев, которые в мавританской Испании пользовались неизмеримо большим влиянием, чем в христианском государстве при господстве вестготов. По образцу арабской, у них начала создаваться своя поэзия на древнееврейском языке, впоследствии пережившая в Андалусии свой «золотой век» (X—XII вв.).

Обособленное существование андалусского государства и тесное взаимодействие различных этнических и религиозных групп, составлявших его население, породили с течением времени своеобразные черты андалусской культуры, отличающие ее от культуры средневекового Арабского Востока. Для андалусской поэзии в целом характерны большая мягкость и лиризм, более близкое ощущение природы, своеобразный культ женщины, сильно напоминающий культ «дамы сердца» у провансальских и каталонских трубадуров. Поэзию испанских мусульман часто пронизывает дух меланхолии и смутного беспокойства. Мавры словно заранее знали о том, какая судьба их постигнет впоследствии в Испании. Элегии были одним из любимых жанров их поэтов.

Несмотря на эти отличительные черты, андалусская поэзия все же оставалась восточной в своей основе, как по формальным приемам, так и по тематике. Арабские поэты-бедуины, а позже поэты Багдадского халифата служили андалусцам образцами для подражания даже в мелочах. Вот почему мы порою находим в стихах андалусских поэтов описания песчаных пустынь и верблюдов, аравийских областей Тихамы и Неджда и многое другое из того, что они не могли наблюдать в реальной жизни.

Крупнейшим андалусским поэтом раннего периода был уроженец города Хаэна Яхья Ибн аль-Хакам, прозванный за свою красоту аль-Газалем (Газелью). Аль-Газаль, проживший долгую, полную приключений и превратностей жизнь, возглавлял посольства эмира Абд ар-Рахмана II в Византию и Ютландию. В далекой северной стране он читал свои стихи юной королеве:

Когда в мое сердце вошла любовь,
От прежних страстей не осталось примет.
Норманку-язычницу я полюбил,
Ее красота — лучезарный рассвет.

(«Когда в мое сердце вошла любовь...»
Перевод М. Петровых)

Кроме стихотворений, посвященных женщинам, аль-Газаль писал веселые экспромты, воспевающие шумные застолья, а также сочинял едкие сатиры и грустные элегии, в которых сетовал на свою одинокую старость.

Младшим современником аль-Газаля был суровый поэт-военачальник Саид Ибн Джуди, оставивший стихи о боевых походах и доблести воинов эмира. Как у истинного рыцаря, у него была своя «дама сердца», певица-невольница Джейхан. Ибн Джуди лишь однажды видел ее руку в окне, закрытом решеткою:

Я о Джейхан мечтаю, хотя мечтать
не смею,
Хотя еще ни разу не виделись мы с нею.
Ее твержу я имя и плачу, потрясенный.
Я — как монах, что шепчет молитву пред
иконой.

(«Джейхан». Перевод С. Липкина)

Свой наивысший расцвет классическая арабо-андалусская поэзия переживает не в эпоху политического могущества Кордовского халифата (в 929 г. кордовский эмир Абд ар-Рахман III принял титул халифа, чтобы подчеркнуть свою полную независимость от пришедшего в упадок Багдадского халифата и халифата Фатимидов в Северной Африке), а несколько позже — в XI

столетии, вследствие раздоров и войн между различными феодальными и племенными партиями, халифат рухнул, распавшись на несколько десятков эфемерных карликовых государств. Этот период в истории Андалусии называют временем «мулюк аттаваиф» («царьков общин»). По словам академика И. Ю. Крачковского, «это была эпоха празднеств и преступлений, страстей и капризов, кинжала и яда: великая эпоха для поэзии». Кордова потеряла свое главенствующее значение. Ее славу стала затмевать блестящая Севилья. Значительные литературные и научные кружки возникли также при дворах эмиров в Бадахосе, Альмерии, Мурсии, Валенсии, Гранаде и Сарагосе.

Период «мулюк ат-таваиф» дал Андалусии наибольшее число поэтов. Среди них были такие первоклассные, как кордовский уроженец Ибн Зейдун, прославившийся своими стихами, посвященными дочери халифа красавице поэтессе аль-Валладе, любовь к которой принесла ему много страданий.

Целое созвездие поэтических имен блистало в Севилье. Один из севильских эмиров, аль-Мутамид, сам был выдающимся поэтом. Элегии, написанные им в конце жизни в марокканском городке Агмате, куда его сослали берберские правители Альморавиды, вероломно захватившие Андалусию в конце XI века, принадлежат к жемчужинам андалусской поэзии:

Надо мною пролетает стая горных куропаток,
Пролетает и не знает о темницах, о цепях.
И заплакал я невольно — я хотел умчаться с ними,
Не от зависти заплакал, мне свидетелем Аллах.
Стать хотел я вольной птицей, чтоб лететь к родным и близким,
Чтоб с душою беспечальной не встречать рассвет в слезах.
Пусть они утрат не знают, пусть не ведают разлуки,
Не проводят дни и ночи в нескончаемых скорбях.
Пусть не слышат скрип засова и тюремной двери скрежет,
Пусть не знают, как жестоко отравляет сердце страх.
У меня одно мечтанье — встреча скорая со смертью,
Я не в силах жаждать жизни — цепи на моих ногах.

(«Стая горных куропаток». Перевод М. Петровых)

В призрачных сновидениях проходит перед эмиром-узником его прежняя жизнь. Однажды ему приснился его любимый летний дворец в Сильвесе — маленьком городке на юге нынешней Португалии:

Гостили прелестные лани и воины-львы
В дворце, что стеной неприступною окружен.
Средь тонкостанных красавиц в покоях моих
Много провел я ночей, забывая сон.
Сравнивал с блеском меча, с темным копьем
Светлых и смуглых, их красотою пленен.
Та, чей браслет с речною излучиной схож,
Ночью ходила со мной на зеленый склон.
Пил я вино из чаши и с милых уст,
Был я влюбленными взорами опьянен.
Лютню любимой услышав, я трепетал,
Чудился мне мечей воинственный звон.
Сбросив одежды, подруга подобна была
Ветке миндальной, раскрывшей первый бутон.

(«Воспоминания о Сильвесе». Перевод М. Петровых)

Среди поэтов, окружавших аль-Мутамида в Севилье, были его визирь и ближайший друг Ибн Аммар и изящный лирик Ибн аль-Лаббана, добровольно последовавший в ссылку за своим повелителем. Одаренной поэтессой была и любимая жена Мутамида, бывшая погонщица мулов Итимад, более известная под именем Румейкия, которая вместе с ним разделила горечь неволи.

При дворе Мутамида нашел убежище и уроженец Сицилии мастер ярких и изысканных описаний поэт Ибн Хамдис, бежавший со своего родного острова после того, как он был завоеван норманнами.

Не было недостатка в поэтах и в других удельных княжествах Андалусии. Так, в Альмерии жил скромный Ибн аль-Хаддад, влюбленный в христианку Нувейру. В его стихах хорошо отражена жизнь андалусских христиан той эпохи, что придает его творчеству своеобразный колорит.

Первые успехи испанской Реконкисты нашли отклик у толедца Хишама аль-Вакаши, который в элегии «Гибель Валенсии» описал страдания этого города, осажденного войсками знаменитого Сида.

Андалусская поэзия не заглохла и когда на смену «царькам общин» в 1092 г. пришли североафриканские правители Альморавиды, ненадолго объединившие всю мусульманскую Испанию под своей властью. В эпоху «людей под покрывалами», как называли Альморавидов в Андалусии, андалусская поэзия, поубавившись количественно, приобретает в то же время неповторимое своеобразие, совершенствуя до предела классические формы и развивая новые, нигде, кроме мавританской Испании, раньше не встречавшиеся.

Это было время расцвета пейзажной лирики андалусского Востока, представленной такими именами, как Ибн аз-Заккак и Ибн Хафаджа (оба они были уроженцами городка Альсиры недалеко от Валенсии). Ибн Хафаджа даже получил у своих современников прозвище «Садовника» — за яркие описания садов и тенистых рощ с журчащими в них ручейками. Впрочем, он был не меньшим мастером любовной лирики и «винных» стихотворений.

При Альморавидах достигают расцвета новые, типично андалусские стихотворные формы—мувашшах и заджаль. В старых классических арабских стихотворениях — касыде (поэме) и мукатте (отрывок) основную единицу составляет стихотворная строка, делящаяся на два полустишия. Через все четные полустишия, как бы ни было велико стихотворение, проходит одна и та же рифма.

В мувашшахе и заджале, возникших под влиянием народных андалусских напевов, основной стихотворной единицей стала строфа, состоящая из нескольких стихов с определенной комбинацией рифм. Всему стихотворению предшествовал зачин, служивший также припевом, повторявшимся после каждой строфы. (В отличие от касыд, мувашшахи и заджали обычно не читались, а напевались в сопровождении лютни или других музыкальных инструментов). Мувашшахи создавались на литературном арабском языке, но, что оригинально, последние несколько стихов в них слагались часто на местном романском андалусском диалекте, который был предшественником нынешних испанского и португальского языков. Эти завершающие стихи носили название «харджа», то есть «исход». В них поэт выражал свое чувство к «даме сердца». Заджали были проще по композиции, чем мувашшахи, и в отличие от последних целиком слагались не на литературном языке, а на местном арабо-андалусском диалекте с примесью романских и берберских слов.

Мувашшахи писали многие андалусские поэты. (Один из них, «Погоди, газель степная, погоди...», принадлежащий перу жившего в XIII веке поэта-севильца Ибн Сахля, помещен в настоящем сборнике).

Единственным автором заджалей, чей стихотворный диван дошел до нашего времени, был кордовец Ибн Кузман (1080—1160). Ибн Кузман принадлежал к новому типу андалусских поэтов, напоминавших провансальских трубадуров или средневековых немецких миннезингеров. Он бродил из города в город, от дома одного вельможи к другому, читая там и здесь стихи и выпрашивая за них награду. Не всегда ему везло: иногда поэта просто прогоняли.

В содержании стихотворений Ибн Кузмана нет ничего от традиционной староарабской поэзии: никаких пустынь и верблюдов, никаких расставаний у покинутого становища. Его любовная лирика реальна и порой предельно откровенна. Ему чужда внешняя показная набожность, и он открыто издевается над святошами:

А грудь как яблоки. А нежная щека
Как мрамор, белая, как мел или мука,
Улыбка светлая лукава и сладка.
И зубы как алмаз. И красота в расцвете.
Когда б велела ты нам всем, отбросив страх,
Забыть, как нужен пост и всемогущ Аллах,—
В мечети в тот же миг, в ее пустых стенах
Остался б только тот, кто связан, кто в цепях,
Кого крепчайшие опутывают сети.

(«Влюблен я в звездочку. Любой, ее заметя...»
Перевод Н. Стефановича)

Заджали Ибн Кузмана ценны тем, что в них можно найти много правдивых черточек жизни современной ему мусульманской Испании. Те же самые образы и ситуации, что встречаются в диване этого андалусского поэта XII века, составят несколькими столетиями позже силу и очарование реалистической испанской литературы.

Свои заджали Ибн Кузман слагал на вышедшем теперь из живого употребления андалусско-арабском диалекте, поэтому многое в них до сих пор остается не вполне ясным для исследователей. Однако уже можно с уверенностью говорить об их влиянии на поэтические системы европейских, в особенности романских, народов. Не случайно, по-видимому, провансальские «альбы» и другие жанры, относящиеся к так называемому «сладостному новому стилю», и по форме и по тематике во многом сходные с заджалем, широко и внезапно распространились по странам Средиземноморья в конце XII — начале XIII века, то есть в эпоху наивысшего расцвета андалусской народной поэзии.

Кроме мувашшахов и заджалей в Андалусии XII—XIII веков (эпоха Альмохадов) продолжала культивироваться и традиционная классическая поэзия, которая в нашем сборнике представлена произведениями выдающегося поэта и философа Ибн аль-Араби, Ибн Сахля, писавшего, как мы видели, и мувашшахи, а также многих других талантливых андалусцев.

В XIII веке Реконкиста одерживает решающие победы, и в руках мусульман-мавров остается только узкая полоска земли на юго-востоке полуострова — Гранадский эмират. Гранадский период представлен в книжке двумя крупными поэтами — Иби аль-Хатыбом и Ибн Замраком. (Стихи последнего увековечены на стенах дворца Альгамбра в Гранаде.)

Мавританская поэзия не исчезла окончательно в Испании с уходом мавров. Отзвуки ее продолжают там сохраняться в виде так называемых «мавританских» романсов, в которых, хотя они и исполняются теперь по-испански, можно без труда узнать древние андалусские заджали. Почти те же мелодии звучат в городах Марокко и Алжира, где певцы бережно хранят старые арабские андалусские песни, часто даже не понимая их слов.

Конечно, в небольшой книжке трудно охватить все, даже самое значительное в андалусской поэзии за восемь веков ее существования. Тем не менее в сборник «Андалусская поэзия», на наш взгляд, следовало бы включить образцы творчества такого крупного поэта-классика, как Ибн-Даррадж аль-Кастали (X в.)

Хотелось бы, чтобы в книге были полнее представлены любимые андалусцами жанры — мувашшах и заджаль. Достойно сожаления, что в числе авторов сборника нет ни одной андалусской поэтессы, которыми славились некоторые города, например Грана-

да. Несмотря на эти потери, сборник, несомненно, имеет большое культурное значение, впервые делая достоянием русской литературы классическую поэзию Андалусии, представленную огромным количеством образцов.

Перед читателями нашей страны открылась еще одна яркая страница в золотой книге мировой поэзии.

Л. СТЕПАНОВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ БЕГСТВО

Vercors. Le Radeau de la Méduse. Roman. Paris, Presses de la cité, 1969.

Две автомобильные катастрофы, происшедшие при загадочных обстоятельствах, трое погибших (случайность или самоубийство?) — чем не завязка для детективного романа? В первый момент может показаться, что перед нами произведение столь модного в современной западной литературе жанра психоаналитического романа. «Плот Медузы» — это воспроизведение бесед врача-психиатра с известным писателем Фредериком Леграном и его женой, записанных на магнитофон. Однако центральное место в романе занимает исследование человеческой психологии, реальных, а не подсознательных мотивов человеческих поступков.

Сходство нового произведения Веркора с психоаналитическими романами ограничивается лишь самой ситуацией.

Исповедь Фредерика Леграна, заставляющая его мысленно прожить заново всю свою жизнь, «найти самого себя», позволяет нам многое узнать о герое, понять, как формировался этот характер, каким удачам и поражениям суждено было определить его судьбу. Не подавляемые в юности желания, а события и поступки встают в памяти Леграна, и с неотвратимой ясностью предстает перед ним его «жизнеописание».

Сегодняшнему Леграну, достигшему успеха и признания, не свойственно сомневаться в себе. Ему, вероятно, никогда не пришло бы в голову обратиться за советом не только к врачу, но и к самому близкому человеку, жене. Но именно она, Марилиза, устав от постоянного нервного напряжения, просит свою знакомую, врача-психиатра Эстер Обань помочь ей. И прежде чем впервые прозвучит с магнитофонной ленты голос Фредерика, мы уже видим его глазами Марилизы. «Он отказывается от какой бы то ни было партийной принадлежности. Фредди всегда в оппозиции, он — воплощенное отрицание. Любая система отвергается им... Это кристально твердая душа. Зло причиняет ему страдания, но не задевает его».

Итак, перед нами человек, который все время находится в состоянии неприятия окружающего его общества, бунтарь и оппозиционер. Он нашел в себе силы не только порвать со своими близкими и со своей средой, но и с другом юности, двоюродным братом Реми. Фредерик был уверен, что Реми оказался на стороне тех благополучных и самодовольных буржуа, один вид которых приводит его в ярость. Тайком от мужа Марилиза видится с кузеном.

Что же узнала она от Реми? Ответом на этот вопрос становится вся исповедь Фредерика Леграна.

Веркор избирает ретроспективный метод изложения: и супруги Легран и Эстер почти одновременно погибли. Магнитофонные ленты и пометки Эстер заботливо разобраны автором-рассказчиком, очень редко появляющимся на страницах книги. Веркор отдает дань существующему уже не один десяток лет приему, когда писатель словно отмежевывается от собственного детища, подчеркивая свою максимальную объективность. История литературы знает немало романов, «найденных» на чердаках заброшенных домов, и повестей эпистолярного жанра, «обнаруженных» у умерших адресатов. Но эти наивные мистификации и не рассчитаны на то, чтобы кого-нибудь обмануть, и «продукт века техники», магнитофон Эстер Обань, ни на минуту не заслоняет от нас Веркора.

Об Эстер трудно сказать что-либо определенное; это не характер, а скорее вспомогательный персонаж, который позволяет писателю избежать монотонности и создать вариант современной исповеди-диалога.

Повесть о жизни Фредерика Леграна, оставшаяся в досье Эстер Обань, вероятно, лучшее, что было им создано. Очень возможно, что, увидев себя со стороны в этом произведении высокого искусства и предельной, беспощадной откровенности, Легран не мог уже больше примириться с самим собой, с тем, что бегство из ненавистного ему мира оказалось призрачным или, попросту говоря, не состоялось, что он пришел к тому же, с чем порвал в юности. Фредерик красочно описывает салоны знатных дам, как дорогими вещами, заполненные знаменитостями, и свою гордость от того, что и он в их числе. В его голосе звучит полуусмешка, полусмущение, и, вероятно, пометки, сделанные Эстер Обань, выражают и внутреннее недоумение Леграна. «Разве обстановка, люди, сам дух этих салонов не напоминают дом на улице Мезьер (дом Легранов.— *Т. П.*)? Неужели он бежал от них только для того, чтобы найти их в другом месте? И для этого он опубликовал сборник стихов «Плот Медузы»?!»

Восемнадцатилетний юноша тайком писал стихи. В них — ненависть к отцу и дяде (отцу Реми), нечистоплотным в делах и в любви, презрение к матери, знающей правду о муже, но терпящей его рядом с собой, отвращение к ограниченным и самодовольным знакомым и друзьям дома. Стихи нашли, и на семейном судилище Фредерику гневно предложили либо отречься от написанного, либо убираться вон. Обратим внимание на

не столь уж добровольное расставание юноши с семейным очагом, так как в дальнейшем это событие трансформируется в его воображении в открытый и смелый вызов, брошенный обществу.

Случайно обнаружены стихи (не будь этой случайности, враждебность Фредерика окружающей его среде могла бы так и не прорваться наружу), случайно Легран попадает в литературные круги, близкие по духу его бунтарству (не найди он поддержки, может быть, и не был бы он столь непреклонен и нечувствителен к просьбе матери не публиковать стихи и вернуться домой), случайно название первого сборника, проложившего пропасть между Фредериком и родными (по дороге к издателю он увидел афиши выставки работ Жерико, и названне одной из картин, «Плот Медузы», понравилось ему). Цепь случайностей сделала из Фредерика Леграна признанного художественной оппозицией поэта-бунтаря. Так, уже в первых главах «истории его жизни» появляются страницы, ставящие под сомнение справедливость оценки Марилизы позиции ее мужа.

Но приведшее к драматическому концу несоответствие между внутренней сущностью Фредерика Леграна и той ролью, которою он играл, не отдавая себе отчета в том, что это роль, а не его подлинное «я», проявилось задолго до встреч в кабинете Эстер Обань и уже тогда имело трагические последствия.

В салоне баронессы Дессу, завсегдатаем которого оказывается молниеносно ставший знаменитым юный поэт, среди задумчивых и полных сознания собственной необыкновенности Кокто и Жида, Арто, Десноса и Ропса, Легран встречает искреннюю и восторженную девушку. Бала Корнинская принадлежит к одному из богатейших семейств Франции и всем сердцем рвется из этого высшего света. Фредерик для нее — герой, разорвавший столь ненавистные ей цепи, она полюбила его с первого взгляда. Легран увлечен девушкой, ему бесконечно льстит ее нескрываемое восхищение всем, что он говорит и делает, однако он не способен второй раз (вспомним, что и в первый это произошло случайно) бросить вызов обществу, женившись на Бале против воли ее отца.

Фредерик презирает Корнинского, видя в нем человека той же породы, что и его отец, дядя, дед. Но именно Корнинский точно определяет истинную сущность молодого бунтаря. Он отдает должное его таланту и не верит в его революционность. Он пророчески предсказывает Фредерику славу и примирение с сильными мира сего. Избегая решения вставших перед ним вопросов, Легран уезжает в Грецию, и, когда Бала, верящая в его любовь и смелость, тайком следует за ним, он посылает Корнинскому телеграмму, сообщая о местопребывании дочери.

Эти страницы романа — кульминационные для исследования характера главного героя: не только Бала обнаруживает, что реальный Фредерик Легран не похож на тот образ, который жил в ее сердце, но и для читателя уже ясно, что Марилиза повторила ее заблуждение. Встречи с Реми посеяли в ее душе сомнения. Нет, она не узнала от него ни о чем из того, что рассказал Эстер Фредерик, но она поняла, что настоящий Реми разительно отличается от того, каким он ей представлялся со слов мужа.

Судьбы Фредерика и Реми идут в романе параллельно и во всем противостоят друг другу, хотя одна семья, одна среда вырастила и воспитала их. Она внушила им презренне к миру стяжательства и фальши. Для Реми противостояние несправедливостн стало делом жизни, для Фредерика бунтарство — лишь форма самовыражения. Когда приходит пора действовать, пора серьезных испытаний, выявивших истинную сущность людей и нх истинную ценность, Реми уходит с высокого поста в вишистской администрации и становится одним из активных участников Сопротивления. И рядом с ним Бала, его жена, сумевшая благодаря Реми найти свое место в жизни. Для нее внутренняя свобода это прежде всего борьба за свободу других людей. Вместе с Реми она взрывает немецкие эшелоны и мосты, и, когда вмешательство отца, оказывающего немцам немалые услуги, освобождает Балу из концлагеря, она уступает свое место в машине больной еврейской женщине, матери четырех детей, обрекая себя на верную смерть.

Кончилась война, Фредерик Легран благополучно вернулся с трудовых работ в Германии и занял подобающее его предвоенной славе место среди художественной элиты. Он не только спокойно относится к слухам о коллаборационизме родных, но и искренне возмущен тем, что Реми отказался вступиться за его отца, привлеченного к суду за сотрудничество с немцами (что не помешало старшему Леграну выйти сухим из воды и на этот раз). Он снова встретил девушку, полюбившую его и восхищающуюся его необыкновенностью, он счастлив в семейной жизни. Иное дело Реми, у него нет ни славы, ни постов, так как он не захотел в пер-

вые послевоенные годы работать рядом с обелившими себя коллабо. Но его ценят и уважают товарищи, с ним советуются коммунисты, друзья по Сопротивлению.

Веркор недвусмысленно высказал свое отношение к «бунтарю на час», показал безопасность для буржуазного общества подобных «восстаний». Появившаяся в мае 1969 года его книга ответила на некоторые вопросы, вставшие перед французами в связи с майскими событиями 1968 года.

Подобно Фредерику Леграну, многие молодые люди, участники этих событий, склонны были отрицать все и вся. Характеризуя мужа, Марилиза употребляет выражение «contestataire intégrale» (человек все отрицающий, все подвергающий сомнению); и если мы возьмем любой из многочисленных документов: листовку, воззвание, манифест, опубликованные студентами в мае-июне 1968 года, то незамедлительно обнаружим в них множество слов того же корня и значения (contester, contestation и др.), являющихся ключевыми для понимания убеждений авторов этих документов. Жизненный путь Фредерика Леграна — прекрасная иллюстрация к не раз высказывавшейся мысли о том, что бунтарство не тождественно революционности.

Конечно, «Плот Медузы» не прямое отражение мая 1968 года. Вероятнее всего (как замечает в своей рецензии на «Плот Медузы» Андре Вюрмсер), замысел романа родился у Веркора значительно раньше, но прозорливость большого художника обусловила выбор темы, и жизнь подтвердила справедливость его позиции.

Т. ПРОСКУРНИКОВА

ВО ГРЕХЕ

Anthony Storey. Graceless Go I. A novel. London, Calder and Boyars, 1969.

В тональности этой книги есть нечто апокалипсическое, хотя рассказывается в ней о событиях заурядных — о возникновении и распаде банального любовного треугольника. Образуют его известный психиатр и психоаналитик Роджер Уилби, его стареющая супруга Дороти и их молодой приятель Тони Фостер, школьный учитель и знаменитый регбист.

Старая как мир сюжетная схема получает у Энтони Стори «ультрасовременную» интерпретацию — из нее изымается то, что во все времена служило основой такого сюжета — любовь. Чувства трех центральных персонажей настолько запутаны и извращены, что выделить из них в чистом виде привязанность или враждебность, любовь или ненависть не представляется возможным. Автор, сам по специальности психолог и психиатр, подробно и с профессиональным знанием дела описывает различного рода комплексы и пороки, которыми он так щедро наделил своих героев.

Но роман Стори «Стыд потеряв, иду я» — все же не научный трактат, не популярное пособие и не клиническая запись истории болезни, а роман. И думается, вряд ли пристрастие автора к изображению характеров ущербных, психически неполноценных может быть объяснено только его профессией.

Излагая в терминах психоанализа проблемы, стоящие перед его героями, Стори вполне последовательно иллюстрирует получившую в последние годы широкое распространение на Западе теорию, по которой каждый человек «расщеплен», то есть в нем есть часть «нормальная» и часть «ненормальная». Причем «ненормальная» часть может до поры до времени никак себя не проявить. Именно так и происходит с Тони Фостером, человеком физически крепким и на первый взгляд совершенно здоровым. Однако тесное общение с семейством Уилби обнажило скрытую в Тони болезнь, о чем автор и сообщает на самой последней странице.

Естественно, что в книге психолога много места уделено психологии героев, но странное дело: чем дальше углубляешься в роман, чем больше узнаешь о его персонажах, тем меньше понимаешь их поведение. Сами герои тоже не понимают друг друга, что получает у Стори четкое обоснование. «Мы все живем в разных мирах»,— говорит Уилби Фостеру.

Миры, в которых действуют персонажи Стори, жестоки, непознаваемы и абсурдны. Абсурдность этих миров еще нелепее, нежели абсурдность фантасмагорического мира Кафки, потому что герои Кафки предстают пусть даже в крайне субъективном, гротескном, но все-таки в конфликте со средой, с обществом, которое так или иначе подавляло возможности и стремления индивида. У Стори же социальная детерминированность сведена до минимума. Внутренний мир его героев настолько оторван от происходящих в действительности событий, что даже очевидные успехи или неудачи в их социальном бытии не оказывают никакого влияния на их внутренний мир.

Сам Уилби, Дороти и Тони живут и действуют, подчиняясь безграничной власти инстинктов и комплексов, которые в лучшем случае можно объяснить, но никогда — преодолеть. Постоянная тяга Тони к Уилби и его жене воспринимается как сознательно выписанная иллюстрация фрейдистских мотивов.

Человек, в данном случае Тони Фостер, оказывается жалкой игрушкой в руках темных и могущественных сил, которые обитают в тайниках подсознания и руководят, часто помимо сознательной воли Тони, его действиями.

Предпосылки будущего «расщепления» личности Тони лежат, пытается убедить читателя автор, в сложных отношениях между ним и его матерью, потому что он на самом деле не сын человека, считающегося его отцом, а рожден «во грехе». Взаимная ненависть сына и матери — тема для Стори не новая: на противопоставлении отношения матери к двум сыновьям строится конфликт его первого романа «Иисус Искариот», где еще более явственно и откровенно идет

речь о различных вариациях «эдипова комплекса» и о «первородном грехе».

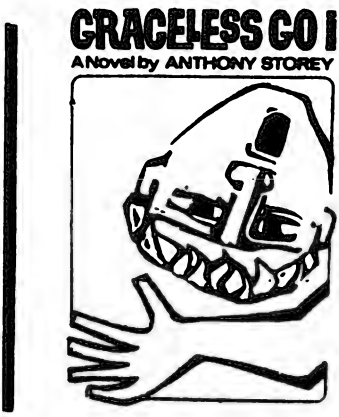
Роман «Стыд потеряв, иду я» интересен прежде всего тем, что отражает, правда большей частью в кривом зеркале, некоторые проблемы буржуазного общества, рост психических заболеваний, «сексуализацию» и, как неминуемое ее следствие, «вседозволенность» и в то же время поиски устойчивой системы моральных ценностей взамен изрядно обветшавшей буржуазной нравственности.

Событийный план книги — посещение скачек, ночных клубов и баров, случайные встречи и расставания, ссоры и скандалы — объективно фиксирует нестабильность внутреннего мира героев Стори. Властвующие над ними болезнь и порок обретают под пером автора поистине глобальный характер — нелегко найти в книге хотя бы эпизодический персонаж без какого-нибудь психического изъяна.

Человек в изображении Стори не только немощен и жалок, он еще ничтожен, грязен и как-то по-мелкому подл. Алкоголик и наркоман Уилби вынуждает жену и детей влачить нищенское, полуголодное существование. Получив наследство, он прежде всего покупает себе дорогую машину. В свою очередь Дороти стремится завладеть деньгами мужа и подозревает своего любовника Тони в том, что он хочет похитить по праву принадлежащие ей и детям деньги.

Однако пределом человеческого несовершенства оказываются в книге «любовные» отношения героев. Многочисленные и подробные описания взаимоотношений Тони и Дороти, мягко говоря, можно определить как откровенно натуралистические, но по сути они близки к самой настоящей порнографии.

В чем же хочет убедить писатель, рисуя отталкивающие пароксизмы страсти и рассказывая о бесконечных терзаниях Тони, ненавидящего Дороти и все-таки не могущего без нее обойтись? Чувство Тони к Дороти чисто физиологическое, настаивает писатель, осложненное ко всему прочему «эдиповым комплексом». Первая их встреча, первые взгляды, обмен ничего не значащими репликами будит в этом молодом человеке импульс, смутный инстинкт, который потом подчиняет его целиком.



Грязь, в которую толкает Тони этот непреодолимый инстинкт, очевидно, его тяготит. И дружеское отношение к Джин, девушке, за которой он когда-то ухаживал, и скоропалительная женитьба Тони на молоденькой медсестре Мэри — это безуспешные попытки заполнить ужасающую пропасть между началом духовным и началом физическим. Но духовное начало так слабо, что оно не в силах противостоять низменным эмоциям. Таков итоговый, крайне пессимистический вывод Стори.

Несмотря на то, что повествование выдержано в традиционной манере, что в нем отсутствуют какие-либо формальные изыски и новации, роман Стори с полным основанием можно отнести к декадентской литературе, потому что именно современной разновидности декаданса свойственна предельная биологизация человеческой личности, отрыв ее от социальных фактов, восприятие человека как примитивного и грязного «двуногого». Стори не прибавляет к этим воззрениям ничего нового. Однако в его книге есть и свои особенности. Это — поиски бога, которыми занят Тони Фостер. О религиозности героя нигде не говорится прямо. Лишь мельком упоминается о том, что обычно он отбирал псалмы для утренней молитвы в школе. Между тем горькая тоска по богу, как воплощению высшего нравственного начала, пронизывает ткань романа. То, что Тони действительно верующий в догматы христианской церкви человек, более чем сомнительно. Он, например, считает Христа «циником», потому что тот просил у бога-отца прощения для тех, кто поступал с ним именно так, «как ему самому хотелось». Но впитанные с молоком матери принципы пуританской морали продолжают угнетать Тони. Отталкиваясь от них в своем повседневном опыте, он полностью так и не может порвать с ними.

Беседуя(?!) в своих сновидениях с Христом, он спрашивает его: «Греховен ли секс?» — и получает невразумительный ответ: «Я помню все». Так вот в чем «действительная» причина терзаний персонажей романа — «первородный грех». Религия, в которой ищет нравственную опору Тони, смыкается, как это на первый взгляд ни неожиданно, с декадентской оценкой человека: ведь и по традиционной христианской схеме человек, осужденный всю жизнь влачить бремя «первородного греха», порочен и грязен. Тони Фостер ищет выхода в глухом тупике. Его «греховности» нет ни оправдания, ни прощения.

Хотя Энтони Стори и поднимает некоторые больные вопросы современного западного мира, он, что прекрасно видно из романа, не только не способен их решить, но и отрицает самую принципиальную возможность их разрешения.

Человек грязен, греховен, подл — этому веками учила христианская церковь; сегодня то же самое проповедуют «обгоняющие время» «авангардисты».

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

ВЗГЛЯНУТЬ В ЛИЦО

Max von der Grün. Zwei Briefe an Pospischiel. Neuwied und Berlin, Luchterhand, 1968.

Макс фон дер Грюн — не новое для советского читателя имя. Его роман «Блуждающие огни и пламя» был опубликован (под названием «Светляки и пламя») в журнале «Иностранная литература». Уже в этой книге Макс фон дер Грюн достаточно резко ставил вопрос об истинном положении рабочего — даже квалифицированного — в таком процветающем капиталистическом государстве, как ФРГ. В новом романе «Два письма Поспишилу» дана еще более решительная отповедь тем социологам, которые утверждают, что в странах капитализма сегодня рабочий класс «исчез», растворился в благоденствующем, свободном «среднем сословии» индустриального общества равных возможностей.

Для того чтобы показать, какова истинная цена этой свободы и благоденствия, Макс фон дер Грюн сознательно берет, так сказать, наименее «вопиющий» вариант столкновения представителя рабочего класса с капиталистической системой.

Пауль Поспишил — человек примерно 1930 года рождения. К началу действия романа ему около сорока лет. Он — рабочий высокой квалификации, электрик, работающий в стерильно чистой, овеянной кондиционированным ветерком распределительной камере огромной электростанции города Дортмунда. Его дело — вместе с несколькими коллегами восемь часов томиться возле распределительных щитов, время от времени — по световому сигналу — нажимая одну из разноцветных кнопок.

Итак, в судьбе Поспишила как будто благополучно все: у него «чистая», хорошо оплачиваемая работа, жена Герда, красивая женщина и прекрасная хозяйка, также работает — продавщицей в универмаге. Дочь Лисси — четырнадцатилетняя девчонка, необычайно способная, умненькая, честная. Домик, сад, машина, холодильник, телевизор — и все это не в кредит,—любимый песик, карликовый пудель,— эта картина «благополучия», благоденствия как будто бы подтверждает современные теории буржуазных социологов. Правда, и Поспишил и жена его знают, что на работе надо держать ухо востро и не спорить с начальством: в случае несогласия обязанности несговорчивого охотно возьмет на себя любой из той очереди квалифицированных безработных, которые зарятся на освободившиеся места.

Итак, все благополучно. Только Пауль — молодой еще человек — все реже и реже испытывает физическое влечение к красивой и любимой жене. А то вдруг, ни с того ни с сего, к ужасу товарищей, в одну из обычных смен, с ним приключается нечто вроде припадка безумия, и вызванный врач успокаивает начальство тем, что такие кризисы — обычное дело; они связаны с современными формами работы на любом производстве.

Зыбкое равновесие в жизни семьи Поспишилов нарушает письмо от матери Пауля, которая живет далеко от Дортмунда в Вальдзасене. Стандартные и не очень грамотные излияния старой крестьянки повторяются без изменений из года в год, от письма к письму. Но в новом письме кроме благословений и добрых пожеланий содержится и достаточно бессвязный рассказ о конкретных фактах. И это вводит читателя в предысторию главного героя.

Нет, судьба Пауля во дни существования фашистского рейха также была не столь страшной, как другие человеческие судьбы. Его родители — судетские немцы. И его «всего лишь» травили и избивали мальчишки в немецкой школе — за то, что он не состоял в гитлерюгенде. И отца после 1938 года «всего лишь» несколько лет держали в концлагере, хотя был он не коммунистом, не политиком, а членом секты «толкователей Библии» и, исходя из библейских текстов, наводил критику на действия гейнлейновцев. И в осеннюю ночь 1938 года Гретль Поспишил с маленьким Паулем должна была бежать через границу, сквозь тьму и непогоду, бежать — таковы парадоксы истории — от гейнлейновцев в пределы германского рейха, чтобы там укрыться в доме (точнее, в козьем хлеву) своей матери.

Что же? В семье Пауля никого не убили, а сам он, «всего лишь» как сын заключенного, не смог получить высшего образования, что и закрыло ему путь к более творческой работе.

В общем, прошлое прошло и, как говорится, быльем поросло. И вдруг оно снова встало во весь рост в сбивчивых строках письма Гретль Поспишил. Сейчас, через тридцать лет, она, отправившись на рынок в соседний городок (где огурцы и капуста дешевле), случайно встретила бывшего односельчанина, который назвал того, кто захватил и передал гитлеровцам ее мужа. Этот же гейнлейновец Байерль, по словам односельчанина, гнался и за Гретль во время ее бегства, чтобы убить ее. И не выстрелил он только потому, что с нею был ребенок.

Как мы видим, Макс фон дер Грюн и здесь дает далеко не самый вопиющий вариант фашистских преступлений. Ведь гитлеровцы и без помощи Байерля захватили бы, придя в деревню, чудаковатого «толкователя Библии». И тот факт, что Байерль не смог убить женщину, потому что с ней был ребенок, делает его на фоне обычных норм фашистского зверства почти «приличным» человеком.

Итак, самый факт преступления недоказуем, и, кроме того, для такого рода грехов уже истек срок давности. Да мать Пауля Поспишила и не собирается возбуждать против Байерля судебного преследования. Она только хочет поехать туда, где Байерль живет, на самую чешскую границу, и «взглянуть в лицо» — в лицо предателя. Однако она пишет и о том, что ей, старой женщине, трудно будет ехать на поезде

через всю страну, к тому же билет стоит дорого. Сын понимает скрытый намек. Право (и обязанность) «взглянуть в лицо» мать передоверяет ему. И здесь начинает рушиться обманчивое равновесие и обманчивое благополучие жизни героя.

Для того чтобы исполнить просьбу матери, ему надо получить три дня отпуска за свой счет. Но его желание наталкивается на непреодолимые препятствия. Каждый день Пауля, каждое движение его «запланированы» в общей системе производства, и трехдневный отпуск в этот план не вмещается. Об этом спокойно, «по-товарищески», даже ласково говорят ему представители всей иерархии заводского начальства — вплоть до директора. И когда Поспишил возражает, что ведь мог бы он «выпасть» из плана, если бы, например, заболел, ему так же вежливо отвечают, что не только возможность его болезни, но и возможность смерти (и соответственно — похорон) его родителей или даже их тяжелой болезни учтены планом (на предмет отпуска), но «взглянуть в лицо», хотя бы и по просьбе престарелой матери,— это не причина, а кроме того, стоит ли ворошить прошлое?

Вот тут-то и «торчит чертово копыто», как говорят немцы. За невозможностью дать отпуск стоит твердое, выношенное решение слуг системы боннского государства ликвидировать всякую попытку вернуться к вопросу о преступлениях фашизма.

«Стоит ли ворошить прошлое»? И когда Поспишил говорит, что его сосед Брундерт с чрезвычайной легкостью получает отпуск, дабы присутствовать на слетах братства судетских немцев, лица его собеседников замыкаются и ответа он не получает.

Путешествие Поспишила в прошлое (он уехал без разрешения) как будто бы кончается ничем. Он выслушал рассказ матери, он добрался до чешской границы, он видел Байерля, говорил с ним. На осторожные — якобы от лица своего товарища — расспросы Поспишила Байерль ответил, что ничего про те времена он не помнит, никакого сапожника и члена секты Поспишила он тоже не помнит. Гейнлейновскую повязку на рукаве он, правда, носил — но кто ж ее не носил в ту пору?

А «лицо», в которое надо было взглянуть? Что ж, лицо как лицо — усталое, равнодушное, не неприятное лицо старого крестьянина. Так, как будто бы ни с чем уходит от него Поспишил.

А дальше начинается расплата за то, что он, рабочий Пауль Поспишил, осмелился самовольно «выпасть» из плана, защищая свое право быть человеком, а не почти ненужным придатком к автоматике. Хождения Пауля по мукам после того, как он получил письмо об увольнении (второе письмо Паулю Поспишилу) показаны в книге с большой силой. Все вежливы, все сочувствуют, все убеждают Поспишила «протестовать», защищаться — до тех пор, пока он не сообщит очередному радетелю за его интересы о том, что его уже уволили.

И тут — точно перед ними носитель страшной заразы, прокаженный — радетели, глядя мимо Пауля и бормоча что-то нечленораздельное, разбегаются во все стороны, оставляя «выпавшего» из плана на произвол его жестокой судьбы.

Конец романа Макса фон дер Грюна — пессимистичен. Поспишил, чтобы не стать безработным, принимает унизительный ультиматум администрации. Он «добровольно» подписывает обязательство, навсегда отнимающее у него право на прежнюю оплату труда, премии, дополнительный отпуск. Отныне он переходит на положение необученного новичка.

Думаю, что этот пессимизм продиктован «педагогическими» соображениями. Замысел писателя состоял не только в том, чтобы раскрыть всю обыденность и будничность унижения человеческого достоинства, экономического принуждения в боннском государстве. Макс фон дер Грюн стремился показать, как слабость и непоследовательность протеста объективно укрепляют позиции власть имущих.

Так же негромко, но и так же настойчиво, как и тема носителей исторического и социального «зла», звучит в романе и тема народной памяти и совести.

Ведь и с Байерлем все было не так, как показалось Паулю.

На самом деле предатель тридцать лет со страхом ждал появления того, кто призовет его к ответу. Об этом Пауль узнал от его внучки Кристль (с ней он случайно встретился в пути). И эта весьма современная молоденькая девушка, узнав о прошлом деда, бежала из его дома, оставив записку, что ничего не забыто и возмездие придет.

Право отца на протест, на защиту своего человеческого достоинства поддерживает и его дочь Лисси, и его единственный друг, старик инвалид, изувеченный в фашистских концлагерях, коммунист Фред Вёрдеман, по прозвищу Кенгуру, и Кристль. Правда, Кенгуру большей частью обрисован в романе лишь со стороны его старческих чудачеств, а сочувствие Кристль и Лисси носит, скорее, эмоциональный характер, тем не менее все они так или иначе стоят за то, что «должна быть справедливость для маленьких людей».

Эти слова матери Поспишила как лейтмотив проходят через всю книгу. И смысл их не только в том, что Пауля, «маленького человека», постигла беда, но и в том, что на него, когда он отказался от права на справедливость, легла несомненная вина. И, безусловно, многозначительна концовка книги: Лисси, опустившись на колени, вновь составляет из клочков страницу нового письма, полученного от ее бабки и в гневе разорванного Гердой — женой Поспишила, для которой первое письмо свекрови осталось лишь источником неприятностей.

Роман кончается как бы знаком вопроса. И читатель вправе самостоятельно задуматься скорее даже не о том, какова будет дальнейшая судьба героя, а о том, каков объективный социальный и исторический смысл этой судьбы.

Е. КНИПОВИЧ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

РУКОПИСИ ПРИЧАРД ПЕРЕДАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Одной из последних работ крупнейшей австралийской писательницы Катарины Сусанны Причард, скончавшейся в прошлом году, была статья о В. И. Ленине, опубликованная уже после ее смерти в брошюре «Ленин — глазами австралийцев». В ней писательница рассказала о глубочайшем влиянии Ленина на формирование социалистического сознания рабочих масс Австралии.

В числе других рукописей Причард эта статья недавно была передана в дар австралийской Национальной библиотеке сыном писательницы, в соответствии с ее последней волей. Библиотека получила рукописи произведений и среди них — первый рассказ Причард «Смуглый мальчик», написанный ею в возрасте 15 лет и отмеченный в свое время премией для подростков, а также оттиски статей с авторской правкой.

АЛЖИР

ИСПОВЕДЬ ПЕРЕЖИТОГО

На экранах страны с успехом демонстрируется фильм «Опиум и дубинка» (см. «Иностранную литературу» № 10, 1969), вторая работа алжирского режиссера Ахмеда Рашеди. (Первый его фильм «Заря проклятьем заклейменных» получил в 1965 году премию Всемирного конгресса в защиту мира в Лейпциге.)

Кадр из фильма «Опиум и дубинка».

(Газета «Аль-Муджахид»)

Новый фильм Рашеди поставлен по роману Мулуда Маммери «Опиум и дубинка» (переведен на русский язык). Действие его развертывается в одной из многих деревень в горах Кабилии под названием Тхала, которая становится средоточием конфликтов и испытаний суровых дней войны, своего рода символом борьбы алжирского народа за независимость.

...Внешне деревня живет относительно спокойно, хотя ее сжимает кольцо войны и колючей проволоки. Окружающие горы доносят до нее эхо сражений. Капитан колониальной армии Делеклюз, осуществляющий административную власть во всей округе, с помощью соглядатая Белаида пытается привлечь на свою сторону население деревни. Деревня отвечает презрительным молчанием. Днем Тхала всецело в руках врага, зато ночью, несмотря на слежку и комендантский час, она помогает партизанам. В качестве репрессивной меры капитан Делеклюз приказывает сжечь столетние оливковые рощи, единственный источник существования для большинства жителей Тхалы. И в конце концов решается на уничтожение самой деревни...

Рецензент газеты «Аль-Муджахид» писал в связи с

премьерой фильма, что Рашеди все подчинил задаче, которую считал главной: правдиво и взволнованно рассказать новому поколению алжирцев о мужественной борьбе их отцов и старших братьев за независимость родины. Вот почему только врач Башир, уроженец Тхалы, Белаид, Делеклюз и в какой-то мере командир партизанского отряда Али представляют интерес с точки зрения психологического развития образа. Остальные герои фильма, согласно замыслу режиссера, довольно схематичны. В центре внимания зрителей, таким образом, остаются Армия национального освобождения, деревня Тхала и армия колонизаторов. Рецензент отметил также возросшее техническое мастерство Рашеди, что также способствовало успеху картины.

«Фильм этот не из тех, что можно просто смотреть, оставаясь безучастным зрителем,— писал в той же газете известный алжирский писатель Малек Хаддад.— Это исповедь пережитого, исповедь страны, рассказывающей о себе, вверяющей себя своему будущему и миру, дивясь собственному величию и героизму».

АНГЛИЯ

ФИЛЬМ ОБ ИСТОРИИ ИСКУССТВ: «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

В Англии, а также в США с успехом демонстрируется документальный многосерийный фильм «Цивилизация», созданный по сценарию известного английского искусствоведа Кэннета Кларка. Содержание фильма представляет собой экскурс в более чем тысячелетнюю историю европейского изобразительного искусства. Продолжительность его демонстрации составляет 13 часов!

К. Кларк, по его собственным словам, хотел, чтобы зритель XX века увидел на экране не просто молчаливую панораму «величайших музеев, монументов, городов и площадей Европы и Америки», но чтобы перед ним прошла и как бы вновь ожила вся многоцветная галерея творений человеческого духа, начиная с первых проблесков зарождения искусства и кончая «героическим материализмом» наших дней.

О замысле «Цивилизации» автор заявил следующее: «Я надеюсь, зрители почерпнут из этого фильма веру в человечество со всеми его недостатками, веру в гармонию его интеллектуального и эмоционального начал, веру в человека вообще».

Некоторые американские критики отзываются о фильме «Цивилизация» несколько скептически. Рецензент еженедельника «Тайм», например, считает, что за несколько часов вообще трудно охватить двенадцать веков истории, а потому, дескать, эта английская кинолента кажется ему в иных местах «лишь приятной с виду, но не весьма глубокой по существу». Однако в основном зрители и пресса Англии и США воспринимают это оригинальное произведение английского кинематографа тепло, с энтузиазмом.

Сцены из спектакля «Муки Санчо Пансы». В роли Дон Кихота занят Дерек Годфри.
(Журнал «Плейз энд плейерз»).

ПЬЕСА ДЛЯ ДЕТЕЙ «МУКИ САНЧО ПАНСЫ» —

В Национальном театре недавно осуществлена постановка новой пьесы Джеймса Сондерса «Муки Санчо Пансы» по мотивам романа Сервантеса «Дон Кихот». Автор пьесы — бывший школьный учитель — адресует пьесу главным образом детям. Роль Санчо Пансы исполняет популярный комедийный актер Рой Киннир. В спектакле занят и другой известный комедийный актер—Джим Дейл.

Юные зрители с интересом встретили спектакль. Рецензент журнала «Плейз энд плейерз», высоко оценивая искусство актеров, исполняющих ведущие роли, несколько критически отзывается о постановке в целом.

БОЛГАРИЯ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕНИНИАНА В СОФИИ

Ленинский год отмечен в столице Болгарии широким показом советских пьес. Открыл смотр Народный театр имени Ивана Вазова, который показал пьесу Н. Погодина «Кремлевские куранты». Болгарские зрители увидели пьесы советских авторов в постановках столичных театров: Государственного сатирического, Народного, Молодежи, «Народной армии», «София», «Слеза и смех», «Театр 199», а также театров городов Русе, Пазарджика, Врацы, Велико Тырново, Кюстендила, Стара Загоры, Бургаса, Пловдива, Благоевграда, Варны.

Каждый из них показал по одному спектаклю, а театр «Слеза и смех» даже два — «Враги» М. Горького и «Ленин входит в наш дом» Г. Караславова. В репертуаре смотра были: «Огненный мост» Б. Ромашова, «Дипломаты» С. Алешина, «Мистерия-Буфф» В. Маяковского, «Юность отцов» Б. Горбатова, «Семья» И. Попова, «Последние» М. Горького, «Гимназисты» К. Тренева, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Океан» А. Штейна, «Беспокойная старость» Л. Рахманова, «Шторм» В. Бияль-Белоцерковского.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА НА КОМБИНАТЕ «КРЕМИКОВЦЫ»

При крупнейшем предприятии Болгарии — металлургическом комбинате «Кремиковцы» — создана творческая студия для молодых художников из числа рабочих предприятия.

Недавно там состоялась творческая встреча профессиональных художников и художников-рабочих, где шел разговор о «секретах» мастерства, о народных истоках подлинного искусства. В заключение встречи было принято обращение, в котором говорится, что «только художники, неразрывно связанные с борьбой и стремлениями своего народа, могут полностью проявить свой талант и создать произведения, которые обессмертят великое дело строительства коммунизма».

«Мы обращаемся к нашим молодым коллегам, ко всем болгарским художникам,— сказано далее в документе,— с призывом начать постоянное движение за сближение с болгарским рабочим классом. Призываем вас к творчеству, достойному дел, мыслей и чаяний людей труда».

ВЕНГРИЯ

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ

Премии имени Кошута в области литературы и искусства Венгрии присуждаются раз в четыре года. В нынешнем году их вручение совпало с юбилейными торжествами по случаю 25-летия освобождения страны от фашизма. Лауреатами на этот раз стали художники, артисты, писатели, известные не только в Венгрии, но и за ее пределами. Среди них — художник Аурел Бернат, снискавший признание своими постимпрессионистскими пейзажами и портретами, кинорежиссер Золтан Фабри, чьи фильмы не раз награждались высшими призами на международных кинофестивалях; ветеран венгерской литературы, поэт, прозаик и драматург Дюла Ийеш, солистка оперы Эржебет Хази, литературовед Пал Панди, поэт Шандор Вёреш и другие.

Государственными премиями, которые также присуждаются раз в четыре года, отмечен труд большой группы ученых, педагогов, инженерно-технических работников, врачей. Среди награжденных — филологи, литературоведы, историки.

Лауреатами ежегодной литературной премии имени Аттилы Йожефа стали писатели Иван Болдижар, Янош Фёльдеак, Дердь Хамош, Карой Сакони, поэты Шандор Чоори, Деже Дёри, Золтан Екей и другие.

Вручены также премии за лучшие работы и достижения в области музыки, изобразительного, театрального и киноискусства. Большой группе артистов, художников, музыкантов присвоены звания «Выдающийся художник Венгерской Народной Республики» и «Заслуженный художник Венгерской Народной Республики».

ПИСАТЕЛИ-ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ

Венгерская литература богата традициями социографического жанра. Романы Жигмонда Морица, «Люди степей» Дюлы Ийеша, «Самое большое село Венгрии» Йожефа Дарваша — это не только художественные произведения, но и исследования, насыщенные реальными событиями, фактами, именами. Эти традиции продолжает нынешнее поколение писателей.

К 25-летию освобождения страны от фашизма Союз венгерских писателей задумал многотомную серию под общим названием «Открытие Венгрии». Недавно Издательство художественной литературы выпустило первую книгу этой серии — «Горящее золото» Габора Мочара.

«Тема книги Мочара — нефтедобыча — позволяет ему описать долгую и поучительную историю национализации этой отрасли промышленности, историю борь-

Сабина Лоренц и Эккехард Шаль — исполнители главных ролей в фильме «Напряженность поля».

(Еженедельник «Зонтаг»)

бы и больших открытий»,— писал рецензент еженедельника «Элет эш иродалом». Самые волнующие главы книги, отмечал критик, содержат размышления автора о том, как можно было бы использовать глубинную энергию Алфельдской равнины. Особая ценность книги Мочара состоит в том, что он раздвигает горизонт венгерской социографической литературы, которая до сих пор ограничивалась крестьянской тематикой, подчеркнул рецензент.

ГДР

НОВАЯ КНИГА ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА

«Мой роман — старший брат этих маленьких историй. Он ревнив, он толкает меня и теребит: вечно эти малыши!» — писал Эрвин Штриттматтер в книге миниатюр «Шульценхофский календарь всякой всячины» (см. «Иностранную литературу» № 10, 1967). Новая книга писателя — снова сборник рассказов. Правда, Штриттматтер как бы перебрасывает мост от малой формы к роману и делает свои рассказы своеобразными набросками романов. Отсюда и название книги «Вторник в сентябре. Стенограмма 16 романов». Некоторые из этих рассказов были ранее опубликованы в журнале «НДЛ» и вышли в русском переводе (см. «Иностранную литературу» № 8, 1968 г.).

Рассказы, вошедшие в новый сборник Штриттматтера,— большей частью юмористические. Иногда они веселые и жизнерадостные, как, например, «Вторник в сентябре» и «Камень», герой которых — молодой, изобретательный и любознательный тракторист Вернер Вурцель. Иногда это рассказы с оттенком грусти («Зайцы прыгают через забор»). Часто писатель прибегает к острой сатире, используя приемы гротеска, гиперболизации.

По отзывам критиков, Штриттматтеру удалось в новом сборнике рассказов создать интересные человеческие характеры, дать широкую картину общественной жизни. В уста своих героев, главным образом Вернера Вурцеля, он вложил свои размышления о жизни, свои эстетические воззрения. Этим, по словам рецензента «Литератур-70», Штриттматтер достигает живого общения с читателем.

Рецензент «НДЛ» охарактеризовал книгу «Вторник в сентябре. Стенограмма 16 романов» как «панораму пейзажей, страстей, повседневных событий прошлого и настоящего, снова знакомящую нас с писателем, который своими короткими историями и рассказами учит нас радости чтения и радости мышления».

«НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ»

...Молодой ученый доктор Бернгард пришел работать на предприятие, которое до сих пор было на хорошем счету, давало прибыль, и начал доказывать, что все там устарело и требует срочной замены, что даже строительство нового цеха, на которое уже затрачено много средств, надо приостановить, как нерентабельное. Только после многих острых столкновений с людьми, и в первую очередь с директором Хоппе, доктор Бернгард понял, что взялся за дело «не с той стороны», что практический опыт и интересы людей решают спор не в его пользу.

Такова основная сюжетная линия нового фильма студии ДЕФА «Напряженность поля», первой ленты молодого режиссера Зигфрида Кюна. «Здесь речь идет не о машинах, а о живых людях,— писал рецензент газеты «Нейес Дейчланд».— Для них — новая техника,

ни она должна служить в новом, социалистическом обществе».

А вот что сказал о своем произведении режиссер Кюн на премьере фильма: «В нем происходит столкновение не просто между руководителем предприятия и ученым — людьми разных темпераментов и характеров, а столкновение нашего настоящего с будущим. Поэтому трудно предложить какие-то готовые рецепты и в фильме нет того, что называют «хэппи-эндом». Борьба не окончена, она продолжается. Но если нам удалось дать зрителю возможность подумать о проблемах нашей жизни и о грядущем, будем считать, что наша цель достигнута».

ФРГ

НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПИСАТЕЛИ О ТРУДЕ

Весной 1969 г. дортмундская «Группа-61» объявила конкурс среди рабочих и служащих Западной Германии на лучшие литературные произведения (повести, рассказы, очерки), отображающие мир труда. Из 150 поступивших на конкурс произведений, как стало недавно известно, жюри, в состав которого вошли Макс фон дер Грюн, Гюнтер Вальраф, Эрика Рунге и другие, отобрало тридцать. Десять авторов были отмечены премиями. 17 рассказов вошли в сборник под названием «Строительный кран опрокидывается», выпущенный недавно мюнхенским издательством «Пипер-ферлаг». Рецензент гамбургского еженедельника «Цейт», благожелательно отзываясь о сборнике в целом, выделяет художественные достоинства рассказов Берида Бергена, Эрики Рукдешель, Зигфрида Грундмана и Гейни Лудевига. Критик дюссельдорфской газеты «Дейче фольксцейтунг», подчеркивая актуальность сборника, пишет, что в последнее время среди западногерманских читателей заметно повысился спрос на художественную и документальную литературу о человеке-труженике.

ГРЕЦИЯ

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПРОТИВ ТИРАНИИ

Крупнейшим событием в литературной жизни Греции после фашистского переворота 21 апреля 1967 года стал недавний выход поэтического сборника Маркоса Авгериса «Встречные и параллельные». Восьмидесятишестилетний патриарх прогрессивной греческой литературы, основоположник марксистской критики в Греции, наставник нескольких поколений греческой интеллигенции, он и на этот раз дал своим соотечественникам урок мужественного неприятия фашистской тирании. В сборник «Встречные и параллельные» вошли новые, а также ранее публиковавшиеся стихотворения М. Авгериса, объединенные общим настроением, духом антифашистского Сопротивления.

«Поэзия Маркоса Авгериса,— пишет в кипрской газете «Харавги» литературный обозреватель П. Петритис,— это обвинительный акт против тирании. Это поэзия борющаяся и в то же время высокохудожественная. Глубоко эмоциональная и интеллектуальная, пронизанная лиризмом, она передает страдания и усилия народа, стремящегося освободиться от оков тирании».

Сборник «Встречные и параллельные» издан за счет автора, ограниченным тиражом и без права продажи через книжные магазины, однако, как сообщает печать, это не помешало читательскому успеху книги.

ИНДИЯ

ВЕРНОСТЬ ЖИЗНЕННОЙ ПРАВДЕ

Многие годы в Калькутте существует труппа «Тиэтр юнити», которой руководит известный актер и режиссер Секхар Чаттерджи. На его счету немало значительных ролей и спектаклей. В 1960 году критика единодушно отметила его удачу — постановку «Квадратуры круга» по мотивам одноименной пьесы В. Катаева. С. Чаттерджи создал образ одного из участников восстания на флоте против англичан в спектакле «Шторм на море» У. Датта. Пользуется успехом и новая работа С. Чаттерджи — пьеса «Родина», где он выступает как драматург, режиссер и исполнитель одной из главных ролей.

Спектакль рассказывает об индийской деревне наших дней. «Эксплуатация и нищета, повседневные заботы и проблемы крестьянской бедноты волнуют автора и постановщика»,— писал рецензент индийского еженедельника «Линк» Ашиз Барман. На одном полюсе — землевладельцы, староста деревни, полицейский и государственный чиновник. На другом — крестьяне, учитель и врач. По свидетельству критика, спектакль оставляет неизгладимое впечатление своей обличительной силой. В финале спектакля крестьяне и интеллигенция деревни дают совместный отпор эксплуататорам и их приспешникам.

По мнению рецензента, секрет успеха постановок «Тиэтр юнити» состоит в том, что он неизменно остается верным жизненной правде.

ИТАЛИЯ

УНГАРЕТТИ — ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

В последние месяцы в Италии и за рубежом вновь возрос интерес к творчеству одного из старейших итальянских поэтов — Джузеппе Унгаретти. Этому немало способствовали выход в свет в издательстве Мондадори сборника «Жизнь человека», в котором собраны все стихи Унгаретти, а также ажиотаж вокруг присуждения в прошлом году Нобелевской премии (итальянская печать прочила премию Унгаретти и с неудовольствием встретила присуждение ее Самуэлю Беккету). В феврале этого года итальянская литературная общественность торжественно отметила

восьмидесятидвухлетие со дня рождения поэта: в римской художественной галерее «Ромеро» были выставлены две книги его стихов с иллюстрациями художника Паоло Дорацио и акварель этого художника на тему одного неизданного стихотворения Унгаретти. Также велик интерес к стихам Унгаретти и за границей: французский литературный журнал «Эрн» полностью посвятил один из своих последних номеров творчеству итальянского поэта; Оклахомский университет в США присудил Унгаретти премию «Книги за рубежом», которую оспаривали многие претенденты.

Итальянская общественность высоко оценила позицию, занятую поэтом в защиту греческого народа, борющегося против диктатуры «черных полковников». Унгаретти принял участие в манифестации солидарности римской прогрессивной молодежи с греческими патриотами и посвятил Греции стихотворение «Греция 1970», проникнутое гневным возмущением «режимом безумцев и чудовищ», попирающих свободу и человеческое достоинство. Это стихотворение помещено в книге «Эллада 70», содержащей 24 отрывка из произведений древнегреческих писателей на тему о свободе. Книга иллюстрирована художником Дорацио, набрана вручную в количестве 350 экземпляров, каждый стоимостью в 30 тысяч лир. Деньги, полученные от продажи этого художественного издания, будут переданы в фонд борьбы за свободу Греции.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ БОЛОНЬИНИ И ПЕТРИ

Самую высокую оценку прогрессивной итальянской печати и кинокритики получили два недавно вышедших на экран фильма, являющихся значительным событием в жизни итальянского кино, ныне переживающего глубочайший идейно-художественный и экономический кризис и, казалось бы, безнадежно погрязшего в «коммерции». Это картины Мауро Болоньини «Метелло» и Элио Петри «Следствие по делу гражданина, который выше всяких подозрений». Первый из них представляет собой экранизацию знакомого советскому читателю одноименного романа Васко Пратолини (первая часть трилогии о становлении, росте классового самосознания молодого флорентийского рабочего Метелло). Болоньини — опытный мастер экранизации — сумел воссоздать в фильме атмосферу конца прошлого — начала нынешнего века на заре рабочего движения во Флоренции, показать жизнь и первые выступления итальянских рабочих за свои права. В роли Метелло снимался популярный в Италии молодой эстрадный певец Массимо Раньери.

Фильм режиссера Элио Петри — острая социально-политическая сатира, гротеск в форме детективной ленты. Герой ее — полицейский комиссар, сделавший блестящую карьеру и возомнивший себя непогрешимым, а затем отождествивший себя с «законом», который он представляет. Он совершает убийство и бравирует им перед своими подчиненными, боящимися, несмотря на всю очевидность улик, даже допустить мысль о том, что преступник — их начальник... В роли полицейского комиссара блеснул своим актерским мастерством Джан-Мария Волонте. При создании этого фильма-памфлета, направленного против царящего в Италии произвола полиции и злоупотребления властью, режиссер использовал многие действительно имевшие место скандальные истории, о которых писали итальянские газеты.

Кадры из фильма «Метелло». В главной женской роли — Тина Омон. *(Газета «Унита»)*

«КОГДА КРЫСЫ БЕГУТ С КОРАБЛЯ»

Так называется новая повесть писателя Раффаэле Крови, выпущенная издательством Мондадори. Герой повести — буржуазный интеллигент, выходец из семьи богатых промышленников. В сорок лет, когда ему представилась возможность воспользоваться солидным наследством своих родителей, он отказывается от перспективы благополучной жизни и уходит в добровольное изгнание. В уединенной деревушке, где он поселился, он пишет письма брату — владельцу большого завода, в которых осуждает общество, проникнутое духом стяжательства. Однако, критикуя буржуазное общество, герой не чувствует еще себя полностью оторванным от него, что ведет к мучительным колебаниям. Писатель оставляет своего героя в момент, когда тот принимает твердое решение не возвращаться к прежней жизни и начать борьбу против несправедливого общественного устройства.

Повесть Раффаэле Крови получила высокую оценку в демократической печати. Рецензент газеты «Унита» отмечал, в частности, что автор создал правдивый образ «типичного буржуазного интеллигента, переживающего кризис своих взглядов и отказывающегося от своего класса». Эта книга, подчеркнул рецензент, очень достоверно изображает положение, в котором находится сегодня интеллигенция в буржуазных странах; ее представители все чаще принимают трудное для них решение порвать со средой, из которой они вышли.

ВЕНЕЦИАНСКОЙ «БИЕННАЛЕ» НУЖНА РЕФОРМА

На предстоящей 35-й международной художественной выставке «Биеннале 70» в Венеции посетители не увидят ни картин, ни скульптур, сообщают итальянские газеты. В одном из проспектов выставки ее устроители заявляют, что их интересует не столько само произведение, сколько «акт» его создания. Это-то и продемонстрируют художники. Необычен девиз выставки: «Некоторые предложения к экспериментальной экспозиции». Как пишут журналисты, посетителям венецианской выставки придется мобилизовать для ее осмотра не только зрение, но и слух, и обоняние, и все другие органы восприятия. Наглядное представление о характере подобных выставок дает прошедший в Болонье «смотр современного искусства, который в Италии считают своеобразной репетицией «Биеннале».

Рабочим, монтировавшим экспонаты, пришлось иметь дело не с мрамором, бронзой или холстами и картонами, а с чучелами животных, металлическими трубками, проволокой, кусками туфа, копнами сена, вязанками хвороста. Через несколько дней после открытия «выставки» с пола пришлось соскабливать один из центральных экспонатов — расплывшийся десятикилограммовый пласт маргарина, который изрядно пожелтел и скверно попахивал.

На выставке «Биеннале», Италию будут представлять семь художников. Для выражения своей творческой индивидуальности одни из них прибегают к современным достижениям электроники, другие пользуются чучелами животных. Общее для них всех — категорический отказ от кисти, палитры, резца и других традиционных орудий изобразительного искусства.

В адрес итальянского Комитета изобразительных искусств поступают сотни писем, авторы которых — известные и мало известные художники — выражают решительный протест по поводу программы предстоящей выставки. Ренато Гуттузо, например, решительно выступил против формалистического перерождения венецианской «Биеннале», заявив, что выставка изобразительного искусства должна принадлежать художникам и что «пора наконец прекратить морочить головы людям». Еще более категорично высказался скульптор Джакомо Манцу, который считает, что «Биеннале» давно уже перестала существовать как выставка искусства и никакие силы не смогут возродить ее к жизни. Большая группа художников, скульпторов, критиков, писателей, режиссеров, актеров и композиторов обратилась ко всем деятелям искусств Италии с призывом не посещать и никаким образом не участвовать в выставке. Среди подписавших призыв — Эдуардо Де Филиппо, Нанни Лой, Марио Моничелли, Пьер Паоло Пазолини, Элио Петри, Луиджи Скварцина, Лукино Висконти и другие.

МОНГОЛИЯ

ИЗУЧАЮТСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Монгольские ученые ведут обширную научную работу, собирая и изучая древнейшие литературные памятники своего народа. Благодаря их деятельности многое из литературного наследия монголов издано.

По мнению академика Ц. Дамдинсурэна, самый крупный монгольский историко-литературный памятник — «Сокровенное сказание монголов», изданный в 1240 году. «Сокровенное сказание», повествующее о создании единого монгольского государства, исключительно ценно тем, что содержит много фольклорных материалов, народных легенд и песен. Это — богатейший источник для изучения истории монгольского народа. В настоящее время известно несколько изданий этого памятника в самой Монголии и за рубежом, в том числе в Советском Союзе.

К разряду столь же значительных памятников, по мнению ученых, следует отнести книгу неизвестного автора, написанную на березовой коре в XIV веке, содержащую множество народных песен.

Академик Ц. Дамдинсурэн писал в газете «Новости Монголии», что кочевое хозяйство монголов не благоприятствовало созданию культурных памятников. Од-

нако уже в XIII веке монголы имели свою письменность и печатали книги ксилографическим способом. Некоторые образцы книг тех времен хранятся в настоящее время в Берлинской библиотеке.

В XIV веке жил и работал ученый и поэт Чойджи-Одссэр, автор первой монгольской грамматики. Сохранилась его поэма, посвященная богине по имени Махакали. Ему же принадлежит перевод индийской философской поэмы «Бодичарьявадра», которую он издал в 1312 году со своими комментариями.

В Монголии сохранились великолепные образцы переводной литературы. Таковы, например, два объемистых буддийских сборника — «Ганджур» (108 томов) и «Данджур» (225 томов), изданных также ксилографическим способом и хранящихся ныне в государственной публичной библиотеке в Улан-Баторе.

Весьма значительно, с точки зрения академика Ц. Дамдинсурэна, творчество монгольских литераторов XIX века. Писатель по фамилии Рабджа создал в 1832 году музыкальную пьесу «Лунная кукушка». Пьеса эта имела большой успех и не сходила со сцены в течение ста лет. Писатель Инжинаши создал два больших романа: «Синяя книга» и «Зал любовной тоски».

В литературе XIX века начали появляться критические оценки феодального строя. Вершиной этого течения стала поэзия Данзанваиджила. В XIX веке, по мнению академика Ц. Дамдинсурэна, в Монголии имелись уже все жанры современной литературы.

ОАР

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

По инициативе Организации социалистической молодежи ОАР в Александрии состоялся Первый съезд молодых писателей Объединенной Арабской Республики. Журнал «Аль-Кятиб» («Писатель») поместил отчет об этом съезде, написанный одним из его организаторов Мустафой Аминым.

Съезду, говорится в отчете, предшествовали подготовительные конференции в провинциях, в которых приняло участие более 1500 молодых литераторов. На конференциях было обсуждено свыше 1150 произведений начинающих авторов, в том числе стихотворения (на арабском литературном языке и местном диалекте), пьесы, новеллы, романы, литературоведческие и критические статьи, произведения, написанные для радио и телевидения.

Для проведения съезда был избран руководящий орган, в который вошли писатели и критики, «завоевавшие доверие и уважение всех поколений». Генеральным секретарем съезда был избран писатель Нагиб Махфуз. Его заместителем — доктор Али ар-Раи. В состав руководства съезда вошли такие известные деятели египетской литературы, как Ахмад Аббас Салех, Юсуф Идрис, Фарук Хуршид, Альфред Фараг, Салах Абдель Сабур, Ахмад Рушди Салех.

В повестку дня съезда первым пунктом был включен вопрос: «Роль молодых писателей в борьбе (против израильской агрессии. — Прим. ред.) и в строительстве социалистического общества».

Среди других вопросов в повестке дня фигурировали проблемы публикации произведений молодых авторов, вопросы перевода, улучшения условий труда писателя, объединения писательских организаций.

На заключительном заседании съездом были приняты рекомендации, предусматривающие, в частности, организацию регулярных поездок молодых писателей на линию прекращения огня и их участие в работе гражданских комитетов обороны. В рекомендации по вопросу «Участие писателей в социалистическом строительстве» говорится: «Съезд считает, что борьба за освобождение, которую ведет в настоящее время наше общество, неотделима от проблемы социалистических преобразований... Поэтому верность делу свободы и социализма означает вклад в борьбу за освобождение».

Съездом был избран временный секретариат в составе 21 человека (по одному от каждой провинции ОАР).

«МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ»

В Каире вышла в свет новая книга крупнейшего египетского новеллиста Махмуда Теймура «Между молотом и наковальней».

В рецензии на эту книгу, помещенной сирийским литератором Абд аль-Гани аль-Атри в журнале «Аль-Адиб», говорится, что в настоящее время общее число книг, написанных М. Теймуром, превысило сорок. Многие его произведения переведены на французский, английский, русский, испанский и другие языки.

Махмуду Теймуру принадлежит заслуга создания арабской новеллистики, и в этом отношении он занимает, по мнению автора статьи, такое же место в арабской литературе, как Мопассан — во французской и Тургенев — в русской.

В книге «Между молотом и наковальней» собраны статьи и беседы М. Теймура, опубликованные им на протяжении последних 25 лет в периодической печати, а также его интервью по радио и телевидению. В этих беседах и интервью содержится много важных подробностей о жизни писателя, о его детстве и первых книгах, о его опыте новеллиста. Там же даются советы начинающим писателям.

Журнал «Аль-Адиб» сообщает также о выходе в свет нового сборника рассказов Махмуда Теймура, который называется «Я убийца» и другие рассказы».

ПОЛЬША

ВАЙДА: ФИЛЬМ О «ДЕЛАХ ПОЛЯКОВ»

Известный кинорежиссер Анджей Вайда закончил работу над новым цветным фильмом, который называется «Пейзаж после битвы».

Действие его развертывается в основном в гитлеровском концентрационном лагере, освобожденном американцами в 1945 году, где было немало узников-поляков. Избавление от смерти преобразило людей — они снова стали самими собой. «Рождаются симпатии и антипатии, возникают новые надежды, вспыхивает былая ненависть. Все страсти, подавленные перед лицом смерти, разгораются с еще большей силой перед перспективой жить», — писал критик Яцек Буковский в еженедельнике «Польское обозрение».

Сценарий фильма написан по мотивам рассказа Тадеуша Боровского. Главный герой картины — молодой поэт, которого играет Даниель Ольбрыхский. В главной женской роли выступает молодая актриса варшавского театра «Вспулчесны» Станислава Целинская (это ее первая роль в кино). Молодые люди тайком покидают лагерь. Когда они, крадучись, возвращаются, американский часовой убивает девушку...

— Что побудило вас,— спросил Буковский Анджея Вайду,— углубить любовную линию, которая в рассказе намечена довольно поверхностно?

— Мне думается, что без этого кинофильм был бы малоинтересным и непонятным для многих зрителей, особенно молодых... Любовная линия — это как бы поэтическое и лирическое обрамление всего того, что происходит на экране, и в то же время основное содержание картины придает этой линии большую достоверность, глубину, как бы очищая ее от налета банальности и надуманности.

Когда корреспондент еженедельника «Фильм» Анджей Марковский спросил у Вайды на съемочной площадке, какова главная тема его нового фильма, режиссер ответил: «Это фильм о «делах поляков»; об их слабостях и силе, о том, что их объединяет и что разделяет; в то же время — это фильм о человеческой слабости и страхе, о боязни сделать выбор и стремлении преодолеть эти эмоции; это, наконец, фильм о существовании человека, поставленного в невыносимые условия и о попытках возродить в нем веру в жизнь и снова превратить ее в непреходящую ценность. Но прежде всего это фильм о любви. Потому что любовь — фактор, который дает возможность герою вновь обрести утраченное чувство человеческого достоинства».

Эпизоды фильма «Пейзаж после битвы».
(Еженедельник «Польское обозрение»)

ИЗДАЕТ МОН

Издательство министерства национальной обороны Польши (МОН) отметило Ленинский юбилей несколькими интересными публикациями. Среди них сборники «Ленин и современность» и «Ленин о защите социалистического отечества», а также воспоминания бывших часовых караульной службы в Кремле — под названием «Пост № 27».

К 25-летию победы над фашизмом издательство МОН выпустило «Воспоминания и размышления» Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, мемуары бывшего командующего 1-й армией Войска Польского генерала армии Поплавского, документальные сборники «Женщины в борьбе» и «Сыны полка».

Читатели получили также две книги известного публициста Збигнева Залуского: «Зерна на бруствере» и «Финал 1945». В них, как пишут рецензенты, автор стремился дать оценку вклада народного Войска Польского и всего польского народа в разгром гитлеризма. Книга Рыдловского «Герои военных лет» знакомит с выдающимися польскими военачальниками и отличившимися солдатами периода второй мировой войны.

РОМЕН РОЛЛАН И ПОЛЬША

«В парижском архиве Ромена Роллана я наткнулась

на десятки писем из Польши,— пишет историк литературы Зофья Карчевская-Маркевич в еженедельнике «Польское обозрение». — Среди них — два, написанные великими польскими писателями, лауреатами Нобелевской премии Генрихом Сенкевичем и Владиславом Реймонтом. В годы первой мировой войны Ромен Роллан виделся с Сенкевичем в Швейцарии и в своем дневнике описал эти встречи. В тот период он проявлял к Польше живой интерес, был горячим поборником ее независимости».

Произведения Ромена Роллана быстро завоевали популярность в Польше, отмечает автор статьи. Первые тома «Жана-Кристофа» вышли в польском переводе в 1911 г., то есть еще до того, как Роллан окончил свой монументальный роман. Полностью роман увидел свет в 1923 г. В 1925—1927 гг. он вышел в новом переводе, сделанном поэтом Леопольдом Стаффом. Польский перевод «Кола Брюньона» впервые был опубликован в 1921 г. В последующие годы роман неоднократно переиздавался. Начиная с 1924 г. выходили в свет очередные тома «Очарованной души». Однако последняя часть этого романа вышла в польском переводе лишь после 1945 г. Книга о Махатме Ганди издавалась еще трижды (1924, 1930, 1933), «Жизнь Бетховена» (1921), «Гендель», «Музыканты прошлых дней», «Микеланджело» (1924).

Хорошо были приняты и пьесы Роллана на польской сцене, продолжает Карчевская. «Волки» были поставлены в Кракове в 1915 г. В Варшаве — в 1929 г. Широкий отклик вызвал «Дантон» в переводе Яна Парандовского, поставленный в Варшаве в 1924 г. Среди пьес Роллана наибольший успех выпал в Польше на долю «Игры любви и смерти». Уже в 1926 г., то есть до первой постановки этой пьесы в парижском «Одеоне», ее увидели зрители Кракова и Познани в переводе Францишека Мирандоли (он же перевел «Кола Брюньона»). В 1930 г.— в переводе Адама Загурского — «Игра любви и смерти» вошла в репертуар варшавского театра «Польский». На этой же сцене пьеса была показана в 1961 г. в новом переводе (Зофьи Карчевской-Маркевич).

В современной Польше выпущено несколько публикаций, посвященных драматургии, романам, мемуарам, переписке Ромена Роллана. За последние 25 лет произведения Роллана были изданы более чем полумиллионным тиражом. Рекорд бьет «Кола Брюньон»: одиннадцать изданий, 200 тысяч экземпляров. Затем идут «Жан-Кристоф» — более 150 тысяч экземпляров, «Очарованная душа» — 100 тысяч. По случаю столетия со дня рождения Ромена Роллана в 1966 году были переизданы «Кола Брюньон», «Жан-Кристоф», «Бетховен» и отрывки из «Дневника военных лет 1914—1919».

РУМЫНИЯ

НА СЦЕНЕ ВНОВЬ «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

В Бухарестском национальном театре имени Караджале вновь идет «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. Впервые пьеса была поставлена на сцене этого театра 12 лет назад и шла в течение нескольких лет. Постановка была возобновлена режиссером Владом Мугуром накануне 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Присутствовавшие на премьере зрители тепло встретили спектакль. Роль комиссара исполняет Заслуженная артистка Марчела Русу, Алексея — Флорин Персик.

КОНЧИНА ГРИГОРЕ ВАСИЛИУ-БИРЛИКА

Умер крупнейший румынский актер, игравший не одно десятилетие на румынской сцене, Народный артист Григоре Василиу-Бирлик.

Василиу-Бирлик, как пишет в еженедельнике «Контемпоранул» известный режиссер Сикэ Александреску, блистательно исполнял роли из классического репертуара в произведениях Мольера, Гольдони, Караджале, Гоголя. На фестивале Гольдони летом 1957 года в Венеции, вспоминает Александреску, итальянская публика восторженно аплодировала Василиу-Бирлику, выступившему в роли сеньора Канчано.

«Когда мы показали «Ревизора» Гоголя в Москве,— рассказывает далее режиссер,— ведущие советские артисты и авторитетные театральные критики говорили мне, что пара Бобчинский — Добчинский, то есть Василиу-Бирлик — Марчел Ангелеску была одной из самых удачных в истории постановки этой пьесы».

Будут новые театральные сезоны, будут новые спектакли, но они будут беднее, потому что Григоре Василиу-Бирлика не будет с нами, пишет в заключение Александреску.

США

«АМИСТАД»: БУНТ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В переводе с испанского «амистад» означает «дружба». Так назван новый американский журнал, первый номер которого вышел в Нью-Йорке. Название журнала идентично названию испанской шхуны, на которой в 1839 году у берегов Кубы подняли мятеж 54 раба-негра—и обрели свободу.

Журнал основан радикальными деятелями современной негритянской литературы и искусства США; большинство критиков отмечает «резкую, энергичную» тональность всех материалов первого номера. Пресса, близкая к правящим кругам, встретила новое издание в штыки. Обозреватель еженедельника «Ньюсуик» писал, что новый «литературный корабль» преисполнен «того же духа черного бунта», а корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» пришел даже к выводу, что «Амистад» задался целью подготовить революцию».

В новом периодическом издании будут публиковаться очерки и труды по истории черной Америки, литературно-критические статьи и художественные произведения. Предполагается, что журнал будет выходить ежеквартально или раз в полгода.

В первом номере «Амистада» (на 305 страницах) представлены девять авторов-негров, имена некоторых широко известны американской читательской аудитории. Обозреватели выделяют критические статьи К. Л. Р. Джеймса («Атлантическая работорговля и рабство»), Эддисона Гэйля («Культурная гегемония: белые писатели Юга и американская беллетристика») и художественную прозу талантливого молодого писателя Джорджа Дэвиса. В номере напечатана также статья выдающегося представителя негритянской культуры Америки, покойного поэта и писателя Лэнгстона Хьюза. Написанная еще в 1926 году, статья называется «Негритянский художник и расовая проблема».

Наш журнал, сказал главный редактор «Амистада», прозаик Джон Уильямс, призван воспрепятствовать тому, чтобы «историю, литературу и изыскания в других областях использовали как средство для непрерывного подавления людей с черной кожей. Корабль «Амистад» с рабами на борту взбунтовался, восстал за справедливость... и мы надеемся, что именно этому примеру последует и наш журнал».

Обложка первого номера журнала «Амистад».

МУЗЕЮ «МЕТРОПОЛИТЭН» — 100

Исполнилось 100 лет со дня основания крупнейшего в США музея изобразительного искусства — нью-йоркского «Метрополитэн». Юбилей широко освещался в американской прессе, по телевидению; была выпущена книга Кальвина Томкинса «Торговцы и шедевры» — об истории создания и развития «Метрополитэн».

В самом музее прошла специальная юбилейная выставка средневекового искусства, называвшаяся «Год 1200-й». На ней было представлено около 300 экспонатов — скульптурные изображения, изделия из слоновой кости, металла, цветного стекла, текстильные изделия, рукописи и драгоценные камни,— временно заимствованных из музеев, частных собраний и церквей 16 стран мира.

Почему название выставки связано с 1200 годом? Разъясняя замысел организаторов выставки, известный в США критик Джон Кэйэди писал в газете «Нью-Йорк таймс»: «1200 год явился той переломной точкой (с возможными отклонениями лет в двадцать в ту или иную сторону), когда на смену чувствообильному и порой довольно наивному мистицизму «доварварского» искусства пришла, а вернее, возникла и стала параллельно существовать та классически ясная и спокойная форма искусства, которая признавала достоинство человека и силу его интеллекта».

По сообщениям печати, это первая выставка из девяти, запланированных музеем на юбилейный год. Будут, в частности, проведены выставки: «Шедевры мирового искусства пятидесяти веков истории», «Американская живопись XIX века», «Итальянские рисунки XVIII века», «Раннеамериканская скульптура» и другие.

ДИККЕНС О США: «Я РАЗОЧАРОВАН»

К столетию со дня смерти Чарльза Диккенса, умершего 9 июня 1870 года, в библиотеке «Пирпорт Морган» в Нью-Йорке открылась выставка, посвященная жизни и творчеству знаменитого писателя. Газета «Интернешнел геральд трибюн» поместила отрывки из письма Диккенса, написанного им во время путешествия по Америке в 1842 году, длившегося полгода: «Наблюдая безрассудство, пороки и вопиющие противоречия этой страны, я пришел к твердому убеждению, что именно эта нация в будущем нанесет свободе наиболее ощутимый удар... Достаточно взглянуть на варварски эксплуатируемые природные богатства, бездействующую администрацию, яростные схватки Севера с Югом, железную узду, накидываемую на всякого, кто осмеливается говорить то, что он думает... Эта нация подобна телу, лишенному головы, руки которого заняты дракой с другими членами и между собой». Примечательно, что, отправляясь в эту поездку, Диккенс обещал своим издателям написать книгу очерков о свободной стране, но «как приверженец свободы,— пишет он в конце письма,— я разочарован».

Написанное 128 лет назад, письмо это до последнего времени было неизвестно даже специалистам. Теперь оно войдет в третий, дополненный том писем Диккенса, который в этом году выпустит издательство «Пилгрим».

КТО РАЗГРОМИЛ ГИТЛЕРА?

Американское телевидение и кино по-своему отметили 25-летие со дня разгрома фашистской Германии. Телезрителям было предложено немало фильмов о второй мировой войне, выпущенных в конце 40-х и начале 50-х годов, таких как «Секретная операция», «Корвет К-23» и другие, в которых настойчиво проводится мысль, что только американская армия

сыграла решающую роль в разгроме полчищ Гитлера и армий японских милитаристов. При этом специалисты по пропаганде в США старались щадить «патриотические» чувства своих нынешних союзников — Западной Германии и Японии.

Деятели Голливуда также внесли свою лепту в эту пропагандистскую кампанию. Фирма «XX век—Фокс» выпустила два кинобоевика на военные темы: «Тора, Тора, Тора» (о нападении японцев на Пирл-Харбор в 1941 г.) и фильм о генерале танковых войск армии США Паттоне. На их постановку было затрачено более сорока миллионов долларов.

В фильме «Паттон: салют мятежнику» прославляется генерал-солдафон, кумир американских «ультра». Как известно, после окончания войны на территории Германии, занятой 3-й американской армией, которой командовал Паттон, нашли убежище многие нацисты: Паттон категорически отказался проводить денацификацию.

Советская армия в фильме не показана: лишь в финале по случаю встречи американских и советских войск появляется советский генерал. Он предлагает Паттону тост за победу над Германией, но тот демонстративно отказывается поддержать его. Эта сцена символична: известны слова Паттона о том, что Соединенные Штаты во второй мировой войне воевали «не с тем, с кем надо было воевать».

Возможно, авторы фильма разделяют взгляды американского генерала — покровителя нацистов, но известны еще некоторые обстоятельства, поясняющие, почему компания «XX век—Фокс» взялась за изготовление подобного пропагандистского боевика. Из сообщений печати следует, что компания стоит перед угрозой банкротства и готова выполнить любой заказ власть имущих, лишь бы избежать этой незавидной участи.

Однако, по последним сообщениям, «Паттон» не очень помог владельцам компании: кассового успеха фильм не имел.

ТРИНИДАД И ТОБАГО

РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КИНОИСКУССТВА

По сообщениям печати, впервые во всей Вест-Индии поставлен фильм усилиями местных кинематографистов. Сценарий фильма, носящего название «Правда и ложь», написан известным тринидадским драматургом Фредди Киссоном. Режиссер фильма — Хербансе Нумар, индиец по происхождению.

В картине показана жизнь различных расовых групп, которые населяют Тринидад сегодня «так же, как они населяли этот остров в Карибском море сто лет назад». «Правда и ложь», как отмечает рецензент американской газеты «Крисчен сайенс монитор», затрагивает весьма злободневные проблемы сегодняшнего Тринидада и Тобаго.

Главные персонажи фильма — развращенный белый плантатор, его семья, африканские рабы и приехавшие по договору из Индии рабочие. Основное содержание фильма составляют конфликты между этими людьми, возникающие вследствие злоупотребления белыми своим положением.

Роли плантатора и его жены были предложены американским актерам Фрэнку Рейтеру и Элеи Ле Гаро. Другие роли исполняют члены тринидадской театральной студии «Бродячие актеры», которой руководит Ф. Киссоон.

Премьера фильма «Правда и ложь» состоялась в мае в Порт-оф-Спейне, столице Тринидада и Тобаго. На дебютный просмотр была приглашена Коретта Кинг — вдова борца за равноправие американских негров, зверски убитого расистами,— Мартина Лютера Кинга.

Поставленный на английском языке, фильм «Правда и ложь» будет дублирован на нескольких других языках для того, чтобы его можно было показывать на международных фестивалях.

ТУРЦИЯ

СОЗДАН СОЮЗ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ

Двадцать шесть крупнейших писателей, художников, мастеров театра и кино Стамбула объявили о создании новой организации — «Союз деятелей искусств Турции». Цели организации, записанные в ее уставе, включают защиту предусмотренных конституцией свобод слова, печати и демонстраций, право на участие своим искусством в социальной борьбе турецкого народа, в борьбе за независимость и процветание страны, развитие и укрепление связей между художниками в целях активизации их общественной деятельности, защиту прав и чести художника, создание организаций деятелей искусств в масштабе всей Турции, выпуск периодических изданий, отражающих развитие всех жанров искусства, расширение международных связей турецких писателей, художников, актеров и режиссеров, участие в борьбе против «культуры», насаждаемой идеологами империализма в странах, которые они стремятся держать в подчинении.

ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ КЛАССИКА ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Газета «Джумхуриет» поместила сообщение о том, что дом классика турецкой литературы романиста Хюсейна Рахми Гюрпынара (советский читатель знает его по книге «Неслыханное дело»), приобретенный стамбульским муниципалитетом, не будет, вопреки широковещательным заявлениям, превращен, как это предполагалось, в мемориальный музей. Муниципалитет выдвинул предлог, что дом находится далеко, на острове Хейбели (один из Принцевых островов в Мраморном море) и вряд ли будет посещаться.

В связи с этим депутат меджлиса публицист Джахад Бабан заявил: «Никто не вправе оскорблять память писателя, отразившего в своем творчестве целую

историческую эпоху и неразрывно связанного с ней.

Романы Х. Р. Гюрпынара изучаются в школах, поколения турецких читателей учились у него гражданской честности и правдивости. Своими произведениями писатель обеспечил себе уважение потомков, его имя стало гордостью турецкой литературы. Долг наш перед цивилизацией — сохранить уважение к его памяти».

ФИНЛЯНДИЯ

ЮБИЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА

Второй по величине университет Финляндии — в городе Турку — торжественно отметил свой 50-летний юбилей. Он был открыт в 1920 году на средства, собранные трудящимися страны. Первым факультетом был гуманитарный, где изучались история Финляндии, финно-угроведение и финская литература. Затем возник физико-математический факультет. Позднее медицинский, а в последние годы — юридический факультет и факультет социологии.

Сейчас в университетском городке Турку находятся административное здание, студенческие общежития, дом естествознания, институт химии и физики и публичная библиотека, в подземных хранилищах которой собрано около 600 тыс. томов. В университете учится свыше 7 тыс. студентов и работает 1,5 тыс. преподавателей.

ФРАНЦИЯ

ЗА СОЮЗ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ПРОЛЕТАРИАТА

Как сообщает печать, в г. Клюни состоялся коллоквиум по актуальным проблемам современной литературы, организованный журналом «Нувель критик». Во вступительном слове директор журнала Франсис Кохн заявил, что на этом обсуждении актуальных теоретических проблем, связанных с литературой, «Нувель критик» выступает как выразитель политики Французской коммунистической партии.

В работе коллоквиума приняли участие лингвисты, философы, историки, а также писатели. Среди последних были и представители авангардистской литературы, группирующиеся вокруг журналов «Тель-кель», «Промесс», «Мантейя», «Шанж», «Аксьон поэтик». Было заслушано около сорока докладов. Наиболее острые дебаты развернулись вокруг определения понятия идеологии различных классов и ее проявлений в философских системах и в литературе, а также проблем семиологии.

Серьезной критике участников симпозиума подверглись некоторые ныне существующие варианты теории литературы.

Подводя итог многочисленным выступлениям на коллоквиуме, корреспондент газеты «Юманите» отмечает, что многие его участники вступили на путь борьбы с идеализмом во всех его проявлениях, и называет коллоквиум в Клюни «важным этапом в развитии марксистской гносеологии».

В заключение встречи главный редактор «Нувель критик» член ЦК КПФ А. Казанова говорил о социальном положении интеллигенции в государстве, где правят капиталистические монополии. Интеллигенция не может в таких условиях добиться удовлетворения многих своих потребностей, что сближает социальное положение интеллигенции и пролетариата. Отсюда возникает необходимость их союза. «Смысл наших дискуссий,— заявил А. Казанова,— следует искать именно в этой общей борьбе против общего врага».

«КИНОКАМЕРА И Я»

Под таким названием вышла книга известного кинодокументалиста Йориса Ивенса, живущего во Франции. «С первых часов моей жизни я был связан с фотографией»,— пишет автор, и это — истинная правда, как отмечают рецензенты, так как Ивенс родился в семье голландских фотографов. Год 1927 считается началом его работы в области документального кино. С тех пор на протяжении сорока с лишним лет Ивенс был как бы летописцем нашего века. С помощью своей кинокамеры он запечатлел важнейшие события в жизни Советского Союза, Франции, Испании, Китая, США, Канады, Италии, Индонезии, Вьетнама и Кубы. Широко известен его фильм «Испанская земля», созданный совместно с Эрнестом Хемингуэем, документальные ленты, снятые в годы второй мировой войны, а также два последних фильма о вьетнамской войне.

Книга иллюстрирована многочисленными кадрами из фильмов Ивенса.

ВЫСТАВКА «НОВОЕ ИСКУССТВО АФРИКИ»

В Париже в залах Музея человека прошла выставка под названием «Новое искусство Африки», которая, как сказано в «Информационном бюллетене ЮНЕСКО», «отражает новое направление в африканском искусстве, характеризующееся использованием современных выразительных средств для воплощения современных чаяний и стремлений».

Многие из экспонируемых образцов африканского искусства входят в собрание пражского музея Напрстек. По отзывам искусствоведов, эти экспонаты свидетельствуют о самобытности и оригинальности изобразительного искусства, развившегося, в частности, в Нигерии, благодаря деятельности клуба Мбари, который был основан композитором и драматургом йоруба Дуро Ладино. Из труппы Д. Ладино вышли многие талантливые живописцы и скульпторы, ставшие впоследствии членами клуба Мбари.

В юго-восточной части Нигерии, населенной народностью ибо, возникла группа художников под названием «Нигерийен поп», своеобразно сочетающая местные культурные традиции с современными течениями западноевропейского искус-

ства. Африканские мастера создали особый мир народного творчества — от портретов, реклам, гербов до «наивных» пейзажей и живописи на стекле. Используя современную технику, они обрабатывают древесную кору и камень, создают маски, ритуальные изображения на стенах хижин и святилищ, украшения и многое другое. «Экспонируемые на выставке образцы их творчества,— пишет корреспондент «Информационного бюллетеня»,— свидетельствуют об искреннем желании отобразить внешний и объяснить свой собственный внутренний мир».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

В ГЛАВНОЙ РОЛИ — «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»

Кинокритики уделяют внимание фильму - дебюту молодого чешского режиссера Вацлава Матейки под названием «Нагота».

В фильме рассказана драматическая история короткой любви молодой учительницы Ярмилы и парня по кличке Заноза, который отбывает срок заключения. Встреча героев происходит в глуши, в родной деревне Занозы, куда он едет по разрешению тюремного начальства навестить могилу матери.

На роль Ярмилы режиссер искал актрису, еще не известную широкой публике. Его выбор пал на 19-летнюю стажерку Прешовского театра в Словакии — Кристину Ганзалову. Каково же было разочарование режиссера, когда неожиданно на национальном конкурсе красоты 1969 года Кристина была увенчана короной «королевы красоты»! Матейка признался даже, что хотел повлиять на решение жюри, но... не решился. Так на главную женскую роль в фильме совершенно неожиданно попала «королева красоты».

В роли Занозы снимался актер Драматического клуба в Праге Петр Чепек.

Сам режиссер сказал о своем фильме, что он ставит задачей «изучение поведения двух человек, огражденных от внешнего мира, раскрытие их образа жизни и мышления; эти двое вступают в борьбу за любовь с сознанием горького опыта, что в один прекрасный день им придется сбросить маску лицемерия, раскрыть свои чувства и показать свое истинное лицо». И поэтому название фильма означает не наготу человеческого тела (по отзывам критиков, она показана на экране весьма целомудренно), а «внутреннюю обнаженность человеческих чувств».

Кристина Ганзалова в фильме «Нагота».
(Бюллетень «Чехословенски фильм»)

ЧИЛИ

В ТЕАТРАХ САНТЬЯГО

В чилийской столице театры работают круглый год. Репертуар меняется в середине января — почти одновременно во всех столичных театрах. Это и есть конец старого театрального сезона и начало нового. В последнем сезоне, по мнению театральных критиков, было несколько превосходных постановок — как национальных, так и зарубежных драматургов.

Успехом пользовалась комедия чилийского драматурга Хайме Сильвы «Евангелие от Хайме», поставленная на сцене театра Чилийского университета — единственного государственного театра в стране. В пьесе остро высмеивается библейская легенда о сотворении мира, четко проводится идея борьбы добра со злом, в котором победу одерживает доброе начало. Все содержание пьесы направлено против католической церкви. Поэтому не удивительно, что кое-кто враждебно встретил спектакль. Епископ Сантьяго, например, требовал запрета постановки. Задолго до премьеры в прессе появились разгромные статьи. В день премьеры группа хулиганов явилась в театр с целью сорвать спектакль, однако, встретив решительный отпор публики, отступила. Впоследствии «Евангелие от Хайме» успешно выдержало 200 представлений.

В этом же театре шла пьеса американского драматурга Мегана Терри «Вьетрок», рассказывающая о «грязной войне» американского империализма против мужественного вьетнамского народа. Спектакль был поставлен молодым режиссером Виктором Хара и пользовался большим успехом.

В числе лучших рецензенты отмечают постановки: «Тартюф» Мольера в «Театре комедии», «Цена» Артура Миллера и «Антигона» в интерпретации Б. Брехта, а также «Вишневый сад» Чехова и инсценировки «Маленьких трагедий» Пушкина.

ШВЕЙЦАРИЯ

ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В городке Винтертур на севере Швейцарии открылся первый в этой стране Национальный музей изобразительного искусства. В музей превращена частная коллекция — одна из богатейших — известного в Швейцарии знатока и ценителя искусства Оскара Рейнгарта. Владелец умер в 1965 году в возрасте восьмидесяти лет; коллекцию он завещал федеральному правительству Швейцарии.

Из 700 картин и скульптур, собранных Рейнгартом с 1924 по 1938 год в винтертурском музее выставлено 180 выдающихся произведений изобразительного искусства. Коллекция включает произведения Ренуара, Майоля, Сезанна, Домье, Делакруа.

Согласно завещанию Рейнгарта, экспозиция музея не может быть расширена или каким-то образом изменена. Входящие в нее шедевры нельзя также продавать или куда-то передавать для временного показа — их постоянной обителью должен быть Винтертур.

ЮГОСЛАВИЯ

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ГАЛЕРЕИ ИСКУССТВ В ЦЕТИНЬЕ

Галерея изобразительных искусств города Цетинье считается одним из самых богатых и ценных собраний в стране. Она была создана сравнительно недавно: в начале 50-х годов. Основателем и первым директором галереи был старейший югославский художник Милош Вушкович, который немало сделал для пополнения ее коллекций. В поисках произведений искусства он много ездил по стране и за границей. В результате в галерее появились залы искусства средних веков, эпохи Возрождения, времен борьбы южных славян за независимость, а также отделы скульптуры и живописи современных художников.

Весной нынешнего года Вушкович передал в дар галерее пятьсот своих произведений: картин, эскизов, скульптур. Это наиболее значительные работы художника: пейзажи Черногории, где он родился, работы, отражающие героизм югославского народа в борьбе с фашизмом, бытовые зарисовки. Произведениям Вушковича, который вскоре отмечает свое 70-летие, отведен отдельный зал галереи.

Скульптура Майоля «Раздумье» — один из экспонатов нового музея.

(Газета «Крисчен сайенс монитор»)

ЯПОНИЯ

«ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» СТАВИТСЯ В ТОКИО

В столичном театре «Токио» труппа «Мингей» («Народное искусство») под руководством режиссера Дзюкити Умо ставит пьесу М. Шатрова «Шестое июля». Роль Ленина исполнит актер О. Такидзава, роль Дзержинского — Симидзу. Премьера состоится в сентябре.

На сцене «Мингей» шли пьесы Толстого, Чехова, Горького. В последние годы театр поставил пьесы Арбузова «Потерянный сын», «Мой бедный Марат» и пользовавшуюся особенным успехом у японского зрителя «Иркутскую историю».

В Японии, по сообщениям печати, проявляется большой интерес к жизни и деятельности В. И. Ленина. В Токио и крупнейших городах страны проходили выставки ленинского плаката и произведений В. И. Ленина, демонстрировались советские фильмы «Броненосец «Потемкин», «Октябрь» и другие.

ПРЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРЕ

Генеральный директор ЮНЕСКО Р. Майо вручил постоянному представителю Японии при ЮНЕСКО И. Накае чек на 3000 долларов — премию ЮНЕСКО по архитектуре, присужденную студенту архитектурного факультета университета Васэда в Токио — Митсуо Морозуми. Впервые премия ЮНЕСКО по архитектуре была присуждена в октябре 1969 года во время работы конгресса Международного союза архитекторов, состоявшегося в Буэнос-Айресе.

В июле нынешнего года Р. Майо предполагает посетить Японию и лично вручить лауреату премии золотую медаль ЮНЕСКО.

НОВОЕ ЗДАНИЕ ЮНЕСКО

В 15-м городском районе Парижа состоялось торжественное открытие нового здания ЮНЕСКО на участке, предоставленном Организации правительством Франции. Автор проекта здания — архитектор Бернар Зерфюсс, который совместно с М. Л. Нерви и М. Брейером участвовал в сооружении первых зданий ЮНЕСКО на площади Фонтенуа.

В новом восьмиэтажном здании размещаются делегации государств — членов ЮНЕСКО, Информационный центр Объединенных Наций, несколько неправительственных организаций и часть Секретариата ЮНЕСКО.

Главный вход нового здания украшает композиция испанского скульптора Чиллида; в просторном дворе помещена статуя известного швейцарского скульптора Джакометти; зал досуга оформлен стенной росписью американского художника Келли; в большом зале в декоративном ансамбле венесуэльского художника Сото сочетаются художественные эффекты окраски стен, цветных прутьев и мебели.

Авторы этого номера

ШАНДОР ШОМОДИ ТОТ — SOMOGYI TÓTH SÁNDOR (род. в 1923 г.).

Венгерский писатель и литературный критик. Несколько лет занимался педагогической деятельностью — работал в министерстве просвещения, учителем в средней школе. Свою первую повесть «Перелом позвоночника» («A hátgerinctörés») написал в 1959 году. Затем вышла повесть «Детское зеркало» («Gyerekтükör», 1963), за которую писатель был удостоен литературной премии имени Аттилы Йожефа. В нашем журнале она публикуется под названием «Как дела, молодой человек?». Многочисленные отклики читателей и критики вызвала также его повесть «Ты был пророком, милый» («Próféta voltál szívem», 1964). В 1969 г. вышла его следующая повесть, «Габи» («Gabi»), получившая название по имени героя — мальчика-подростка Габи.

■

ТУДОР АРГЕЗИ — TUDOR ARGHEZI (1880—1967).

Крупнейший румынский поэт. Академик, лауреат Государственной премии. Его литературное творчество охватывает около 70 лет, оно обширно и многогранно. Перу поэта принадлежат многочисленные сборники стихов, романы, сатирические рассказы. В нашей стране произведения Т. Аргези печатались неоднократно.

Публикуемые стихи взяты из разных сборников последних лет и периодической печати.

■

ДЖОН ЧИВЕР — JOHN CHEEVER (род. в 1912 г.).

Видный американский писатель, мастер новеллы. Советские читатели знают Дж. Чивера по изданным на русском языке сборникам рассказов «Исполинское радио», «Ангел на мосту», новеллам, публиковавшимся многими журналами (в частности, в «Иностранной литературе» № 5, 1968 г. см. рассказ «Геометрия любви»). Помимо многочисленных рассказов, перу Дж. Чивера принадлежат: «Хроника семьи Уопшот» («The Wapshot Chronicle», 1957) — роман, отмеченный в 1958 г. Национальной премией США за лучшее произведение художественной литературы, и его продолжение—роман «Скандал в семействе Уопшот» («The Wapshot Scandal», 1963).

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей новый роман Джона Чивера «Буллет-Парк» («Bullet Park», 1969). Написанный наблюдательным и тонким художником, он воспроизводит духовный климат США конца 60-х годов.

■

ВАСИЛИС ВАСИЛИКОС (род. в 1933 г.).

Известный греческий писатель, лауреат литературной премии Греции — «Премии двенадцати». В настоящее время живет в изгнании — его имя значится в «черном списке» фашистской хунты.

В. Василикос окончил юридический факультет Салоникского университета. Известность и признание принесла писателю трилогия, состоящая из небольших повестей—«Растение», «Колодец» и «Ангелос Ангелидис». Большой успех во многих странах мира имел его документальный политический роман «Z», основой которого послужило дело об убийстве Григориса Ламбракиса, левого депутата и выдающегося деятеля международного движения в защиту мира. Недавно роман вышел в свет на русском языке.

Перу В. Василикоса принадлежат также книги: «Мифология Америки» — путевые заметки и наблюдения над американским образом жизни, сборники рассказов «Фотографии», «Вне стен» и другие произведения.

Во время пребывания в нашей стране писатель посетил редакцию «Иностранной литературы» (о беседе с ним см. в № 3 за 1970 г. статью Л. Лихачевой).

В этом номере В. Василикос выступает как поэт. Стихи взяты из вышедшего в 1969 г. сборника стихов «Лака-Сули».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора) **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41 Телефон 233-51-47

А08016. Сдано в производство 28/IV 1970 г. Подписано к печати 4/VI 1970 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ — 9 бум. л. — 18 п. л. (25,2). Уч.-изд. л. 27,35. Зак. 1145.

Матрицы типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, М-54, Валовая, 28.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394